А. СЕРАФИМОВИЧ



А. С. СЕРАФИМОВИЧ

ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ

В ДВУХ ТОМАХ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА • 1950

А. С. СЕРАФИМОВИЧ

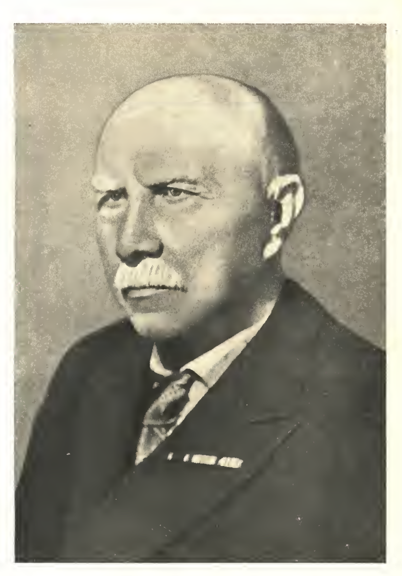
ТОМ ПЕРВЫЙ

РАССКАЗЫ, ОЧЕРКИ, СТАТЬИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА • 1950

Тексты печатаются по последнему прижизненному изданию десятитомного собрания сочинений А. С. Серафимовича (Москва, Гослитиздат, 1940—1948 гг.)

Вступительная статья
А. ВОЛКОВА
Комментарии
Г. НЕРАДОВА



1945 г.

ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ А. СЕРАФИМОВИЧА

Александр Серафимович (Попов) прошел большой жизненный и творческий путь. Очень меткую и верную характеристику Серафимовичу, человеку и писателю, дал Дм. Фурманов. «Серафимович, — писал он, — свою долгую жизнь оттуда, из царского подполья, до наших победных дней в нетронутой чистоте сохранил верность рабочему делу. Никогда не гнулся и не сдавал этот кремневый человек,—ни в испытаниях, ни в искушениях житейских. Никогда, ни единого разу, не сошел с боевого пути; никогда не сфальшивил ни в жизни, ни в литературной работе, оставался и в ту пору крепок, когда упало духом иль опустило беспомощно руки так называемое «передовое общество», начавшее гнить с головы» [1].

Однако целеустремленность жизненного и воедино слившегося с ним творческого пути писателя отнюдь не свидетельствует, что этот путь был легок и прост. Выходцу из мелкобуржуазной среды, Серафимовичу пришлось проделать большую работу над собой, чтобы притти к пролетариату и революции, чтобы принести революционному движению все свои духовные силы, всю страсть своего сердца, всю ясность своего ума.

А. Серафимович родился в 1863 году на Дону в семье военного чиновника. Мировоззрение будущего писателя формировалось в непрерывных конфликтах с окружавшей его косной средой. В этих конфликтах рушились, одна за другой, иллюзии, которыми пыталась заселить духовный мир Серафимовича-ребенка нежно любившая его мать. Уже в раннем детстве Серафимович инстинктивно стремится познать жизнь, находящуюся вне пределов узкого круга интересов его семьи. Впоследствии Серафимович рассказывал, что жизнь его «в то время как-то двоилась. Жизнь с отцом, с матерью, няней, в чистых светлых комнатах... это — одна жизнь «набело», а другая жизнь была «начерно» — в кухне, в казарме, с казаками; там я узнал то, что мне здесь не полагалось...» — Именно эта жизнь «начерно» явилась первой политической школой Серафимовича, вызвала в способном и чутком ребенке внутренний протест против той жизни «набело», за которой скрывались ложь, лицемерие, социальная несправедливость и тяжелый гнет. Познание этой жизни «начерно» способствовало тому, что еще ребенком Серафимович тревожно ищет первопричину «злых дел», которые он видел вокруг.

[1] Дм. Фурманов, О железном потоке, «Октябрь», 1926, № 2, стр. 98.

Казарма, уродующая личность человека, тюрьма, в которой до полусмерти засекают казака-крестьянина, и многое другое, что видел Серафимович ребенком, заставило его задуматься о правде жизни и вызвало первое желание помочь людям, придавленным жизнью. Он с жадностью прислушивается к ярким рассказам казаков из полка его отца о родном Доне, о земле, о трудовой жизни хлебопашца. И в этих рассказах наряду с горячей любовью к родному «найкращему» краю звучит гнев против притеснителей.

В 1879 году, после того как полк, в котором служил отец Серафимовича, был переведен из Польши в Донскую область, в станицу Усть-Медведицкую, будущего писателя отдают в гимназию. После смерти отца для мальчика наступают годы «незамирающей бедности», и чтобы хоть как-нибудь поддержать семью, он бегает по грошовым урокам. Это бедственное материальное положение способствовало тому, что от природы любознательный мальчик еще пристальнее мог присматриваться к окружающей жизни. Восьмилетнее пребывание в усть-медведицкой гимназии оказывает огромное влияние на формирующееся мировоззрение Александра Серафимовича. Многие из его товарищей были детьми бедных казаков и «иногородних», летом они работали на полях и в гимназии рассказывали, как казаки-богатеи угнетали и разоряли бедноту, весь труд которой уходил на то, чтобы ломились от хлеба амбары кулаков. Серафимович, как ранее в Польше, впитывал в себя эти бесхитростные рассказы, и в его душе с новой силой подымалась горячая волна сострадания к угнетенным.

В гимназии рухнули последние иллюзии Серафимовича. Если в детстве он был «исступленно религиозен», то в гимназии для него очень скоро «закончился бог». А после того как «рухнул бог», — «рухнул царь, и глухая ненависть к строю стала переполнять душу» Гимназия питает эту ненависть: «...учителя, директор — все изо дня в день мучило, терзало, давило, как кошмар, и издевательски надругалось над детской душой и телом. Когда, бывало, шел утром в гимназию, — шел с окаменелым сердцем в ненавистный стан врагов», — пишет Серафимович [1].

Мертвящая обстановка гимназии, которая могла бы оказать губительное влияние на менее стойкую душу и ясный ум, не сломила Серафимовича. Более того, затхлая, косная атмосфера гимназии выработала в Серафимовиче инстинктивное чувство протеста, значительно обострила свойственное ему критическое отношение к людям и фактам.

Среди учителей усть-медведицкой гимназии были настоящие «люди в футляре».

Такие преподаватели не могли, конечно, не возбуждать к себе чувства ненависти, но Серафимович начинает понимать, что таковыми их сделал полицейский режим, что они являются наглядной иллюстрацией того, как калечит, разрушает личность насквозь прогнивший самодержавный строй. Эти юношеские впечатления Серафимовича нашли свое отчетливое выражение в рассказе «Сережа».

Уже в юношеские годы Серафимович стремится разобраться в сложности человеческой души, отделить привитое тяжелой, гнетущей жизнью от

[1] А. С. Серафимович, Сочинения, т. VIII, 1948, стр 295

природных свойств характера; этот тонкий психологический анализ станет одной из черт его творческого дарования. Другая отличительная сторона творчества Серафимовича — проникновенное, мастерское описание природы — также восходит к юношеским годам. «Бывало,— вспоминал Серафимович,— вырвешься из постылых классов, убежишь, выпрыгнешь в окно из гимназической церкви, куда нас загоняли силой под страхом карцера, подхватишь котелок, хлеба, сумочку пшена и зальешься с товарищем за Дон. Бесконечный луг, сквозь камыши блестят озера, громадные дубы смотрят в воду, а над самым Доном белой стеной стоят меловые горы».

Личные наблюдения и впечатления, могучее воздействие родной природы обогащают духовный мир молодого Серафимовича. Уже с пятого класса он с жадностью принимается за чтение серьезных книг; запоем читает классиков — Толстого, Тургенева, Помяловского, но особенно увлекается Писаревым и великими революционными демократами — Чернышевским, Добролюбовым, у которых он находит ответ на многие мучившие его вопросы. Он организует своего рода литературный кружок, в котором принимает участие несколько наиболее близких ему товарищей. Здесь, после чтения классиков, происходил обмен мнениями и Серафимович излагал товарищам свои сомнения и мысли.

Таким образом, помимо гимназии, вопреки ей, революционизируется сознание будущего писателя. И когда Серафимович в 1883 году приезжает в Петербург и поступает на физико-математический факультет Петербургского университета, то он уже вполне подготовлен к восприятию социальных идей, зревших в среде передового студенчества. Здесь будущий писатель попадает в самую гущу пробудившегося революционного движения. В начале 80-х годов возникла первая марксистская группа — «Освобождение труда». В эти годы в среде прогрессивного студенчества ведутся пылкие и взволнованные споры о методах борьбы с самодержавием. Для Серафимовича открывается новый, неведомый мир. Он многого еще не понимает, но со свойственной ему целеустремленностью, стремится понять революционное содержание работ Маркса. Вот как об этом он рассказывает сам: «Университетские и внеуниверситетские лекции, кружки, совместные чтения, жаркие молодые споры, тысячи надвинувшихся вопросов, требовавших ответа, особенно общественные вопросы, жгуче стояли, не давая ни на секунду покоя. Стали читать Маркса («Капитал») — мучительно, невыносимо трудно вначале; случалось, за пять, за шесть часов чтения успевали разобрать и понять строчек десять. Порой приходили в отчаяние от своего невежества и непонимания. Зато, когда одолели, точно широкие ворота отворились».

В университете Серафимович встречается с Александром Ульяновым, и порывистая, страстная натура, глубокий ум брата Владимира Ильича производят на него неизгладимое впечатление. Серафимовича увлекла честность и смелость Александра Ульянова, его непоколебимая вера в освобождение, его горячая любовь к русскому народу, о страданиях которого уже не мало знал и сам будущий писатель.

Гибель Александра Ульянова после неудавшегося покушения на Александра III потрясла Серафимовича. Он пишет воззвание, разъясняющее значение и смысл этого акта. За составление прокламации Серафимовича

арестовывают и летом 1887 года высылают в Архангельскую губернию. «Меня на север, — вспоминал позднее Серафимович, — привезли два голубых архангела — два жандарма; привезли в Мезень, у Ледовитого океана».

Красочно и живо передает Серафимович свои первые впечатления об этом дальнем уголке страны. «Крохотный, в одну улочку и переулочек, городок, — пишет он в своих воспоминаниях. — С одной стороны — громадная, сердитая северная река, Мезень, а за ней бесконечные леса и топи до самого Архангельска, с другой — тундры без границ и конца потянулись к Ледовитому океану и потерялись в далекой северной Сибири, темные, безгласные, и глухо нависла холодная мгла».

Вскоре Серафимович в этом потерянном на крайнем севере городке находит то, что так дорого его уму и сердцу. В Мезени Серафимович обретает новых друзей и единомышленников из числа политических ссыльных, среди которых были и образованные люди. Для Серафимовича особое значение имело общение с ссыльным ткачом из Орехова-Зуева, организатором знаменитой «морозовской» стачки — Петром Моисеенко. Впервые Серафимович столкнулся с представителем передового пролетариата, имевшим опыт революционной борьбы с самодержавием. В беседах с Моисеенко Серафимович подкреплял свои чисто теоретические познания знакомством с практикой революционного движения. «Моисеенко, — отмечал в своих воспоминаниях Серафимович, — был живой, как ртуть, жизнерадостный и никогда не приходил в уныние. За чаем рассказывал нам, как организовывал великую морозовскую стачку ткачей в Орехове-Зуеве в 1885 году. Этой стачкой было положено начало организованному стачечному движению русских рабочих. И этот — небольшого роста, коренастый, с веселыми, хитро-задорными глазами — человек неистощимой энергии, неистощимой веселости, неистощимой трудоспособности не давал нам вешать носы...

Он оказал огромное влияние на нас на всех и особенно на меня. Мое теоретическое осознание классовой борьбы он углубил и превратил не только в сознание, но и в чувство».

Нечего и говорить, как важно было для Серафимовича, для идейной направленности его будущего творчества, осознание необходимости классовой борьбы. И все же следует отметить, что ни изучение Маркса, ни общение с политическими ссыльными пока еще не открыли перед Серафимовичем грандиозную историческую перспективу революционной борьбы пролетариата и грядущих социальных перемен. На творческих исканиях Серафимовича еще некоторое время будет лежать печать мелкобуржуазных идей.

Начав свой литературный путь в конце 80-х годов, Серафимович испытал на себе влияние писателей-семидесятников и выступил как представитель критического реализма. В этом одна из причин того, что творчество писателя сразу же пошло по линии беспощадной критики порочных основ жизни. Но если Серафимовича роднила с писателями-семидесятниками подлинная тревога за судьбы трудящихся, испытывавших на себе гнет самодержавия, то он был далек от перерождавшейся народнической литературы с ее либеральным гуманизмом и упадочным резонерством. Более того, творчество Серафимовича складывалось как бы в противовес этой деградировавшей народнической литературе, в которой в 80-е годы либерально-буржуазная идеология уже вытесняла революционно-демократическую.



1904 г.



Восприияв лучшие традиции таких писателей, как Глеб Успенский и Короленко, Серафимович пошел, однако, по своему, весьма своеобразному, творческому пути. В критическом отношении Серафимовича к действительности было нечто принципиально новое, отличавшее его раннее творчество от творчества писателей, у которых он учился.

Новое это заключалось в том, что, выявляя суть классовых, общественных противоречий при изображении действительности, Серафимович неизменно исходил из социальной обусловленности событий.

Свое первое произведение Серафимович написал в 1889 году, будучи в ссылке. В одном из набросков автобиографии он писал: «Поразила природа, железный человеческий труд. Написал первый рассказ «На льдине». Серафимович не случайно сопоставляет человеческий труд и природу. Так же как и родная южная природа, северные пейзажи займут обширное место в творчестве Серафимовича, тесно вплетаясь в канву повествования, органически сливаясь с ним. Эту же особенность мы обнаруживаем и в рассказе «На льдине». Описание суровой природы как бы подчеркивает те невыносимо тяжелые условия, в которых находятся труженики поморы: «Побелело море, зашумело непогодой. Тяжко встают свинцовые воды и, клубясь клокочущей пеной, с глухим рокотом катятся в мглистую даль. Ветер злобно роется по их косматой поверхности, далеко разнося соленые брызги. А вдоль излучистого берега колоссальным хребтом массивно подинмаются белые зубчатые груды нагроможденного на отмелях льду. Точно титаны в тяжелой схватке накидали эти гигантские обломки».

Эти строки из вступления к рассказу уже создают настроение предчувствия той неравной борьбы, которая должна разыграться на ледяных просторах, когда помор Сорока пойдет на промысел в открытое море. Сорока плохо вооружен для тяжелой борьбы за существование, и писатель показывает это результат жестокой эксплоатации поморской бедноты кулаками.

Сорока одним из первых спускается на лед. Он весь во власти од... й неотступной мысли — найти тюленей, добиться успеха на промысле, ибо должен накормить голодную семью, отдать долю Вороне. Сороке сопутствует удача, он получает обильную добычу, но он слишком долго задерживается на льду и отлив уносит его в море. Бросив добычу, Сорока мог бы спастись, однако, «при одной мысли, что он вернется с пустыми руками, по нем пробегала дрожь. Курная избушка, семья, дети ждут...» Помор, пытаясь добраться до берега со шкурами и салом убитых им зверей, гибнет. Непосредственная причина гибели Сороки — стихийные силы природы, но в действительности он жертва социальной несправедливости, жестокой эксплоатации. Серафимович подчеркивает это обстоятельство в рассказе.

Социальная заостренность первого произведения Серафимовича выгодно выделяла его на фоне тогдашней литературы. Первое успешное выступление на литературном поприще окрылило Серафимовича и в значительной мере определило весь его дальнейший жизненный путь.

После рассказа «На льдине» Серафимович создает свое второе произведение из жизни дальнего севера («В тундре») и завершает северную серию рассказом «На плотах». Он пишет медленно, тщательно отделывая каждую строчку. И в третьем рассказе уж нет тех шероховатостей, которые мы ощущаем в первом. Картины северной природы, которым в рассказе «На плотах»

также отводится значительное место, нарисованы уже более умелой рукой, более скупо и вместе с тем разнообразнее и ярче. «Кругом на сотни верст ни жилья, ни человеческого голоса, только мерзлые, заваленные снегом болота да вековые леса вплоть до пустынного моря». Но зима проходит, и писатель показывает север летом. «Тихо. Полумрак белой ночи недвижно и призрачно дремлет над водною ширью, над потопленными лесами, над едва синеющей полоской дальнего берега... Безжизненные туманы дымчато висят над водой, отражаясь призрачными очертаниями... Тихо».

На этом покойном и величавом фоне северной природы, так же как и в рассказе «На льдине», разыгрывается трагедия борьбы человека за кусок хлеба. Герой рассказа — Кузьма — лишь случайно уцелел в этой борьбе, и его тяжкий, опасный труд — упрек «цивилизованному» обществу. Враждебность этого общества Кузьме показана в рассказе и чисто внешне, в эпизоде столкновения на реке морского парохода с плотом Кузьмы. Эту отличительную черту рассказа отметил в своей рецензии на первую книгу «Очерков и рассказов» Серафимовича В. Короленко. Он писал: «...в этой фигуре, оживляющей пустынные пейзажи Серафимовича, — читатель с некоторой грустью чувствует непосредственную жизненную правду и — увы! — не только местную правду: в чертах этого наивного сына дикого севера чувствуется нечто более широкое — и близкое...»

В двух рассказах северной серии — в «На льдине» и «На плотах» — определяется одна из важнейших тем творчества Серафимовича — тема жизни трудящихся. Материал для этой темы он черпает повсюду: на железной дороге, в шахте, на заводе. В развитии этой темы Серафимович не навязывает читателю своих выводов; в автобиографии он отмечает: «Когда я пишу, то ужасно боюсь подсказываний читателю. Хотелось всегда дать ряд картин, которые бы как зубьями тянули читателя к выводам и обобщениям. Все, что писал — писал под впечатлением своей жизни и наблюдений жизни». И силой своего мастерства Серафимович заставляет читателя из беспристрастного описания тяжелой, бесправной жизни тружеников сделать вывод о том, что необходима коренная ломка устоев, которые создают невыносимые условия существования трудового народа. Так Серафимович поднимает свой голос в защиту трудящегося, вскрывает социальные и экономические причины эксплоатации человека человеком.

Однако в этот период Серафимович показывает страдающих, но «покорных» рабочих, далеких от революционного движения. Именно таков стрелочник Иван (рассказ «Стрелочник»). Двадцать два года тяжелого, беспросветного труда высосали из него все физические и духовные силы. У него нет никаких желаний, никаких стремлений. Единственно доступное ему чувство: «страх, не сделал ли он чего-нибудь «не так», не сделал ли он упущения, не вышло бы чего-нибудь скверного». Полагая, что он забыл перекинуть рычаг стрелки на главный путь по проходе товарного поезда, на который теперь несся почтовый, Иван в отчаянии кидается на соседний путь и попадает под маневрирующий паровоз. Самый факт гибели стрелочника из-за непосильного труда, тупое равнодушие, проявленное железнодорожным начальством к его осиротевшей семье, прозвучали как приговор буржуазному обществу.

В той же манере, что и «Стрелочник», написан другой рассказ Серафи-

мовича о рабском труде железнодорожных рабочих, написанный ряд лет спустя, «Сцепщик». Так же как на стрелочника Ивана, на сцепщика Макара «все шишки валятся». В течение всего своего 24-часового дежурства он работает с таким напряжением, что в нем становится трудно «...признать человека: колеблющаяся, неверная походка, мутные глаза и бессмысленное лицо идиота — без мысли, без выражения».

Однажды за чужую провинность его избивает помощник начальника станции. Но действие рассказа «Сцепщик» происходит после революции 1905 года, и Серафимович показывает, что у Макара уже есть чувство собственного достоинства, что в нем просыпается чувство едкой обиды и горечи. «Да што ж ты думаешь, — говорит он кондуктору, — он имеет полное право бить, значит, по морде? Кто такие права ему давал? Таких прав нет! А ежели я да не стерплю? А? Нет, ты скажи, ежели не стерплю я. А? Ежели я да протокол составлю, да в суд подам. А?» И Макар составляет протокол, составляет, как его предупреждал жандарм «на свою голову», так как начальник станции за подачу жалобы выгоняет его с работы.

Можно полагать, что только в силу цензурных соображений писатель не вложил в уста своего героя более энергичный и сильный протест.

Нужно сказать, что Серафимович весьма разносторонне показал, как тяжело калечит психику трудящегося изнуряющий труд. Этот труд не только уничтожает чувство человеческого достоинства, лишает человека возможности мыслить, любить, не только сводит к минимуму его запросы и потребности, нечеловеческий труд пробуждает зачастую в человеке зверские инстинкты, толкает его на преступление.

Такова тема рассказа «Месть». Лишившись своих вмерзших в лед сетей, рыбак Петро Дранько решается на легкую поживу. Он становится мародером: ворует рыбу у своих товарищей рыбаков. «Это было опасное ремесло. Рыбаки добывали себе хлеб у моря суровым трудом. Когда они уезжали зимой по льду, никто не был уверен, что они вернутся не с отмороженными руками и ногами или — что навеки не останутся посреди моря».

Поэтому, когда Петро ловят на месте преступления, он знает, что его ждет жестокая расправа. Несмотря на мольбы о пощаде, рыбаки подвергают его ужасной казни — протаскивают подо льдом от одной лунки до другой, до тех пор, пока «он не покрылся льдом, как панцырем».

Серафимович неоднократно признавался, что как писатель он меньше всего «выдумывал». Именно поэтому так ярко жизненны его образы и реалистичен пейзаж в его рассказах. О чем бы ни писал Серафимович, он всегда детально изучал среду, которую намерен был изобразить, место, которое должно было являться фоном для его повествования. Трехлетнее пребывание в Архангельской губернии (Мезень и Пинега) дало Серафимовичу тему для его северных рассказов; после же возвращения в 1890 году на родину (с 1890 по 1892 год Серафимович живет в станице Усть-Медведице, а затем в Новочеркасске и Мариуполе) он пишет о рыбаках Приазовья, о донецких шахтерах, о рабочих юзовского завода. Северную природу в произведениях Серафимовича сменяет южный пейзаж, столь родной писателю и который он передает вдохновенно и мастерски.

В течение двенадцатилетнего пребывания на родине Серафимович сотрудничает в местных газетах «Донская речь» и «Приазовский край» и пишет

ряд рассказов, которые в 1901 году выходят отдельной книгой. Помимо выше уже отмеченных рассказов: «На плотах», «В тундре», «Стрелочник» и «Месть», в этот сборник вошли рассказы «Поход», «Прогулка», «Под праздник» и «Под землей».

Очерком «Под землей», о котором В. Короленко писал, что это «очень хорошее описание тяжелой работы рудокопов во тьме подземелий», Серафимович начинает серию своих талантливых произведений о шахтерах. Повествование ведется от первого лица, и Серафимович подробно описывает технический процесс добычи угля. Но не в этом суть очерка; акцент в нем сделан на конкретных условиях труда шахтера при капитализме. Писатель отмечает, как морально и физически уничтожает человека жесточайшая эксплоатация, как труд превращается в длительную агонию. Он пишет, что жизни шахтеров постоянно угрожает опасность, так как капиталист в погоне за прибылью и не задумывается над улучшением условий труда.

В результате нечеловеческого труда, за который шахтер получал жалкую плату, он теряет свой человеческий облик. Подымаясь «на гора», он находит забвение в вине. Жизнь его беспросветна, и ждет его увечье или гибель в шахте, а в лучшем случае — голод, когда силы начнут его покидать. Об этой каторжной жизни Серафимович впечатляюще рассказывает и в двух других своих рассказах о рудокопах: «Маленький шахтер» и «Семишкура». Эти рассказы, написанные в разное время, как бы дополняют друг друга. В первом из них показано начало страдного трудового пути рудокопа, во втором — конец его. В «Маленьком шахтере» ярко изображен быт шахтера. Адский труд, пьянство в «казенке», вечные штрафы, жизнь впроголодь, заставляющая шахтера отдать собственного ребенка на тяжелую работу в шахту, — таков фон, на котором писатель дает глубокий психологический этюд физических и моральных страданий маленького героя рассказа. Отныне удел не познавшего радостей жизни ребенка — холод, темнота, томительное одиночество и, наконец, все притупляющие усталость и отчаяние. В рассказе «Семишкура» как бы прибавляется последнее звено к этой пригибающей человека к земле цепи.

Шахтера Семишкуру, всю жизнь проработавшего на руднике, властно потянуло в деревню; когда же он вновь вернулся на рудник, то в контсре спросили:

«— Ты чего, Семишкура, опять объявился?

— Пиши меня в десятый забой; будет... напился деревней по горло, сыт...

— Да куда тебя писать, старую собаку? Теперь к осени народ валит, да все молодой, расторопный, вдвое против тебя сделает.

— Тридцать годов...

— Не век же вековать.

— Куда же я?

— Куда знаешь.

Долго видно было, как, делаясь все меньше и меньше, уходил по степи человек, судя по осунувшимся плечам, по согбенной спине, должно быть, старый, с котомкой».

В рассказе «Семишкура» развернута очень важная для творчества Серафимовича тема. Он тематически примыкает к таким рассказам, как «В пути»,

«Никита», «Лихорадка», «Заяц», в которых Серафимович впервые обращает свои взоры к деревне. Писатель показывает, как крестьянин уходит из деревни в город и как здесь предприниматель, выпив из него все силы, выбрасывает его вон как ненужную вещь. В этих рассказах особенно ярко проявляется одна из отличительнейших сторон таланта Серафимовича — тонкий психологический анализ. Писатель обнажает отсталость психологии крестьянина, мечущегося между городом и деревней. «Эх, братцы, — говорит крестьянин, — каторжная наша жисть. В каждом часе своем неволен, штольни-то костями нашими заделаны. Рази можно от ней, от могилки своей, уходить?.. А я, пес старый, в деревню... А в деревне, братцы!.. мать — сыра земля... геенна огненная... У нас, братцы, каторга, а там неподобие. Торгуют ею, матушкой, рвут из зуб, сын у отца, отец у сына, пропивают да проедают. Миру — поминай, как звали, нет его. Прежде, бывалыча, тонем, все тонем, всем миром тонем, а нонче каждый норовит отрубить да на соседе выплыть».

У Никиты (в одноименном рассказе) такая же судьба, как у Семишкуры. Когда в деревне у него не остается «ни одежды, ни хлеба, ни соломы, ни хозяйственных орудий, ни скотины», когда все уже «продано и проедено», он уходит на заработки в город. Так же как и Семишкура, несмотря на тяготы деревенской жизни, он мечтает о семье, о деревне. Так же как и Семишкура, после долгих лет тяжкой работы на заводе, он навещает деревню, а по возвращении его выбрасывают за ворота завода. Конторщик поясняет ему: «Видишь, ослаб ты... не можешь, как прежде, как свежие, которые с воли. Ты три тачки, а молодой в это время пять привезет, видишь ты. Заводу-то и расчет взять свежего...» Следует отметить попутно, что в своих рассказах о трудящихся Серафимович постоянно отмечает, что они трудятся под ни на минуту не ослабевающей угрозой лишиться работы. «...На заводе штаты сократили, — рассказывает герой «Ледохода», — заказ большой сдали, ну, конечно, лишних рабочих и отпустили. Я под увольнение попал, остались с Феклой мы ни с чем».

Полное бесправие трудящегося исключительно ярко показано в рассказе «Заяц». Рассказ рисует характерный эпизод из жизни крестьянина-бедняка, работающего на подрядчика по вывозу нечистот. Отпросившись у хозяина в деревню к умирающей жене, Антон за отсутствием денег едет «зайцем». Его обнаружили, и капитан решает «прокатить» его до конца рейса. Несмотря на мольбы Антона, пароходная прислуга продолжает издеваться над ним и не пускает его на берег. Находящаяся на борту публика различно проявляет свое отношение к гнусному издевательству над бедняком. Если трудящиеся искренно возмущаются, то «господа» и торговцы откровенно высказывают свое презрение или ненависть к «зайцу».

Не надеясь уже на помощь, все более отдаляясь от своей родной деревни, Антон бросается в воду и гибнет. Как приговор буржуазному обществу звучат слова одного из пассажиров: «За что человека утопили!.. За девять гривен! Что б вам ни дна, ни покрышки!..»

О цене жизни трудящегося в капиталистическом обществе Серафимович пишет в одном из своих публицистических очерков: «Рабочий для этих людей — хам, вьючное животное, которое не должно выходить из-под кнута. Вышибить зуб, своротить скулу, раскровянить лицо чабану — то же, что

выкурить папироску. Это делают даже не всердцах, не в раздражении, а так мимоходом, потому что рука «чешется». Сколько убийств, сколько увечий молчаливо таит безграничная степь, по которой крутятся горячие смерчи, ходят бесчисленные отары овец и табуны лошадей («Закон Плевако»).

Подлинный гуманизм сближает Серафимовича с Горьким, хотя Серафимович еще не поднимается до горьковского революционного пафоса. Оба писателя подняли свой голос в защиту трудящихся. Оба они вскрывали социальные и экономические причины эксплоатации человека человеком, показывали непримиримый классовый антогонизм между эксплоататорами и эксплоатируемыми. На этом жестоком классовом антогонизме Серафимович заострял внимание читателя как до революции 1905 года, так и в своих более поздних рассказах и повестях. Так, в рассказе «Ледоход», купец, рискуя жизнью, спасает с льдины человека, но этот благородный порыв уступает место ненависти: узнав, что спасенный им человек — безработный трудящийся, купец передает его полиции как бродягу. В рассказе «На берегу» буржуазная дама плюет в лицо грузчику, который приютил забытую ею на пристани дочь, только потому, что ребенок воспринял на улице нецензурные слова.

Разоблачению фальши в поступках буржуа и либеральных интеллигентов, показу их эгоизма и тупой жестокости, ограниченности в период до революции 1905 года посвящены лишь немногие рассказы Серафимовича; основной его темой в этот период остается тема жестокой эксплоатации трудящихся, изображение их тяжкой жизни в условиях буржуазного общества. Серафимович дал в своих произведениях впечатляющие картины гнетущих условий труда рабочих при капитализме, однако он не показал в первый период своего творчества рост революционного сознания рабочих, в то время, когда уже мощно нарастало и ширилось освободительное движение.

В первый период своего творчества до 1905 года Серафимович не понимал организующей стороны капиталистического предприятия, того противоречия, что в самой капиталистической системе были уже заложены причины гибели капитализма.

При всей своей любви к трудящимся Серафимович в ту пору не мог создать образ передового рабочего, отражавшего собой рост революционного сознания пролетариата... О недооценке созидательной и организующей роли рабочего класса в своих ранних рассказах говорит сам писатель в воспоминаниях о Горьком: «...Я принес ему для сборника «Знание» мой рассказ «Маленький шахтер». Это — рассказ о мальчугане, сыне шахтера... Алексею Максимовичу рассказ понравился.

— Хорошо! — сказал он, нажимая на «о». Да вдруг поднялся во весь свой рост, протянул руку и проговорил взволнованно:

— Вы не забывайте: шахтеры — ведь это же рабочие! Они ведь создают все, что кругом. У вас они только бедненькие, забитые, — жалко их... А ведь это не вся правда. Шахты-то кто попрорыл? Кто взрывал каменные неприступные пласты? От воды-то захлебываются — кто откачивал? Вот у вас этот мальчонок, — ну, жалко его, конечно. Но вырастет, он же настоящий потомственный шахтер будет! Перед ним земля-то, недра раздвигаться будут. Это вот, знаете, забываем мы все... А надо помнить. А раз помнить, значит, и изображать.

Я шел от него, оглушенный...

«Как же это я мог пропустить такую громадину? — говорил я в сотый раз сам себе. — Ведь рабочий, ведь он же — творец. Ведь, действительно, нельзя же его изображать только бедненьким, забитым, темным. Ведь это же мировая сила, которая в конце концов свернет шею мировой буржуазии» [1].

Ввиду отсутствия у Серафимовича прямой связи с пролетарским движением пережитки прошлого ограничивали идейную направленность произведений писателя. В частности, на созданных Серафимовичем до 1905 года образах рабочих лежит печать той приниженной и отсталой психологии крестьянина, которая была свойственна героям народнической литературы 70-х и особенно 80-х годов, но не являлась характерной для нового типа рабочего, выпестованного революционным движением в начале 900-х годов.

Тем не менее раннее творчество Серафимовича, обнажавшее классовые противоречия, разоблачавшее подлость и жестокость капиталистической эксплоатации, целиком находилось в орбите рабочего движения и служило целям этого движения. Следует тут же остановиться и на благотворном влиянии на творчество Серафимовича демократической «Среды» московских писателей, к которой он примкнул после своего переезда в Москву в 1902 году. В Москве, в тесном контакте с демократическими писателями, объединенными вокруг Горького, Серафимович создает рассмотренные нами выше лучшие свои произведения. Шире развернулась публицистическая деятельность, начатая Серафимовичем на родине в газетах «Приазовский край» (1897) и «Донская речь» (1898). В «Курьере» Серафимович, сменив Л. Андреева, ведет отдел под общей рубрикой «Заметки». В своих «Заметках» Серафимович касается самых различных вопросов общественной жизни. Он бичует беззаконие, продажность буржуазной интеллигенции, горячо выступает против такой язвы капиталистического общества, как проституция и, в частности, детская, разоблачает нечистоплотные биржевые махинации и т. д. Все очерки и корреспонденции Серафимовича, поскольку это позволяла цензура, проникнуты подлинным демократизмом, в них сквозит едва скрытое презрение и ненависть к буржуазному обществу и самодержавию.

Горячо выступает Серафимович в 1903 году в защиту Горького, подвергавшегося нападкам не только со стороны реакционной, но и даже в свое время ему близкой литературной среды. Так, редактор «Журнала для всех» В. С. Миролюбов провозгласил поворот от материализма к религиозно-этическому идеализму, и в его журнале некий «критик» Волжский опубликовал статью, в которой пытался опорочить Горького. Взволнованно и с негодованием Серафимович писал Миролюбову по поводу этой гнусной вылазки: «Что такое Горький? Не только литературный факт, но и общественный. Нужно потолкаться среди серой, особенно провинциальной публики, чтобы убедиться, какой громадный толчок мысли дал он, мысли, именно общественной... Теперь против Горького открыли яростный поход и «Новый путь», и «Новое время», и другие. Они всячески стараются унизить, втоптать его, отнюдь не разбирая по существу его произведений, а просто ругаясь и всячески уничтожая. Волжский невольно играет этим господам наруку». «Надо

[1] А. С. Серафимович, Собр. соч., том X, стр. 424.

щадить вкус читателя и не портить его вкус», — говорил Волжский. Не надо курить фимиам, но и не надо невольно участвовать в походе нововременцев, в походе, который знаменует собой определенное общественное течение. Ваш журнал в деле высвобождения русского народа играет огромную роль, и я думаю, только с этой точки зрения он должен оцениваться. Какую же роль играет в этой миссии Волжский? Самую пагубную, растлевающую, поселяющую в умы вашего читателя смуту. И вот, совершенно невольно для русского народа Вы будете играть такую же роль, какую играют «Дружеские речи», «Гражданин», «Родные речи» и всякие другие речи, развращающие и одурманивающие народ».

Характерно, что, выступая против статьи Волжского, Серафимович обращает особое внимание не только на общественное значение творчества Горького, но и тесно увязывает с этим вопросом вопрос социально-политической направленности писаний реакционного критика. В числе других участников «Среды» писатель обращается к тому же Миролюбову с письмом, в котором указывалось: «Появление в вашем журнале (№ 12, 1903 г.) статьи г. Волжского с проповедью бога и злорадною отходною над направлением, имеющим глубокие жизненные корни (речь идет о марксизме.—*А. В.*), глубоко возмутило всех нас; такого рода статьи представляются нам крайне неуместными, особенно в журнале, имеющем аудиторию, подобную вашей; если в будущем не исключается возможность появления в вашем журнале подобных статей, то мы покорнейше просим не считать нас больше своими сотрудниками».

Выступления Серафимовича против той либеральной литературной среды, которая в испуге перед мощным подъемом революционного движения пыталась опорочить заодно и великое учение Маркса, и творчество Горького, лишний раз свидетельствует об идейной близости Серафимовича с пролетарским писателем. Серафимович, усматривая в Горьком «факт» огромного общественного и политического значения, защищал в его лице буревестника революции.

Следовательно, идейная близость писателей, которая с особой силой выявилась после 1905 года, имела место уже и в годы, предшествовавшие первой русской революции. Эта идейная близость проявлялась не только в тех или иных высказываниях Горького и Серафимовича по поводу ряда общественных явлений, она ясно видна и в самом творчестве писателей. Идейная близость двух писателей проявлялась в разработке темы революции 1905 года, в осмыслении перспектив революционной борьбы, в подходе к изображению представителей рабочего класса и разоблачению буржуазии.

Серафимович принимает непосредственное участие в ряде общественных начинаний Горького.

Единство взглядов Горького и Серафимовича, установившееся с той поры, как Серафимович вошел в число постоянных участников «Среды», выявилось еще более полно после того, как Горький возглавил издательство «Знание». Уже в 1902 году Серафимович писал Миролюбову: «Если вас не отягчит, очень бы просил потолковать со «Знанием» относительно выпуска моих рассказов. Пятницкий, думаю, не согласится. Разве Горький? Ведь им подавай яркое, сильное, боевое, говорящее само за себя, и мои скромные рассказы едва ли возьмут».

Недооценивая из скромности достоинства своих рассказов, Серафимович вместе с тем, видимо, не учел и того обстоятельства, что основным критерием для Горького в его оценке произведений являлась идейная и жизнеутверждающая направленность. На творчество Серафимовича Горький обратил внимание еще задолго до того, как было написано вышецитированное письмо. А в 1904 году в письме к организатору «Среды» Н. Д. Телешову, намечавшему выпуск дешевого сборника рассказов, Горький запрашивал, нельзя ли привлечь к предполагавшемуся изданию Серафимовича. Впоследствии, перед выходом в свет первого сборника «Знание» за 1903 год, Горький сообщал тому же Телешову: «Мое мнение таково: не нужно гнаться за объемом и строго выбирать участников. Если сборник составится из работ Чехова, Андреева, Куприна, Юшкевича, Телешова, Горького, Скитальца, Серафимовича, Бунина и Чирикова, и если все эти лица постараются написать хорошие, крупные вещи, это будет литературным событием». И в первом сборнике «Знание» за 1903 год наряду с произведениями Л. Андреева, И. Бунина, В. Вересаева, Н. Гарина, Н. Телешова и программным этюдом Горького «Человек» был помещен рассказ А. Серафимовича «В пути».

С исключительным вниманием отнесся Горький к принятому «Знанием» сборнику рассказов Серафимовича. По поводу этого сборника, в который вошли рассказы «В тундре», «На льдине», «В бурю», «Месть», «В камышах», «Под землей», «Прогулка», «Степные люди», «На заводе» и др., Горький писал Серафимовичу: «Посылаю рассказы ваши с просьбой просмотреть их. «Преступление» — длинновато, его можно сократить без ущерба для ясности содержания. «Степные люди» — несколько неудачно начаты, — начните их с описания жизни казаков в степи и вы увидите, что рассказ выиграет в стройности. Прочитайте и «Бурю», сделав все это, пошлите рассказы «Знанию» [1].

В беседе с Серафимовичем по поводу сборника его рассказов Горький ориентирует писателя на серьезную творческую работу, говорит о громадной ответственности писателя перед читателем. «Писатель, — указывал Горький Серафимовичу, — должен напряженно думать о своей вещи, а не о том, как он завтра достанет молока ребятишкам. Только чтобы писатель давал лучшее, что он может дать. Каждый писатель может дать лучшее, если честный, у которого в душе есть слитки. Ну, у одного побольше, у другого поменьше не в этом дело. Золотая она, хоть крупинка, а золотая, главное — честно относиться к своей работе. Ведь читать будут сотни тысяч, а дальше и миллионы» [2]. Эта беседа произвела неизгладимое впечатление на Серафимовича. «В этот вечер, — заявлял он, — я родился писателем».

Горький проявляет постоянную заботу о Серафимовиче, неизменный интерес к его творчеству. Так, узнав от Л. Андреева, что Серафимович написал превосходный рассказ «Заяц», Горький просит отдать его «Знанию», где этот рассказ и был напечатан. В 1906 году «Знание» издает новую книгу рассказов Серафимовича, в которую входят: «Лихорадка», «Заяц», «На берегу», «В пути», «Похоронный марш», «Среди ночи», «На Пресне» и др. С рядом из этих произведений Горький ознакомился уже в рукописи, дав автору цен-

[1] В. Вешнев, «Серафимович как художник слова», 1924 г., стр. 86.

[2] А. С. Серафимович, Воспоминания о Горьком, газета «Рабочая Москва», 1938, 28 марта.

нейшие советы и указания. Основной смысл этих советов заключался в том, что каждый писатель должен внести свою долю труда в общенародную борьбу, что писателем должна руководить искренняя любовь к родине, к народу.

Революционная направленность произведений, написанных Серафимовичем в годы первой русской революции, во многом результат идейной близости с Горьким. Еще до декабря 1905 года и до того, как Горький создал свою повесть «Мать», Серафимович пишет рассказ «Бомбы» («Дома»), в котором образ жены рабочего — Марьи близок к некоторым чертам характера горьковской Ниловны. В этом рассказе писатель показывает, как по мере нарастания революционного движения выкристаллизовывается, растет сознание рабочих масс. Марья из рассказа Серафимовича предстает перед читателем на первых страницах рассказа, так же как и горьковская Ниловна, забитой тяжким трудом, постоянной заботой о куске хлеба. В ее сознании еще нет проблеска мысли о том, что может быть другая жизнь, что за эту новую, лучшую жизнь надо бороться. Но однажды с мужем Марьи и его товарищами приходит неизвестный, назвавший себя «социалистом». Потом «по субботам маленькая комнатка набивалась рабочими». Вначале у Марьи от страха подкашивались ноги, она ничего не понимала, ни в чем не разбиралась, а со временем «что-то странное, новое и непонятное вошло неуловимо в их домишко», вошло и в сознание женщины. Ей начинает казаться, что то, о чем говорят ее муж и его товарищи на сходках, ей уже давно известно. «Очень хорошо она знала, что завод давит рабочих, что муж каждый день приходит истомленный, что у него, когда-то краснощекого, здорового и веселого, ввалилась грудь, впали щеки, и при каждом расчете излишка рабочих они дрожали... Теперь же не то, что было привычно, буднично и неизбежно и о чем не думалось, да и некогда было думать, теперь это называли вслух, об этом говорили, спорили, и оно обернулось к Марье какой-то иной, новой, тревожной и беспокойной стороной». Так пока еще смутно начинается процесс формирования революционного сознания у Марьи, и так же он протекает у Ниловны. Преодолевая свою отсталость, она приобщается к тому новому, что вносит в ее жизнь сын. Она видит, как сильна вера в это новое ее сына — Павла и его товарищей революционеров, и «она невольно чувствовала, что воистину в мире родилось что-то великое и светлое, подобное солнцу неба, видимого ею». В испытаниях и борьбе растет революционное сознание Марьи и Ниловны. Обе они, сбрасывая с себя груз рабского прошлого, втягиваются в революционную работу, превращаются в участников революционного движения. Если Серафимович в рассказе «Бомбы» показал только начало революционного пути женщины, того пути, на который вставали рабочие массы, то Горький в образе Ниловны воссоздал весь этот героический путь; для Ниловны борьба за лучшее будущее становится единственной целью ее жизни.

Типичность образов Марьи и Ниловны, образов, в которых оба писателя (Горький в форме повести, ставшей широко известной, Серафимович в форме очерка) раскрывают особенности роста революционного сознания рабочих масс, постепенного приобщения этих масс к освободительному движению, с несомненностью свидетельствует об идейной близости Горького и Серафимовича в годы первой русской революции. Аналогичный показ

того, как происходил процесс формирования революционного сознания у рабочего класса, свидетельствует, что оба писателя одинаково относились к происходившим событиям.

Созданный Серафимовичем образ Марьи нельзя, конечно, ни по широте замысла, ни по психологическому раскрытию, сравнить с образом Ниловны, одним из сильнейших образов русской литературы. Однако немалая заслуга Серафимовича состоит именно в том, что, показывая, как революционное движение захватывало все новые и новые слои рабочего класса, как в самую гущу его проникала разъяснительная и воспитательная работа большевиков, он первый создал образ простой русской женщины из рабочей среды.

Революция 1905 года вдохновила Серафимовича на ряд произведений, в которых пролетариат выступает как сознательный борец за лучшую жизнь. Революция показала Серафимовичу рабочих, в которых окрепло классовое самосознание. Теперь писатель не только уже обличает, его творчество проникается пафосом революционной борьбы. Оратор рабочей демонстрации в рассказе «Похоронный марш» в следующих словах передает настроение разбуженной народной массы: «Не руки наши страшны врагам, страшны сердца, страшно наше прозрение, страшны горячие сердца, бьющиеся неутолимой жаждой свободы! Как черная зияющая бездна раскрылось наше сознание. Мы увидели наше глубокое рабство, мы увидели наших поработителей. Собравшись, мы встали на одном краю бездны, а наши поработители — на другом, и поняли мы: нет нам примирения. И они поняли: нет им примирения».

Серафимович напряженно следит за революционными событиями, находясь в этот период в Москве. Он всем сердцем на стороне дружинников, героически сражающихся на баррикадах.

Если в ранних рассказах Серафимовича рабочая масса выступала изнуренной непосильным трудом, забитой, пьянствующей, отуманенной религиозными предрассудками, несущей на себе печать крестьянской приниженной и отсталой психологии, то в рассказах о 1905 годе писатель показывает, как эта масса выделяет одного за другим пламенных борцов революции, за которыми идет весь пролетариат. В рассказе «Среди ночи» рабочие, каменщики, плотники, ремесленники собираются ночью на тайный митинг. В качестве ораторов выступают сами рабочие, уже разбирающиеся в политических событиях, хотя не умеющие порой еще достаточно ясно выразить свою мысль.

Чувства рабочих передает один из выступающих, который заявляет: «Братцы, счастье наше в наших руках!.. Оглянитесь, сколько нас, голодных... и все это — эксплоатация, и все это — народ, пролетарий... ведь ежели все да встанут... все до единого человека, что будет?» Ораторы призывают к единству, к борьбе и в сознание слушателей проникает «...чем-то праздничным, ярким, сверкающим и огромным. И хотя эта серая, скучная жизнь все так же серо, монотонно тянулась,— над ней, как утреннее солнце стояла, заслоняя жестокую, неумолимую действительность, каторжный труд, стояла радость ожидания огромного, всеобъемлющего счастия, грядущего освобождения».

В рабочем классе Серафимович увидел силу, несущую избавление от рабства. Из среды рабочих идет та светлая вера в будущее, которая все более и более проникает в сознание народа. Серафимович понял, что революционные идеи становятся достоянием и крестьянских масс, что крепнет

союз между рабочей и крестьянской массой. В рассказе «У обрыва» показана встреча рабочего-революционера с крестьянами. Рабочий подавлен провалом восстания в городе: «Главное что!.. Трудов, сколько трудов убито... Покуда все наладилось, да сгрудились, сбились в кружки, да читать, да думать стали, да расчухали, ой — ёй-ён, сколько времени, сколько трудов стоило!.. А сколько народу пропало по тюрьмам, да в ссылке, да на каторге, да какого народу!.. Кирпич за кирпичом выводили, и вот — трраххх!.. Готово! Все кончено!.. Шабаш!..»

Крестьяне как могут утешают его и сочувствуют ему. Один из них — старик — рассказывает ему знаменательную притчу, реальный смысл которой заключается в том, что поднявшийся на борьбу народ — непобедим. Но сочувствие крестьян рабочему не ограничивается словами. Когда подъезжают казаки, то мужики, даже предварительно не сговорившись, решают выдать его за своего товарища — водолива. А после того как казаки, угадав в собеседнике крестьян революционера, пытаются его схватить, они круто расправляются с ними — обезоруживают и связывают казаков.

Уже ранние рассказы Серафимовича вызывали злобные преследования царской цензуры. Рассказ периода первой русской революции «У обрыва» был отнесен цензурным комитетом к числу особо крамольных. В результате цензурных преследований из рассказа «У обрыва» был вырезан ряд страниц.

О проснувшемся сознании крестьянских масс писатель говорит и в рассказе «Зарево». В этом рассказе перевозчик Афиногеныч, чтобы спасти крестьян от преследования полиции, решает пожертвовать собой, — он топит лодку со стражниками и гибнет сам.

Трагические сюжеты рассказов Серафимовича о революции 1905 года не создают впечатления безнадежности. Они утверждают несокрушимую веру в победу революции. Даже похоронная песнь рабочих об убитых во время восстания товарищах звучит как жизнеутверждающий гимн революции: «Десятки тысяч людей шли, пели гимн смерти, и торжественно и могуче из могильного холода и погребального звона вырастала яркая, молодая, радостная жизнь и сверкала на солнце, и играла на лицах тысяч людей...» («Похоронный марш»).

Для героики революции ему понадобились и более яркие краски, более торжественный тон. И если в произведениях раннего периода преобладали мрачные, безотрадные краски, — «мертвая тоска», «мертвая груда угля», «могильная тишина», — создававшие впечатление безысходности, то в рассказах о 1905 годе меняется характер пейзажных вставок, связанных с характером содержания произведения. «Загорающаяся заря», «багровое зловещее зарево», «красные отсветы костра» — вот новые краски, свидетельствующие о революционно-оптимистической направленности повествования. Появляется у писателя другой, более приподнятый тон.

Наряду с изображением событий революции Серафимович в рассказах о 1905 годе показал и тупую жестокость реакции. В рассказе «Как было» Серафимович рассказал о мытарствах старухи-крестьянки, матери приговоренного к повешению революционера, которая ходит по различным учреждениям и тщетно просит пощады для ее единственного, любимого сына.

Тупая жестокость опьяненных кровью реакционеров показана в рассказе «Как он умер».

Ненавистью к усмирителям продиктованы и другие рассказы Серафимовича этого периода. В очень интересном по сюжету рассказе «В бараке» больничная сестра жертвует куском кожи с руки для спасения тяжело раненого, обреченного на смерть человека. После выясняется, что он погромщик и служит в охранке. Хвастаясь перед больными своими подвигами, охранник обстоятельно размусоливает, как он изнасиловал беззащитную девочку. Тогда спасшая ему жизнь сестра убивает его выстрелом из револьвера.

Рассказы Серафимовича о революции 1905 года не только вызывали презренье и гнев к палачам, они звучали как призыв к продолженью борьбы. В рассказе «Мертвые на улицах» рабочий, стоя над трупом убитого сына, с глубоким убеждением говорит: «...Это ничего... ничего, еще будет дело!..»

После поражения революции 1905 года наступление реакции шло и на идеологическом фронте. В эти годы литературного распада властителями дум мещанства и либеральной интеллигенции стали Арцыбашев, Каменский, Сологуб и др., которые провозгласили отказ от всяких идеалов и пытались оплевать освободительное движение. Отдали «дань времени» и многие из бывших знаньевцев: окончательно распростился со своими былыми демократическими устремлениями, например, Л. Андреев. В эту пору Серафимович, так же как и Горький, не изменяет делу революции, его не покидает глубокая вера в ее окончательное торжество. Революционное содержание творчества Серафимовича эпохи реакции резко противостояло буржуазно-декадентской литературе, которая пыталась доказать безнадежность борьбы, охаивала революцию и звала к мещанскому смиренью и покорности. В годы реакции он уезжает из Москвы на юг и продолжает работать над произведениями, в которых обличает реакцию. В изображении «мышиного царства» — мещан — Серафимович сближается с Горьким, уделившим в эти годы много внимания изображению тупого, ненужного быта в окуровском цикле. Подобно Горькому, Серафимович показывает людей, противостоящих мещанской пошлости и сытому благополучию, противодействующих мраку жизни, сохраняющих веру в будущую победу. В рассказе «Мышиное царство» рабочий Алексей, сын кухарки, говорит: «Там над подвалами, на городских окраинах, в заводских корпусах, растет непреодолимая сила, растет не по дням, а по часам, от нее идет избавление».

Серафимович разоблачает обывателей, безропотно покоряющихся судьбе и способных лишь на пассивное сочувствие борцам за свободу. В рассказе «Любовь» Серафимович убедительно показывает, к чему приводит эта роль сторонних наблюдателей, отказавшихся от своего общественного долга. Муж и жена, бывшие революционеры, изменяют своим былым убеждениям и, уйдя в личную жизнь, превращаются в вульгарных стяжателей.

«Не в деньгах счастье», — говорит писатель, срывая маску с мещанского благополучия. В рассказе «Дочь» мать решает пожертвовать собой, чтобы сделать свою дочь богатой, а значит, по ее понятиям, счастливой. И она приводит свой замысел в исполнение. Застраховав свою жизнь в пятнадцать тысяч рублей, она бросается под поезд. Дочь получает страховую премию и выходит замуж за бухгалтера. И вот, вместо прежней честной трудовой жизни, — мещанское счастье с бухгалтером, который никак не может простить пожертвовавшей собой женщине, что она недостаточно высоко застраховала свою жизнь. «Какие-то несчастные пятнадцать тысяч!.. — недовольно

брюзжит он. — Уж раз она решилась на это, так могла же хоть двадцать поставить!..» Лицемерие, фальшь, разврат, мелкий расчет — таковы «священные» основы буржуазной семьи, мещанского быта.

Низменные чувства, животные инстинкты как «мораль», господствующую в буржуазной семье, Серафимович обличил в крупнейшем своем дооктябрьском произведении — романе «Город в степи» (1910). Однако это только одна из сюжетных линий романа, очень сложного композиционного произведения, засвидетельствовавшего, что Серафимович является мастером не только короткого рассказа, но и больших полотен. В романе писателем рассмотрен переплет классовых взаимоотношений в девяностые годы, когда русский капитализм развивался быстрыми темпами. Этот процесс роста капитализма, в ходе которого все более обострялись классовые противоречия, раскрыт Серафимовичем в его диалектическом развитии. Наряду с бурным процессом первонакопления и ростом буржуазии писатель показал «стихийное первоначальное рабочее движение», разоблачил либеральную интеллигенцию, постепенно скатывавшуюся на путь ренегатства и предательства, становившуюся пособником реакции в ее борьбе против рабочего движения. Эпоха 90-х годов воспроизводится в «Городе в степи» в свете того богатого опыта пролетарского революционного движения, который дала первая русская революция. Возвращаясь к историческому прошлому, Серафимович выявляет те особенности освободительного движения, которые в ранних рассказах остались нераскрытыми. Пролетариат в романе выступает не только как эксплоатируемая масса, но и как мощная сила, готовящаяся к решительной борьбе с эксплоататорами.

В центре повествования — буржуа-накопитель Захар Короедов и инженер Полынов. История богатства и величия Захара неразрывно связана с историей выросшего в степи города. На линии железной дороги Царицын—Тихорецкая возникает станция Котельниково и около нее рабочий поселок. Здесь начинается карьера Короедова, в характере и деятельности которого мы находим много общего с горьковским Ананием Щуровым («Фома Гордеев»). Типичный проходимец, наделенный от природы недюжинным умом и волевым характером, обладающий острым чутьем наживы, Короедов предчувствует будущий рост поселка и открывает здесь кабак. Вся деятельность Короедова — непрерывная цепь «темных» дел: обманов, мошенничества, преступлений. На своем пути к обогащению он не останавливается ни перед чем. Писатель и впоследствии неоднократно подчеркивал тот факт, что «первичное накопление всегда сопряжено с преступлением». Именно таков Захар Короедов. Писатель показывает омерзительную собственническую сущность Захарки, начавшего свою карьеру с воровства и обмана. Он занимает деньги, но вместо того, чтобы вернуть их кредитору, до полусмерти избивает его, он безжалостно обсчитывает рабочих, завлекает обманом в свой притон их дочерей и превращает их в проституток.

Жители поселка видят в Короедове содержателя публичного дома, плута, мошенника, убийцу, которому «все дозволено», так как он вместе с тем и «первый человек» в поселке, «у него одного только высится двухэтажный дом, желтеют новым тесом ворота, заборы». Так как он уже прибрал к рукам население, «всякое дело», какое ни делается на поселке, идет от Захарки, и с этой приземистой, плотной фигурой связывается представление силы, настой-

чивости и уменья. Короедов подчиняет себе не только жителей поселка, но и местные власти. Мировой судья, заседатель, адвокат становятся завсегдатаями его притона и во всем идут ему навстречу.

Таков образ Короедова в начале его карьеры, когда он еще выступает в романе как сметливый и энергичный «рыцарь первоначального накопления». Но по мере того как Короедов богатеет, превращается из содержателя притона в крупного заводчика, меняются его методы обращения с народом. Теперь он насаждает «порядок» и «культуру» в своем городе. Он убеждает сограждан завести полицию «и чтоб заседатель у нас жил, — население торговое, эва, раскинулось; по крайности, по ночам будем спать спокойно». Он хочет построить «храм божий», ибо «надо нам и об душе подумать». Он обращается к людям с елейными, ханжескими речами, призванными прикрыть его звериную жестокость, порочные страсти. Меняется даже внешний облик Короедова: «был это патриарх с седой бородой, со строгим, исхудалым, иконописным лицом», и «у этого высокого худого старика с большой белой бородой и бледным лицом, казалось, не могло быть иных слов, кроме медленных и спокойных, и все звали его теперь неизменно Захар Кастьянычем».

Независимо от изменений, происшедших в его внешнем облике, Короедов показан в романе как целеустремленная натура, он последователен, это хищник и в начале своей «карьеры» и в конце ее.

В образе инженера Полынова писатель мастерски воплотил наиболее типические черты характера либерального интеллигента, показал глубину той пропасти, которая отделяла фразеологию интеллигента, типа Полынова, от его поступков и действий. Когда отношения с рабочими не затрагивают узкий круг его личных интересов, Полынов «гуманист», он даже не прочь помечтать о «людском счастье, о счастливой человеческой жизни», мысленно представить себе, как проложенная им дорога понесет культуру и свет в «убогие землянки рабочих».

Таков Полынов в начале своей деятельности, пока его гуманистические устремления еще не столкнулись с его интересами, пока он может мечтать, ничего не принося в жертву, любуясь собственными «высокими» чувствами. Но как только на железной дороге вспыхивает забастовка, обнаруживается ничтожество души, мелкий эгоизм Полынова. Помощник Полынова метит на его место, и первая мысль, которая возникает в голове инженера, это мысль, что он может потерять свое служебное положение. «Это для тебя подходящий случай попытаться столкнуть меня и занять мое место», — думает он о своем помощнике, а затем решает действовать смело и энергично, чтобы устранить угрожающую ему опасность.

Тот же Полынов, который ранее пространно рассуждал о тяжелой жизни рабочих и как будто сочувствовал им, в действительности настолько далек от понимания их интересов, что не может даже найти с ними общего языка. Достаточно показательна в этом смысле сцена объяснения Полынова с забастовавшими рабочими. Рабочие жалуются, что им приходится жить в скотских вагонах, а между тем наступают холода. В ответ на это Полынов отвечает: «Ну да, потому что люди... потому что считаю и отношусь к вам, как к людям, говорю с вами. На моем месте давно бы дали телеграмму, и вместо разговоров перед вами стояла бы рота солдат».

В разговоре с рабочими ясно обнаруживается лицемерие Полынова,

несоответствие между его словами и делами. Слушая возражения забастовщиков, Полынов думал: «Нет, с ними только плетью разговаривать...» Пропасть, и ранее отделявшая Полынова от рабочих, стала еще глубже. Покидая толпу железнодорожников, инженер каждую минуту ожидал, что «плюхнется в затылок пущенный сзади камень».

В годы столыпинской реакции, когда Серафимович создавал свой роман, за прототипом образа ренегатствующего интеллигента далеко не надо было итти. В обрисовке образа Полынова раскрывается близость Серафимовича Горькому. Полынов многими своими чертами напоминает образ Захара Бардина — одного из героев пьесы Горького «Враги».

И Бардин и Полынов не могут, конечно, понять того, что происходит в гуще народных масс, но во взаимоотношениях того и другого с рабочими обнаруживаются те же «гибкие» и «осторожные» приемы. А когда эта «эластичная» политика терпит крах, то так же, как и Полынов, Бардин показывает свое подлинное лицо, — лицо врага рабочего класса.

Когда дело касается защиты собственных интересов и не помогает «дипломатия», Полынов, как и Бардин, прибегает к политике «твердой руки». На смену его бесплодным мечтам о благе народа приходит глухая ненависть к этому же народу. Наряду с этим от презренья и ненависти Полынова к Захарке, которого он когда-то сам называл «грязным жирным мешком», в которого стрелял, не остается и следа. Либерал Полынов с готовностью идет на службу к капиталисту Короедову.

Писатель показывает, таким образом, что конфликт, возникающий между представителями одного и того же класса — капиталистом и буржуазным интеллигентом, — несущественен. Иллюзии Полынова не мешают ему сомкнуться с Короедовым в общей борьбе против рабочего класса. Оба они, и Полынов и Короедов, в действительности выполняют ту же задачу — укрепляют капиталистический строй и правопорядок. Различны лишь методы, которые они применяют для достижения этой классовой цели, что обусловлено их неодинаковым положением внутри класса, несходством характера, воспитания и психологии.

Жизненный путь инженера Полынова — типичный путь либерального интеллигента. Фальшь, пустота, отсутствие подлинных идеалов характерны и для его семейных отношений.

Создав образ Полынова, писатель вскрыл действительное отношение либеральной интеллигенции к рабочему движению. Не менее убедительно и ярко он показал предательскую роль этой интеллигенции внутри самого движения. Студент Петя, брат жены Полынова, — типичный представитель меньшевистской интеллигенции. В начале романа Петя ведет споры с Полыновым, высказывает свою ненависть к буржуазии и сочувствие рабочим. Он выступает на рабочих митингах, любуясь при этом красотой собственной речи. В конце романа Петр, возмужавший и «остепенившийся», побывав в ссылке, отказывается от своих «ошибок» молодости и былых увлечений, становится единомышленником своего шурина.

Меньшевистской псевдореволюционности Серафимович противопоставляет в романе подлинную революционность массы, которую не сломят ни казачьи нагайки, ни тюрьмы. Всей логикой повествования Серафимович утверждает, что правда на стороне рабочего класса, что он неизменно победит.



1928 г.

Эта мысль писателя особенно рельефно выступает на последних страницах романа. Захар Короедов достиг могущества и богатства, но близок день падения его дома, неизбежна гибель короедовых. Знаменательна в этом отношении сцена, происходящая между Захаром и его сыном Сергеем. Когда Сергей падает на пол в припадке эпилепсии, старого Короедова охватывает ужас: «Трясясь, пополз старик по ковру, обнимая, оттягивая туго притянутую судорогой голову, удерживая дергающиеся руки и ноги, обирая губами пену с узких, в страшной синей улыбке, губ.

— Про-па-да-а-ю!.. — закричал тем волчьим голосом, как в степи.

И, как тогда, поднялась вся звериная мощь борьбы и отчаяния. Но путалась длинная, седая борода; ослабевшие старческие, плохо слушались руки, не могли удержать судорожно бившееся тело.

И он закричал:

— По-мо-ги-и-те!..»

На смену обреченным короедовым должны притти настоящие хозяева жизни, и в этом смысле символична концовка романа: «Только в одном месте слабый отсвет, как будто заря занимается в глубокий ночной час, не то месяц хочет всходить, или зарница оставила след, или люди слабо светят огнями в своей ночной жизни».

В романе имеются и слабые стороны: мало диференцирована в романе рабочая масса, в нем нет образов рабочих, столь же углубленных, как образы горьковских «Врагов». Изображая коллектив рабочих, Серафимович выделяет образы двух вожаков: Рябого и Волкова. Рябой до конца остается верным своим убеждениям и попадает в ссылку в Сибирь. Рабочий Волков постепенно отходит от революционного движения, приобретает домик, обрастает хозяйством и забывает о «грехах» молодости. Омещанивание отдельных групп «рабочей аристократии», отход их от революционного движения не снижает, однако, жизнеутверждающую идею романа. Рабочая масса верит в свое будущее, ощущает себя все более мощной революционной силой. Именно поэтому роман Серафимовича противостоял ренегатской буржуазной литературе, пытавшейся утверждать, что с революцией раз и навсегда «покончено».

В художественном отношении «Город в степи» является новым этапом в творчестве Серафимовича. Он построен как многоплановое полотно с пересекающимися сюжетными линиями.

В романе дано несколько фабульных линий, из которых главными являются: общественная и семейная коллизия инженера Полынова и история капиталистического предприятия Захарки Короедова. Эти две главных линии на протяжении романа тесно связаны между собой и непосредственно влияют одна на другую.

В «Городе в степи» вновь подтвердилось большое изобразительное мастерство художника. Яркие пейзажи степи сменяются картинами индустриального строительства, городских трущоб, железной дороги. Вот одно из таких мест романа: «Заколыхался белый султан над черным приземистым рабочим паровозом, и пошли говорить, мелькать друг за дружкой колеса, все ускоряя мелькание и говор; и побежали платформы, груженные песком, камнем, тяжело катящиеся, низкие, а в хвосте последняя весело и легко бежала — живая, открытая — и вся пестрела красными, синими, белыми рубахами, загорелыми лицами. Торчали лопаты, ломы, кирки, а по краю,

свесившись, мелькали над полотном в опорках, в лаптях, а больше босые загорелые грязные ноги».

В изображении этого нового пейзажа Серафимович предельно точен, ясен и экономен. Роман не только своей идейной направленностью, но и реалистическими художественными приемами противостоял литературе модернизма, с ее всевозможными формальными изысками и вывертами.

В ряде произведений Серафимович показывает уродование человека буржуазным строем, губительную власть денег над людьми. Наиболее значительное из них — небольшая по объему повесть «Пески», получившая высокую оценку Л. Н. Толстого. Л. Толстой нередко в оценке прочитанных произведений употреблял пятибальную систему — на полях повести «Пески» он поставил 5+. В повести изображается жизненный путь молодой женщины-батрачки, которая, мечтая о богатой жизни, корыстно вышла замуж за старика мельника. Слова мельника: «С деньгами, милая, не скучно, с деньгами, милая, везде весело» — глубоко запали в душу батрачки. Выйдя замуж, она проводит свою молодость в неутомимых заботах о хозяйстве. День ото дня она ждет смерти нелюбимого мужа, ощущая постоянную угрозу не получить желанного наследства. Наконец, отравив старого мельника, она достигает своей цели, становится наследницей его имущества. Но жизнь уже позади, она прошла ее однообразно и тускло. Повторяется старая история на новый лад: женщина, став хозяйкой, приближает к себе молодого батрака, обещая ему свое богатство. Молодой человек мучается, тоскует, но тоже соблазняется мечтой о собственной мельнице. И этот соблазн приводит к гибели новой человеческой жизни.

О непримиримости интересов батрака и хозяина Серафимович рассказывает в другом своем произведении — «Чибис». С большой силой и выразительностью описывается в этом рассказе тяжелая доля одного из тех крестьян, которых столыпинская земельная реформа разорила и заставила скитаться с семьей в поисках работы.

В ряде своих ранних рассказов, Серафимович показывает крестьян вдали от родной деревни, и основное внимание писателя направлено на раскрытие их психологии. Несколько в ином плане сделана повесть «Галина». Здесь писатель впервые подробно описывает заплесневелый быт столыпинской деревни, царящие здесь суеверие и предрассудки и всем повествованием внушает мысль, что надо изменить эту беспросветную жизнь. Однако, несмотря на то, что рассказы Серафимовича о крестьянах играли несомненно прогрессивную роль, все же следует отметить, что в течение длительного периода Серафимович показывал крестьян стоящими в стороне от революционного движения. Только в некоторых рассказах («Зарево», «У обрыва») Серафимович отметил возникновение революционных настроений среди крестьянства.

Повесть «Галина», созданная писателем уже в годы империалистической войны, не затронула темы революционизирования деревни. Но в рассказах Серафимовича о первой мировой войне мы уже ощущаем близость великих революционных событий. В то время как подавляющее большинство русских писателей было охвачено ура-патриотизмом, Серафимович изобразил устроенную империалистами бойню без всяких прикрас. В противовес не только махрово-реакционной, но и либеральной печати, вопившей о «благородной миссии России», о «христолюбивом воинстве», Серафимович разоблачил хищ-

ническнй характер этой вo̒йны. И еслн о̒н не вскрыл подлннных причнн возиикновеиия войны и ие изобличил организаторов кровавой мясорубки, то это только потому, что всю правду о войие ие дала бы печатать не только свирепая цеизура, но н либералы из «Русских ведомостей», в которых Серафимович печатал свон очерки и корреспондеиции с фроита.

Одиако, несмотря на все рогатки и препятствия, Серафимовнч сумел в свонх военных корреспондеицнях и рассказах показать, насколько войиа, как по своему характеру, так н по свонм имперналнстическим целям, была чужда народу.

«Термометр» — трогательная повесть о том, какое непоправнмое горе виесла войиа в семью, потерявшую едннствеиного кормильца. Больной мальчик проснт мать рассказать сказочку, как «папа рассказывал». Наивность ребеика, постояиио вспоминающего своего убитого папу, производит неизгладимое впечатлеиие. Неисчислимые экономические бедствия приносит война крестьяиам. Крестьянин не имеет даже сеиа для корма лошадн. У него «сосет» сердце, хотя ему личио война не принесла горя. «...Ну, веришь ли, тревога ссётъ сердце, и шабаш... Слышь, по всея Расеи тревогг пошла, по всей земле, как есть». И весьма миогозиачительны следующие слова мужика: «Ну, да после войны все разберется, дела будут» (рассказ «Сердце сосет»).

В очерке «В Галиции», из которого цеизура вырезала целые страницы, правдиво опнсывается, как войиа обрекла мириое иаселеине на бедствня и голодиую смерть.

В рассказе «Встреча» Серафимович высказывает мысль, которая как бы является ситезом всего иаписаииого им о войне: «Как ин калечит, как ни убивает, как ни терзает нас русская страшная действительиость, как ин мечутся искалечеииые, а есть жизнь, бьются сердца, и кто знает, как потрясающе будет нарушено тягостное молчаиие, с каким страшным грохотом рухнет строй».

Так уже в дореволюциоиный период писатель показал предпосылки будущей победы, которую одержал русский народ, руководимый партней большевиков. С первых же дней Октябрьской революцни Серафимовнч решнтельио встал иа ее сторону. Он всей душой с революцнонным народом, думы и чаяния которого ои разделяет, с большевистской партией, в ряды которой он вступает вскоре после Октябрьской революции. Серафнмович активно сотрудиичает в большевистской прессе, принимает на себя заведывание литературно-художествсиииым отделом «Известий», за что, как он сам пншет в своей автобиографии, «был торжественно изгнаи из «Среды», буржуазиыми писателями, не принявшимн революцию. И Серафимович, с прнсущим ему юмором, рассказывает об этом инцидеите, который означал окончательный разрыв между писателем и литературной средой, когда-то его приютнвшей. «Пришел я, — вспоминал впоследствии Серафнмович, — как обычно и раньше приходил; вдруг встает одии художник... и говорит: «Г.г.! прежде чем приступить и пр., я должеи сделать заявленне, — среди нас находится лицо, которому не место здесь; это лнцо взяло на себя руководство художественным отделом в газете «Известия Московского Совета РД» и напечатало там рассказ, и дальше неизвестио, чего еще можио ожидать. Я выиужден просить это лнцо покинуть нас...»

В ответ на бойкот и травлю, поднятую против него, Серафимович писал в фельетоне «В капле», что пропасть, которая возникла между ним и буржуазными писателями, объясняется одним, но роковым словом: «наступила социалистическая революция, и, как масло от воды, отделилось все имущее от неимущего. И стали мужики и рабочие на одном краю глубочайшей пропасти, а имущие и так или иначе связанные с ними — на другом». «Одно мне непонятно, — писал он далее, — перед одним я останавливаюсь в великом недоумении: отчего затемнились часто зоркие творческие глаза художников? Отчего мимо них, как мимо ослепых, проходит красота, грандиозность совершающегося? Как творчество художников не заразится жаждой отображения невиданной общественной перестройки?»

Сам Серафимович весь свой талант и самого себя отдает на службу этой грандиозной перестройке, той новой жизни, о которой он мечтал в своем дооктябрьском творчестве. Он пишет публицистические статьи, фельетоны, агитки, корреспонденции с фронтов гражданской войны, в которой он принимает участие в качестве корреспондента «Правды». И во многих произведениях этих лет звучит гордость за содеянное народом, радость победы.

Результатом пристального изучения и глубокого понимания Серафимовичем новой революционной действительности явилось его лучшее произведение «Железный поток». В этой «сумме» писательской деятельности Серафимовича нашла свое яркое реалистическое воплощение идея, еще ранее овладевшая им — идея революционной закалки стихийной неорганизованной массы. О своем стремлении воплотить эту идею в художественное произведение заявлял сам Серафимович. «Я очень пристально присматривался, — писал он уже после того, как повесть была издана, — прислушивался, когда мне рассказывали сами участники борьбы яркие, но отдельные эпизоды... Мне много рассказывали о разных событиях гражданской войны в Сибири и на Урале, да и сам я кое-что наблюдал, но это были отдельные факты, отдельные эпизоды, хотя и очень интересные. Участие крестьянства во всем объеме в них не укладывалось».

И Серафимович ищет эпизод из времен гражданской войны, на фоне которого он смог бы показать, как крестьянские массы идут к пролетариату, чтобы вместе с ним сражаться за окончательное освобождение. Таким эпизодом и явилось героическое отступление в 1918 году Таманской армии, окруженной вследствие предательства ставленника Троцкого Сорокина превосходящими силами казачьей контрреволюции, грузинских меньшевиков и немецких оккупантов. На этой внешней канве изумительного пятисотверстного похода с боями Таманской армии и строит свое повествование Серафимович. Он с огромным мастерством показывает, что это не только движение десятков тысяч людей от ст. Крымской к Северному Кавказу, но и главным образом переход людских масс из старого мира в мир революции.

На первых же страницах повести Серафимович подчеркивает, что поход таманцев начинался в исключительно трудной обстановке всеобщего разброда и анархического произвола: «Не то это ярмарка... не то — табор переселенцев... не то — армия. Но почему же со всех сторон плачут дети; на винтовках сохнут пеленки; к орудиям подвешены люльки; молодайки кормят грудью; вместе с артиллерийскими лошадьми жуют сено коровы...»

Все это людское море, все эти бондари, парикмахеры, столяры, матросы,

солдаты царской армии, рыбаки из станиц, «иногородние» и казаки собираются на митинг. Они кричат выступающему командиру:

«— Пошел к чорту!..

— Долой!..

— К бисовой матери!

— Ня надо...

— Начальник, мать вашу!..

— Али в погонах не ходил?!

— Та вин давно срizав их...

— Чего гавкаешь?..

— Бей его, раззтак их!»

От слов тут недалеко и до дела. Но внезапно эта многоголосая, анархическая людская масса узнает о нависающей над ней грозной опасности — поднимаются богатые контрреволюционные казачьи станицы, казацкое кулачье рубит и вешает бедняцкое население. И перед лицом опасности, исходящей от общеклассового врага, начинается процесс преодоления партизанщины, превращения недисциплинированных, разрозненных отрядов в грозную боевую силу, все сокрушающую на своем пути, побеждающую именно потому, что на ее стороне правда, что она является частью всей революционной армии.

Спаянная стихийным революционным сознанием народная масса — рабочие, крестьяне, батраки, ремесленники — избирает себе в вожди Кожуха и начинает свой беспримерный 32-дневный поход на соединение с Красной Армией. Эта народная масса — подлинный герой повести. И Серафимович с громадным мастерством описывает титаническую борьбу народа-героя с голодом, всевозможными лишениями и наседающим со всех сторон врагом, раскрывает сложный процесс формирования революционного сознания у различных социальных групп, из которых состоит Таманская армия.

По мере продвижения руководимых Кожухом колонн все ярче и значительнее становится облик героической народной массы, все яснее осознают бойцы «Железного потока» смысл борьбы, все более непосредственное участие принимают они в укреплении дисциплины армии, в ее боевых операциях. В трудные, решающие минуты боев «К Кожуху со всех сторон ползут донесения, указания, разъяснения, планы, иногда неожиданные, остроумные, яркие, — и общее положение выступает отчетливо». Чем дальше идут с боями таманцы, тем все больше каждый из них проникается сознанием ответственности, все больше чувствует себя солдатом революции, и перед атакой белогвардейских позиций «Каждый из солдат проползал в темноте, щупал, мерил обрыв. Каждый солдат залегших полков (Кожуха) знал, изучал свое место. Не ждал, как баран, как и куда пихнут командиры».

Постепенно та анархическая масса, которую писатель изобразил на первых страницах повести, вырастает в несокрушимую силу, превращается в один из передовых отрядов революции.

Показ перевоспитания отдельных отрядов, в которых имелись анархически настроенные элементы, а также бойцы, с трудом уяснявшие себе смысл происходивших грандиозных событий, представлял немалые трудности для писателя. Еще сложнее было показать перековку наиболее отсталых таманцев, которые в обозе тянулись вслед за армией. Однако и с этой труднейшей задачей Серафимович справился превосходно, справился потому, что им

руководил партийный взгляд на людей и события. Этот процесс переплавки сознания, его революционизирования, раскрывается писателем во всем его диалектическом значении. Вот баба Гарпина — один из основных образов повести, она представительница бедного «иногороднего» населения казацких станиц. Писатель отмечает в начале повести, как сильны в ней мелкособственнические инстинкты. Ей еще нет дела до революции, для нее важней всего на свете самовар, ведь она принесла его в приданое мужу, заветно берегла его для дочери, когда будет выдавать ее замуж. Измученная тяжелой жизнью, баба Гарпина не желает и знать о каком-то прорыве, соединении с главными силами Красной Армии. Она истошно кричит: «И слухать не будемо, и не вякай, стерьво ты коиячее... А-й! Корова була та дви пары быкив, та хата, та самовар — дэ воно всэ?.. ... Як замуж мене за старика отдавалы, мамо и каже: от тоби самовар, береги его, як свой глаз; будешь помирать, щоб дитям твоим и внукам. Як Анку буду выдавать, ей отдам. А теперь усе бросилы, худобу усю бросилы...»

Те же собственнические интересы, та же психология и у многих других таманцев.

«— То куды мы идемо? Чого шукаты?.. Ведь — разоренье; все бросили, и скотинку и хозяйство...»

Серафимович не идеализирует таманцев, но он в то же время показывает, как ненависть к поработителям будит в них революционное сознание, как общая обстановка помогает им найти единственно правильный путь — путь к советской власти. «Кому пахать-то — пийдемо?! — закричали тонкими голосами бабы. — Опять же козакам, та ахвицерам.

— Чи опять в хомут?

— Пид козачий кнут? ...пид ахвицеров, та генералов!»

В походе и боях истощаются физические силы таманцев, но крепнет, проясняется их сознание. Баба Гарпина, которая ранее горевала о потерянном самоваре, после завершения похода, радостно восклицает: «Нэхай пропадае самовар. Нэхай живэ наша власть, наша ридна, бо ми усю жисть горбы гнули, та радости не зналы». Бурная радость победы над врагом, над собой охватывает даже наиболее отсталых таманцев — это радость прозренья. Заговорил и всю жизнь молчавший муж Гарпины, все пропало у него, но он говорит: «Не жалко!.. Нэхай! нэ жалко, нэхай... бо це наша крестьянская власть...» — и заплакал скупыми слезами».

Это глубокое чувство радости и спаивает всех таманцев. Они охвачены чувством законной гордости, «...что отрезанные неизмеримыми степями, непроходимыми горами, дремучими лесами, они творили — пусть в неохватимо меньшем размере, — но то самое, что творили там, в России, в мировом, — творили здесь, голодные, голые, босые, без материальных средств, без какой бы то ни было помощи. Сами. Не понимали, но чувствовали и не умели это выразить.

До самой до синевы вечера, сменяя друг друга, говорили ораторы; по мере того, как они рассказывали, у всех нарастало ощущение неохватимого счастья неразрывности с той громадой, которую они знают и не знают, и которая зовется Советской Россией».

По идейной насыщенности, сложности композиции, по силе образа народа-героя и чудесному языку «Железный поток» не только вершина

творчества Серафимовича, но и одни из лучших образцов искусства социалистического реализма. Наряду с глубоким, партийным анализом того сложного процесса, который происходил в сознании идущих к революции крестьянских масс, писатель создал в «Железном потоке» впечатляющие, по своей жизненной правде, картины человеческих отношений. «Железный поток» эпически широк, реалистичен и в то же время глубоко эмоционален, драматически насыщен людскими страстями от пылающей ненависти до нежнейшей материнской любви.

Могуче перекатываются волны «Железного потока», идут кровавые бои, но «...у каждого свое. Под повозкой, придвинутой к самому плетню, как будто горлинка воркует. И откуда бы горлинке ночью ворковать под повозкой у плетня, ворковать и делать гулюшки и пускать пузыри маленьким ротиком? «Ввв-ва:..» Но, должно быть, кому-то это сладко, и милый грудной материнский молодой голос тоже воркует:

— Та що ж ты, мое квиточко, мий цвиточек? Та покушай ще. Ну, на! Та що ж ты нз берэшь? От як мы умием—головой верть, та языком геть мамкину сиську.

И она смеется таким заразительно-счастливым смехом, что кругом посветлело. Не видать, но наверное, черные брови и мутные серебряные серьги в маленьких ушах».

Вскоре эту светлую материнскую радость сменяет тяжкое горе. Колонна, руководимая Кожухом, спускается к морю. На рейде стоит немецкий броненосец, который заметил «непредусмотренное движение в чужом, но под его кайзеровскими пушками, городе», приказывает, чтобы отряд Кожуха сложил оружие. Не получив ответа на свой ультиматум, он начинает обстрел колонны. «Второй раз с броненосца ослепительно блеснуло громадным языком, опять грохнуло в городе, покатилось в горах, через секунду глухо отозвалось за морской гладью; опять родился в сверкающей голубой высоте снежный комочек, в разных местах со стоном попадали люди, а на повозке, на руках у молодки с черными бровями и серьгами в ушах, торопливо сосавший грудь ребенок обмяк, отвалились ручонки, и губки, холодея, раскрылись, выпустив сосок.

Она закричала диким, звериным голосом. К ней кинулись, она не давалась, злобно вырываясь и суя в холодеющий ротик грудь, из которой белыми каплями капало молоко...»

Наряду с переживаниями, настроениями отдельных героев, Серафимович ярко и выпукло раскрывает психологию массы в целом. Один из таманцев сидит у костра, окруженный людьми, и спокойно, бесстрастно рассказывает о мучительной смерти многих тысяч матросов и раненых солдат в городе, который после ухода Таманской армии захватили белогвардейцы. Рассказчик все время освещен светом костра, а слушателей его то озаряет брошенное в огонь держи-дерево, то вновь мрак поглощает их. Эта искусно вплетенная писателем в рассказ таманца игра светотеней подчеркивает значительность его повествования, как бы объединяет стоящих вокруг него в едином, невысказанном чувстве.

Еще более ярко и впечатляюще раскрыта писателем психология массы, показано ее единство в другом эпизоде повести. Генерал Покровский зверски расправляется с рабочими Майкопского завода, заподозренными в связях

с большевиками. В назидание подходящей Таманской армии пятеро из них повешены на придорожных столбах. Получив об этом донесение, Кожух приказывает пропустить мимо полки, беженцев и обоз. И таманцы проходят мимо скорбных столбов, обнажив головы.

«Проходят тысячи, десятки тысяч людей. Уже нет взводов, нет рот, батальонов, нет полков, — есть одно неназываемое, громадное единое. Бесчисленными шагами идет, бесчисленными глазами смотрит, множеством сердец бьется одно необхватимое сердце».

«Железный поток» замечателен своей великой жизненной правдой.

Эта жизненная правда присутствует на каждой странице повести, и вряд ли самый тщательный разбор повести может больше сказать о ней, чем сказал один из участников похода Таманской армии. «Читая данное произведение, — писал он, — мы остаемся в недоумении, откуда т. Серафимович мог знать все детали быта нашей Таманской армии. Неужели он был вместе с нами? Мне, лично, и самому приходилось встречаться со многими бойцами и командирами наших таманских полков, говорить о Серафимовиче — о написанном им «Железном потоке» — его никто не знает. А произведением «Железный поток» все восхищаются и удивляются, что так правильно все описано» [1].

О том, что «Железный поток» глубоко правдивое, жизненное произведение, — говорили в своих письмах и многие другие читатели. И сам Серафимович подтверждал, что он тщательнейшим образом изучал историю легендарного похода Таманской армии, стремился возможно точнее воплотить в художественной форме основные эпизоды героического перехода. В этой связи интересно отметить и следующий факт: писателя упрекали в том, что он показал черноморских матросов как наиболее анархическую часть Таманской армии. В ответ на эти обвинения Серафимович заявлял: «...из песни слова не выкинешь, а я больше всего боялся неправды. Но как же, в самом деле, с матросами? Ведь мы все отлично знаем, что в царской армии и флоте матросы были самым революционным элементом. Но вот, когда в Новороссийске матросы топили флот, который по Брестскому миру надо было передать немцам, они вынули из корабельных касс все деньги... Потом закрутились, стали пить, гулять... Но это даром не прошло: матросы стали разлагаться, и когда началось контрреволюционное восстание казаков и громадная масса беженцев стала уходить, матросы почуяли, что их всех до одного перережут казаки. Часть матросов осталась в Новороссийске, и этих офицеры живыми закапывали в землю; другая же часть матросов влилась в отряд Кожуха и стала разлагать его...» В заключение писатель отмечал, что «в художественном произведении надо прежде всего избегать вранья и подкрашивания».

Ярки, убедительны и правдивы эпизоды боев таманцев с белыми казаками и грузинскими меньшевиками. Эти батальные зарисовки разнообразны и оригинальны, но вместе с тем исторически верны. В свое время было не мало споров по поводу тех или иных событий, изображенных в «Железном потоке», и, в частности, высказывались сомнения по поводу показанной в

[1] Приведено И. Кубиковым в книге «Комментарии к повести А. Серафимовича «Железный поток», стр. 59.

повести драки между белыми казаками и таманцами. Однако этот эпизод действительно имел место в начале похода таманцев и писатель очень тонко показывает психологические предпосылки этой неожиданной схватки, когда враги, побросав оружие, стали тузить друг друга кулаками.

На поле боя встретились бывшие соседи, хаты их стоят рядом, но один из них сын кулака, а другой — бедняка, и долго сдерживавшаяся ненависть, наконец, прорывается, выливается в неудержимое желание добраться до врага, почувствовать, как под кулаками трещат его кости. Они бросаются друг на друга, а за ними вступают в рукопашную и другие солдаты и казаки. «Заревели казаки, кинулись с говяжьими глазами в кулаки, и весь сад задохся сивушным духом. Точно охваченные заразой, выскочили солдаты и пошли работать кулаками, о винтовках помину нет, — как не было их».

Столь же ярко, но совсем уже в другом плане дана кровопролитная схватка таманцев с грузинскими меньшевиками. Сражение с грузинскими контрреволюционными войсками, перегородившими дорогу Таманской армии, изображено двояко: писатель сначала раскрывает перед читателем тактический план таманцев: удар в лоб и одновременно обход вражеской позиции с фланга: затем показывает, казалось бы, неприступную позицию меньшевиков, на которой разыгрывается позднее бой.

Вводя читателя в стан врагов таманцев, писатель не упускает случая противопоставить революционной сплоченности и закалке командиров и бойцов Таманской армии изнеженность и безидейность, царящие в лагере грузинских меньшевиков. Из этого сопоставления читатель делает сам логический вывод, что должны победить таманцы голодные и оборванные, но спаянные великой идеей свободы.

В «Железном потоке» художественное мастерство писателя достигло своей наивысшей точки. Стиль его предельно экономен и точен. Особо следует отметить вдохновенное воспроизведение писателем родных пейзажей. Еще ни в одном из своих произведений Серафимович не изображал природу с такой любовью и силой, как в «Железном потоке». «Найкращий край», — говорит писатель о родных местах, и это действительно так, ибо «...от моря густо-синею громадой громоздятся горы; верхи завалены первозданными снегами, глубоко залегли в них голубые морщины... А от гор а от морей потянулись степи, потянулись степи и потеряли границы и пределы... Безгранично лоснится пшеница, зеленеют покосы, либо без конца шуршат камыши над болотами...»

Великая сила правды, которой проникнута каждая страница повести, реалистическое изображение одного из участков фронта гражданской войны, создание незабываемого образа героя-народа, идущего к революции, высокие художественные достоинства сделали из «Железного потока» одну из любимейших книг советского народа, создали этому произведению Серафимовича немеркнущую славу. «Железный поток» — классическое произведение советской литературы.

После «Железного потока» тема гражданской войны нашла свое выражение в целом ряде рассказов Серафимовича. Серафимович ярко запечатлел героику борьбы нашего народа с интервентами и белогвардейцами. Он показал, как уже в ходе великой освободительной борьбы формировался характер советского человека, беззаветно преданного народному делу.

Рассказ «Революция не ждет» показывает нерасторжимое единство фронта и тыла в гражданской войне, когда народ поднялся на борьбу с белогвардейщиной. Рассказ рисует типичный эпизод — уральские рабочие пополняют поредевшие ряды красного отряда. Несокрушимой верой в победу проникнуты слова командира отряда: «Мы отступаем, но мы не разбиты. Вырвемся, сожмемся в кулак, подойдут подкрепления... Сломим врага!»

Серафимович в нескольких выразительных штрихах — воспроизводит портрет славного героя гражданской войны Серго Орджоникидзе; его непреодолимую всепобеждающую волю.

По поводу этого рассказа Серафимович впоследствии писал: «Товарищ Орджоникидзе произвел на меня и на всех нас незабываемое на всю жизнь впечатление. Мы сразу почувствовали в нем несгибаемую большевистскую волю. В его бесстрашии, в его непримиримости к врагам и вере в правоту и силу партии, в его умении взволновать массы и покорить ее огненным словом чувствовался непоколебимый вождь. И одновременно искренняя товарищеская простота. Именно такой человек нужен был в ту пору для проведения в жизнь сталинской политики дружбы народов».

В целом ряде рассказов Серафимович рисует мужественные образы рядовых участников великой освободительной борьбы. Среди них внимание писателя привлекают образы девушек, ставших в ряды борцов бок о бок с мужчинами. Вот девушка (рассказ «Две смерти»), пришедшая в Московский совет со словами: «Я ничем не могу быть полезной революции. Я б хотела доставлять вам в штаб сведения о юнкерах. Сестрой — я не умею, да сестер у вас много. Да и драться тоже — никогда не держала оружие. А вот, если дадите пропуск, я буду вам приносить сведения».

Девушка мужественно идет навстречу опасности. Она достает и приносит ценные сведения о расположении юнкеров. Когда юнкера ведут ее на расстрел, она перед смертью сохраняет мужество и веру в правоту дела, за которое отдает жизнь.

В создании ярких, живых образов женщин, участников гражданской войны, несомненная писательская заслуга Серафимовича, который одним из первых писателей показал процесс формирования новых качеств характера советской женщины. Этим Серафимович подчеркнул всенародное дело революционной борьбы, вовлекшей в свои ряды действительно широкие массы.

Серафимович пишет о лучших представителях старой русской интеллигенции, которая, всем сердцем сочувствуя большевикам, приняла живейшее участие в созидании советской культуры. Большой интерес в этом смысле представляет очерк о К. Тимирязеве.

«К. А. Тимирязев, — пишет Серафимович, — формально не принадлежит к коммунистической партии, но внутренно он целиком идет навстречу всему, что строит большевизм, что строит партия.

Профессор Тимирязев — глубоко искренний человек. И то, что такой человек целиком на стороне строительства коммунистов, показывает всю мелкую, подлую гнусность меньшевистской и буржуазной своры, которые, задыхаясь, неустанно лгут о варварстве коммунистов, об азиатчине и прочем.

— Чтобы судить о людях, чтобы судить об обществе, — говорил он мне

как-то мимоходом, — надо посмотреть, как они обращаются с детьми. А вы посмотрите, как здесь, кивнул он на взрослых, которые шалили и любовно ласкали бегающих ребятишек.

Это крохотное замечание внутренне открыло мне еще раз всего Тимирязева. Еще в семнадцатом году он шел подавать голос за большевиков, когда и речи не могло быть о том положении для них, какое они заняли теперь. Но и сейчас его зоркий, привыкший к наблюдениям, глаз охватывает малейший факт, который служит доказательством верности его оценки и его отношения к большевикам, — он доверяет только фактам».

В ряде рассказов советского периода Серафимович, наряду с изображением прошлого, показывает пробуждение масс к новой жизни в процессе строительства социализма.

Страницы его рассказов воспроизводят рождение нового как в общественной жизни, так и в быту советских людей. Какую бы сторону жизни ни освещал писатель — будь это комсомольская свадьба или деятельность общественной организации трудящихся,— он всюду подмечает черты рождающейся новой психологии, нового взгляда на мир.

В рассказах «Девушка гор» и «Черкес» Серафимович показывает, как новые социальные взаимоотношения входят в среду ранее угнетенных народностей.

Серафимович запечатлел великий процесс социалистического преобразования советской деревни («По Донским степям», «Колхозные поля», «Тракторист поневоле», «Бригадир»). В 30-х годах, когда советское крестьянство прочно стало на колхозный путь, Серафимович задумал написать роман о первых этапах коллективизации сельского хозяйства на своем родном Дону. Он поставил целью показать, как «новая коллективная обстановка переделывает казака в сознательного колхозника. А главное хотелось изобразить — во всей реальности — районных партийцев, подлинных творцов этой новой колхозной жизни». Война помешала Серафимовичу закончить работу, и замысел оказался воплощенным лишь в отдельных очерках, запечатлевших героизм и самоотверженность деревенских коммунистов. В рассказе «В народе» Серафимович показывает, какой любовью колхозного крестьянства окружено имя великого вождя народов товарища Сталина.

Серафимович постоянно выступал проводником идей партийности литературы. Он высоко оценивает произведения, сыгравшие выдающуюся роль в развитии советской литературы. В своих статьях о Дмитрии Фурманове, Ф. Гладкове, М. Шолохове он учит молодых писателей высоким требованиям социалистического искусства.

Престарелый писатель считал себя в боевом строю и тогда, когда советский народ выступил на борьбу с немецкими захватчиками, Серафимович не только запечатлел правдивые эпизоды войны, он с глубокой верой в великую силу идей коммунизма показал подлинные источники непобедимости советского народа. В очерке «Народ Титан» Серафимович писал: «Наш народ в Отечественной войне победил врага, так как понимал и понимает великие цели борьбы. Он видит не только ближайшее завтра, но и далеко вперед, и готов бороться за свое будущее. Наши люди выросли настолько, что главное для них — не личные интересы, но интересы и благо нашей прекрасной Родины».

В дни Отечественной войны восьмидесятилетний Серафимович побывал в Действующей армии. На него сильное впечатление произвели бойцы Советской Армии, их мужество и героизм.

Великую силу освободительных идей коммунизма Серафимович раскрыл в многочисленных своих произведениях.

Писатель ярко запечатлел свою встречу с великим Лениным, во время которой ему превосходно раскрылся образ великого вождя революции и простого задушевного человека. Описав свою встречу и разговор с Ильичем, Серафимович заметил: «Мысль Ленина точно стрелка компаса всегда обращена была в сторону классовых интересов трудового народа».

В. И. Ленин уже в первые годы революции оценил большую роль произведений Серафимовича и в письме к нему писал: «...ваши произведения и рассказы сестры внушили мне глубокую симпатию к Вам, и мне очень хочется сказать Вам, как нужна рабочим и всем нам Ваша работа...»[1]

В очерке «У нас одна цель — коммунизм» Серафимович писал в связи с награждением его Сталинской премией. «Наша многолетняя работа удостоилась самой высокой оценки — народного признания. Сталинская премия мобилизует нас на служение Родине, пока хватит сил, до конца жизни. Награды блеснули ярким светом, и мы, все писатели, с новой силой, с новой бодростью должны работать и служить нашей чудесной Социалистической Родине. У нас одна цель — коммунизм».

Центральный Комитет ВКП(б), в связи с 70-летием Серафимовича, в своем приветствии писателю писал:

«ЦК ВКП(б) горячо приветствует пролетарского писателя товарища Серафимовича А. С. в день его 70-летия. Коммунистическая партия высоко ценит тов. Серафимовича, как пролетарского писателя-революционера, творца классического произведения «Железный поток». ЦК ВКП(б) желает тов. Серафимовичу здоровья и сил на дело служения рабочему классу, на дело полного торжества социализма».

Незадолго до смерти (19 января 1949 года), А. С. Серафимович, обозревая свой пройденный долгий путь, сказал:

«Мне выпало большое счастье. Я стою на пороге коммунизма. Коммунизм подходит в пламени войн, порою в голоде, в холоде, в смертельных муках, медленно, но непрерывно, неуклонно и неотразимо. Но он, коммунизм, с несокрушимой силой мнет старые привычки жизни, старые отношения людей друг к другу, прокладывая новые пути».

Жизненный и творческий путь Серафимовича — пример самого благородного и чистого служения народу; это путь писателя, отдавшего весь свой вдохновенный труд и большой талант строительству новой жизни.

Творчество Серафимовича составляет яркую страницу в истории советской литературы.

А. Волков

---

[1] Из письма В. И. Ленина от 21 мая 1920 г., Сочинения, т. XXIX, стр. 518.

РАССКАЗЫ И ОЧЕРКИ

НА ЛЬДИНЕ

I

Мохнатые сизые тучи, словно разбитая стая испуганных птиц, низко несутся над морем. Пронзительный, резкий ветер с океана то сбивает их в темную сплошную массу, то, словно играя, разрывает и мечет, громоздя в причудливые очертания.

Побелело море, зашумело непогодой. Тяжко встают свинцовые воды и, клубясь клокочущей пеной, с глухим рокотом катятся в мглистую даль. Ветер злобно роется по их косматой поверхности, далеко разнося соленые брызги. А вдоль излучистого берега колоссальным хребтом массивно поднимаются белые зубчатые груды нагроможденного на отмелях льду. Точно титаны в тяжелой схватке накидали эти гигантские обломки.

Обрываясь крутыми уступами с прибрежных высот, к самому морю хмуро надвинулся дремучий лес. Ветер гудит между красными стволами вековых сосен, кренит стройные ели, качая их острыми верхушками и осыпая пушистый снег с печально поникших зеленых ветвей. Сдержанная угроза угрюмо слышится в этом ровном глухом шуме, и мертвой тоской веет от дикого безлюдья. Бесследно проходят седые века над молчаливой страной, а дремучий лес стоит и спокойно, сумрачно, точно в глубокой думе, качает темными вершинами. Еще ни один его могучий ствол не упал под дерзким топором алчного лесопромышленника: топи да непроходимые болота залегли в его темной чаще. А там, где столетние сосны перешли в мелкий кустарник, мертвым простором потянулась безжизненная тундра и потерялась бесконечной границей в холодной мгле низко нависшего тумана.

На сотни верст ни дымка, ни юрты, ни человеческого следа. Только ветер крутит столбом порошу да мертвая мгла низко-низко ползет над снеговой пустыней.

Раз в году заходит и сюда беспокойный человек, нарушая угрюмое безлюдье дикого побережья. Каждый раз как ударит лютый мороз и проложит крепкие дороги через топи и тундры,

а на море в мглистой дали обрисуются беспорядочные очертания полярных льдов, грозно надвигающихся с океана, — с далеких берегов Мезени и из прибрежных селений, через тундры и перелески старого леса, скрипя железными полозьями по насквозь промерзшему снегу, тянутся оригинальные обозы: низкие ветвисторогие северные олени, запряженные в длинные черные лодки на полозьях, гуськом идут друг за другом, осторожно ступая по крепкому насту, а рядом тяжелой, увалистой походкой широко шагают косматые белые фигуры.

И с угрюмой досадой видит старый лес, как раскидываются станом на несколько верст по его опушке незваные гости.

II

Стоит Сорока на торосе, в руках длинный багор держит и пристально смотрит в холодную даль. А там, почти на самой черте горизонта, сквозь мглистую изморозь смутно выделяются и растут неправильными очертаниями белые груды. Сорока застыл в напряженном ожидании. Все приметы к тому, что быть промыслу: птица крячет, с моря низко по ветру летит, и ветер-глубник встал. Мгла ползет над самой землей, за верхушки сосен цепляет, бор зашумел. Да, должен промысел попасть. И зорко всматривается он в холодную даль, старается разглядеть, нет ли добычи: над самым морем ходят туманы — не различает глаз.

День погасал. Ветер гудел в сосновом бору и в вихре крутил порошистый снег. Отовсюду ползли безжизненные серые зимние сумерки, заволакивая пустынный берег. Там и сям из-за массивных ледяных глыб виднелись косматые белые фигуры с длинными баграми в руках, напряженно всматривавшиеся в мглистую даль. Море глухо шумело. Вдали безобразною белою грудой смутно надвигалась громада льдов.

Глянул Сорока по берегу, смотрит — за соседним обломком льда Ворона стоит с багром, туда же глядит. Посмотрел на него Сорока, и темно стало у него на душе. Здоровый мужик Ворона, совик на нем олений добрый, бафилы новые; стоит себе, на багор слегка оперся, глядит на море, видно, не тужит: попадет промысел — Ворона новую шхуну пустит, еще пуще торговать начнет; не попадет — горевать не будет.

Да и сам Ворона надрывать себя на промыслах очень не станет: для него набьют зверя покрутчики. И Сорока пошел от него покрутчиком, и за то, что Ворона снабдил его теплой одежей, должен отдать ему половину добычи.

Ветер зашумел, разорвал туман и колеблющейся пеленой отнес безжизненную мглу к самому горизонту. Глянул Сорока, встрепенулся. Позабыл и Ворону, и олений совик его новый, и свою досаду на него, и то, что он должен отдать ему половину

добычи, — позабыл все Сорока и впился зоркими глазами в посветлевшую даль.

А там, на сколько хватало глаз, тянулась, надвигаясь к берегу, изрытая, изборожденная ледяная равнина, уходя в холодную серую дымку далекого горизонта. Громадные синеватые глыбы, стоймя торчавшие над белесоватою массою мелкого льда, медленно поднимались и с треском рушились, выжатые снизу напором прибывающей воды. Тяжело надвигались ледяные поля, и смешанный гул висел над ними, не похожий на морской прибой. Точно бог весть откуда смутно докатывались глухие раскаты урагана.

Видит Сорока, едва глаз улавливает — черными точками реют птицы. Загорелись у него глаза. «Есть!» Собрал он в кольца ременную веревку, попробовал багор, взял палку кривую, приготовился, ждет, пока льды подойдут к самому берегу.

Огляделся, видит, — день совсем кончается. Недолог бывает он на этом далеком берегу. Чуть-чуть выглянет солнышко из-за туманного горизонта холодными лучами на каких-нибудь полтора часа — и снова спешит опуститься почти в той же точке, откуда и взошло.

Сквозь разорванную мглу скользнул последний безжизненный луч, заиграл мириадами радужных искорок в снежинках, отразился во льду тороса и на мгновение бледно осветил и глухо рокочущее льдистое море, и этот бесприютный, одетый печальным саваном берег, и сотни разбросанных вдоль его человеческих фигур.

На заискрившихся снежных сугробах прибрежных холмов там и сям темными пятнами выступали закоптелые, насквозь пропитанные дымом убогие промысловые избушки.

Снова зашумел ветер, набежал мглой и разом задернул погасавшее светило. Безжизненный, унылый колорит лег на всю окрестность.

III

Первые воды прилива добежали до берега и омыли подножье тороса. Смолкли шумевшие до того волны, придавленные тяжкой грудой. И как придвинулись ледяные поля к самому берегу — гул пошел окрест и рокотом отдался в глубине бора. Послышалось могучее шипение, шорох, треск ломающихся глыб, словно надвигалось стоногое чудовище. Передовые льдины, столкнувшись с торосом и сжатые тяжело напиравшей массой, рассыпая белую пыль, ползли на вершину, громоздились в причудливые горы. Звуки смешивались в хаотический гул. Тонкая ледяная пыль висла в воздухе и уносилась ветром. Движение ледяной массы, встретив преграду, превратилось в колоссальную энергию разрушения: в несколько минут вдоль всего берега ломаными очертаниями тяжело поднялись новые громады.

Только подошел лед к берегу, как несколько сот промышленников кинулись вперед.

Сорока спустился на лед одним из первых. Прыгая со льдины на льдину, скользя, проваливаясь по пояс в наметенный ветром снег и лед, он бежал вперед. Ледяные обломки с грохотом валились по его следам. Всем его существом овладела одна мысль, неотступная, напряженная, как дрожащая струна, отдававшаяся в груди с каждым ударом быстро стучавшего сердца: «Кабы напасть, поспеть... Царь небесный... Владычица!.. Осколки льда брызгами летели из-под бафил. Ветер свистел в ушах и бил в лицо ледяными иглами, одевая бороду и усы пушистым инеем. А он ничего не замечал и бежал все вперед.

Спускалась ночь. Берег неясными очертаниями терялся в мглистой дали. Он остановился на мгновение и, затаив дыхание, чутко насторожил слух. Кругом было пусто, и шумел ветер. Необозримая ледяная равнина уходила в сгущавшиеся сумерки. Он пробежал версты две и стал уставать. «Господи, не нападу... пропущу! — с отчаянием думал он, — а надо ворочаться, воды уйдут!»

При одной мысли, что он вернется с голыми руками, по нем пробегала дрожь. Курная избушка, семья, дети ждут... Он припал ко льду и чутко приник ухом: откуда-то справа донеслись звуки, чрезвычайно похожие на плач дитяти. Мгновенно слетела усталость, он кинулся в ту сторону и опрокинулся навзничь: перед ним зияла темная щель. Пришлось обегать. Обливаясь потом, он, наконец, различил в начинавшей быстро сгущаться темноте неясные очертания каких-то темных масс.

В один прыжок Сорока был там. Здесь расположилась целая семья тюленей: громадные неуклюжие звери безобразными темными глыбами неподвижно лежали на льду. Заслышав человека, они всполошились и, опираясь на передние ласты, высоко подняв уродливые головы, неуклюже поволокли свое тяжелое тело. Очевидно, в присутствии врага они худо чувствовали себя на льду, далеко от своей родной стихии.

Нагнав ближайшего, Сорока изо всех сил махнул ему палкою между глаз. Зверь припал головою ко льду, в воздухе свистнул багор, железное острие до самого крючка вбежало в переносицу.

Капли горячей крови брызнули в лицо, и громадный зверь, которого в другое место и ружейная пуля не берет, неподвижно вытянулся на льду. Меткими ударами Сорока положил еще несколько зверей.

Привычной, слегка дрожащей от волнения и усталости рукой быстро снимал он с убитых зверей шкуры и толстый слой сала. Снимает Сорока шкуры, спешит, а сам прикидывает, сколько выручит. Весело и легко стало Сороке, и сам себе ухмыляется в бороду. Если каждый раз будет так удачливо, сразу хозяйство станет на ноги.

А время не ждет, бежит — того и гляди, начнется отлив. Заспешил он, схватил кожи и сало, скатал все в большой юрок, прикрутил ременной лямкой, накинул на плечо и поволок по льду. Трудно было тащить по неровной, изрытой поверхности шестисемипудовый юрок.

Ночь, темная, глухая, спустилась на шумевшее льдом море. Холодная непроницаемая мгла ползла со всех сторон и все гуще и гуще заволакивала пустынную равнину, над которой лишь бежал холодный ветер да шумел в ледяных глыбах.

Сорока шел наугад, руководясь ветром да какими-то неуловимыми для непривычного человека и лишь знакомыми поморам приметами. Он напряженно всматривался в окружающий мрак, постукивая иногда перед собою багром. Пот градом катился с него, но он не чувствовал усталости: не с пустыми руками ворочается, только бы добраться.

Хорошо знал Сорока, — воротится он домой, вся добыча уйдет за долги, за то, что снаряжал его на промысел, вся добыча уйдет кулаку Вороне, а все-таки радостно тащил он тяжелый юрок, и пот градом катился.

«Что-то берегу все нету?» — мелькнуло у него.

Он огляделся кругом: глухая ночь мрачно глядела на него мертвыми очами. Острое предчувствие кольнуло его.

«Ох, не запоздать бы, давно уже с берегу, — время!»

Он перекинул лямку на другое плечо и еще быстрее потащил юрок. Назойливая мысль, что опоздал, что пойдет отлив и его унесет в море, так и сверлит мозг. Налегает Сорока на туго натянувшуюся лямку, надрывается, чует — упустил время. Колени подгибаются, спотыкаться стал. Впереди сквозь непроницаемую завесу мрака мигнули два-три разрозненных огонька: стало быть, берег близко.

Бежит Сорока из последних сил. Трудно дышать, в висках стучит, в горле пересохло, больно воздух холодный глотать.

Хочется остановиться хоть на минутку, но он делает усилие над собой и, перехватив на ходу раз-другой холодного снегу, еще сильнее наваливается...

Что-то зашуршало и зашелестело. Впереди смутно обрисовалась громада торосов, лед дрогнул и заскрипел.

«Бросить юрок — успею добежать», — мелькнуло у него на мгновение.

Но он не бросил, а сделал страшное усилие и, волоча юрок, побежал...

IV

Занесенная совсем с крышей глубоким снегом печально чернеет промысловая избушка. Из отверстия, проделанного в крыше, вырываются легкие клубы дыма и, подхватываемые ветром, быстро исчезают.

Внутри избушки темно, и только огонек, разложенный в углу, на груде камней, освещает неверным, колеблющимся красноватым отблеском черные бревенчатые стены без окон, закоптелую плоскую крышу, спускающуюся с нее махровой бахромой нагорелую сажу и длинные грязные нары вдоль стен. В воздухе легкими слоями висит едкий дым. На нарах расположились дюжие фигуры промышленников. Их набилось человек двадцать. Это один из отрядов той промысловой армии в несколько сот человек, которую ежегодно высылает к безлюдному берегу Белого моря неумолимая нужда и тяжелые жизненные условия Севера.

Медленно и скучно тянется время. Злую шутку сыграло родное море: в несколько часов побелело оно льдами, немало добычи принесло к берегам, — да вдруг набежала непогода, расколола и сломала ледяной покров и безобразными грудами раскидала его на сотни верст. И приходится коротать долгие полярные ночи и серые зимние дни, а единственное средство развлечения — табак и песня — безусловно изгнано.

— Море чистоту любит, молитву, — говорят промышленники, — а то ежели с табаком, да с песней, да с сквернословием, так и не вынешь ничего: вдруг ветер падет с берегу и всю кожу отобьет, да и тебя вглубь вынесет.

В углу, вокруг красноватого костра, клубившего смолистый пахучий дым, сидят и лежат промышленники. Они коротают тоскливое время, слушая сказки и разные бывальщины.

Снаружи захрустел снег под чьими-то тяжелыми шагами... Дверь распахнулась, ворвавшийся холодный ветер колыхнул красноватое пламя костра и заклубился дымом. Вошел мужик в совике. Покрытое инеем лицо, точно поросшее белым мохом, угрюмо выглядывало из мехового капюшона.

— Сороки нетути, — проговорил он низким голосом, — унесло!

Все разом смолкли. И у каждого мелькнуло в голове: холодный простор, льды да звездное небо, а во льду человек бьется и стонет.

— Што же сидите? — сурово проговорил старик. — Ступайте к карбасу!

Человек восемь поспешно стали надевать «рубахи».

Старик вышел и посмотрел на море. Оно зеркальным простором уходило в морозную даль, и с вышины звездное небо гляделось в него. В синеватой дымке недвижно дремал старый лес, и вдоль берега, словно исполины на страже, молча подымались ледяные утесы. В застывшем ночном воздухе висела мертвая тишина.

Через минуту небольшой карбас отчалил от берега и, далеко оставляя за собой колеблющийся фосфорический след, потонул в морозном сиянии.

V

Ветер упал. Затихавшие волны несли изломанные, рассеянные остатки ледяных полей, словно разбитые обломки гигантского корабля. Тучи поспешно сбегали с синего свода, унизанного ярко мерцавшими звездами, и долгая северная ночь прозрачная и холодная, как синие льды, раскинулась над глухо рокотавшим морем, которое, словно сердясь, еще не улеглось от недавней бури.

Постепенно море очищалось от льда, и только одинокие глыбы там и сям тихо покачивались волной. На одной из таких льдин, смутно рисуясь на синем фоне далекого горизонта, неясно выделялся темный силуэт высокой фигуры.

Это был Сорока.

Он искусно работал багром, и гибкий шест бурлил и пенил холодную воду. Неуклюжая глыба тихо подвигалась вперед. Бесконечным простором расстилалась вокруг водяная гладь.

Сорока поднял голову: вверху сквозь тонкий пар мороза блестела золотая Медведица, — по ней надо держать путь. Сорока наваливается на багор, толкает вперед тяжелую льдину, а в голове несвязно теснятся темные думы: далеко в море вынесло, мороз лютый ударил, другие сутки во рту ничего не было. Налегает Сорока на багор, старается, слышит — слабеть стал. Приостановился на минутку, снегу перехватил, огляделся кругом: водная пустыня в голубоватом сумраке тянулась без конца и пропадала.

Сбежали последние легкие тени тучек, морозное небо фосфорически заискрилось мириадами блесток. Море улеглось необъятно, и в нем дробились звезды.

Чует Сорока — не кончить добром: охватило холодное море, а в очи неподвижно глядит побелевший мороз, неслышно подбирается, острыми иглами проникает в стынущее тело.

Работает Сорока, старается согреться работой, а в голове смутной вереницей бегут смутные думы. «Господи, вынеси... ребята малые, несмысленные... не подымут силу... кому надоть... Хозяйки нетути...» Лезут в голову думы, что дома ничего нет, что напромышляй он промыслу, поправился бы хоть сколько-нибудь и Вороне отдал бы долги. Все бы сделал Сорока, да вот вернется ли? Вспомнил избушку, темную, дымную. Придет, бывало, с промыслов Сорока и распарит и согреет грешное тело. Вспомнил, как еще мальчиком ходил с отцом на промысел. Кругом шумел морской прибой, и ходили ледяные горы... Тропки на болотах вспомнил, птицу пернатую, зверя лесного, что ловил. Бедность свою вспомнил, и, как подумал обо всем Сорока, горько стало ему. Налег на багор и мысленно окинул пространство, что надо пройти: «Ох, не добраться!» И опять стало жалко себя. Неужели же так-таки ему и пропадать?

Не верится Сороке. Много годов хаживал он на море. По

неделям, по месяцам приходилось жить. Кругом море, льды да небо. Бывало, далеко уносило, без хлеба, без огня, без помощи, на волос от смерти бывал, а выносило же. Вот те все вернутся домой: хата теплая... ребятишки... с промысла продадут... хозяйства поправят... а его будет носить по морю безжизненным куском льда. И у него дома ребята, и хозяйство и промысел есть, а вот не вернется! Защемила тоска, жалко помирать, а знает, — замерзнет, обессилел. Тяжелая слезинка выжалась из глаз, сползла по суровому лицу и повисла замерзшей капелькой на обледенелых усах. Поднял он голову и недоумевающе посмотрел затуманившимися очами на далекое небо, отливавшее холодным блеском, точно ждал ответа. Но стояло ночное безмолвие над застывшим миром.

А сверкающий купол медленно, но непрерывно совершал свой урочный поворот вокруг маленькой звездочки в хвосте золотого крючка Медведицы.

На сверкавшем небе пронеслось дымчатое облачко, и звезды искрились сквозь его тонкое тело, а из-за края зловеще разгорался сполох, зажигая небо волшебными бегущими огнями.

Из последних сил бьется Сорока, слабее и слабее гнется длинный шест; занемели руки, не слышно ног, клонит отяжелевшую голову. Хочется ему хоть на минутку присесть, да хорошо знает, зорко следит белый мороз: только останешься без движения, он обоймет, повеет и проникнет насквозь холодным дыханием. Борется Сорока с дремой и не думает уже: мысли спутались, оборвались и неясно проносились, точно по ветру клочья безжизненного тумана. Понял Сорока — не жить ему, и опять вспыхнули в его холодеющем мозгу далекие родные картины, вспыхнули и погасли. Понял Сорока, теперь уже никто ему не поможет, не поспеет, не услышит.

— Братцы, пропадаю... отцы родные!..

И этот безумный вопль дико нарушил ночное безмолвие, пронесся над водной гладью и, как бы подымаясь все выше и выше, замер в тонком морозном тумане. Только дальние льды послушным эхом отразили ненужный вопль о помощи, да маленькая звездочка сорвалась и скатилась, и снова все стихло.

А сполох все разгорался. На одной половине небо ярко горело звездами, а на другой половине потухли все звезды, и зловещая мгла мрачно глядела оттуда. Словно из гигантского жерла, вылетал оттуда белый клуб дыма и, расстилаясь, быстро проносился по небу, сквозя яркими звездами и потухая в зените. Каждый раз, как вспыхивала эта дымчатая пелена, казалось — вот-вот раздастся оглушительный удар, и дрогнет заснувшее море. Но в неподвижном воздухе стояла все та же немая тишина. Только из жерла бесконечно вспыхивали колеблющиеся огнистые полосы и быстро проносились, играя всеми цветами.

Сонливое состояние стало овладевать Сорокой. Надоело, лениво-тяжело было стоять на ногах, и он присел на корточки.

Приятная теплота разлилась по телу. «Вишь, мороз-то менее стал», — мелькнуло у него. Тихая дрема туманила голову. Что-то смутное, неясное, давно забытое всплывает несвязными обрывками в круговороте воспоминаний, то снова тухнет и тонет в бесконечных картинах прожитой жизни.

Стала представляться глухая ночь в глухой тундре. Во мраке носился ураган, и его бешеный гул, словно похоронный звон, уныло звучал над одинокой юртой, погребенной под снежным заносом. К самой юрте боязливо жались олени. А в юрте сидит он, Сорока, самоед и его семья. Сидит Сорока на куче оленьих шкур, бочонок в руках держит и ведет торг: покупает у самоедов оленей. Не продают — без оленя в тундре издохнешь. Поднес Сорока самоеду стаканчик — повеселел тот; поднес другой — стал самоед сговорчивее, поднес третий — запел самоед. Пел он обо всем, что было перед глазами. Стал пить водку и запел: «Ах, водка, хорошая водка!» В костер дров подкинули, он запел: «Ах, огонь, горячий огонь!» Залаяла собачонка, он пел: «Ах, собака, белая собака!» И щемящей тоской теперь повеяло на Сороку от этой давно слышанной песни.

Напоил Сорока самоеда допьяна, напоил и самоедку и купил у них за грош всех оленей. Утром улеглась буря. Он согнал оленей, только оставил самоеду трех, чтоб не пропал совсем. Уехал Сорока, а самоед остался в тундре. И теперь Сорока никак не может отвязаться от этого самоеда: смотрит он на него сквозь узенькие щелочки посоловелыми от водки глазами и не то поет, не то плачет: «олешки, олешки... ах, олешки!..» Хочет забыть об этом Сорока, мутится у него в голове, мысли мешаются, хочет отвязаться от этих мыслей и отдаться туманящей голову дремоте.

Он вздрогнул. Раздался гулкий протяжный удар, точно тяжелый артиллерийский залп. Где-то расселась ледяная громада, сжатая морозом. Отраженное дальними льдами упругое эхо с рокотом далеко покатилось по водной глади.

На мгновение он как бы очнулся. К удивлению, никак не мог разодрать глаз: они точно слиплись. И, как далекая зарница в глухую полночь, мелькнуло смутное сознание опасности. В воздухе опять повисла мертвая тишина, и прежнее оцепенелое состояние овладело им. Ему надоело усиливаться поднять свои отяжелевшие веки. Опять дрема отуманила голову, и несвязные думы, точно легкие тени в лунную ночь, бежали смутной вереницей. Чудилось ему, что ожило мертвое море и тихо дышало бесконечным простором, и тонкий пар его дыхания подымался к далеким звездам, а в его недрах совершалось неведомое. Казалось, весь мир замолк, и та прежняя жизнь потухла, затаилась в этой загадочной пустоте, наполненной биением какой-то другой, незримой жизни. Чудилось, неслышно веет тихий ветер, и звучит смутный, едва уловимый звон, и легкий туман колеблется над морем.

И сквозь морозный туман чудится Сороке: разбегаясь фосфорическим блеском, змеятся две светлые волны. И плывет на него, не касаясь воды, полупрозрачная, смутно-неясная лодка. Ледяная глыба дрогнула, зашаталась, взволновала спокойную поверхность; расходясь, побежали серебряные круги. Отраженные в колышущейся глади звезды задрожали, запрыгали и расплылись колеблющимся золотом. Только что показавшийся месяц уродливо вытянулся, заколебался и лег длинной полосой до самого горизонта. А над морем тихо спустился сумрак и покрыл все...

Сияя величавой красотой Севера, тихо дремлет над спокойным морем полярная ночь, затканная тонким искристым, морозным туманом. А над нею, сверкая причудливыми переливами фосфорической игры, разметалась звездная ткань. В темной пучине колебались повисшие яркие звезды. С вышины задумчиво льется голубоватое сияние. Мертвая тишина неподвижно повисла над застывшим морем, и чудится в этой сверкающей переливчатой красоте безжизненный холод вечной смерти. Мягкий синеватый отсвет озаряет необъятную водную гладь, подернувшуюся тонким льдистым слоем, и в морозной дали неподвижно скорчившуюся на одинокой льдине фигуру, опушенную белым инеем.

1889 г.

НА ПЛОТАХ

I

К студеному Белому морю со всех сторон надвинулись дремучие леса, а в лесах неисчислимые болота, озера, большие и малые реки.

Летом по этим лесам ни проходу, ни проезду, разве лодкой только по речке, а зимой мужики разъезжаются за сотни верст и до самой весны рубят лес для сплава.

Кузьма Толоконников еще с лета выправил себе билет на делянку в казенном лесу и, когда ударили морозы и леса завалило снегами, приехал на рубку.

Кругом на сотни верст ни жилья, ни человеческого голоса, только мерзлые, заваленные снегом болота да вековые леса вплоть до пустынного моря.

Неподвижно стоят вековые красные сосны, голые снизу, и лишь мохнатые верхи густо белеют насевшим шапками снегом.

Лесную тишину нарушает только мерное чоканье топора. Кузьма в рваном, туго подпоясанном тулупе возится по притоптанному вокруг сосны снегу и раз за разом всаживает поблескивающий в морозной мгле топор. Как камень, прокаленное морозом дерево, и со звоном отскакивает топор, — трудно рубить.

Высоко сквозь мохнатые верхушки сосен день и ночь морозно блестят звезды, солнце не показывается, — целый месяц тянется сплошная зимняя ночь.

Пар идет от кузьмова полушубка, и упорный топор все глубже входит в рану векового дерева; вырубленное у корня место темно зияет, как открытый рот. Кузьма засовывает топор за пояс и идет по глубоко протоптанной тропке к избушке, — из-за снега виднеется лишь его мохнатая шапка.

У избушки в закуте, сделанном из снега и сосновых ветвей, звучно жует сено мохнатая лошаденка. Кузьма выводит ее, под-

водит к подрубленной сосне, привязывает к хомуту свесившуюся с вершины веревку и гонит кнутом.

Лошадь налегает, снег визжит под копытами, веревка натягивается, как струна. Дерево вздрагивает, с секунду страшным усилием сопротивляется, и вдруг среди мертвого лесного молчания проносится треск, и, роняя шапки снега и ломая молодняк, валится на глубокие снега судорожно вздрагивающей мохнатой макушкой вековое дерево.

Тогда Кузьма, точно взбесившись, начинает прыгать и танцовать по снегу, катается, падает на спину, на живот, уминая снег, — надо проделать от дерева к реке тропку. Потом гонит лошадь, и она тянет по тропке мертвое дерево, и из-за снега видны лишь мотающиеся лошадиные уши. На льду Кузьма из нарубленных деревьев вяжет плот.

Под конец руки немеют от усталости, а лошадь вся побелела обмерзшей пеной и пòтом. Кузьма ведет, ставит ее в закут, наваливает сена, а сам забирается в избушку. Она тесная, черная от сажи и такая низкая, что нельзя выпрямиться.

В углу груда камней. Разведет на них Кузьма жаркий костер, и ровной пеленой едко наполняет всю избушку дым, медленно выползая через дыру в крыше. Кузьма сидит на корточках на мерзлом полу, чтоб не задохнуться.

Когда прогорит, заткнет дыру. Принесет и навалит в углу пахучих хвойных ветвей и завалится спать. В избушке жарко, а за стенами в глухом молчании временами гулко стреляет, — мороз дерет деревья.

Тихо, никого. Только иногда за стеной лошадь вдруг перестает жевать, прислушивается. Прислушивается и Кузьма, — не волки ли подбираются. А за стенкой опять мерный жующий звук, и Кузьма крепко засыпает.

Просыпается он от холода, глянет — в полумгле белеют промерзшие стены, и плечом приходится вышибать крепко прихваченную морозом дверь.

А в лесу сквозь ветви смотрят все те же холодные звезды, стоит все то же пустынное молчание, залегает все та же морозная мгла. И опять глухое чоканье топора, треск молодняка, судорожно ломающиеся мохнатые ветви и визг снега под копытами выволакивающей дерево лошади.

Так день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем идет работа.

За всю зиму Кузьма два раза ездил в деревню за провизией.

Как-то раз случилось — повалилось подрубленное дерево; не успел Кузьма отскочить, накрыло его ветвями и придавило ногу толстым суком.

Кузьма закричал, и крик его разнесся по лесу. Он лежал притиснутый, как лисица в капкане.

Над лесом, должно быть, поднялась луна, — сквозь просветы деревьев потянулись дымчатые полосы, и снег заиграл мириа-

дами красных и синих огоньков. Чует Кузьма, стала одежда на нем хрупкой и ломкой — оледенела, и ресницы стали смерзаться.

Опять попробовал кричать Кузьма хриплым голосом, хотя знал, что никто не услышит. Несмотря на нечеловеческую боль, как-то ухитрился подтянуться к дереву и стал ногтями разрывать смерзшийся снег и землю. Кожа стала сдираться с рук клочьями, и все кругом окровавилось. Мороз жег свежие раны.

Докопался-таки Кузьма, — нога опросталась, и он пополз, оставляя кровавые следы, к избушке.

Два дня валялся, да вспомнил про лошадь, — либо волки съели, либо замерзла.

Преодолевая боль, выполз из избушки. Лошадь, прихваченная к дереву веревкой и исхудавшая до костей, тряслась и глядела на хозяина печальными глазами. Молодые елочки были обглоданы кругом под корень. Кузьма перерезал веревку, и лошадь, шатаясь, побрела в закут.

Целую неделю провалялся Кузьма, а потом снова принялся за работу.

II

Прошла зима. Солнце долго стало ходить над лесом, а вместо ночей — приходил полусумрак.

Потянули с юга птицы.

Стаяли снега, и лесное царство необозримо потопило водой, и в ней хмуро отражались угрюмые сосны.

Подняло кузьмов плот, и понесли вешние воды.

Изредка ударяет Кузьма правильным веслом, не дает плоту сбиться с русла. Клонит сон, а нельзя спать — набежит на дерево или на мель, засядешь, а то и вовсе разобьет плот.

Тихо.

Полумрак белой ночи недвижно и призрачно дремлет над водною ширью, над потопленными лесами, над едва синеющей полоской дальнего берега, и чудится, это — не ночь, а дремотно потускнел неясный день.

Безжизненные туманы дымчато висят над водой, отражаясь призрачными очертаниями.

Ветер чутко дремлет, затаившись в иглистых ветвях, не зарябит уснувшей воды, не шелохнет зеленой хвои.

Тихо.

Только под бревнами немолчно бьется говорливая струя и навевает смутную дрему, и смежает сон отяжелевшие очи.

Кузьма встряхивает головой и оглядывается. Весенние воды быстро несут плитку. Красные сосны, стройные елочки, погруженные до половины в воду, безмолвно бегут по обеим сторонам, теряясь вдали в зеленых кущах столпившихся дерев.

— Го-го-го-го-го...

«О-о-о-о-о...» катится далеко по водной глади, и встрепенувшееся эхо доносит назад ослабленные отголоски.

Птица испуганно летит с сосен, стаи пролетных уток, шлепая крыльями, беспокойно подымаются с воды, а лебеди, изогнув длинные шеи, белея в воде отражениями, чутко прислушиваются к лесному эху.

Кузьма не спал подряд несколько ночей. Один, некому пособить, не с кем словом перекинуться, — кругом лес да вода да потопленные болота.

— Какой, бишь, сегодня день? — припоминает Кузьма и не может вспомнить.

Он кладет по пальцам, выходит — понедельник. Значит, целую неделю правит. Время холодное, вода — что лед, так и жжет. Приходилось по пояс, по плечи бродить. Худая одежонка намокнет, зубы колотятся, в челюстях больно, руки, ноги сводит, а согреться нечем: берега нет, кругом вода да деревья.

Плитка бежит, не останавливаясь. Кузьма и не правит, — вода по самому руслу несет. Он присаживается на корточки, уставляется глазами на журчащую воду и думает.

Это все одни и те же думы о хозяйстве, о том, сколько выручит с плотов, как сведет концы с концами, о том, что скоро выйдет на широкую Двину, там будет вольготнее.

Не заметил, как задремал Кузьма. Да кто-то как толкнет, и ахнул над самым ухом:

— Ай спишь!..

Вскочил Кузьма, все задрожало в нем, а это плот стукнуло о дерево. Могло так и разбить. Отпихнулся шестом Кузьма и стал внимательно править.

Кругом говорила птица, гоготали гуси, крякали неугомонные утки, белые лебеди важно выплывали на затопленные полянки. Над лесом зазолотились тучки. Поднялось солнце и залило волнами света и тепла и водную гладь, и потопленный лес, и Кузьму на плитке.

По кустам видно, быстро сбывает вода. Кузьма стал упираться шестом, и плитка побежала. Надо было поскорее пройти мелкое место впереди, пока не ушла вода.

Снизу добежал по воде людской говор, стук топоров, и эхо повторило далеко по лесу. Когда Кузьма выплыл за поворот, увидел — вся река заставлена плотами. Над рекой стон-стоном стоял. Плоты засели на мелком месте, и народ бился, стаскивая их.

И, нажимая на ó, Кузьма закричал:

— Робята... пододвиньте-ка плот-от с правой руки, который на воде, а то не протить мне... посуньте-ка его на низ...

— Ступай под берегом... вишь, ты, енерал...

Мужики были обозлены, что засели, и не давали дороги. Кузьма видел, что под берегом ему не пройти, все равно засядет. Он знал, что мужики помогут ему сняться, но только тогда,

когда снимут свои плоты, а ясно было, что они пробьются целый день.

— Робята, посунь плот-от, — плитка у меня махонькая, духом проскочит, а под берегом все равно сяду, вишь, пни, да песок обмелился...

Мужики делали свое дело; в свежем утреннем воздухе стоял стук топоров, говор.

Видит Кузьма — добром не возьмешь, уперся шестом и направил подхваченную течением плитку углом в шов загораживавшего плота. С треском раздался шов, бревна разошлись и всплыли, и, расталкивая их, быстро прошла, подгоняемая шестом, плитка. Град ругательств посыпался на голову Кузьмы.

— Ничаво... пущай себе... Под берегом-то мне неспособно... ничаво... — говорил Кузьма, гоня шестом плитку. Мужики, отчаянно ругаясь, стали накидывать с соседних плотов на плитку канаты. Кузьма мигом обрубил их топором, и, пока мужики вытравляли из воды обрубленные концы, плитка ушла.

— Ничаво... пущай... Главное, неспособно под берегом-то...

Плоты с кричавшими мужиками с гомоном и стуком стали уходить вверх по реке. От них отделилась лодка и быстро пошла за плиткой. Похолодело на сердце у Кузьмы. С тем, что мужики неизбежно должны были избить его до полусмерти, он еще мирился, но в отместку они непременно порубят связи и распустят все деревья по реке.

И Кузьма заревел диким и страшным голосом:

— Уб-бью!.. не подступайся!..

Лодка набежала, и мужики приготовили багры зацепиться. Кузьма схватил огромное бревно, раскачал на руках и двинул в борт лодки. Бревно с треском высадило целую доску. Лодка качнулась, глубоко черпнула, а мужики от толчка попадали друг на друга. Пока они справлялись, плитка ушла по течению.

Кузьма, красный и потный, упирался шестом и все оглядывался, пока, наконец, плоты не пропали из вида за поворотом, и вытер с лица пот.

— Под берегом... неспособно, это нам неспособно...

Берега пошли высокие, весенние воды так и рвались в узких местах, и плитка неслась, как под парусами. На высоком берегу сосны тихонько качали мохнатыми ветвями и пропадали, в быстром беге, назади.

Кузьма опять остался один. Он правил.

Вверху стояло весеннее небо. С юга тянули птицы, и в голове Кузьмы лениво и смутно тянулись неясные, отрывочные и смутные мысли.

Кончился долгий день, и опять наступила прозрачная, белая, как потускневший день, ночь. Кузьма приплыл к большой реке. Она широко раздвинулась, и противоположный берег чуть синел тонкой полоской. Зеленели острова. Попыхивая клубами белого

пара, бежали пароходы. Острыми крыльями белели паруса лодок. Ветер вздымал водяные горы, и с шумом и плеском катились они бесконечными рядами. В устье реки, по которой пришел Кузьма, набилось плотов видимо-невидимо, — ждали, пока стихнет грозная Двина. Кузьма завел свою плитку в тихую заводь, привязал канатом к дереву и стал дожидаться, когда стихнет непогода. Целую неделю просидел на берегу Кузьма, совсем было проелся.

Наконец стихло. Огромная река спокойно улеглась в широкую гладь, слегка подернутую мелко-сверкающей шелковой зыбью.

В синеющей дымке длинной цепью потянулся бесконечный караван плотов.

Кузьма также вывел плитку из заводи. Подхватила ее могучая река и понесла, колыхая на мощных хребтах.

И побежали мимо далекие берега, развертываясь бесконечной панорамой.

Вставали белые громады оголенных скал алебастра, играя в кристаллах залотистыми лучами солнца, и темные расселины глубоко прорезали их ребра, точно морщины тяжелых дум на челе великана. Угрюмо высились неподвижные громады в немом молчании, внимая ропоту говорливой волны.

Проходили мимо недвижные скалы, и только белели вдали их обнаженные ребра, как белеют кости на мертвой равнине.

А взамен надвигался угрюмый бор и шумел на высоких берегах, качая вершинами столетних сосен и елей, и чудилось, — сквозь смутный шум бежала смутная дума о минувших веках, когда редко стучал топор в сердце великана-бора, когда еще не дымились высокие трубы заводов в устьях рек и по самым рекам бесконечными караванами не тянулись безжизненные тела лесных гигантов.

Но отступил и дремучий бор и только вдали едва синел зубчатой полосой. По скатам холмов тянулись удлиненными четырехугольниками черные пашни, и пахарь вел соху, и лошади медленно ступали по взрыхленному пару.

Из-за поворота вдруг появлялись деревни, весело белея вдали церквами и играя в золоте лучей золотом крестов.

Большие почернелые двухэтажные избы глядели с холмов на широкий простор, где бежали, попыхивая белыми клубами пара, пароходы, неуклюже тянулись баржи и медленно надвигались тяжелые колонны сплавляемого леса.

Когда же царица-река, разбитая зеленеющими островами на множество рукавов, сливалась вдруг могучим движением в одно русло и до синеющего горизонта протягивалась без изгиба сверкающей полосой, тогда, насколько только хватал глаз, белели в весенней дымке высокие колокольни и играли на солнце золоченые кресты.

Громадная река, точно дорогим ожерельем, была унизана деревнями и селами.

Кузьма рассеянно глядел на уходившие мимо берега.

Показался Архангельск.

Медленно надвигается он высокими трубами заводов, белыми постройками, золочеными главами собора и целым лесом мачт и рей над рекой.

Кузьма правит к городу. Близко уже.

— Слава богу, все благополучно... Нонче в сдачу — и домой.

На переднем плоту, что шел перед Кузьмой, мужики вдруг забегали, кричат и, что есть мочи, отгребаются в сторону.

Кузьма замер: разрезая волны, быстро надвигалась темная громада морского парохода. На мостике капитан стоит, рукой машет, в рупор что-то кричит. Из черной трубы вырвался белый клуб пара, зазвучала упругая медь, и далеко убегали по реке тревожные отголоски.

Кузьма, как сумасшедший, стал отбиваться в сторону, но не успел и двух раз вынуть весла из воды — раздался треск: пароход, как нож репу, разрезал передний плот. Вокруг по вспененным волнам всплыли высвободившиеся бревна и закачались в бешеной пляске, с глухим стуком ударяясь в железную обшивку парохода, точно обрадованные, что вырвались на волю из крепких пут. Мужики, видя, что плота не спасти, кинулись в лодку и отъехали.

Кузьма мгновенно сообразил, что он уже не успеет отбиться в сторону и что его плот неминуемо постигнет такая же участь. Он бросил весло, схватил огромную дубину и кинулся навстречу быстро надвигавшейся громаде.

У него не было никакой определенной, осознанной цели, он делал это механически, совершенно инстинктивно, как мы инстинктивно закрываемся рукой от удара. Крепко нажал бревно одним концом к груди, а другой выпятил вперед.

Ни о чем не думал, ничего не соображал. Только пронеслись обрывки:

«С мели снялся... от мужиков ушел... бурю пронес господь... нонче в сдачу...»

Он не видел, как засуетились на пароходе матросы, видя, что он не уезжает с плотов, и боясь, что его убьет бревнами, не слышал, как взбешенный капитан посылал ему в рупор громовым голосом ругательства ломаным русским языком, как в воздухе свистнула, развертываясь кольцами, бечевка и, задев по лицу, скользнула в воду, и кто-то крикнул: «Держи»... Он только чувствовал, как на него надвигалось роковое, как надвигается ужас смерти.

Ему не приходило на мысль, что через секунду, через одно мгновение бревна переломают кости, размозжат голову, и он, как ключ, пойдет ко дну.

Он изо всех сил уперся в плот, как бык, наклонил голову и, затаив дыхание, ожидал удара. Он не сознавал ясно, чего, собственно, хочет, — это был порыв отчаяния.

Прошло всего несколько секунд, а они ему показались столь долгими, как те бесконечные зимние ночи, когда он сидел один в своей избушке перед костром в глухом лесу, и снежный ураган ревел за стенами, и гудели, качаясь, вековые сосны, и дым, клубясь, расползался по всей избушке, а в углах при красноватом отблеске костра пробегали темные тени.

Плот подняло и опустило, и перед Кузьмой появились темные бока парохода, вертикально подымавшиеся из воды, и, грозно белея, клокотала вокруг пена. В воздухе мелькнули два багра, зацепились за кузьмову одежду, но худая одежонка не выдержала, и багры мелькнули назад с оборванными клочьями.

Что-то с силой толкнуло его в грудь, точно это был удар огромного кулака. Он отлетел, и волна два раза прошла над головой.

На минуту Кузьма потерял сознание. Когда очнулся, он лежал на своем плоту, который, скрипя, подымался и опускался, и расходившиеся волны иной раз забегали по бревнам до его места. Вверх по реке уходила громада, краснея издали трубами, из которых вырывались тяжелые металлические вздохи.

Кузьма с трудом сообразил, что с ним произошло: разбитый плот... суета на пароходе... черные вертикально подымавшиеся металлические стены, и теперь... тупая боль в груди.

Он попытался было встать на ноги — не смог, дополз до края плота и стал мочить себе голову и грудь — и тут только пришел окончательно в себя. Пароход задел плот боком, а он со своим бревном смягчил удар.

Кое-как прибился Кузьма к берегу, привязал плот, отправился в контору, сдал лес и получил деньги.

И когда вечером, отдохнувший, он шел домой, все кругом повеселело: весело сияли золоченые кресты и главы над белеющими церквами, весело посвистывали по реке пароходы, суетливо шлепая по спокойным водам красными колесами, веселый гам висел над судами, шкунами, барками и громадными морскими пароходами, столпившимися на реке целым городом.

Кузьма шел и приятно ухмылялся, поглядывая на едва белевшие на противоположном берегу деревни.

«Не чужим умом — своей головой выкрутился».

И, ухмыляясь, опять подумал:

«Добрая голова... кажному пожалаю».

Потом стал соображать, какой дорогой пройти в свою деревню, чтоб миновать трактир на берегу и не загулять. Он остановился и соображал долго и трудно, глядя в землю, но все дороги, которые мысленно представлял, сходились и шли мимо того трактира. Кузьма махнул рукой и пошел в путь-дорогу.

1890 г.

СТРЕЛОЧНИК

I

— Эй, Иван, беги, начальник кличет!

Иван, стрелочник, мужичонка лет сорока, с испитым, истомленным лицом, весь в саже и масле, торопливо поставил в угол метлу, которою он сметал снег с платформы, и побежал в дежурную комнату.

— Чего прикажете? — проговорил он, вытягиваясь у дверей.

Начальник, не обращая на него внимания, продолжал писать. Иван стоял, вытянувшись и держа шапку подмышкой.

Он не смел еще раз спросить, а между тем дорога была каждая минута: он сегодня дежурит с восьми часов утра, дела по горло, надо станцию убрать к завтрашнему дню, убрать путь, осмотреть стрелки, тяжи к семафорам, вычистить все лампы и трубки, налить керосином, наколоть и натаскать на два дня праздника дров в станционные помещения, убрать зал первого и второго класса, — и еще многое другое мелькает у него в голове, что нужно сделать. Уже пятый час, уже смеркается, надо огни зажигать на стрелках.

Иван приложил заскорузлую ладонь ко рту и осторожно кашлянул, чтобы обратить на себя внимание.

— На стрелках огни не зажигал еще? — проговорил начальник, поднимая голову.

— Никак нет, сичас побегу зажигать.

— Зажжешь, — пойди почисть из-под коровы: по колено в навозе стоит; никогда во-время ничего не делается. От этого и копыта болеют.

— Поезд товарный номер пять через десять минут, — осторожно вставил Иван.

— Ну, проводишь поезд, тогда...

— Слушаю-с.

Возражать не приходилось. Иван притворил за собою дверь и бегом прошел в ламповую. В крохотной комнатке, вроде чулан-

чика, по полкам стояло штук двадцать ламп самых разнообразных размеров, с блестевшими чисто вымытыми трубками. Иван отобрал из них несколько штук, поставил в широкий из толстой жести ящик и пошел к стрелкам.

Было тихо. Мороз крепчал и щипал уши, лицо и руки. Зимние сумерки тихо спускались на станционные здания, на полотно, на дома обывателей. Снег хрустел под ногами. Там и сям проходили фигуры спешивших покончить свои дела людей, в ожидании отдыха в завтрашний праздник от повседневной нескончаемой работы и вечных забот.

Иван бегал от стрелки к стрелке и ставил лампы. По всему пути там и сям зажглись зеленые и красные огни, а на небе тоже зажигались одна за другой звезды, играя и искрясь сквозь прозрачный морозный сумрак.

II

Далеко-далеко с железнодорожного пути потянулся однообразный, долгий и унылый звук; он подержался в морозном воздухе и замер. Иван с секунду прислушался, потом побежал в будку, схватил фонарь, рожок и что есть духу пустился по полотну за станцию к самой дальней стрелке, что одиноко горела красной звездочкой среди снежной пелены пустынного поля. Бежать пришлось далеко. Но вот и стрелка. Иван взялся за рычаг, нажал ногой и навалился: тяж заскрипел, потянул рельсы и с визгом передвинул их на запасный путь. Вдали что-то зачернелось неопределенное и в то же время неуклюжее; затем оно стало расти и удлиняться все больше и больше, точно выползало откуда-то; блеснули два огненных глаза, и теперь уже ясно и резко зазвучал свисток локомотива. Звук вырывающегося из локомотивного свистка пара разносился во все стороны и стоял в морозном воздухе; казалось — ему и конца не будет. Уже вот и поезд весь виден, изогнувшийся на закруглении, уже и рельсы стали подрагивать от надвигающейся громадной массы, а нестерпимый звук все режет ухо. Но, наконец, он оборвался и зазвучал три раза отрывисто и коротко.

Тогда Иван приставил рожок к губам, подобрал их особенным манером, надулся, покраснел и заиграл. И в ответ тому, что катилось, надвигалось и грохотало вдали, потянулся тонкий, унылый и жалобный звук рожка, от которого щемило сердце. Он тянулся безнадежно — все на одной и той же ноте, среди зимних сумерек, среди снежной равнины, в виду уходивших в бесконечную даль рельсов.

Казалось, этот жалобный звук рожка говорил о том, что все равно некуда спешить, что кругом все то же, что впереди такие же станции, каких миновали уже с сотню, те же станционные здания, звонок, платформа, начальник, служащие, разбегающиеся рельсы запасных путей, что тут так же уныло и скучно и каждый

занят своим делом, своими мыслями, каждый ждет не дождется встретить праздник в семье, и никому нет дела до тех, кто теперь мерзнет на тормозных площадках вагонов и напряженно всматривается вдаль с площадки с грохотом катящегося локомотива. Но потом рожок как будто раздумал и весело и коротко протрубил три раза: тру... ту-ту... дескать, хоть и скучно, и уныло, и все то же самое, а все-таки ведь можно забежать на станцию, выпить рюмку водки, закусить скверной селедкой, погреться, покалякать со служащими, а там — и опять в дорогу. Ведь и жизнь вся такая: труд, труд, изо дня в день, недели, месяцы, годы, и забудешь, и не знаешь, что такое отдых. А вот когда и дождешься, наконец, отдыха, словно среди глухой степи на станцию поездом приедешь, так заворачивай-ка на третий запасный путь.

И локомотив послушался. Вот он уже совсем накатывается на стрелку, и пыхтит, и отдувается, и пар его дыхания с шумом вырывается из ноздрей и стелется по обеим сторонам белой пеленой по мерзлой и молчаливой земле. Он, видимо, начинает задерживать движение, вагоны набегают, сталкиваются и гремят буферами. Иван налег на рычаг, и поезд, хлопая, стуча и визжа на переходе железом о железо, стал переходить на запасный путь. Мимо стрелочника прошел локомотив, тендер, потом пошли один за другим вагоны. Их прошло уже штук двадцать, тридцать, а они, все так же набегая и сталкиваясь, катятся мимо, и редко-редко где виднеется закутанная человеческая фигура, закручивающая тормоз. Это был громадный груженый товарный поезд. Наконец мимо прошел последний вагон и покатился прочь, посвечивая в морозной мгле красным фонарем.

Стрелочник пустился догонять поезд, чтобы пропустить его на следующей стрелке на другой запасный путь. Хотя поезд сильно замедлил ход и шел все тише и тише, догонять его было страшно трудно. Иван, задыхаясь и чувствуя, что ноги у него подкашиваются, бежал у заднего вагона, не в силах схватиться. Раза два он схватывался, но замерзшие, онемелые руки срывались, и он едва не угодил под колеса. Наконец-таки он уцепился за подножку, взобрался и несколько минут неподвижно держался за перекладину, не будучи в состоянии отдышаться. Поезд совсем замедлил ход и шел мимо станции; платформа тихо плыла назад.

Стрелочник соскочил и побежал в обгонку поезда к будке, куда сходились проволоки-тяжи от нескольких стрелок. «Ну и, дьявол, здоровый!» — бормотал он, нагоняя голову поезда. Он быстро вскочил в будку: тут торчала целая куча рычагов от стрелок семафора. Он нажал один из них, и поезд, пройдя на запасный путь, стал вдали от станции в поле: ему нужно было дождаться и пропустить почтовый поезд. Стрелочник перекинул рычаг на главный путь, по которому должен был пойти почтовый.

«Ну, теперя можно из-под коровы почистить», — решил он и направился через станцию на задний двор

— Ты куда? — встретил его помощник начальника.

— Начальник велели из-под коровы...

— А платформа почему не подметена?

— Начальник велели из... под...

— Во-время надо делать. Завтра праздник, а у нас на станцию не влезешь, гадость по колено. Сейчас подмети!

— Слушаю.

Помощник было пошел, но приостановился и крикнул:

— Да дров натаскай ко мне на вечер дня на два, а то вас, чертей пьяных, на праздник и за хвост не поймаешь.

— Слушаю.

Помощник ушел. Иван взял метлу и стал подметать платформу. «И удивительное дело, — рассуждал он, широко захватывая справа налево метлой, — теперя одному человеку хучь разорваться. Об семи головах будь, и то не поспеешь...»

— Эй, Иван!

— Чего изволите? — проговорил стрелочник, подбегая к дверям багажной, где стоял заведующий багажом.

— Куда ты запропастился, черти тебя носят. С ума ты сошел или ради праздника натрескаться успел: до сих пор в первом классе лампы не зажег. Пассажиры съезжаться начинают, а там хоть глаз выколи. Не хочешь служить, так убирайся ко всем чертям...

— Запамятовал, Василий Василич. Иван Петрович велели платформу подместь, а господин начальник — из-под коровы...

— Платформа, платформа! Во-время все надо делать: ступай сейчас — зажги.

— Слушаю.

Иван поставил метлу и побежал в зал первого класса зажигать лампы. Тут уже стали собираться пассажиры, и Ивану в их фигурах, движениях и в том, как они расхаживали по залу и давали носильщикам на билет, виделось молчаливое ожидание, что вот, мол, наступает праздник и можно будет отдохнуть от дел и забот. Иван зажег лампы и побежал дометать платформу. Покончив с платформой и опасаясь, как бы его опять куда-нибудь не услали или еще что-нибудь не заставили делать, он поспешил в дровяной склад. Дров колотых не было, — пришлось колоть. Иван с усердием принялся за работу. Надо было заготовить на все станционные помещения, но этого мало: надо было нарубить и натаскать для комнат и кухни начальника и помощника. Правда, у них была своя прислуга, и он, собственно, не был обязан этого делать — на нем лежала исключительно обязанность смотреть за стрелками и за путями, но ведь если начальство приказывает — некуда деваться. И Иван продолжал с кряхтением взмахивать топором и отбрасывать расколотые поленья. Груда колотых дров росла все больше и больше.

«Должно, будя!» — решил он и стал увязывать поленья в громадные вязанки, чтобы скорее отделаться — разнести дрова.

Но когда он взвалил себе на спину первую вязанку, то почувствовал, что захватил слишком много. Пошатываясь, хватаясь за притолоку и стены, пошел он, сгибаясь под огромной тяжестью, наваленной у него на спине. И все-таки он сбрасывать не хотел: хотелось разом и скорее разнести дрова. Четыре вязанки он разнес по станционным помещениям, надо было еще нести начальнику и помощнику во второй этаж, а это была самая тяжелая работа; колени гнулись, ноги дрожали. С напряжением, с усилием переступая со ступени на ступень, он каждую минуту ожидал, что совсем с дровами полетит по лестнице. Наконец он добрался до кухни помощника начальника и свалил дрова.

— Чего же поздно так? Из-за тебя жди, приборку нельзя кончать, полы мыть, все одно заляпаешь, — встретила Ивана кухарка помощника, сварливая неуживчивая баба с красным носом и всегда «с зарядом».

Иван озлился.

— Да ты бы пораньше натрескалась да кричала бы, что поздно! Что же мне для тебя треснуть, что ли?

— Ах ты, пьяница! Ах ты, несчастный! Да будь ты трижды от меня, анафема, трижды, трижды проклят! Да я тебя, нечистая твоя морда, на порог не пущу теперя! Да я барину сейчас доложу... — И кухарка сделала решительный жест итти в комнаты.

Иван струсил.

— Макрида Спиридоновна, дозвольте... да я к вам, значит, с нашим почтением и завсегда рад... Може, вам помойку вынесть?

И, не дожидаясь ответа, подхватил лохань, сбегал и вылил. Спиридоновна смягчилась.

— Ну, натаскай же воды.

Иван натаскал воды.

— Лучины, что ли, наколол бы для самовара? В праздники-то неколи будет.

«Ну, и баба озорная, что будешь делать с ней, — думал Иван, щепля лучину. — Тут, господи, дыхнуть неколи, а тут она. И ничего не поделаешь: пойдет жалиться».

Отделавшись и бормоча себе под нос, что «человека совсем заездили», Иван отправился в сарай, где стояла корова начальника. Она меланхолически пережевывала жвачку и равнодушно глядела на вошедшего Ивана.

— Но, идол! — крикнул Иван, — поворачивайся, сенной мешок! — И он со злобой ударил железной лопатой корову. Та покорно отодвинулась, поднимая ушибленную ногу. Иван начал работать, с ожесточением кидая навоз.

— И откуда навозу с нее столько! Только и знает, что жрет и пакостит; кабы столько молока давала, а то даром сено жрет. Да меня озолоти — не стал бы держать такую животину. Да и начальник... Мало, что ли, молока на базаре? — пошел да купил, были бы денежки. А то эдакую прорву держи, она тебя проест

всего. Гляди — одного навозу наворочала сколько! У-у, тварь, чтоб те околеть!

И он опять с сердцем ткнул лопатой ни в чем не повинную корову, которая решительно не знала, чем заслужила такую немилость, и все жалась к стенке.

Ивана прошиб пот. Он чувствовал страшное утомление и то, что дольше не в состоянии работать; но надо было кончать.

— Кончу, — потить выпить рюмку с устатку, а то не вытянешь до смены.

Наконец навоз был убран. Иван, толкнув еще раза два корову, поставил лопату в угол и пошел на станцию.

III

В буфете за столом грелись чаем кондуктора пришедшего товарного поезда. Иван подошел к стойке, взял стаканчик водки, выпил, крякнул, закусил кусочком вонючей рыбы и купил сороковку, чтобы дома встретить праздник честь-честью. Сунув сороковку в карман, он отправился в будку, захватил ключ, молоток, чтобы осмотреть путь перед приходом почтового, и остановился в раздумье: если таскать с собой вино, то можно еще как-нибудь разбить драгоценную бутылку, если же оставить в будке, сменщик явится, непременно утащит водку: уж у него нюх на этот счет собачий. «Сбегаю домой, отнесу», — решил Иван и, торопливо сбежав с полотна, направился к маленькой хатенке саженях в тридцати от полотна, в которой приветливо светилось маленькое окошечко.

Иван заглянул в него: крохотная комнатка с огромной печью, всегда такая грязная, неуютная, заставленная горшками, кадушечками, всяким домашним хламом, теперь была прибрана, глиняный пол чисто смазан, стены выбелены, а полкомнаты занимавшая печь вся разрисована синими петухами. В переднем углу, под образами, стол был накрыт грубой, но чистой скатертью. На образе теплился восковой огарок, трепетно освещая низкий потолок, синих петухов и русые головки ребятишек. Их было у Ивана восемь человек; один качался еще в подвешенной к потолку «зыбке».

Ребятишки, видимо, с нетерпением ожидали тятьку, чтоб приступить к ужину, несмотря на то, что сон клонил их головенки. И эти синие петухи, и выбеленные стены, и скатерть на столе — все производило на Ивана впечатление отдыха и покоя, которые ждут его.

Он постучался в окно. Вышла хозяйка.

— Кто тут? — проговорила она, всматриваясь при слабом мерцании звезд.

— Возьми, во захватил, в будке-то упрут.

— Али с дежурства?

— Нет, сейчас путь иду оглядеть.
— Долго не сиди после дежурства, ребятишки спать хотят.
— Через полчаса буду: зараз почтовый придет, — провожу — и домой.

Иван вбежал опять на полотно и, посвечивая фонарем и постукивая молоточком, пошел по рельсам, изредка подвинчивая ненадежные гайки. Он осмотрел стрелки, попробовал тяжи — все было в порядке — и направился к станции.

IV

Огромный, с двумя паровозами, почтовый поезд тяжело и с грохотом катился по рельсам. Снежные вихри крутились из-под колес, и пар, клубами вырываясь из двух труб его локомотивов, далеко стлался белой пеленой. Весь поезд был битком набит публикой. Кондуктора ходили по вагонам, отбирая билеты. Впереди грубо зазвучал паровозный свисток.

Пассажиры снимали с полок чемоданы, узлы, увязывали подушки. Поезд стал задерживать ход. Тормоза со скрежетом зажимались к колесам.

Иван, как только поезд подошел к платформе, по знаку начальника дал первый звонок, — здесь остановка была всего на две минуты, — бросился в багажный вагон и стал вытаскивать багаж высаживающихся здесь пассажиров.

Он изо всех сил раскидывал чемоданы, сундуки, тюки, разыскивая нужные номера. Когда багаж был выгружен, Иван повез его на тележке в багажную.

— Иван, какого же ты чорта?! Второй звонок, тебе говорят...

Небольшой колокол отчетливо и звонко ударил два раза.

— Беги, отдай разрешение!

Стрелочник схватил разрешение и пустился по платформе к паровозу, толкая публику. Поезд был громадный, и надо было почти весь его пробежать. Машинист, перегнувшись с своей площадки, взял у запыхавшегося Ивана путевую.

— Третий!.. — Чувствуя, как колотится у него сердце, кинулся опять к звонку и ударил три раза. Свистнул обер-кондукторский свисток, паровоз отозвался сердито и нехотя, и поезд, раздвигаясь и визжа железом, стал трогаться. Платформа пошла назад, а вагоны, раскачиваясь, мерно постукивая колесами на стыках, покатились по рельсам друг за другом.

Иван с облегчением вздохнул. Он дежурит через день и каждый раз в десять часов ночи точно так же надрывается, выгружая багаж, точно так же ему нужно и давать звонки, и передавать разрешение машинисту, и бежать открывать семафор, то есть каждый раз приходится исполнять обязанности, которые должны быть распределены, по крайней мере, между двумя человеками, и это в продолжение двадцати двух лет!

Эти двадцать два года съели его. Ему казалось, что он только и умеет делать и всю жизнь только и умел делать, это — бегать по стрелкам, подавать сигналы, давать звонки, зажигать лампы. Работа эта казалась наиболее легкой, подходящей, благодарной. Ему казалось, что, кроме нее, он больше ни на что не способен, не годен. У него было восемь детей, и он получал пятнадцать рублей в месяц. Потому-то, когда он бегал по стрелкам, пропускал поезда, ставил фонари, чистил из-под коровы, подметал платформу, он носил с собою одну и ту же мысль, одно и то же ощущение: страх, не сделал ли он чего-нибудь «не так», не сделал ли он упущения, не вышло бы чего-нибудь скверного. Двадцать два года сделали свое дело, и ему никогда не приходило в голову, что он мог бы и иначе устроиться. Вне железнодорожного порядка дня, вне станции, путей, платформы он себя не представлял. В десять часов вечера с отходом почтового поезда кончалось его дежурство, и только тогда вместе с глубоким вздохом облегчения с него сваливалась давящая тяжесть страха и ожиданий, как бы чего не случилось.

Так и сегодня. Когда поезд прошел платформу, Иван, испытывая необыкновенную слабость, которая всегда охватывала его по окончании дежурства, и чувствуя в то же время, как сваливается с него тяжесть, поднял руку, чтобы перекреститься, и... замер. Страшная мысль прожгла его: *он забыл перекинуть рычаг стрелки* на главный путь по проходе товарного поезда, на который теперь несся почтовый. Весь страх, все отчаяние ответственности охватили его. Без шапки, с побелевшим лицом, кинулся он бежать туда, где, удаляясь, светился красный фонарь уходившего поезда.

Поздно!.. Вот, вот раздастся оглушительный треск, и к небу в белесоватом ночном сумраке подымется над полотном темная громада, неподвижная и зловещая, и нечеловеческие бессмысленные крики наполнят морозную зимнюю ночь.

Чтоб не слышать их, Иван кинулся на боковой путь, по которому в этот момент шел дежурный паровоз. Задыхаясь, добежал он и бросился на ярко освещенные рефлекторами приближавшегося паровоза рельсы.

В эти несколько секунд вся его жизнь, точно озаренная отблеском, предстала пред ним, законченная сегодняшним днем: дежурство... платформа... лампы... дрова... корова... печь с синими петухами... русые головенки и... роковая стрелка!..

В этот момент страшного напряжения вдруг с поразительной отчетливостью представилось, как он перекинул стрелку на главный путь... Боже мой, ведь он правильно ее поставил!.. Он спутал, и почтовый поезд благополучно шел по главному пути...

Иван отчаянно закричал и сделал нечеловеческое усилие скатиться с рельсов, но в эту самую секунду накатившийся паровоз обрушился на него всей массой железа, стали, раскаленного угля и... перервал ему дыхание.

V

Машинист дежурного паровоза стоял на площадке, поглядывая на бежавшие навстречу и ярко освещенные рельсы. Мелькнула одна стрелка, другая. Он взялся за свисток и несколько раз дернул. Застучали колеса на переходе, захлопали, мелькнул зеленый огонь, будка вынырнула из темноты и опять пропала. Вдруг он, как сумасшедший, бросился к регулятору и закричал не своим голосом: «Тормоз!» А уже помощник сам изо всех сил тормозил, отчаянно налегая на рукоять.

— Господи, никак человека зарезало!..

Заскрипели тормозные колодки, завизжали колеса, пар рванулся в открытые клапаны. Из-за паровоза донесся нечеловеческий вопль: «Ай бат...» и оборвался. Паровоз пробежал еще с сажень, остановился.

Соскочили машинист с помощником наземь — ничего не видать: сечет крупой в темноте ветер очи. Бросился помощник за фонарем, осветил им, видит — лежат поодаль вдоль рельса две отрезанные ступни, а за колесами под паровозом виднеется человек.

— Ведь зарезало, царица небесная!..

Побежал помощник на станцию, сбежался народ. Отодвинули паровоз назад. Кто-то наклонился над лежавшим:

— Помер!

Все смолкли, сняли шапки, перекрестились.

Иван неподвижно лежал между рельсов с насильственно повернутой набок головой, с закатившимися глазами. Кольцо фонаря, надетое на правую руку, сорвало у кисти кожу и завернуло ее, как кровавый рукав, к самому плечу; сама рука была вывернута в плече и закинута за голову, а ребра левого бока глубоко вдавлены в грудь.

Среди собравшихся слышался сдержанный, подавленный говор: расспрашивали, как случилось несчастие, не был ли покойник выпивши, кричал ли, как на него набежала машина. Никто ничего не мог толком ответить.

— Только это я выглянул, — говорил изменившимся от волнения голосом машинист окружившей его кучке, — вижу, огни на стрелке засветились, думаю — стану сейчас; только что хотел было повернуться, гляжу, а он тут, у самого фонаря... Господи!.. кинулся я... а он как закричи-ит... потемнело у меня, знаю, что тут вот под паровозом человек, и ничего не могу сделать... — Голос у машиниста оборвался.

Ветер набежал, зашумел и посыпал на мертвеца и всех стоявших белой крупой. Все замолчали. В паровозе угрожающе клокотал сдавленный пар. Машинист поднялся на площадку и повернул какую-то ручку; пар с бешенством вырвался низом, окутав всех тепловатой сыростью.

— А ведь шел, не думал. Должно, к стрелке шел. Он его тут и накрыл.

— Рожок весь так и свернуло, а самого, видно, зацепило за фонарь и поволокло, а то бы пополам перерезало.

На минуту опять водворилось молчание. Ветер снова зашумел по насыпи и посыпал крупой.

— Послали за начальником?

— Сейчас пошли.

— Баба теперича завоет — с восьмерыми осталась.

От станции показались огни и темные силуэты людей. Подошел начальник. Собравшаяся кучка расступилась. Он взял у служащего фонарь, направил на покойника: на мгновение свет мелькнул по сурово-сосредоточенным лицам стоявших, по рельсам, по шпалам и упал на искаженное страданием лицо убитого с неподвижными белками закатившихся глаз. Начальник слегка повернулся и велел убрать тело в пустой вагон.

Принесли рогожу; подняли труп; он стал коченеть. Вывернутая рука бессильно упала и повисла.

— Чего же, надо всего... — сдержанно проговорил один из подымавших, как будто не договаривая.

— Вон где, — указал в темноте помощник.

Кто-то отделился с фонарем, прошел несколько шагов вдоль рельсов; видно было, как он нагнулся и поднял что-то. Вернувшись, он бережно положил на рогожу отрезанные ступни.

Тело отнесли и положили в пустой вагон, одиноко стоявший на запасном пути.

В составленном на месте происшествия протоколе значилось: «Ноября такого-то числа на станции такой-то железной дороги, шедшим в депо дежурным паровозом № 5-й был задавлен, по собственной своей неосторожности, дежурный стрелочник, кр. Орловской губ., Демьяновской вол., дер. Улино, Иван Герасимов Пелипасов».

VI

Было часов десять утра. По платформе гуляла публика. Ожидался поезд; уже было получено по телеграфу извещение, что он вышел со станции. Пассажиры повыбрались из зал вокзала и расположились с узелками, чемоданами и корзинами на платформе у самого полотна, то и дело посматривая в ту сторону, откуда ожидался поезд. Жандармы, позвякивая шпорами, осторожно и подозрительно поглядывали вокруг. Раздвигая публику, гулко прокатили по асфальту багажную тележку. Торопливо пробежал смазчик с длинным молотком и лейкой, несмотря на холод — в синей замасленной блузе без пояса. Вышел начальник, полный господин, в красной фуражке и золотых очках, слегка приподняв голову и с видом человека, привыкшего отдавать приказания.

В это время какая-то женщина пробиралась между публикой, постоянно оглядываясь; она, видимо, искала кого-то. Лицо и глаза ее были красны, на редкие ресницы, сиротливо торчавшие на подпухших и как будто слегка вывернутых веках, набегали слезы. Она старалась удержать их, непрерывно вытирала и постоянно сморкалась в угол головного платка. Но как только она увидала начальника, слезы неудержимо закапали из глаз. Она подошла к нему и держа у подергивавшихся губ зажатый в руке конец платка, хотела что-то сказать, но не выдержала и вдруг неожиданно заголосила на всю станцию, так что все невольно оглянулись. Начальник неприятно поморщился и слегка нахмурил брови:

— Что такое? Что ты, матушка?

— Ба... ба... ро-ди-мый, за... за-да... ви-ло... за... да-ви-ло...

Кругом столпились, вытягивая один из-за другого шеи и стараясь взглянуть на начальника и на голосившую бабу.

— Чего она кричит? — спрашивали друг у друга.

— Вчерась кого-то убило тут, сказывают.

«Чистая» публика держалась в стороне, посматривая издали на происходившее.

— Да что такое?

— Жена умершего вчера стрелочника, — объяснил начальнику высокий артельщик с бляхой на груди.

— Так чего же тебе, матушка?

— Ро-ди-мый мой... куды жа те-пе-ри-ча? не ду-ма-ли, не га-да-ли... приходят, сказывают — убило тво-во... убило... Вчерась еще с дежурства забежал... при-ду, го-во-рит... при-ду... о-ооо... — Женщина не выдержала: как только стала рассказывать о том, что муж говорил «п-ри-ду», она истерически зарыдала, ухватившись обеими руками за тощую грудь.

— Иди за мной! — приказал начальник, направившись в вокзал и желая увести женщину от публики.

Она пошла за ним, наклонив голову набок и все так же судорожно рыдая.

— Так ты, что же, хочешь, чтобы тебе помогли?

— Батюшка, куды жа с сиротками теперича — исть нечего... Нельзя ли вашей милости от железной дороги чего-нибудь, помощи какой?

Начальник полез в карман, достал бумажник и подал женщине три рубля.

— Это вот от меня, понимаешь, это я даю, как честный человек, все равно, как если бы кто другой дал; а управление дороги ничего не выдаст: оно не отвечает за такие случаи, — твой муж был убит по собственной неосторожности. Неосторожен был, понимаешь? Железная дорога не отвечает в таких случаях.

— Куды жа нам деться?.. пенсию, сказывают, можно охлопотать, а то с голоду помереть с ребятами... Христом богом

прошу, не оставьте вашей милостью... — и женщина, нагнувшись, достала рукой до земли.

— Да говорят тебе, — не отвечает в таких случаях железная дорога. Послушай-ка, — обратился начальник к проходившему кондуктору, — растолкуй ей, что управление ничего не выдаст. Может, конечно, повести дело судебным порядком, но толка никакого не будет, только деньги и время даром убьет.

Начальник вышел. Женщина стояла на одном месте, вздрагивая от душивших ее рыданий и непрерывно вытирая глаза и красное мокрое лицо концом платка.

— Ну, вот что Алексеевна, иди теперь с богом. Начальник сказал: «нельзя» — значит, нельзя. Сколько можно было, помог, добрый человек, а дорога не отвечает. Это если бы по ее вине, можно бы высудить, а так ничего не будет. Ну, иди, иди, Алексеевна, а то поезд сейчас придет.

Она тихонько пошла. Публика, стоявшая на платформе, видела, как она прошла по полотну, и один из жандармов крикнул: «проходи, проходи — поезд сейчас»; потом спустилась с насыпи. Некоторое время красный платок ее мелькал из-за оголенных деревьев станционного садика и, наконец, пропал за последними деревьями.

1891 г.

МАЛЕНЬКИЙ ШАХТЕР

I

— Ну, иди, иди, идоленок, голову оторву... змеиное отродье!.. — разнеслось в морозном вечернем воздухе.

Грязный, всклокоченный, с головы до ног пропитанный угольной пылью шахтер с озлобленной торопливостью и угрозой во всей фигуре, пожимаясь от холода, шагал в башмаках на босу ногу по снегу, черневшему от угля, за подростком лет двенадцати, торопливо уходившим впереди него.

Мальчик тоже был черен, как эфиоп, оборван и тоже мелькал босыми ногами в продранных башмаках. Он ежеминутно оглядывался, взволнованно махая руками и своей физиономией и всеми движениями выражая самый отчаянный протест.

— Не пойду, тятька, не буду работать, пусти... Что ж это, всем праздник, один я... пусти, не буду работать... — упрямо и слезливо твердил он, в то же время торопясь и припрыгивая то боком, то задом, чтобы сохранить безопасное расстояние между собой и своим спутником.

— Ах, ты, идол! Вот, прости господи, навязался на мою душу грешную!

И оба они продолжали торопливо итти по черневшей дороге, огибая насыпанные груды угля, запорошенного снегом.

Морозный воздух был неподвижен, прозрачен и чист. Последний холодный отблеск зимней зари потухал на далеких облаках, и уже зажигались первые звезды, ярко мерцая в синевшем небе. Мороз кусал за щеки, за нос, за уши, за голые ноги. Снег хрустел под ногами, а кругом стояла та особенная тишина, которая почему-то обыкновенно совпадает с кануном рождественских праздников. Темные окна в домах засветились, маня теплом и уютностью семейного очага.

Впереди из-за громадной, сложенной в штабели груды угля показалось угрюмое кирпичное здание с высокой, неподвижно черневшей на ясном небе трубой. Из дверей выходили шахтеры

и кучками расходились по разным направлениям, спеша в бани.

Мальчик первый вбежал по ступеням на крыльцо и, обернувшись и выражая всей своей фигурой отчаянную решимость, сделал последнюю попытку сопротивления:

— Не пойду, не пойду... Что это, отдыху нет... всем праздник...

Но как только отец стал подыматься на крыльцо, мальчишка юркнул в двери. Шахтер последовал за ним.

Они очутились в громадном темном помещении, где смутно виднелись гигантские машины, валы, приводные ремни и цепи. Это было помещение, откуда спускались в шахту. Тут же находилась и контора. Возле нее толпилась последняя кучка рабочих, спешивших поскорей получить расчет и отправиться в баню, а некоторые — прямо в кабак.

Праздники, полная свобода, возможность пользоваться воздухом, солнечным светом, вся надземная обстановка, от которой так отвыкают за рабочее время, и предстоящий трехдневный разгул и пьянство клали особенный отпечаток оживленного ожидания на их серые лица.

Шахтер подошел к конторке.

— Иван Иванович, пиши маво парнишку к водокачке. Неча ему зря баловать.

Человек в широком нанковом пиджаке, с лицом старшего приказчика или надсмотрщика, поднял голову, холодно и безучастно поглядел на говорившего и, наклонившись, опять стал писать что-то.

Мальчик стоял, отвернувшись от конторки и упорно глядя в окно.

Три дня рождественских праздников он проведет в шахте. Дело было кончено, и поправить было нельзя.

Тоска и отчаяние щемили сердце. Губы дрожали, он щурился, хмурил брови, стараясь побороть себя и глотая неудержимо подступавшие детские слезы. Отец тоже стоял, поджидая, когда отпустит конторщик.

Черный, с шапкой спутанных волос и угрюмым видом шахтер, дожидавшийся расчета у конторки, безучастно оглядел говорившего, мельком глянул из-под насупленных бровей на мальчика, достал кисет, медленно скрутил цыгарку, послюнил ее и стал набивать, не спеша и аккуратно подбирая трубочкой с широкой черной мозолистой ладони корешки.

— Что мальчишку-то неволишь? — равнодушно проговорил он, отряхая остатки засевшего между пальцами табаку.

— Не я неволю, нужда неволит; все недостача да недохватки. Тоже трудно стало, то-исть до того трудно — следов не сследишь, — и он махнул рукой и стал рассказывать, как и с чего у него пошло все врозь и стало трудно.

Шахтер молча, с таким же сосредоточенным, нахмуренным лицом и не слушая, что ему говорил собеседник, закурил. Бумага

на мгновение ярко вспыхнула, осветив стоявших возле рабочих, и из темноты на секунду выступили неподвижные, точно отлитые из серого чугуна черты и огромные белые, как у негра, белки глаз.

— На малую водокачку в галлерею номер двенадцать которые? — проговорил, повышая голос, конторщик.

Рабочие молчали, оглядываясь друг на друга.

— Ну, кто же? Тут Финогенов записан.

— Здесь, — проговорил чей-то хриплый голос, и оборванец, с которым жутко было бы повстречаться ночью, показался в полумраке наступивших сумерек. Опухшее, оплывшее, заспанное сердитое лицо, сиплый голос свидетельствовали о беспросыпном пьянстве.

— Чего же молчишь? Бери мальчишку да спущайся, ждут ведь смену.

Оборванец покосился на мальчика:

— Чего суете-то мне помет этот! Чего мне с ним делать?..

— Ну, ну, иди, не разговаривай.

— Иди!.. Сам поди, коли хочешь. Вам подешевле бы все... — и он грубо скверными словами выругался и пошел к срубу, уходившему сквозь пол в глубину земли.

Мальчик молчаливо и безнадежно последовал за ним. Они подошли к четырехугольному прорезу в срубе и влезли в висевшую там на цепях клетку. Машинист в другом отделении пустил машину; цепи по углам, гремя и визжа звеньями, замелькали вниз, и клетка скрылась во мраке, оставив за собой зияющее четырехугольное отверстие.

Когда клетка исчезла и на том месте, где за минуту был мальчик, остался темный провал, рабочий в башмаках почесал себе поясницу и повернулся к угрюмому шахтеру:

— Кабы не хозяйка заболела... жалко мальчишку — тоже хочется погулять.

Тот ничего не отвечал, стараясь докурить до конца корешки, и потом повернулся к конторке получать расчет.

II

Клетка нечувствительно, но быстро шла вниз, и лишь цепи переливчато и говорливо бежали с вала.

Мальчик неподвижно сидел, упорно глядя перед собой в темноту. Им овладело то молчаливо-сосредоточенное, угрюмое состояние, которое охватывает рабочего, как только его со всех сторон обступит мрак и неподвижная могильная тишина шахты. Он слышал затрудненное, сиплое дыхание своего товарища, слышал, как тот кашлял, ворочался, харкал, плевал возле него, приговаривая в промежутках ругательства, и чувствовал, что он не в духе, зол с похмелья и от предстоящей перспективы провести праздники за работой в шахте.

А тот действительно был зол на себя, на сидевшего с ним рядом мальчика, на его отца, на конторщика, на правление, на весь свет. Да и в самом деле трудно ведь после непрерывной двухнедельной гульбы, попоек, приятной, беззаботной обстановки трактира, гостиниц, кабака — отправляться в холодную, сырую шахту, в то время как другие как раз собираются все позабыть в бесшабашной, захватывающей гульбе и попойке.

Не итти же в шахту не было никакой физической возможности: все, начиная с заработанных тяжким трудом денег, кончая сапогами, платьем, шапкой, бельем — все было пропито, все было заложено, перезаложено, везде, где только можно было взять в долг, было взято под громадные проценты, и теперь нечего было ни есть, ни пить, не в чем было показаться на улицу, и ничего не оставалось больше, как скрыться от глаз людских в глубине шахты, утешаясь лишь мыслью, что за эти дни идет плата в двойном размере.

Такие, как Егорка Финогенов, дотла пропившиеся рабочие — клад горнопромышленнику, потому что в шахте необходимо всегда иметь известный контингент рабочих, иначе ее может залить; шахтера же ни за какие деньги не удержать в такой праздник, как рождество, под землей.

Клетка дрогнула, остановилась. Рабочий и его подручный выбрались из нее на площадку. Красные огни ламп, колеблясь, дымили среди густого, нависшего над самой головой мрака. К подъему торопливо подходили запоздавшие рабочие. Гулко катились последние вагончики, и из мрака одна за одной выставлялись лошадиные морды. Конюх торопливо отпрягал и отводил лошадей в темную, могильную конюшню: им тоже предстоял трехдневный рождественский отдых.

Финогенов зажег лампу, сделал папиросу, закурил и стал глубоко и с расстановкой затягиваться, чтоб еще хоть немного оттянуть время: и у него сосала под сердцем тоска одиночества, отрезанности и тяжелого сознания, что приходится провести праздники не «по-людски».

— Что, Егорка, али облетел? — проговорил, подходя с дымившей над самой землей на длинной проволоке лампой, приземистый рабочий, оскаливая белые зубы.

— Дочиста, как есть, — небрежно, прибавляя за каждым словом брань, проговорил Егор, делая особенно беззаботный жест, — что, дескать, мы погуляли всласть, а остальное трынтрава, и в то же время чувствуя у себя за спиною эти молчаливые проходы, что неподвижно ждали его в темноте.

— Эй, кто там, садись, что ль! — крикнул штейгер, стоя возле отверстия уходившего вверх колодца.

Разговаривавший с Егоркой рабочий подбежал, торопливо уселся в клетку вместе с штейгером и другими подымавшимися наверх рабочими. Тронулись цепи по углам, клетка быстро пошла вверх и через секунду скрылась во мраке.

Егор и мальчик остались одни.

— Ну, иди, что ли, что рот-то разинул, — злобно крикнул Финогенов на мальчика, точно тот был виноват во всем.

И они пошли среди молчания и мрака, согнувшись и наклонив голову, чтобы не убиться о балки, поддерживавшие лежавшие сверху пласты.

Ноги скользили по мокрой, выбитой колее, и острые камни, выступая из мрака, проходили у самого лица. Торопливо бежавший с фитиля лампы красными языками огонь изо всех сил старался разгореться и осветить ярко и разом эти глухие, таинственные места и лица молчаливо шедших куда-то людей: но со всех сторон угрюмо и беспрерывно надвигалась такая густая, непроницаемая мгла, что обессиленный огонь, колеблясь, маленьким дрожащим кружком с усилием озарял путь лишь у самых ног и бежал в эту неподвижную тьму клубами удушливого, едкого дыма.

На поворотах Финогенов на минуту приостанавливался, припоминая дорогу, и опять, согнувшись и слабо посвечивая из-за себя лампой, шел все дальше и дальше, не обмениваясь ни одним словом с торопливо поспевавшим за ним мальчиком, да им не о чем было и говорить. Они прошли уже около двух верст, и стало сказываться утомление. Галлерея понижалась, становилась уже, теснее, свод нависал над головой все ниже и ниже, и обоим приходилось еще больше гнуться.

Шедший сзади Сенька раза два больно ударился о выдававшиеся углом из свода камни и все чаще стал спотыкаться, тяжело дыша и хватаясь за холодные мокрые стены. Уж он теперь не думал ни о празднике, ни о семечках, ни о шумном говоре и веселье гостиниц и трактира с покрывавшим их медным звоном тарелок, бубенчиков, ударами барабана и ревом огромных труб «машины». Яркие картины праздничного веселья были подавлены усталостью и напряжением.

«Хоть бы дойти скорей», — и он напряженно вслушивался, не слыхать ли впереди дожидавшихся их рабочих. Но из-за гробовой тишины лишь слышались глухие усталые шаги по неровному скользкому камню да всплески холодной воды, когда нога попадала в лужу.

И они продолжали итти среди холода, сырости и молчания подземной галлереи.

— Никак, качают? — вдруг проговорил Финогенов.

Оба остановились и чутко стали вслушиваться. Из мрака доходили странные, однообразные, унылые звуки человеческого голоса, монотонно и печально повторявшего одно и то же, а в промежутках что-то, всхлипывая и захлебываясь, с усилиями судорожно тянуло в себя воду, и вода хлюпала и всасывалась куда-то и потом сочилась тоненькой струйкой.

— ...Тридцать два... тридцать три... тридцать четыре... — доносилось оттуда медленно, тоскливо, с паузами.

— Здеся, — проговорил Сенька, и оба пошли вперед.

Вероятно, *там*, во мраке, увидели красноватый огонь их лампочки, потому что перестали считать, и прекратились эти захлебывающиеся, всхлипывающие звуки. Но Егору и Сеньке ничего не было видно — ни огня, ни людей. И только когда они совсем подошли и Егор поднял свою лампу, они увидели двух смутно выступавших из мрака шахтеров, поблескивавшую внизу воду и рукоять небольшой помпы.

И Сенька и Егор ощутили некоторое облегчение, почувствовав присутствие людей и то, что, наконец, добрались до места и не надо больше гнуться и спотыкаться среди темноты.

Шахтеры молча, не говоря ни слова, стали собираться: достали и зажгли свою лампу, вытрусили из башмаков набившийся туда мелкий уголь и насунули на головы по кожаной круглой шапке для защиты от камней.

— Что долго? — проговорил угрюмо один из них.

— Да далече. Тоже пока собрались да дошли, а там конторщик позадержал, — равнодушно ответил Егор, беспечно присаживаясь на корточки и начиная крутить цыгарку. Но, посидев немного и как будто сообразив что-то, он вдруг заговорил быстро и сердито: — Долго! а кабы совсем не пришли? Люди теперича праздник встречают, все чесь-чесью, а мы вон сюда перлись, несла нас нечистая сила! Вы-то вон завтра натрескаетесь, а ты сиди тут да гни спину... Черти, право...

— Да ты чего лаешься? Никто тебя не тянул, сам пришел... Дурак, чисто дурак!

— А то долго ему! А кабы совсем не пришли? Вам бы только нажраться, а ты хоть сдыхай... — и Егор торопливо и в самых отборных выражениях старался излить все свое огорчение и досаду.

— Да будет вам,—проговорил другой шахтер, взял лампочку, и они, согнувшись, отправились в ту сторону, откуда только что пришли Егор и Сенька.

С минуту красноватый огонь их лампочки мелькал в темноте, становясь все меньше, пока не пропал светлой точкой в глубине мрака. Звук шагов стих, Егор и Сенька снова остались одни, и им стало опять одиноко, холодно и скучно.

Егор торопливо докурил цыгарку, подряд затянувшись несколько раз.

— Ну, вот что, Сенька, — заговорил он, швырнув в воду зашипевший там окурок, — становись ты спервоначалу и качай, да считай, сколько разов качнешь; как досчитаешь сто разов, шумни мне, а я маленько сосну. Да не бреши, смотри, я прислуховаться буду, а не то голову оторву, ежели присчитывать станешь лишнее.

— Дяденька, а ты долго не спи, а то я замучаюсь, — проговорил Сенька, которому жутко было оставаться одному.

— Ладно, я трошки засну, устал, а тогда я буду качать, а ты отдохнешь.

И Егорка потушил лампу. Рабочие от себя держали освещение, и поэтому работали впотьмах, чтобы сэкономить осветительный материал. Слышно было, как он ощупью пробрался до находившегося тут же, возле места выработки, поворочался и повозился на куче ссыпного мелкого угля.

— А впрочем, не буди меня, я лишь трошки вздремну, а как откачаешь свое, я сам проснусь. Гляди же, не кидай водокачки, а то взлупку дам, — донеслось до Сеньки из темноты, и потом все стихло.

Сенька нагнулся, пошарил, нашел ручку помпы и, сделав усилие качнул. Поршень скользнул по трубе, всхлипнул и, всасывая, потянул за собой воду, и через секунду стало слышно — тоненькая струйка неровно и прерываясь побежала в жолоб.

— Ра-аз, — проговорил Сенька, чувствуя, как пробирается к нему сквозь дыры башмаков холодная вода, и его голос одиноко и странно прозвучал в стоявшей вокруг темноте.

И Сенька стал качать, ничего не различая перед собой, и поршень раз за разом стал ходить вверх и вниз вслед за ручкой помпы, всхлипывая и забирая воду.

Работа казалась нетрудной и шла легко и свободно. Сенькой овладело состояние, подобное тому, какое испытывает привычный к дальним дорогам конь, когда он вляжет в хомут и тронется, помахивая слегка головой, зная, что долго придется итти этой мерной, неспешной поступью.

Он позабыл все, что волновало его сегодня и что осталось *там*, позади, и мерно качал и считал вслух, как будто в этом счете и заключалась вся суть и необходимость его пребывания здесь — в сырой, холодной, непроницаемой мгле.

Впрочем, он это делал еще и затем, чтобы подавить жуткое ощущение одиночества и нараставшего неопределенного страха. Таинственное молчание, тьма все время неподвижно стояли вокруг, зловеще дожидаясь, чтобы незаметно обнаружить перед ним ужасное и пока скрываемое.

Сенька не представлял себе ясно, что *это* было, но постоянно чувствовал *его* присутствие. Сейчас вот от него за этой мглой начинались проходы. Они тянулись неведомо куда, и бог знает, что творилось там. Сенька был один, один мог сознавать окружающее, и оттого то, что происходило *там*, принимало особенный таинственный характер, имевший именно к нему какое-то отношение.

Иной раз он сбивался со счета и, спохватившись, торопливо и наобум останавливался на какой-нибудь цифре и опять начинал ровно и монотонно считать, и опять на него надвигались молчание и тьма, и в проходах снова начиналась возня. Неуловимое, изменчивое и слепое то волновалось во мраке, меняло очертания, заполняя собою все пространство, то свертывалось, оставляя попрежнему безжизненную пустоту и мертвое молчание.

И особенно ужасно было то, что *там* отлично понималось, что он громко считает и сосредоточенно качает помпу лишь для того,

чтобы скрыть все больше охватывающий страх. Чудилась насмешливо белевшая впотьмах улыбка, беззвучный, не нарушавший мертвое молчание смех. А он продолжал качать, ему становилось тесно, трудно дышать, и пот каплями падал со лба, руки, ноги занемели и отламывались, он уже давно просчитал за сто.

Вода все прибывала. Помпа с необыкновенным трудом, захлебываясь, вздрагивая от судорожных усилий, тянула тяжелую, как жидкий свинец, воду, и в промежутке слышалось прерывистое дыхание.

Кругом было все то же; мрак редел, разрывался, принимал неопределенные формы, шевелился. Сенька закрыл глаза и работал с закрытыми глазами, но это — еще страшнее.

«О, господи!.. да воскреснет бог...»—и под низко нависнувшим сводом печально пронесся вздох.

Время уходило, башмаки уже стояли в воде, и помпа, медленно и редко, будто при последнем издыхании, подымала-опускала поршень.

«Зальет!..»

Он сделал последнее отчаянное усилие, налег на рукоять. Поршень прошел донизу, чмокнул, засосал, подергался и остановился: Сенька не мог больше качать.

И тогда произошло дикое и безобразное.

— Дяденька!.. невмоготу работать... — пронесся среди прекратившейся работы и наступившей гробовой тишины странный, совершенно незнакомый Сеньке голос.

— Аха-ха-хх... гооoггоо... моготу-у-у... — донеслось до него отовсюду глухо и насмешливо.

Мрак заклубился, и все заволновалось в необузданно дикой радости. Сенька сидел посреди этого содома на корточках в воде и плакал беспомощными детскими слезами. Он боялся итти искать Егора, да, может быть, его здесь уже совсем и не было.

— Дя-адя Егоооор...

— О-оооо... ух-ух... ух... — отдавалось глухо и подавленно.

Он до того был одинок и беспомощен, что хуже того, что теперь делалось кругом, не могло быть, и он не пытался выйти из своего положения, отдался на произвол судьбы: «все равно». Вода подымалась все выше и выше, и мокрые штаны липли к телу.

Он не знал, сколько прошло времени, пока голос с того света не проговорил:

— Ну, чего воешь, сволочь? Воды-то сколько нашло!

Крепкая затрещина по уху Сеньке мгновенно разогнала весь этот дикий, творившийся вокруг него кавардак.

Сенька так обрадовался, как будто очутился на поверхности и ему объявили, что он может праздновать. Кто-то возле него поплевал в руки, и помпа заработала часто и сильно, правда, всхлипывая, но теперь не так, как у Сеньки: ей не давали разжалобиться.

— Чего же стоишь? Ступай.

— Дай спичку.

— Но-о, дам спичку портить!..

— Темно.

— Найдешь. По-над стенкой, а там направо.

Сенька побрел в темноте по проходу: ни безглазого, ни слепого ничего уж не было, за исключением холода и сырости. Эхо отдавалось глухо и обыкновенно.

Он добрался до «лавки», — место выработки угля, — где можно было передвигаться только на корточках или на коленях, и стал ощупью шарить руками по воде, по липкой угольной грязи, пока не нашел насыпанную кучу мелкого угля.

Сенька забрался и улегся. Уголь понемногу раздался, принимая формы вдавившегося в него тела. Сенька достал из-за пазухи кусок слипшегося от сырости черного хлеба и стал есть. Кусочки соли и угольная пыль хрустели на зубах, и слипшийся мякиш разжевывался, как тесто. Руки, ноги, спина ныли тупо и упорно, не обращая внимания на то, что он теперь отдыхал.

Сенька доел хлеб, перекрестился. «Кабы теперь в баню», — подумал он, свернулся клубочком, руки заложил между коленями, колени придвинул к самому подбородку, подвигал плечами, чтобы глубже уйти в уголь, и стал дожидаться, чтобы пришел сон.

III

Сон пришел, и стало ему сниться все то, чего ему так страстно хотелось. Стало ему сниться, будто он на поверхности; кругом идет шум и гомон праздничного веселья. Он идет по улице; снег ослепительно сверкает на солнце; мимо скачут, обгоняя друг друга и звеня бубенцами, катающиеся. Потом он очутился в бане и никак не может снять с себя башмаков: они примерзли у него к ногам. Пока он возился с ними, оказалось, что это не баня, а трактир; хоть и странно немного было, что в трактире валялись шайки, по полу стояли лужи воды, а с потолка и со стен капало, это, однако, не нарушало общего веселья и оживления. Говор, шум, звон, веселые красные потные лица сквозь синие слои табачного дыма странно мешались в одно смутное, не вязавшееся с холодом, сыростью, всюду сочившейся водой. Сенька старался разобраться в этом содоме, и стала кружиться голова.

Его подхватили и стали запихивать в ту трубу, откуда помпой качали воду. Он с ужасом видел эту черную дыру, брыкался, кусал, раскорячивал ноги, с остервенением закричал: «душегубы проклятые!..» Отец ткнул его кулаком в бок. Сенька, как сноп, повалился на холодный пол и услышал: слабо, тоскливо, прерывисто кто-то, стараясь себя подавить, всхлипывал судорожно и безнадежно.

И раздался голос:

— Ну, ты, дьяволенок, вставай!

И опять его больно ткнули в бок.

Непроглядный мрак стоял угрюмо и безучастно; холодом, сыростью безнадежно веяло отовсюду. Впотьмах ругался Егорка и все тыкал его куском угля.

— Не бей, дяденька, я встану, — протянул Сенька, с усилием подымаясь.

Его била лихорадка, зубы громко стучали, мокрые ноги закоченели, ниже колена больно тянула жилу судорога.

— Ишь ты, лодырь какой, за тебя работать, а ты спать будешь. Морду сворочу!.. Цельный час с ним тут бейся! — шумел Егор.

Сенька наобум, сам не зная — куда, сделал несколько шагов и вдруг остановился, прислонившись к холодной мокрой стене.

— Дяденька, у меня мо́чи нету.

Град ругательств посыпался из темноты, где был Егор.

Сенька, пересиливая себя и глотая слезы, ощупью добрался до помпы, нагнулся, взялся за ручку и стал качать.

Кругом водворилась тишина, и попрежнему все было неподвижно, угрюмо, безнадежно.

Опять под низко нависшим во мгле сводом слышались хлюпающие звуки помпы и бежала тоненькой струйкой вода, и чей-то голос монотонно, тоскливо, однообразно, как падающие в одно и то же место капли, повторял в темноте: «тридцать два-а... тридцать три-и... тридцать четыре...»

СЕМИШКУРА

Было то же, что десять, двадцать, тридцать, сорок лет назад— так же угрюмо чернели и дымили надшахтные здания, и непрерывно несся оттуда гул опускаемых и подымаемых клеток, выкатывались полные угля вагонетки, и, сколько видно было, все пространство кругом завалено нескончаемыми угольными штабелями.

Все густо чернеет несмываемой угольной пылью. Стены, крыши, трубы, телеграфные столбы, земля, рельсы, ее изрезывающие, даже в тяжелом полете каркающие вороны. Даже воздух и небо мглисты и тяжелы, и солнце медно-красное.

Но больше всего едкая пыль въедается в людей, — негритянское царство, где нет лиц, а лишь сверкающие белки да зубы.

Поодаль, так же занесенные черной пылью, приземистые казармы угрюмо и низко глядят тусклыми окнами.

Кругом ни хворостинки, ни листочка, — голо и черно.

Пруд от выкачиваемой из рудников воды мертво, без отражения лежит в черных берегах.

А кругом — бескрайная степь то знойно трепещет, иссохшая под палящим солнцем, то тихо мреет в обманчиво-зеленоватом лунном свете, то, черная, сырым черноземом тонет в дождливой осенней мгле, то буранами белеют над ней зимние вьюги.

И в других местах степи разбросаны такие же черные надшахтные здания, угрюмо дымятся трубы, чернеет занесенная углем земля, мертво лежат рудничные пруды, и долго надо ехать по серой степной пыльной дороге, пока наедешь на слободу или хутор, где блеснет зелень деревьев, где люди ходят с чистыми лицами и солнце сияет живым блеском, не отравленное угольной мглой.

Есть и на шахтах крохотные оазисы, в которых люди пробуют выбиться из проклятого черного царства — в стороне стоят

белые чистые высокие дома инженеров и управляющего. Там и палисадники, и даже садики, хоть и чахло, да зеленеют.

Ревет ревун, и над шахтами выбивается бело крутящийся пар — смена. Из-под земли вылезает на свет божий толпа черных людей с потухшими глазами, с пепельными ввалившимися лицами, а другая толпа таких же черных людей, все ниже и ниже теряясь красноватыми лампочками в черном стволе шахты, уносится в сбегающей по цепям клетке.

С одной из таких смен поднялся наверх Иван Семишкура — как все, черный, как все, сверкая белками устало потухших глаз.

Вышел из шахтного здания, прищурился на яркий солнечный свет после кромешной тьмы и чихнул, да так, что воробьи шумной ватагой поднялись с соседнего штабеля.

— Матери твоей весело... будь здоров!

Хотел еще чихнуть, да раздумал; глаза привыкли к солнцу. Невысокий да плечистый был старик с черно-забитой бородой и волосами и с широкою грудью-ямой — пора и продавить каторжной работой.

В казарме, как и все, он похлебал щи и, не раздеваясь, не умываясь, повалился на нары, еще теплые и густо пахнувшие потом после ушедшего на работу товарища.

По шестнадцати часов в две восьмичасовые упряжки работал Семишкура, и поэтому время сна у него всегда передвигалось, — то с утра ложился спать, то к вечеру, то ночью, но засыпал моментально. Спал тяжело, заливисто-хрипло захлебываясь, точно и во сне его давила земля.

Отсыпал свои семь часов, а часок оставлял на еду, на то, чтобы зашить кое-что из одежи, покалякать с товарищами. Проснется, сядет по-турецки на нары, стащит с сухого, жилистого, с вросшими под кожу угольными точечками, тела рубаху и сосредоточенно начинает выискивать насекомых, поглядывая сквозь продранную рубаху на свет.

— Допрежь куда лучше было, — говорит он хриплым, давнишным-давнишным, как эти шахты, голосом, — ни одной, бывало, вши и за деньги не достанешь, ей-бо!

Товарищи — кто зачиняет порты, кто тоже охотится, а кто просто лежит на нарах, закинув руки под голову.

— Али в банях прохлаждались?

— Какие бани? Бани в те поры никто и не знал. Это нонче избаловался народ банями, а прежде мылись через зиму, а то и более, как в деревню попадали. А чистота была от гасу. Казармов не было, жили в землянках, ну, как затопишь углем, пойдет из печи от угля серный гас, вся вошь подохнет — чистота.

— А народ?

— Угорал, как не угореть, ну выволокут на снежок, отлежится. Случалось и помирали, а чистота была.

Он встряхнул рубаху.

— Как же! А простор какой был! Дикие козы в степе ходили, сказывают, из-за Каспия добегали, сайгаки, ей-бо! Разве нынешние времена? А шахта! Прибежище и сила. Бывалыча, с каторги убегает человек, али попрактикуется грабежом, — куды, куды? на шахту. «Есть пашпорт?»—«Извините, сделайте одолжение...»— «Спущайте». Спустют голубчиков, и-и как у Христа за пазухой: полиции, как и нет ее. Иной год, два... по пять, по десять лет не вылазили, ей-бо! Ну, слова нет, денег им почитай не платили, разве товарищи водки принесут, ну, зато полиция не касается. Что толковать, хорошо было, просто, не то, что теперь — суды да председатели. Энна! к мировому!.. Да я к мировому рупь с четвертью на день теряю. А прежде как? Подозвал десятский: «Ты што?..» — ахх в зубы! весь искровянишься, а рупь с четвертаком в кармане без убытку. А теперича председатели да присутствия... Председатели да присутствия, а почему такое анжинер да управляющий всем служащим «вы», а нам «ты»? Ежели присутствие, пущай и нас величают, а то вошь заела. На-кось, выкуси!

Старик опять встряхнул рубаху, сложил комом, зажал под волосатые подмышки и слонялся между нарами в одних портах, из которых вылезало старое, жилистое, неизносимое тело с въевшимся в кожу углем, который уже никогда не отмыть.

— Не желаем, и шабаш! Пущай величают.

— Та цыть! — цыкнул чахоточный, как доска, шахтер, свесив с нар узловатые ноги, и с хриплым клокотанием выплюнул на пол черную, как сажа, мокроту.

— А што ж, правда!.. — протянул парень-гигант, чугунно-черный, точно вырубленный из каменного угля. Он лежал, протянувшись на нарах, закинув под спутанную шапку волос мускулистые руки. — Нехай величают. Два дня назад был у казенки на хуторе — степью шел, в трубку хлеб погнало, — злобно кинул он. приподнявшись на локоть, — вò хлеб!

— Пущай величают! — твердил голый старик, разгуливая между нар. — А што я тебе скажу, — проговорил Семишкура, присаживаясь на нарах, — задумался я... — Он посмотрел в тусклое, как и все, занесенное черной пылью оконце и надел осторожно рубаху, которая все-таки разлезлась на плечах и на локтях. — Задумался я... Слышь, тридцатый год ноне пошел, как я в шахтах... матери твоей весело. Допрежь во за этим бугром кабак был; как вышел на бугорок, а он тут, родимый, у балочке. И на душе легко. Теперь качай за четыре версты к казенке, сиделец за сеткой, как ворон, ей-бо! Што за веселость!.. Тридцать годов как прикованный, дале казенки нигде не бывал. Эх, голубь! как она, родимая сторона! пашут, сеют... хлебца житного свово хочь понюхать!.. Никак вымерли все... тридцать годов не через губу переплюнуть... Подкатило, брат, к самому суставу: в одну душу — пойду, гляну своими глазами, потопчу родимую своими ногами.

— Будет тебе, старый чорт, поди, четверть водки купи... — злобно крикнул парень, приподымаясь на локте. — Видал, в степи шел: вò хлеб, а в Расее у нас одна солома.

Старик ссунулся, задумался о своем.

— Тут ее, матушку рожь-то, и не сеют.

И стал угрюм и молчалив той угрюмостью и молчанием, что родят вечная тьма да молчание подземное.

На другой день старик не пошел на смену, а пропал.

— Залил старик зеньки, — говорили шахтеры, надевая кожаные шлемы и заправляя лампочки перед спуском, — теперя на неделю закрутил.

Но Семишкура явился на другой день. Явился отмытый, сколько можно было — кожа у него из черной стала стальной — в новой ситцевой рубахе, а руку оттягивала полуведерная бутыль.

Собрал свою казарму, поклонился в ноги, поставил на нары бутыль, положил бубликов и сушеную тарань.

— Братцы, тридцать годов... во, как перед образом, без передыху... Как лето, наши, кто в Расею к себе в деревню, кто в степе на работу, ну я без передыху, чисто запрегся, волоку — и шабаш... На шестой десяток перегнуло, много ли таких работают... Близко уж старые кости сложу, гляди, и не подымешься со сменой. Вот, братцы, иду мать родную сторону проведать. Кушайте на здоровье, поминайте Семишкуру...

— На доброе здоровье!..

— Легкой дорожки...

— Штоб родимая сторонка обняла, приютила... — загудели шахтеры, такие же мрачные, с неподвижными лицами, не то высеченные из черного камня, не то отлитые из тяжелого чугуна.

Пили, закусывали.

А парень — косая сажень в плечах — поднялся во весь громадный рост, с неподвижным, неулыбающимся черным лицом, налил из бутылки полный стаканчик, выпил, молча налил второй, выпил и, не отирая губ, повернулся, тяжело стукнул Семишкуру по плечу, и старик покачнулся.

— Брось... слышь, брось... не тебе, старому псу... тут издохнешь... Водку стрескаем, а ты ступай в смену... энта теперича не про тебя... там, брат, свое... лезь в штольню... — и стал прожевывать бублик.

— Нехай!.. нехай идет!

— Пущай... ничего...

— Занудился тут... тридцать годов — на восьмуху табаку...

— Братцы... ребятушки... ей-бо!.. рад душой. Господи!.. — со слезами, уже нетвердо держась на ногах, говорил Семишкура, — лишь глянуть на нее, на мать на родимую, на землицу забытую...

На другой день в конторе, когда брал расчет, штейгер говорил ему:

— И куда ты, старая собака, прешься?.. Ты, чай, в хозяйстве бугая от мерина не отличишь... А чем землю пашут, пом-

нишь? Чай, думаешь, киркой рубят да в вагонетках возят... Эх, сивый мерин!..

— Дозволь, Иван Аркадич... давай косу... слышь, давай косу, зараз — эххх, раззудись, плечо! Махну, зазвенит... Ты не гляди — старый, вот работну!.. Работай в штольне, а помирать иди в деревню.

И долго смотрели с рудника, как шел в степи, все делаясь меньше и меньше, Семишкура с котомкой на плечах, долго смотрели с тайной завистью. Потом молчаливо скрутили цыгарки, молча выкурили, сплевывая черную струю, и пошли к ожидавшей клетке опять в вечную тьму.

Жизнь на руднике попрежнему катилась изо дня в день — ревел, вызывая смену, ревун, переливчато говорили бежавшие цепи, — спуская и подымая людей. Попрежнему в штольнях бились, врубаясь в черный уголь, полуголые черные, обливающиеся потом люди при неверном красноватом свете лампочек. Попрежнему на руднике все было занесено черной пылью, и сквозь мглу тускло светило медно-красное раскаленное солнце.

Зажелтели степи, сняли хлеб. В разных местах, курясь дымком, погремели паровозные молотилки, потом их увезли, и степь опустела.

Небо стояло чистое, ясное, высокое и уже захолодавшее, осеннее; потянулась, играя на солнце, паутина.

И вот однажды, когда ударил первый утренник, те, кто был у надшахтного здания, приложив козырьком ладони, стали смотреть в степь. В степи, чернея, шел человек к руднику. Видна нетвердая, усталая походка, согнутые подавшиеся плечи, котомка. Вот уж у рудника, и все ахнули: «Идет Семишкура!»

Подошел, отер пот, скинул котомку, поклонился.

— Здорово были, братцы!

— Доброго здоровья!

На него смотрели, как на выходца с того света.

— Што, Семишкура, аль не пригодился в деревне?..

Он сел на землю, поставив остро колени, и стал ковырять землю. Шахтеры стояли кругом.

— Ну?

— Эх, братцы, каторжная наша жисть. В каждом часе своем неволен, штольни-то костями нашими заделаны. Рази можно от ней, от могилки своей, уходить? Жисть в ней положил, ну, и кости свои складывай. А я, пес старый, в деревню... А в деревне братцы!.. мать-сыра земля... геенна огненна... У нас, братцы, каторга, а там неподобие. Торгуют ею, матушкой, рвут из зуб сын у отца, отец у сына, пропивают да проедают. Миру — поминай, как звали, нет его. Прежде, бывалыча, тонем, все тонем, всем миром тонем, а нонче кажный норовит отрубить да на соседе выплыть. Чижало у нас, каторжно, ну, все равно под богом ходим, под смертным нашим часом, все одинаковые, нету подешевше, побогаче. А там... — он махнул рукой.

Угрюмо слушали и молчали и так же угрюмо разошлись.

В конторе спросили:

— Ты чего, Семишкура, опять объявился?

— Пиши меня в десятый забой; будет... напился деревней по горло, сыт...

— Да куда тебя писать, старую собаку. Теперь к осени народ валит, да все молодой, расторопный, вдвое против тебя сделает.

— Тридцать годов...

— Не век же вековать.

— Куда же я?

— Куда знаешь.

Долго видно было, как, делаясь все меньше и меньше, уходил по степи человек, судя по осунувшимся плечам, по согбенной спине, должно быть, старый, с котомкой.

ИНВАЛИД

На площадке гул отчетливо и ясно несся снизу. Иван Николаевич глянул через перила блестящими, странными глазами:

— Долго бы пришлось лететь.

В зияющем пролете глубоко внизу неясно серел холодный асфальтовый пол.

Спустились.

Когда завизжала грязная дверь, спертый, удушливый, пропитанный человеческим потом, дыханием, сладковато-приторный воздух охватил. Как в тумане, терялись в огромном помещении стойки, люди, колеса, машины, и, заполняя, носились странные, чиликающие, не перестающие звуки, точно угрюмая черная птица быстро и безостановочно делала железным клювом: чилик-чилик-члик... чилик-члик-члик...

В густой атмосфере с усилием горели электрические лампочки, обливая мигающей, неуловимо-мелкой дрожью людей, части машин, иссера-черную тяжелую пыль, траурно-обвисшую паутину, и черные резкие тени мертво тянулись по полу, уродливо ломаясь по стенам.

С улицы сквозь черноту окон просвечивал синеватый отсвет электрических фонарей, доносился заглушенный гул колес, звонки трамвая. Оттуда глухо неслась, казалось, зовущая, живая, бегущая жизнь.

Мерно качаясь, с наклоненными головами, с потными лицами, в одних жилетах или пропотелых, заношенных рубахах, наборщики мелькали гибкими, подвижными пальцами, торопливо выбирая из кассы тяжелые, пачкавшие свинцом буквы. И с торопливо-металлическим чиликаньем они ложились в железную верстатку, вырастая в черные строчки.

Хо-о-роша на-ша де-рев-ня,
То-о-лько улн-ца пло-ха!..

Вырывается молодой голос, пытаясь бодро и весело наполнить наборную, но завязает и теряется в густой, тяжелой, озарен-

ной сиянием атмосфере, покрываемый неперестающим угрюмым, равнодушным чиликаньем.

— Будет! Александр Семеныч в конторе...

— Семен Ильич, дайте петиту. Ей-богу, отдам, после урока буду разбирать.

— Нет... не могу... у самого нехватит...

— Этот скареда разве выручит когда?..

— Товарищи, чья рукопись?

Эти мерно качающиеся между стойками фигуры, автоматически бегающие пальцы — так не вязались с представлением процесса мысли, сознательности, из которого рождалась газета.

«Газета, это — фабрика...»

— Добрый вечер, Иван Николаевич, — говорили наборщики, качаясь, не отрываясь от торопливого набора, с потными лицами.

— Доброго здоровья...

И той же улыбкой редких желтых зубов, какой он отгораживался от остальных людей, отгораживался он и от них, и то же жесткое мелькало в маленьких серых глазках.

— Здравствуйте, Семен Артемыч.

— Ивану Николаевичу — мое почтение.

Маленький, живой, с горячими черными мышиными глазками, человечек торопливо улыбнулся, торопливо подал черную от свинца руку, как бы давая понять, что он высказал все, что мог в данный момент; распластавшись над широким столом, сплошь занятым черными колоннами шрифта, он верстал номер, быстро и ловко, как хищная птица добычу, хватая крючковатыми пальцами куски набора и торопливо зажимая в железную раму. Завтрашний газетный лист постепенно вырастал — тяжелый, черный, свинцовый.

— Кажется, запаздывает сегодня? — проговорил Иван Николаевич, стоя у стола и наблюдая за версткой.

У него сделалось потребностью каждый вечер после газетной работы спуститься сюда и потолкаться среди знакомых качающихся фигур.

— Да ведь вот... что с этим народом!.. — и метранпаж даже оторвался на секунду и мотнул головой по направлению наборщиков.

Из люка, темным провалом черневшего в полу, раздался грохот, точно по тряской мостовой тяжело тронулась телега, нагруженная железными полосами, и мерно, ритмически-прерывисто заполнил наборную. И хотя от него слегка дрожали стены, он не мог покрыть упорно чиликающих сухих и коротких звуков, носившихся в густой, насыщенной атмосфере, сквозь которую острым светом с трудом светили электрические лампочки над склоненными покачивающимися головами.

Это был грохот печатающей в подвале машины, добегавший и до верхнего этажа смутным, неясным гулом.

— А ловко обработали вы их...— ласково проговорил Иван Николаевич, повышая голос, чтобы было кругом слышно, улыбаясь все тою же добродушно-злою улыбкой.— Теперь, небось, грызутся...

Метранпаж судорожно дернулся, засуетился, рассыпал кусок набора.

— А-а... будь ты проклята!.. Иван Николаевич, никак нельзя под руку говорить!

И он почтительно-злобно ожег его маленькими жгучими, полными ненависти глазами и стал собирать рассыпанный кусок.

Иван Николаевич стоял, улыбался.

Заветной мечтой метранпажа было открыть свою, хотя бы на первое время маленькую, типографию. Вел он аскетическую жизнь, откладывая каждую копейку, лишениями загоняя жену в гроб, работая по-лошадиному. Никто не знал, когда он спал. Был артист и художник своего дела и до того набил руку, что мог сам составлять номера. Чтоб заставить контору больше собой дорожить, душил рабочих, заводил среди них фискалов и, наконец, тайно убедил контору разбить рабочих на несколько групп, различно оплачивая их независимо от количества и качества труда. И рабочие раскололись, озлобляясь друг на друга.

— Вви-ду... ду... ду-пло... ди-пло... ди-пло-ма-тических...— слышится напряженный шопот,— шопот, который даже в этой густой, трудно колеблемой атмосфере разносится до дальних углов.

Впиваясь, глядят в захватанную, испещренную беглым путаным почерком рукопись усталые глаза; напряженно бороздится влажными от пота складками лоб, на который свисают взмокшие пряди; все так же качается плоская, угловатая, облипшая потной рубашкой фигура; ни на минуту не прекращая, работает железным клювом черная птица, и пристально смотрит с улицы в окна озаренная синевой ночь.

— Тьфу!.. Сам дьявол не разберет. С семи часов стоишь... не из железа!..— заикаясь от раздражения, стараясь покрыть короткие чиликающие звуки, выкрикивает небольшого роста с огромными, как рога, усами и бритым подбородком наборщик.— Ночь на дворе... Докуда же я буду возиться над ней?..

— А кто ж тебе виноват? — слышится сквозь непрестанное чиликанье, сквозь сердито-мерное громыхание машины спокойный голос.

— Кто? Ментр чего смотрит? Пусть в конторе скажет, редакции... редакц...

— Ментр ни при чем...

С преждевременно состарившимся лицом, с ввалившимися висками качается возле благообразный рабочий. Двое очков старой, заржавленной оправой въелись в переносицу.

— Ментр ни при чем — что дадут, то и раздает... Контора тоже ни при чем — не ее дело, а редакции что — лишь бы статьи

годились... Рукопись ему ясную подай!.. Да, может, он, господин сотрудник-то, в это самое время башку ломает, как ему быть с Китаем или государством каким или там про финансы, и про Вильгельма, а вам рукопись ясную подай... о вас помнить!..

Он замолчал, и вместо человеческого голоса носилось лишь упорное, неперестающее металлическое чиликанье, да из люка, тяжело дрожа, лилось грохотание.

— Чудак вы! Кто виноват?.. Никто не виноват... никто!.. Это-то и страшно нашему брату — виноватого нету...

Большие усы сердито повернулись, точно желая посадить на рога говорившего:

— Я потом зарабатываю кусок хлеба, а у меня изо рта рвут... То в час тридцать — сорок строк наберешь, а то, вот—такой оригинал, и пятнадцати не выгонишь. Рубля в день и нету, а на рубль-то я два дня семью кормлю... Им — хорошо: помотал пером — пятишница. А наш брат дуйся... Утром темно придешь, ночью темно уйдешь; света божьего — его и не видишь...

«Грр... грр»... старается заглушить, тяжело накатываясь и откатываясь с шрифта, машина.

«Чилик-члик-члик... чилик-члик-члик»... торопливо носится, не отставая, в душной, тяжелой атмосфере.

— А уж ежели что, так виноваты мы, наборщики... — упрямо твердят двое очков, выбирая из кассы шрифт и боком приглядываясь к рукописи... — Виноваты, говорю, мы, потому не умеем так, чтобы не жрать, а каждый день обедаем, да чай пьем, да непременно, гляди, чтобы в сапогах, а не в опорках, да чтоб в пальте... Ну, а как такой-то оригинал попадается, тут уж, значит, день не пообедаешь... Привыкать надо, нечего кобениться, не принцы или короли саксонские...

— Корректура!.. — громогласно, с ноткой презрения возглашает испитой мальчишка, кладя на стол длинные, узкие оттиски, бегло испещренные на полях хвостиками, крючками, точками.

А в неподвижной густой атмосфере, пронизанной лучисто-голубоватым сиянием, все носится ни на секунду не перестающее чиликание, видны мерные круговые взмахи рук, мелькающие черные пальцы, наклоненные, всклокоченные, мерно качающиеся головы, губы, напряженно шепчущие фразы рукописей, серые землистые лица, с ввалившимися щеками, влажно-отсвечивающими медленно стекающим потом.

В этом огромном, тусклом от духоты помещении все залито напряжением торопливого, усталого труда.

— Семизоров, идите в контору! — прокричал, стараясь покрыть чиликанье, конторский мальчик, чистый и опрятный в противоположность черным от свинца наборщикам.

— Зачем? — спросил Семизоров, не оставляя набора, глядя сквозь двое очков.

— Управляющий велел.

Мальчишка скрылся за дверью. Так же металлически чиликали торопливо ложившиеся по железным верстаткам свинцовые буквы, так же тесно стояли стойки и качались люди, и тускло сквозь занесенные свинцовой пылью окна глядело электричество уличных фонарей, но что-то, какой-то странный неуловимый след остался в наборной после ухода мальчишки.

Семизоров докончил верстатку, снял с нее набор, приложил к колонке на стойке, спокойно снял одни очки, другие, и, производя странное впечатление их отсутствием, точно у него отняли нос, или вынули глаза, пригладил волосы и пошел в контору.

— Меня звали?

Потому, что все здесь были в белых воротниках, в ярко вычищенных штиблетах, с причесанными волосами, чисто выбритыми подбородками, они не ответили ему сразу.

— Звали меня?

— К управляющему, — мотнул головой один из конторщиков.

Семизоров прошел в соседнюю комнату, остановился у двери с особенною смесью почтительности и сознания собственного достоинства.

Управляющий, маленький, чисто выбритый человечек, в манжетах и воротничке, белизной которых недосягаемо отделялся от стоявшего перед ним человека, писал за столом, заваленным счетами, фактурами, конторскими книгами, образцами типографской бумаги, и в комнате с минуту слышен был только шелест пера да тиканье маятника.

— А-а... Семизоров. Ну вот что, — говорил он, подходя к черному человеку, полуфамильярным, полуделовым тоном, — трудно, я слышал, вам работать... мм... вы вот что... вам отдохнуть необходимо... полечитесь, лягте в глазную лечебницу... прекрасный окулист...

«Вот оно...»

Семизорову стало мучительно холодно, как будто внутри все внезапно побелело и стало звонким и хрупким, как лед, и он не шевелился, боясь, чтоб оно не потрескалось и не рассыпалось на кусочки.

— Мы вас ценим... мы вас чрезвычайно ценим... нам нужны опытные, знающие, честные работники; вот потому-то я и говорю, — отдохните, полечитесь... Если будете в глазной, скажите, что из акционерной скоропечатни... меня там знают, все сделают для вас...

Семизоров стоял. Хотелось спать, — покоя, забвения, неподвижности... Всю жизнь он провел в городе. Давно, давно, мальчишкой как-то попал верст за двадцать в деревню. Было тихо, неподвижно... Между камышами блестела вода. Не трепеща, стояли осокори... У самого берега от истомы, нетронутая косой, никла трава. И такая же трава, так же нетронутая косой и по-

никшая от истомы, глядела из воды с опрокинутого берега... В неуловимой глазом глубине ослепительно белели облака, и за облаками тонко сиявшее, голубое небо.

Мальчик прыгал и смеялся, и плакал, визжал от радости, катался по траве, потом задумался, прислушался к этой необыкновенной, никогда не испытанной тишине, присмирел, растянулся у воды, слушая тишину... Время потерялось...

И теперь, через тридцать лет, Семизоров стоял, и перед ним между камышами блестела речка, и глядел опрокинутый в воде берег, и белели далеко внизу облака, и сияло сиянием праздника на недосягаемой глубине небо. Он жадно ловил эту испытанную когда-то тишину...

— Правление постановило выдать вам не в зачет двухмесячный оклад... Так вот, отдохните, поправляйтесь...

Все было ясно и просто, и не нужно было слов.

Но как перед этим Семизоров слушал ненужные ему речи, так теперь он стал говорить ничего не могущие поправить слова:

— Что же, Александр Семенович... как же так?.. ведь с мальчиков я у вас... тридцать лет...

— Я говорю вам, — мы вами чрезвычайно дорожим, высоко ценим вашу службу... Повторяю, правление само, по собственному почину, назначило вам двухмесячное жалованье...

— Ведь это... на улицу с сумой?

— Что вы... что вы!.. да разве мы вас увольняем?.. Я только говорю, вам отдохнуть, полечиться надо. А не хотите, оставайтесь... Мы рады, мы очень рады, мы ценим таких работников... Я только советую вам... Как отдохнете, поправитесь, милости просим опять к нам, для вас всегда место будет... Мы только советуем... ну, и двухмесячное жалованье...

Семизоров провел рукой по лицу, как будто сметал паутину ненужной лжи человеческих отношений, как будто хотелось просто, не смягчая, взглянуть беспощадной правде в лицо:

— Помирать надо, Александр Семеныч.

Что-то дрогнуло в лице управляющего. Он забыл свои манжеты, свою квартиру и тысячу рублей, мягкую мебель, чисто выбритое лицо, забыл все, что отделяло его непереходимым расстоянием от стоявшего перед ним человека, и сказал совсем другим голосом и переходя на «ты»:

— Голубчик... ты знаешь, я ведь сам служу... распорядились... мне ведь и самому...

Так несколько секунд стояли друг против друга *два человека*.

— Так вот, — заговорил прежним тоном, разом чувствуя на себе манжеты, чистое белье, чистое лицо, управляющий, — отдохните, полечитесь, поправляйтесь...

Когда Семизоров вернулся в наборную, подошел к своей стойке, спокойно надел одни очки, другие, — никто из наборщиков по странному чувству деликатности не спросил, зачем его звали, хотя никто не знал зачем.

Все так же носилось чиликанье, все так же слышался напряженный шопот разбирающих рукописи, все так же качались усталые фигуры, и резко и черно, ломаясь в углах, лежали тени.

Когда пошабашили и наборщики радостно и торопливо, на ходу, засовывая руки в рукава, одевались, Семизоров сказал:

— Братцы, айда в «Золотой Якорь».

— Поставишь, что ль?

— Да уж ладно.

— Ребята, Шестиглаз угощает.

— Могарычи, что ли? али прибавка?

— Ну, да вам водка вкуснее не станет, с прибавки она или с убавки...

Смеясь, балагуря, с чувством огромного облегчения сброшенного трудового дня, шли веселой гурьбой по ярко освещенной улице, свернули, прошли несколько переулков и стали подниматься по грязной лестнице гостиницы.

Знакомо пахло селедкой, пригорелым маслом, чадом. Говор, звон посуды, свет от закопченных ламп, смешанный запах водки, пива и еды, густые, непроницаемые сизые волны табаку, и в них бесчисленные головы над столиками, заставленными бутылками, стаканами.

Весело и шумно расположились за столами, и через десять минут у всех блестели глаза, все говорили, и мало кто слушал.

— Ну, поскорее, полдюжины!

— Что полдюжины, смотреть не на что, — дюжину!

— Слушаюсь-с.

— Я говорю, ребята, у нашего ментра тысячи две в банке лежит.

— Искариот, — придет и на него время.

— А я те говорю, — у него своя типография будет. К нему же придешь, поклонишься.

— Сдохну, не поклонюсь!..

— Эй, молодец, десяток «Прогресса».

— Люблю тебя, Шестиглаз, ей-богу, хошь ты и слепой чорт...

— Был конь да изъездился! — говорил размякший Семизоров. — До чево жизнь она чудная... Нет, ей-богу... Помолчи, честной народ... ну, что галдишь?.. Наливай-ка... Собственно, в каком положении жизнь моя?.. Так, тьфу!.. Тридцать лет служил... мальчонком ведь меня в типографию отдали, вот в эту самую, в нашу... годов десяти... тут и кассы учился разбирать, и набору учился, всего видал... Оглянешься, аж жутко делается: тридцать годов, ведь это не тридцать шагов перейти... Ну, выпьем, братцы!..

За множеством столов сидели, курили, тонули в сизых волнах. Молодцы в белых рубахах носились с подносами, уставленными посудой, водкой, пивом, закусками, торопливо-услужливо подавали, принимали. Гул, смутный, слепой и бессмысленный,

гул сотни отдельных голосов, огромным клубком скатавшийся над головами людей, тяжело и дрожа переливался, волнуясь и заглушая отдельные слова, отдельные возгласы, крики. Было что-то свое в нем, ни на минуту не перестающем, ни на минуту не ослабляющем тяжелого напряжения, что-то неумолимое, стирающее все различия.

— Э-э, братцы!.. главное в чем... потому, собственно, виноватого нету... Ну, кто виноват? Я, братцы, не виноват — старость пришла, износился, глаза не служат... Что же такого, ничего... ни-че-эго!.. Контора? Контора не виновата, — ей приказано... Что же, вон управляющий сегодня говорит... тоже ведь — человек, не из железа... стал говорить, а у самого голос оселся, — да... приказано... он что, служащий... хозяева, стало быть акционеры, правление виноваты, что ль?

— А то не виноваты?! — низко и зло прозвучало за столом.

— А то виноваты, что ль? Скажем, я износился, работник, да не тот — слепнуть стал. Могут они держать? Через год ты станешь слепнуть, или чахотка; тебя станут харчить; так это, лет через пять, нас, братцы, девать некуда будет: клячи, съедим всю скоропечатню; общество ухнет, ей-богу... а то нет?

— Очень просто.

— Да чорт их съешь, — заговорил все тот же голос, низкий и злой. — Мне какое до них дело... Я работаю не покладая рук... силы, здоровье, все отдаю, а потом, как тряпку, меня — вон... Хорошо, не виноваты, — так ведь и я не виноват.

Гул снова взмыл, переполнив помещение, и опять тонкий и высокий голос Семизорова стоял одиноко и резко, пытаясь выделиться, но нельзя было различить слов, и опять набежавшая тысячеустая волна поглотила, и мертво и тупо — властный колыхался над людьми гул — без слов, без смысла...

Ге-эй га-ало-чки чу-у-барочки
Кру-у-ту го-ору... кры-ы-ыли...

— «Прогрессу» коробку!..

— А все оттого, что мы — бараны... Будет так — придет время — не будут люди одни возить, другие ездить... к тому идет...

— Брехня!.. Не нужно, не ври!.. — резко и злобно кричал Семизоров, и так пронзительно и тонко, что колыхавшийся гул не успел поглотить его крик, и все повернули к нему головы. — Ишь ты, не будут ездить... врешь!..

— Да ты что?! что!.. в морду захотел!..

— Бей!.. на!.. на, бей!!

— Позвольте получить... Пожалуйте сдачи... Покорно благодарим...

— ...не ври... дескать, хорошо тогда будет... дескать, ни слуг, ни господ, — все одинаковы, все есть, пить будут, свой хлеб, а не сидеть на чужой шее, да не жиреть чужой кровью... врешь! Не ври... что глаза-то народу отводить... вре-ешь!.. Я-то, я, Семен

Поликарпыч Семизоров, по прозванию Шестиглаз... тридцать лет простоял над кассой... Моя-то жизнь как?.. ни в какую цену?.. ни в копеечку?.. а-а, то-то хорошо будут жить, честно, а от меня что останется?.. Я-то тут при чем окажусь?.. Не обманывай, не ври!..

Он стукнул кулаком по зазвеневшему посудой столу.

— Зараз жить хочу!.. вот сию минуту!

Но клубившийся говор поглотил его спокойно и угрюмо, как всех. И на секунду снова, как среди разыгравшегося, волнующегося моря, мелькнул его голос:

— А то внукам хорошо будет, чтоб ты лопнул!.. Вот оно мясо, кожа, все сгниет... слышь ты...

— Да будет вам...

О-о-ой, да-а-а-а... Ва-а-нька-а...
Ма-а-а-ль-чи-ше-шеч-ка-а...

— Господин, нельзя... потише... Эдак все запоют...

— Давай еще полдюжины...

Хриплый, хмурый голос уже выбивался из колыхавшегося, клубившегося гула, с секунду борясь с наплывавшей волной.

— Молчи!.. не вноси разврату... наш брат только тем и живет, что в будущем хорошо, внукам хорошо будет... одной надеждой только и дышим... молчи!..

— А-а, молчать?! Я сдохнуть должен, молчать!..

И он злорадно с красным лицом кричал:

— Да и вам не видать... не видать, как своих ушей, хорошей жизни, — подохнете!.. Мне сейчас сдыхать, вам после, все одно... Внукам хорошо будет, чтоб они обтрескались!..

— Сёма, миляга, дай поцелуемся... выпьем... Люблю я тебя, как...

— Не скули...

— Эй, человек!..

— Братцы... братцы... милые мои... товарищи!..

Семизоров плакал пьяными слезами, целовался пьяными, мокрыми усами и крутил взмокшей, растрепанной пьяной головой.

— Ухожу, братцы, товарищи, ухожу от вас... Не будет у вас Шестиглаз теперь в наборной качаться... износился, пора и честь знать...

А говор колыхался над ними, слепой, равнодушный и темный...

Как в тумане, с усилием горят в густой, спертой атмосфере электрические лампочки; неустанно носятся чиликающие металлические звуки; у стоек наклоненные фигуры с потными лицами; так же тускло смотрит в окна ночь; и зовет, и манит вечно бегущая за ними жизнь. Напряженный, усталый труд заливает огромное помещение, и, сотрясая стены и покрывая все звуки, тяжко льется из люка грохот. Проходят дни и недели, как до этого проходили годы.

За стойкой Шестиглаза качается новый молодой наборщик с таким же потным лицом, в такой же пропотелой рубахе, как и все, как будто он годы качается со всеми.

О Шестиглазе не то что забыли, но этот непрерывный, усталый труд, залитый напряжением и ни на минуту не смолкающим свинцовым чиликаньем, точно тиной заволакивает впечатления, и они бледнеют и тускнеют.

Шестиглаз о себе напомнил.

В наборную входит один из наборщиков, и сквозь темноту свинцовой пыли тускло пробивается бледность его лица. Он поднял руку и кричит. Должно быть, что-то особенное в его крике, потому что мгновенно смолкает чиликанье, головы поворачиваются, смотрят круглые, расширенные глаза, и хотя тяжко попрежнему льется из люка грохот, сквозь него чудится страшная мертвая тишина.

Он кричит:

— Шестиглаз... повесился!

Давимый мертвенной тишиной, смолкает грохот, и в наступившей огромной пустоте лишь слышится шелест человеческого дыхания.

Отовсюду посыпалось:

— Когда?.. Кто вам сказал?.. Не может быть!.. Что же это такое!.. Га-а!.. Вы были там?

Его окружают. Из люка подымаются рабочие. Огромная человеческая машина на полном ходу расстроилась, остановилась, оборвались привычные звуки хода, и чуждое, незнакомое, постороннее трепещет среди черных, занесенных свинцом стен.

На стойку взбирается молодой наборщик. Губы трепещут, дергаются не то усмешкой, не то судорогой, и голос звенит:

— Товарищи, за кем очередь?..

Все молча, как прикованные, не отрывают от него глаз.

— Он был между нами... толковал, а мы отделались грошовым сбором и на другой день забыли... Товарищи его повесили... мы! — и не стереть нам нашего преступления.

Голос его покрывает рев сотни людей:

— Сто-ой!.. бросай работу... станови типографию!.. бастовать!.. Товарищи, выходи!..

Мелькают шапки, рукава, пальто, сверкающие глаза. Черная толпа выливается, и двери, захлебываясь хриплым визгом, захлопываются за последним.

Тишина. Неподвижная тишина.

В этом странном безмолвии уродливо стоят стойки, валяются верстатки, чернеет рассыпанный шрифт, тускло глядят ничему не удивляющиеся окна. Беззвучен темным провалом разинутый люк, и немы на полувзмахе остановившиеся машины. Белеют ленты бесконечной бумаги.

В неподвижной тишине все мертво, холодно, окоченело.

Так же немо, холодно, мертво тянется потерявшее меру время.

Боязливо-сторожко хрипит дверь. Входят люди, растерянные, бледные, с чистыми лицами, белыми воротничками, чистым, красивым, дорогим платьем.

Они озираются, точно их поразила уродливая неподвижность мертвых вещей, и говорят сдержанными, глухими голосами, как будто в этих темных стенах — покойник.

— Но как это вышло?.. Почему?

— Я сам ничего не понимаю... вдруг... внезапно... не предъявляя никаких требований...

— Это вы виноваты, Александр Семеныч.

— Я, помилуйте, я все меры...

— Господин директор, необходимо сейчас же просить полицию, администрацию...

— Ах, что мне полиция! Разве полиция возместит убытки?.. Ведь это провал, разорение!.. Что скажут акционеры!..

Он хватается за голову, качается, и в волосах, как искры, сверкают на пальцах камни перстней.

ПРОГУЛКА

(На Азовском море)

Я утомился от усиленной работы, мозг отказывается служить, письменный стол опротивел. Напрасно сидишь, согнувшись, с пером, напрягаясь, — в голове каша — и ни одной мысли. Я вскакиваю и начинаю бегать из угла в угол; голова кружится; берешь журнал и через минуту бросаешь. Отвращение к умственному труду и в то же время необходимость работать — едва ли есть более мерзкое состояние. Пойти бы куда-нибудь отдохнуть, побеседовать, но при одной мысли об этом подымается желчь: такое состояние, что видеть никого не хочется. Экое отвратительное нервное мочало!

Я подхожу к окну и начинаю глядеть на улицу: небо серое, вдоль улиц восточный ветер несет тучи пыли, над городом стоит мгла — туман, пыль или дым с заводов. Невесело!

Меня осеняет внезапная мысль, и я бросаюсь к барометру. Ого! Стрелка неподвижно стоит. Ветер гудит меж баржами, несет дымом и гарью пароходов, свистит в снастях и безжалостно треплет на мачтах флюгера, которые мотаются, как грешные души. Я спускаюсь к реке. Ко мне подходит знакомый дед, у которого беру постоянно баркас.

— Здорово, дед!

— Доброго здоровья!

— Давай лодку.

— О? Нешто поедешь! Тут и то страшно, — говорит он и махает рукой на почерневшую реку.

— Ничего, только поскорей давай.

Легкое волнение и тревога, которых я не могу подавить, овладевают мною. Дед за веревку подтягивает к берегу баркас; он не стоит на месте, танцует и прыгает на волнах, как невзнузданный конь, которого хотят седлать. Дед притаскивает парус, весла и складывает все в лодку.

Только в море не выходи, по реке только.

— Ладно, ладно.

Я начинаю торопливо разбирать веревки, чтоб не возиться потом. Руки у меня слегка дрожат; мне стыдно деда. — «Экая скверность! Ведь сам иду, никто не тянет. Подлая трусость». — Отталкиваюсь. Ветер моментально подхватывает баркас и несет вверх, но я схватываюсь за весла и начинаю отчаянно грести. Уключины скрипят и визжат, мускулы напряжены до последней степени, а лодка еле-еле подвигается, точно десяток рук уцепился за нее, и я их все волоку. Дед с берега смотрит некоторое время на меня, видит, что я направляюсь к устью, безнадежно машет рукой и уходит в свой шалаш.

Я начинаю справляться с бешеным ветром: берег, лодки, суда, «дубы», причаленные толстыми канатами у пристаней, лавчонки на пристани — все это медленно, но непрерывно отходит вверх. Пот градом льется, но ни на минуту нельзя передохнуть: ветер сию же минуту подхватит и унесет на прежнее место, и все мои усилия пропадут. Впереди дымит небольшой пароход, — он должен вести на рейд «дубы» с хлебом, грузить иностранный пароход. По доскам, проложенным с берега на дубы, бегают, торопясь и сгибаясь под тяжестью пятипудовых мешков, рабочие, сбрасывая их в кучу.

Вот и устье. Тут настоящая толчея. Волны, которые идут с моря правильными отлогими рядами, встречаясь здесь с течением реки, начинают прыгать вверх и вниз с плеском и шумом, подымая дикую, оглушительную пляску, словно вы попали в самый разгул вакханалии. Мой баркас заражается этим необузданным весельем и в свою очередь начинает скакать, прыгать и выделывать самые удивительные прыжки, так что я едва в состоянии удержаться на сиденье и работать веслами. Я стараюсь обуздать его и делаю нечеловеческие усилия, работая веслами. Только бы выбраться из этой толчеи.

Справа показывается на выступе спасательная станция. Возле нее стоит кучка людей. Они смотрят на меня.

— И куда этого дурака несет нелегкая в этакую погоду! — доносит до меня ветер любезное замечание одного из зрителей по моему адресу.

Самолюбие мое задето. Я напрягаюсь из всех сил, но чувствую, что с каждым мгновением слабею. Неужели меня унесет назад?

Странное создание человек. Ведь вот мне сейчас опрокинуться и утонуть, как плюнуть, а меня не это занимает и наполняет тревогой, а то, что я могу осрамиться перед теми, что послали сейчас по моему адресу замечание; выбьюсь из сил и унесет назад ветром, или не справлюсь, паруса не поставлю, или опрокинет меня — придется им вытаскивать. Вот и лодка белеется спасательная, висит на кронштейнах, как будто ждет, что вот сейчас ей работа будет. Да ведь пока спустят ее, да пока поторгуются, да пока переругаются — кому где садиться да как ехать, двадцать раз успеешь утонуть.

Я продолжаю отчаянную борьбу с ветром, волнами и моим баркасом, который все так же пляшет. Но вот, наконец, выбираюсь из устья. Волны грозно и мерно вздымаются здесь правильными рядами. Как тяжко разбиваются они о прибрежные сваи! Если меня понесет туда, лодку вдребезги расколотит и моментально накроет волной.

Надо ставить парус — самый серьезный и рискованный момент. Пошатываясь от качки, хватаясь за борта, добираюсь я до мачты, беру «конец» и что есть силы начинаю тянуть. Большой белый парус медленно подымается; его сию же минуту подхватывает ветром и начинает немилосердно трепать. У меня нехватает сил: парус дошел до половины и не идет дальше — «заело» конец. Я с секунду передохнул и, упершись в мачту, тяну веревку; от напряжения начинает стучать в голову. Наконец-то парус взвивается до верхушки, я бросаюсь к рулю, и мой баркас ринулся вперед, взрывая носом горы пены, как закусивший удила конь. Парус, весь наполненный ветром, выпятился огромным пузырем и страшно кренит лодку. Мутная зеленая волна, по которой крутятся воронки и белеет пена, с глухим ворчанием уходит из-под лодки, баркас опускается все ниже и ниже, мне уже не видно ни города, ни пристани, ни судов, ни пароходов, ни спасательной станции; предо мною только зеленоватый водный подъем, по которому быстро несется белая пена, а сзади крутой водяной холм, заворачивающийся гребнем. Он уже совсем приготовляется накрыть меня, но ветер выносит баркас из этой гибельной лощины на верхушку волны. И тогда опять открывается волнующееся кругом море, берег, пароходы, мачты судов, станция и вдали — город.

Я держусь за шкот и налегаю на руль — лодку воротит все в одну сторону. Со всех сторон несется однообразный шум тяжело катящихся в одном и том же направлении волн. Но среди этого все покрывающего шума ухо улавливает особенно шипение разрезаемой носом баркаса воды; он неудержимо несется вперед, а бегущая назад пена мелькает мимо бортов.

Чем дальше от берега, тем ветер крепчает. Он с такой силой нажимает на огромный парус, что тот чуть не касается воды; лодка моя идет почти боком. Скверно то, что ветер неровный и налетает порывами. На минуту он ослабевает, и баркас выпрямляется; но вот я вижу, как вдали налетающим порывом срывает гребни волн. Становится жутко, я непрочь бы вернуться, но опасно поворачивать: лодку боковым волнением может опрокинуть. Порыв добежал, что есть силы налег на парус и повалил: баркас лег, вода хлынула через борт. Я судорожно кидаюсь на другой, высоко поднявшийся над водой борт и выпускаю шкот. Освободившийся парус отчаянно начинает полоскать по ветру и хлестать веревками по мачте, по воде, по лодке. Это — спасение: баркас выпрямляется, и лишь мокрый борт да болтающаяся на дне вода свидетельствуют, что могла случиться

катастрофа. Надо ухо востро держать. Чувствую, что этой дозы радикального лекарства против нервности более чем достаточно; с каким бы наслаждением теперь сидел я в своей комнате за письменным столом, но о повороте нечего и думать, пока не достигну вон той песчаной полосы, что желтеет впереди среди волн. Когда я буду возвращаться (если только буду), непременно пойду у самого берега.

Да, читатель, если вы чувствуете утомление, если вас угнетают заботы, если, наконец, вы просто изнервничались, или все вам опротивело и вы не можете приняться за дело, — прибегайте к этому единственно целебному средству: ступайте на берег, несмотря ни на какой ветер, берите лодку, ставьте парус и... и в путь! И когда вокруг вас, тяжело вздымаясь, белея пеной, зашумят волны, и лодка, переваливаясь, с кряхтением опустится среди расступившихся зеленоватых водяных холмов, а берег, суда, пароходы скроются из виду и лишь серое небо будет над вами, которое в это время будет казаться с овчинку, если при этом вас не захлестнет волной, не потопит шальной пароход, не разобьет о сваи, если, подвергаясь риску двадцать раз утонуть, вы все-таки не утонете и возвратитесь здравым и невредимым, — о, тогда вы почувствуете себя так превосходно, как никогда в жизни! Все ваши нервные недуги, которые так измочаливают и душу и тело, что человек становится ни на что не годным, как рукой снимет.

И я теперь всем существом своим чувствовал удивительную целебную силу этого средства и молил судьбу только об одном, чтобы добраться до выдававшейся в море песчаной косы, к которой, сшибая верхушки волн, летел мой баркас с такою стремительностью, что мелькавшая мимо бортов пена сливалась белой полосой. Я боялся смотреть через борт: начинала кружиться голова, и слегка тошнило.

Человек привыкает ко всякому положению. Меня теперь уже не так страшили катившиеся навстречу валы. Кроме того, с моря к той же самой косе шла рыбачья лодка, и присутствие людей среди этого волнующегося водного простора придавало лишь больше уверенности. Лодка тяжело переваливалась с волны на волну и, видимо, была сильно нагружена; совершенно черный парус ее острым крылом виднелся над волнующимся морем. Мы сближались все больше и больше. Лодка была нагружена рыбой и чрезвычайно глубоко сидела в воде; волны то и дело плескали за борт ее.

Мы сблизились настолько, что я мог уже разглядеть сидевшего на руле рыбака — широкоплечего, с бронзовым лицом и широкой черной бородой. Сосредоточенный и спокойный, он держал одной рукой шкот, а другою — руль. В противоположность мне, он не выказывал ни малейшего волнения. Когда ветер усиливался и начинало кренить мою лодку, я начинал суетиться, наваливался на руль, то подбирал, то опускал парус, вертел

лодку в ту или другую сторону, пока ветер не ослабевал. Он же спокойно держал курс в одном и том же направлении, как ни кренило его лодку, не спуская глаз с желтевшей среди волн косы, куда быстро шли обе лодки.

Только что-то странное было в этом человеке. Очевидно, это был крупный, хорошо сложенный и, должно быть, высокого роста мужчина, и тем не менее из-за бортов виднелись только его плечи и голова, хотя борты были очень низки.

На косе на берегу стояла повозка с лошадью, а у самой воды два мальчугана, видимо, поджидали рыбачий баркас. Я до того обрадовался, что, наконец, добрался до берега, что, не рассчитав, прямо направил на косу; лодка с разбегу глубоко зарылась в песок и моментально остановилась. От толчка я вылетел и крепко ударился о мачту. Делать нечего — всякая наука оплачивается, а тем паче кораблевождение. Рыбак же подошел к берегу как-то боком, и его баркас мягко и без толчков сел на песок. Мальчишки подбежали, сдернули полог, прикрывавший люк, и стали выбрасывать оттуда рыбу на берег.

Вместо того чтобы просто встать с баркаса, рыбак перевесил через борт голову, оперся руками и вдруг перевалил себя из баркаса наземь. И я увидел на песке человека с одним туловищем, руками и головой: ног у него не было. Опираясь на руки, он потащил свое туловище к повозке, куда мальчишки торопливо таскали рыбу. Я убрал свой парус, снял руль, чтобы не сбило водой и тоже подошел к повозке.

— Доброго здоровья!

— Здравствуйте.

— Из-под той стороны, должно быть?

— Из-под той.

— Как улов?

— Бог не обидел.

Мы помолчали. Рыбак-калека сидел на песке (если только может человек сидеть без ног) и набивал трубку. Я смотрел на него сверху вниз и испытывал неприятное чувство. Я присел возле.

— Ветер разыгрался,—проговорил я, желая завязать разговор.

— Погода...

Он отвечал односложно и нехотя. У него было то особенное выражение, какое носят на лице горбатые, безрукие, безногие, вообще калеки — выражение постоянного сознания своего несчастья и своей отделенности от остальных людей.

Набив трубку, он обратился ко мне с просьбой дать ему спичек, так как у него коробка отсырела. Я быстро достал и подал, и он, отвернувшись от ветра и пряча огонь меж ладонями, стал закуривать. Мальчишки между тем продолжали выгружать баркас.

— Скажите, пожалуйста, — заговорил я, — неужели вы один ходите в море и управляетесь с сетями?

— Хожу и управляюсь. Два парня у меня сейчас на море, вместе с нами сели.

Он продолжал попыхивать трубкой, видимо, не желая продолжать разговор. Но потом вдруг заговорил:

— Это вы насчет того, что я без ног, удивляетесь? Как же, господин, быть? Есть-то ведь хочется каждый день: у меня восемь человек ребят. Был и я когда-то человеком, был не хуже людей, и ни на что у меня страху не было, искушал я господа. Он и смирил меня. Бывалыча, темень ли, ночь ли, мороз ли, погода ли, кто и поопасается — пообождет, а я завсегда впереди всех. Думал так, что веку моего хватит. Ан бог-то и укротил, смирил гордыню. Вот, к примеру, теперича — погляжу я на вас: одежа на вас хорошая, все в справности — ну, стало быть, кушаете, как следоваить быть, работа у вас чистая, белая, — чего еще нужно? Нет, вы господа искушаете. Давеча посмотрю, посмотрю я на вашу лодку, — вот, думаю, зальет, вот зальет, вот опрокинет: зараз видать — человек ни паруса поставить не может, ни руля дать, а господа искушает. Погода разыгралась, а он в самую погоду, что ни на есть, в самую погоду в море кататься едет. Ну, разве не искушение это?

— Позвольте, но разве уж так опасно? Ведь ходят же сотни рыбаков в еще больший ветер в море, и ничего — возвращаются.

— Энто, господин, совсем другая статья. У нас занятия одна, у вас — другая. Нам надо семью кормить, а как ее кормить? А так: ежечасно, ежеминутно смерти в глаза смотреть. И ежели тебе такой предел положен, ты и должен без бахвальства, с простым сердцем итти — и дело делать. Тут погода, тут ветер, тут буря, думаешь, — возворотишься али нет, там в море и останешься, а сам идешь и парусом правишь, и засыпаешь сети, и выбираешь рыбу, и чуешь, что сичас жив, а вот и нет тебя... Так-то, положение совсем другое: положено уже нам так. А вот вы господа бога искушаете. Кататься захотел — дождись тихого ветерка, возьми лодочку, тихим манером поезди себе, а не лезь смерти в зубы — она, брат, и сама найдет тебя. Потому это одно искушение и бахвальство. Глядите вы на меня: что я есть теперь за человек? Калека — больше ничего! А ведь и я был человеком. Шестнадцать годов прошло, как я обкалечился.

Он замолчал, поправил трубку и стал глядеть на море. Мальчишки продолжали выгружать рыбу. Лошадь понуро стояла в оглоблях: она знала, что ей долго придется дожидаться.

— Как же это с вами случилось несчастье?

— Да так, господин, от моего, значит, от бахвальства. Жили мы туточки вот недалече, где и теперь живем. Дело было зимою. Приходит ко мне Иван Евстигнеев с кумом своим Федотычем. Суседями они были, тут вот недалече и хатки их стояли Федотыч-то теперь покойничек, царство ему небесное. Приходят и сказывают: Спиридоныч, идем на море, у Долгой рыбы, сказывают, сети не держат — косяк. Глянул я в окно — темь, снег

так и засыпает стекло, ветер в трубе гудит, и так мне будто в сердце стукнуло: не ходи, мол. Нет, господа, говорю, не товарищ я вам нонче, дело у меня в городе. Стали они меня усовещать: близко, мол, рукой ведь тут подать, нельзя случай такой упускать, может, за всю зиму не выпадет такого. Облестили они меня, знали, что уж ежели пойду, так не побоюсь, полезу везде. Стала было жена говорить: куда едете, на ночь глядя, — ну, а я говорю, не твоего ума дело, — велел собирать. Обрадовались те, — побежал Федотыч лошадь запрягать, накрыла хозяйка вечерять. Повечеряли, стал я собираться. А погода на дворе кружит, в окно снегом стучит, засыпает. Достала хозяйка бродни, сапоги такие длинные, вытащила их, подала мне, а в это время, братец ты мой, в трубе вой сделался, ровно по мертвому голосил кто. Перекрестилась хозяйка: ишь, говорит, непогодь, люди добрые дома сидят, а вы на ночь глядя нивесть куда идете. Молчи, говорю, упустишь теперь — потом всю зиму локти кусать будешь. Приходит Федотыч, — все, говорит, готово. Помолился я образу, вышел. Так и закрутило меня снегом — лепит глаза. Ну, думаю, ничего, недалече ведь тут, под Долгой переночуем.

Выехали, спустились к морю, взъехали на лед — и тронулись. Сначала хорошо было ехать: вешки стояли, а потом целиком поехали. Только стал ветер упадать, вызвездило. Кругом ровное ледяное поле маячит. Лошаденка трюхает, привалился я к задку в санях, укрылся тулупом, пригрелся и стал дремать. Долго ли, коротко ли, — не знаю, только стал мне сон сниться. Снится мне, будто стою я на льду и засыпаю сети в лунку, и будто ноги мои по самые колена вмерзли в лед. И будто испугался я и стал их вытаскивать изо льда, и никак не могу вытащить, вмерзают они все больше и больше. Закричал я во сне и проснулся, а ног-то в самом деле не чую. Кинулся, а это Евстигнеич заснул в санях, навалился и придавил мне ноги. Встал я из саней, кругом снег белеется, совсем вызвездило. Федотыч у лошади чего-то возится, а впереди чернеет расщелина. Посоветовались мы, объезжать ли, али тут переправиться — порешили тут переехать, а то, бог ее знает, куда объезжать придется — может, ей и конца нету. Достали топоры — особенные такие топоры у нас для льда: узкие, длинные, на длинных ручках, и сейчас принялись за работу. Вырубили у края расщелины четырехугольную глыбу во льду, вывели ее в расщелину и поставили поперек, так что она краями в матерый лед уперлась с этой и той стороны — сделался вроде как мост. Перевели лошадь с санями, поехали дальше; только стало тут трудно ехать. От берега порядочно отъехали, так тут ветер сильней был, намело сугробы, и какие были щели во льду, ежели не широкие, замело их снегом и сравняло; стало опасно ехать. Лошадь идет, все ушами стрижет, храпит, боится проступиться. Ну, мы тоже рядом с санями идем. Только шла, шла лошадь—стала, стали ее гнать, не идет, крутит головой. Что ты будешь делать? Евстигнеич

с Федотычем говорят: ночевать. Загорелось у меня, — Что же, говорю, играться, что ли, вздумали? Зачем же, говорю, вы меня уговаривали ехать, а теперь на ночевку останавливаться! Завтра, может, приедем — там уже пусто будет, — сами, говорю, знаете, куй железо горячее, час упустишь — потом годом не наверстаешь. А тебе, говорят, ежели голова не дорога, ступай вперед, веди лошадь. Видишь, говорят, как лед покололо, кругом щели, а не видать ничего, все затянуло снегом.

Стало мне досадно: то поспешали как, а то осталось верстов с пять — на́ тебе, становись. Загорелась пуще у меня досада, ухватил я лошадь под уздцы и повел. Ну, за мной лошадь идет ничего, и те за санями идут. Иду я, щупаю ногой — везде лед крепкий. — Э, говорю, бабы вы, больше ничего — садитесь в сани, правьте за мной. Бросил лошадь, а сам пошел впереди. Прошел так, может, с полверсты; вдруг чую — стал лед уходить из-под ног, и я погрузился, как будто в кисель. Не успел крикнуть, как провалился по самый пояс. Чую, как лед мелкими глыбами колышется кругом, хватаюсь я руками за обломки: — Братцы, пропадаю, выручайте! — Засуетились те, боятся подходить. Лед-то во время ветра поломало кругом на мелкие части, потом снегом затянуло — так боятся, чтоб самим не провалиться. — Братцы, кричу, не дайте христианской душе погибнуть. Если сами боитесь, так киньте хоть конец веревки. — Кинулись они к саням, стали искать, с перепугу никак веревки не найдут. А нашли — никак не развяжут: руки на морозе закоченели, не действуют. А я уже слабеть стал, сапоги полны воды набрал, — стали тянуть меня, руки осклизаются со льда. Наконец-то распутали, кинули конец, ухватился я, потащили они, а веревка скользит у меня в руках: застыли они, не могут удержать. Выскользнула веревка совсем. — Братцы, говорю, пропал я совсем, не видать мне божьего света. — Выбрали они веревку назад, навязали узлов на конец, чтобы не осклизалась, и опять кинули. Ну, ухватил я за узлы, поволокли они, выволоки меня на матерый лед. Поднялся я по самый по пояс мокрый, вода бежит, зуб на зуб не попадает. — Что же, говорю, теперь будем делать? — Перво-наперво, говорят, переобуться тебе надо. — Сняли с меня сапоги, вылили воду, портянки выкрутили, выжали хорошенько; обулся я опять. Только холодно, так всего и колотит меня. — Вот что, — говорят они, — теперича нам тут ночевать, не иначе. Ежели поедем назад, пропадем. Лед-то не стоит, раздается, колется, где и проехали перед этим, теперь не проедешь, а не видать, снегом закрыто, провалишься совсем с лошадью и санями. Надо переждать, а утром поедем. — Нет, говорю, не дело вы рассказываете. Ежели мы останемся тут, все равно мне замерзать, весь я мокрый, а мороз-то, гляди, какой! Боитесь вы ворочаться, так я сам один пойду, — иначе пропаду я тут... — Ну, они остались, а я перекрестился, пошел назад. Сначала бежал, что есть мочи, чтобы согреться, а потом стал задыхаться, —

тише пошел. Мороз все крепчает, поземка потянула, стал ветер резать мне лицо, руки, знобить всего. Куда ни глянешь, синяя морозная ночь, и небо все горит, а по льду тянет и шевелится белой пеленой поземка. Сначала я все приглядывался, опасался, обходил подозрительные места, как бы не провалиться. А мороз все больше да больше знобит. Стала мне тоска в сердце западать, оглянешься — один, кругом лед, над головой ночная морозная мгла, и сквозь нее звезды горят. Чую, стал я заколевать. Ноги в ступне уж не сгибаются, как колоды передвигаю, как два полена, уж и не слышу их. Тронул руками — лед до самого колена, замерзли мокрые портянки, шаровары и сапоги сделались, как кол, и примерзли к ногам. Вспомнил я свой сон и как в трубе покойники выли, и потемнело у меня в глазах, захолонула душа, пришел конец. Перестал я остерегаться и напрямки пошел, поволок свои ноги, как деревянные. Провалюсь — один конец, все одно замерзать мне тут. Должен бы и берег быть, — не видать: все так же пусто, все так же морозное небо спускается к темному краю льда, и кругом сумно, и тянет низом поземка. Покаялся я господу во грехах всех, перебрал в памяти детишек, жинку жалко стало, и, видно от морозу, слезы стали намерзать на ресницах. И стал у меня звон в ушах, будто собаки воют, а в глазах огни, и люди где-то разговаривают. Ну, думаю, вот и смерть, — замерзаю, и не могу уже поднять ног. Опустился я на лед и никак с мыслями не соберусь: хочу думать о том, как я один на льду и что ночь кругом и мороз, а перед глазами то будто день зачинается, то будто в гостях сижу. Потом стало все перепутываться и потемнело.

Не знаю, сколько прошло времени, только слышу, как теплота по телу разливается. Открыл глаза, а я в своей избе, людей много в хате, жена голосит, а ноги у меня спущены с кровати совсем в сапогах, как есть, в кадушечку с холодной водой, чтобы оттаяли. Наши рыбалки недалеко от берега сети осматривали, наткнулись на меня и принесли домой. Призвали фершала, — пришел он, велел снять сапоги. Как стали снимать, так свету божьего я не взвидел, будто кожу с живого сдирают. Так и не сняли, дюже ноги уж распухли. Пришлось разрезать сапоги. Как разрезали, открыли, так все и ахнули: ноги-то черные, как чугун, аж сизые. — Ну, — говорит фершал, — плохо его дело, везите, говорит, его в больницу. Привезли в больницу, а там дохтора и отрезали их по самые корешки. И стал я калекой вот уже шестнадцатый год!

Он замолчал. Мальчишки вытаскивали из лодки последнюю рыбу.

— Кончили, што ль?

— Кончили.

— Воды много в лодке?

— Есть.

— Вычерпайте зараз.

Мальчуганы забрались в лодку и стали черпаками выбирать грязную с рыбьей чешуей воду, мерно плеская в море.

— Эх, господин! — продолжал рыбак. — Конечно, молодой я был, ловкий, жить хотелось; ну, да что же делать, — судьба, видно, такая. А вот после меня несчастье как накрыло, так вот четвертый год, а я опамятоваться не могу.

И он вдруг отвернулся и странно засопел, усиленно затягиваясь трубкой, в которой давно уже не было огня.

— Сын у меня помер... Не помер, а потонул, и все оттого несчастье произошло, что у меня ног не было. Будь ноги, был бы жив мой сынок, мой Ванюша.

И он опять отвернулся от меня и стал смотреть вдаль, где вздымались тяжелые волны. Чайки с криком носились над водой, то и дело падая вниз и касаясь волны крылом. В серой дымке вдали виднелся город. Не знаю почему, но только то возбуждение, которое охватывало меня, пока я ехал сюда, возбуждение близкой опасности, удали и сознание необычайной обстановки, которою хотелось стряхнуть свое будничное усталое настроение, прошло.

— Как же это? Зимою тоже затерло его?

— Нет, кабы так, что же делать? — значит, воля божья. А то на глазах вот, возле меня утонул. Ставили мы с ним сети под той стороной. Хороший улов попался, полон баркас нагрузили, почти до бортов вода доходила. Ну, под вечер пошли домой. Ветер стал подыматься, волна пошла. Ну, пока ничего — держимся, а как вышли в самое «корыто», — середка моря у нас так называется, — крупная волна пошла, стала хлестать через борт. Вижу я, не дойдем так. — Ванюша, говорю, скидывай рыбу; и жалко, а нечего делать, — не то зальет. — Эх, батя, говорит, сколько трудов положили, когда дождемся такого улова, — буду я отливать воду из лодки, бог вынесет, дойдем...

И стал он черпать воду и отливать. Я уже не стал заставлять его: тоже ведь жалко. Сколько трудов, и ведь это не то, что пошел, покосил в степи али в саду нарвал, — тут работай, а смерти не забывай, и иной раз месяц и два бьешься, из кожи лезешь и ничего нет, а семейство ждет, долги, справа, одежа нужна; ну, как дождешься улова, не знаешь, как и бога благодарить. Вот и тогда покорыствовался я, не сказал ему, чтобы непременно рыбу повыкидал, ат бог-то и наказал. Волна стала захлестывать, стал баркас все ниже и ниже садиться, видим мы, что погибаем. Закричал Ваня: — Батя, выкидать надо! — И стал он выкидывать назад в море рыбу, да уже поздно было: пришла волна и накрыла баркас, и не успели мы опомниться, как прошла у нас над головами. Стал я захлебываться, стал со смертью бороться. Вижу: всплыл бочонок с пресной водой, воды в нем немного осталось, пробка туго забита, так он плавал. Ухватился я за него, сердце у меня колотится, стал Ваню искать, а он сажени за полторы от меня тоже со смертью борется, соленую воду гло-

тает. Сапоги у него набрались водой, тянет его ко дну. — Батюня, говорит, тону я, мочи моей нет, не удержусь, говорит. — Ванюшка, кричу, соколик ты мой, продержись, продержись ты на воде, сейчас, сейчас я до тебя доплыву. — Эх, кабы ноги, кабы ноги-то! Не вижу, не разберу перед собою, — слезы ли, али соленой водой заливает глаза, — одной рукой только огребаюсь, другой за бочонок держусь. Вижу, не удержит нас двоих бочонок, — мал-то он больно, да и вода-то в ём. Думаю, только бы доплыть, доплыть бы только до него: как ухватится, выпущу, думаю, бочонок, перестану держаться, мне бог отпустит грехи, а Ванюша ребят прокормит. Вот уже доплываю, вот он, вижу — лицо у него побелело, захлибается водой, и глянул он на меня, все перевернулось у меня: — Ванюша, Ванюша!! — Рванулся я, доплыл, а его уже нету, — одни волны кругом. Как закричу я не своим голосом, соленая вода в горло заливается, огребаюсь, плаваю кругом, оглядываюсь, забелеется на воде, кинусь, а это пена; не помню, как взяли меня на английский пароход; два месяца пролежал в горячке. Кабы ноги, был бы сынок живой!

По загорелому, обветренному морщинистому лицу рыбака текли слезы.

Мальчуганы, окончив свое дело, стояли возле с открытыми, смелыми лицами рыбаков и слушали отцовскую эпопею, которую они знали, как свои пять пальцев.

— Всю рыбу выбрали?

— Всю, батя.

— Ну, ступайте домой, к вечеру завтра будем. Пусть хозяйка хлебу заготовит. Прощайте, господин.

— До свидания, счастливого пути.

Он уперся руками и потащил свое туловище, оставляя на песке широкий след. Добравшись до лодки, он опять с помощью обеих рук поднялся до борта и перевалился в лодку. Методически, не спеша, расправил он парус, потянул шкот и взялся за руль. Мальчуганы дружно столкнули лодку, и она, подхваченная ветром, покачиваясь, кренясь, смело и легко пошла, обгоняя волны, вдаль, делаясь все меньше и меньше. Скоро над волнами виднелось лишь острое крыло ее, потом она на горизонте мелькнула черной точкой и окончательно исчезла.

Мальчики уехали. Кругом никого не было; лишь чайки попрежнему летали берегом. На песке виднелись колеи от колес, а у воды прыгало несколько маленьких рыбок, выброшенных из лодки.

Я кое-как стащил свою лодку, поднял парус и тихонько пошел у самого берега к городу.

МЕСТЬ

I

Было холодно. С серого зимнего неба попархивали снежинки, и резкий восточный ветер, ни на минуту не останавливаясь, упорно тянул по льду поземку, местами дымившуюся тонкой снежной пылью. Куда ни глянешь — везде пустынно, ровно, бело. Только позади темнели невысокие глинистые обрывы морского берега, размытые и неровные, слегка запорошенные теперь снегом.

В громадных розвальнях, заполненных сетями, веревками, топорами, шестами, «стрекачами» для пробивки льда, теплой одеждой, провизией, котлом для варки пищи, поленьями дров, привалившись к задку, дремал, укрытый теплым кожухом и полстью, старик. Молодой парень сидел на передке, свесив из саней обутые в валенки ноги. Пара маштаков бежала ровно и споро, не останавливаясь, зная, что еще долго так придется бежать.

Парень не правил лошадьми, а, засунув под сиденье концы вожжей, привалившись к саням и глубоко засунув руки в рукава, задумчиво глядел под передок, как под полозьями неустанно все в одну и ту же сторону бежал снег. Иногда он менял положение, выпрастывал руки, больше свешивал ноги и чертил ими по снегу или начинал разговаривать с лошадьми тем особенным тоном и голосом, которыми обыкновенно кучера в дороге разговаривают с своими лошадьми.

— Но, но, милаи, но, резвыи!.. Эй, ягнятки! много пробегли, немало осталось... Но, детки!

Или вытаскивал из-под себя кнут и начинал хлестать ближайшего коня долго и настойчиво. Тот сначала отмахивался хвостом, как от надоедливой мухи, но потом, видя, что от него не отстают, точно желая сказать: «Эк его, привязался!» — неловко и неуклюже переваливаясь, пускался вскачь, прыгая всеми четырьмя ногами. Мужик, очень довольный, переставал хлестать,

натягивая вожжи и запихивая опять кнут под себя, а конь, попрыгав еще раза два-три, с сознанием, что, наконец, удовлетворил каприз возницы, снова начинал бежать ровной рысью. Мужик опять примащивался в санях, подставляя ветру то спину, то бок. Ему нечего было делать, было холодно и скучно.

— Аж наскрозь тебя продувает... Удивительное дело... — говорил он сам с собой, глядя, как из-под лошадиных копыт, из-под полозьев саней дымил порошей морозный ветер и неустанно, без перерыва по всему пространству гнал сухой снег, неведомо куда и зачем.

Иногда Никита соскакивал и бежал рядом с санями, хлопая и махая накрест руками. Или, отставая, шел некоторое время шагом, потом пускался бегом догонять далеко ушедшие сани. Лошади же, видя, что возница нагоняет их, и опасаясь, что он начнет их сейчас хлестать, подхватывали сани и неслись во всю рысь, так что Никита, что есть духу, должен был бежать за санями, пока, наконец, улучив минуту, изнемогая и запыхавшись, переваливался брюхом через грядку саней, красный от напряжения и ворча на лошадей: «Вот, идолы, проманежили как!» — а на самом деле очень довольный, что кони сыграли с ним эту штуку.

Берег давно пропал, кругом курилась белая равнина. Казалось, это была степь, ровная и гладкая, по которой сплошь тянула поземка.

Но это было море.

И как бы в доказательство этого, нарушая унылое однообразие окружающей обстановки и состояние скуки и монотонности Никиты, потрясая воздух, грянул громовой раскат и тяжело покатился к самому краю равнины.

Никита подобрал вожжи, лошади насторожили уши, спавший рыбак проснулся, выставил из-под полсти голову и стал осматриваться, щурясь от белого снега.

— Где? Впереди али сзади?

— Впереди, — проговорил Никита, привстав в санях на колени и всматриваясь вперед.

Саженях в пятидесяти среди снега темнела водная полоса, протянувшись до самого горизонта. Когда подъехали, щель разошлась сажени на три.

Никита слез, обошел лошадей, поправил дугу и проговорил:

— Што жа, рубить, видно, надо, куда объезжать: сколько видно — пошла.

Из саней, приподняв полсть, вылез бородатый с проседью, широкоплечий, здоровый старик лет пятидесяти, пошел ко все расходившейся щели и внимательно осмотрелся кругом.

— Делать нечего, — сказал он, — придется рубить. Экая беда — время зря сколько пропадет!..

Они достали из саней топоры и «стрекачи» и стали вырубать во льду у самого края большую четырехугольную глыбу. Отде-

лив ее от остальной массы льда, они вывели ее баграми на воду, поставили длинной стороной поперек щели так, что она концами уперлась в края матерого льда, и перевели по ней лошадей с санями, как по мосту.

Тронулись дальше. Никита уселся на облучок, а старик залез под полсть. Но не успели они проехать и полсотни саженей, как снова раздался гул лопнувшего почти под самыми ногами лошадей льда. Лошади испуганно шарахнулись. Щель быстро расходилась.

Парень и старик торопливо соскочили, чтобы не дать ей совсем разойтись, надвинули сани, сколько возможно было, на лошадей, так что хомуты у них оказались на головах, гикнули и хлестнули коней. Лошади рванулись и совсем с санями перенеслись через угрожающе темневшую в расщелине воду.

Снова лошади бегут своей привычной побежкой, покачиваясь крупами, в такт потряхивая головой и гривой. И Никита опять, свесив ноги, глядит на убегающий мимо снег, на мелькающие лошадиные ноги, которые, выворачивая копыта, то и дело показывают ему отбеленное железо подков, разговаривает с лошадьми и с ветром и согревается, бегом догоняя сани. Кругом все так же однообразно и скучно.

Старик лежит под полстью и прислушивается — не лопается ли опять лед. Его стало беспокоить, как бы не переменился ветер; тогда ведь в какие-нибудь три-четыре часа поломает лед, и станет их носить по морю. Но зловещего гула больше не слышно, и лишь в санях шумит ветер да полозья повизгивают, скользя иногда по льду.

Старик немного успокоился и стал думать о том, о чем он всегда думал, когда ничем не был занят: о своем хозяйстве, о рыбе, о сетях, о том, что того-то надо прикупить, то-то переменить, что надо бы столько-то пудов рыбы поймать, чтобы обернуться этот месяц, что не надо взгадывать — сколько поймаешь рыбы, потому что тогда ничего не поймаешь. Потом он стал высчитывать, сколько пришлось ему за красную рыбу и за судака. Судака он продал хорошо, а красную рыбу продешевил. И как только он вспомнил про это, у него засосало опять «у самой души», как он выражался.

Старик всячески берег деньгу, и малейшая потеря его обыкновенно долго мучила. Единственный способ заработать был рыбный промысел, и потому все помыслы его сосредоточивались на нем. С самого детства, сколько он себя помнит, он ничем другим не занимался. Весь мир для него сосредоточивался на этом мутном, заплесневелом море с низкими глинистыми берегами. Все города, какие ни существуют на свете, он представлял себе в виде Ейска, Ростова, Таганрога, Мариуполя, да и то в виде тех их частей, где помещался рыбный базар. «Расею», о которой иногда приходилось говорить, он представлял себе в виде прикубанских, донских и приднепровских степей, которые со всех сто-

рон надвинулись на Азовское море. В самом море он знал каждый уголок, каждую ложбинку, углубление. Во всякую погоду днем и ночью ходил в баркасе без компаса и приходил туда, куда нужно. Знал, когда и какая рыба ловится, где она держится косяками, и немилосердно истреблял ее крючьями и разными другими недозволенными снастями, приговаривая, что рыба — божий дар, и что хватит ее на всех, хотя последние годы все чаще и чаще стал жаловаться, что рыбы стало меньше и что год от году она все хуже ловится. Семья у него была большая: восемь душ, — из них пять сыновей, которые рыбачили вместе с ним. Пока дети были маленькие, семья испытывала страшную нужду, почти нищету. Обзавестись своим баркасом, своими снастями не было сил. Хозяин ходил на рыболовные заводы простым работником-поденщиком. Кое-как, однако, с величайшими усилиями удалось обзавестись своими снастями, но в первый же год сети вмерзли зимой в лед—и все пропало, и опять пришлось браться за поденщину. Так было несколько раз. Но когда дети подросли и стали помогать, семья окрепла: завели свои снасти, два баркаса и пару лошадей.

У старика была и своя хатка на берегу. Он облюбовал себе местечко на косе пустынного берега, наделал саманных[1] кирпичей, наменял на рыбу черепицы и поставил хату. Но через несколько лет к нему предъявило иск о сносе хаты соседнее село, которому принадлежала береговая земля. Старик не признавал никаких судов, твердил, что это— бечевник, что у моря земля божья, что «государственное имущество»[2] разрешило рыбакам селиться на берегу безданно, беспошлинно, чтоб они ловили христианскому народу на пропитание рыбу, и что без рыбаков все поделаются нехристями: будут жрать в посты говядину. Кончилось тем, что явился судебный пристав с полицией и рабочими и сравняли хату с землей. Упрямый старик отступил немного и поставил новую хату; с этой начиналась та же история.

Несмотря на свое скопидомство, он всегда первый являлся с помощью, как только у какого-нибудь рыбака случалось несчастье. Прибегут, скажут, что дядя Влас потонул или что затерло его льдами или унесло льдом в море, и он замерз, — и старик сейчас же нагружает кого-нибудь из сыновей мешком-другим рыбы и отправляется к семье погибшего. Но деньгами он никогда не помогал, а только натурой. И кажется, если бы перед ним помирали целые семьи от голода, он не дал бы ни полушки, а скорее бы отдал половину улова, — с деньгами он не мог расстаться.

Сыновей своих держал в строжайшем повиновении, не позволял им ни курить, ни пить. Себе в два-три месяца разрешал

[1] Саманные — из глины с примесью соломы и навоза.
[2] «Государственное имущество» — министерство государственных имуществ.

в виде отдыха «погулять», однако дома никогда не пил, а шел в город и там уже напивался до положения риз. И здесь он старался, если представлялась малейшая возможность, не истратить ни копейки, а расплатиться натурой: входил в соглашение с содержателем гостиницы или трактира, который доставлял ему определенное количество водки, а старик взамен приволакивал ворох рыбы, и хотя стоимость рыбы во много раз превышала стоимость водки, и гораздо выгоднее было бы продать рыбу и на вырученные деньги купить водки, — старик был в восторге, что погулял, не истратив ни копейки.

Перетерпел он на своем веку много: два раза тонул на захлеснутом водой баркасе, и его носило по морю целые сутки; раз затерло льдами, и его едва успели спасти товарищи, а несколько лет назад унесло на льду в море со всем — с лошадьми, санями и снастями. Лошади замерзли, сани затерло льдом, и они пошли ко дну, и остался он один среди льда; кругом шумело холодное море, а над головою низко висело серое зимнее небо. Его вынесло из таганрогского залива в самое море, пронесло мимо Бердянска, мимо Геническа, но с берега не могли разобрать черную точку среди льда, и ниоткуда не было помощи. Он жевал куски голенищ своих сапог, глотал снег, но потом, когда увидел, что спасения нет, лег на лед и перестал бороться со смертью. Его сняли уже около Керчи, закоченевшего, в бессознательном состоянии, и доставили в больницу. Здесь ему отрезали все пальцы на левой ноге и правое ухо. И, странно, с тех пор он иногда чувствовал, что чешутся пальцы на ноге, которых у него не было. Вот и теперь. Старик замечал, что это у него к перемене погоды, и с беспокойством отвернул полсть и огляделся кругом.

II

Лошади понуро стояли. Поземка все так же тянула, а недалеко одиноко торчали вбитые в лед колья, и маленькие флажки трепетали на их верхушках; они означали места, где были поставлены сети.

Старик и Никита достали топоры и пробили лунки, которые затянуло морозом. Стали выбирать сети, но там ничего не было. Старик хмурился, ворчал. Ему подозрительно было, что в сетях не оказалось ни одной рыбы. Соседи-рыбаки, возвращавшиеся с моря, говорили, что рыба хорошо идет. Спустили опять сети, сели в сани и тронулись дальше. Проехали версты две, впереди опять показались вбитые в лед колья и бившиеся на них по ветру привязанные лоскутки.

Старик велел остановиться Никите, а сам, внимательно осматриваясь кругом, пошел к лункам. Тут он опустился возле них на колени и стал шарить голой рукой по снегу и по краям

лунки, потом поднялся и кликнул Никиту. Тот торопливо подбежал.

— Что, али *был*? — проговорил он.

— *Был* и недавно — лунки только что успело затянуть, ледок-то совсем еще тонкий.

— Следов не видать?

— Следов и не будет видать — вишь, поземка тянет, все заметет, и время такое выбирает. Теперича засыпем сети, к крайним вдаримся — може, там накроем *его*.

И старик и Никита торопливо вытаскивали из саней привезенные сети, топоры, секачи и стали рубить во льду новые лунки. Они работали напряженно, и целые тучи ледяных брызг летели из-под топоров, обдавая их лица и платья. Наконец у Никиты топор со всей рукоятью ушел в лед, и оттуда фонтаном ударила вода, разливаясь по льду.

Вырубили по прямой линии: на расстоянии двух саженей одна от другой еще десяток лунок. Оставалось «засыпать» сети — самое тяжелое и неприятное дело.

Никита привязал к концу длинного шеста веревку, которая шла от сложенной на льду сети, погрузил шест в лунку и стал в воде голыми руками направлять его так, чтобы он подо льдом прошел как раз во второй лунке.

В холодной ледяной воде руки разом закоченели — ветер нестерпимо жег их морозом. Было так холодно, что Никита делал над собой страшные усилия, чтобы выдержать и не бросить все. Старик крючком ловил во второй лунке просовываемый подо льдом шест, и когда он, наконец, зацепил его и придержал, Никита мог немного отогреть руки. Он вскочил, торопливо вытер их о кожух и яростно, что было силы, стал махать ими накрест, хлопая себя в бока и плечи.

А над снежной равниной быстро вечерело. Небо стало чистое, и на нем показалась луна, круглая и белая. Угасающий дневной свет не давал ей светить. В сумерки эти два человека, лошади и сани казались еще более одинокими, затерянными среди безлюдной пустынной равнины, над которой все же проносился морозный ветер.

Никита не согрел рук, но они хоть немного отошли; невыносимо кололо в пальцы. Опять надо было снимать рукавицы и лезть голыми руками в ледяную воду. И Никита, усиливаясь удержать дрожь и не попадая зуб на зуб, снова стал возиться с шестом в воде, прогоняя его подо льдом через все лунки, в которых ловил его крючком старик. Наконец шест прошел к последней лунке, откуда его и вытащили. Никита перебежал к этой лунке и стал быстро выбирать из нее веревку, которую за собой протянул шест. Вода бежала с бечевы, затекала Никите за рукава и намерзала там на рубахе и на овчине тулупа. Старик у первой крайней лунки спускал в воду аккуратно сложенную на льду сеть, расправляя ее и вытягивая.

Но вот у Никиты бечева кончилась, и из-подо льда показалась сеть, которая протянулась саженей на тридцать. Никита перестал выбирать и закрепил конец к наскоро вбитому в лед колу. Потом они со стариком снова схватили топоры и на другом месте стали отчаянно, чтобы согреться, рубить новые лунки. После этого Никита снова принялся болтаться в воде голыми руками, пропихивал шест и с отчаянием смотрел, как старик, срываясь и не попадая, вылавливал его из другой лунки. Он уже не чувствовал кистей рук, а сведенные судорогой пальцы не разгибались. Он все чаще и чаще принимался отогревать руки, махать и хлопать ими о полы тулупа, но как только принимался за работу, мороз, становившийся к ночи злее, беспощадно леденил его до костей; мучения холода становились невыносимы. Так они проработали несколько часов.

Уже давно сумерки сменились морозной ночью. Луна поднялась высоко и необыкновенно ярко озаряла теперь всю равнину искристым морозным сиянием. В снегах играли синие огоньки. Белая подвижная пелена колебалась по всей равнине. Лошади прозябли и выражали нетерпение, переступая с ноги на ногу, и иногда слегка ржали, повернув голову к хозяевам.

Покончив работу и поставив шесть новых сетей, рыбаки убрали топоры и бечевы в сани и тронулись. Прозябшие лошади пошли во всю рысь. На этот раз старик стал править ими, а Никита залез под полсть, но он и там не мог согреться. Его трясло, зубы неудержимо стучали, — казалось, холод проник внутрь его, в нем дрожал каждый мускул, и, тщательно напрягаясь, он старался подавить эту дрожь.

— Али зазяб? — проговорил старик.

— Зазяб.

— Бежи.

Никита вылез из саней и пустился за ними бегом. Он утомился от работы, а прозябшие лошади быстро уносили сани, и он делал усилие, чтобы не отстать, спотыкался, увязал в сугробах, но все-таки бежал. И только когда почувствовал, что совсем стал изнемогать и что от усталости и мороза стало перехватывать дыхание, он с усилием нагнал сани, ввалился в них и снова залез под полсть. Приятная, живительная теплота стала разливаться по всем его членам.

Старик помахивал на лошадей и зорко всматривался в искрившуюся, залитую лунным сиянием снежную даль. Везде было пусто, но он почему-то все ждал, что вот-вот что-то зачернеет, покажется вдали. Но морозная даль была обманчива: темная черта горизонта порой казалась у самой дуги лошади, и там мерещилось что-то, но сейчас же отодвигалась куда-то очень далеко, и до самого края белела тянувшая поземка. Проехали несколько верст. Лошади согрелись и пошли тише. Старик перестал всматриваться вдаль и задумчиво подгонял лошадей. Поправляясь на облучке, он случайно поднял голову и... остолбенел:

саженях в ста вправо стояла лошадь, запряженная в сани, и недалеко человек копался и что-то делал во льду; он, видимо, не замечал подъезжавших, увлеченный своей работой.

— Никита! — проговорил старик сдавленным, хриплым шопотом.

Тот высунул из-под полсти голову.

— Гляди, *он*!

Никита выскочил из-под полсти, как ужаленный.

— Тише!.. — И старик, собрав вожжи, вдруг неистово погнал коней во всю лошадиную мочь. Они понеслись во весь карьер к человеку, который что-то делал во льду.

III

Когда Петро Дранько возвратился из солдат, надо было приниматься за устройство своего хозяйства. Отец его умер, жена с ребятишками ходила на работу из-за хлеба, и у Петра, кроме трудовых рук, ничего не было. Он тоже пошел в работники, а летом ходил на рыбные заводы.

Но под конец надоела ему такая жизнь, и он задумал обзавестись собственным хозяйством. Два года работали они с женой на чужих людей, как волы, а летом Петру посчастливилось: тянул из части тоню, вышел богатейший улов, и на его долю пришлась хорошая добыча. Сколотил так несколько десятков рублей, купил он себе старенький баркас, сетей и стал в море рыбачить. Семья кое-как перебивалась. Дело бы, вероятно, и совсем наладилось, если бы Петро успел окрепнуть, стать на ноги. Но в первые же зимние месяцы случилось несчастье — вмерзли его сети: когда внезапно усиливаются морозы, лед утолщается, и в него снизу вмерзают сети, отодрать которые уже нет возможности. Этот риск неизбежно несет всякий рыбак, но у Петра не было запасных денег и сетей, а в море у него пропало снастей рублей на пятьдесят, и он был разорен. Опять предстояла поденщина, опять нужно было слоняться по чужим дворам.

Когда Петро, убитый, возвращался по льду домой после осмотра своих пропавших снастей, кругом был пусто, и морозный восточный ветер заметал следы саней и лошади, которую он нанимал у своего соседа.

Вдруг лошадь неожиданно провалилась передними ногами в лунку, затянутую тонким ледком и заметенную снегом Петро встал, выпростал лошадь и стал осматривать, не оборвала ли она чужой сети. Он потянул за веревку — сеть пошла из-подо льда, но оказалась целой, и в ней, там и сям, блеснула чешуей рыба. Вид этой добычи разом разбудил в Петре рыбака-охотника. Он забыл все окружающее и торопливо стал выбирать из сети рыбу. Рыбы было много, и он набросал на льду целую кучу.

И только когда опростал всю сеть, он с испугом оглянулся. Кругом попрежнему никого не было. Тогда он бросился к другим сетям, которые тоже оказались битком набитыми рыбой; тут, по всей вероятности, прошел косяк. И он трясущимися руками накидал рыбы полные сани, но ее было так много, что он не мог поместить всю и остаток опять побросал под лед и затем уехал. Мороз затянул лунки, а ветер замел и заровнял снегом его следы. Никто не узнал об этом посещении.

Петро продал рыбу и не только возместил свои убытки, но у него остались еще свободные деньги. Он решил опять честно рыбачить и не заглядывать в чужие сети. Но в первый же свой выезд не мог утерпеть и снова набрал из чужих сетей рыбы.

Жизнь Петра изменилась; ему стало легче и веселей жить — стал он захаживать в гостиницы, в трактиры. Постоянное присутствие денег и уверенность, что они и завтра и послезавтра будут, тянули к доступным удовольствиям и наслаждениям. Жена Петра, привыкшая к вечной нужде и работе женщина, сначала не понимала, откуда это у них постоянно деньги и почему так удачливо Петро возвращается с моря, но потом постепенно тоже вошла во вкус легкой и свободной жизни, и у них началось разливанное море: гости, гульбища, попойки.

Петро сделался форменным мародером, «ледяным вором». Это было опасное ремесло. Рыбаки добывали себе хлеб у моря суровым трудом. Когда они уезжали зимою по льду, никто не был уверен, что они вернутся не с отмороженными руками и ногами или — что навеки не останутся посреди моря. Никто из них не был уверен, что завтра же он не потеряет все свои снасти, инструменты, лошадь, сани — все, что необходимо для промысла, и не превратится из домовитого хозяина в нищего; смерть, увечье и разорение постоянно глядели им в глаза. Поэтому-то они с такой страшной ненавистью относились к ворам чужого улова, которые без всякого риска забирали себе хлеб, добытый тяжкими усилиями. Рыбаки расправлялись с ними подчас так же, как крестьяне расправляются с конокрадами, но это — при том условии, если вора накрывали на месте преступления.

Петра давно подозревали, что он обирает плоды чужих трудов, но с поличным поймать не могли: он сделался необыкновенно наглым и смелым вором. Чтобы отвести глаза соседям и другим рыбакам, он держал сани, лошадь и все необходимое для рыболовства и ставил в разных местах сети, сам же следил за тем, где кто ставит сети, и исправно обирал их перед приездом хозяев, причем забирал не все, а часть улова оставлял, чтобы не возбуждать подозрений. Он так освоился с своим ремеслом, что работал уже совершенно хладнокровно.

И сегодня он объехал целый ряд сетей и сейчас трудился над последними. Возле лунки лежала большая куча рыбы. Он так был увлечен своей работой, что не слышал, как к нему во весь опор мчались на паре два рыбака, и только тогда, когда

удары кованых копыт раздались совсем возле, Петро, точно над ним гром разразился, вскочил и, что было мочи, кинулся к своим саням. Но было уже поздно. Никита кинулся на него и со всего размаху ударил в висок. Петро покачнулся, свет перевернулся у него в глазах, но он сейчас же оправился, и они сцепились, как два зверя, и, разом поскользнувшись, тяжело грохнулись на лед.

— Н-нет... не да-амся... не дамся!.. — хрипел Петро, катаясь с Никитой по льду и делая нечеловеческие усилия сломить парня; он знал, что пощады ему не будет. «Только бы до саней, только бы до саней добраться!» — мелькало у него в страшном напряжении борьбы.

Никита, как молодой борзой, вцепившись в кабана, все позабыл в мире и, задыхаясь, бессмысленно твердил:

— Я те да-ам... я те дам по чужим сетям лазить!.. Я те дам!..

Они катались по льду клубком, сгребая снег и болтая по гладкой поверхности ногами. Старик с искаженным лицом бегал за ними, стараясь ударить колом вора, но, опасаясь задеть сына, отбросил кол и навалился на врага. Он вцепился ему в горло.

— А-а, мучитель, попался-таки, разоритель, губитель ты наш, враг рода человеческа!.. Напился ты нашей крови, будя тебе измываться. Не станешь теперь труды наши честные обирать. Погулял на наши кровные денежки, на наши мороженые ноги, калеченные увечья!.. Будя!..

Старику все припомнилось: вся его долгая жизнь, почти все время давившая бедность, его тяжелые труды, все беды, какие с ним когда-либо случались, и то, что у него нет правого уха и что на левой ноге отрезаны пальцы. Все это теперь ставилось на счет этому отчаянно боровшемуся человеку и давило старика чисто животной злобой, от которой он задыхался.

Петро, у которого перехватило горло, разом обессилел, глаза у него выкатились. Никита быстро поднялся, притянул веревку, привязанную к сети, и мертвой петлей захлестнул вора подмышками.

Старик отвалился от своей жертвы, как напившийся паук, бросился вместе с Никитой к крайней лунке, и они стали торопливо вытравлять оттуда мокрую, быстро твердевшую на морозе веревку.

Петро приподнялся на руки, огляделся кругом как будто ничего не понимающим, удивленным взглядом: что это? где это он и что с ним хотят делать? Чувство облегчения, что его по крайней мере не задушат сейчас — овладело им. Он не думал уже о сопротивлении и, хотя его никто не держал, не пытался развязать затянутый подмышками смерзшийся узел. Кругом все так же белела снежная пелена, так же неподвижно стояла в санях лошадь, так же искрилось морозное сияние над пустынным ледяным простором. Но когда его взгляд упал на извивавшуюся, черневшую по снегу веревку, которая, перегнув-

шись спускалась в нескольких шагах в лунку, и он увидел, как торопливо выбирали два человека с напряженными лицами из дальней лунки противоположный конец веревки — ужас и отчаяние охватили его. Он вдруг упал перед ними на колени и стал, как на исповеди, бить земные поклоны.

— Отпустите... отпустите... братцы... Сироты... по миру... пойдут... Братцы... не с радости на это дело пошел... есть надо... семеро ребят... Братцы, лошадь, сани — все ваше... коровенка дома, деньги, какие есть — все отдам; не губите христианской души... Братцы, какая вам корысть с того, что загубите... отпустите... век буду молитвенник ваш... Пропадет семья, некому выкормить... Пожалейте...

Он кланялся, не поднимаясь с колен, стукаясь в холодный лед, без шапки, с разорванным донизу воротом, с окровавленным лицом. Правое ухо у него совершенно побелело, но он ничего не замечал и все быстрее и быстрее бил земные поклоны.

А те из всех сил выбирали веревку голыми, скрюченными, начинавшими уже коченеть, неслушавшимися руками, из-под которых бежала намерзавшая на рукавах вода. Вдруг они с напряжением уперлись и стали тащить веревку изо всех сил.

И в ту же секунду Петро пошатнулся, веревка, обхватывавшая его и свободно лежавшая на снегу, вытянулась, как струна, и медленно потащила его к лунке. Он закричал так, как животное, которое ударили ножом в горло, но неловко, и оно, захлебываясь, напрягает все силы в безнадежной борьбе со смертью. Несчастный опрокинулся, цепляясь за малейшие неровности, хватаясь зубами за лед, вонзая в него ногти, из-под которых брызнула кровь, но... все напрасно! — до лунки оставалось только три шага... два... потом один...

— Карраул-уул... ратуйте! топят... карра-ул!.. ратуйте, кто в бога верует! Погибаю!..

Но кругом было пусто, и, покрывая этот белевший простор, покрывая готовящееся совершиться преступление, неподвижно и безучастно стояла безмолвная морозная месячная ночь.

Возле выступила лунка с намерзшими краями, через которые, перегибаясь, скользила веревка. В глубине ее чернела вода.

— Так будьте же вы трижды прокляты, анафемы, жадные звери — жрите человечью кровь... Чтоб вас покарал господь, чтобы у вас отнялись ноги, чтоб вам не видать детей!.. нате! жрите человечину... Помните мое предсмертное слово, правда откроется, быть вам обоим на катор...

Он не договорил, неуклюже перевернулся, протиснулся в узкую ледяную дыру, и вода с глухим шумом расступилась... Затем все стихло. Надо льдом остались только два человека. Они изо всех сил тащили из противоположной лунки веревку.

Сначала веревка шла свободно и легко, потом в ней стали слышны толчки, что-то шло подо льдом, задевая за него и цепляясь за нижние края лунок, потом стало тяжело тащить, как

будто сеть захватила много рыбы или зацепила бревно. В лунке что-то забурлило, зачернелось, вода расступилась, и оттуда показалась голова, затем плечи и туловище человека, с которого струилась вода. Лицо побагровело и вздулось, но он был еще жив и медленно перевел глаза на вытащивших его людей.

Рыбаки бросились опять к противоположной лунке, схватили конец, приклепленный к колу, и стали выбирать веревку из лунки. И начинавший уже обмерзать человек вдруг шевельнулся, протиснулся опять назад в лунку и опять ушел под лед, а когда он показался в первой лунке, его протащили подо льдом еще раз и вытащили, наконец, на поверхность. Он покрылся льдом, как панцырем. Голова, волосы, ресницы, неподвижно открытые глаза, борода, платье — все блестело при лунном свете.

Рыбаки подняли, поставили и подержали его с минуту; сбегавшая вода все больше и больше намерзала у ног, образуя пьедестал. В закоченевшие руки своей жертвы они сунули длинный костыль, на который этот мерзлый человек опирался, потом бросились в сани и погнали лошадей, не тронув рыбы и оставив на произвол судьбы свои сети. Лошади пошли ходкой рысью, отбивая по льду коваными копытами.

Старик и Никита не чувствовали угрызения совести, но испытывали то состояние, которое, вероятно, испытывают присяжные, когда осудят на долгую каторгу отца большого семейства, который стоит перед ними бледный, худой, истомленный, и теперь, в сущности, жалкий и безвредный человек. Осудить его нужно — за ним вопиет преступление, но кто же прокормит его галчат, которые хотят есть?..

Через минуту сани затерялись среди снежного простора.

IV

Долго стоял Гнедко, понуро опустив шею, прижав уши. Он весь заиндевел, точно поседел, и шерсть на нем сделалась пушистой и белой, а у ноздрей и губ намерзли сосульки. Ветер становился злей, пробирал до костей морозом и набивал возле ног бугры снега. Гнедко стал дрожать. Он уже раза два поворачивал свою заиндевевшую голову и глядел из-за дуги на хозяина; он давно ждал, что тот вот-вот подойдет к задку саней, пороется там, вытащит охапку сена, прикрикнет на него, когда он станет тянуться за сеном, и бросит ему под морду. Но хозяин, высокий и неподвижный, стоял не шевелясь на одном и том же месте, задумчиво опираясь на длинный костыль. Гнедко слегка заржал, давая знать, что он голоден и продрог.

Поведение его хозяина сегодня было в высшей степени странно. Что это — хозяин, Гнедко был уверен: когда уезжали на серой паре в санях два человека, он хорошо заметил, что между ними хозяина не было.

Гнедко постоял еще несколько времени, потом заложил оба уха назад, тронул сани и тихонько пошел. Он ожидал, что раздастся обычный окрик: «Куда, дьявол, прешь!» — и потому, пройдя шагов десять, остановился и подождал. Но попрежнему кругом было пустынно и безлюдно, попрежнему сплошь тянула по льду поземка, было холодно, в санях шумел ветер, и высокая темная фигура стояла не шевелясь.

Тогда Гнедко окончательно решился и потихоньку, мерным шагом отправился домой, везя за собой сани, то прижимая, то навастривая правое ухо, точно соображая дорогу.

V

Месяц, стоявший посредине неба, стал склоняться к краю льда и уже не так ярко светил над снежной равниной. Вода в лунках затянулась льдом, и его занесло снегом. Занесло снегом и кучу мерзлой рыбы, и место борьбы людей, и следы от полозьев. В морозном воздухе носились снежные кристаллы, играя в месячном свете, а низом над всей равниной шевелилась все та же белая снежная пелена, гонимая студеным ветром пороши. Месяц совсем закатился, ледяная равнина потемнела.

Один за другим проходили серые зимние дни и морозные светлые ночи. Проезжавшие случайно рыбаки с удивлением подъезжали к странному человеку, одиноко и неподвижно стоявшему посреди замерзшего моря, но когда они подходили к нему, то с ужасом замечали, что неподвижно открытые глаза его побелели, и в лунные ночи весь он отсвечивал льдом, и они поспешно отъезжали от этого ужасного места.

«Мародеры» тоже натыкались на место казни, гнали прочь лошадей и, когда отсюда ехали обворовывать чужие сети, вели уже себя в высшей степени осторожно.

Проходили дни, недели. Ветер переменился, море взломало, и громадные ледяные глыбы, с шумом и треском напирая друг на друга, носились из конца в конец расходившегося моря. По странной случайности, то место, где стоял темный призрак, откололось одной громадной глыбой, которая носилась везде, и когда ее прибивало к берегу, где образовался затор, прибрежные жители со страхом глядели на неподвижно стоявшего день и ночь замерзшего человека. Подойти к нему нельзя было — кругом был мелкий лед. Наконец в одну глухую ночь буря искрошила весь лед, и ледяное привидение исчезло навсегда.

НА КУРОРТЕ

I

На крайней скамье гранитной набережной сидел, сгорбившись, человек в сером потертом пальто с серым, землистым лицом, с ввалившимися висками и глазами, в которых светилось одиночество. Он долго и неподвижно сидел с растерянной, болезненной улыбкой, блуждавшей по его землистому лицу.

Кругом было так ярко, что у него кружилась голова. Море, солнце, небо, горы, черневшие лесами, обрывавшиеся ущельями, веселенький пестрый городок, раскинувшийся по полугорью, — все это стояло вокруг, сверкая линиями и красками. Слишком много впечатлений, новых и ярких, ворвалось в душу за последнее время.

Серый человек поднялся все с той же растерянной улыбкой удивления, почти изумления перед всем виденным. Расправляя затекшие ноги, он тихонько пошел вдоль моря, щурясь от блеска и весеннего тепла и удерживая приступ кашля.

Всего пять дней тому назад он был среди совершенно иной природы, иной обстановки, иной жизни. Сосны, мокрый, непотаявший снег, почерневшие в оттепель, с проступившим по ним навозом проселочные дороги, серые низко бегущие облака, глухая деревушка, тяжелый воздух школьного помещения, ребятишки, шум, гам, наезды начальства, страх перед ним — все это всего пять дней тому назад наполняло его жизнь. И эта жизнь тянулась годами.

Серый человек остановился и, опираясь о гранитный парапет набережной, стал кашлять. Он кашлял долго, настойчиво, с выступившими на глазах слезами, с подергивавшимся от усилий лицом. Потом, отерев усы и бороду, торчавшие редкими кустиками, чувствуя, как на минуту все кругом померкло, он присел на скамью и, отдышавшись, опять пошел — и опять перед ним было море, солнце, горы, был все тот же яркий весенний день и оживленно проходившая мимо публика.

— Барин, сапог чистить, сапог чистить, барин, пожалюй!

Черный татарчонок, сидя на мостовой, пристально следил за мелькающими ногами проходящих. Возле него стоял расписной ящичек с углублением для ноги и с бубенчиками, которые он пошевеливал, и они мелодично позванивали.

— Каспадин, пожалюй, пожалюй, каспадин!

Серый господин остановился все с той же добродушно-растерянной улыбкой.

— Ну, чего тебе?

Но татарчонок уже схватил его ногу, поставил в углубление ящика, завернул слегка брюки, торопливо обмазал сапог полужидкой ваксой и необыкновенно быстро и ловко стал чистить разом двумя щетками. Серый господин стоял с улыбкой на лице, чувствуя легкое щекотание, удивляясь странности и новизне этих уличных услуг. Через минуту сапоги блестели, как зеркало.

Татарчонок, зажав монету, поставил, позванивая, ящичек на плечо, прошел наискось через улицу, кивая головой, прищелкивая языком, и сел снова у панели, ловя глазами мелькающие ноги проходившей публики.

А господин с блестевшими сапогами постоял с минуту, добродушно глядя на уходившего мальчишку, и покачал головой.

— Чудной народ! На улице сапоги чистят!

И он пошел дальше, испытывая все то же опьянение от света, тепла, от этой беспредельной водной глади, поражающей своим простором, этих гор, в которые упирался взгляд, загораживавших полнебосклона и стоявших неподвижно и таинственно. Казалось, невозможно было привыкнуть к их синеющим массивам, неизмеримо подымавшимся над всем, что копошилось здесь внизу, у их подошвы, к их изломам, причудливо вырисовывавшимся на синеве неба, — привыкнуть после той однообразной, всегда одинаковой бесконечной равнины с еловыми и сосновыми лесами, балками, лощинами, отлогими невысокими холмами, — там, далеко на севере, где он провел всю жизнь.

Он прошел мимо странного здания, стоявшего на сваях, далеко вдаваясь в море, которое оказалось купальней, как он прочел на фронтоне, перешел небольшой мост, под которым бурлила горная речонка, клокоча и заворачиваясь белеющей пеной вокруг камней, принесенных с гор, и шурша галькой и крупным песком, и пошел мимо зеркальных окон ресторанов, за которыми виднелись столы, покрытые ослепительно белыми скатертями, серебро, вазы. За столами сидели очень важные господа в черных сюртуках, в белых манишках, а перед ними стояли еще более важные господа во фраках, чисто выбритые, серьезные и, казалось, недоступные.

И только потому, что первые сосредоточенно ели, держа как-то особенно умело в руках ножи и вилки, а вторые с салфетками в руках почтительно глядели им в рот, он заключил, что последние прислуживают. И вся эта обстановка высоких, просторных

комнат с красивыми диванами, с длинной резной стойкой, сплошь уставленной закусками, бутылками, графинами, рюмками, с огромными окнами без переплетов, затянутыми сплошным зеркальным стеклом, толстым, как лед, производила на него впечатление какого-то недоступного дворца, особого мира, где двигались, разговаривали, сидели, закусывали люди из совершенно иного мира, полные достоинства и знания себе цены. Дальше сплошь шли такие же огромные зеркальные стекла магазинов, других ресторанов, аптек. Шелковые материи, ковры, оружие, дорогие вазы, безделушки, золотые и бриллиантовые вещи глядели из-за стекол.

Он остановился перед одной громадной витриной, где была выставлена большая картина: в черной с золотом раме открывалась спокойная, уходящая вдаль водная гладь, в которой отражалось небо и неподвижная, одиноко стоящая лодка с повисшим парусом. Он обернулся и посмотрел на море; так же необозримо в нем отражалось небо и дремала лодка с замершим в знойной истоме парусом.

Долго он стоял перед этой картиной. Никогда ничего подобного ему не приходилось видеть. Он видел только рисунки в разных иллюстрациях да олеографии, но он никогда не представлял себе, чтобы можно было смотреть в раму, как в окно, из которого открываются море, небо, облака, неподвижная лодка и сливающаяся с синевой даль. И эта картина, и внутреннее помещение ресторана за огромными стеклами, которых почти не чувствует глаз, мальчишка, чистивший ему на улице сапоги, яркий, ослепительный день, зеркальная поверхность моря, отражавшая блеск, горы, которые, как он постоянно чувствовал, стоят позади, — все это слагалось в одно общее сложное впечатление, с которым он не умел, не мог справиться и разобраться. Перед ним точно разодрался краешек серого, спускавшегося со всех сторон неба, низко покрывавшего с детства знакомый ландшафт родных мест, и сквозь этот прорыв открылся краешек какого-то иного, поразительно нового мира. Он не мог ясно и отчетливо формулировать своих новых ощущений и так выразил их:

— Ну, и здорово же нарисовано! Как живое, как будто на самом деле!

Он покачал головой и пошел дальше. Вдоль улицы тянулась аллея. Конско-каштанник стал уже распускать свои клейкие лапчатые листья. Воробьи весело гомозились в ветвях. Справа из-за зданий опять открылась блестевшая на солнце под водой гавань с судами, лодками, фелюгами, с краснеющими на воде бакенами, с лесом мачт и угрюмо дымившими черными пароходными трубами.

У мола, начинавшегося недалеко впереди от берега, виднелось высокое здание таможни, у которой взад и вперед ходил часовой — молодой парень с зелеными обшлагами и примкнутым к ружью штыком и с выражением особенной важности испол-

няемого им дела, как будто бы он молчаливо говорил: «Я пристрелю или проколю, если вздумаешь тут что-нибудь делать. Видишь, я на посту!»

Господин в сером пальто осторожно прошел мимо него и поднялся по круто взбегающей на гору улице. Вот и «номера», в которых он жил. Они выходили на море, но он занимал крохотную комнату, перед единственным серым, запыленным окном которой возвышалась глухая, с облупившейся штукатуркой стена соседнего дома.

II

Когда он вошел в номер, там все было резко противоположно тому радостному, веселому настроению, что царило на улице. Серые стены, бахрома запыленной паутины под потолком, засиженные мухами, немытые окна, таз с грязной водой, чемодан, стол, стул, кровать. Он попросил себе чаю, и половой принес ему кипяток в грязном чайнике.

Напившись и закусив колбасой, жилец почувствовал, что ему больше нечего делать и что он совершенно одинок в городе. Он подошел к окну. Сумерки быстро наступали. В окно была видна штукатурка соседнего дома. Из-за строений со стороны моря мерно доносился глухой и тяжелый шум, точно там пересыпали огромные кучи песку или мелкого голыша. Чувство одиночества смешивалось с впечатлениями ярких картин дня. Усталость и слабость овладели им. Он лег на постель, не раздеваясь, и натянул на голову пальто.

Под пальто сделалось душно и жарко, а он думал: «Нет, надо обдумать». Что обдумать? А все: горы, море, жаркое солнце, лодку с повисшим парусом, молочную дымку на горизонте, всю свою жизнь, и откуда этот возрастающий и падающий глухой шум за стеной, который среди ночи мерно и тяжко отдается в зданиях, и в земле. Повидимому, без связи ему представилось, как он ехал на пароходе. Ночь наступала отовсюду, по обеим сторонам уходила все та же движущаяся темная, волнующаяся поверхность, в небе не было ни одной звезды, и пароход, по которому беспрерывно бежало легкое содрогание, казался одиноким и заброшенным. Вдруг на горизонте, черту которого уже нельзя было различить, ярко загорелась кроваво-красная звезда. Она горела, казалось, на краю мира. Потом кровавый свет погас, и она вспыхнула зеленым светом. Потом ночную темь пронизала яркая белая светящаяся точка и потухла. И эта пустынность, волнующееся в темноте море, стоявшая вокруг безграничная ночь вдруг вызвали впечатление смерти и кончины мира. Во мраке снова засветилась яркая точка, вспыхнула красным, потом зеленым светом, вспыхнула и снова померкла. Долго он стоял в темноте, чувствуя беспрерывное содрогание парохода, и что-то неотвратимое, роковое и безразличное, как ночная тьма, заполняло

его душу. А пароход себе шел да шел, и движущаяся, волнующаяся поверхность неустанно бежала туда, где вспыхивала и меркла странная звезда.

«Впрочем, все это не то... О чем, бишь, я хотел думать? Отчего это мысли не идут так, как хочешь?» И он старался думать о солнце, о тепле, о блеске моря, о жизни, какая должна быть в виду этих синеющих гор, синеющего неба, а ему представлялась ровная ночная тьма, и в этой тьме — без конца и краю двигающаяся, волнующаяся невидимая поверхность и зловеще вспыхивающая то кровавым, то зеленым светом таинственная звезда.

Ему стало душно, и лицо покрылось потом. Он разом откинул пальто, и в полумраке комнаты выступил, светлея, четырехугольник окна. Глухой прибой тяжко и мерно и теперь яснее наполнял ночную темноту.

Этот мерно нараставший и падавший шум был так не похож на ровный, однообразный, задумчивый шум соснового бора на далекой родине, где жизнь у него шла так заученно, монотонно, однообразно, как этот однообразный лесной шум, в продолжение десяти лет. В продолжение десяти лет каждый день было одно и то же, и он никогда не думал о том, тяжело это было или нет, а просто вставал утром, наскоро пил, если имелся в запасе, чай «в прикуску» и торопливо шел в школу, где ребятишки ходили на головах. Он прикрикивал на них и начинал заниматься. Ребятишек было много, поэтому одну часть из них он заставлял писать, другой задавал задачу, с третьей сам занимался, но так как в одно и то же время он не мог с должным вниманием сосредоточиваться на всех трех группах, то обыкновенно не успевали ни та, ни другая, ни третья. К концу занятий, когда в школе, оттого, что было тесно и ребятишки вели себя не совсем корректно, можно было вешать топоры, он распускал ребят и шел обедать. Ему готовили обед в соседней крестьянской хате, и он привык за эти десять лет к каше, к постному маслу, ржаному хлебу, луку, квасу. Но он привык не только так обедать, но и проводить дни так, как он их проводил эти десять лет. Чувствуя после обеда в желудке тяжесть, как будто туда наложили кирпичей, он шел усталый, переваливаясь, на свою квартиру, где растягивался на кровати. Зимой это было лучшее время дня. Растопленная с утра печь наполняла комнату теплым, банным воздухом. И от этого являлся позыв мечтать. Куря толстую из дешевого табака папиросу, протянув по сбившемуся одеялу ноги, учитель предавался приятному послеобеденному безделью и, пуская горький и едкий дым, стлавшийся под низким почерневшим потолком, думал о своих делах. Но дела эти обыкновенно в это время представлялись ему в обратном виде. Ему представлялось, что он получает не полтораста рублей в год, как это было на самом деле, а ровно вдвое — триста рублей. Это двадцать пять рублей в месяц! Боже мой! От этой цифры у него слегка шла голова кругом,

и он сильнее затягивался папиросой. Ведь тогда все совсем переменялось. Он живет уже не в крохотной каморке, а нанимает «чистую» половину у дяди Митрия; у него есть чай и сахар на каждый день; на зиму можно купить валенки и обшить их товаром. Старый его полушубок давно облысел — вся шерсть вытерлась, вылезла, и он присмотрел у кабатчика новый черный дубленый полушубок за девятнадцать целковых. Он представлял себя в новом полушубке, который хорошо и плотно лежит на нем, в новой форменной фуражке, в новых валенках, ловким, здоровым и сильным, и почему-то при этом представлении довольства, тепла, нового, хорошо пригнанного платья, из облаков табачного дыма, заполнявшего каморку, выступало здоровое, румяное рябоватое лицо девки, что служит у кабатчика.

— Э-эх!..

Учитель вздыхает, снова натягивает пальто и укрывается с головой.

Семь лет тому назад батюшка говорил ему, когда он стал просить разрешения жениться на его второй дочери:

— Ну, благословлю я вас, скажем, благословлю, — ну, как же вы обходиться будете? Как обходиться будете? Деточки пойдут, бог благословит, сказано бо: плодитесь и размножайтесь, а у тебя двенадцать целковых в месяц, — одному не на что глядеть. И рад я вас, скажем, благословить, рад благословить, да куда вы, сирые, приклоните главы свои? Я стар, немощен, скоро бог призовет, куда вы, сирые?.. Кабы ты дослужился, ну, скажем, триста рублей в год, — слова не скажу тогда: да благословит вас господь бог. Нет, сын мой, не судил вам господь. Мне помирать скоро, а ты неси без ропота свой крест до конца.

Поплакала поповна, он с полгода сам не свой ходил, потом пошло все попрежнему: школа, ребятишки. Поповна вышла за семинариста, посвященного в дьяконы в соседнем приходе, а он вот лежит на кровати в меблированных комнатах в незнакомом городе, среди незнакомых людей, чуждой обстановки и слушает, как шумит в ночной мгле за окном немолчный прибой. И опять встают горы, море, солнце, набережная, рестораны, публика, страшно мешаясь с впечатлениями деревенского житья, соломенными крышами, мужиками в лаптях.

III

Годы шли, он все меньше и меньше вспоминал о поповне, о своем угле, о детишках с белобрысыми головками, которые бы сидели за чайным столом. Дни, повторяясь друг за другом, как тиканье стенных часов, всё покрывали, нивелировали, делали безразличным. Он ездил в город ежемесячно за жалованьем. Это было для него каждый раз целым событием. Городишко был маленький, глухой и захудалый, но ему после деревенских изб,

после навоза, плетней, соломенных почернелых крыш — здания острога, полицейского управления, казначейства казались чуть не дворцами. Другим событием, нарушавшим однообразие деревенской жизни, были наезды начальства. Каждый месяц приезжал инспектор народных училищ, маленький, кругленький, женолюбивый человек, и раз или два в год — сам директор. Когда приезжало начальство, учитель делался сам не свой, и не потому, чтобы у него плохо шло дело, — шло оно у него не лучше и не хуже, чем в большинстве школ уезда, — а в силу какого-то внутреннего, органического, неотвратимого страха. И начальство у него не было свирепое или особенно придирчивое, но весь уклад, отношения, манеры, голос, движения — все как будто говорило: «Эй, смотри, помни мне, смотри!..» И он помнил, постоянно помнил, и когда приезжало начальство, делался совершенно неузнаваемым: суетился, лицо глупело, бестолку тыкался к ученикам, и когда шел, наконец, провожать, чувствовал себя разбитым. Каждый раз перед приездом начальства он убеждал себя и думал: «Ну, чего я? Разве он не из такой же глины слеплен, что и я? Дело у меня не хуже идет, чем у других, чего же я? Э, брат, не робь, дело ведь в шляпе».

Но когда в околицу въезжал тарантас инспектора и, звеня бубенцами, подкатывал к школе, а из него, кивая головой, любезно здороваясь, вылезал *сам,* все рассыпалось, и страх, неотвратимый, непреодолимый, против сознания, охватывал учителя.

И странно, тогда он относился к этому своему состоянию, как к чему-то естественному, неизбежному, не задаваясь по этому поводу никакими вопросами и лишь чувствуя несказанное облегчение, когда начальство уезжало. *Теперь* же все это, этот страх и трепет вдруг показались ему ненужными, лишними в его жизни.

— Почему?

Он не мог ответить на этот вопрос, но все, что он пережил за последнее время, все, что он увидел за эту поездку, что открывалось перед ним, — все это, вся эта новая обстановка как будто отбросила отблеск на его прошлую жизнь, и она ему показалась при новом освещении.

С чего же это началось? Полгода тому назад, когда он, усталый и голодный, возвратился из училища и вошел в свою каморку, у него странно защекотало в горле. Он закашлялся и стал откашливать вместе с мокротой сгустки крови. Он испугался, лег и пролежал в постели два дня. Кровохарканье больше не повторялось, но стала одолевать незнакомая дотоле слабость; по утрам его лихорадило, а ночью он подымался с постели в поту. Но, как и всё в эти десять лет, эти признаки недомогания понемногу вошли в обычную колею, стали чем-то ординарным, и дни опять пошли один за другим, как мерное покачивание маятника. Попрежнему он ходил в училище, возился с ребятишками, преда-

вался после обеда мечтам, чувствуя у себя кирпичи в желудке, и ездил в город за жалованьем.

Как-то в деревню завернул земский участковый врач, с которым обыкновенно в каждый его приезд учитель и батюшка садились играть в карты.

— Что это, батенька, вы так посерели? — проговорил он, прожевывая кусок ветчины после рюмки отличнейшей матушкиной настойки из морошки.

— А что? — спросил учитель, сдавая карты.

— Да уж больно худ стал.

— Неможется что-то. Я давно хочу обратиться к вам, Иван Иванович.

И он рассказал ему о своих недугах.

— Э, что же вы! Такие вещи нельзя запускать.

После карт доктор прошел с ним в отдельную комнату, выстукал, выслушал, и лицо у него сделалось серьезным.

— Вот что, Иван Матвеевич, — проговорил он, — вам нужно бросить работу и уехать отдохнуть, и уехать сейчас же, не теряя ни одного дня.

Учитель в первый момент опешил.

— Позвольте, как же это так?.. Разве опасно? — бормотал он.

— Ну, уж сейчас и опасно! Опасного пока ничего нет, а меры надо принять, запускать нельзя.

— Да как же это так... право, я уж не знаю... Отпуск нужно брать, как начальство посмотрит, и денег у меня нет. Вот лето придет, каникулы, и отдохну.

— Нет, лета вам нельзя ждать. Сейчас же уезжайте на юг, а деньги соберем как-нибудь.

Учитель заметил, что батюшка и вся семья его после этого случая стали относиться к нему как-то особенно тепло и участливо; матушка постоянно угощала молоком и часто присылала на дом по утрам кувшинчик только что надоенного парного молока. Это его трогало и в то же время вселяло неопределенное беспокойство.

Как-то после обедни, когда он выходил из церкви за толпой истово крестившихся на паперти мужиков и баб, матушка пригласила его к себе попить чайку. Пришел и батюшка. Поговорили о помещике, который приезжал с семьей к обедне, о кормах, которые совсем пришли к концу и скотина стала голодать, о ссоре старшины с писарем, выпили по семи стаканов чаю и, отирая взмокшие лица, перешли с батюшкой в крохотный залик. Батюшка понюхал табаку, крякнул и проговорил:

— Все господь, все он, творец небесный, без его ведома волос с головы не упадет. Вот и вы, Иван Матвеевич. Унывать не нужно и впадать в отчаяние, а надеяться надо на него и возносить молитвы к престолу его, ибо его святая воля. Вот тут мы с Иваном Ивановичем чем могли... вам на дорогу и на прожитие... Полечитесь, поезжайте. Господь не оставит, святый Пантелей-

мон-великомученик исцелит... Тут и председатель управы и предводитель помог...

Батюшка, завернув с кармана шаровар рясу, порылся там, достал небольшой пакетец и подал учителю. Тот, растерянный, с красными пятнами, проступившими по лицу, нерешительно взял деньги.

— Поезжайте, полечитесь, поживите, отдохните, отгоните все заботы и не забывайте ежечасно вспоминать небесного целителя и врачевателя душ наших. Он исцелит и поможет.

Иван Матвеевич вернулся домой. У него голова пошла кругом и от громадной суммы, которую он в первый раз имел в руках — там было сто пятьдесят рублей — и от неожиданно осуществившейся возможности поездки, о которой он и мечтать не смел. Начальство, благодаря свидетельству, выданному доктором, разрешило отпуск. Затем события пошли с быстротой, от которой он еще и до сих пор не успел притти в себя — сборы, проводы, дорога.

У крыльца его квартиры уже стояла, понурив голову, маленькая запаршивевшая лохматая лошаденка, запряженная в широкие розвальни, в которых его возница настилал сено. К квартире стали подходить крестьяне. В зипунах, в рваных полушубках старики, с изрезанными морщинами, обветренными лицами, обив в сенях от снега сапоги, входили в крохотную комнатку, нагибаясь у порога, чтобы не удариться о притолоку, и истово крестились на угол. Скоро в маленькой комнатке набилось столько народу, что негде было повернуться. Иван Матвеевич, взволнованный, торопливо совался во все углы, брал ненужные вещи в руки, двадцать раз отпирал и запирал свой единственный старенький чемодан и то и дело выбегал на крыльцо посмотреть, все ли готово, хотя нечему было готовиться, — лошаденка с опущенной шеей стояла на месте, и в санях было настлано сено.

То один, то другой из стариков не спеша развязывал грязную тряпицу и доставал кувшинчик молока, пару печеных яиц или ржаную на масле «шанежку».

— Бери, Иван Матвеевич, — дорожному человеку сгодится. Счастливого пути, и дай господи, мать пресвятая богородица, тебе выздоровления. Как очунеешься, к нам, значит, ворочайся, а то без тебя ребята совсем от рук отобьются. По воскресным-то дням часто сладу нет с ними — сигают, кричат, балуются. А Иван-то мой теперича десятником на чугунке, дай тебе господи здоровья. Как пришли они туда, начальник ихний и выкликает: которые грамотные? Иван-то и вышел, а боле никого, ну, его и поставил. Деньги присылает каждую получку, лошадь купили, тебя все поминаем.

Это участие, это признание заслуг за ним до глубины души тронули его. Для него все это было полной неожиданностью. Он не думал никогда о своих отношениях к крестьянам, да если и думал, так ему казалось, что никаких таких отношений и нет.

Мужики сеяли, пахали, косили, рубили лес, возили навоз, а он каждый день ходил в училище, занимался, кричал на учеников, уставал, настаивал, чтобы лучше топили школу, для которой жалели дров, чтобы давали сторожа, чтобы не забирали детишек рано по весне для полевых работ.

Последние события, эти проводы, эти лица, изрезанные морщинами терпения, труда и тяжкой жизни, простые слова, разворачиваемые заскорузлыми руками кульки с «шанежками», которые разве топор мог взять, — все это вывело его из обычного мерного хода жизни...

Вспыхнувшая кроваво-красная звезда загорелась ровным белым светом, и лучи ослепительно коснулись волнующейся, двигающейся поверхности, торопливо улегавшейся в ровную бесконечную водную гладь. И в ней отражалась лодка с сонным парусом, и голубое небо, и солнце посылало блеск, от которого смыкались глаза, а вдали синели горы.

. . . .

Когда на другой день недостучавшийся номерной вошел в комнату, он увидел, с одной стороны, выставившиеся из-под поношенного пальто ноги в вычищенных сапогах, а с другой — серое лицо с застывшей навсегда улыбкой.

В КАМЫШАХ

I

В небольшой комнате с окном, из которого открывалась река, поблескивавшая на полуденном солнце, и далекий луг с мочежинами, озерцами, стоял перед заседателем широкоплечий, с загорелым обветренным лицом и шапкой спутанных волос, казак. Он стоял, недоумевающе собрав над переносицей брови, и с таким видом, как будто хотел сказать: «Что ж, подождем, подождать — подождем, ну только нас это не касаемо». Заседатель в потертом мундире, с потертым лицом и как будто потертой, начавшей лысеть головой, наклонившись, что-то писал, торопливо бегая пером по бумаге.

— Иван Архипов Сидоркин? — заученно говорил заседатель, не подымая головы и продолжая писать.

— Так точно.

— Под судом и следствием был?

— Так точно, но только оправдан, — так же заученно отвечал Сидоркин.

— Ну, так рассказывай, как дело было, как вас накрыли, — проговорил заседатель, отодвигая бумаги и откидываясь на спинку стула: вся его фигура, помятое и теперь нахмуренное лицо и сквозившая сквозь редкие волосы лысина выражали полную непоколебимую уверенность, что Сидоркин сейчас же все чистосердечно и подробно, ничего не тая, расскажет, так как все это он, заседатель, уже знает во всех подробностях.

Но у Сидоркина вместо этого еще больше собрались над переносицей и полезли на лоб вылинявшие, обветренные брови.

— Не могим знать, то есть, насчет чего это?

— Ты мне дурака не ломай, со мной не шутки шутить, — со мной, брат, шутки плохие.

— Помилуйте, вашскблагородие, какие шутки, разве возможно шутки с вашим вашскблагородием, как можно.

— Ну, ну, ну, будет разговаривать!

— Слушаю.

И Сидоркин опять сделал наивное лицо и, глупо раскрыв глаза и высоко собрав брови, глядел на заседателя не мигая.

— Где проводил время в ночь с пятнадцатого на шестнадцатое?

— Обыкновенно, с женой спал.

— Врешь, на лимане был и в запретных местах сети тянул.

— Никак нет, вашскблагородие.

— В рыболовную команду стрелял.

— Вашскблагородие, господь с вами, как возможно!..

И брови в знак изумления и негодования полезли еще выше.

Началась та особенная борьба допрашивающего и допрашиваемого, которая очень похожа на борьбу сильного, матерого зверя с опытным неутомимым охотником. Охотник делает круги, обходит, ползет на брюхе, прячется на опушке, задерживает дыхание, приглядываясь к малейшему следу, малейшему отпечатку, но старый, опытный зверь не дает себя обмануть: проходят часы, а расстояние между ними все то же. Заседатель делал внезапные, неожиданные вопросы, останавливался на, повидимому, ничтожных, не имеющих никакого значения подробностях, но каждый раз встречал все ту же стену глуповатого простодушия, наивности и высоко собранные над переносицей брови.

Заседатель устал, вытер вспотевшее лицо и лысину, велел подать себе квасу и, расстегнув рубашку, из-за которой глянула лохматая грудь, стал пить пенящийся, подымавшийся из стакана напиток.

«Зверь», чувствуя, что острое напряжение у охотника прошло и он утомлен, спокойно стоял, все так же держа руки по швам. Выражение простоватости, наивности сбежало с его лица, брови опустились и разгладились над глубоко сидевшими серыми глазами, спокойно, уверенно и с достоинством глядевшими теперь на чиновника. Вся его широкоплечая, сильная, с выпуклой грудью, богатырской мускулатурой фигура как бы говорила: «Ну, стало быть, кончено, и теперь можно по-обыкновенному».

Заседатель, выпив квасу и слегка отрыгнув, тоже, видимо, почувствовал, что официальная часть кончена, что все, что можно было сделать, он сделал и, отодвинув бумаги, откинувшись немного на стул и слегка отдуваясь, проговорил:

— Эх, Сидоркин, а ведь и жалко мне тебя, — не сносить тебе головы, пропадешь не за понюх табаку. Вот теперь я тебя арестую, там следствие пойдет, — докопаются ведь, брат, до всего: пойдешь с тузом, куда Макар телят не гоняет. Жил бы себе в станице, занимался бы хозяйством, у всех в уважении и — острога бы не нюхал.

— Вашскблагородие, засадить вы меня в тюрьму завсегда можете, — ваша воля, потому как вы поставлены над нами начальниками, ну только не причинен я, потому, собственно, безвинно страдаю. Кабы я душегуб был, али разбойник, али

вор, али чужое брал, а то ведь волосинки чужой на моей совести нет.

— Да ведь ты закон нарушаешь!

— Что ж закон! Поставьте часовых по берегу не дозволять народу пить воду, — тоже закон; пущай все дохнут — и скотина.

— Понес, дурья голова! То вода, а то рыба.

— Все едино, вашскблагородие. Потому, вашскблагородие, как, собственно, рыба в воде, никто не сеет, не пасет, и плодится-размножается она не от человека, а от бога, то божий дар, значит, и всякий злак на потребу человека, и по тому самому нас хватают, тиранют, разоряют, в острог сажают. Теперича, вашскблагородие, хорошо, выходит так, что я должен людей резать, потому у меня окончательно пропитание всякое отымают... А зачем мне резать людей, — мне, вашскблагородие, только одно пропитание нужно, чтобы, значит, честным трудом.

Заседатель не в первый раз подымал принципиальные разговоры с хищниками-рыболовами. Дело в том, что хищники действительно не были ни ворами, ни грабителями, — это был обыкновенный трудящийся люд, и у заседателя каждый раз подымалось странное желание показать и доказать этим людям, что у него не только физическая возможность взять их, арестовать, но и правота, и правда на его стороне, и каждый раз разговоры эти под конец его только раздражали. Так и теперь.

— Кабы ты поумнее был, — с сердцем заговорил он, — а то разве вобьешь в твою еловую башку? Рыба-то тебе одному, что ли, нужна? Это — достояние всего государства, а ее все год от году меньше да меньше становится: совсем изведете.

— Вашскблагородие, у нас в станице по шестнадцати десятин на пай земли приходилось, а теперича народонаселение размножилось — по восьми нехватает, скотину некуда выгнать, нечего пахать, бахчу негде посеять, — одначе не слыхать, чтобы поэтому самому запрещение на землю вышло.

Заседатель в первый момент не нашелся что ответить и рассердился.

— Ну, будет, заладила сорока про Якова, — и заседатель опять облекся в официальную неприступность, а у казака снова полезли брови на переносицу, лицо поглупело, и опять вся фигура как бы говорила: «Ну, что ж, опять, значит, — можно опять».

— Конвойные!

Вошли конвойные с шашками и ружьями.

— Возьми препроводительную бумагу, сдашь в N-ский острог. Распишись в приеме.

Старший конвойный осторожно шагнул к столу, взял перо и, нагнувшись, стал водить им, перекосив на сторону глаза, рот, ловя языком ус, цепляя и разбрызгивая пером по бумаге. Он с усилием вывел: *Лексей Пономарев,* положив на место перо, отер выступивший каплями на лице пот. Потом взял к плечу ружье, повернулся, со стуком молодцевато приставив каблук

к каблуку, и пошел к двери. Сидоркин двинулся за ним, а позади второй конвойный.

Выйдя за дверь, Сидоркин надел шапку и пошел мерно в шаг с конвойными, мотая руками.

Было жарко. Полдневное солнце жгло пыльную дорогу. Верхушки курганов и линия горизонта дрожали в струившемся воздухе. Река все так же ослепительно ярко и знойно шевелилась сверкающей рябью. Под горой желтело железнодорожное полотно, и, сверкая на солнце, бесконечно бежали рельсы.

II

Сидоркин спокойно шел за конвойными, пыля сапогами. От времени до времени он взглядывал на далекий луг, на синевшие вдали невысокие горы, на реку. Но он не думал о том, что это было красиво, широко, ярко и весело. Это были просто знакомые до последнего овражка, до последней колдобины луг и река, где он озлобленно боролся с людьми, непонятно для него не дававшими ему возможности кормиться у реки.

По мере того как охрана рыбных богатств становилась строже и строже, эта борьба делалась ожесточеннее и беспощаднее. Чины рыболовной полиции и рыбаки видели друг в друге не охранителей и нарушителей закона, а своих личных злейших врагов, жестоких и неумолимых, по отношению к которым все допускалось.

В борьбе с рыболовной полицией выработалась целая система. В запрещенное для лова рыбы время, именно весною, когда рыба шла вверх метать икру, берега реки как бы оказывались на военном положении. На различных пунктах стояли часовые, зорко наблюдавшие за рекой. Как только вдали показывался катер рыболовной полиции, по берегу скакали конные, извещавшие рыбаков о появлении врага, — и река на несколько верст впереди катера очищалась от рыбацких лодок, которые втаскивались на берег, а сети прятались в укромные места. Для переговоров на расстоянии употребляли флаги и другие сигналы; ночью жгли солому на высоких шестах и стреляли из ружей.

С наступлением разрешения лова положение мало менялось. Чтобы оградить от окончательного истребления рыбу, которую беспощадно преследовали в реке, в море крючьями, сетями, неводами, приволоками и другими истребительными снарядами, — взморье и устье разбившейся на множество рукавов реки были объявлены заповедными: там безусловно и навсегда воспрещался лов рыбы. И рыба, повсюду гонимая, преследуемая, истребляемая, ни днем, ни ночью не находя себе места, огромными стадами устремлялась в заповедные места — единственный уголок, где она могла укрыться от жестоких преследователей. Камыши

заповедных вод буквально кишели рыбой. Вот сюда-то и рвались рыбаки, и здесь-то и происходили ожесточенные столкновения с полицией.

Эта жизнь, полная тревог, неожиданностей, опасности, неуверенности в завтрашнем дне, постоянно меняющаяся перспектива то богатства, то нищеты налагали неизгладимый отпечаток на рыбацкое население. Их хаты стояли, как попало, на берегу — без огорожи, без ворот, без хозяйственных пристроек. Бабы не пекли хлебы, не водили птицы, — все бралось с базара. Вся обстановка носила какой-то временный характер, точно это раскинулся лагерь. Все, кто терпел неудачу, разорялся на хозяйстве, шли сюда. Эти люди питали странное отвращение к городским профессиям и обнаруживали неумение приспособляться к городской обстановке. Они крепко держались за рыбацкий промысел, как за последнее средство честным путем добывать хлеб.

Иван Сидоркин был тоже когда-то хозяином, но год за годом по частям уменьшалось его хозяйство, и когда он явился на берег, у него, кроме жены и детей, ничего не было. Иван среди рыбаков пользовался авторитетом за свою смелость и умение провести полицию.

Он шел по дороге, все так же подымая тяжелыми сапогами горячую пыль, сосредоточенно взвешивая шансы своего оправдания. Вдали из-за высоких стен показалось иссера-желтоватое здание острога.

В остроге Сидоркину пришлось пробыть полтора месяца, пока тянулось следствие. Прямых улик против него следователь не мог собрать, и Сидоркин, осунувшийся и похудевший, был выпущен на свободу. Как только он вышел из тюрьмы, на другую же ночь отправился с товарищами на ловлю в запрещенные воды.

III

По темной воде чуть-чуть выделялся камыш; он стоял черной стеной, сливаясь с черной тьмой окружающей ночи. Ночь была тихая, безмолвная, неподвижная. Чудилось, что кто-то шуршал в камыше, и шевелились в темноте метелки. Вверху также было черно, неподвижно и тихо.

Нельзя было разобрать, что подвигалось вдоль темной стены камыша. Казалось, это плыло черное неуклюжее бревно, и только по правильности его манипуляций и поворотов можно было догадаться, что это лодка. Весла осторожно и беззвучно опускались и подымались из воды, и лишь звук капель, падавших с них в воду, выдавал движение. Но вот и капли перестали падать, перестал шуршать камыш, и метелки больше не кланялись и не шевелились в темноте. Эта безразличная, бесформенная, стоявшая везде тьма, казалось, вся была наполнена ожиданием, чутким, напряженным и осторожным.

Кругом было тихо.

Над лодкой вдруг загорелся синий огонек, озарив на мгновение мокрые низкие борты, сети, пять дюжих фигур, камыш с неподвижно похилившимися метелками, и, отразившись в темной воде, потух. Нельзя было определить, далеко или близко вспыхнул в темноте такой же крохотный синий огонек, вспыхнул, подержался с секунду, упал в воду — и погас.

— Ну, ребята, с богом, трогай! — раздался в лодке громкий, свободный, несдерживающийся голос, разом нарушая эту тишину, неподвижность, молчание и таинственность. — Стало быть, никого нет.

И точно обрадованный, что разрешилась, наконец, эта напряженность, набежал ночной ветерок, погнул камыши, и они повели свой странный разговор, залепетали, зашелестели и закивали в темноте метелками. Весла сильно и шумно взбудоражили воду, лодка закачалась, дернулась вперед, быстро пошла уже по открытому плесу, и в борта торопливо и весело заплескалась мелкая встречная волна.

— Говорил вам — ноне *его* не будет: в город уехал. Хорь надысь еще сказывал — сбирается ехать, — проговорил один из рыбаков, бережно пряча в карман коробку с бенгальскими сигнальными спичками.

— Не верь, не верь, ребята, — раздался глухой голос с кормы, — не верь *ему*, ребята,— рази не знаете хитрого дьявола: распустит вести, что, дескать, еду, — все уши развесят, а *он* стоит где-нибудь тут же в камышах и того и гляди накроет.

— Хорь не станет брехать, верный человек: надысь я ему икры отнес и трешку.

— Верный, верный!.. А ты гомони во всю глотку, штоб по всея лиману слыхать было, на свою голову, — послышался все тот же недовольный, озлобленный глухой голос.

Все молча стали работать, и весла мерно и сильно гнали лодку вперед.

Ночь стояла все такая же молчаливая, неподвижная, скрывая все, что было вокруг, — и водный простор, и необозримое царство камышей, и далекий берег, и вверху небо, обложенное темными тучами. Куда ни обращался взор, он упирался в ровную, одинаковую, неизменяющуюся темноту. Нельзя было сказать, шла ли лодка от берега, или к берегу, куда тянулся лиман и где было море. Но, очевидно, те, что сидели в лодке, знали, куда они идут, и умели ориентироваться среди этой все нивелировавшей ночной тьмы.

Пройдя еще немного, гребцы сложили весла и торопливо стали разбирать и «сыпать» в воду сети. Утлая, с плоским дном и тонкими бортами лодка колыхалась под дюжими ногами работавших; сети, скользя по мокрому борту, слегка плескались в воде. Когда их спустили, те, что держали веревку, уже чувствовали, как что-то там, в глубине, стукалось и толкало сеть, и ве-

ревка судорожно дергалась в руке. От этого у державших торопливо стучало сердце и слегка дрожали руки. Недаром эти люди с таким напряжением, переводя дыхание, озираясь в чернильной тьме, пробирались по камышовым зарослям водной пустыни. Одна ночь могла обеспечить им жизнь, жизнь самую веселую, приятную, счастливую на недели, на месяцы.

Стали тянуть. Мокрые отяжелевшие сети тихонько ползли из воды на борта. Темные фигуры осторожно выбирали трепетавшую рыбу и опускали на дно все больше и больше садившейся лодки.

Странный звук, точно писк проснувшейся птицы или скрип железа о железо, почудился в темноте. Рыбаки бросились на дно и лежали не шевелясь. Неподвижная лодка на воде казалась черной тенью. Затаив дыхание и чувствуя удары собственного сердца, стали вслушиваться: попрежнему, смутно вырисовываясь, стояли камыши, вверху чудились темные тучи, и было темно и тихо, но эта темнота и тишина разом приобрели таинственный, угрожающий характер, — чувствовалось чье-то незримое присутствие.

Без звука, не шелохнув камышинки, стали снова выбирать сети: лодка садилась все больше и больше.

Откуда-то из-за камышей, ярко прорезая густой мрак, блеснул огонь, и вслед почти без промежутка грянул ружейный удар. В воздухе с удаляющимся свистом пронесся как бы рой пчел. По воде донеслись человеческие голоса, крики, брань.

— Уходи, ребята... взяли... — донесся из темноты чей-то полузадушенный голос.

— Руби!.. — раздалось на лодке.

Раз! Раз! Перерубленная топором веревка соскользнула с борта, и сеть с целым богатством, сулившим все доступные радости, пошла в темную воду.

— Греби!..

Четыре человека рвались, как бешеные. Лодка не плыла, а дергалась скачками, вздымая перед собой горы невидимой, шумящей в темноте пены. Кругом все тревожно встрепенулось, опять зашелестел-заговорил камыш, закрякали, захлопали потревоженные утки, заукала выпь. Ночь, проснувшаяся и перепуганная, спросонок заговорила на разные голоса, и кругом как будто стали обрисовываться неясные и странные контуры.

Гребцы откидывались на спину, далеко занося весла; казалось, вот-вот лопнут от нечеловеческого напряжения мышцы, порвутся связки и, как роса, выступят на налившихся глазах капли крови. Того, от чего уходили эти люди, не было видно, но в темноте слышно было, как *оно* нагоняло лодку. Слышно было, как кто-то часто, коротко, отрывисто дышал — так быстро дышат летом собаки, — и все ближе и ближе слышалось в ночной мгле: ххх-ххх-ххх-ххх... И это приближавшееся по воде короткое, прерывистое, торопливое с металлическим отзвуком дыхание застав-

ляло людей, работавших в лодке, напрягаться до последней крайности...

— Сто-ой!..

Лодка попрежнему неслась, как бешеная. Сидевший на корме Сидоркин налегал на правильное весло, под которым шумела вода. Он все яснее и отчетливее слышал приближавшееся дыхание, — и когда раздался грозный оклик, различил позади неясный, вырисовавшийся в темноте силуэт.

— Сто-ой! стой!..

— Пропали! Выкидай рыбу... да в камыши...

— Греби!.. — разнесся по всему лиману хриплый оборвавшийся голос Ивана, — поддержись... братцы... не давайся!.. Братцы... братцы... братцы!..

Он видел, что лодка была перегружена, но он не мог пожертвовать ни одной рыбиной, — слишком дорогой ценой напряжения, усилий, риска куплена она была.

Полоса света легла, колеблясь и играя, по взволновавшейся, расходившейся поверхности: нагонявшие поставили фонарь. Иван сильно налег на кормовое весло — лодка рванулась в сторону, вырвалась из полосы света и понеслась к стене камышей, даже среди темноты ночи выделявшихся своей густой чернотой.

— Сто-ой!.. Стрелять буду!.. — донеслось сзади.

Опять яркий свет озарил на мгновение воду, небо, камыши, лодку с рвавшимися на ней рыбаками и нагонявший их небольшой катерок, из трубы которого, как торопливое дыхание, часто выбивался пар. Гром выстрела покрыл ночные голоса, и над лодкой, как шмелиный рой, с жалобным удаляющимся звуком пронеслась куча картечи. Лодка, раздавая направо и налево и ломая камыши, влетела в их сплошную массу. Рыбаки напролом стали гнать ее между ложившимся тростником. Сзади раздался снова выстрел, и картечь зашлепала по воде между камышей.

— Стой, а то всех перестреляю!

Катер, шурша полегшим камышом, пошел за лодкой по проложенной ею дороге. Рыбаки, задыхающиеся, обливающиеся потом, выбивались из последних сил. Впереди смутно обрисовывалась чернеющая громада берега: спасение было близко.

Вдруг лодка мягко ткнулась в ил — и сразу стала. Рыбаки побросали весла, скользя и спотыкаясь, схватили ружья, положили их на борта и прицелились.

— Бей!..

Осветились камыши, вода, взволнованные, склонившиеся к бортам лица, кусок берега, набегавший катерок, и в мгновенно наступившей темноте треснули выстрелы. Пули защелкали по трубе, по бортам катера. Опять осветилась вода, и вместе с громом залпа, взбудоражившего весь лиман, посыпалась картечь с катера, который набежал и ткнулся носом в закачавшуюся лодку.

Ночь, черное небо, темная вода — все с испугом, с недоуме-

нием вслушивалось в то, что происходило посреди небольшого плеса, потому что происходившее там слишком не вязалось с ночным спокойствием, тишиной, с этой теплой летней темнотой, которая неподвижно стояла кругом и в которой поблескивала вода. Но люди были так переполнены взаимным озлоблением, тревогой, близкой опасностью, что не замечали этого испуганного недоумения, не замечали ни этой ночи, ни поблескивавшей в темноте воды.

Возбужденные, с коротким, отрывистым дыханием, они перебирались с озлобленно шипевшего катера на покорно и виновато колыхавшуюся под ногами лодку, где такие же возбужденные, с таким же торопливым, прерывающимся дыханием люди растерянно метались, пытаясь сбросить за борт ружья и патроны. В темноте блеснуло обнаженное оружие.

— Давай сюда ружья!.. Давай, дьявол, башку снесу!..

— Бери, бери... не держим... бери, на!.. забирай!.. Мы ничего... Не бей!..

— То-то ничего... Давай еще.

— Всё... больше нету... не бей... Что бьешь-то?..

— Садись на весла да езжай впереди катера. А тот чего лежит? Эй, ты, подымайся, а то вот садану шашкой, — подымешься.

— Убитый...

К лежавшему в неестественной позе наклонились, — это оказался Иван. Он смотрел перед собой в темноту и ничего не говорил; при каждом дыхании в груди его что-то слегка клокотало, и рубашка становилась все больше и больше мокрой от крови. Его положили более удобно.

— Ну, пошел!

Весла опустились и стали пенить и слегка шуметь водой. Катер тихонько пошел следом, сдержанно дыша, точно чувствуя, что острота борьбы и напряжения кончилась и наступило печальное и грустное. Кругом пропала таинственность летней ночи, просто — было темно, шуршал камыш и плескалась вода.

Стал заниматься рассвет, а когда доехали до места, уже поднялось солнце. Оно осветило берег, реку, дальний луг, станицу, небольшой катерок у берега и лодку с заснувшей рыбой, сетями и неподвижно лежавшим в ней навзничь человеком. Лицо его было бледно, глаза закрыты, пересохшие губы крепко сжаты. Из весел и сетей устроили носилки, положили на них раненого и понесли, стараясь итти в ногу...

Иван открыл отяжелевшие веки, глаза ввалились, лицо осунулось и постарело лет на двадцать. Пересохшие, воспаленные губы зашевелились, и он проговорил, с усилием приподнимая брови:

— Ба... тюш... ку...

В комнату, куда его внесли, стал набиваться народ, — соседи, родные, любопытные. Сплюснув на стекле губы и носы, прилипли к окнам собравшиеся отовсюду ребятишки. Пришел поп, малень-

кий, седенький старичок с потухшими волчьими глазами, в потертой рясе. Зажгли восковую свечку. Поп надел епитрахиль, выпростал седые волосы, достал крест. Иван лежал, глядя в потолок, не произнося ни слова. Поп велел выйти всем и подошел к нему. Он стал один за другим, не останавливаясь, говорить обычные вопросы, а Иван, с смягчившимся лицом, с проступившими на глазах слезами умиления и покаяния, шептал иссохшими губами, приподнимая каждый раз брови:

— Грешен... грешен... грешен...

— Ближнего своего осуждал? К жене, к детям был несправедлив? Заповедей божьих не исполнял? Опивался, объедался? Родителей не почитал? Посты, святой церковью установленные, не блюл? Праздники господни нарушал?

— Грешен... грешен... грешен...

— Начальство установленное ослушался и руку поднял, — грех смертный, караемый и в сей и в будущей жизни...

Не успел поп договорить, как раненый рванулся, отчаянным усилием приподнялся, захрипел, запрокинулся; кровь обильно побежала из-под перевязки; на губах проступила кровавая пена; остеклевшие глаза неподвижно остановились. Поп приложил крест к холодеющим устам. В комнату с безумными причитаниями вбежала жена Ивана. Все крестились.

— Помер. Царство небесное.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ

I

— Захар Степаныч! — слышится короткий, резкий, скрипучий, как будто в горле переломилась с сухим треском березовая палка, голос.

— Захар Степаныч!

Кругом все, наклонив головы, пишут. От этого в сумрачной, с темными стенами и потолком комнате, среди плавающего облаками табачного дыма носится шуршанье, как будто бесчисленное множество прусаков бегают и шелестят по бумаге. Временами слышится скрип расшатавшегося стула да шарканье перекладываемых одна на другую ног.

Из комнаты писцов, в которой они набиты, как сельди, и из которых трое и днем работают при лампах, так как в углу, где стоит их стол, совсем темно, тянет прокислым запахом портянок, дешевым табаком и неустанно несется стрекотание трех ремингтонов.

Это дробное, непрерывное металлическое перестукивание маленьких машин наполняет комнаты, назойливо лезет в уши, переполняет голову, сыплется, ни на минуту не прерываясь, отдаваясь в мозгу непрерывными резкими, сухими, подскакивающими ударами.

Но это — на свежего человека. Все же, кто здесь сидит, не слышат, не замечают этого сухого, раздражающего стука, не замечают черноты и плесени стен, копоти потолка, тяжелого, густого, прокислого воздуха, скудости дневного света, с усилием пробивающегося сквозь густую синеватую мглу табачного дыма.

Привыкли к надоедливому, назойливому, раздражающему стуку ремингтонов, привыкли к шуршанию бумаг, к известным формам выражения мыслей, к известным мыслям, языку, к подчинению, к монотонности, скуке, однообразию, тоске унылой жизни.

За стеной катились экипажи, торопился, толкался занятый, деловой люд; работали, веселились, боролись, богатели, разорялись; создавались события, развертывалась сложная, запутанная, непонятная жизнь. Здесь, точно это было в другом царстве, писали бумаги, и царило страшное спокойствие, определенность и убеждение, что та сложная, запутанная, пестрая, живая, бьющаяся за стеной жизнь — здесь-то, именно в этих темных, пахнущих плесенью комнатах, и формируется, определяется, направляется в то или иное русло или задерживается, приостанавливается.

И все в этом глубоко убеждены.

— Захар Степаныч!

Захар Степаныч сидит у самых дверей. Он слышит возглас своего начальника и медлит, раскладывая бумаги, медлит, чтобы не уронить своего достоинства: он не мальчишка, не к лицу ему по первому окрику вскакивать и бежать. Впрочем, он медлит ровно настолько, чтоб не дождаться еще одного окрика, после которого обыкновенно бывает жестокий разнос. Он не спеша подымается и идет через всю комнату, заставленную столами, к своему начальнику, в длиннополом, мешковатом, лоснящемся на локтях и по бортам сюртуке, важно и с сознанием достоинства.

Голова у Захара Степаныча совершенно облезлая и тускло посвечивает гладкой кожей.

— Конечно, это всем известно, что будущее человечество все будет безволосое, не исключая и дам, — говорил он обыкновенно, вытаскивая при этом из жилетного кармана маленький гребешок и начиная ездить по голой коже зубьями, втайне считая себя только начинающим лысеть, что, конечно, нисколько не мешало молодому человеку в сорок два года ухаживать за женщинами.

Он подходит к начальнику и, слегка наклонив голову, слушает.

— Я не понимаю... я не понимаю, зачем вы сидите там... о чем вы думаете! Это чорт знает что!.. В конце концов к чортовой матери нас обоих прогонят!..

Столоначальник кричит, размахивает руками, изо рта брызжет слюна. Он худ, лицо желто, как лимон, и кожу приподымают угловатые кости.

— Да позвольте, в чем дело? — говорит Захар Степаныч, своею сдержанностью и спокойствием стараясь сдержать и своего начальника.

— Еще спрашивает... Ска-ажите, пожалуйста!.. Это вот — что такое? — кричал визгливым тонким голосом столоначальник, тыча своему помощнику почти в самое лицо бумагу. — О чем вы думаете?

Тот взял бумагу и бегло пробежал на ней пометку начальника отделения: *Почему не доложено?* Тонкий, небрежный, беглый почерк этих трех слов, заключавших в себе, помимо своего прямого смысла, признаки силы и власти, носил отпечаток угрозы.

Захар Степаныч спокойно положил бумагу на стол:

— По поводу этого дела мы запросили строительное отделение. До сих пор они не дают ответа, а без справки, Никита Иваныч, сами знаете, нельзя писать доклада.

Столоначальник разом опал. Он вспомнил, что ведь сам же распорядился сделать запрос и что без справки действительно нельзя составлять доклада. Но через секунду его визгливый голос снова стал разноситься в табачном дыму полутемной комнаты.

— Отговорка!.. Знаю я вас... То же было с делом Ивановых...

Никита Иваныч размахивал руками, брызгал слюной и кричал тонкой срывающейся фистулой, стараясь побольнее уязвить помощника; кричал от сознания своей неправоты, от сознания нанесенной ни в чем неповинному человеку обиды; кричал оттого, что у него болела грудь, оттого, что врачи настаивали, чтобы он бросил службу и уехал на юг, что у него пятеро детей, что их надо кормить, что дым ест ему легкие и вызывает кашель... Никита Иваныч закашлялся, а Захар Степаныч пошел на свое место.

Он шел так же степенно и с достоинством, и только красная шея выдавала внутреннее подавляемое волнение и горечь. Попрежнему стоял шелест перьев по бумаге, плавал слоями табачный дым, надоедливо стрекотали ремингтоны, и тяжело было дышать.

Захар Степаныч, отложив перо, демонстративно свертывал папироску. К нему подошел Крысиков, молодой чиновник, недавно получивший чин.

Новенький, с иголочки, первый раз надетый мундир облегал худощавую фигуру маленького человечка. и казалось, в нем-то, в этом мундире, и заключалось все, что было в чиновнике Крысикове важного, особенного, отличавшего его от всех других людей. И все, что прежде составляло жизнь — поскорее уйти со службы, наскоро пообедать, поваляться на кровати, побренчать на гитаре; потом на бульвар, барышни, шутки, смех, орехи; потом охота на горничных, кухарок с черных ходов барских домов, — все это поникло, побледнело и отступило перед темнозеленым сукном, все время стоявшим перед глазами. Крысиков никак не мог справиться с губами и лицом, — они так и разъезжались, конфузя его. Радостное, праздничное, лучезарное настроение распирало, и мундир, казалось, становился тесен.

И он все ждал, что чиновники побросают перья, дела, столпятся вокруг него, и посыплются восклицания:

— А?!. Да это вы!.. Вас не узнаешь, совсем другой человек...

Тогда Крысиков бы ответил:

— Что тут особенного, господа, мундир как мундир... пустяки...

Но никто не трогался с места; все сидели с наклоненными головами и как ни в чем не бывало писали.

— Дайте-ка папиросочку.

Захар Степаныч молча придвинул бумажку, в которой было немного мелкого сухого, почти пыли, табаку и несколько клочков измятой папиросной бумаги.

— Вот проклятые портные, — заговорил молодой чиновник, не будучи в состоянии справиться с собой, со своим лицом, со своими разъезжавшимися губами, — проклятые портные — до чего проймы режут! — И он приподнял над головой одну руку в новом темнозеленом рукаве, а другою в таком же рукаве потрогал огромные, болтавшиеся подмышкой проймы.

— А все почему? — заговорил Захар Степаныч, не слушая и отвечая на свои мысли, — все почему? Да потому, что, как известно, люди от обезьян происходят... Шерсть обезьяна потеряла, вот и человек. Не так, что ли? А обезьяна от кого? А обезьяна от собаки или от волка: на задних лапах стали ходить, вот и обезьяна. Не так, что ли?.. Ну, а волк, известно, животное...

Крысиков, в недоумении косясь на Захара Степаныча, торопливо делал папиросу и приговаривал:

— Да-а... да, да... это конечно... ну, да, да, это так...

— Или собака... ты ее не трогаешь, а она вскочила, цап тебя за ногу, так себе, здорово живешь...

— Да-а... да, да... это так...

Захар Степаныч многозначительно замолчал, закурил папиросу и так же демонстративно стал затягиваться и, пуская дым, как будто хотел сказать: «На ж тебе!.. курю вот...»

Молодой чиновник сделал папиросу, несколько раз затянулся, постоял у стола, ощущая на себе новый мундир, потрогивая подмышками, и отошел к своему столу, не решаясь опять заговорить о портных, которые так ошибаются.

II

Как только Захар Степаныч заговорил об обезьянах, он почувствовал обычное знакомое облегчение. Держа папиросу в слегка оскаленных желтых зубах и пуская сквозь них и носом облака дыма, он достал из жилетного кармана маленькую гребенку и стал ездить зубьями по голове, приглаживая вслед другой рукой. Это означало, что Захар Степаныч примирился. Он придвинул к себе бумаги, взял перо и стал писать, не выпуская из зубов папиросу и щурясь от грубого табачного дыма.

Когда-то Захар Степаныч был изгнан из пятого класса семинарии за то, что на столе его квартиры инспектор нашел несколько книг Дарвина. Неизвестно, читал ли Захар Степаныч эти книги; может быть, и не читал, но слово «Дарвин» и представление об эволюционной теории в том смысле, что люди произошли от обезьяны, заняло в его жизни особое место. Каждый раз, как ему приходилось сталкиваться с несправедливостью, горем, обидой, неудачами, он сейчас же выдвигал свою излюбленную теорию и закрывался ею от всех невзгод жизни, как щитом. Выругает его столоначальник, выругает грубо, обидно, несправедливо, — Захар Степаныч вспыхнет, готов ответить дерзостью, но сядет за

свой стол, сделает папиросу, закурит и вспомнит, что на столоначальника так же неразумно сердиться, как на головастика, его родоначальника, что брань, грубость, насилие не больше, как пережиток, унаследованный от зоологических предков. И как только поделится Захар Степаныч своим табаком и этими соображениями с кем-нибудь из товарищей, у него разом станет легче на душе.

Но как ни успокоительно действовала на Захара Степаныча эта философская оценка жизненных явлений, он немало претерпевал за нее. Стоило ему, по обыкновению, начать: «Дарвин был не нам чета человек, высокого был ума человек, а вот додумался же...» — стоило ему так начать, как на него со всех сторон накидывались:

— Да вы что же это себя умней всех считаете?.. Зачем же вы тогда в канцелярию шли? Ишь, ты, от обезьяны!.. Служит на государственной службе, пенсию будет получать, и на тебе!.. С жиру, батенька, беситесь... Вот дойдет до начальства, так такую вам обезьяну сотворят, что и «ох» не скажете! Чина-то до второго пришествия будете ждать...

Захар Степаныч сдержанно и с сознанием своего превосходства улыбается, но последнее замечание в глубине души больно колет его. Он давно отслужил десятилетие, необходимое для получения первого чина человеку недворянского происхождения и без образовательного ценза, но до сих пор его не представляют. Впрочем, и в этом случае Захар Степаныч ухитряется утешиться эволюционной теорией.

— Захар Степаныч! — опять разносится по канцелярии.

Захар Степаныч делает вид, что не слышит, и, пуская носом дым, продолжает писать. Он по голосу чувствует, что Никита Иваныч хочет загладить свою вспышку, и заранее знает, какой произойдет разговор. Сначала Никита Иваныч покажет какую-нибудь незначащую бумажонку для вида, а потом расскажет, что сегодня он почти всю ночь не спал, мучил кашель, что младший мальчишка расхворался, что утром он успел уже поругаться с женой. Но Захар Степаныч продолжает работать, испытывая приятное ощущение удовлетворенной мести, так как знает, что Никита Иваныч теперь мучается. Потом ему становится жалко Никиты Иваныча: он вспыльчив, но не потому, что зол, а болен. И Захар Степаныч подымается и идет к нему, а Никита Иваныч смотрит на него ласковыми, добрыми и благодарными глазами и говорит:

— Захар Степаныч, кажется, мы исполнили вот эту бумажонку?.. А, знаете, я ведь промаялся целую ночь сегодня; чорт ее знает, от чего это такое, скипидара панюхался, тогда только и заснул...

И Никита Иваныч рассказывает про болезни ребятишек и про строптивость своей супруги. Захар Степаныч вытаскивает свою знаменитую бумажку с табаком, они делают папиросы, курят, и Захар Степаныч идет к себе на место.

Ремингтоны попрежнему сыплют сухой горох, носится шопот,

шуршанье, слышится кашель, зевота, вялый несвязный разговор, щелканье счетов, звук отодвигаемого стула, скрип сапогов. Писец, стоя у одного из столов, читает оригинал доклада, копию которого, с пером в руке, проверяет высокий худой и длинный чиновник — Мухов. Писец читает механически, быстро перебирая языком, губами, монотонно, без понижений, без повышений, как читальщик над мертвым. Эти звуки постепенно выделяются, растут, подавляют своей тоскливостью, унылой монотонностью. И чудится желтое пламя свечей, стол, на столе покрытое белым, неподвижное холодное немое тело. Никита Иваныч мысленно заглядывает под покров и видит желтое заострившееся лицо.. Никиты Ивановича. Ему неприятно, что такие мысли лезут ему в голову, и он усилием воли старается представить под покровом чье-нибудь другое лицо, например, Карпа Спиридоныча или Мухова. Но ни костлявое лицо Карпа Спиридоныча, ни строгое, серьезное лицо Мухова никак не укладываются в воображении, и вместо них упрямо и настойчиво выступают желтые обострившиеся черты лица Никиты Ивановича.

— Тьфу, чорт!.. Иванов, да ты по мертвому, что ли, читаешь?..

Ровное, монотонное бормотанье прерывается. Писец недоумевающе и конфузливо смотрит на Никиту Иваныча, но Мухов сердито дает отпор.

— Я вас попрошу не мешать... Что вы мешаете?.. ведь не за вашим столом читаем... Читай! — сердито кричит он на писца — и таким тоном, в котором ясно слышится приказание читать именно так, как прежде.

Писец начинает читать.

— Чорт знает, что такое, ведь это работать нельзя: не то в канцелярии, не то в мертвецкой... Нет, будь она проклята совсем, эта служба, дотяну до весны, уйду, ей-богу, уйду. Скажите, пожалуйста, ну, какой смысл торчать мне в этом болоте, ну, какой смысл? Ведь тут одуреешь, или сдохнешь, или идиотом сделаешься... Ведь это, чорт ее знает, что такое!..

Это — обычные ламентации Никиты Иваныча, все к ним привыкли, и никто не верит, что он уйдет. Двенадцать лет тому назад Никита Иваныч по независящим обстоятельствам вышел с третьего курса университета и приехал в родной город. Надо было есть, и он временно, чтобы осмотреться, прикомандировался в канцелярию. Каждый день в девять часов он приходил сюда, с удивлением присматриваясь к этой чуждой и такой странной после университета обстановке, к этим чуждым людям. Что больше всего поразило Никиту Иваныча — это то, что все чиновники были страшно похожи друг на друга: одинаковые землистые лица, одинаково болтающиеся на нескладных фигурах потертые, запятнанные мундиры; одни и те же разговоры, смех, анекдоты, брань, ссоры. Печать уравнения лежала на всех лицах, и часто Никита Иваныч здоровался с Карпом Спиридонычем, разумея при этом Павла Иваныча, и наоборот. Второе, что поразило Никиту Иваныча, —

это привычка к той обстановке, в которой все работали. Чиновники относились к Никите Иванычу сдержанно, вежливо. Никита Иваныч писал бумаги, не особенно стараясь, чувствуя себя здесь временным гостем, как будто Никита Иваныч ехал по большой дороге, задержался на постоялом дворе, ему отвели душную комнатку, и, хотя было тесно и грязно, он не думал об этом, а думал о том, как приедет, наконец, на место назначения и как там пойдет жизнь.

Но трогаться с постоялого двора все не приходилось. Не попадалось подходящей работы, да и Никита Иваныч, чувствуя себя до известной степени обеспеченным, был разборчив. Проходили недели, месяцы. У Никиты Иваныча происходили иногда столкновения с начальством из-за упущений, невнимательности, незнания. И хотя он не придавал этому значения, — не сегодня-завтра всему этому должен быть конец, — все-таки гордость заставляла относиться внимательнее, присматриваться к делу, отдавать ему часть своих мыслей, дум, сосредоточенности, чтоб не сделали упрека, что даром получает двадцатого жалованье. И по мере того как он входил в интересы канцелярии, он стал различать своих товарищей. У каждого было свое лицо, свое выражение, свой голос, свои интересы, горе, беды, особенности и характеры. И обезличивавший всех мундир на каждом сидел по-особенному.

Как только различил Никита Иваныч в каждом из своих товарищей человека, он вдруг почувствовал неприятность своего одиночества в канцелярии. Его молодость, а главное, его университетское образование мешали сближению с товарищами, и Никита Иваныч раздвоился: один Никита Иваныч рвался из канцелярии, думал о настоящей жизни, о том, что он что-то должен делать, что-то особенное и важное, следил за текущей литературой, читал газеты, журналы. Другой, слушая и рассказывая недвусмысленные анекдоты, перебирал шансы такому-то чиновнику попасть туда-то, получить повышение, расположение начальства; хлопал по животу весельчака Алексея Алексеевича. Раза два в неделю принимал участие в складчине; незаметно пробирался в комнату сторожа, где среди пустых склянок из-под чернил, среди пахнувших керосином ламп разложена была на бумажке колбаса, тарань, селедка и стояли бутылки с водкой и пивом; торопливо выпивал, закусывал колбасой, отрывая ее по кусочку руками, и возвращался в отделение с веселыми глазами, разговорчивый и общительный, — словом, делал все, чтобы заставить товарищей забыть свое превосходство, разделявшую их разницу умственных интересов. Раз приходится, хотя и временно, быть среди этих обездоленных людей, думал Никита Иваныч, приходится и жить с ними общей жизнью, и если нельзя их поднять до себя, надо спуститься до них, чтобы не оскорблять сознанием своего превосходства их, и без того всем и всюду оскорбляемых. Да и все это только чисто внешняя приспособляемость, сам же Никита Иваныч остается тем же самым Никитой Иванычем, что

а прежде, со всеми своими интересами и со всем складом своей внутренней жизни. Ведь каждую минуту, раз он захочет, он может уйти отсюда. Так думал Никита Иваныч, — а время шло.

Ему дали чин. Это в одно и то же время вызвало полупрезрительную усмешку и, в глубине души, хотя он сам не хотел сознаться себе в этом, приятное сознание, что он стал выше, лучше в глазах других. В то же время чин его испугал. Как, значит, он остается здесь навсегда? Нет, нет... Он бросился писать знакомым, стал энергичнее искать иную работу, — а время шло.

Счастье Никите Иванычу представлялось в виде молодой, свежей, с румянцем на щеках подруги. Они будут вместе работать, читать, у них будут общие интересы, общая цель в жизни, и они будут крепко любить друг друга. И он страстно хотел и искал этого счастья, но оно пока не приходило. Совершенно случайно он встретился с одной модисткой, легкомысленной, довольно вольной девушкой. Молодость взяла свое, и результатом этой встречи оказался ребенок. Это событие оглушило Никиту Иваныча. «Как! что же это такое?.. Да ведь я совсем иначе хотел жить, совсем по-иному... Постойте, что-то не то, и это не так... тут недоразумение... ведь я же хочу, я имею право на ту, на настоящую жизнь, на счастье!..» — кричал он внутренне кому-то, от кого, казалось, зависела его судьба, — но жизнь, с глупой дурацкой улыбкой, слепая, ничего не разбирая, шла вперед, закрепляя все, что казалось временным, преходящим, мимолетным, не оставляя возврата. Нельзя было мать с ребенком выбросить на улицу, и Никита Иваныч женился. Пошли дети, модистка расплылась в мелочную, сварливую бабу, и чем серее становилась жизнь, тем труднее было оторваться от канцелярии, чем больше он завязал там, тем с большей страстностью он повторял себе: «Уйду... уйду... уйду, не могу больше...»

И ему казалось, что семья, ребятишки, ссоры с женой, чиновники, бумаги, начальство, двадцатое число, — что все это так себе, пока, временно: точно он был на бивуаке, в темноте белели палатки, и ждали только рассвета, чтобы сняться и двинуться вперед. Но время шло да шло...

Уже бородой оброс, лицо посерело, пришла и болезнь. И просыпаясь ночью в расслабляющем поту, он, с ужасом глядя в ночную темноту, перебирал в голове, как все это случилось постепенно и незаметно. Сначала молодость, сила, здоровье, университетская жизнь, товарищи, планы будущего; потом катастрофа, приезд в родной город, канцелярия, чиновники, желание не оскорблять их своим образованием, женитьба, дети, недостатки... И каждый день, каждый день канцелярия отрывала и уносила его по кусочку. Жизнь не дарила ни одного дня, ни одного часа, ни одной минуты, — она все ставила в счет. У него стало такое же серое лицо, как у других, так же болтался на нем мундир, так же трудно было отличить его свежему глазу от других чиновников. То, что, как клещами, держало чиновников в канцелярии, — пол·

ная отрезанность от жизни, атрофия способности приспособления, — как болезнь, вошло и в Никиту Иваныча. И чем больше он думал, тем яснее понимал, что ему не вырваться. Он садился на постель, дрожащими руками шарил по столику, зажигал свечу, делал папиросу и торопливо курил, пока голова не начинала кружиться.

Прежде, когда Никита Иваныч только что попал в канцелярию и все ему казалось так ново и необычно, он относился к чиновникам, к этому забитому, загнанному, запуганному люду в высшей степени бережно, опасаясь лишним словом, неловким выражением причинить боль. Чиновники относились к нему недоверчиво, злобно, чувствуя в нем чужого человека; теперь же, когда он год за годом терял все, чем прежде отличался от них, он начал относиться к ним свысока, третировал и постоянно раздражался, а они ему прощали, как больному товарищу, и он это видел, еще больше раздражался и твердил, что уйдет.

— Уйду, уйду, уйду... не могу больше! Все живут, все работают по-человечески, по-людски, а у нас все не по-людски... Ну, что такое чиновник? Если захотят кого обругать, так обзовут чиновником... У чиновника нет ни самолюбия, ни воли, ни уважения к себе, ни чувств своих собственных, ни жизни своей, а есть только начальство. Как начальство прикажет, так чиновник и думает... Он и детей родит только по разрешению начальства... И за все за это — нищенское вознаграждение... Нет, дотяну до лета, а там уйду...

— И чего вы, Никита Иваныч, Лазаря поете?.. Вот уж не люблю, — говорит, раздражаясь, высокий и худой Мухов, всегда с сердитым лицом и нахмуренными бровями, точно он только что поругался и все никак не может успокоиться, — не люблю, как это начнут выламываться, как коза на веревке... Служишь — и служи, получаешь жалованье — и молчи!

— Да уж вы не заноситесь, Павел Иваныч, пожалуйста...

— Нет, вы, Никита Иваныч, позвольте, — подымается во весь свой длинный рост Мухов, играя мускулами лица, точно готовый не то заплакать, не то нанести оскорбление действием. — Мы, положим, не воспитывались в университетах, — Мухов делает особенное ударение на слове «университетах», как будто то, что он употребляет это слово во множественном числе, особенно оскорбительно для Никиты Иваныча, — но, между прочим, можем спросить вас, чем хуже чиновник всякого другого служащего, все равно — возьмите контору какую-нибудь, магазин, что ли, учительское место или там еще чего? Да там хозяин-то похлеще всякого начальства будет, там из вас всю душу вымотают! Вы говорите, тут начальство; а перед хозяином-то не навытяжку, что ли? Не по его приказанию детей родят?.. Тут что: до трех часов отзвонил — и домой, и никто тебя не спрашивает, а там все двадцать четыре часа у хозяина на счету: он тебе заплатит да свои денежки соком из тебя возьмет... А то чиновник, чиновник...

Что ж, не такой труд, что ли? Ведь работают, трудятся люди, чего же их охаивать да насмехаться?..

— Вы меня не понимаете, Павел Иванович, я разве о том... Я о том, что самая атмосфера тут, дух самый...

— Да что вы мне рассказываете... Что я маленький, что ли? не понимаю?.. Дух... дух, вон, у козла тоже есть... эка, дух!..

— Эх, господа, чего вы горячитесь, — заговорил Захар Степаныч, — ведь это все один переход, эволюция называется. Вот взять хотя траву. Отцветет она и согниет. Вы думаете, все тут? Нет, она не пропадет, она согниет, а почва через то оплодородится, и на место ее вырастет новая трава, выше и гуще. Так и мы. Действительно, скверное наше житье, ну только мы уйдем, а после нас людям лучше станет...

— Ну, поехала, повезла... Кто про что, а он про Ерему... Вот за твою эволюцию тебе и чина не дают!

— Ну, что ж, что не дают, — Захар Степаныч при этом добродушно улыбается, снисходя к их слабости, незнанию, невежеству, — и не дают! Только другой на моем бы месте давно петлю себе приготовил или с кругу спился, а я вот, слава тебе господи, живу и пожить думаю, и веду себя, дай господи каждому, вот чин получу и женюсь, и дети будут, воспитывать их буду, любить... Только вот чина этого самого не дают... и пусть себе не дают, потому это закон природы, и ежели бы я не знал, что это закон природы, я бы давно с кругу спился... Закон-с природы-с... не так, что ли?

— Пошел писать...

— Вот вам и писать. Я вот знаю, что законы в природе, и все по ним происходит, и от этого живу себе спокойно... Чина не дают... другой бы на моем месте крутился, кидался бы во все стороны, а я себе ничего, что ж, подожду... А у вас вот ничего нету такого, нет никакой такой точки, вот и плачетесь и скулите, и не на чем вам душой вздохнуть... Да!

— И о чем вы, братцы, ей-богу! Я вам вот что скажу: хоть ты чиновник, хоть начальство, хоть ты услужающий или хозяин, — все одно одинаково без бабы не обойдешься...

И, положив короткие руки на трясущийся живот и прикрыв маленькие заплывшие глазки, кругленький, пузатенький Емельяныч захохотал самым искренним образом.

Все засмеялись.

III

Каждый день сторож Михалыч к десяти часам подавал местную газету. Так как ближе всех к дверям сидел Захар Степаныч, Михалыч, отвесив поклон, клал газету к нему на стол.

В отделении строго соблюдалась субординация, и помощник столоначальника не смел читать газету раньше столоначальников. Тем не менее Захар Степаныч аккуратно каждое утро важно раз-

ворачивал номер, взглядывал на заголовок газеты, на заголовки отделов: «телеграммы», «внешние известия», «внутренние», «хроника», и, прежде чем на него успевали зарычать, небрежно, точно он просмотрел все, что ему было нужно, складывал и передавал ближайшему столоначальнику. Захар Степаныч не успевал прочитать и одной строки, но был удовлетворен и аккуратно каждый день проделывал то же самое.

Был канун нового года. Зимний день тускло глядел сквозь занесенные снегом окна. Михалыч с поклоном положил газету на стол к Захару Степанычу. Тот развернул, проделал все, что обыкновенно проделывал, и положил на стол Мухову. Мухов взял, не спеша развернул и стал медлительно и со вкусом читать. Прочитал правительственные распоряжения, внешние и внутренние известия, телеграммы, стал читать местную хронику и вдруг сделал огромные глаза и посмотрел на всех так, как будто видел всех в первый раз. Он прочитал еще несколько раз одно и то же место, не доверяя своим глазам.

— Господа... господа, нас пропечатали!..

Все подняли головы и перестали шуршать перьями.

— Будто?

— Ей-богу.

Мухов не любил шутить, и чиновники потянулись к нему.

— Где? Где? Почем вы знаете, что это про нас?

— Как же, вот глядите.

— Читайте... Читайте...

Мухов стал читать, а все слушали с напряженными, или улыбающимися, или нахмуренными и испуганными лицами. В маленькой заметке местной хроники сообщалось о тех условиях, в которых приходилось работать чиновникам некоторых учреждений в городе: низкие потолки, теснота, темнота, сырые грязные стены, слепые окна, тяжелый густой воздух, и даже необходимость для некоторых работать и днем при лампах. Ничего особенного, но все разом решили, что это относится именно к этому отделению. И читали с захватывающим интересом, с бьющимися сердцами. То, к чему они привыкли, что было обычно, неизбежно, буднично, неустранимо, то вдруг в одно время будут читать, представлять себе сотни, тысячи людей, — людей совершенно незнакомых, которых они никогда не встретят, не узнают, и которые их никогда не встретят. Это-то и заставляло особенно волноваться, это почему-то и было страшно важно и необычайно.

Библейская история рассказывает, что первые люди жили счастливо и ходили в саду нагие. Они проводили вместе все дни, шло время, и они не замечали его. Однажды змей, свесившись с дерева, сказал им: «Нагота ваша ничем не прикрыта». Они взглянули друг на друга и увидели, что они голые. Им стало стыдно.

Десятки лет люди служили, работали и, нагнувшись над столами, как быки ярмо, несли свою постылую работу и не замечали

этих темных заплесневелых стен, низко давившего потолка, не замечали, что за стенами яркий солнечный свет, а здесь люди работают при лампах, и красноватый огонь сквозь закопченное стекло освещает их поблеклые, землистые лица, не замечали, как уходила жизнь, и вдруг посторонний, чужой, незнаемый человек пришел и бросил им несколько строк, и они оглянулись на себя и с ужасом увидели наготу своей жизни, и им стало стыдно, как первым людям, стало больно и горько.

— Ну, братцы, и здорово описал.

— Начальство теперь нос закрутит.

— Что значит литератор, образованный человек, как по косточкам разберет...

— Господа, надо обмыть статью...

— Посылай.

— Что же я один, давайте-ка...

Чиновник с шапкой стал обходить всех. Кто клал двугривенный, кто четвертак, а кто и гривенник. Через полчаса у всех, заглядывавших в комнату сторожа, лица были красные и глаза веселые и добрые.

— Господа, — возгласил перед уходом Захар Степаныч, — завтра новый год. Непременно надо сегодня собраться да обмыть хорошенько статью. И новый год встретить по примеру прошлых лет.

— Идет.

Условились собраться в «Золотом Якоре».

IV

Собралось все отделение.

Бутылки, селедки, шамая, сардины, запах номера гостиницы, испитое, с отпечатком «чего изволите-с» лицо официанта, оживленные лица компании — все говорило о приподнятом настроении. Пили, говорили, чокались, проливали вино, хохотали, встречали новый год, «обмывали» сегодняшнюю газетную статью и были в радужном, радостном настроении.

Все чувствовали себя так, будто изо дня в день шли по одной и той же пыльной и скучной дороге, неизвестно куда и зачем; кругом простиралась такая же скучная, плоская, унылая степь; сегодня дошли до станции, и им говорят: «Ну, господа, слава богу, теперь по-новому пойдет... С Новым годом!..»

И все с радостными, влажными от возбуждения лицами встречали новое и неизвестное в грядущем году, полное чреватых событий благодаря сегодняшней статье.

Захар Степаныч, покачиваясь, блаженно улыбаясь, то подымая, то опуская брови, смотрел на облезлые черные часы; длинная стрелка маленькими скачками подбиралась к короткой, которая стояла на двенадцати.

— Господа, рюмки, рюмки!.. Скорее, скорее, сейчас!..

Все, торопясь, звеия, проливая вииo иа мокрую, запятиаиную, залитую скатерть, иаполияли рюмки, стакаичики, бокалы водкой, виноом, пивом, потом взяли в руки и стояли с сосредоточенными, важными, полиыми торжествеииого ожидания лицами, удерживаясь от покачиваиий; вииo колебалось в рюмках и играло отблеском свечей.

И среди тишииы, среди густого спиртиого запаха раздался голос Захара Степаныча, торжествеииый и важиый:

— Двеиадцать! Ура!..

— Уррра-а!.. Уррра-а!..

— Господа!..

— Господа, позвольте...

— Нет, уж позвольте мне...

— Нет, уж мне позвольте: я постарше вас.

— Урра-а!..

— Емельяи, сыпь в рюмку...

— Господа!..

— Дай обиять... поцелуемся, брат...

— Господа, позвольте мне!.. Вот иовый год... слава богу, дожили... Мие, братцы, тридцать девятый год пошел... То-то вот я говорю, ежели бы начальство об иас заботилось... Нет, по совести... а то что ему? Ему хорошо, какое ему дело до иас... по совести... а чиновиики себе как хотят... Я так думаю, иа иас обратят в этом году виимание... Ведь это что такое? В каицелярии прямо задыхаешься, иевозможный воздух... Погреб, ведь мы полжизии тут проводим... Вы думаете, это зря в газетах стали писать? Не-ет, шалишь, это, зиачит, в высших сферах разговор пошел, а то бы тебе так и пропустила цеизура такую вещь... развевай шире! Нашему-то иачальству что! Сидит себе в отдельиом кабинете, ему-то хорошо...

— Постой, ты, брат, того... ты, брат, не дюже,— испугаиио озираясь, дериул его за рукав сосед,— может дойти, знаешь...

— Э, пусти!.. А содержаиие? Что такое? — иищета!.. Ну, господа, в этом году, кажется все разрешится: я слышал, иовые штаты будут, и вообще иа нас иачальство обратит вниманиe... Если уж писать стали, это дело в ходу, это, значит, мы иа виду. С Новым годом!.. С иовым счастьем!..

— Урра-а!.. Урра-а!..

В горло полилось вииo, пиво, водка.

Налили опять.

— Нет, господа, зачем... зачем начальство трогать? — проговорил, держа в одиой руке рюмку, а другой вытирая мокрые усы, толстеиький Емельяиыч. — Не будем касаться иачальства... начальство пусть себе там... ие иашего ума дело. Вот жеиа у меня, фу-у-у, да и славиая жеищииа! Нилочка... Ну, только действительио холодная... Так-эдак скажешь ей: «Нилочка! А?..» А она: «Чего?» и подшморгнет носом... Ну, только и хозяйка аж удивля-

ешься. Я ей все говорю: «И чего ты такая, хозяйка?..» Холодная... так просто... как мешок... ей-богу! Ей все равно... Я ей иной раз говорю: «Отчего ты такая холодная? тебе все равно, что я, что энта табуретка... ей-богу». А она подшморгнет носом: «Чего?..» Ну, с Новым годом!.. Фу-у, да и женщина! Я теперь вот приду, скажу: «Ну, Нилочка, новый год...» А?.. ей-богу!.. Ну, с Новым годом, с Новым годом, с новым счастьем, ура!..

— Уррра-а-а!..

— Позвольте вас поцеловать...

— Нет, братцы, постойте, постойте, что я вам скажу... — говорил, стараясь покрыть голоса, молоденький, новоиспеченный, с мокрым, пьяненьким лицом чиновник,— постойте, главное, что у нас из окон канцелярии ничего не видать, кроме мостовой, аллеи да облупленной стены... Подойдешь к окну: мостовая, аллея да ободранная стена... Ах, ты, господи, боже мой!.. Главное, скучно... Хоть бы веселый дом против построили... с красным фонарем... Ха-ха-ха!.. Все-таки это — подошел бы к окну, посмотрел бы, посмеялся... дескать... там... девицы... все такое... ей-богу!.. А то что такое?.. Ежели бы из окна да видать чего-нибудь... а то мостовая, аллея да стена облупленная... Ну, с Новым годом, господа!.. Я думаю так: с нового года веселей пойдет... С Новым годом!..

— Уррра-а!..

— Человек, еще дюжину пива.

— И водочки пару бутылочек.

— И закусочки.

Гой, да-а ве-е-се-е-ли-и-тесь, хра-брые ка-а-заки!

— Пой!

Э-э... оэ... оо... оэ... э... э... эоо!..

— Братцы, а за самое главное не пили...

Э... оэ... эо-о... а-а-а... оэ... о-о!..

— Стой, господа, помолчите... Емельян, заткни глотку!.. За самое главное не пили: за того благодетеля, который об нас постарался,— за сочинителя, братцы!

— Уррр-а-а!..

— Дай ему бог здоровья...

— Уррра-а!..

— Хороший, должно быть, человек...

— Уррра-а!..

— Непременно женатый и, небось штук семь детей, потому сразу вошел в наше положение...

— Если бы знать, кто такой, пригласили бы да покачали бы на руках... Братцы, наливай за сочинителя!

— Уррра-а!..

Чокались, наливали, пили, разливали, кричали, обнимались.

— Карп Спиридоныч, теперь ваша очередь: скажите речь.

Карп Спиридоныч, длинный и нескладный, в ужасе заморгал глазами: во всю жизнь он не сказал подряд больше двух слов.

— Карп Спиридоныч, скажите вы...

— Скажите, скажите, скажите!.. — раздавались голоса.

Карпа Спиридоныча подталкивали, подымали со стула, тыкали кулаком в бок. Он ежился, двигался по стулу, испуганно улыбаясь узкими бескровными губами, голубые добрые глаза делались совсем круглыми, обтягивавшая костлявое лицо кожа шевелилась набегавшими вокруг большого рта и глаз складками.

Он заморгал безволосыми веками, высоко поднял облезлые брови, потом усиленно замотал губами и языком, точно раскачивая и усиливаясь пустить их в ход, и, наконец, заикаясь, приподымаясь над столом своим длинным, рыбьим, согнувшимся под углом телом проговорил:

— Я... я... н... не знаю, ч... что сказать...

— Говорите, говорите, говорите!..

— Нельзя, должны сказать... все говорили...

Его толкали, не давали садиться, подставляли на сиденье стула кверху палец и кололи снизу, когда он пытался садиться. Карп Спиридоныч дергался, умоляюще глядел на всех, наконец, разогнулся и опять пустил в ход губы и замотавшийся язык. Все примолкли, сдерживая готовый прорваться смех; а он, округлив еще больше голубые глаза, проговорил:

— В... в... ввсе... п... ппопрежнему... все п... попрежнему... — и, умоляюще, испуганно поглядев на всех, сел, торопливо моргая безволосыми веками и еще напряженнее улыбаясь тонкими, длинными, почти до самых ушей, губами.

Водворилась тишина. Улыбки застыли на влажных, приготовившихся смеяться лицах.

«Все попрежнему... все попрежнему... попрежнему... попрежнему...»

Да, да, да, все попрежнему, ничто не изменилось; в сущности ведь никакого нового года нет, ничего нового, никакого перелома, а бутылки, колбаса, копчушки, селедки — это можно и в пятницу, и в воскресенье, и первого, и двадцатого, и двадцать первого, и в декабре, и в январе, и в мае.

«Все попрежнему...»

Та же жизнь, та же канцелярия, те же облупившиеся стены, стол, начальство, бумаги, пыль на столах. Так же надо приходить в девять, уходить в два; так же дожидаться следующего двадцатого числа и страдать геморроем и знать, что на улице те же понурые извозчики, те же прохожие, и никогда, никогда не подойдешь к окну с сознанием, что увидишь что-то другое, другую улицу, другие здания. И вся жизнь кажется длинным и узким коридором, и невозможно свернуть, невозможно ни на одну минуту выбраться, как будто идешь в глубокую грязь по взрыхленной колеями и лошадиными следами чернеющей дороге и чмокаешь большими, отяжелевшими от сырости сапогами...

Все, все останется попрежнему, по-старому. Новый год... Но ведь новый год — ложь и обман, ведь никакого нового года нет, идут все те же старые дни.

Впрочем, *одно* может быть ново. В прошлом году вот за этим самым столом со всеми встречал Новый год Степан Семеныч. Он пил, смеялся, кричал «ура» и поздравлял всех с Новым годом, с новым счастьем; а теперь его нет, и никто никогда не услышит его голоса.

А когда на будущий год будут встречать Новый год, кого-нибудь и из них не будет за этим столом.

Жизнь идет вперед слепо, тяжело и страшно: никуда нельзя свернуть, нет и не может ничего быть нового.

Все сидели с искривленными улыбками, и волосы плоско прилипали к мокрым лбам.

Но это продолжалось мгновение. Как бы наверстывая, раздался дружный хохот:

— Браво... браво... браво!.. Ай да Карп, ай да здорово, ай да речь отмочил!.. Ха-ха-ха!.. недаром сидел да молчал: высидел, как петух яйцо...

— Сам длинный, а речь с хворостинку...

— Это ничего, братцы: длинные мужчины любят маленьких бабенок.

— Ха-ха-ха!.. Ххо-хо-хо!..

— Маленьких да кругленьких... ххо, хо-хо!..

— Урра-а!.. С Новым годом!..

Чиновники пили, ели, кричали «ура», поздравляли, целовали друг друга, сидели, обнявшись, по диванам, в расстегнутых мундирах, с побледневшими, мокрыми лицами и, покачивая свесившимися головами, пели усердно и невпопад. Разошлись уже под утро.

V

Хмуро и неприютно глянули угрюмые, закоптелые стены и тусклые окна канцелярии после нового года. Нехотя, кряхтя садились чиновники за столы, без надобности перебирая бумаги, почесывая поясницу, зевая и крестя рот.

Но когда собрались все, когда каждый увидел вокруг все те же серые, испитые, землистые лица, те же тощие согнутые фигуры в потертых мундирах; когда смутный говор, кашель, харканье, шорох бумаг заполнили огромное здание, и сквозь этот шорох немолчно и надоедливо застрекотали ремингтоны,— все почувствовали, как будто опять заскрипели, покачиваясь, возы, впереди потянулась пыльная скучная дорога, скучно раскинулась плоская степь... И все шли за возами неизвестно куда и зачем, и ничего впереди не маячило и было кругом все просто и обыденно. Опять все почувствовали себя отгороженными, отделенными от новизны, от изменчивости сложной, непонятной, запутанной жизни, что би-

лась за этими толстыми темными стенами, почувствовали себя частицей чего-то огромного, бесформенного, могучего.

Все пошло попрежнему, по-старому...

Дружное шарканье ног покрыло шуршанье бумаг и стрекотание ремингтонов; все, как по команде, поднялись, опустив руки по швам. Вошел начальник. Он держал газету, лицо было хмуро, левый глаз прищурен, что служило дурным признаком. Из дверей выглянули испуганные лица писцов. Надоедливое стрекотание ремингтонов смолкло; все притихли.

— Что это такое? — раздался резко и странно, среди наступившей тишины и смолкших ремингтонов, сердитый окрик. — Что это значит?

Все глядели, не будучи в состоянии оторваться, на левый сощуренный глаз. Что-то страшное слышалось в этом непонятном вопросе, что-то чуждое, необычное врывалось в тихую канцелярскую жизнь.

— Я спрашиваю, кто из вас... у кого хватило бесстыдства... кто из вас вот... это вот?.. — он щелкнул пальцами по газете.

И тогда разом всем стало понятно. Страх холодными иглами проник глубоко в грудь сдерживавших дыхание людей. Для всех вдруг стало ясно то страшное преступление, которое было совершено, и все с изумлением, с ужасом глядели друг на друга. Тогда в этой придавленной темным потолком комнате, как приговор, прозвучало:

— Сейчас меня вызывал его превосходительство и категорически заявил: если через неделю не будет разыскан среди вас тот, кто дал сведения и указания в газету, будет уволено все отделение.

Начальник ушел. Водворилась мертвая тишина. Не слышно было ничьего дыхания. Зловеще глядели тяжелые, сырые каменные стены; неподвижно висел каменный потолок над ровным слоем табачного дыма, ни звука не доносилось из помещений писцов. Что-то давящее, новое и страшное осталось с уходом начальника в этой полутемной комнате, и ощущение однообразия, монотонности, привычки нарушилось и пропало. Казалось, сюда на мгновение ворвалась та непонятная, чуждая, бившаяся за стеной жизнь, ворвалась и отхлынула, оставив роковую задачу.

Резким, сухим металлическим звуком опять застрекотали ремингтоны; все столпились и разом заговорили, не слушая и перебивая друг друга. Серые, землистые лица покрылись пятнами румянца, раздражения и злобы.

— Это, господа, что же такое,— заговорил высокий и сухой Мухов, играя мускулами лица и сердито дергая левой бровью. — Что же это такое?.. Это, господа, нечестно... Честно, что ли, всех подвел? Все отвечать будут... Подвел, ну, и признайся... Что же всем отвечать за одного?.. Это по-товарищески разве?

Точно из головы всех вырвалась мысль, выраженная этими словами. Да, да, да, отыскать, разыскать виновника! Пусть он

признается, пусть добровольно признается,— нельзя одному топить всех. Но где же, где он, кто он? И все с раздражением, со злобой, с затаенной ненавистью, подозрительно заглядывали друг другу в глаза.

Кто же, кто из них?.. Как теперь подойти к товарищу, покурить, побеседовать, расспросить про семью, рассказать про своих детишек, пошутить, посмеяться, спросить совета насчет доклада? Как это сделать, когда, быть может, тот, с кем в эту минуту разговариваешь, он-то и виновник той беды, что рухнула на всех?

Работа валилась из рук, чиновники бестолку рылись и перелистывали дела и с ожесточением курили; из-за дыма с трудом можно было различать лица. Начальник то и дело звал к себе столоначальников и распекал за небрежно и неверно составленные доклады.

То у одного, то у другого стола собирались кучкой и вдруг ожесточенно нападали на кого-нибудь.

— Это вы, Захар Степаныч!.. Кому же больше, как вам?

— Постойте, какое вы имеете право, — говорит, бледнея и подымаясь, Захар Степаныч, готовый кинуться на первого, кто осмелится заикнуться о том, что он имеет сношение с газетой.

— Конечно, вы,— кому же больше?.. Недаром у вас люди от обезьян происходят, а из себя ученого корчите...

— Что-о?..

— А вы думаете, я не помню, как вы два года назад в гостинице с репортером водку пили?..

— Нет, вы уж прямо говорите: по-вашему, и начальник от обезьяны происходит?

— Ежели вы порядочный человек, вы должны признаться... чтобы товарищи безвинно не страдали...

Захар Степаныч видит вокруг возбужденные, злобные лица, сверкающие глаза, раздувающиеся ноздри. Он чувствует, что у него на шее затягивается петля, что-то бессмысленное, нелепое давит его, нет выхода, — он вскакивает и, что есть силы, бьет вставкой о стол. Осколки пера и вставки разлетаются во все стороны, разбрызгивая чернила, а Захар Степаныч кричит не своим голосом:

— Я... я... если осмелитесь оскорблять... я вам морду разобью!..

Это кажется убедительным, и все расходятся на свои места. Захар Степаныч дрожащими руками вправляет перо в новую вставку.

Никто не смотрит друг другу в глаза. Утром, когда приходят, еле здороваются, сейчас же отворачиваясь. До двух часов успевают раз десять переругаться, нападая и приставая то к одному, то к другому

То, что связывало их десятки лет, разом порвалось. Одна и та же обстановка, одна и та же жизнь, интересы, скука, монотонность, подчинение, привычка друг к другу, безнадежность когда-нибудь

переменить жизнь, товарищество,— все пропало, исчезло, точно вычеркнулось. Люди, проработавшие по десяти, по пятнадцати, по двадцати лет вместе, с удивлением, со злобой, с ненавистью глядели друг на друга, точно видели друг друга в первый раз. Тонули все. Всем одинаково предстояло очутиться на улице беспомощными, бессильными, ни на что и никуда не годными, никому не нужными. Не на кого было опереться,— не от кого было ждать помощи, совета, слова участия,— все одинаково гибли. И от этого порвалась старая связь, привычка, дружба. У людей ничего не осталось. Так бывает на разбитом судне: измученные люди борются с бурей, с волнами, с темнотой, поддерживаемые сознанием общей борьбы. Но вот роковой крик проносится среди волнующейся, крутящейся над ревущим морем темноты: «Спасайся, кто может!» И все бросаются куда ни попало, отбиваясь руками, зубами от цепляющихся за взмокшую одежду тонущих товарищей.

Часы занятий в это ужасное время тянулись убийственно медленно; но дни пробегали с быстротой, от которой становилось страшно. До срока оставалось два дня. Все ходили по канцелярии с осунувшимися, постаревшими на несколько лет лицами, с ввалившимися, остро сверкавшими, как у горячечных глазами, и говорили хриплыми, точно после пьянства голосами.

Два дня!..

Слышался обычный шорох бегавших по бумаге перьев, стрекотали ремингтоны. Никита Иваныч поднял голову и посмотрел на эти осунувшиеся лица, на стоявший синеватыми слоями табачный дым, на безучастно глядевшие, подернутые темною плесенью стены, на равнодушно давивший всех неотвратимо низкий потолок и острое, яркое сознание, что все кончено, точно впервые ожгло его.

Как, два дня! всего два дня... А дети? а семья? а пенсия? а болезнь? а наградные? а двадцатое?.. Но ведь постойте... нет, нет, это не то, это не так, *этого не может быть!*.. Этого не может быть потому, что только теперь он увидел, что это и была жизнь, та самая жизнь, которая только раз дается человеку и никогда не повторяется.

И ему стало жаль этой настоящей, а не выдуманной, какой-то ожидаемой, несуществующей жизни. Он вспомнил, что здесь, именно здесь у него пробился первый седой волос, здесь ушла незаметно, невозвратно молодость, здесь у него впала, вдавилась ямой грудь, здесь выступили и приподняли желтую кожу угловатые кости, здесь завяло и умерло все, что дал университет, здесь он оставил по кусочкам жизнь, здесь каждый кирпич, каждое заплесневелое пятно было пропитано его жизнью, его кровью, здоровьем, надеждами, навсегда минувшей молодостью. Как же, как же он уйдет отсюда? Как он уйдет отсюда именно в тот момент, когда он увидел, точно пелена упала с глаз, что это-то и была и есть настоящая, реальная, невыдуманная жизнь,

которую неизбежно нужно было прожить. Все время он обманывал себя и теперь вдруг увидел правду... Нет, нет, нет!..

Глаза Никиты Иваныча остановились на Карпе Спиридоныче, и страшная мысль, как брошенная в темноте искра, мелькнула в голове: *«Да ведь это он!..»*

И Никита Иваныч, страшась своей догадки и вместе опасаясь своего малодушия, кошачьей походкой подошел к Карпу Спиридонычу и уставился на него немигающими глазами.

Карп Спиридоныч спокойно, согнувшись длинным телом, писал. Он один из всего отделения не волновался, не ругался, не горячился, не подозревал, не разыскивал виновного, покорно и безответно ожидая общей участи, стараясь только отгонять от себя мысль, чем же он будет кормить своих семерых ребятишек. И его никто не трогал: в голову никому не приходило, чтобы этот забитый, всех боящийся, не умеющий говорить человек мог иметь какие-либо сношения с сотрудниками газеты. Но именно потому, что это была невероятная мысль, она и поразила Никиту Иваныча.

«Да ведь это он!..»

Никита Иваныч совсем перегнулся через стол, не спуская глаз с длинного костлявого лица Карпа Спиридоныча; а тот поднял на него свои добрые глаза и улыбнулся ему грустной улыбкой, чуть-чуть тронувшей как будто нарочно сложенную по лицу складками и морщинами кожу. Никита Иваныч, чувствуя, как ему перехватывает горло, проговорил хриплым шопотом:

— Сознайтесь... признайтесь товарищам!.. Нельзя губить людей... нельзя через одного пропадать всем.

Карп Спиридоныч округлил голубые, все такие же добрые глаза, не понимая всей громадности обвинения. Он было пустил в ход с печатью усилия и напряжения на лице замотавшиеся губы и язык; но они помотались, помотались и ничего не сказали, и он улыбнулся. Эта беспомощность, эта добрая улыбка, эта неспособность защитить себя, сказать в свою пользу — взорвали Никиту Иваныча.

— Па-адлец!..

И вместе с этим, поражая слух, неожиданно раздался сухой удар костлявой руки о костлявое лицо. И этот сухой короткий звук разнесся по всей густо накуренной комнате, проник к писцам, покрыл стрекотание ремингтонов, прозвучал назойливо, резко и отчетливо, точно нарочно, чтобы нельзя было стереть его в памяти и чтобы все слышали.

И все слышали.

Мгновенно смолкли ремингтоны, прервались беготня и шуршанье перьев. Ни звука, ни вздоха, ни шороха. Секунду все сидели неподвижно, с побледневшими лицами, потом разом поднялся смешанный, тревожный, испуганный говор и восклицания... Несколько человек бросились между Никитой Иванычем и Карпом Спиридонычем:

— Что вы... что вы?! Опомнитесь!.. Разве возможно в присутствии?.. До начальника дойдет...

Карп Спиридоныч стоял немного нагнувшись, точно ждал второго удара. Губы дрожали, нижняя челюсть прыгала, из голубых глаз капали слезы. Это были слезы бессилия, слезы сознания, что он не может, не умеет защититься, закричать, ударить обидчика, что если бы и ударил, его на другой же день выгнали бы, что у него семеро детей, что их надо кормить, что он не дослужил до пенсии, что у него, Карпа Спиридоныча, нескладная фигура, что над ним все смеются, что...

Судорожные всхлипывания душили его, и он судорожно дергавшимися, трепетавшими губами старался задержать их. Слезы пробирались по его нескладному лицу, забирались в складки кожи, в углы губ, капали на борт мундира, на стол, на бумаги.

Никита Иваныч прошел к своему столу, сел и схватился обеими руками за голову.

Видно было, как вздрагивали его плечи и всего его дергало. Он закашлялся. Кашель судорожный, хриплый бил его, как вцепившийся зверь, и вместе с кашлем терзало сожаление, раскаяние, злоба и отчаяние. Долго среди напряженного ожидания раздавалось это надсаживающее буханье. Бледный, с округлившимися глазами, с проступившим на лбу мелкой росой холодным потом, держась обеими руками за стол, нагнувшись, кашлял он. Сквозь усы брызнула кровавая пена. Красные капельки усеяли бумаги, резко, угрожающе выделяясь среди белизны, как бы предрекая конец. Никита Иваныч, страшно кашляя, свесил голову у края стола. Прибежал сторож и поставил на полу таз. Никите Иванычу давали пить холодную воду, расстегнули ворот, мочили грудь. Когда кровотечение утихло, его увезли домой.

Чиновники, точно сговорившись, ни одним словом уже не упоминали, не заговаривали о мучившем всех вопросе. Молча, не проронив лишнего слова, в табачном дыму, в полумраке, в густой, тяжелой атмосфере под низко и угрюмо нависшим потолком писали все с озлоблением, с тайным страхом, с мутной надеждой, с отчаянием. Прошел четверг, прошла пятница, наступила роковая суббота.

VI

Обычно к девяти часам утра со всех концов города шли чиновники, завернувшись от тянувшего морозом восточного ветра воротниками, к огромному, с потрескавшейся штукатуркой казенному зданию, к которому они так же, как и сегодня, ходили десятки лет.

Зимнее серое небо, угрюмое и холодное, низко висело над молчаливыми домами, и, казалось, на нем никогда не сияло и не будет сиять солнце. Скучно, без конца тянулись пустые аллеи, и голые деревья протягивали обледенелые ветви, как будто уже не

ждали, что оживут когда-нибудь и покроются шепчущей листвой. И хотя кругом было все то же, те же улицы, те же самые дома, деревья, аллеи, перекрестки, извозчики, но для семи человек, с тоской чувствовавших, как скрипит под ногами холодный снег, все носило отпечаток не то сожаления, не то холодного, сурового, враждебного безучастия, точно они только сегодня в первый раз все это увидели и поняли.

Визжа, отворялись и, оттягиваемые пружиной, затворялись огромные двери, впуская вместе с клубами холодного воздуха промерзших, с красными, припухшими от мороза носами, чиновников. В темной раздевальне расстегивали они скрюченными от мороза пальцами форменные потертые пальто, вешали на огромной, сплошь занятой платьем вешалке и расходились по разным отделениям огромного здания.

Пришел Мухов, пришел Карп Спиридоныч, Захар Степаныч, пришел Крысиков. Они входили, не подымая поникших голов, точно боясь, чтобы не задеть черного потолка, давившего всех своею каменной тяжестью. Садились за столы молча, без обычного зеванья, потягиванья, разговоров, брали бумаги, перья и делали вид, что работают, но на самом деле никто ничего не делал. Никиты Иваныча не было, и его стол чернел без бумаг, производя странное впечатление темной, зияющей пустоты.

К Захару Степановичу подошел Крысиков в новеньком мундире. Он остановился у стола, потянулся, сцепив над головой руки, и притворно зевнул. «Захар Степаныч, как же так?.. Что же это?.. с мундиром новым как же теперь? Ведь я же чин получил!..» просилось у него, но вместо этого, завернув полы мундира и подтянув штаны, он сказал:

— Папиросочка есть?

Захар Степаныч молча достал бумажку с сухим табаком, с удивлением чувствуя, что Дарвин и теория происхождения от обезьяны — все это вдруг потеряло весь свой смысл, всякую ценность, никакого отношения к теперешнему их положению не имеет, не может принести никакого облегчения, и подумал: «Эх, Захар Степаныч, Захар Степаныч, устарели мы с тобой!..» и, так же притворно зевнув, проговорил сквозь зевоту:

— Не спал сегодня...

— Клопы?

— Клопы.

— Ну, у меня проклятые клопы в квартире... кишат.

И они затягивались и пускали дым. Потом Крысиков пошел и сел на свое место, недоумевая, что же будет с его мундиром и с чином; а Захар Степаныч стал делать вид, что занимается, разом почувствовав, что его покинули силы, что все, на что он опирался прежде, выскользнуло из-под ног, и он сидит за своим столом — беспомощный, слабый и одинокий.

Карп Спиридоныч сидел, как и всегда, согнувшись над столом, писал и думал о том, что уже кончилось все, чем красилась его

жизнь, что придут безрассветные сумерки, и ему было так больно, так жалко, что хотелось плакать, точно жизнь уходила. Но он не плакал, а, плотно поджав бескровные губы и ни на кого не глядя, писал и считал на счетах.

— Вашблгродие, вас женщина кличет,— проговорил Михалыч, подходя к Мухову.

Тот сердито нахмурился.

— Какая там женщина?

— Она здеся, в писарской.

Мухов поднялся и так же сердито прошел к писцам.

Какая-то женщина, до самых глаз закутанная старым платком, подала записку. Мухов прочитал и побледнел.

— Господа... братцы... — голос его прервался: — Никита... Никита Иваныч... помер...

Все бросились к нему.

— Что... что вы?.. когда?.. откуда?.. Не может быть!..

— Сегодня... в восемь часов скончался,— говорил Мухов, моргая глазами.

— Ах ты, боже мой!..

— Какая неожиданность!.. Царство небесное покойничку...

— И не болел человек...

— Что же, господа, надо кому-нибудь пойти.

— Начальнику бы... доложить...

— Господа, хоть сколько-нибудь пока надо собрать, а там обсудим дело... ведь семейство. У кого сколько есть...

Добыли пятнадцать рублей и снарядили одного из чиновников в квартиру покойного.

Весть о смерти Никиты Иваныча, с одной стороны, поразила своей неожиданностью, с другой — сообщила всем оживление, почти радостное настроение. То, что давило и угнетало этих людей, свалилось, как тяжелый камень. Все говорили теперь громко, свободно, точно в комнате стало просторнее, светлее и легче дышать. Точно кончилось страшное напряжение ожидания. Все думали об одном и том же, но никто вслух не высказывал своей затаенной мысли.

Чиновник, ходивший на квартиру Никиты Иваныча, вернулся и рассказал, что Никита Иваныч лежит на столе уже омытый и одетый, что на глазах у него по пятаку, отвалившийся подбородок подвязан платком, жена убивается и кричит. И на минуту всеми овладело то состояние, которое испытали в гостинице, когда невольно и жутко вспомнили, что в прошлом году за этим же столом вместе со всеми встречал новый год Степан Семеныч, а в нынешнем его уже не было. При будущей встрече не будет Никиты Иваныча. Но это мимолетное настроение сейчас же снова заменилось ощущением облегчения. Все собрались у стола Мухова.

— Ну, что же, господа, будем докладывать? — проговорил Мухов, не подымая головы и не глядя ни на кого.

И хотя он не сказал, о чем докладывать, но все поняли, о чем он говорит, и молчали.

— А?

— Принимая во внимание, что умершие, будучи похоронены, с течением времени превращаются в почву, и таким образом для них уж все равно... — заговорил было Захар Степаныч, снова разом ощутивший силу и огромное значение в жизни дарвиновской теории, но ему не дали кончить:

— Пойдите вы к чорту с своей философией!.. Вас спрашивают, согласны, чтобы докладывать, или не согласны?

Все глядели на него, и всем хотелось, чтобы он сказал: не согласны,— и все боялись этого.

— Да уж пишите, — подпишемся.

Мухов придвинул белый лист бумаги и взял ручку, потом опять отложил:

— Как он, покойник-то, там?.. И мертвому места нету... Что ж ему, как думаете?..

С минуту стояло тяжелое молчание.

— Что ж делать?.. Отслужим панихиду... помолимся... выпросим прощение у покойника... Ведь край приходит... живым людям пропадать приходится...

Мухов придвинул лист и стал писать:

«Имею честь доложить вашему превосходительству на словесное распоряжение вашего превосходительства от 2 января сего года, что по произведенному дознанию и расследованию сведения и указания о вверенной вашему превосходительству канцелярии, оказавшиеся превратными и содержавшие в себе явно неблагонамеренное измышление, доставлены в газету «N-ский листок» умершим сего числа... Никитой Ивановым Семенниковым, каковые указания и сведения вышеозначенная газета в нумере 31 декабря минувшего года пропечатала. Января 9-го дня такого-то года».

Все подходили, брали перо, макали чернила и с виноватыми лицами подписывались. Мухов просушил промакательной бумагой подписи, испытывая смешанное чувство облегчения и щемящей, сосущей тоски. Обдернув застегнутый на все пуговицы мундир, он прошел в коридор, подойдя к двери начальника, сделал почтительное и в то же время строгое лицо и взялся за дверную ручку. Но тут его опять охватило такое острое, щемящее чувство, что он опустил руку. «Эх, Никита Иваныч, Никита Иваныч! Мертвому покою нет... Теперь лежит там, а мы тут...» Мухов, не докончив своей мысли, разом дернул дверь.

Начальник сидел за столом и просматривал доклады. Мухов подошел к столу начальника, поклонился и с минуту стоял, ожидая, когда тот поднимет на него глаза. Но тот, не подымая головы и продолжая делать пометки, уронил:

— Что?

— Вы изволили сделать распоряжение...

— Почему после «сего» нет запятой?.. Чей это доклад?

Мухов немного помолчал, опасаясь нарушить течение мыслей начальника.

— Вы изволили сделать распоряжение о производстве дознания и разыскании виновника по поводу доставления из канцелярии сведений в газету...

— В какую газету?.. о чем вы?.. Опять: здесь не запятую, а точка с запятой... А тут совсем без знака... Ведь сколько раз говорил, что прежде всего знаки препинания!.. От этого смысл зависит!

Молчание.

— Вы изволили сделать распоряжение второго сего января...— проговорил Мухов, точно глотая больным горлом большой, угловатый, никак не пролезавший туда кусок,— виновник найден...

Мухов проговорил это и стоял, как человек, только что совершивший преступление и понимающий, что сделанного уже не поправишь. Начальник посидел молча, раздумчиво поглаживая усы, и потом спросил:

— Журнал по очистке нечистот губернских зданий прошел?

— Нет, не прошел еще.

— Так поторопите, год ведь начался. Пошлите Савельева.

Мухов вышел, прошел в канцелярию и сел на свое место, темный, как туча.

— Ну, что? Ну, что он? — жадно накинулись на него.

— Ничего...

И помолчав, добавил:

— Да и подлый мы народ!..

ЛИХОРАДКА

Сколько он ни идет, над ним все так же стоит беспощадное солнце, побелевшее от жара неподвижное небо, струится и дрожит горячий воздух.

Мелкий полынок, спутавшись в сухой шершавый войлок, покрывает сожженную, истрескавшуюся землю, нисколько не защищая ее от почти отвесных лучей июльского солнца. И кроме этого сизого полынка, побелевшего неба да струящегося от зноя воздуха, ничего кругом нет. Открытая во все стороны сухая степь равнодушно простирается, лениво, нескончаемо подымаясь по изволокам, отлого спускаясь в широкие сухие балки, по которым краснеет глина размытых оврагов. По балкам, чернея, расползается низкорослый терновник, да одиноко и затерянно стоят дикие яблони с объеденной червем, осыпавшейся сухой листвой. Не меняясь, неподвижно стоит над краем степи белое, округлослоистое блестящее облако. Кажется, никогда и нигде здесь не встретишь людей. Но прошлогодние пашни, пожелтевшее жнивье, далекие скирды хлеба и серые пыльные дороги, тянущиеся по степи, говорят о жизни. Да дальние курганы стоят молчаливыми памятниками давно минувшего.

А человек все идет да идет.

Пот без перерыва ползет по его сожженому, выдубленному лицу с втянутыми щеками и впалыми висками. Почерневшие босые ноги растрескались, и кровь сочится, запекаясь на солнце. Растрескались и иссохшие губы, краснея свежими тонкими трещинами. Из темных ввалившихся ям глядят воспаленные глаза. Он качается, точно его колышет ветром, но кругом стоит неподвижный зной. Длинные ноги заплетаются, как арбузные высохшие плети, и плечи, острыми углами подымающиеся над вдавленной грудью, давит лежащий на них полушубок и сума с сапогами и пожитками. Холщовая рубаха, черная от грязи со стекающим потом, обвисает на костлявом, длинном, угловатом теле.

Зной стоит такой же неподвижный, слепящий, не слабеющий, равнодушный; даль дрожит, и все то же над головой побелевшее небо.

Из иссохшего горла над раскаленной степью проносится, как шелест мертвых сухих листьев:

— О, господи!..

Человек останавливается, поднимает руку, чтобы отереть пот, но не доносит до лица и обводит кругом мутным взглядом: по изволоку ползут овцы. Они кажутся крошечными, как серые козявки, и так же медленно ползут, как козявки.

Тогда человек собирает все силы, набирает горячего, жгущего легкие воздуха и кричит то слово, которое неотступно стоит перед ним, которое жжет и палит внутренности, которое печет губы, — одно только слово:

— Воды!..

И он кричит это диким, хриплым, казалось, разносящимся по всей степи голосом, но на самом деле ни один звук не нарушает мертвого, неподвижного зноя... Лишь черные, запекшиеся губы слабо зашевелились, прилипая к клейким деснам:

— Воды!..

Черные тени ложатся на лицо, с легким шелестящим звуком вырывается из полуоткрытого почерневшего рта короткое дыхание, и голова слегка качается из стороны в сторону.

— Пойду... Иттить надо... До города бы только дойтить...

И, раздувая ноздри и поправляя на плечах тулуп с мешком, он идет, все так же качаясь из стороны в сторону, точно под ним колеблется земля. В ухо впивается тонкий, звенящий звук, точно комариное пение, держится некоторое время, крепнет, ширится, полнеет, как разгорающаяся искорка в темноте, постепенно заполняет голову шумом, звоном, точно там пересыпаются огромные массы песку, и он несет эту громадную переполненную, готовую раздаться голову...

Легкая дымчатая мгла быстро поплыла и закрыла спускавшееся к степи горячее небо, далекую, дрожащую в зное черту горизонта, верхушки курганов, отлого раскинувшиеся балки, яблони, овец, пыльную дорогу, и кругом пропали очертания, — стало черно, прохладно, пусто, как в погребе, и все звуки мгновенно смолкли, как подрезанные... Потом черная тьма опять поредела и открылась дорога, красные овраги, яблони, курганы, и опять зазвучали тысячи тонких, звенящих звуков, переполнявших ему голову. И в ту же секунду он почувствовал, что дорога поплыла из-под его ног, его шатнуло, и распухшие, истрескавшиеся подошвы стали ступать не по пыли, а по жесткому, сухому придорожному полынку.

— О, господи!..

Теперь у него одно стоит в голове — овцы. Надо дойти до овец во что бы то ни стало. В серых, казавшихся издалека крохотными, животных таился весь смысл его пребывания в этой горячей степи под жгучим небом. И он шел к ним, переставляя ноги, не спуская горячечного взора.

До них, кажется, близко, рукой подать. Он ясно различает,

как они, столпившись, опустив головы, стоят сонно и неподвижно, и в то же время чувствует, что никогда не дойдет до них: степь упорно и настойчиво идет вместе с ним, идет вместе с ним дрожащая даль, все на тех же местах виднеются дальние курганы, стоят скирды хлеба, тянутся широко раскинувшиеся балки, и белеет неподвижно блестящее круглое облако. И он, переводя горячее дыхание, смотрит на овец как на свое спасение...

Оттого, что он пристально глядит на них, в глазах начинает рябить. Их серая масса сливается, тянется серой каменистой грядой, а изволок заслоняет горбом небо, терновник ползет по его склону темной листвой, а из-за этой лесистой горы белое облако сверкает ослепительным блеском снеговых вершин. Внизу краснеет глиной железнодорожное полотно, копошатся люди, а дальше... дальше влажным блеском сверкает вода, много воды, безграничный простор воды; но это соленая, тяжелая, зеленоватая вода, — и это еще больше увеличивает муки жажды.

Семеныч нисколько не удивляется: знакомые места. Вот карьер, вот насыпь, вот порохом скалу взрывали, вот длинный мост перекинут через овраг: в весеннее время и в дожди здесь бушует горная речка; а вот кресты, много крестов, как перелески, потянулись вдоль полотна: лихорадка поела несть числа народу. Не одна тысяча российских людей в лаптях полегла тут, как солома в поле.

Все знакомый народ.

— Семеныч, здорово... опять к нам.

— Сказывали, не уйдешь, тут останешься.

Смеются, на кресты показывают, а кресты растут, растут, лезут из земли, как молодая поросль, и уже не видно горы из-за их чащи.

Семенычу становится страшно... Подошел баластный поезд, с платформ сыплется песок, камень сбрасывают... Кондуктора присели, цыгарки крутят, калякают, рабочие с лопатами, с ломами подходят — и все желтые, худые...

— Семеныч, а Семеныч!..

Смеются. Персюк, здоровый, в тряпье, почти голый, тоже смеется, ему ничего:

— Ай, Семеныч... Опять наша, Семеныч...

— Братцы...

Семеныч хочет им закричать, что он не виноват, что все это — не так...

— Письмо пришло... сынишка твой помер... восьми годков...

Смеются.

Семеныч хочет плакать громко, по-бабьи, и... плачет странным, воющим голосом. Нет, это — не Семеныч, это — шакалка... Ночью, подлые, спать не дают воем: сядут на задние лапы, сидят и воют...

И как бы в подтверждение, что это — шакалки, опять стало темно и прохладно, и опять посветлело, и показалось на минуту,

будто овцы впереди, отлогий подъем из балки, белое облако, — но на самом деле ничего этого не было: тянулась серая каменистая гряда, горбом заслоняли небо лесистые горы, и больно сверкали на солнце снеговые вершины.

— От бабы твоей письмо, зовет... с голоду помирает...

— Братцы!.. братцы!..

Семеныч старается разъяснить, растолковать, что он не виноват, что его нужно отпустить, что он уже все сделал, больше с него нельзя требовать... Шесть лет работал не покладаючи рук, не щадя себя, работал тяжелую работу: ломал камень, бил щебень, возил землю, по колено в болоте копал канавы, валялся в лихорадке... Он работы не боится... Ведь ему только лошаденку, коровенку да землицы прикупить... Шесть лет копил, гроша на себя лишнего не истратил, с голоду не издох только потому, что кормился в артели, — тут уже ничего урвать у себя нельзя было... Шесть лет... Баба кричала, убивалась, голосила, как по мертвому:

— Не ходи, али возьми нас... с тобой хоть через два дня в третий есть будем, без тебя и этого не будет...

Он ушел, ушел, чтобы притти для новой жизни... Шесть лет... Сначала посылал домой, потом перестал посылать: все уходило туда, ничего нельзя было скопить; считал дни, часы, — как медленно, тяжело, трудно, больно капающие кровавые капли, накоплялись гроши, копейки, рубли... Пускай потерпят, все будет — корова, лошаденка, землица; пусть не тужат; много терпели, немного перетерпеть... Перестал и письма получать, — слух пошел от земляков, что разбрелись, не то перемерли.

— Го-го-го... копи, копи. Избу-то заколотили... Разбрелись... живы ли... Детишки мерли здорово... Баба на ладан дышит...

Смеются, гогочут, скалят зубы. Все скалят: и живые, и те, кому не нужно уже никакого хозяйства, — желтые, с ввалившимися глазами, с длинными обнаженными зубами.

— Го-го-го... все есть — семьи нету...

— Братцы, — говорит умоляющим голосом Семеныч, — братцы, разве для себя?.. Мне росинки не надо... братцы, для хозяйства...

Краснеет полотно, сверкает вода, соленая-соленая, пить нельзя, виднеются вдали мосты, станция; народ, как муравьи, копается, а кресты все лезут, все растут. Уже не видно леса — заслонили лес, не видно полотна — густой чащей заслонили полотно, уже не видно моря — заслонили море, не видно гор — заслонили горы, не видно солнца, неба — кругом непроходимая дремучая чаща крестов.

Семенычу опять становится жутко.

— Сила-то, господи, сила-то их... все народ был...

Он чувствует, как по всему телу пробегает обжигающий озноб, и видит впереди серые пятна сбившихся кучками овец, чернеющий по балке терновник, видит одиноко и печально стоящие объеденные яблони, и лениво подымающуюся из лощины на изво-

лок серую пыльную дорогу, и медленно и трудно переступающие по этой дороге чьи-то истрескавшиеся, почерневшие босые ноги.

Семеныч с усилием соображает, чьи бы это были ноги, и приходит к заключению, что это — его собственные; потом вспоминает, что ему нужно дойти до овец. Но овцы оказываются страшно далеко. Они кажутся такими же маленькими, как изображения в отчищенных солдатских пуговицах. Но потом они оказываются возле: неподвижно стоят, сбившись в кучу, спасаясь от жары и оводов. Но вот они подымаются на дыбы и рычат на него страшными, хриплыми голосами.

Он видит черные усатые морды с белыми клыками и вдруг слышит человеческий голос:

— Тю, скаженные... человека съели... цытьте!..

И сейчас же раздается собачий визг. При этих звуках тулуп и сума сами собой сваливаются с Семеныча. Теперь он отчетливо сознает, что это — отара, овчарки, чабан, степь и зной, и безумное, неутолимое желание снова прорывается, и он шелестит губами:

— Во... ды!..

Чабан, весь пропитанный жиром, точно его варили в котле с салом, широкоплечий и медлительный, с изумлением глядит наивными добродушными глазами на пришельца и шепчет:

— Господи Иисусе... человек али холера?

— Воды... ради самого господа!..

— Васька, давай бочонок!

Мальчик лет двенадцати, тоже вываренный в сале, торопливо раскидывает кожухи, достает из ямки небольшой бочонок и подает Семенычу. Семеныч крестится дрожащей рукой, берет бочонок, но не в состоянии удержать. Мальчик поддерживает, и Семеныч дрожащими, спекшимися губами, весь трясясь, начинает пить. Он пьет, подняв глаза к горячему небу, потом закрывает их; пьет, все больше и больше запрокидывая голову, и по длинной, худой, жилистой шее, как пузыри, бегут глотательные движения... Чабаны молча смотрят. Наконец Семеныч отрывается от бочонка, тяжело дыша. С раздувающимися ноздрями, с округлившимися глазами он стоит, стараясь притти в себя.

— Откель бог несет?

— Из-под... Дербента, — слышится хриплый голос, — с железной дороги... с постройки... Лихоманка нутро все выпила... мочи нету...

И он стоит, поворачивая дрожащую голову, переводя дыхание, с мучительным недоумением собрав над переносицей перекосившиеся брови и кожу. Чабаны смотрят на него.

— Далече?

— Воронежский... мне бы теперича... только до города... только бы до города... а там на пароход... почитай, до места... Только бы на пароход... хоть мертвого довезет...

— Ты бы отдохнул, дядя, а то не дойдешь.

— Нет... пойду... Лягу — не встану... целый день буду лежать... Знаю себя... перемогусь... лихоманка-то перетрясет... На пароход только бы навалиться... Спасибо, родные!..

— На здоровье, дядя... Теперя прямо иди, прямо по дороге, как ивняк увидишь — тут и река, перевоз, а на той стороне город... Версты с три осталось... А може, кто будет ехать, подвезет... Дай-ка помогу...

Чабан подымает и кладет ему на плечи тулуп и суму.

— Спасибо... простите...

— Бог простит... Прямо теперича, прямо, не сворачивай...

Собаки сдержанно повизгивают и рычат, потом со всех ног кидаются на повернувшегося спиной Семеныча.

— Цыть... у-у, скаженные!..

Опять зной, опять иссохший полынок, серыми извивами уходящая дорога, горячее небо, курганы, дрожащая даль.

Переставляются распухшие, потрескавшиеся ноги по горячей пыли, переливается в животе вода.

Снова на секунду дорога уходит из-под ног, и черная мертвая полоса на мгновение застилает степь, небо, солнце, но Семеныч борется, борется с этою охватывающею его темнотою и страшным усилием воли заставляет свои глаза смотреть и видеть курганы, трепещущую даль, палящее солнце...

— Го-го-го... Копил, копил, накопил...

Он борется с безумием отчаяния. Никаких гор тут нет, никого нет, только бы до реки, до реки добраться, на пароход, — пускай хоть мертвого довезет к семье...

— Ха-ха-ха... к семье... Была семья... у Семеныча семья кодысь-то была... Опять к нам пришел... Не уйдешь... гляди, кресты-то...

— Ничего, ничего... вон овцы, чабаны стоят, — стало быть, в уме... Понимает, маленькими стали, — стало быть, отошел...

Он жалобно стонет, стараясь стоном отогнать наплывающий мрак, старается удержать сознание: осталось две-три версты... Овцы... Пока видит овец — ничего, значит, еще понимает...

И он часто дышит, подымает тяжелые, как свинец, веки, взглядывает на овец, цепляясь за них, как за последнее спасение.

Мгновенно обжигающий озноб на секунду пронизывает все тело, сейчас же уступая место палящему жару, как будто внутри его раскаленная топка.

Недалеко впереди курится пыль, в пыли видна повозка, дуга, лошадь: навстречу едут. Повозка, лошадь, дуга и клуб пыли становятся все меньше и меньше — значит, не навстречу, проезжали мимо, возле него, а он не слыхал и не видел, а его могли бы подвезти.

Отчаяние охватывает Семеныча.

— Господи, донеси!..

Измученные ноги все так же идут, сознание мутнеет... На даль-

нем увале виднеются овцы, а кругом, куда ни глянешь, все степь, степь и степь...

Семеныч предается воле божией: пробегает языком по жестким сухим губам, смотрит, куда бы опуститься на землю, и видит впереди поникший ветвями ивняк.

Семеныч понимает, что это затмение, и оборачивается: далеко-далеко сереют овцы, дрожат верхушки курганов, и все на одном и том же месте, над сгоревшей степью, неподвижно стоит блестящее, белое, с округлыми краями облако. Семеныч чувствует свое тело, чувствует идущие ноги.

— Господи, благодарю тебя... — говорит он и из последних сил добирается до ивняка.

Из-за ветвей серебрится и играет широкая река, и в глубине ее колышется опрокинутое небо и одинокое блестящее облако.

— Слава те, господи...

Семеныч тяжело дышит, смотрит на влажную сверкающую поверхность и с трудом соображает: город виден далеко, затянутый голубой дымкой, и сквозь дымку сияют золотыми точками купола. Кругом пусто и тихо. Он сбился и не попал к перевозу.

Молниеносной дрожью пробегает озноб; небо, прибрежный песок, вода, ивняк — все плывет кругом; руки, ноги отваливаются, как избитые. Израсходован последний остаток сил, и неслушающимися, странно ворочающимися пальцами он развязывает тулуп. На минуту он чувствует себя лежащим в полушубке спиной на земле. Острый, пронизывающий озноб мгновенно разбегается жгучими иглами, сменяясь палящим огнем. Он стискивает зубы, напрягает все мышцы до судороги, но и это одеревеневшее, сопротивляющееся страшным сопротивлением тело не в состоянии избавиться от мгновенно пронизывающей дрожи. Он мычит, как животное, — глухо, подавленно, точно ему забили рот чем-то мягким... Кругом все становится черно и мертво, и он теряет представление о времени...

Проступая сквозь мрак, где-то высоко-высоко нестерпимо блестит голубым блеском клочок неба; на мгновение его заслоняют, нависая, ветви ивняка... Опять черно, холодно, пусто... Потом над ним наклоняется что-то молодое, безусое... Что это? У Семеныча голова лопается от страшного напряжения... Это не небо, не ивняк, не сверкающий, колышущийся воздух... Что это?.. Оно близко-близко наклоняется к лицу, и у него две горящие точки. Они впиваются, пронизывают... Это шакалка ночью ест падаль, и у нее светятся глаза...

Семеныч чувствует легкое щекотанье на своей груди, и от этого прикосновения содрогается конвульсивно все его тело, судорогами ведет мышцы, дыбом становятся волосы...

В смертельном ужасе он не закричал, а заревел так, что заволновалось голубое небо, заструился горячий, сверкающий воздух, запрыгало и исчезло близко наклонившееся лицо, с светя-

щимися глазами... А он все ревет страшным, нечеловеческим голосом, который заполняет все пространство, всю степь, ревет, как привязанный бык, которого медленно режут тупым ножом.

Но те, кто торопливо отвязывает ловкими пальцами с гайтана на груди пропотелую, пахнущую острым запахом больного тела сумочку, те не слышат этого рева. Они только видят прилипшие к клейким деснам иссохшие губы, оскаленные, подернутые тонкой слизью зубы, слышат прорывающееся сквозь них с свистящим шипением горячее дыхание; видят неподвижно лежащий за зубами вспухший язык и бессильно распростертое тело... Потом с преступно-радостными лицами оба скрываются в ивняке.

В БУРЮ

I

— Ай-яй... ай-яй-яй!.. — разносились над гладкой сверкающей поверхностью моря пронзительные крики Андрейки, извивавшегося в лодке. — Де-едко... не буду!..

Дед — коренастый, с нависшими, лохматыми с проседью бровями и изрезанным морщинами лицом, словно выдубленным солнцем, ветром и соленой водой, — одной рукой держал мальчика за шиворот, другой больно стегал просмоленной веревкой, которая так и впивалась в тело, и потом швырнул его на дно лодки. Андрейка поднялся, всхлипывая, свесился через борт и стал перебирать показавшиеся из воды мокрые сети.

Кругом ослепительно сверкала вода, по которой едва приметно шли стекловидные морщины. Горячее, заставлявшее щуриться солнце стояло высоко. Черные, начинавшие течь смолой бока лодки, протянутые к мачте, перекрещивающиеся веревки, с которых также капала смола, обвисшие, черные от грязи и смолы паруса резко, отчетливо вырисовывались своей чернотой в неподвижно знойном воздухе.

Берегов не было видно.

Андрейка, с сердитым, сморщившимся в кулачок лицом, продолжал перебирать сеть, осторожно и крепко захватывая каждую бившуюся в ней рыбу.

Еще в два часа ночи, когда только чуть-чуть стали бледнеть звезды, Андрейка отчалил с дедом от берега. Легкий предутренний ветерок тихонько подвигал лодку. Когда рассвело и по воде и по небу побежали розовые полосы, а спокойное, гладкое море открылось до самых краев, ветер упал. Пришлось взяться за весла. Андрейка греб попеременно с дедом. Сначала работа у него шла легко и свободно, но прошел час, другой, и он стал уставать. Каждый раз, как он откидывался назад и весла с плеском проходили в прозрачной, игравшей розовым отблеском воде, ему казалось, что он уже больше не в состоянии разогнуться, до того ныла поясница и ломило руки; но он снова и снова заки-

дывал весла, и лодка ползла, как черепаха. Наконец дед, все время молча сидевший на корме, проговорил:

— Будя, Андрейка!

Обрадованный Андрейка торопливо пробрался по качавшейся лодке на корму, а дед сел за весла и стал молча и упорно грести. Андрейка правил рулем, глядел на разбегавшиеся из-под весел длинные водяные жгуты, на мерно и сильно откидывавшуюся фигуру деда и отирал свое мокрое, вспотевшее лицо, с наслаждением предаваясь отдыху.

Из-за моря поднялось солнце и залило светом спокойную, ровную воду. Начинался знойный день без малейшего ветерка.

Скоро показались на поверхности моря большие, плававшие круглые обрубки с укрепленными на них маленькими флажками, — это были поплавки сетей. Подъехали к одному из таких поплавков, за веревку, привязанную к нему, вытащили один конец сети и, навалившись на борт, стали подвигать лодку, перебирая руками показывавшуюся над водой сеть, которая тянулась в воде на несколько сот саженей. Андрейке, совсем перевесившемуся через борт, весело было смотреть в прозрачную глубину, где от времени до времени вдруг начинало что-то белеть, колебля и водя из стороны в сторону все выше и выше подымавшуюся сеть, и, наконец, на поверхности, трепеща и разбрызгивая воду, показалась бившаяся, запутавшаяся жабрами в ячейке рыба. Андрейка подхватывал ее, запуская пальцы в нежные розовые жабры, высвобождал из сети и бросал на дно лодки, где было налито немного воды. Рыба, обезумевшая от боли, страха и отчаяния, начинала биться, разбрызгивая воду, не понимая, что это с ней произошло, и пытаясь вырваться из этой тесной, ужасной обстановки, где она задыхалась, вздымая окровавленные, разорванные жабры.

Солнце подымалось все выше и выше, и зной, неподвижный, слепящий, стоял над морем, в истоме раскинувшимся под горячим небом. Андрейка, разморенный жарой, от скуки и однообразия разговаривал с рыбами, которых он вытаскивал из сети:

— Ах ты, селедка-длиннохвостка, погоди, ужо просолеешь хорошенько, не будешь брыкаться! Ишь, ты, брыкучая, ступай-ка в лодку! А ты, сазан-брюхан, пузо-то наел. Вылазь, вылазь, неча кобениться, отъелся, не пролезешь никак, хитрый идол! Выла-азь... — И Андрейка вытащил и с трудом поднял вверх обеими руками большую рыбу.

— Гли, деду, пузо-то како!

Но не успел дед раскрыть рта, как сазан, очутившийся на воздухе и замерший от изумления, вдруг рванулся изо всех сил, выскользнул, плюхнулся в воду, блеснул хвостом — и был таков.

Тогда-то над морем и раздались отчаянные вопли Андрейки, потому что дед, молча, не говоря ни слова, поднялся, взял просмоленную веревку, сложил ее несколько раз и жестоко наказал мальчика.

II

У Андрейки нет ни отца, ни матери. Сколько он помнит себя, он живет в белой хатке, под большой вербой, с дедом Агафоном. Возле хаты с одной стороны белеет береговой песок и синеет море, с другой, насколько глаз хватает, тянется безлесная, голая, сожженная, покрытая высохшим бурьяном да полынью степь, размытая оврагами и балками.

Лет двенадцать тому назад дед Агафон жил в этой хате с семьей, с женой и пятью детьми. Случилась эпидемия дифтерита, и дети Агафона перемерли в одну неделю.

Раз как-то зимою Агафон с женой сидел вдвоем в хате. Ночная вьюга мела в черные окна. Агафон угрюмо думал о чем-то, починяя сети, жена возилась у печки. Снаружи кто-то постучал. Агафон отпер дверь, и на пороге появилась женщина, в рубище, занесенная снегом, дрожащая, с мертвенно бледным, стянутым от холода лицом; на руках у нее в лохмотьях лежал крохотный ребенок, весь посинелый и уже не плакавший. Заикаясь, не выговаривая стянувшимися губами, женщина стала просить пустить ее переночевать. Ее приютили, накормили. Отогревшийся ребенок наполнил хату детским плачем, и жена Агафона, стоя над ним, то и дело вытирала слезы фартуком, вспоминая своих детей.

Женщина рассказала, что идет из Орловской губернии на Кубань разыскивать мужа, который уехал туда с полгода и ничего не пишет. Она все проела, что было, и, наконец, решила отправиться на розыски. Дорогой пришлось питаться подаянием, по железной дороге удавалось на некоторых станциях упросить кондукторов, и они провозили ее несколько станций бесплатно, а по проселочным дорогам подвозили добрые люди. Так добралась она до Ейска. Из него она вышла рано утром, заблудилась в степи, настала ночь, поднялась вьюга; женщина уже приготовилась к смерти, как среди ночи увидела огонек одинокой хаты.

Ночью пришедшая расхворалась, бредила, металась, вскрикивала. Жена Агафона три раза взбрызнула и напоила ее святой водой, но той делалось хуже и хуже, и к вечеру следующего дня она умерла. Агафон и его жена оставили ребенка у себя приемышем.

Андрейка смутно помнит ласковую старую женщину, приемную мать, которая купала, поила, кормила его и укачивала посреди хаты на подвешенной к потолку люльке. Он помнит также, что, когда ему сравнялось четыре года, пришли какие-то люди, сняли ее с лавки, где она спала, положили на стол под образа, зажгли свечи, а потом унесли куда-то, и он остался вдвоем с дедом Агафоном. Помнит он, что дед каждый раз, как отправлялся на море, отводил его в поселок, который лежал в овраге, в степи, верстах в трех от берега, и оставлял у своей кумы, бабки Спиридонихи. С шести лет дед стал брать мальчика с собой на море, и Андрейка часто спал на носу лодки, на

подостланной дедом соломе, а над ним носились чайки, светило солнце и летели брызги волн.

Семи лет Андрейка уже во всем помогал деду. Вставали они рано — часа в три утра. Андрейка торопливо плескал себе в лицо холодной водой, вытирался подолом рубахи, торопливо крестился на ту часть неба, где горела утренняя звезда, и, перевирая, читал «Отче наш» и «Свят, свят» — две молитвы, которые он только и знал. Потом Андрейка притаскивал кизяку, растапливал печь, чистил картошку, рыбу, варил уху. Позавтракав, они уходили в море.

И на море и дома дед заставлял Андрейку делать все наравне с собою: править парусами, грести, чинить, собирать, тянуть, спускать сети, обирать рыбу с крючьев и прочее. И Андрейка все делал, надрываясь от непосильной работы. За малейший промах, недосмотр, ошибку дед жестоко наказывал Андрейку. Стоило мальчику на море неверно положить руля или не во-время подобрать или отдать парус, как дед подымался и тут же, не говоря ни слова, беспощадно сек мальчика просмоленной веревкой, от которой никогда не заживали рубцы. У Андрейки было худенькое загорелое личико, и сам он весь был маленький и худенький.

Жизнь у него проходила однообразно: кругом было только море, небо, степь да берег. Берег был голый, обнаженный, с глинистыми размытыми устьями оврагов, с песчаными косами и отмелями. Но все это однообразное пустынное пространство для Андрейки было населено и оживлено.

По степи, посвистывая, бегали или, как столбики, стояли у своих нор суслики; в воздухе, мелькая по иссохшей траве тенью, медлительно плавали коршуны, ястреба, луни, трепетали, неподвижно повиснув, копчики; по курганам угрюмо и одиноко чернели степные орлы. Над песчаным берегом носились крикливые белые чайки, подбирая выброшенную из сетей рыбу, иногда чуть не выхватывая ее из рук рыбаков; весною и осенью тут стоял несмолкаемый гам и шум от бесчисленной пролетной птицы.

Но более всего и разнообразнее всего было населено море. Тут стадами ходили стерляди, осетры, сельди, тарань, сазаны, красноперка, вьюны; в песке кишели мириады водяных вшей, ползали крабы. В конце июля море начинало «цвести» и по ночам светиться. Светились голубоватым светом гребешки волн, следы от лодки, разбегающиеся круги от удара весел, линия прибоя у берега, брызги, каждая капля морской воды, выведенная из состояния покоя. Этот странный колеблющийся, то вспыхивающий, то угасающий голубоватый свет казался Андрейке таинственно связанным со всеми покойниками и утопленниками, которые нашли могилу в море.

Дед Агафон был молчалив и угрюм, но когда речь заходила об обитателях моря, морщины у него разглаживались, серые глаза добродушно смотрели из-под нависших бровей, и он готов был рассказывать по целым суткам.

— Дедко, откуда рыбы столько берется? Ловят, ловят, ловят, а она все идет. Сколько народу рыбалит, на море негде веслом опустить, — все сети.

— Бог плодит, бог ее плодит, разве у бога мало места, — сколько он воды сотворил, чтобы, значит, рыба водилась — для пропитания людей.

— А рыба знает, что ее ловят?

— Ну, а то не знает, что ль... Рыба, к примеру, вот как мы с тобой рассказываем, как встрелась друг с дружкой, сейчас так и так, мол, все и обскажет насчет рыбалков: где сети поставлены, где крючья; ну, только, конечно, по-своему разговаривают, — человеку не дадено знать... Только одни, которые утопленники в море на дне лежат, понимают, как рыба разговаривает, потому рыба их не остерегается, знает, что они уж не выдадут, плавает возле и друг дружке рассказывает.

Андрейка несколько минут молча смотрит на деда расширенными глазами. Ему представляется темная, синяя глубина, смутно желтеющее морское дно и на нем раздувшийся, посинелый, с открытыми в воде глазами мертвец, возле плавают рыбы и, колебля жабрами и глотая соленую воду, рассказывают друг другу, что, где и как происходит. Рассказывают они и про него, про Андрейку, что он с дедом Агафоном сидит в лодке там, наверху, и опускает в воду сети.

Андрейке становится немного жутко. Когда прежде он сидел в лодке, внешний мир замыкался для него водной поверхностью моря, и о том, что было *там,* в глубине, он не думал. *Там* была просто вода, и *оттуда* сети вытаскивали рыбу. Теперь же эта огромная пугающая глубина оказывалась вся заселенной не теми молчаливо-беспомощно бившимися в лодке рыбами, которых он выбирал из поднимавшихся из воды сетей, а разумными существами, которые так же разговаривали и ограждали себя от бед и несчастий, как и люди здесь, наверху. Сверху над водой светило солнце, проходили облака, играл ветер, а в глубине шла таинственная и неведомая жизнь, враждебная Андрейке и деду Агафону, и от этого становилось жутко.

— Господь все премудро сотворил, — продолжает дед Агафон. — Скажем, сазан — рыба бессловесная, и все. А вот ежели станут волокуши тянуть к берегу, всю рыбу, какую захватят, всю на берег выволокут, — а вот сазана захватят, так он весь почти назад в море уйдет. Как почует, что кругом сети, перво-наперво разбежится и, что есть духу, рылом в сеть вдарится, аж веревки затрясутся; ежели волокуша старая — прорвет, сам уйдет и всю рыбу за собой уведет; ежели видит, что не прорвать — зачнет сигать из воды, чтобы пересигнуть через сеть. Сеть к берегу высоко подымают над водой, — тогда видит — плохо дело, вот сейчас выволокут, он воткнет нос в ил и песок против волокуши и, что есть силы, держится; волокуша снизу хоть и чижолая, — камни понизу понавязаны, — все-таки по его гладкой

спине так и переедет, иной раз всю спину ему стешет, ну, а он плеснет хвостом — и был таков.

— Он, значит, саван-то, умный?

— Как же! Господь видит, люди неисчислимо истребляют рыбу, сколько ее ловят, страсть! Видит, что скоро вся рыба пропадет, он и дал разумение. Человек хитрый, ну, рыба еще хитрей.

Дед воодушевляется и, подняв еще выше брови, говорит:

— Ходит рыба в море, все закоулочки выходит, — пропитания ищет. Но тут ей какая пастьба? Так, где червяка ухватит, али своим братом закусит; а в реках ей всякой еды сколько душе угодно: там и ил речной. В реку всякую падаль и нечисть валят. Глисты разные водятся. Из лесу подмывают корни, ветки, — одно слово, всякое произрастание. Вот рыба в прежние времена и ходила в реки, особливо в Дон, кормиться, и шла она, прямо сказать, тучей. Когда размножение народу пошло, стали реки перегораживать сетями. И тут ее вылавливали тьмы. И пошел промеж рыбы в море разговор, что, дескать, так и так, нельзя в реки ходить, — вылавливают. Распространился по всему морю разговор, и перестала рыба ходить в Дон на пастьбу. Вышел закон повеление, чтобы по всея Расеи во всех реках раз в неделю никто не ловил рыбы, чтоб передышку ей дать: с шести часов вечера субботы до шести часов утра понедельника никто не имеет никакого полного права рыбу ловить. И что же! Всея неделю в Дону ни одной морской рыбины нету — знает, ловют ее там пять дней. А в субботу вечером гужом гудит из моря в Дон, а в ночь на понедельник ворочается, но не успевает вся, — которая запаздывает и идет в понедельник цельный день к морю. Рыбаки, которые в устье ловят, знают, что за всю неделю в реке и одной рыбины морской не увидишь, зато в понедельник все, сколько их есть, все выезжают, и тут ее, рыбы этой, страсть набивается в сети, — это которая запоздалая. Вот оно как... Человек с хитростью, а рыба вдвое...

Но обыкновенно дед свои рассказы заканчивал так:

— Только, ежели уж правду говорить, пропадает рыба, год от году пропадает... Потому сила, сила этих рыбаков развелось, — куда глазами достанешь, всё сети...

И лохматые брови деда опять низко спускаются, и он снова становится угрюмым, сосредоточенным и необщительным.

Дед и Андрейка работали не покладая рук, не зная ни праздников, ни правильного отдыха, и все, что зарабатывали, дед пропивал.

Как только ворочались они с уловом, дед сбывал рыбу перекупщикам, строго-настрого приказывал Андрейке сидеть дома, чинить сети, конопатить или смолить лодку, стачивать и навязывать крючья, зашивать паруса, а сам уходил в большое торговое село и гулял там до тех пор, пока не пропивал все до последней копейки и с себя все до последней нитки.

Андрейка, как только дед скрывался за бугром, бросал сети,

крючья, недошитые паруса и убегал в поселок, лежавший в степи, верстах в трех от берега, лазал по огородам, таскал огурцы, ловил воробьев, дрался с хуторскими мальчишками на кулачках и постоянно навещал бабку Спиридониху. Она кормила его пирогами с морковью, маковниками, рассказывала про леших, ведьм, водяных, сказки про заморские страны, про города, которые лежали по той стороне моря.

— Дома там большущие да высокие, — говорит бабушка, гладя шершавой от работы рукой голову Андрейки, который примостился возле ее ног, уминает пирог с морковью и не спускает с нее глаз, — а живут в них все господа бо-огатые, одеваются чисто и цельный год ничего не делают.

— И рыбу не ловят?

— Куды — рыбу! Хату подместь, и то гнушаются.

— Я, баунька, с дедом на той стороне у Таганроге был: дома высо-окие, а на церквах кресты все из золота, а на пристани бабы господские прогуливаются, голова вся в перьях... Баунька, а я на аглицком пароходе видал, господа ехали, в трубки на нас с дедом смотрели.

Андрейка некоторое время ест молча.

— Баунька, откуда вши водяные берутся? Вот идешь по берегу, продавишь ногой песок, они так из песку и полезут.

— Из воды, соколик, из воды эта нечисть. На, возьми пирожка еще, кушай на здоровье, сиротинка.

— Баунька, дед сказывает, матка моя замерзла возле нашей хаты.

— Померла, соколик, померла, болезный, замлела от морозу: стыть какая была да метель, шутка ли, — зги не видать было. Царство небесное покойной Акулине Митревне, вечный покой ее душеньке, — призрела тебя, малую сиротку, и деду Агафону доброе здоровье на многие годы...

— Дерется дед, баунька, уж так-то больно бьет. Я, баунька, ежели будет бить, так убегу от него.

— Тебе же на пользу, дурачок, — побьет да пожалеет, тебе же в пользу, учит добру, а ты слухайся да не перечь.

Бабка Спиридониха была единственный человек, у которого Андрейка чувствовал себя тепло.

Ворочался всегда дед оборванный, угрюмый и злой, находил брошенные сети и паруса, и начиналась жестокая экзекуция, от которой Андрейка с неделю еле ворочался.

III

Солнце невыносимо печет. Зной, разлитый в переполненном блеском воздухе, неподвижно стоит над морем, в котором на недосягаемой глубине синеет опрокинутое небо. Черная лодка со стекающей смолой и обвисшими парусами кажется висящей

в пространстве, а под нею вниз мачтами висит точно такая же опрокинутая лодка.

Андрейка, не разгибаясь, вместе с дедом выбирает из тянущейся вдоль лодки сети добычу, которой набилось туда множество. Лицо у него пылает, рот полураскрыт, крупные капли пота падают в воду. В значительно осевшей лодке возвышается целая гора зевающей шевелящейся рыбы.

После экзекуции у Андрейки, чувствовавшего, как горят и ноют рубцы на спине, в голове толпились самые мрачные мысли. Сначала он все свое раздражение направил на сазана, который так коварно подвел его.

«Хорошо, — со злобой думал он, — брюхатый чорт, попадешься еще, небось, не вывернешься: запущу по кулаку в жабры, поверти-кось тогда. Ну, и потешусь же!..»

Но так как коварный сазан благоразумно решил не попадаться в руки Андрейки, то мысли его принимали другое направление.

«Что я *ему*, сын, что ли, али крепостной, что *он* лупит меня, чем ни попадя? Ишь, огрел, ажно рубаху просек. Возьму да убегу... Ей-богу!.. Пойду в город, наймусь в работники али на берегу в артель стану, тоню тянуть, нехай-ка он без меня повертится. Да даром-то я не уйду: проверну дирю в лодке да заткну маленечко тряпкой, а сам в степь, лягу на кургане и буду смотреть. Вот отъедет он, вода и вымоет тряпку, и станет он потопать. Станет потопать и закричит: «Андрейка, потопаю!..» А я ему закричу: «Ага!.. а помнишь, как ты меня лупил, ажно рубаху наскрозь просек...»

Жара, усталость мало-помалу смиряют Андрейку, и негодование у него на деда улегается. А дед, и не подозревая андрейкиных каверз, преспокойно посасывая трубку, выбирает рыбу на корме. Он работает по всем правилам, сосредоточенно. Старик не любит разговоров. Он доволен сегодняшним уловом, и его нависшие, лохматые брови приподнялись несколько. К вечеру он надеялся осмотреть все сети и ночью вернуться домой.

Вдруг Андрейка услышал голос:

— Андрейка, спускай сеть да ставь парус!

Андрейка уставился на старика: что с ним сделалось? Осталось еще половину сетей досмотреть, — видно, прошел косяк и рыбы набилось множество, да никогда они раньше ночи и не возвращались домой... Но старик не любил повторять приказаний, и Андрейка, торопливо опустив в воду сеть с бившейся в ней рыбой, быстро стал расправлять и готовить запутавшиеся шкоты и парус.

— Подверни снизу парус да спусти до половины!

Андрейка торопливо выполнил приказание, не смея расспрашивать деда. Парус обыкновенно подворачивали снизу и приспускали только во время сильной бури, чтоб уменьшить площадь парусности, когда ветер чересчур уже рвал. Между тем

кругом стоял все тот же неподвижный зной, — нечем было дышать, и все так же на недосягаемой высоте и в бездонной глубине, друг против друга, синели тонкой синевой два небесных свода, и вода между ними пропадала из глаз.

— Садись на весла!

Андрейка беспрекословно взялся за весла и стал грести, обливаясь потом.

Вверху, не особенно высоко, над морем неслось белое, ослепительно блестящее облачко с разорванными краями, точно это уносило оторвавшийся где-то кусочек ваты. И это быстро несущееся облачко резко нарушало впечатление знойной неподвижности и покоя, царивших на море. А дед все поглядывал то на облачко, то на горизонт, в синеве которого терялись и вода и небо: оттуда, теснясь, густо лезли круглые барашки. Они торопливо выбирались с особенной и необъяснимой при полном затишье поспешностью.

Андрейка, измученный, задыхающийся от тяжелого зноя и напряжения, стал испытывать глухое беспокойство. По небу, за минуту до того безмятежно чистому, бежали одно за другим облака, блестящие с одной и зловеще затененные с другой стороны. Дед, все подгонявший Андрейку, сам сел на весла, и тяжело нагруженная лодка пошла скорее по тому направлению, где должен был открыться берег.

В той стороне, откуда выбирались облака, по спокойному морю вдруг побежала потемневшая узкая полоса бесчисленных морщинок, все удлиняясь и быстро нагоняя лодку. В ту же минуту забежал ветер, шевельнул парус, вздул на спине Андрейки рубаху и понесся дальше вместе с мелкой рябью, темнившей светлое лицо моря.

Опять тишина, неподвижный зной, зеркальный блеск моря и бессильно повисший парус.

Дед, угрюмый и насупленный, поднялся, аккуратно сложил весла, достал из-под сиденья кафтан, надел, подпоясался потуже, уселся на корме, пропустил шкот в кольцо возле себя и взялся за руль.

Море все покрылось темными пятнами ряби, перемежающимися со светлой поверхностью, по которой с неуловимой быстротой бежали тени облаков... И вдруг оно почернело на необозримом пространстве, от края до края.

Ветер, свистя в ушах и обдавая прохладой, мгновенно наполнил парус, и лодка, подымая перед собой водяной бугор, с шумом понеслась, едва не поспевая за скользившими тенями облаков. Позади полосой пены потянулся длинный след.

Ветер, превращавшийся почти в ураган, не мог сразу раскачать за минуту до того спокойное море, и, несмотря на все усилия, оно только все больше и больше чернело. Но дед знал коварство этих внезапных летних бурь. Они разыгрывались где-нибудь далеко и потом, налетая оттуда, пригоняли с собой уже

поднятые, готовые, расходившиеся волны, которые начинали бить и неистовствовать на совершенно тихой и спокойной до того поверхности. Поэтому он, с риском опрокинуть лодку, полностью отдавал парус ветру, и они неслись с безумной быстротой, от которой рябило в глазах, и пенящаяся вода проносилась назад, как мимо железнодорожного поезда. Открывшийся впереди тонкой чертой берег выступал все яснее, яснее.

Волны действительно пришли. Они шли, как грозная рать, с белыми колеблющимися головами, зелеными рядами вздымающейся воды, и кругом настал ад.

Лодка зарывалась носом. Волны — огромные, с острыми подавшимися вперед гребнями и срывавшейся по ветру пеной — шли на нее с шипением, с шумом, без перерыва, без отдыха. Кипящие зеленоватые гребни то и дело обрушивались через борт. Шкоты натянулись, как нитки, а парус, оттягивая мачту, дрожал от страшного напряжения, купаясь в обдававших его брызгах. До самого неба, по которому торопливо и низко бежали серые всклокоченные, как грязная вата, тучи, стоял все заполняющий шум, из-за которого нельзя было различить ни скрипа подававшейся во всех пазах лодки, ни звука человеческого голоса.

Андрейка, уцепившийся за мачту, видел, как у деда шевелились губы, но голоса его не слышал. Прижимаясь к дрожащей мачте, Андрейка глядел на бунтовавшие, с кипящими верхушками волны, которые без числа и без конца шли на их одинокую, заброшенную лодку. Она то совсем ложилась на бок, моча бившийся краем в воде парус, то выпрямлялась и взлетала на самый гребень. И тогда Андрейке в нескольких верстах открывался белый от прибоя берег, старая верба и белевшая на берегу хатка.

Андрейка не чувствовал особенного страха, он привык к бурям, и только внутреннее напряжение наполняло все его существо. Он так привык подчиняться и слепо верить на море деду, что не думал об опасности, хотя хлеставшие через борт волны все больше заполняли лодку, и она все тяжелее взбиралась наверх. Андрейка стал черпать и выливать за борт черпаком воду, но это мало помогало.

Старик сидел на корме, едва видимый в облаке водяной пыли и проносимой ветром пены, правя рулем, отдавая парус каждый раз, как налетавший шторм клал лодку на бок. Суровое, изрезанное морщинами, мокрое от брызг лицо старика было хмуро, сосредоточенно. Он сделал знак, а Андрейка, бросаемый из стороны в сторону качкой, на четвереньках, болтаясь в воде, перебираясь через кучи рыбы, полез на корму. Когда он добрался до кормы, старик нагнулся к его уху и крикнул:

— Кидай рыбу за борт!

Андрейка расширенными глазами глядел на старика, но старик ткнул его кулаком. Мальчик дрожащими руками стал выбрасывать еще живую, трепетавшую рыбу вон из лодки. Только

теперь он понял всю грозившую им опасность, и детское отчаяние охватило его. Держась одной рукой за перекладину, он другой торопливо выбрасывал рыбу и горько плакал и причитал сквозь слезы:

— Ы-ы-ы... миленькие, потопаем!.. ы-ы-ы... потопаем... подайте помощи, пото-опаем!..

Но ветер сердито уносил его жалобу, и волны, разбиваясь о борт лодки, высоко вздымались белым столбом брызг.

Андрейка повыбрасывал всю рыбу... Лодка пошла легче... Берег все приближался... Уже можно было различить размытые глинистые обрывы, желтевший прибрежный песок и черневшие на берегу остовы старых лодок... Андрейка, продолжая вычерпывать воду, стал молиться. Он молился тому старику с седой бородой, что был изображен на потемневшей иконе в углу церкви, перед которой дед всегда ставил свечи. И Андрейка все ждал, что вот-вот их лодка станет легче и волны перестанут плескать через борт пенистые верхушки. Но попрежнему с шумом шли водяные горы, летела пена, и низко неслись грязные тучи.

Шумя в оснастке и срывая гребни волн, набежал порыв бури, погнул парус, лодка бессильно легла на бок, и в нее всем бортом хлынула огромная волна.

Андрейка, с ног до головы окаченный волной, схватился обеими руками за мачту, захлебываясь от ворвавшейся в рот соленой воды. Старик, с проступившей по загорелому, обветренному лицу землистой бледностью и с прыгавшей нижней челюстью, судорожно навалился грудью на поднявшийся борт. Лодка выпрямилась, но в ней до половины оказалось воды, и она с трудом теперь выбиралась на гребни набегавших волн, которые яростнее и чаще стали ее захлестывать. Андрейка каждую минуту ждал, что они пойдут ко дну. Неодолимый страх охватил его. Он на четвереньках, весь в воде, полез к деду:

— Де-еду, боюсь!..

Дед, все с таким же мокрым бледным лицом и прыгавшей челюстью, втащил Андрейку на свое место, сунул ему руль и конец шкота:

— На вербу... на вербу держи!

Старик крикнул это, что было голосу, но Андрейка из-за шума не разобрал его слов. Он только видел, как дед сбросил шапку и сапоги, торопливо перекрестился, вытянул руки, ринулся за борт, и облегченная лодка, с переполненным ветром парусом, пошла быстрее.

Кругом, как снег в степи в буран, белела несшаяся поверх моря пена, навстречу бежал берег, и все предметы на нем быстро увеличивались, выступая все отчетливее: размытые глинистые овраги, черневшие на песке лодки, белая хата и старая верба возле нее.

Андрейка был весь охвачен восторгом от сознания, что он спасен.

Зажав подмышкой руль, накрутив на руку туго тянувший шкот, он оглянулся; далеко-далеко, среди волн и пены мелькнула черневшая голова. Она то совсем скрывалась из глаз, то снова показывалась, подымаясь и опускаясь вместе с волнами. У Андрейки с представлением о деде соединялось представление о суровой, ни перед чем не поддающейся силе, и теперь вид этой беспомощно подымавшейся и опускавшейся вместе с волнами головы поразил его. Андре́йка закричал пронзительным детским голосом:

— Де-едко!.. де-едко!.. де-едко!..

Глотая неудержимо катившиеся из глаз слезы и соленые бившие в лицо брызги, он изо всех сил навалился на руль. Лодка дрогнула, накренилась, с разбега круто повернулась, описав круг, и, как бы призадумавшись, стала против ветра. Парус ослабел и стал отчаянно болтаться и полоскать. Андрейка, все так же неудержимо рыдая, положил руль совсем на борт: лодка повернулась еще больше, ветер мгновенно наполнил с другой стороны туго выпятившийся парус, лодка рванулась и, все больше и больше черпая бортами и с каждой секундой оседая, понеслась от берега назад в море, туда, откуда, то́лпясь, шумя и разбиваясь, грозно шли волны и где беспомощно виднелась, то скрываясь, то опять показываясь голова...

— Де-едко!.. де-едко!.. де-едко!..

НА БЕРЕГУ

I

Огромной чернеющей громадой стоит у набережной пароход, притянутый толстыми канатами. Стройные мачты легко и свободно подымаются, впиваясь в голубое небо острыми верхушками. Низкая, прокопченная, слегка подавшаяся назад труба угрюмо и беззвучно дымит слабо вьющимся дымком. Воздух над ней дрожит и колеблется, и могучая дремлющая сила чудится в молчаливо разверстой черной пасти.

Темные, круглые стекла каютных окон, как сонные глаза огромного тела, глядят молча ничего не говорящим взглядом. На капитанском мостике никого нет, и неподвижно и одиноко вырисовываются рукоятки румпеля. Как змеи, извилисто тянущиеся цепи, сложенные канаты, свернутые паруса, пустота и безлюдье на палубе, — все говорит о покое и отдыхе после непрерывной, день и ночь, работы, от которой бежали содрогания по всему огромному, из железа и стали телу, боровшемуся с водной стихией и сделавшему не одну тысячу верст.

Только в одном месте и теперь не знают отдыха. С берега на борта переброшены широкие сходни. Сгибаясь, пропадая совсем под огромными тюками, ящиками, кулями, с дрожащими коленями, беспрерывно, как муравьи, один за другим сходят по мосткам оборванные, босые, в одних рубахах и портах люди, и пот крупными каплями падает из-под тюков на гнущиеся под ногами доски. Сбросив под навесом на берегу ношу, они на секунду выпрямляются, вытирают красное от натуги, блестящее от пота лицо и опять бегут на пароход, к тому месту, где зияет в палубе черным провалом открытый люк.

У люка стоит помощник капитана и записывает в маленькую книжечку выгружаемые «места». Возле лебедчик поворачивает рукоять паровой машины, и цепи переливчато, с говорливой торопливостью бегут с огромного, как гигантская рука, подымающегося над палубой крана в чернеющую пропасть. Оттуда, как

будто из самой внутренности земли, доносится глухой, ослабленный расстоянием голос:

— Сто-оп!..

Лебедчик одним поворотом останавливает машину, и мгновенно смолкает, как подрезанный, говор цепи. Несколько человек наклоняются и глубоко внизу, как в пропасти, слабо различают копающихся людей. Видно, как в полутьме они хватают крюк, висящий на конце цепи, и цепляют за него несколько бочек и ящиков, перехваченных канатом.

— Вира-ай!.. — доносится оттуда.

Поворот руки — и машина легко и свободно, словно играя, начинает проворно выбирать цепь. Цепь бежит вверх, и в чернеющее отверстие показываются неуклюжие, пузатые бочки, огромные ящики, толкаясь о края люка. Все это выбирается, наконец, на свет, и только теперь видно, какая это громадина. Кран делает полуоборот, и бочки и ящики повисают над палубой.

— Майна!..

С секунду цепь гремит вниз, и огромная гора ложится на палубу. Подбегают крючники и взваливают ящики на покорно подставленные спины, а бочки начинают катить. И ящики, важно покачиваясь, шевелясь, чувствуя себя господами, шествуют по мосткам, вот-вот готовые раздавить, смять, изломать идущих под ними с трясущимися коленями людей, но благополучно добираются до берега и валятся к своим собратьям громоздящейся огромной горой.

А там уже опять слышится: «Майна!.. Сто-оп!.. Ви-ра-ай!» — с нестерпимым звенящим звуком бегут цепи, попыхивает машина, поворачивается кран, и на палубе появляются все новые и новые тюки, ящики, бочонки, свертки, кули, короба, точно цепь вытаскивает все это из бездонной бочки, и нет им и не будет ни конца, ни краю. Как ни громаден пароход, но, глядя на него, трудно себе представить всю колоссальную емкость его трюмов, скрытых под водой.

Солнце подымается выше и выше, тени подползли к зданиям и стали короткими и тупыми, начинает размаривать жара. Сверкает и шевелится шелковистая рябь спокойного моря, и голубая теряющаяся даль его пропадает в синеве спускающегося неба. Как белые клочки бумаги, белеют чайки, и одиноко, узкими черточками среди сверкающей ряби чернеют лодочки рыбаков. У набережной теснятся пароходы, шкуны, баржи. Показывая голубому небу истрескавшееся дно, лежат опрокинутые на берегу лодки. Стоит говор, шум, лязг цепей, вздохи машин, упорный, ровный воющий звук пароходных гудков, восклицания, песни, брань. С улиц разбросанного по берегу городка доносится дребезжание дрожек, а над всем молчаливо и задумчиво подымаются горы.

Грузчики кончили выгрузку, но отдыхать нельзя, надо приниматься за нагрузку. Штабеля полосового железа, доски, бунты

хлеба, бочки с вином возвышаются на берегу и ждут своей очереди. И опять бегают с берега на пароход потные, усталые люди, опять гремит цепь, подымаясь и опускаясь в пропасть пароходного трюма, черною пастью глотающего приносимые «места», поворачивается кран, и слышится отрывистое, надоевшее: «Майна!.. Стоп!.. Вирай!..» А солнце с зенита беспощадно обливает слепящим зноем нестерпимо сверкающее море, пароходы, набережную, беленький, рассыпавшийся у берега городок и горы, молчаливо глядящие верхушками в недоступную даль.

II

Это была маленькая, лет трех, девочка, с голубыми глазками, с белыми, как лен, волосами, в ситцевом платьице и крохотных желтеньких туфельках. Она бегала, облитая солнцем, как розовое пятнышко, по набережной, лазала между наваленными кулями, тюками, бочками, играла голышами и камешками, разбросанными по земле, и потом, остановившись и прикрыв глазки ручками, ладонями кверху, точно ей мешал солнечный свет, прозвенела тоненьким голоском:

— Я хацу к маме.

На набережной никого не было. Неподвижно возвышались бунты хлеба, штабеля досок и железа, море сверкало.

— К ма-аме хацу!

Этот тоненький голосок опять странно прозвенел над набережной, над сонно поблескивавшей у берега водой и залетел в тень опрокинутой на берегу старой, сквозившей прогнившим дном баржи, откуда несся гомерический храп. Кудластая голова неподвижно лежала на земле, казалось, независимо от огромного подымающегося горой тела. Судорожно вздрагивала при всхрапывании широко открытая лохматая грудь. Повернутая, обнаженная, неестественно толстая шея билась выступавшими жилами, и два кулака, неумело и грубо выделанные и плохо обтесанные, лежали спокойно и тяжело по концам раскинувшихся рук.

Не обращая внимания на эту неподвижную тушу, сидит возле татарин, блестя бритой, усеянной точечками головой, с оттопыренными ушами. Он раскачивается, подложив под себя накрест голые ноги, заунывно, негромко подвывая, тянет тоскливым и однообразным голосом не то песню, не то жалобу, мерно помахивая иглой с ниткой, зашивает изодранные штаны.

Двое бьются в карты — парень с испитым веснушчатым лицом и ввалившейся грудью и длинный, нескладный, с бегающими глазами и с красивыми, но острыми и хищными чертами черного от загара лица горец в лохмотьях.

— Давай!..

— Чего давай? Карту покажь.

— Давай деньгà, говорю... Проиграл, давай!..

И острые черты горца вспыхивают ненавистью, тонкие вырезы ноздрей хищного носа раздуваются, зрачки искрятся.

— Давай!.. — гортанно, с угрозой вырывается из-за сверкающих сквозь усы зубов, и сухое, жилистое, гибкое тело угрожающе подается вперед.

Парень кидает пятак.

— Сволочь!..

Они сидят на земле и продолжают хлопать невероятно засаленными, свернувшимися коробом картами, следя друг за другом горячими, жадными глазами. Сквозь прогнившее дно прихотливо ложатся на землю пятна солнечного света, гнусаво тянется заунывный голос раскачивающегося татарина, и вырываются потрясающие звуки храпа.

— К маме хацу!..

Татарин поднял бритую, с глядевшими в разные стороны ушами голову:

— Слыхал, ребята кричал?

Лежавшая неподвижно туша шевельнулась, храп прекратился, производя странное впечатление наступившей тишиной и давая место звукам, долетавшим с набережной, с улиц; потом открылся громадный рот и так зевнул, что из золотившихся щелей дна посыпалась гнилая пыль.

— Васька, водка осталась?

— Ходы!

— Давай!.. Хлап винновый мой.

С моря донесся пароходный гудок.

— Никак наш?

Горец приложил к глазам козырьком ладонь и, щурясь, всматривался в сверкающее до самого края море.

— Не наш. Азовского общества.

— К маме... к ма-аме хацу!..

Пимен повернулся своим огромным телом.

— Никак, дитё? Откуда ему тут быть?.. Скверно, водки нету.

— Говорю, ребята кричал.

— Да неоткуда ему тут быть.

Татарин перекусил нитку, надел штаны и поднялся.

— Маленький ребята повалился в воду, тонул, — чего смотрел?

Он подошел к девочке, присел на корточки и щелкнул языком:

— Ай-ай, какой бальшой девка, какой отличный девка!..

— К ма-аме хацу!..

Подошел Пимен, горец, подошел Васька, щурясь, независимо позевывая, делая рассеянное лицо, говорившее, что все это его не касается. Пимен тоже присел на корточки и протянул заскорузлые, шершавые, с въевшейся грязью руки.

— Подь, девонька, ко мне! Как тебя кличут-то?

Но эта большая косматая голова на огромном, неуклюже присевшем на землю теле, сиплый голос, огромные черные руки

показались страшными, и девочка, все так же закрываясь, закричала тоненьким, как волосок, голоском так пронзительно, что Пимен подался.

— Ах ты, шустрая... как уколола!

— Чего лезешь? Вишь, ребята боится, — говорил татарин, отстраняя товарища.

— Да она тебя боится, свина уха.

Подошли сторожа.

— Откеда девочка?

— А кто же ее знает: из города али с парохода. Не то заблудилась, не то забыли, а может, и подкинули... Несмыслена, ничего не может рассказать.

Окруженная незнакомыми людьми, девочка, как крохотная испуганная птичка крылышками, закрывалась ручонками, ладонями наружу; маленькая грудь трепетала и вздрагивала, а из-под рук часто-часто бежали чистые, прозрачные слезинки. Она уже не плакала громко, а, захлебываясь, шептала:

— Мама... мама...

— Совсем махонькая.

— Это бывает, што подкидывают: сама села на пароход и уехала, а дитё осталось.

— А может, забыла. Теперя, гляди, убивается на море, да пароход не повернешь.

— Надо в полицию отвести, заявить.

Татарин заволновался:

— Зачим в палицию? Ступай сам в палицию! Такая малая ребята в палицию!..

Он исчез под баржу и через минуту торжествующе вернулся, бережно неся обгрызенный кусочек сахару. Но ребенок не брал сахару и все так же истерически, надрывающе плакал, всхлипывая и задыхаясь.

Татарин взял девочку на руки. Ребенок, обессиленный и измученный, приник к плечу, вздрагивая всем крошечным телом. И странно было видеть рядом две головы: одна — маленькая, с волнистыми белокурыми волосами, другая — большая, с торчащими ушами, угловатая, обтянутая усеянной черными точечками кожей.

— Братцы, да это татарину подкинули.

— То-то он на капитанову жену посматривал.

— Всем бы кавалер, да портки худые.

— Зачинил... Все выл, сидел.

— По форме, стало, кавалер. Теперя дети пойдут... К вечеру, гляди, мальчика найдет.

— Хо-хо-хо... ха-ха-ха!..

— Шалтай-балтай, дурака валяй... Мать, может, на базар пошла, в город пошла... Придет, скажет. «Где ребята?» А я скажу: «Ходы сюда, вот твой ребята». Мать скажет: «Спасибо, Ахмет, на тебе цалковый, выпей на здоровье: ребята малый упал в вода,

а ты не давал в вода упасть...» Я пойду, буду пить, а вы шалтай-балтай...

Пимен, с всклокоченной головой, крякнул:

— Ишь, свина уха, ловок! Хоча татарин, а иной раз смекнет не хуже православного. Ты один, што ль, ее увидал? Вместе увидали, вместе и пить будем.

— Да и я не слепой, — гнусавым голосом заявляет Васька, — я не спал.

Девочка, измученная страхом и плачем, заснула. Татарин осторожно положил ее под баржой на тряпье. Стали ждать, когда придет за ней мать и даст на водку, но не дождались, а дождались, что пришел пароход и надо было приниматься за разгрузку.

Опять загремела лебедка, говорливо побежали цепи, из темного трюма стали вылезать тюки, бочки, ящики, однообразно, скучно, монотонно слышалось: «Майна!.. Вирай!.. Сто-оп!..»

К вечеру кончили разгрузку, и татарин, отирая пот, побежал к барже. Оттуда доносился тоненький, плачущий, всхлипывающий голосок. Девочка сидела и кулачками вытирала мокрое, заплаканное личико.

— Чего, девка, плачишь? Не нада плакать. Ай-ай, не нада плакать, бог уха резать будит.

Подошли Пимен и горец, усталые, запыленные, потные, сумрачные.

— Подобрал помет, теперя што будешь делать?

Татарин стоял растерянный, обескураженный. Девочка беспомощно всхлипывала.

— Чорт вислоухий, ну?.. А то вот возьму за ноги — рраз... и мокрого не останется! Веди в полицию, — целую ночь тут скрипеть будет.

— Чего кричишь? Какая ночью палиция? Здоровый дурак, а голова малая! Зачим водка хотел пить вместе?

Татарин присел на корточки и щелкнул два раза языком:

— Ай, девка, ай, балшой девка!

Ребенок всхлипывал, шепча одно только слово:

— Мама... мама... мама...

Пришел Васька, принес хлеба, тарани, огурцов, воды, водки. Сели на землю в кружок и стали вечерять. Татарин накрошил хлеба и дал ребенку. Девочка жадно, торопясь, почти не прожевывая, стала глотать. Крючники, угрюмые, ели молча, много, раздирая сильными зубами сухую, жесткую тарань. Но когда прикончили бутылку водки, стали разговорчивыми и подобрели. Пимен даже отдал свой изорванный, вытертый тулуп, на котором татарин устроил ребенка. В двенадцать часов ночи их подняли опять, и они работали до четырех утра.

На другой день татарин с самого утра поглядывал то на город, то на пристань, к которой подходили пароходы, ожидая, что вот-вот появится кто-нибудь и станет расспрашивать о ре-

бенке, но с пароходов сходили пассажиры, из города приезжал и приходил самый разнообразный люд, и никто не заикался о пропавшем ребенке.

— Вечером нада в палицию, — говорил себе татарин. Но опять как-то так случилось, что ребенка не отвели в полицию, смутно чего-то дожидаясь.

Прошло еще два дня. Девочка привыкла к своей новой обстановке, и ее голосок целый день звенел около баржи. Привыкли к ней и крючники, особенно огромный, добродушный Пимен. Он приносил ей ситного хлеба, иногда молока в сороковке, отчего молоко пахло водкой, и после него девочка крепко и долго спала, не просыпаясь. А когда был в хорошем расположении, позволял лазать по своему огромному телу, и ребенок перебирался через него, как через гору. Только Васька цыркал и говорил, что татарин готовит себе гарем, да горец не замечал, словно это была ненужная вещь, — и девочка обоих боялась и дичилась.

III

Заходящее солнце косо заглядывало под баржу, освещая огромное лежащее на брюхе тело Пимена, курившего цыгарку, татарина с подвернутыми под себя накрест ногами, Ваську и горца, дующихся в карты, объедки тарани, пустую бутылку из-под водки, огуречные корки.

— Да-а, пятый год, — говорит Пимен, задумчиво глядя на широкий водный простор, — никак не выберешься... как облипло тебя тут. А семейство ждет...

Он помолчал и с долгим шумом выпустил из себя воздух, и это произвело такое впечатление, как будто выпустили ручку медленно осевшего кузнечного меха.

— И ведь шел-то на одно лето, хозяйство чтоб поправить. Теперь парня надо отделять, — небось, женили уж без меня... Что она тут за жизнь — ни богу свечка, ни чорту кочерга, и работа не работа, и покою не знаешь, все безо время. Теперь бы прошелся за сохой али вилами покидал... Э-эх!..

И цыгарка быстро и торопливо стала укорачиваться, вспыхивая и разгораясь.

— Соберу тридцать целковых — и гайда в деревню. Меня уж и ждать там перестали, пять лет ни слуху ни духу... То-то все обрадуются да удивятся, и закурим же!.. Семейство у меня большое, сына, должно, оженили, дочь замуж отдавать, а самой меньшой теперь пятый год: уходил, жена на-сносях была... Не выберешься никак.

И опять кузнечный мех медленно и с шумом осел.

— Одно лето только приду, — заговорил татарин, равнодушно слушавший собеседника, — баба управляется, две лошади, три коровы, теперя наказал овец тройку купить.

Огромная туша Пимена сердито поднялась и села.

— Нехристь чортов, али ты товарищ? На сотку никогда не выколотишь. Чорт жадный! Не успеет получить — бежит, стерва, на почту. Хошь бы раз пропил с товарищами!

Татарин скосил равнодушно глаза.

— Чего лаишь? Тебе хозяин кабак, я не хотел хозяин, ну, выпей, а остальные деньги гайда домой. Ждал, ой-ой, как ждал дома. Такой малый девка у меня дома ждал.

И сделавшиеся еще более узенькими глазки его и складки кожи на лице полезли врозь. Он глядел на игравшего возле ребенка. Девочка, подражая крючникам, согнувшись, таскала на спине тряпье и, шепелявя, говорила ругательства, которые постоянно слышала. День проходил за днем, и теперь не только перестали говорить о том, что надо ее свести в полицию, но и позабыли ожидать, чтобы кто-нибудь явился и вознаградил бы их.

— Махан кобылячий, разве от него дождешься? — оторвался от карт Васька. — Жила татарская! И сам-то пьет как нехристь: выпьет сотку и оглядывается — не много ли выпил... Чорт поганый!.. Девятка! Давай сюда!

Татарин почесал поясницу, зевнул, поглядел на море и полез в угол завалиться спать. Пимен крутил новую цыгарку.

IV

Море, спокойное, чуть-чуть шевелящееся, уходило в белесый, утренний туман, который все еще лениво лежал дымчатой пеленой по горизонту, и солнце, касаясь, стояло над ним, озирая светлое лицо моря.

И хотя на море ничего не было, кроме спокойного светлеющего водного простора, что-то неудержимо радостное, молодое было разлито всюду, и казалось — беззвучная, полная восторга песнь неслась навстречу тонко и необъятно синеющему небу, навстречу солнцу, навстречу молодому утру.

Странный и непонятный в первый момент звук прилетел на берег. Он прилетел издалека, оттуда, где лежала дымчатая пелена, и казался призраком звука, неуловимым и мимолетным И было что-то недосказанное в этом и таинственное. Но потом он прилетел опять, уже осязаемый, оставляя длительный отпечаток в сверкающем воздухе. Он держался ровно, долго, без перерывов, ослабленный расстоянием, настойчивый и однообразный, как умирающий звук поющего самовара, будя представление, что там, за таинственной пеленой, на затерявшейся под солнцем пустыне — живые существа, что они также чувствуют радость этого утра, приближаются и дают о себе знать.

И на берегу проговорили:

— «Игорь» идет.

На белой пелене смутно и неясно обозначилась черная точка, и нельзя было сказать, что это было — птица ли, или бревно плыло по морю, или чудилось и мерещилось в глазах. Понемногу точка расплывалась в пятнышко, приобретала очертания: вырезались тоненькими черточками мачты; зачернелась маленькая, игрушечная труба, и из нее, далеко отставая, тянулся черным следом дым.

А солнце купалось и нежилось в синей глубине, играя блеском и погружая ослепительные лучи; пелена тумана быстро таяла, убегая от солнца, от тепла, от радости разгорающегося дня.

И когда туман бесследно пропал, море открылось до самого края, очерченного небом, и над ним грубо звучал хриплый голос, уже ничего не имевший общего со свежестью радостного утра, ничего не было манящего, пленительного и недосказанного. Этот грубый, немножко хриплый голос тяжело звучал, нарушая мелодию утра, говоря лишь об одном — о том, что ничего нет, кроме труда, неустанного, надрывающего, грязного труда. И те, к кому относилось это напоминание, услышали его и вышли на берег.

Тут был и татарин с бритой головой и торчащими ушами, и Васька с тем же испитым лицом, и черкес, и Пимен, такой монументальный, лохматый, и его огромное тело сквозило сквозь дыры изорванных портов и рубахи. И маленькое, резвое, живое пятнышко бегало по берегу, и тоненький щебечущий голосок звучал, выделяясь среди грубых голосов, говора, брани и смеха.

Пароход, казалось, не приближался, а распухал и разрастался. Толстел и делался грузным, раздаваясь черною громадой, корпус, распухала труба, изрыгая черный клубящийся дым, пухли и длиннели, резко и грубо вырезываясь на голубом небе, мачты, росли белые, подвешенные на кронштейнах, шлюпки. Уже можно было различить маленькие фигурки людей, толпившихся у бортов, суетившихся по палубе и стоявших на возвышавшемся над палубой мостике. Работа винта прекратилась, и эта громада, гоня перед собой светлый, вздувшийся, прозрачный вал, бесшумно надвигалась на берег.

С бортов полетели деревянные шары, и мелькнула за ними тонкая бечева, подхваченная ждавшими на берегу людьми. В воду упали концы каната.

Отчаянные истерические крики нарушили ожидание и привычную обстановку причала. Какая-то женщина билась в дюжих руках матросов, порываясь выпрыгнуть за борт, и с берега в ответ разнесся пронзительный, радостный детский плач:

— Мама! Мама!

Винт забурлил в обратную сторону, и черная громада, медленно повернувшись, навалилась на пристань, и ее притянули канатами.

Перебросили мостки, и на берег бросилась, плача, смеясь, со вспухшим от слез лицом, женщина. Она схватила ребенка, у которого вырывалось только одно слово:

— Мама!.. Мама!.. Мама!..

Кругом обступила публика.

— Девочку нашла!

— Убивалась-то как! На море чуть за борт не скакнула, как увидала, что дочери нет. Думала — утонула. Обезумела.

— Мать — одно слово.

Возле стоял татарин, грязный, оборванный, осклабляясь.

— С нами жила неделю... Кормили, жалели... Зачим в палицию? В палицию не нада... Ребята малая, в воду упала, тонула, я не давал тонуть... Мать, значит, да, да... У меня тоже девочка, махонькая, вот... — И он невысоко показал рукой от земли. — Мать, да, да...

Девочка лепетала, мать безумно ее целовала.

— Мама, возьми музиков, музики добрые... Мама, тут много камесков. А у дяди Пим голова болса-ая... А он мно-ого сундуков носит... Мама!

Она лепетала, переплетая детские слова со скверными ругательствами, которые выговаривала смешно, по-детски, присюсюкивая, и от этого они казались особенно отталкивающими и циничными. В публике засмеялись.

— Ишь ты, этому допрежь всего обучилась...

— Этому обучится...

— Молиться не выучится, а уж этому обучится.

— За это надо хворостиной.

Мать побледнела, как полотно, и смотрела на ребенка расширенными, полными ужаса глазами.

— Ах вы, подлые люди! Тьфу!..

И она плюнула в лицо татарину, взяла ребенка на руки и быстро ушла на пароход. Кругом захохотали.

— Что, Ахметка, получил на чай?

— Ахметка, угости! Обещал.

— Теперь Ахметка с чаю-то разжиреет, барином сделается...

— Кавалер форменный...

— Поищи, может, еще подкидыш навернется, — выгодное дело.

— Эй, крючники!..

Загремела лебедка, цепи говорливо, со звоном пошли в трюм.

— Сто-оп!..

С парохода и на пароход шли пассажиры.

— Майна!.. Сто-оп!.. Вира-ай!..

А солнце так же ослепительно ярко стояло над морем. Море, светлое и спокойное, чуть-чуть шевелилось и уходило в далекую открытую даль.

ЛЕДОХОД

I

Во мраке шумел холодный ветер и бурлила река. За железнодорожной насыпью вздымалось море. В темноте не видно было ни волн, ни белой полосы прибоя, только слышно было, как что-то вздувалось тяжко и шумно, обдавая по ветру насыпь соленой пеной и влагой, потом в бессилии с плеском и шипением разливалось у подножия насыпи, шум и плеск стихали, удалялись в глубь непроницаемого мрака, на секунду наступала тишина, все смолкало, и потом снова нарождались, разрастались и заполняли темноту ночи грозные голоса моря. Вверху гудела телеграфная проволока и металлический, за душу хватающий унылым однообразием звук, ни на минуту не ослабевая, бежал, выделяясь из всех других звуков бурной ночи и разыгравшегося моря. От телеграфных столбов тоже несся однообразный, ровный и таинственный гул.

Во двор маленького домика, приютившегося у самой насыпи, вышел босой, в одном белье, хозяин, мелкий торговец. На секунду по земле, по огороже мелькнула длинная, узкая полоса света, мгновенно погашенная прихлопнутой дверью.

В первый момент Шаблаев после света ничего не мог разобрать; постоял с минутку, глаза привыкли к темноте, и он стал различать черную громаду насыпи, возвышавшейся за двором.

Шаблаев обошел дом, попробовал замок на воротах и в лавке и спустил с цепи радостно прыгавшую на него и повизгивавшую собаку.

— Урожай будет, дружная весна... О-хо-хо, прости господи... Часа два, небось.

Он широко зевнул, поеживаясь и пожимаясь от ночной свежести, и перекрестил рот.

Сильный порыв ветра донес с реки звук, похожий на человеческий вопль. Шаблаев чутко прислушивался: попрежнему шу-

мел ветер, бурлила река, билось внизу у насыпи море и жалобно звенела проволока.

— Попритчилось, вишь, погода-то.

И, одиноко белея среди ночного мрака, он направился к двери.

В промежуток, когда отхлынул и присмирел морской прибой, снова и уже явственно донеслось:

— Пропада-аю... ратуйте, добрые люди... погиба-аю...

Шаблаева, как ножом, полоснуло по сердцу:

— А ведь и впрямь человек: либо тонет, али воры режут.

Он бросился в дом и стал торопливо одеваться.

— Мать, а мать, гони скорей Ванятку в полицию: на реке человек тонет, либо режут.

— А?.. Что?.. Чего не спишь? — говорила женщина, приподнявшись на постели и с усилием раздирая заспанные глаза.

— Буди Ванятку, говорю.

Шаблаев достал из-под кровати толстую железную палку и бросился из дому. Как раз мимо двора ехал запоздалый извозчик. Шаблаев остановил его.

— Стой, слышишь, человек на реке тонет, надо помощь дать...

Тот хлестнул лошадь и скрылся. Шаблаев вскарабкался по насыпи и побежал по шпалам, спотыкаясь и цепляясь за рельсы. А кругом стихнет на минуту, потом набежит из-за реки ветер, и опять слышно, как в темноте, надрываясь, кричит и молит кто-то о помощи:

— Погиба-аю... отцы родные... из последних сил... мочи моей нет...

У переезда, неподвижно выделяясь темной фигурой, стоял сторож.

Шаблаев подбежал к нему.

— Что же стоишь, не слышишь — человек тонет.

— Слышу, часа два уж он кричит, да что сделаешь.

— Почему ты не дал знать на спасательную станцию? ведь она тут же, возле.

— Какая станция? Не знаю я... Мне с поста нельзя сходить...

Шаблаев бросился на станцию и стал стучать.

— Вставай, дед, давай лодку да поедем спасать человека.

За дверями дед кряхтит, возится, лазает руками, никак крючка в потемках не найдет; наконец нашел, отложил.

— Чего надыть? Что за люди?

— Лодку давай, ехать надо.

— Ась?.. Не слышу.

— Э, старый глухарь! Лодку, тебе говорят, давай скорей да поедем, человек тонет.

Дед обиделся.

— Чертяка его занесла!.. В экую непогодь тонуть вздумал. Куда мне ехать? Старый я человек, не совладаю, все одно пропадем, слышишь, как река бурлит, а темь... Подождать бы до

утра. Ну, да попробую звонить, — не услышит ли кто, которые записались у нас добровольцами. О господи Исусе, матерь божия!..

Вышел дед, пожимается от холода, кряхтит. Подошел к столбу, взялся за веревку колокола и начал дергать. И среди глухой ночи стал тревожно разносить ветер над слободкой, над спавшим городом беспокойные, торопливые звуки набата. Только трудно было ожидать, чтобы услышал кто: был второй час ночи, все крепко спали. Из-за звука ли колокола не стало слышно, ослабел ли человек, или утонул, только с реки ничего не доносилось уже, кроме шума ветра да плеска волн.

— Ну, так я сам поеду, — с сердцем проговорил Шаблаев, — нельзя же христианской душе дать пропасть.

Он спустился к реке, отвязал лодку, ухватился за весла и стал грести. Течение моментально подхватило лодку; неясные очертания берега, темный силуэт станции пропали. Кругом была непроглядная темь да смутно мелькавшая мимо бортов темная водная поверхность. Водовороты, крутясь воронкой, с угрожающим бульканьем проходили под лодкой, поворачивая ее во все стороны и стараясь втянуть в пучину. Переполненная весенними водами река рвалась, как бешеная, между теснившими ее берегами.

Дед некоторое время продолжал дергать веревку от колокола, потом подвязал ее к столбу, постоял немного, послушал, как шумит ветер и вода, почесал спину, зевнул, покрестил рот и пошел в свою каморку:

— О-хо-хо-хо... помилуй нас грешных, господи, мать пресвятая богородица. Ишь ты, в какую непогодь да темь искать его. Не могли подождать до утра. Где его теперя сыщешь? Ну, да надо думать, теперича он потонул. Да и этот тоже потонет... О-о-хохо... господи помилуй!

Через минуту в каморке стал раздаваться мерный храп деда.

II

На берегу не было ни одного живого существа. А на середине реки, среди волн, среди ветра и непроглядной ночной тьмы бился Шаблаев. Он был совершенно один, отрезанный от всего мира. Куда ехать? Ни звука, ни огонька, никакой приметы, непроглядная густая тьма сверху, с боков, со всех сторон шла вместе с лодкой, и слышно лишь было, как торопливо плескались волны о борта. Ледоход на реке кончился, но еще проносились ледяные глыбы и порою их белесоватые очертания смутно выступали в темноте и в следующее же мгновение исчезали во мраке, уносимые течением. Если одна из таких глыб ударит в лодочку, она сейчас же пойдет ко дну. С берега никто не подаст помощи, да и пока соберется народ — все будет кончено.

«Ворочусь ли, нет ли, теперь домой, — думает Шаблаев, — и человека не спасу, и сам погибну. Если повернуть к берегу, успею еще прибиться».

Но где берег? Откуда и куда идет течение? Куда надо держать? Тьма все перепутывает, все уравнивает: нет ни левой, ни правой стороны, кругом один и тот же однообразно непроницаемый мрак. Шаблаев понял, что кружится в темноте на одном месте, и несет его быстрое течение к морю, а там — верная гибель. Он уже теперь не думал о том человеке, для которого выехал, и отчаянно работал веслами наугад, только бы выбраться из этой пучины...

Вдруг над рекой среди ночной мглы пронеслось:

— Ратуйте, добрые люди!..

Шаблаев изо всех сил налег на весла. Теперь ему одно спасение — этот крик: там берег. Он повернул лодку в ту сторону, откуда донесся крик, и стал грести. На руках вздулись пузыри, взмокшая рубаха прилипла к телу, в висках стучало от чрезмерного физического напряжения, а лодка, как свинцовая, не разберешь — подвигается ли она хоть чуточку вперед или сносит ее вниз течением. И кажется Шаблаеву, что он тут уже целую ночь бьется с нечеловеческим напряжением, а крики о помощи все так же доносятся издали. Ни на минуту нельзя передохнуть — сейчас же подхватит бешеное течение.

Стал он приходить в отчаяние.

— Господи, неужто отсюда не выберусь!..

И когда он уже меньше всего ожидал, — слышит впереди в темноте разговаривают.

«Много их, — думает Шаблаев, — подъедешь, кинутся сразу, опрокинут лодку».

Он попридержал лодку и крикнул:

— Много ль вас?

— Двое: я да... собака.

Шаблаев стал опять грести, потом схватил приготовленную веревку и кинул по тому направлению, где виднелся темный силуэт. Должно быть, там ухватились, так как веревка натянулась. Шаблаев стал подтягиваться, но вдруг веревка ослабела, скользнула в воду, и лодку понесло на низ, а из темноты послышалось:

— Закостенел я, не слушаются руки, не могу удержать веревку.

Схватился опять за весла Шаблаев, подъехал и бросил веревку. Она упала на льдину и зацепилась за угол. Шаблаев подтянулся вплотную, смутно видит, — в темноте стоит на «крыге» человек, трясется, стучит зубами, бежит с него вода, а на руках держит собачонку.

Шаблаев взял собачонку, потом втащил человека в лодку, оттолкнулся, подхватило их течение, завертело, пропали льдины, и опять кругом только непроглядная темь да все та же смутно

колеблющаяся, бегущая мимо темная поверхность воды. Куда теперь ехали, где были берега и в какую сторону шло течение — никто не знал. Мерный и грозный шум, то выраставший, то падавший, становился явственнее. Это было море. По сторонам от лодки попрежнему выступали и исчезали в темноте проносившиеся льдины.

Когда сюда ехал Шаблаев, он держал путь на голос, теперь же, кроме шума течения, ничего не было слышно. Работает он веслами наудачу, озирается и вдруг видит во мгле, как звездочка, загорелся огонек. Видно, это извозчик подъехал к берегу, либо догадались фонарь выставить. Шаблаев поворотил туда лодку и стал грести. Огонек понемногу стал делаться ярче, и вправо все отходит: сносит течением лодку.

Страх совсем прошел у Шаблаева. Серебряная медаль «за спасение», похвалы, удивление его подвигу, то, что о нем будет говорить теперь весь город, и вместе жалость к этому дрожавшему и не попадавшему зуб на зуб человеку, с лохмотьев которого бежала холодная вода, странно путаясь, мешались с впечатлениями темной ночи, плеском реки, шумом ветра и отдаленным прибоем моря.

— Да ты как врюхался-то?

— Я-то, — послышался в темноте глуховатый голос, — думал переезд тут у вас. Иду, значит, по берегу, ни парома, ни лодки. Лед хрустит под ногами. Собачонка впереди бежит, темь такая, хоть глаз выколи, не разберешь, — не то лед на берегу лежит, не то на воде, да вдруг провалился и с головой окунулся в воду. Барахтаюсь, цепляюсь за лед, а он расходится под руками, мелочь набило к берегу. Уцепился за крыгу, вылез, а она закачалась и отошла от берега. Испужался, вот унесет, думаю, течением, опять в воду, да никак не пробьюсь, мелкий лед кругом, закоченел весь, вижу, тону, — опять кое-как уцепился за толстую крыгу, насилу вылез, и собачонка выпрыгнула. Колышется проклятая крыга под ногами, вода на нее забегает, отделилась от берега и поплыла по течению к морю. Пропал, думаю... Но крыга зацепилась, покачалась и стала. Стал я кричать, кричал, кричал, голос порвал; никто не подает помощи, и кругом темь, хочь глаз коли. Проходит час, другой, стал я костенеть... Ежели, думаю, останусь на крыге, не доживу до утра, а в воду прыгну, сейчас же, как ключ, пойду ко дну. И лег на лед. Сначала было холодно, а потом стал сон клонить. Тут бы и смерть, да собачонке, видно, не хотелось помирать: прыгает, визжит, лижет лицо, а то вдруг зачнет выть, да так, аж за сердце хватает, не дает покою. Поднялся, взял собачонку на руки и стал опять кричать. Обессилю, потеряю голос, замолчу, а потом опять. Последний раз, думал: ну, покричу еще, не подадут помощи — слезу в воду.

Шаблаев снял с себя кафтан и кинул незнакомцу.

— Вот спасибо, а то нутро трусится.

— Да ты из каких будешь?

В темноте помолчали, потом опять послышался сиплый голос:
— Нездешний.
Некоторое время весла мерно падали в воду.
— В работниках живешь, али как?
— Не-ет, по заводам больше работал.
Опять помолчали.
— Был конь, да изъездился, был работник, да износился. Теперь иду в свою деревню, дохтора сказывают, у меня в груде половина нутра сопрела, да брешут... Жена у меня там, мы уж года четыре, как врозь живем.
— Что так, али баба плохая?
— Баба как баба. Ну, конечно, гладкая, ядреная. Баба, братец ты мой, такая, что поискать, смелая, да веселая, палец в рот не клади, живо оттяпает. Ну, и красивая!
Сидевший с собакой человек, видимо захваченный воспоминаниями, вдруг выругался скверно и цинично:
— Там уж, брат, и баба же!
Богобоязненного Шаблаева покоробило.
— А ты в темь да на воде не ругайся.
Снова замолчали, и лишь слышались всплески падающих весел, да ветер попрежнему бежал над рекой.
— Четыре года не видались, — опять заговорил незнакомец, — приду, прямо заявлю: Фекла, будя, набаловалась, и будя. Чего там... Теперь с штейгером живет, — добавил он помолчав.
В носу лодки шумели и пенились волны, и раза два невидимо проносившиеся льдины стукнули в борта.
— Два года за нее сватался, вострая девка была: пойду, говорит, за тебя, коли ежели пить и бить не будешь, да в бедности, говорит, жить не хочу. Ну, поженились, в деревне какая жисть: бедность, грязь. Ушел я от отца, поселился на заводе. Хорошо зарабатывал, — два, два с полтиной в день. И весело жили с Феклой, времечко было! Она, бывало, красивая, да веселая, гости, музыка, э-эх!..
— Ну, и дожились, — иронически проговорил Шаблаев, начинавший чувствовать какое-то глухое недоброжелательство к своему собеседнику.
— Всего с год так прожили, — продолжал тот, не замечая тона Шаблаева,— потом на заводе штаты сократили, заказ большой сдали, ну, конечно, лишних рабочих и отпустили. Я под увольнение попал, остались с Феклой мы ни с чем. Денег ни гроша. На заводе как: сколько ни получишь, мало ли, много ли, все проживешь, жизнь, значит, такая. Кинулся я туда, сюда, нет местов, везде битком. Трудно было, одежу всю проели, прежде я с форцем ходил, а то обносился, чисто босяк; Фекла обтрепалась, то гладкая была, а то высохла, худая, желтая да злая стала. Одежу проели всю. Тут промеж нас свара пошла. «Что ж ты, говорит, за муж такой, жену не можешь содержать,

на кой ляд ты мне сдался, мужчину я, говорит, завсегда себе найду». Побил я ее, напился со злости. Поступили мы тут на табачную фабрику, ну, тоже долго не продержались, потому, как подошла зима, привалило народу, плату сбавили, могуты не стало, впроголодь живешь в подвале. Стали заявлять в конторе, чтобы прибавку дали, нас и прогнали совсем. Много, говорят, вас теперь шляется, и дешевле пойдут работать. Тянулось так года два: найдешь работу, на завод, на фабрику поступишь, станешь оправляться, одежду заведешь, по-людски мало-мало станешь жить, когда и чайком и водочкой в трактире побалуешься, пройдет месяцев пять, шесть, — глядь, ан ты и без места, либо производство сократили, лишних рабочих уволили, али со старшим зацепка выйдет, ну, и зачинаешь проедать одежду, опять сказка про белого бычка начинается снова. Наш брат, как на краю лежит: чуть тебя пихнет, и покатился, карабкайся снаисызнова.

— Ты для легкости, видно, и пропил все, босячком стал.

— Жена меня бросила, — продолжал незнакомец, попрежнему не замечая иронии в реплике Шаблаева. — Бросила. «Я, говорит, молодая и жить хочу в свое удовольствие, а ты, шалга, куда хочешь». Тут уж я ее хорошо побил, два зуба выбил, ухо оборвал, ребро подшиб. А в конце концов она живет теперь со штейгером. Я и закутил тогда: все пропил. Месяц целый в голом виде в босяке сидел, мастерская столярна недалеко была, так в стружках спал. Потом в Питер попал, там всего навидался.

— И тюрьмы, небось, нюхал? Дай-ка сюда кафтан...

— Всего бывало. Ну, только замучился. Пить даже бросил, выпью, все назад. Не могу, не принимает. Теперя иду домой в деревню, недалече там шахты, так на шахтах жена со штейгером живет. Скажу: «Фекла, будет, брось, побаловалась и будет. Возьмемся за работу, отец помощь даст, опять на ноги станем». В боку все юлит: в больнице сказывали, половина нутра отгнила, дескать. Врут. Только бы одно: полиция не взяла бы. Такого особенного за мной ничего не числится, ну только по бумаге я должен итти в Мариуполь, а я вот в деревню. Защемило сердце. Не могу, то есть вот хоть помереть, а Феклу хочется повидать, сказать ей, что весь сурьез промежду нас кончился, а потом в город айда, пропишусь, и, значит, заживем с женой, как спервоначалу. По волчьему билету ведь я.

Шаблаев на секунду задержал в воздухе весла.

— Как говоришь: по волчьему?

— По волчьему билету.

Шаблаев с силой зашумел веслами о воду и сильно двинул лодку вперед.

Опасности, которые ему угрожали со всех сторон во тьме, теперь казались нелепыми, бессмысленными, точно он сделал какую-то грубую ошибку, сделал не то, что следовало.

Он почувствовал усталость. Руки с усилием откидывали весла, поясницу ломило. В голове беспорядочно проносились картины его лавки, дома, толстые двери, крепкие запоры, глухие ставни и то чуткое ощущение напряженности и осторожности, с каким он всегда прислушивался по ночам, карауля свое добро домовитого хозяина.

Собачонка спрыгнула с рук незнакомца на дно лодки и взвизгнула. Тот нагнулся и взял ее опять на руки.

— Тише, чорт, лодку качаешь... так и двину веслом.

Перед носом лодки из темноты неясно выступил берег. На берегу смутно виднелись темные силуэты людей, извозчичьей пролетки и лошади. Свет фонаря с передка пролетки падал узкой полосой на темную воду и дробился в набегавших волнах. С моря все так же грозно и мерно доносился шум прибоя.

Лодка мягко вошла в песок. К ней подошел извозчик и два полицейских с бляхами.

Шаблаев не спеша сложил весла и выбрался на берег. Выбрался за ним и незнакомец. Он стал благодарить все тем же сиповатым голосом за свое спасение, потом сделал движение уйти.

— Погоди, — проговорил Шаблаев, положив ему руку на плечо; и потом, обернувшись к полицейским, проговорил: — Берите его, — беспашпортный!

СЦЕНЩИК

I

Макар высунул голову из своего вагона, в котором жил с семьей и летом и зимой.

Солнце еще не успело подняться и стояло низко над вагонами и землянками. Сизые тени наполняли воздух, и дымка окутывала просыпающуюся землю. Начиналось весеннее утро, свежее и ясное.

Макар несколько раз глубоко втянул в себя воздух. В вагоне «шибало духом» и пахло «человечиной». Это оттого, что он был товарный, тесный, темный, без окон, а народу в нем было много. Пятеро ребятишек, разметавшись разгоряченными грязными телами, лежали на полу, прикрытые тряпьем, которое было когда-то одеялами. Тут же спали — жена Макара, отец и теща.

Макар опять спрятал в вагон голову, на четвереньках перелез через спящих детей, вытащил из-под изголовья свои сапоги и портянки и стал обуваться. Как раз впору итти на дежурство.

Жена макарова тоже поднялась с заспанным, измятым, покрытым рубцами и красными полосами от жесткой подушки лицом, вышла и стала возиться около печки, разводя огонь. Макар плеснул себе водицы в лицо, вытерся подолом рубахи, покрестился, торопливо кланяясь, на рдевшийся восток и, захватив флажок, свисток и краюху хлеба за пазуху, отправился на станцию.

Станция издали краснела кирпичными неоштукатуренными зданиями. Поселок, приютившийся у станции, весь дымился выбеленными трубами. Слева раскинулась степь, могучая, открытая, слегка волнистая. Пройдет две-три недели — и она станет унылым, бурым, выгоревшим, спаленным солнцем пространством. Зато теперь, насколько только хватал глаз, это был зеленый простор, яркий и свежий. Местами, ярко выделяясь, краснели полосы тюльпанов. Как по нитке, уходили вдаль рельсы, телеграфные столбы и, уменьшаясь, пропадали вдали. Далеко-

далеко, на самом гребне, желтея, поворачивало железнодорожное полотно, и телеграфные столбы казались там тонкими черточками.

Мимо пробежал табун лошадей. Вдали маячили кибитки калмыков. Макар остановился.

— Эка благодать божья!

Он снял картуз и провел жесткой рукой по лысине. В траве, в воздухе, над полотном, в телеграфных проволоках стояли неопределенные звуки, которых никогда не знает городской житель. Впрочем, еще не было ни кузнечиков, ни жучков, и в то же время степь звучала. Это была песнь весны, неслышная, неуловимая.

Над одним из станционных зданий вырвался и заклубился белый пар, — и грубый, резкий, настойчивый, и упорный гудок зазвучал, нарушая весеннюю мелодию, и далеко-далеко понесся над зеленым простором.

Шесть часов.

Макар поспешно зашагал к станции. Над полотном там и сям курились белым паром паровозы. На последней стрелке громыхал, уходил утренний поезд. Вот и дежурный маневренный паровоз номер семьсот тринадцатый: угрюмая, черная, тяжелая, неповоротливая машина, вечно хмурая и неопрятная, — нефть грязными полосами постоянно стекает по ее бокам, — но зато необыкновенно сильная. Макар подошел вплотную, взялся за ручки и поднялся на площадку. Номер семьсот тринадцатый оглушительно шипел, так что приходилось кричать, чтобы слышали.

— Карле Иванычу мое почтение!

Машинист, хмурый немец, проговорил, не протягивая своей черной, пропитанной нефтью руки:

— Бувайт здоров, Макар!

Немец, казалось, и сам был насквозь пропитан нефтью. Макар поздоровался с помощником, молоденьким, безусым восемнадцатилетним парнем. От форсунки несло нестерпимым жаром. Лица у машиниста и помощника были потны.

— Тепло тут у вас.

— Тепло, куда теплее. Форсунка все балует, — проговорил помощник, и как бы в подтверждение его слов из форсунки вырвался сноп пламени с удушливыми газами.

— Ну, Карла Иваныч, теперя к депе валяйте, заберем вагоны, надо десятичасовой составлять.

Карл Иваныч взялся за регулятор и повернул рычаг. Номер семьсот тринадцатый разом смолк и, производя странное впечатление наступившей тишиной после нестерпимого шипения и надавливая на рельсы всем своим огромным корпусом, тихонько тронулся задним ходом. Из черной трубы с металлическим вздохом, точно взрыв, вырвался клуб белого пара. Мимо пошли вагоны, полотно. Макар торопливо соскочил с подножки, обогнал паровоз и перевел стрелку. Паровоз перешел на другой путь и

направился к депо, а Макар на ходу, как обезьяна, уцепился за подножку и, повиснув на одной руке, в другой держа флажок, глядел, как приближались вагоны, стоявшие у депо.

Со скрежетом и звоном ударился паровоз буферами в ближайший вагон. Макар соскочил, посвистел, — паровоз убавил ходу, — затем он торопливо пролез головой под буферами и, идя между катившимися вагонами, накинул цепи, крюк и стал его свинчивать, чтобы стянуть. Вагоны тихо катились, все наталкиваясь один на другой и звеня буферами. Если Макар споткнется, зацепится ногой, сделает неловкое движение, — его сейчас же повалит и мгновенно перережет десятками пар колес, которые, тихо и грозно поворачиваясь, вдавливали шпалы в песок. Но Макар меньше всего думал об этом. Он шел между вагонами и думал, что, кроме этих десяти вагонов, надо добавить еще семнадцать баластных, что надо не забыть завести в депо два «больных» вагона, которые стоят на запасном пути, что надо получить семь копеек долгу со стрелочника Ивана, что сапоги у него давно прохудились, неловко ходить, полны песку.

Макар опять торопливо выбрался из-под вагонов и свистнул. Паровоз остановился, дохнул, крюки натянулись, и вагоны, скрипя железом, один за другим пошли в обратную сторону. Макар на ходу уцепился за задний вагон.

Началась обычная ежедневная работа: стрелки, буфера, крюки, цепи, звон металлических частей вагонов, свистки, нестерпимое шипение и тяжелое дыхание паровозов, песок, которым усыпано полотно и из которого с трудом вытаскиваешь ноги, и к концу дежурства усталость, усталость нечеловеческая, одуряющая, — вот все, что будет заполнять собою его двадцатичетырехчасовое дежурство. И это тянется уже десять лет, в течение которых он служит на железной дороге.

Для постороннего, свежего человека эта непрерывная, без отдыха, двадцатичетырехчасовая работа кажется чем-то чудовищным, противоестественным. Ведь есть же день и ночь — день для работы, ночь для отдыха, и строго караются те, кто нарушает основное правило об отдыхе и работе. Но Макар спорил: десять лет, как он изо дня в день нарушал эту заповедь, работая по двадцать четыре часа подряд. Правда, следующие двадцать четыре часа ему давали на отдых, но страшное напряжение в течение суток не возмещалось и этим отдыхом. И уже наказание отпечатлелось на нем: еще не старый человек, он весь был в морщинах, согнулся, щеки ввалились и руки дрожали. На рассвете же, к концу его дежурства, в нем трудно было признать человека: колеблющаяся, неверная походка, мутные глаза и бессмысленное лицо идиота — без мысли, без выражения.

Впрочем, Макар об этом не думал, не задавался такими вопросами; он просто в шесть часов становился на дежурство, потом к концу двадцати четырех часов делался идиотом, потом, дотащившись до своего смрадного, тесного, темного, а зимою и

холодного вагона, падал, как сноп, и засыпал тяжелым сном; потом просыпался и, если были деньги, напивался пьян, если же их не было, садился чинить себе сапоги, ребятишкам и жене башмаки. Все это он проделывал потому, что у него было пятеро ребятишек, жена, отец и теща, и все они, к его глубокому прискорбию, ели аккуратно каждый день.

Свою семью, ребятишек он любил по-своему. Если бы кого-нибудь из его ребят задавило вагоном или искалечило, он изведелся бы от горя, а тому, что они хирели от плохой пищи, нищеты и тяжелой обстановки, он не придавал значения.

Пил Макар потому, что это была его единственная услада. Кругом была степь, на много верст безлюдная, и изредка лишь попадались казачьи хутора. Но он дальше своего железнодорожного полотна нигде не бывал. Возле раскинулся небольшой поселок. В конце его стояла покривившаяся землянка, где Семеныч тайно торговал водкой и принимал в заклад носильное платье и куда Макар нередко заглядывал.

II

— Номер триста двадцать шестой, триста сорок девятый...

— Есть.

— Пятьсот восемьдесят первый, сто седьмой... — монотонным, привычным голосом читал составитель поездов по бумаге, которую ему выдали в конторе, номера вагонов, которые он должен был включить в поезд.

— Есть, есть, — отвечал Макар, загибая на заскорузлой руке пальцы.

— Двести одиннадцатый... У Емельяна вчера здорово дрызнули...

— Есть... Здорово? Небось, четверть сожрали?

— Девяносто пятый, да на карьер под песок две платформы... Четверть! Четверть и не попахла. Опосля я две бутылки да Миколай две.

— Платформы-то я в хвост поставил... Миколка здоровый пить, вскладчину с ним нельзя: не оглянешься, а водки уже нет.

— Да пусть на второй путь отцепят, чтоб грузить сейчас... У Миколки-то, ушли мы, водка загорелась. Бабы прибегали, сказывали, конским навозом с водой отпаивали, не знаю, отошел ли, нет ли.

— Сумлеваюсь я только, кабы девяносто пятый дорогой не заболел, не надежен... А что бабы, так оно как бабье царство есть, так и останется. У человека водка внутре загорелась, а они его навозом. Мыслимое ли дело! Первое средство, ежели у тебя внутре загорелась водка, купи бутылку и, как ни мога скорей, выпей, тут же тебе и зальет все.

Макар сосредоточенно посмотрел на вагон, потом себе на сапоги и похлопал их флажком.

— А надысь у меня загорелось, денег не было, сбегал к Семенычу, сапоги новые продал, — ну, значит, и утушил. Как выпил еще бутылку, она замлела, а то бы помереть мог.

Макар разочарованно поворачивал свою ногу, на которой, как зубы, выглядывали грязные пальцы сквозь дыры сапога.

— Эти совсем прохудились.

— Часто она у тебя горит что-то. Гляди, кабы тебе совсем не прогореть.

— Не, это, без шуток, первое средствие...

— Ну, айда! Слышь, зовет.

Паровоз действительно давно и настойчиво свистел. Макар торопливо пробежал к дальним вагонам, начиная уже с усилием вытаскивать из песка ноги. Тени от домиков, от вагонов, от телеграфных столбов стали короткими, солнце подымалось все выше и выше и жгло, воздух струился.

Кругом все то же: полотно, усыпанное песком, рельсы, шпалы, стрелки, семафоры и вагоны, вагоны без конца.

И опять бегает по песку Макар, пролезает под буферами, цепляет крюки, машет флажком, посвистывает, переводит стрелки. Отщипывает по кусочку хлеб и запихивает на бегу в рот, — хочется поесть, и некогда присесть, а до вечера еще далеко, и впереди долгая-долгая ночь.

III

Служащие на железной дороге распадаются на белую кость и черную. К первым принадлежат машинисты, помощники их, механики, вообще искусные рабочие, ко вторым — стрелочники, сцепщики, сторожа, составители. Первые зарабатывают шестьдесят, восемьдесят и даже до ста рублей в месяц, вторые получают от восьми до двадцати пяти рублей. С первыми начальники станций и всякое другое железнодорожное начальство обращаются не то что по-человечески, но все же терпимо; вторых всячески заушают, не считая за людей. И Макар по отношению ко всем чувствовал себя так, как вообще чувствуют себя «Макары», на которых валятся все шишки. Всякого начальства он боялся, как огня. Но жить постоянно в страхе, всегда сознавать себя меньше и ниже других — для человека невозможно. Он всегда ищет тех, кто стоит еще ниже его, над кем он может проявить свою власть. Макар тоже искал этого, но не находил, и только когда возвращался домой, чувствовал себя господином: кричал на жену, под пьяную руку и бивал и награждал ребятишек колотушками.

С машинистами, с которыми приходилось работать, Макар обращался заискивающе; они же, всегда угрюмые, смотрели на

него свысока. Вот и теперь он подошел к неистово шипевшему номеру семьсот тринадцатому и проговорил заискивающе:

— Скоро, Карла Иваныч, воду брать пойдете?

Дело-то в том, что когда дежурный паровоз брал воду, сцепщик мог эти несколько минут отдохнуть, и Макар давно ждал этого момента. Но Карл Иванович сердито пробурчал:

— Когда пойдем, тогда и будем брать.

И опять стал бегать Макар от вагона к вагону.

Стало вечереть. Длинные косые тени потянулись по земле. Страшно долго тянется время при такой работе, а когда оглянешься, не заметишь, как и день прошел.

Карл Иванович, наконец, пошел брать воду. Макар влез на площадку вагона, достал краюху хлеба, ржавую «душистую» тарань и стал закусывать, обгладывая все до последней косточки. Теперь он позабыл и работу, и дежурство, и всю окружающую обстановку, и исключительно был занят своей таранью, с которой меланхолически вел разговоры, поглядывая на следы, которые оставляли на ней его зубы.

— Ишь ты ведь какая... просолела вся, а пахнешь. А што ж это, правильно, што ли? Уж ежели соль, то она должна все вынять, тоись, значит, всякую дрянь, и пахнуть тебе, значит, незачем. А то на какой же ляд тебя солить, провялили бы так, и делу конец.

И Макар опять вопросительно поднес к носу таранью голову и потянул носом, но тарань все-таки пахла.

— Нет, без всякого разумения рыба, прямо сказать, ледащая рыба, — и он, безнадежно махнув рукою, с треском разгрыз таранью голову.

Вдали засвистел паровоз.

— Ну, напился жеребец.

Макар подобрал крошки, вытер усы, покрестился несколько раз, надел шапку и побежал к паровозу. Тяжело было бежать, впереди еще двенадцать часов...

IV

Стало смеркаться. Видит Макар: из депо вышел один паровоз; за ним, немного погодя, другой, — остановились. Машет на переднем паровозе что-то Макару машинист, но Макар не обращает внимания — со своим делом еле управляется.

Смотрит, опять машет машинист и кричит:

— Ты что же, оглох, что ли? Докудова дожидать-то будем?

— Чего надыть?

— А того надыть — паровозы сцепи, просить тебя...

— Чего пристали? Старший стрелочник-то на что? Мне, что ль, за этим смотреть? Своего дела не оберешься, а тут еще чужое суют.

Макар уцепился за тронувшийся свой паровоз; надо было «больные» вагоны из поезда выключать.

А машинист все ругается, грозит жаловаться начальнику. Видно, как он слез с паровоза и пошел к станции, на платформе подошел к дежурному по станции помощнику начальника и стал говорить ему что-то. Минуты через две кликнули Макара. Макар торопливо прошел на платформу к дежурному по станции и снял шапку.

— Ты что же это паровозы не сцепил?

— У меня свое дело было, выключаем «больные» вагоны. А из депо завсегда старший стрелочник выводит, он и сцепку делает. Вы ничего не изволили приказать, я и не знал...

— А-а, не знал!

Помощник начальника размахнулся и... бац! Кулак у него был большой, костлявый и волосатый. Голова Макара сильно мотнулась в сторону, лицо смертельно побледнело и обезобразилось, под глазом разбитое место налилось кровью и посинело. Дежурный круто повернулся и ушел. По платформе ходили жандармы, кондуктора. Все делали вид, что ничего не замечают.

Макар мял шапку, растерянно глядя кругом себя помутневшим взором, постоял и потом тихонько пошел, забывая надеть шапку, к своему паровозу: дело не ждало.

Снова надо было бегать по песку, пролазить под вагоны, сцеплявать, давать сигналы свистком, флагом, и Макар все это делал, и казалось — ничто кругом не изменилось, но почему же эта едкая горечь и боль томят душу? Что особенного случилось? И разве у Макара попрежнему не было пятерых детей, жены, тещи и отца, которые аккуратно ели каждый день? А раз это остается попрежнему, значит, и все остальное попрежнему, значит, ничего не случилось; значит, надо бегать от вагона к вагону так, как бегал третьего дня, как бегал все эти десять лет.

И он продолжал бегать.

Приходили и уходили поезда, станционная платформа оживлялась и пустела, наступила ночь. В темноте труднее и опаснее работать. Раза два Макара едва не защемило между сдвинувшимися буферами. Часам к двенадцати стал размаривать сон. Глаза слипаются, походка стала неверной; спотыкнешься или зацепишься — и конец. И борется с собой Макар, борется с дремотой, — дело ведь не шуточное, жить каждому хочется. Но чем ближе подходил рассвет, тем мучительнее становилось работать; предутренний конец дежурства — самое тяжелое время. Стал цепляться Макар за рельсы, за шпалы, колени подгибаются, толкается о вагоны, в голове шумит, с трудом и звуки стал разбирать: иной раз свистнет паровоз, и не знает Макар, свисток это или так показалось ему. И все, что кругом делалось, казалось Макару смутным и неясным, точно это был сон, и давило его что-то, и хотел он проснуться, и не мог.

Видит Макар, — не совладать ему с собой, все равно упадет

где-нибудь или повалит его вагоном и зарежет. Чтобы дотянуть несколько часов до конца дежурства, неизбежно приходилось прибегать к возбудителю, и Макар, улучив минуту, поплелся в буфет. Плеская водку дрожащей рукой, он опрокинул одну рюмку, другую. И тогда разом кругом посветлело, предметы стали выпуклее и резче бросались в глаза.

— Никак ноне съел, Макар? — проговорил, прожевывая, один из кондукторов.

И вдруг где-то сидевшая в глубине горечь, едкое чувство обиды и попранного человеческого достоинства, задетые неосторожным вопросом, прорвались нестерпимой болью.

— Да што ж ты думаешь, он имеет полное право бить, значит, по морде? Кто такие права ему давал? Таких правов нет! А ежели я да не стерплю? А? Нет, ты скажи, ежели не стерплю я? А? Ежели я да протокол составлю, да в суд подам? А?

— Не подашь, — спокойно догрызая рыбий хвост, проговорил кондуктор.

Это подлило масла в огонь. Макар вспыхнул.

— Не подам? Не подам? Нет, подам! Потому правов таких нет, чтоб морду бить людям. Что ж я — не человек, скотина, што ли? Собаку ткнут сапогом, и та визжит, а почему я должен молчать? Жандарм, прошу составить протокол. Протокол прошу составить, насчет бою, тоисть, значит, в морду дал дежурный по станции и разбил глаз.

— Ну, будет, Макар! — проговорил старший жандарм, подходя к нему и фамильярно кладя руку на плечо. — Ну, что толку? Составишь протокол, тебя же зараз и выгонят. Полинял, что ли, ты от *этого?* А что насчет глазу, так это один пустяк: возьми свинцовой примочки на пятачок, завтра к обеду ничего не будет. Да я и протокол составлять не буду.

Макар было уже согласился с доводами жандарма, но последние слова взорвали его.

— Как, протокол не составите?! Что это за порядки! Господа, будьте свидетели, господин жандарм не хочет протокола составить, что мне морду избили.

Жандарм поморщился.

— Ну, ступай в дежурную. На свою голову составляешь.

Протокол был составлен.

Опять бегает Макар, трубит в рожок, накидывает вагонные крюки, и хотя с трудом вытаскивает вязнущие в песке ноги, но кажется ему, что ноги стали длиннее, выросли и шагали широко и уверенно. И кругом стало веселей и просторней, весело накатываются и звенят буферами вагоны, весело посвистывает где-то далеко впереди паровоз. Та горечь, ноющая боль, что сверлила где-то в глубине души, пропала, и пропала она в тот самый момент, как он своей заскорузлой, черной от нефти и грязи, дрожавшей от усталости рукой вывел каракулями под протоколом: Макар Чушкин.

Уже посерело небо, уже в редевшем сумраке стали выступать невидные дотоле дальние вагоны, станционные здания, депо, столбы телеграфные, водокачка.

— Ма-ка-а-а-р! — пронеслось в утреннем воздухе.

Макар приостановился:

«Никак, кличут?»

— Ма-ка-а-а-р!.. — донеслось опять с платформы и потерялось между станционными зданиями, между вагонами, которые были теперь все видны, как на ладони.

Макар бегом направился к станции.

— Иди, начальник кличет.

Держа шапку в руках, он робко вошел в комнату начальника. Тут же был и дежурный по станции.

— Ты протокол составил?

— Я, ваше благор... это я, значит, так... для примеру только... я его сейчас же порву, ваше благородие... — проговорил Макар, заикаясь, бледный, как полотно.

— Вон! Завтра получишь расчет.

Макар стоял, как громом пораженный.

— Тебе говорят, сейчас же вон!

И начальник взял его за плечи, повернул и вытолкнул из комнаты.

Макар ничего не видел, не слышал, не соображал. Он механически перешел через полотно и огляделся помутившимся взором.

Солнышко взошло и стояло высоко над землей, утренние тени тянулись от вагонов, столбов, землянок, станционных зданий.

Как и вчера, зеленел могучий степной простор, синела даль, и звучала радостная неслышная песнь весны. Вдали маячили кибитки калмыков и по степи гнали табун лошадей. Над полотном в разных местах белым паром курились паровозы. Все было по-старому, но Макару казалось, что он идет среди развалин, и кругом лежат груды обломков.

Над депо белой струей вырвался пар, и гудок далеко зазвучал по степи. Это теперь Макар покончил бы дежурство и отправился бы к себе домой.

А разве теперь он идет не домой?

Макар постоял с минуту на одном месте и пошел... к Семенычу...

V

Через полчаса он вышел оттуда, качаясь во все стороны, точно на палубе во время шторма; порванных сапог на ногах у него уже не было. И он направился к своему вагону, рассуждая сам с собой пьяным голосом:

— Почему? В каком смысле? Морда, напримерыча... значит, чтоб бить ее... Ты што такое? Сопля, тьфу! Растер — и нет ни-

чего. И прррравильно!.. На то начальник. А ты слухай его и производи, какие распоряжения от него есть, и не думай о себе много. Што такое, съездил раз? Это даже за честь почитай, потому что они — начальники тебе, тоись замест отца, стало быть. Тебя в морду, а ты кланяйся ниже, благодари, потому для тебя же, дурака, для твоей же пользы...

Хозяйка увидела издали Макара.

— Пьяный! Головушка ты моя бедная! Ребятишки, бегите отсюда! Вишь, руками размахивает, кабы драться не стал.

Макар, качаясь из стороны в сторону, точно его валило то туда, то сюда, босой, подошел и бессильно опустился на стоявший возле ящик с углем.

Хозяйка глянула ему на ноги и так и всплеснула руками:

— И сапоги пропил! Окаянная ты сила! С ума ты сошел, что ли? Вымотал ты душу мою грешную, кровопивец, губитель ты, изверг ты наш несчастный! И наказал же господь каторгой! У людей мужики, как мужики: ну, не без того, и выпьют когда, да не тянут же из дому, а этот, что под руку ни попадется, все в кабак.

К удивлению, Макар не только не бросился на нее бить за это, а заплетающимся, коснеющим языком подозвал оробевших детишек и, обдавая их запахом перегорелой сивухи, стал гладить по белокурым головкам заскорузлой, грязной, в нефти, рукой:

— Соколятки мои, поросяточки! Нн... ничего, привыкайте, набалованы, кажный день ели... теперя привыкайте, штоб, значит, с передышкой, потому каждый день нам исть никак нельзя, не полагается, не туда рылом вышли... Н... ничего, попоститесь, ан привыкнете... До всего можно дойтить, значит, своим умом... Ежели человек умный, то он может исть через день там, скажем, али через два, потому человек — создание божие, все он превзошел... Милые мои соколяточки... Глазеночки-то лупают, ничего не понимают, — и Макар ронял пьяные слезы на лица притихших ребятишек.

Хозяйка стояла как онемелая; она не знала, что случилось, но в словах мужа слышалось что-то грозное и неумолимое. Одно знала хозяйка: некуда обратиться, некому заступиться.

ЗАЯЦ

I

Антип Каклюгин, служивший у подрядчика Пудовова по вывозу нечистот, получил из деревни письмо.

После бесчисленных поклонов братцев, сестриц, племянников, дядей, кумовьев, соседей, в конце стояло:

«...И еще кланяется с любовью и низкий поклон к земле припадает супруга ваша Василиса Ивановна и с самого Петрова дня лежит и соборовалась чего и вам желает и оченно просит чтоб приехали на побывку как ей помереть в скорости писал Иван Кокин».

Антип попросил три раза прочитать письмо и долго чесал поясницу.

— Да... ишь ты како дело, — проговорил он, тщательно и неумело складывая негнувшимися пальцами письмо, и вечером пошел к хозяину.

— Ты чего?

— К вашей милости.

— Да и воняешь ты, чорт тебя не возьми... Ступай во двор.

Антип покорно слез с крыльца и стал возле, держа шапку в руках.

— Денег не дам и не проси... Забрал все — когда еще отработаешь...

— Да я не об том... жена помирает. Милость ваша ежели будет, повидать бы бабу, хоша бы на недельку.

— Ах ты, сукин предмет!.. Да ты что же, смеешься?.. Самая возка начинается...

— Главное, помирает... плачется баба...

— Что ж, она без тебя не сумеет помереть, что ль?.. Да может, и враки, так занедужилась, подымется, бог даст.

— Соборовали... Сделай милость.

Хозяин посмотрел на вызвездившее небо, подумал:

— Ну, вот что. Завтра у нас какой день? Вторник? Хорошо.

Стало быть, завтра выедешь, к обеду дома, — на другой день опять сядешь, к вечеру — тут. Стало быть, в середу чтоб был к работе. Не будешь — другого поставлю. У меня контракт, ждать не станут. Из-за вас, анафемов, неустойку плати.

— Покорно благодарим.

II

Ранним утром, когда над рекой стоял белый пар и холодная вода влажно лизала столбы, Антип сидел на пристани.

У берега теснились баржи, расшивы, лодки; по воде, оставляя след, бегали катера, пыхтели пароходы. Грузчики, согнувшись и торопливо и напряженно переставляя ноги, таскали одни с берега, другие на берег — тюки, кипы, бочонки, ящики, полосы железа. Над рекой и берегом стоял говор, стук, и по гладкой, чуть шевелящейся воде в раннем, еще не успевшем разогреться утре добегал до другого, плоско желтевшего песчаного берега.

Антип макал в жестяную кружку с водицей сухари и хрустел на зубах. Латаный, рваный, с вылезавшей в дыры грязной шерстью полушубок держался на нем коробом, как накрахмаленный, и было в нем что-то наивное.

— Фу-у, чорт, да что такое?.. — проговорил матрос, останавливаясь во второй раз. — Ведь это от тебя... Ступай ты отсюда, тут господа ходят...

— Ну, что ж...

Антип поднялся и, держа грязную сумку и кружку, перешел и сел на краю пристани, свесив ноги над весело и невинно колебавшейся внизу водой.

Пароход, шедший снизу и казавшийся маленьким и пузатым, закричал толстым голосом, и торопливо бегущая над ним белая полоска пара колебалась и таяла в свежем воздухе. С песчаного берега добежал точно такой же пароходный голос, и странно было, что берег был пустой и никого там не было.

Пароход, делаясь все пузатее и гоня стекловидный вал, работал колесами, и приближающийся шум разносился по всей реке. Колеса перестали работать, и пароход, молча, тяжелый и громадный, надвигался по спокойной, чуть колеблющейся, отражающей его воде. Навалился к пристани, притянули канатами, положили сходни, вышли пассажиры.

Потом стали таскать багаж, товар, а черная труба оглушительно, с тяжелою дрожью, стала шипеть, напоминая, что в утробе парохода, не находя себе дела, бунтует клокочущий сдавленный пар.

Когда выгрузили, стали таскать тюки, ящики с берега на палубу. Антип незаметно с крючниками пробрался на пароход, высмотрел местечко и залег между кипами сложенной шерсти. Было душно, голова взмокла от пота, и ничего не было видно. Слышно только, как топали тяжелыми сапогами по палубе, как

падали сбрасываемые в трюм тюки, как с гудением шипела труба, и от этого гудения по всему, что было на пароходе, бежало легкое дрожание.

Антип лежал и думал, что забыл попросить не запрягать кривого мерина, — хромать стал; припоминал, куда положил старую уздечку, и думал о том, что баба непременно дождется и не умрет до него. И когда он думал о бабе, становилось особенно тесно и душно лежать, и он ворочался, и все боялся, что его откроют.

Покрывая топот ног, говор, нестерпимо оглушительное шипение трубы, зазвучал наверху чей-то гудящий голос. Он долго, настойчиво тянул, — густой, грубый, упрямый, призывая кого-то, кто был далеко и не слышал или не хотел слышать, потом отрывисто и коротко оборвался, как будто сказал: «Ладно, погожу».

Опять топали ноги, слышались отдельные голоса, дрожа, шипела труба, и было тесно и душно. Время между тюками тянулось медленно и трудно. Казалось, ему и конца не будет. Но пароходный гудок снова потянул настойчиво и упрямо, и два раза отозвался: дескать, погожу еще.

«Упрел», думал Антип, и ему пришло в голову, как бабы в печи ставят кашу в горшке вверх дном, чтобы лучше упревала.

Долго лежал.

Наконец в третий раз потянулся грубый и упрямый голос и трижды обрывисто оборвал: дескать, ждал, а теперь не прогневайся. Разом смолкло надоедливое шипение, и в наступившей тишине чудилось ожидание. Сильное мерное содрогание побежало по пароходу и уже не прекращалось. И хотя было попрежнему тесно, душно, темно — Антип с облегчением вздыхал, чувствуя, что пароход двинулся, и, изнемогая от духоты, дышал, раскрыв рот.

III

На пароходе было так, как бывает всегда. На корме и на верхней площадке — господа, на носу — серый, простой люд. Кто пил чай, кто закусывал и, отвернувшись, выпивал из горлышка, иные сидели и разговаривали, иные лежали на скамьях, на полу. Были богомольцы, были лапотники, торговцы, женщины с ребятами, мещане, люди неопределенной и подозрительной профессии.

Матрос шестом мерил глубину и лениво вскидывал на секунду вверх пальцы руки, нехотя взглядывая на капитанский мостик.

— Чудеса! — говорили те, что сидели возле кип с шерстью. Дух от нее, от шерсти, чижолый.

— Чижолый дух, чисто дохлятина.

— Гм!.. — вертел носом матрос, проходя мимо, — несет... должно, с берега.

— С берега, откуда же больше? Всячину на берег-то валят.

Пошел контроль.

Публика подымалась, из карманов, из-за пазух доставала кошельки, кисеты и, порывшись, вытаскивала билеты. Матросы заглядывали под лавки, между мешками, ящиками, осматривали все уголки и, нюхая вонь, несущуюся от кип с шерстью, добрались до Антипа.

Подошел капитан. Собрались любопытные. Между кипами покорно глядел на публику весь покрытый заплатами зад и истоптанные, заскорузлые подошвы, — Антип неподвижно лежал ничком, уткнувшись в шерсть.

Кругом засмеялись.

— Вылезай, чорт вонючий!.. Ишь ты, забрался... младенец!..

Матрос завернул ему на спину полушубок и сунул ногой, и Антип ткнулся в шерсть, потом выполз задом и поднялся. Лицо было красно и потно, взмокшие волосы обвисли.

— Билет?..

— Ась?

— Ну-ну, не притворяйся!.. Я тебе притворюсь... Билет, тебе говорят...

— Билет-от?.. — недоумело, ухмыляясь, оглядел он всех. — Билета нетути.

— Как же ты смел без билета?

— Без билета-то? Потерял, стало быть... — И он опять, ухмыляясь, недоумело оглядел всех, точно спрашивая, зачем его заставляют врать, ведь и так ясно.

— Да ты что зубы-то скалишь?.. А... Без билета, да еще скалишь...

Красное от загара и водки лицо капитана стало багроветь. Побагровела шея, лоб, напружились жилы. А Антип стоял перед ним, ухмыляясь губами, лицом, бровями, и назади насмешливо оттопыривался, как лубок, рваный полушубок.

Публика посмеивалась.

— Что с него!.. Шиш с маслом...

— С голого, как со святого...

— Молодчага!.. Чистенький; как родился. Одна кожа, да и та богова...

— Вот ты и потанцуй около него, — накось, выкуси...

— Ей-богу, молодчага!..

— А то они мало с нашего брата дерут... Нашим братом только и наживаются... Что господа! Ему каюту целую подай, да чтоб чисто, да хорошо, да убранство, — и денег-то его нехватит, так только, одна оказия, будто платят больше...

— И-и бедному человеку, где ему денег набраться... Много ли ему места надо? — сердобольно говорила женщина, суя открытую грудь кричавшему ребенку.

— Хо-хо-хо... молодца!..

Антип ухмылялся.

— Куда едешь? — прохрипел капитан.

— В Лысогорье.

— Во-во-во... Как раз одна станция, — слез и пошел...

— Ха-ха-ха!..

— Я жж ттебя!!. — и большой, волосатый, весь в веснушках кулак с секунду прыгал у самого носа Антипа, точно капитан давал его понюхать.

Капитан пошел дальше. Не слышно было за шумом колес, что он говорил, но долго видна была багровая шея и широкий тупой затылок, злобно перетянутый шапкой.

IV

Антип то стоял на носу, то сидел, привалившись к кипам шерсти. Берега плыли в одну сторону, а смутно видневшиеся на горизонте церкви, деревни, мельницы бежали в другую. Люди ходили, сидели, лежали на палубе, а пароход шел да шел, независимо от желаний и цели этих людей. Казалось, он торопливо работал колесами не затем, чтобы развозить их по разным местам реки, а делал свое собственное дело, особенное, ему только нужное и важное.

С холодно синевшего неба равнодушно глядело негреющее сентябрьское солнце. Было скучно, и время так же тянулось, как однообразно тянулись берега.

— Подь сюда... Ей-богу, молодец!.. К примеру, ты высчитай, сколько они с нашего брата барыша лупят... Стань-ка под ветерок, очень уж ты духовитый... Их, чертей, учить надо!.. Хочешь водки?..

Бритый, весь в угрях, с рваным картузом на затылке, человек, сидя на палубе, распоряжался закуской и засаленными картами.

Вокруг разостланной газеты с нарезанным на ней хлебом и закусками сидели два товарища. Один — мелкий торговец, с волосами в скобку. Другой, длинный и прямой, с вытянутым носом, вытянутым лицом и поднятыми углом бровями, сердито и строго глядя на кончик носа, жевал не дававшуюся, как резина, колбасу.

— Покорно благодарим, — говорил, утирая усы, Антип, чувствуя, как приятно и жгуче разливается по жилам водка, и прожевывая хлеб.

— Опять же сказать, взять с тебя нечего...

— Обыкновенно, нечего, весь тут.

— Ежели протокол составить, так и бумаги ты не стоишь

— Это уж так.

— Ну, дадут раза по шее, и все.

— Чай, не перешибут.

— А то вот есть иностранное царство, — говорил вдруг длин-

ный тонким голосом, подняв глаза, и глаза у него оказались круглые и совсем не гармонировали с впечатлением длинноты, которое лежало на всей фигуре, на лице, — там возют всех даром, хоша на конке, али в вагоне, али на пароходе. Сейчас подошел, — дескать, туда-то мне. «Пожалте», и валяй. Вот как.

Он засмеялся, и опять разъехавшееся лицо, по которому побежали морщинки, нарушило впечатление вытянутости и длинноты.

Антип ухмылялся, чувствуя себя героем, поглядывая на капитанский мостик. Там стояли только два лоцмана и равнодушно и, казалось, без всякой надобности вертели штурвал.

— В карты можешь?

— В карты?.. Без денег каки карты...

Антип отошел и опять привалился к кипам и слушал, как без отдыха шумели колеса, дышала черная труба и бежал назад песчаный берег.

Неохотно ехал он. Отвык от деревни, отвык от жены, от семьи, в городе у него была любовница. За пятнадцать лет был дома не больше двух-трех раз, недели на полторы, на две, и всякий раз с удовольствием опять уезжал в город. Казалось ему, что тесно, грязно, беспокойно живут мужики. И хотя у него самого была работа грязная и нечистая, он чувствовал себя независимее, был уверен в завтрашнем дне, и кругом было больше порядку, благообразия. Но половину своего заработка аккуратно отсылал семье. Он не спрашивал себя — зачем, а делал это из месяца в месяц, из года в год, потому что дома пахали, сеяли, держали кое-какую скотину.

К жене относился совершенно равнодушно, но было жалко, что она помирает, и надо было распорядиться по хозяйству.

Все те же звуки, то же движение, все то же мелькание берега и убегающей воды. Веки слипались. С трудом разбирался, где он и что с ним. И дальние деревни, бегущие вперед, и влажные отмели, под блеском солнца убегающие назад, и угреватый с картузом на затылке, и длинный с длинным лицом, и женщина с плачущим ребенком, и груды товара на палубе, — все путалось в движущейся, неясной, двоящейся картине.

Он не знал, сколько спал, а когда открыл глаза, — было все то же: холодное солнце, светлая река, бегущий берег, убегающий вперед синий горизонт.

Антип встал, почесался, зевнул, покрестил рот и опять сел.

Далеко на отлогом берегу зачернелось что-то. Сначала нельзя было разобрать — что, потом с трудом обозначились люди, повозки, лошади, а у берега лодки. По дороге, видно было, кто-то спешил, подгоняли лошадей, а они торопливо бежали, и пыль сухая и, должно быть, холодная тяжело подымалась из-под колес.

Деревни Лысогорья не было видно, — она верстах в семи за бугром, — но уже все было знакомо: поворот реки, луг, порос-

шие осокой озерца, рощица, пыльная дорога и одиноко белевшие на лугу гуси.

Антип вскинул на плечи мешок и прошел к борту, около которого уже суетились матросы. Столпились пассажиры с мешками, сумками, котомками, сундучками.

— Задний ход!..

С шумом вспенили воду колеса, пароход навалился, притянули канатами, перебросили сходни. Пассажиры, теснясь, протаскивая сундучки, сумки, устремились по сходням. Антип, тоже теснясь, двинулся со всеми, но матрос грубо оттолкнул его:

— Куда ты?.. Назад!..

Антип с удивлением остановился. Потом лицо его расплылось в благодушную, широчайшую улыбку:

— А мне здеся слезать.

Матрос снова оттолкнул его так, что он покачнулся.

— Да ты што!.. Мне, сказываю, слезать здесь...

— Назад, тебе говорят...

— Да ты што... ты што!.. — чувствуя, как злоба перекашивает лицо, говорил побелевшими губами Антип и рванулся по сходням.

Подскочил другой матрос. Здоровые, молодые, сильные, они подхватили, почти подняли Антипа на воздух и бросили на палубу. Он задом пробежал несколько шагов, мотая руками и стараясь удержаться, но не удержался и повалился на спину, высоко вскинув ноги в рваных, истоптанных сапогах и показав заплатанные порты.

Кругом захохотали.

Спеша, прозвучал пароходный гудок, выбрали сходни, канаты, заработали колеса, и пристань с лошадьми, с людьми, с повозками, с лодками у берега поплыла назад, и все стало маленьким, миниатюрным, потом смутно и неясно зачернело на отлогом берегу, потом потонуло и пропало за поворотом, и была только река, бегущие вместе с пароходом дальние деревни да убегающие назад берега.

И солнце равнодушно смотрело негреющими, холодными лучами.

V

Антип был ошеломлен и не мог притти в себя.

— Дозвольте... тоись, как это... оно значит... мне, стало быть...

— Вот тебе и дозвольте... Хо-хо-хо... Не хочешь, а везут.

— Ха-ха-ха...

— А-а, братец мой, а ты как же думал, так это тебе и сойдет с рук?.. — говорил угреватый, еще больше сдвинув картуз на затылок. — Почему такое другие пассажиры должны платить, а ты задарма?.. Не-ет, милый, не резонт... Покатайся-ка... хе-хехе... В Лысогорье, говоришь?.. А то нам без тебя скучно...

— Вот от таких-то самых зайцев и воровство бывает, — спокойно наливая из жестяного чайника в стакан мутный чай, говорил торговец. — В вагоне ежели учуешь под лавкой зайца, зараз зови кондуктора, беспременно упрет что-нибудь. Один раз вез пару арбузов, закатил под лавку — цап!.. мягкое, патлы: ага — заяц!.. Пожалел, не заявил... Опосля захотелось арбузика, полез — одни шкорки. Вот они, зайцы.

— Честные господа... да как же так?..

То, что произошло с ним, было так чудовищно, так бессмысленно-огромно, что он каждую минуту ждал, — они поймут весь ужас происшедшего, и, ожидая этого, он улыбался мучительной улыбкой, глядя на них, и руки у него тряслись.

Но они так же спокойно продолжали пить чай. Публика, поговорив и посмеявшись, опять расположилась по местам.

Бежала вода. Непрерывно шумели лопасти колес. Далеко тянулся пенистый след.

— Ах тты, божже мой!.. — бормотал Антип, хлопая себя по ляжкам, и обращался то к одному, то к другому из проходивших матросов: — Как же так?.. Господин!.. Сделай милость... Ведь мне в Лысогорье надо слезать...

Но те либо посылали к чорту, либо молча проходили, не отвечая.

Поворот за поворотом, отмель за отмелью уходили назад старые знакомые места, а навстречу бежали новые деревни, луга, перелески. Пароход бежал вперед, и город уходил назад, в смутную, неясную даль, — город, представление о котором сливалось с представлением неподвижных, спящих каменных громад.

Каждую ночь, зимою и летом, весною и осенью, в слякоть, дождь, грязь, мороз и в тихие лунные ночи Антип выезжал на бочке и трясся по мостовой, а сзади с таким же грохотом тянулась вереница таких же угрюмых, неуклюжих бочек, и на них тряслись молчаливые возницы.

Они проезжали мимо темных и молчаливых церквей, мимо садов, скверов, бульваров, театров, проезжали молча среди грохота тяжелых колес, и по обеим сторонам стояли строгие дома, сонные, со слепыми, невидящими окнами, и так же молчали. И целую ночь качал Антип липкий насос, а под утро, когда серело небо, серели дома, мостовые, панели, телефонные столбы, — он тянулся в веренице грохочущих бочек по тем же безлюдным, молчаливым, крепко спавшим предутренним сном улицам. Он жил на окраине, грязной и заброшенной. И в короткие промежутки между сном в течение дня и ночной работой, когда приходилось ходить и убирать лошадей, он видел дневной свет и живых людей.

Но теперь, по мере того как пароход уходил все дальше и дальше, все это тонуло в туманной дымке, становилось чуждым и далеким.

Солнце стало склоняться, и от бегущих лесистых обрывов легли на воду бегущие вместе с ними тени. Потянул ветер, острым холодком пробираясь в дыры рваного полушубка, посерела и подернулась сердитой рябью река.

— Вот этот самый, — говорили, когда Антип тоскливо проходил мимо пассажиров, — захотел нашармака проехать, а теперь его и катают...

Антип останавливался около машинного люка и долго смотрел внутрь. Там все было необыкновенно. Длинные, в руку толщиной, стальные оглобли, блестящие и скользкие от масла, торопливо выскакивали и прятались. Коленчатый вал так же торопливо с размахом крутился, и, покачивая головками, независимо от размашистых, мелькающих движений остальных частей, чуть поблескивая, тихонько и задумчиво двигались взад и вперед тонкие длинные стержни.

Эта огромность и непрерывность работающей силы поглощала Антипа, и он подолгу стоял над люком. Белесо-дымчатый пар местами таял над торопливо работающими частями, и то там, то здесь со спокойными движениями появлялась рука, и масло тянулось желтоватой струей из длинной лейки в сочленения работающих частей.

Антип подымал голову и с тоской глядел на сердито бегущую навстречу реку, на начинавшее хмуриться холодное небо. Хотелось есть. Вытрусил из сумки крошки, перебрал на ладони, струсил кучкой, съел, потом долго, растягивая, запивал водой. И опять нечего делать, и опять все то же.

Стало вечереть, и небо совсем посерело, когда показалась пристань. Антип повеселел. Хитро ухмыляясь, скосив глаза, он отошел дальше от борта и притаился между ящиками.

Поднялась обычная суета. Выждав момент, Антип, как крадущийся кот, направился к сходням, но матросы снова грубо и злобно оттолкнули его. Он завопил не своим голосом:

— Кррра-у-у-ллл!.. Убивают... Господин капитан!..

— Да ты что орешь?.. Поори, зараз свяжем...

Антип шумел, рвался, кидался к сходням. Раза два ему сунули снизу в подбородок, он ляскнул зубами, и шапка съехала на глаза. Пароход пошел. Опять собралась публика.

— Это что такое?

— Да опять энтот, как его...

— Ну, скандалист... Орет, как резаный.

— В трюм сам просится...

— Да больше ничего.

— Господа!.. честной народ!.. — говорил Антип, страдальчески подняв собранные брови, — што такое?.. Как же так... братцы!.. А?..

— Дурак ты, дурак... Ты сообрази. К примеру, хозяин парохода... Эка радость ему тебя задаром возить... Ежели у него да набьется полон зайца... Тебе спусти — другой влезет, третий.

четвертый, оглянуться не успеешь, пассажирам садиться некуда, везде заяц... А ведь деньги идут: капитану плати, услужающим плати, матросам плати, а угля сколько он жрет, страсть. Тебя провези, другого, третьего — да и полетишь в трубу.

— А как же, — воодушевляясь, заговорил торговец, — по нашему, по торговому делу, копеечка рубль бережет... Ты спусти раз приказчику, он те сразу дорожку найдет...

— Вонь от тебя стоит, — с сожалением, покачивая головой, проговорил тонким голосом длинный.

— Пошел ты, дьявол вонючий!.. Как из бочки. И зачем их таких на пароход пущают.

— Кто его пущал! Сам влез. — Картуз сердито высморкался, дернув сизый нос.

В холодной реке потухла красная заря. Пароход, не переставая, работал колесами, вползая в сырую мглу. И она становилась гуще, глуше, поглотила берега, реку, небо. Только электрические лампы и фонари на мачтах боролись с ней, холодной и темной, и, дробясь, ложились живой колеблющейся полосой мириады искр, играя по темной, невидимо шевелящейся воде.

VI

Антип размяк и ослаб. Без цели слонялся или подолгу стоял и все ухмылялся бессильной, униженной улыбкой, сам не замечая этого.

На кухне повар и поваренок в белых колпаках торопливо варили, жарили, резали красное мясо, разрубали крошившиеся под тяжелым ножом белые кости. Антип расширял ноздри, втягивая щекочущий воздух, потом отводил нос в сторону. Откуда-то доносилось:

— Ше-есть... шесть... четыре... четыре с половиной... ше-есть...

Неподвижно стояла ночь, и слепой холодный мрак мертво глядел со всех сторон. Казалось, среди моря тьмы пароход стоял на одном месте, и колеса бесцельно и зря работали, и не было видно ни брызг, ни пенящихся валов.

— Ах тты, божже мой!..

— Ванька, сундучок куда поставил?

Шумели колеса.

— Мм... э-э... это вы?.. Это вас?..

Перед Антипом стоял барин на тонких ногах. В глазу поблескивало стеклышко, и от стеклышка к жилету бежал шнурок, а тонкая и длинная шея сидела в белой высокой кадушечке, из которой выглядывала голова.

— Это над вами... мм... э-э... насилие?

Антип сгреб с головы шапку.

— Ваше благородие... господин!.. Вот как перед истинным... Двести верст отвезли... Мне в Лысогорье...

Господин подобрал верхнюю и оттопырил нижнюю губу, слегка прищурив свободный глаз и поблескивая стеклышком.

— Жалуйтесь... Жаловаться надо... Протокол... Полиции заявите... Так нельзя.

— Ну да, а то как же можно, человека прут неведомо куда, — послышался голос из кучки, до этого молча стоявшей, не зная, как отнесется барин.

— Ваше благородие... барин хороший!.. Сделайте божецкую милость... Заставьте вечно богу молить... — с отчаянием заговорил Антип, делая поясной поклон. — Баба помирает... Обернуться не поспею... Заставьте век бога молить...

Барин, все так же брезгливо-жалостливо подобрав и выпятив губу, осматривал сверху донизу Антипа.

— Жалуйтесь... мм... э-э... Я ничего не могу сделать... Жаловаться надо, — и он повернулся и пошел, выделяясь изо всех, кто был на палубе, светлым пальто, желтыми башмаками и высоким белевшим воротничком, из которого выглядывала голова.

— Слышь ты, жаловаться надо, вот и барин говорит.

— Да, а то не буду, што ль!.. Ей-богу... вот приедем, подам заявление, зараз следствие производства, — говорил, нахлобучивая шапку, Антип. — Што я — каторжный, што ль? Не-ет, брат, не те времена!.. Теперича запрещено... крепостного права нету... Не-ет... брат!..

— Дурак ты, дурак... И куда ты пойдешь? Покеда пожалуешься, тебя верстов с тыщу провезут, жалуйся.

— С голоду сдохнешь.

Опять та же неподвижная ночь, неподвижный пароход, неподвижно и слепо глядящий мрак и без цели шумящие колеса. Ветер, острый и резкий, бежал вдоль палубы, и только потому и можно было догадаться, что шли полным ходом.

Пассажиры устраивались на ночь, кто как мог. Заворачивались с головой в одеяла, в мешки, скорчившись калачиком и втянув голову в плечи, лежали на скамьях, на тюках, на ящиках, на палубе, или, свалявшись в ком по нескольку человек, неподвижно темнели, и оттуда торчали ноги, руки, головы.

Антип опять забрался в шерсть. С холодным ветром из кухни приносило тепло и запах. И чудилась изба, нагретая печка, баба возится с пирогами, ребятишки лазают по лавкам. Слышно, как работают колеса и бежит неустанное дрожание, и из-за него доносится лязг кос, шуршание падающей травы. Народ в косовице.

— Ше-есть... шесть... четыре с половиной... шесть... четыре...

Дядя Михей, высокий и жилистый, остановился, оперся о косу, отер пот с лица и лысины и закричал:

— Давай шесты с правого борта!..

Опять косогор, бродят телки, околица, осинник, березовая рощица, чуть тронутая холодным солнцем. Пахнет свежепеченым хлебом, квасом, за печкой шуршат тараканы.

«Э-эх!.. — думает Антип, — пятнадцать годов...»

И он теперь понимает, почему аккуратно каждый месяц посылал домой деньги. Тут родился, тут жил, тут и помирать. Как живая, стояла деревня со всеми интересами, с бедностью, с лошадиным трудом, с вольным воздухом полей.

«Эх-эх!.. пятнадцать годов!..»

— Ванька, чорт!.. да куда ты сундучок запропастил?

Над жнивьем носится чибис и жалобно кричит.

— Чьи-ви... чьи-ви...

— Пя-аать... пя-а-ать... четыре с половиной... пя-а-ать...

«Пятнадцать... — поправляет Антип и радостно думает: — Молотьба зачалась... зерно-то... зерно — золото!..»

И он с наслаждением запускает руку в островерхую живую кучу свеженамолоченного хлеба и вытаскивает полную пригоршню вонючей, густой, отвратительной жидкости... Золото!.. Бочка зеленая, неподвижно стоит впряженная кляча, неподвижны молчаливые улицы, церкви, театры, дома, мимо которых он ездит каждую ночь, в которых люди и которые немы для него так же, как деревья в лесу... Золото!..

«Э-эх, пятнадцать годов!»

— Убью-у-у!!

— Господа старики, кабы не прошибиться... Действительно, Сидорка — вор, — говорит Антип степенно, — ну только с конями ни разу не поймали. В Сибирь загнать человека — полгоря, да как отмаливать грех будем, ежели понапрасну? Кабы ошибочка не вышла. Вы караульте. Ежели накроете, так и Сибири не надо — кнутовище в зад, и шабаш.

— Убью-у-у!.. — куражится Сидорка.

— Известно, пьяный, — говорит Антип и хочет отойти и не может — ноги по колено увязли в земле, и Сидорка наваливается огромный и растет и кричит уже без перерыва так, что ушам больно, и глаза у него волчьи, светятся, как огни.

— Уууу-у-у-у!..

Ближе, ближе.

Антип подымает голову.

— Уууу-у-у-у!.. — несется, разрастаясь, из холодной ночи, и от этого тяжелого звука самый мрак, густой и неподвижный, кажется, колеблется.

Кругом смутно, неясно, выступают чьи-то руки, головы, ноги, смутно видиеются очертания тюков, а дальше безграничное море непроглядной темноты.

И в этой тьме встает огненное чудище. Тысячи голубоватых лучей, сияя и скрещиваясь, изламываются и дробятся в реке, гнеся, нехотя злобно и густо расступающуюся тьму. Видны странные и неопределенные контуры, не мигая, смотрит красный и зеленый глаз, и, высоко вознесшись, отделенная тьмой, плывет одиноко белая звезда.

Антип не может разобраться и понять, и ему хочется опять

к околице, на косогор, на покос с дядей Михеем... «Ку-уда?.. Назад!..» И он трясется на бочке, и бочка грохочет под ним железным грохотом, и неподвижно и мертво стоят каменные громады, заслоняя и околицу, и косогор, и телок, и людей, заслоняя самую ночь.

Баба машет рукой и что-то говорит, но Антип из-за непрерывного грохота, потрясающего ночь, не может разобрать и трясется все с той же улыбкой скуки и привычки к своему ночному делу.

«Ах ты, сердяга... измаялась... Пятнадцать годов!..»

И с щемящей, новой, незнакомой тоской он выбирается из тюков, подымается и протирает глаза. Множество огней, странно висящих во тьме, удаляются, тускнеют и гаснут, и вместе с ними удаляется непрерывающийся могучий шум, и слабые отголоски его тонут в шуме колес.

Опять одна тьма. Ветер. Антип ежится. Угреватый, в картузе, лежит согнувшись, натянув на голову и на вылезающие ноги пальто. Ему холодно, и он скрипит зубами и стонет во сне. Длинный свернулся калачиком, и можно подумать — это мальчик.

Антип с минуту стоит и вдруг вспоминает все, бьет себя об полы:

— Ах тты, божже мой!..

Потом опять стоит, озираясь, и снова лезет в шерсть. Сон, тяжелый и черный, как ночь, наваливается, и он спит тяжело, неподвижно, без сновидений.

VII

— Антип! — закричал кто-то пронзительно-тонким голосом.

Антип вскочил, как ужаленный.

— А?!.

Возле никого не было.

Холодная река, берег, длинно протянувшаяся над горизонтом белесая полоса выступали из редеющей мглы.

Пассажиры, разбуженные предутренним холодом, подымались с заспанными в красных рубцах лицами, потирая руки, поеживаясь, греясь движением.

Пароход шел поперек, и берег плыл по воде ближе, ближе, и вода, холодно поблескивая, влажно лизала темные столбы пристани.

Когда навалились и положили сходни, Антип перекинул опустевший мешок через плечо и пошел. Он пошел спокойно и уверенно, как будто ничего не случилось и все шло, как надо. Он прошел по гнущимся сходням до конца, и пароход, как тяжело давивший кошмар, остался позади. Матрос, стоявший у конца сходен, загородил дорогу и оттолкнул его назад.

— А?.. Ты чего, милый человек?.. — удивленно и добродушно ухмыляясь, спросил Антип.

— Ступай... ступай назад... ступа-ай! — и матрос продолжал толкать его до самого парохода.

Та привычка, которая пятнадцать лет гоняла Антипа между каменными немыми громадами, погнала его без сопротивления на пароход. Антип шел, ухмыляясь и бормоча:

— Оказия... Што тако?.. А?

Отвалили. Пристань поплыла прочь.

Первые лучи глянувшего из-за синей тучи солнца холодно блеснули по воде. И, в странной связи с ними, по палубе пронесся крик ужаса многих человеческих голосов:

— А-а!.. гляди, гляди!

Фигура с насмешливо оттопыренным назади полушубком мелькнула за борт. Все кинулись к борту, перегнулись жадными глазами, ловя расходящийся по воде и убегающий от парохода круг. Погрузившись краем, плыла шапка, так же убегая назад от парохода.

— Гляди, гляди!.. Вон он... бьется, сердешный, к берегу...

Колеса оглушительно заработали назад. Матросы рвались, как бешеные, спуская шлюпку.

— Мешок тянет...

— Да где?..

— Вон он... волоса моет...

— Кончено!.. Шабаш!..

— Опять выплыл... вон он...

— О, господи!..

Сдавленный пар, дрожа, оглушительно шипел. Истерический бабий крик визгливо метался по пароходу. Плакали дети.

На прыгавшей под ногами лодке матросы, задыхаясь и рискуя каждую минуту опрокинуться за борт, ловили что-то баграми в весело колеблющейся воде.

Уже высоко поднялось солнце, когда пароход пошел дальше. На палубе стояло возбуждение и беспокойный говор. Матросам нельзя было показываться.

— Ишь отъелся, идол пузатый!..

— Морда скоро треснет... Людей топите, на этом и жируете!..

— Сволочи!

— За что человека утопили!.. За девять гривен? Чтоб вам ни дна ни покрышки!..

— И-и, проклятые!.. Как вы на свет-то божий смотреть будете... анахвемы!..

Работали колеса. Дышала труба. Светило холодное солнце. Убегала назад сердитая река, и все бежал вперед синий горизонт, дальние деревни, мельницы, зубчатая лента синеющего леса.

НИКИТА

I

К концу зимы в избе у Никиты оставались одни только ребятишки, — ни платья, ни хлеба, ни соломы, ни хозяйственных орудий, ни скотины, — все было продано и проедено. Заработать негде, — кругом такие же голодные, измученные люди. Голодная смерть глядела в изнуренные лица семьи.

— Надо итти на заработки, — говорил Никита, сутулый и осунувшийся, глядя в окно на потухающую далекую зарю.

— Куда пойдешь?.. Куда пойдешь?.. Некуда итти, — безнадежно проговорила хозяйка, суя ребенку соску, в которой была одна вода.

Ребенок уже не мог громко плакать и тихо и жалобно стонал. Ребятишки постарше лежали на лавке под кучей тряпья.

— Пойду... пойду на Кавказ, али на завод поступлю. А то, сказывают, под землей уголь ломают, тоже заработать можно.

Помолчали. Заря почти потухла, только на краю кроваво тлела узенькая полоска. В избе неподвижно стояли тени, черные и мрачные.

— Страшно... страшно оставаться... помрем мы тут без тебя, — заплакала хозяйка.

II

Второй день идет Никита.

Днем сильно тает, бегут, играя на солнце, шумные ручьи, дороги почернели, и нога глубоко уходит в талый снег. К вечеру подмораживает, смолкает журчание затянутой тонким ледком воды, и на небе высыпают веселые звезды. Попрыгивает Никита, похлопывает накрест руками, — в худой зипунишко пробирается и покусывает мороз.

«Помрем мы тут без тебя...», — колом стоит в голове, и он

морщит лоб и туже подтягивает кушаком пустое, голодное брюхо.

«Заработаю — пришлю», — думает он и поторапливается скорей добраться до ночлега, обсушиться, обогреться, переобуть лапти и выпросить христа-ради хотя черствую корку хлеба.

На третий день Никита добрался до железной дороги.

Тут было много рабочего люда из голодающих губерний; они тоже тянулись на юг в надежде заработать и прислать семьям. Оборванные, исхудалые, расположились они возле станции целым табором, ожидая отправки. Ими набивали целые поезда и в товарных вагонах увозили на юг.

Чтобы скоротать время, Никита пошел потолкаться в народе.

Торговки раскинули лотки и разложили печеный хлеб «гусак» и всякую снедь. Покупателей мало, но народ толпится. По целым часам стояли и смотрели на хлеб. Никита тоже подошел и остановился. Вид настоящего печеного хлеба приковывал его. Возле приходили, уходили, а он все стоял и блестящими глазами следил, как торговка брала просто и даже небрежно хлеб, как будто самую обыкновенную вещь, перекладывала с одного места на другое, отрезывала куски, накрывала грязной дерюгой.

Уже высоко поднялось солнце... От долгого стояния заболели ноги. Подошел Никита к лотку вплоть, взял длинный черный и тяжелый кусок, попробовал на руке и потянул в себя носом «хлебный дух».

— Почем за фунт, тетка?

— Четыре копейки.

Никита еще повертел хлеб в руках, потом положил назад и отошел. У него было только десять копеек на всю дорогу.

Он пошел было в третий класс, да вспомнил, что и там буфет и на стойках лежит хлеб, колбаса, и пошел по полотну.

Тут маневрировали паровозы; подавали вагоны, сцепщики составляли поезда. Рельсы, разбегавшиеся у платформы на много путей, за станцией сходились в одну пару и уходили, блистая на солнце, до самого горизонта без изгиба, как по нитке.

Никита смотрел на пути, на шпалы, на баласт, на суетливо возившихся, работавших сцепщиков, смазчиков, путевых сторожей, машинистов, и ему странно было, что им никакого дела нет до того, что там у бабы на лотке лежит настоящий ржаной хлеб. Поднес руки к носу: они все еще пахли хлебом. Он пошел опять бродить между народом и снова незаметно для себя очутился возле лотка. Тут попрежнему стояла толпа, глазевшая на хлеб. Торговка, не обращая ни на кого внимания, равнодушно сидела на табурете.

Никита подошел к лотку и опять подержал хлеб в руке:

— Почем, говоришь, фунт-то?

— Четыре копейки, — не обращая на него внимания и глядя в сторону, проговорила торговка.

— А две нельзя?

Торговка молчала.

— Слышь, три копейки?

Торговка молча взяла у него хлеб, положила на лоток и отвернулась. Никита, заискивающе глядя на стоящих возле него, засмеялся:

— Ишь, не хочет.

Потом вдруг решительно завернул полу:

— Ну, давай, что ли.

Торговка невозмутимо оставалась все в той же позе.

— Деньги сначала давай.

— А то не дам, что ли? Не без денег берем-от. На вот, давай сдачи, — и кинул на лоток пятак.

Торговка, не спеша, лениво отрезала хлеб, свесила, порылась в кармане и отдала копейку. У Никиты слегка дрожали руки. Взял хлеб и тут же стал есть. Тогда внимательные глаза всех стоявших обратились на него и так же пристально, не отрываясь, стали глядеть, как он жевал.

Никита почувствовал неловкость, торопливо вышел из толпы, выбрал укромное местечко, поминутно посматривая на кусок, в котором оставались следы от зубов, съел, тщательно подбирая крохи.

Скучно тянулась остальная часть дня. Свистки паровозов, унылые звуки рожков на стрелках, лязг буферов, вагоны, насыпь, рельсы, столбы и толпы крестьян, голодных, оборванных, лежавших, ходивших, стоявших вокруг станции.

Никита стал скучать по дому, по своей деревне, по ребятишкам, по всему укладу прежней своей жизни.

«Куда он идет? зачем? где это те места, где есть работа, где платят хорошо? заработает ли он что-нибудь? а если до этого времени дома у него перемрут все с голоду?» И от этих мыслей еще скучнее стало Никите. Подсел было Никита к кучке мужиков, тихо о чем-то говоривших, прислушался, но и тут каждый рассказывал про свое горе, нужду, голод.

Пришла ночь. Спустился туман. Стало сыро и холодно.

Никита улегся с такими же, как он, на сырой земле, под дощатым навесом, отведенным для рабочих. Прижались друг к другу и покрылись рваными зипунами. Ночь тянулась нескончаемо долго.

И не может Никита никак заснуть: холодно и на сердце тоска. Станет забываться, и представляется ему, будто лето и жара, а он будто в колодец попал, по самые плечи сидит в холодной ключевой воде, зуб на зуб не попадает. А там наверху жарко, солнышко, и торговка с хлебом сидит. И будто он никак не вылезет, отощал, и стенки у колодца — холодные и скользкие. Начинает карабкаться и вот уже совсем вылезает, да вдруг свистнет паровоз, очнется Никита, оглянется, — кругом все то же: станционные здания, смутно в сумраке проступают красные фонари на стрелках, а вокруг на голой, сырой земле вповалку

лежат неподвижные фигуры — много их... и опять забывается, и опять лезет из холодного колодца.

Туман подобрался, вызвездило. И опять думает Никита о доме, о семье, о том, зачем он пошел и что из этого выйдет. Измаялся.

Под утро, когда побледнели звезды и Медведица совсем опустила книзу хвост, заснул. И так крепко заснул, что утром стали будить товарищи, насилу добудились.

— Вставай, сказывают, нам поезд готовят.

III

Поезд стоял огромный. Все суетились, бегали, спешили забраться в вагоны. Никита тоже было полез.

— А билет есть? — строго спросил кондуктор.

— Билет?.. Нетути. Я из голодающей губернии.

— Так что же что из голодающей. Голодающим только скидка делается на билете, а даром не возят. Поди возьми билет.

— Да у меня всего только пятак меди и есть.

— Ну, я чем же виноват? — и отвернулся.

Поезд ушел. На платформе осталась толпа таких же несчастливцев, как и Никита. Понемногу все разбрелись, кто пошел назад в деревню, кто в город искать работы, на которую не было надежды, и просить милостыню.

Никита стоял в великом затруднении. Ворочаться назад — значит, итти на голодную смерть. Итти в город — значит, за нищенство попасть в тюрьму. Постоял Никита, постоял, потом решился, подтянул кушак и пошел по полотну на юг.

Сверкал веселый солнечный день. Полотно, очищенное от снега, желтея песком, прямое, как стрела, убегало, пропадая на краю тонкой чертой. По сторонам ослепительно сверкал рыхлый осевший снег. Глубоко сквозили перелески, и по голым деревьям прыгали галки и шныряли, безумолку щебеча, пичуги. Почки надулись. Кое-где чернели обнажившиеся поля. Земля дымилась. Высоко тянули с юга журавли, дикие гуси.

Никита неустанно шагал, нагнув голову и глядя, как пядь за пядью уходит назад полотно. А впереди еще тысячи верст.

И опять Никита не может оторваться от деревни, от семьи, от хозяйства, — все стоит перед глазами. Вот и соху надо бы налаживать, скоро под яровое пахать. И Никита вздыхает и, глядя под ноги, все идет, идет, идет.

Его обгоняли и катились навстречу поезда. Тогда он останавливался и глядел, как, сердито работая поршнями, с грохотом, от которого дрожала земля, пробегал локомотив, а за ним мелькали вагоны, и в вагонах окна, и в окнах лица людей. Потом последний вагон, краснея флагом, быстро уменьшался, рельсы переставали вздрагивать, шум замирал, таял дым, и опять ти-

шина, опять сквозят перелески, и земля дымится весенним паром.

По пути Никита заходил в деревни, останавливался у окна первой избы, снимал шапку, кланялся и долго стоял. Иногда ему подавали кусок хлеба, а чаще махали рукой и приговаривали: «Не прогневайся». Тогда он шел к другому окну, и так через всю деревню.

IV

Две недели шел Никита. Лапти изорвались, ноги опухли, и он их обертывал и подвязывал тряпками. Всего разломило, в голове стоял звон, и он еле тащил ноги.

«Эх, не дойду... помру под откосом, как пес», — с отчаянием думал он и шел, шел, шел.

По мере того как он подвигался на юг, весна все больше вступала в свои права. Снег пропал, напоенная влагой земля чернела, на полях бархатно зеленели озимые.

Как-то под вечер в изнеможении опустился Никита на землю и прислонился к телеграфному столбу. Столб гудел заунывно и жалобно. На проволоке, чернея, сидели рядком ласточки. Показался поезд. Никита закрыл глаза. От усталости и голода ни о чем не хотелось думать. Шум поезда приближался и вдруг покрылся страшным грохотом и треском.

Никита вскочил. Там, где был поезд, высилась огромная гора вагонов. Груженный хлебом товарный поезд разбился. Никита бросился бежать туда. Возле суетились успевшие соскочить кондуктора и машинист.

Дали знать на станцию. Приехало железнодорожное начальство, рабочие стали разбирать обломки, ссыпать хлеб. Наняли и Никиту, так как полотно надо было очистить возможно скорее. Никита, страшно ослабевший от истощения, рвался из последних сил, охваченный надеждой заработать на дорогу.

Через три дня его довезли до ближайшей станции: он получил за работу деньги.

Это была большая узловая станция, и на ней толкалось много рабочего люда, ехавшего на заработки. Никита пошел брать билет. Оказалось, денег у него все-таки нехватило до места назначения.

«Ну, ничего, — думал Никита, — там уже недалеко, доберусь как-нибудь».

V

Подали поезд. Вагоны товарные, только скамейки были поставлены внутри, чтоб посидеть.

Полез народ в вагоны, и столько набилось, что и повернуться нельзя, один на одном сидят. Никиту прижали к скамейке, сидят

у него и на коленях, навалились на плечи, и дышать трудно стало. Не вытерпел Никита, стал выдираться:

— Что же это, братцы, нас сюда пихают силком... ведь друг на дружке сидим, дух-то чижолый стал, не продыхнешь... не пропадать же нам.

Услыхали другие, все разом загалдели:

— Вестимо, пропадать тут. Вылезай, братцы, пусть еще вагонов цепляют.

И полезли из вагонов.

Прибежали кондуктора, кричат, ругаются.

— Да вы, сиволапые идолы, куда претесь? Лезь назад.

— Куда же назад, некуда нам, один на одном сидим.

— Да вам чего надо, в первый класс, что ли, захотели?

— В первый не в первый, а только тоже ведь люди мы. Не даром везете, денежки тоже берете чистоганом.

— Тоже и деньги. Какие деньги, такое и помещение дают. Лезьте, говорят вам, назад.

Но народ разошелся, стали шуметь, высыпали все на платформу, стали наступать на кондукторов. Кондуктора струсили, отошли к сторонке, стали о чем-то советоваться. Потом выходит обер-кондуктор и говорит:

— Да вы чего расшумелись? Есть среди вас грамотные?

Все попримолкли, стали оглядываться — все были неграмотные.

— Выходи, которые грамотные.

— В нашей деревне и за деньги грамотного не найдешь.

— Да зачем те грамотеи?

— А уж тут тогда увидишь, зачем. Выходи, грамотные.

Из толпы протолкался молодой парень.

— Грамотный?

— Грамотный.

— Ну, иди сюда.

Подошел обер-кондуктор к ближайшему вагону, подошел парень. Народ кругом надвинулся, стеснился, друг на друга нажимают, ждут, что-то будет.

Показал обер на стенку вагона и говорит:

— Ну, читай.

Стал читать:

— Сорок человек. Восемь лошадей.

— Ну, то-то и есть. Видите теперь сами, что в каждый вагон полагается сорок человек посадить да восемь лошадей поставить. А мы вам еще снисхождение сделали: лошадей не ставили, оставили до другого поезда. А ежели вы бунтуете, так сейчас отсчитаем на вагон по сорок человек да по восемь лошадей поставим.

— Да это что же такое?.. Как же это возможно?.. Один на одном сидим да еще лошадей нам поставят.

— Да ведь вы слышали, что ваш же парень читал... Не я же

это придумал. Ежели так написано, так тут ничего не поделаешь. Написано пером, не вырубишь и топором.

— Что же, ребята, уж лучше потеснимся, чем как ежели нам коней поставят. Тесно, до смерти убить могут, — говорил струсивший Никита.

— Да пакостить начнут.

— Знамо, лучше потеснимся, ежели как написано, гляди, на кажном вагоне... Никуда не денешься...

И мужички полезли назад в вагоны и набились, как сельди в бочке.

Кондуктора забрались к себе в отделение, ухватились за животы и катались, как сумасшедшие. Когда все втиснулись в вагоны, двери задвинули, в вагонах наступила кромешная темнота, и воздух сделался таким спертым, что люди начали задыхаться. Стали бить в двери и стенки вагонов. Кондуктора принуждены были снова отодвинуть двери и положить лишь поперек дверей перекладины, чтобы люди не вываливались во время хода.

Наконец тронулись, под вагонами побежала насыпь, и стали мелькать мимо телеграфные столбы, деревья, пашни, колокольни дальних церквей. Никита с облегчением вздохнул.

В вагоне было душно и жарко. Все, кто мог, сели в дверях на пол и спустили ноги наружу. Крестьяне, работавшие в поле, с удивлением глядели, как по рельсам катился тяжелый поезд, как товаром, нагруженный людьми.

Скучно было сидеть в душном, грязном вагоне. Нельзя прилечь, повернуться. Вагоны трясло, и несся такой грохот, что нужно было кричать, чтобы слышать друг друга.

На станциях стояли необыкновенно долго. Проходит час, два, три, а поезд все стоит. Поставят его где-нибудь на запасном пути далеко от станции и ждут неведомо чего. Приходят и уходят пассажирские поезда, а они все стоят. Наконец серые пассажиры начинают выходить из терпения.

— Что же это! Докудова же мы стоять тут будем?

Кондуктора огрызаются:

— Как платите, так и везут. Благодарите, что четвертый класс завели, а то бы путешествовали по полотну.

В пути развлекались, как умели. Появились засусоленные карты: играли на коленях друг у друга. Кое у кого из молодежи оказались гармоники. Иной раз запевали песни.

Никита не принимал участия. Он угрюмо сидел в дверях вагона, спустив наружу ноги, и глядел, как под ними мелькал щебень баласта, которым усыпано полотно. Уложенные по краям камешки нескончаемо бежали назад полоской.

Никиту сосала тоска и томил голод. Особенно скверно было ночью. От духоты, грохота, тряски, тесноты и безделья охватывало неодолимое желание спать, а лечь не было никакой возможности. Наваливались друг на друга и на минуту забывались тяжелой дремотой.

Никита тоже дремал. Из вагона несло духотой и теплом, а висевшие снаружи в рваных пестрядинных портках ноги зябли от ночной сырости и холода. Ночь стояла темная. Не было видно ни полотна, ни телеграфных столбов. Ничто не мелькало. Казалось, вагон недвижно грохотал в подземелье, темном и сыром.

Этот грохот обессиливал Никиту. Веки смежались. И тогда его мысли и представления действительности начинали бороться с сновидениями. Знает он, что сидит на краю вагона, спустив ноги, и что можно тут свалиться, надо проснуться и не спать, и начинает ему казаться, что едет он на телеге, мешки везет на мельницу, дорога скверная, трясет.

Вдруг кто-то крикнул и толкнул его: «Эй, куль упал, упал...» Шатнулся Никита, чуть не свалился. Забилось сердце. Сам не знает, чего так испугался. Чует — с правой стороны свободно стало, как будто никого нет, а то все парень наваливался на него. Никита торопливо пошарил, и холодный пот выступил: возле было пусто.

— Стой!.. стой!!. человека нету!.. стой! Ребята, кричи, чтоб стали — должно, свалился...

Никита кричал во весь голос, но грохот поезда сурово покрывал его. Огарок свечи потух, в вагоне стояла кромешная тьма.

— Кондуктор!.. Эй!.. Что же это такое?! Человек сейчас упал...

Около Никиты зашевелились. Послышались кричавшие голоса:

— Что такое?

— Сказывают, в поезде неладно.

— Кто говорит?

— Бытто труба самая главная в машине лопнула.

— Колесо из-под вагона вырвало, сам сейчас видал.

— То-то оно и трясет, аж душу вышибает.

Насилу Никита растолковал, в чем дело. Все всполошились.

— Бесприменно надо остановить поезд. Шуми, ребята!

Стали кричать и взывать к кондукторам, машинисту, — все напрасно. Попрежнему в ночной мгле стоял железный грохот, на стыках стучали колеса, и вагоны тряслись всем корпусом, точно ехали по мостовой. Делать нечего, пришлось дожидаться станции.

На станции была получена депеша, что на пятьсот девяносто четвертой версте найдено изуродованное колесами тело. Тогда прицепили лишний вагон, и стало просторнее.

На третий день Никиту высадили, — билет был только до этой станции. Никита тоскливо слонялся по станции в ожидании случайного заработка, который дал бы возможность доехать.

— Ты чего, земляк?

Оборванный субъект с обрюзглой от водки физиономией стоял перед Никитой.

— Да вот на завод еду... денег нехватает...

— А много у тебя?

— Семьдесять пять копеек.

— Стой, у меня тоже...

Он достал горсть медяков и подсчитал.

— Девяносто копеек. Вот чего, дядя: купим один билет и поедем двое.

— Как так?

— А так: один на крыше, а другой в вагоне. Как три станции проедем, так и сменяться будем. Доедем, разлюли малина. Давай деньги.

— Не дам.

— Чудак. Не вернешь, что ль? На мои. Ступай, купи билет.

Никита пошел и купил билет.

— Ну давай. Сначала ты полезай на крышу. Три станции проедем, я тебя сменю, а потом через три ты опять приходи.

И он подсадил обрадованного Никиту на крышу вагона.

Ночь. Накрапывал дождик. Сквозь сырую мглу тускло светили огни. Мокрая платформа блестела под фонарями проходивших кондукторов. Никита лежал на крыше вагона, не шевелясь.

Поезд тронулся. Ушла назад станция с огнями. Пропали позади и разбросанные огни стрелок. Поезд прибавлял ходу. Густой мрак, сырой и холодный, бежал рядом, окутывая со всех сторон. Чаще и чаще постукивало на стыках. Стало качать вагон, и Никита с ужасом почувствовал, что понемногу съезжает на край по выпуклой скользкой от дождя крыше. Тогда он лег животом книзу, растопырил руки и ноги, делая усилия, чтобы удержаться посредине. Стал дрожать от холода.

«Кабы теперича полушубок», — думал Никита, лежа на животе и поминутно касаясь от тряски лицом мокрой холодной крыши.

«Чудно! домашность, ребятенки, хозяйка, а я на пузе лежу и не знаю: той ли доеду, той ли нет».

И все в той же позе, все так же чувствуя у своего лица холодную мокрую крышу, продолжал думать о доме, хозяйстве, семье. И опять чем-то странным, необъяснимым, какой-то роковой ошибкой казалось его путешествие. Чем это кончится, когда и где?

А поезд все так же мчался среди ночи, так же качало вагоны. Через долгие промежутки во мгле показывались огни станций. Поезд замедлял ход; слышались звонки; некоторое время стояли, потом опять отправлялись дальше.

Никита дрожал; клонило ко сну. Спутник его не появлялся, а сам он боялся спуститься на ходу.

Стало светать. Дождь перестал. Сырой туман подбирался с земли. Теперь отчетливо было видно полотно, рельсы, мокрые телеграфные столбы. Когда подошли к станции, совсем рассвело. Никиту увидели и стащили с крыши вагона. Разыскал своего спутника, но тот заявил, что видит его в первый раз.

Никита был в отчаянии, ходил за кондукторами, за началь-

никами, кланялся и со слезами просил разрешить доехать, оставалось всего две станции. Над ним сжалились и посадили.

Часа через два задымились громадные трубы завода, а справа открылся водный простор.

Все глядели в окна.

— Братцы, гляди, никак это вода!

— Больше нашего озера.

— Как ножичком по краям обрезано.

— Гляди, ребята, лодка загорелась... Дым-то, дым-то черный повалил... страсти господни!..

— Дурак! «Лодка»... Па-ро-ход это, паром ход дает, стало быть. Загорелось: эх, неотесанность!.. Дым это из котла в трубу, потому там уголь жгут.

— Диковинное дело: сколько дыму, а ничего себе — плывет, да и все.

Подошли к станции. Все высыпали из вагонов. Волны глухо и тяжко вкатывались, шипя, на песчаный берег. Вдали лесом мачт виднелся порт. На синеве белели косым парусом рыбацкие лодки, а у горизонта чуть приметно дымил уходивший пароход.

VI

Громадные заводские ворота были заперты. Возле стоял сторож, равнодушно оглядывая огромную толпу исхудалых, с измученными лицами, оборванных людей. Ходили, сидели, лежали на земле. Солнце подымалось и начинало припекать.

Никита с пяти часов был тут и, сидя в тени забора, терпеливо ковырял землю. Спокойное, тихое ожидание овладело им. Добрался до места, сегодня наймется, через неделю пошлет домой денег. Представление радости на лицах семьи, когда получат, наполняло его таким блаженством, что он забыл все испытания.

Время шло. Несколько человек ходило в контору. Там велели ждать, скоро приедет директор.

— Ну, что же, подождем, — говорил Никита, ковыряя землю.

Тени становились короче, и из-за забора уже горячо доставало его солнце.

Наконец беззвучно на резинах подкатила карета. Минут через десять из конторы вышел маленький человечек в очках и тоненьким голоском прокричал:

— Можете итти, ребята, по домам. Директор велел сказать, на заводе — полный комплект, и рабочих пока не нужно. Можете расходиться.

Все поплыло перед глазами Никиты: стены, дома, улицы, тротуары, прохожие. Он не верил себе, не верил своим ушам, и с усилием, качаясь на ослабевших ногах, протеснился через толпу к маленькому человечку и с перекошенным лицом, заикаясь, пробормотал:

— Господин, дозвольте... оно, конешно, касаемо... ну только ребятишки... хоша бы какой работишки, касаемо... потому, сами знаете, ребятенки-то, ребятенки, стало, теперь перемрут...

Тот мельком вскинул очками и сделал неопределенный жест:

— Идите, идите себе домой. Вот нужны будут рабочие, тогда приходите... Расходитесь, а то все равно полиция придет, — и он повернулся и ушел в контору.

Явилась полиция и велела всем расходиться.

— Ребятенки, ребятенки-то, выходит... теперя перемрут, стало...

Кто-то взял его за плечо:

— Что стал? Ступай в свое место... В холодную захотел?

Никита пошел вниз, туда, где за городом шумело море, а в море вливалась мутная река. На сыром болотистом берегу целым табором расположились переселенцы и всякий голодный, неприкрытый люд, бившийся тут в поисках работы.

Везде валялись тряпки, объедки, кости. Женщины кормили грудных детей, кое-кто из мужчин, сидя на корточках, в чем мать родила, и взмахивая иглой, сосредоточенно чинили принадлежности костюма. Иные неподвижно лежали на спине, глядя в высокое синее небо.

Пришла ночь. Красновато колеблясь, дымились костры из щепок, тряпок и сухой травы. Люди жались к ним, странно, фантастически выступая красными лицами и в красном тряпье... и тени шевелились и трепетали по земле.

С реки, с соседних болот, зловеще белея среди ночи, подымался туман и полз, и стлался низом, предательски заволакивая молочной пеленой. Не стало видно людей, костров, лишь слабо мерцали сквозь мглу звезды. Воцарилось мертвое безмолвие, нарушаемое доносившимися с железной дороги свистками паровозов, да с моря отзывались грубые голоса пароходных гудков.

VII

Полтора месяца слонялся Никита в поисках работы. Постоянная борьба с голодом и привязавшейся лихорадкой не давала думать ни о чем, кроме завтрашнего дня. Он забыл деревню, хозяйство, семью. Наконец желанные двери растворились, и Никита вошел в святилище завода.

Лязг, грохот, гул и звон, железный скрежет, свистки всюду бегавших маленьких локомотивов охватили его. Тонкая, едкая пыль садится на стены, землю, крыши, на платье и лица, носится в воздухе, давая небу коричневый оттенок, отравляет и жжет легкие. Все черно, грязно, задымлено.

Никиту поставили сгребать какую-то сероватую землю, вроде глины, сыпавшуюся из вагонов, которые то и дело подходили по полотну.

Гигантские домны подымались к самому небу, верхушки их курились, как жерла вулканов, а от боков струился раскаленный воздух. Люди, лошади, вагоны, насыпь — все было ничтожно и крошечно у подножия этих великанов, день и ночь плавивших в раскаленной утробе своей руду, и огненными струями вытекал, светясь, чугун.

Вокруг кипела непрерывная, неустанная работа. Мужики, нещадно дергая заморенных лошадей, торопливо возили руду, кокс, плавень, вывозили землю, подвозили кирпич. Визжали резавшие железо пилы, оглушительно били молоты, а на верхушках домн среди пылающего жара обугленные, почернелые рабочие день и ночь сыпали в ненасытную пасть кокс, плавень, руду.

Никиту захватило, как зубьями огромного мелькающего маховика. Изнемогая, задыхаясь, в жару, в угаре, в угольной пыли, он все кидал и кидал лопатой руду в подъемную машину, и пот, стекая, разрисовывал по его лицу причудливые узоры. Вечером, усталый, разбитый, с головокружением от постоянного дыма, едва похлебав каши, валился на солому и засыпал тяжелым, мутным сном, а на следующий день подымался, и опять начиналось то же.

Так потянулась эта лихорадочная жизнь в кипучей работе, без перерыва, без отдыха, без праздников, которая вытравляла мысли, воспоминания, заботу о семье. Завод шел день и ночь и не позволял ни на минуту приостановиться, отстать, оглянуться.

Только месяца через четыре, когда солнце не так стало жечь, когда степь, бурая, давно сожженная, пустынно тянулась от моря, он собрался послать в деревню несколько рублей.

В трактире ему писали бесчисленные поклоны, а он, размякший от водки, крутил растрепанной головой и ронял пьяные слезы:

— Миллаи ммои, ллупаглазенькие... и-и кабы теперича да около скотинки ходил бы, соху-матушку выправил бы, да цепом погулял бы по хлебушку... головушка ты моя бедная, незадачливая!..

Картины далекой родной жизни вспыхнули в отуманенной голове. Овин, поле, березняк, лес, синевший на горизонте, тихая деревенская улица, куры, свиньи и гуси. И, положив голову на стол, он безутешно причитал бабьим голоском, как по покойнику пока его не вытолкали.

Но заводская жизнь не давала размякнуть, не давала жить прошлым, далеким. Сложная, бешено крутящаяся и страшная своей беспощадной неумолимостью, она гнала его день и ночь, как впряженную лошадь, не давая ни отдыха, ни срока. Он не смел приостановиться, задуматься, взвесить и оценить положение.

На его глазах пополам пережгло рабочего сорвавшимся с цепи раскаленным куском стали. На его глазах гнали с завода целыми толпами и штрафовали за малейшую ошибку, за малейшую провинность, а за воротами другие толпы день и

ночь стояли в ожидании опроставшегося места. И под этой постоянной, ни на минуту не ослабляющейся угрозой неповоротливый, неуклюжий Никита становился проворнее, ловчее, торопливее.

С ввалившейся грудью, испитым черным лицом и лихорадочно и возбужденно блестевшими из-под сумрачных бровей глазами он был неузнаваем.

VIII

Месяцы летели за месяцами. Как-то ему подали повестку на денежный пакет. Он отправился на почту и с изумлением получил посланные им в деревню деньги с отметкой: «посылается обратно за неотысканием адресата».

Никита ясно не понимал, что собственно это значит, и все собирался опять послать.

Скоро дело разъяснилось. На завод попал односельчанин Никиты. Он рассказал, что в деревне с голоду ходила какая-то болезнь, от которой мерли и дети и взрослые. Жена Никиты умерла. Умерло двое детей, остальные разбрелись неизвестно куда.

Дни и ночи Никита ходил, работал, как ошалелый. Мучительно захотелось все это бросить и бежать туда, в родную деревню, к родным полям, родным могилам. Но гудок властно подымал его каждое утро, раскаленные домны пожирали, сколько бы ни кидал он руды, и за воротами стояла толпа голодных, холодных, оборванных, жадно дожидаясь опроставшегося места.

А звук пил, звон и гул молотов, нестерпимое шипение, лязг стальных листов и скрежет железа о железо, среди дыма, пламени, среди снующих паровозов и черных, лихорадочно работающих людей, неустанно и торопливо повторял ему: «Ты-наш... ты-наш... ты-наш...»

Каждый день тянулся мучительно медленно и долго, но, когда оглядывался, позади лежали уже годы. Деревня где-то далеко потонула, изредка тревожа больным воспоминанием и смутной надеждой, что он вернется.

И надежда эта сбылась на восьмом году.

Он сидел в вагоне, покачиваясь и задремывая. Степь убегала назад, и уже стали попадаться рощицы и перелески средней полосы. В голове у него стоял звон и гул заводской, а когда останавливался поезд, его поражало тихое безмолвие полей.

Неделю тому назад Никиту позвали в контору. Он стоял у дверей и мял шапку.

— Никита Тригулев?

— Так точно...

— Ну, вот что... — конторщик запнулся на минуту, — получай-ка расчет.

Никита стоял, как остолбенелый.

— За что? — спросил он упавшим голосом.

— Нет, ничего, — добродушно проговорил конторщик, — видишь ты, другим за две недели даем только, а тебе трехмесячное жалованье велено выдать в награду за старание, да директор от себя десять целковых.

— За что же?

И пепельная бледность проступила на его черных щеках.

— Видишь, ослаб ты... не можешь, как прежде, как свежие, которые с воли. Ты три тачки, а молодой в это время пять привезет, видишь ты... Заводу-то и расчет взять свежего...

Никита и сам видел, что сила у него не та. Завод выпил из него все, что мог, и теперь, ненужного, отправлял туда, откуда он бежал восемь лет назад...

И, покачиваясь, Никита думает о деревне, о работе, от которой отвык и на которую уже сил нет, о детях, о которых он не знает, где они, о заколоченной избе, об одиночестве, которое его угрюмо ждет.

БОМБЫ

I

Маленького роста, тщедушная, в оборванной юбке и грязной сорочке, все сползавшей с костлявого плеча, она, нагнувшись над корытом, усердно терла взмокшее, отяжелевшее белье в мыльной пене. Пар тяжело и влажно бродил под низким темным потолком. На широкой кровати в куче тряпья, как черви, копошились ребятишки.

Когда женщина на минуту выпрямилась, расправляя занывшую спину, с отцветшего лица глядели синие, еще молодые, тянувшие к себе, добрые, усталые глаза.

Ухватив тряпками чугунный котелок, она лила кипяток в корыто, теряясь в белесых выбивающихся клубах, и опять, наклонившись и роняя со лба, с ресниц капельки пота, продолжала тереть красными стертыми руками обжигающее мыльное белье. Капал пот, а может, слезы, а может, мешаясь, то и другое. На дворе перед низким, почти вровень с землею, окном, лежала, похрюкивая, свинья и двенадцать розовых поросят, напряженно упираясь и торопливо тыча в отвислый, как кисель, живот, взапуски сосали. Петух сосредоточенно задерживал в воздухе лапу, повернув голову, прислушиваясь, шагая и для вида только редко постукивая клювом по крепкой земле, сдержанно переговариваясь с словоохотливыми хохлатками.

— Ох, господи Иисусе, мати божия, пресвятая богородица... И чего это...

Пена взбилась над корытом целой горой, и пузыри, играя радугой на заглядывавшем в окно солнце, лопались, тихонько шипя.

— Конца-краю нету!.. — как вздох, мешалось с плесканьем воды, с подавленным шопотом и смехом ребятишек, затыкавших руками друг другу рты.

Кто-то за дверью громко колол орехи, и их сухой треск то приостанавливался, то сыпался наперебой. Орехи, должно быть, были каленые, крепкие, и сыпалось их много. Потом начинали щелкать прямо перед окном, хотя на дворе никого не было, кроме свиньи с двенадцатью поросятами.

Между сухим треском коловшихся орехов вставлялись глухие удары, как будто кто сильно, с размаху захлопывал дубовые двери, и стены и пол вздрагивали, и чуть звенели подернувшиеся от старости радужными цветами стекла в низеньких окнах. При каждом тяжелом ударе свинья вопросительно хрюкала и шевелила длинными белесыми ресницами. А стертые, красные и припухшие руки продолжали тереть, и капали в мыльную воду не то пот, не то слезы.

— Мамуньке сказу...

— А ты не сказывай, а я те дам тоже такую.

— А я ее исть хоцу.

— А ее не едять... Вишь, крепка... — носился детский шопот и подавленный смех и возня.

II

В окно заглядывала темная ночь, шурша ветром и стуча дождем. Ребятишки спали. Марья возилась около печи, ставя тесто. Снаружи стукнули кольцом. Она отперла. Вошел муж с несколькими товарищами и *он*. Это было два года тому назад.

Вытерли ноги и прошли в чистую половину. Сели. У *него* было молодое, строгое и безусое лицо. *Он* сел под образами, и все молчали, покашливая в кулак.

Когда посидели, *он* сказал:

— Что же, больше никого не будет?

Муж откашлянулся и сказал:

— Нет... никого... Потому, собственно, погода, и народ занятой...

И хотя был очень молод, *он* сидел, нахмурив брови, и все глядели на пол, на свои сапоги, изредка украдкой поглядывая на *него*. *Он* сказал:

— Тогда приступим.

И, поднявшись, басом, которого нельзя было ожидать от такого молодого, сказал:

— Товарищи, вы видите перед собой социалиста.

Точно в комнату невидимо вошел кто-то страшный. Марья стояла за дверью и прижалась к притолоке. Все перестали покашливать, перестали смотреть себе на ноги и на пол, а, не отрываясь, глядели на *него*. А он говорил, говорил, говорил...

У Марьи дрожали руки, и она тыкалась возле печки бестолку, брала то кочергу, то миску, то без надобности подымала полотенце и заглядывала на теплое пузырившееся тесто.

— Ах ты, господи, кабы дети не проснулись!.. — шептала она.

А безусый все говорил. Марья ничего не разбирала, о чем шла речь, бестолку возясь с посудой и схватывая только отдельные слова. И ей пришла дикая мысль, что *он* сейчас скажет: «Бабу повесить у притолоки, а ребят — в лежанку головой...» И хотя *он* этого не говорил и — она знала — не скажет, руки у нее ходили ходуном. Или скажет: «Будет им, хозяевам-то, носить шелки да бархаты, нехай твоя баба поносит... Сделать ей шерстяную юбку да кофточку шелковую...»

Но *он* и этого не говорил, и она знала, что не скажет. Слесаря, когда *он* к ним обращался: «не так ли, товарищи?» — отвечали хрипло срывающимися голосами:

— Верно... это так.

Они робели пред ним, и это наводило на нее еще больший страх. А в окно все внимательнее заглядывала ночь, и шуршал ветер, и плескался дождь.

И когда ложилась с мужем, Марья проговорила, крестясь и испуганно глядя в темноту:

— Вась, а, Вась... кабы беды не нажить?.. Сицилист, вить... Мало ли что...

Муж сердито повернулся на другой бок:

— Молчи, ничего не понимаешь.

III

Свинья попрежнему неподвижно лежала, и двенадцать розовых поросят, подкидывая мордами, толкали ее в живот. Очевидно, им уже нечего было сосать, но доставляло удовольствие колыхать этот большой, упруго подававшийся живот.

Важно и медленно густой, черный дым подымался над городом в нескольких местах, и орехи продолжали торопливо щелкать, и бухали дубовые двери... То вдруг все затихало, и это имело какое-то отношение к этому медленно и важно подымавшемуся дыму; и на мыльную воду, и на красные руки капали капли не то пота, не то слез...

Безусый приходил после того несколько раз, и хотя он больше не говорил, что он социалист, и она угощала его чаем, — все-таки продолжала его бояться и чуждаться.

По субботам маленькая комната битком набивалась рабочими. Красные и потные, они сидели чинно, пока *он* говорил, но понемногу вступали в разговор, разгорались, перебивая друг друга, стучали кулаками в грудь, и подымался такой содом, что хоть святых выноси.

Что-то странное, новое и непонятное вошло неуловимо в их домишко. Марье казалось, как будто проломили стену, и через пролом стало светлее, и неслись с улицы звуки, но она боялась,

что будет непогода, и сюда будет нести дождь и снег, и будет заглядывать осенняя ночь.

Очень хорошо она знала, что завод давит рабочих, что муж каждый день приходит истомленный, что у него, когда-то краснощекого, здорового и веселого, ввалилась грудь, впали щеки, и при каждом расчете излишка рабочих они дрожали. И все это было неизбежно привычно и тянулось, как тянется день, наступает вечер, ложатся спать, и опять день, и опять работа, ребятишки, заботы... Теперь же то, что было привычно, буднично и неизбежно и о чем не думалось, да и некогда было думать, теперь это называли вслух, об этом говорили, спорили, и оно обернулось к Марье какой-то иной, новой, тревожной и беспокойной стороной.

И опять ей показалось, что придет кто-то, строгий, недоступный и суровый, и скажет:

— Будет хозяевам-то с чаями да с сахарами... Пора и вам, сердягам, передохнуть...

И кто-то другой, ухмыляясь поганой рожей, скажет:

— А в тюрьму хочешь?!

Безусый стал приводить с собой товарища. Этот был постарше, с лысиной и черной бородкой. На обоих были синие блузы и высокие сапоги, но руки у них были белые и мягкие. Нельзя было понять, что они говорили, но у обоих были чистые и ясные голоса, и все хотелось их слушать.

— Вась, а, Вась... — говорила Марья, ложась возле мужа.

Она виделась и успевала перекинуться с мужем двумя-тремя словами только перед сном. Уходил он до свету, а приходил ночью, черный, пропитанный железом, нефтью, усталый и сердитый.

— Вась, кабы беды не нажить... Неровен час... У Микулихи, сказывают, забрали мужа и брата, ей-богу!.. Жандармы, сказывают, приходили, все обшарили, перину пороли, вот как пред истинным!..

— Много ты понимаешь!

Он сердито отвернулся к стене, но не захрапел, как это обыкновенно бывало, а полежал молча и торопливо сел на постели. Ворот рубахи отстегнулся, показывая волосатую грудь.

— *Они* — благодетели наши... А то как же?.. Что я понимал! Пень бессловесный и больше ничего...

Он посидел, строго покачивая головой, и почесал поясницу.

От синей полосы лунного света по всей комнате лежали длинные, ломаные, уродливые тени.

— Блох ноне множество.

— Блох — сила. Пропадать бы надо, а они кипят.

Он опять почесал поясницу.

— Главно, понять... Нашему брату, рабочему, понять только, а там захватит и поволокет... Все одно, как пьяницей сделался — не оторвешься... Никак, кто-то калиткой стукнул?

Они прислушались, но было тихо, и лунная полоса попрежнему неподвижно лежала на кровати и в комнате, прорезанная тенями. И в этой полосе сидел человек, всклокоченный, костлявый, с глубокими впадинами над ключицами. Жена глядела на него, и тонкая, щемящая боль кольнула сердце. Ей захотелось приласкать этого человека:

— Вась, а, Вась... худой ты...

IV

Марья стала разбираться. Она понимала, что «эксплоатация» значит — хозяева мучат, что «прибавочная стоимость» это — что хозяева сладко едят, сладко пьют вместо нее с мужем, вместо ее детей, и прочее.

И двоилось у нее: все это было старое и известное, и все это поражало остротой новизны и несло в себе зерно муки и погибели. И она внимательно слушала, когда в тесной комнатке стоял гул голосов, с тайной надеждой и радостью, что изменится жизнь, что еще в тумане и неясно, но идут уже светлые дни какой-то иной, незнаемой, но радостной, легкой и справедливой жизни. А когда оставалась одна и сходилась с соседками, сердито говорила:

— И чего зря языками болтают. Так, нивесть что. И будто умные люди, из панов, а так абы что говорят. Ну, как это можно, чтоб хозяев не было? А кто же управляться будет, а страховку кто будет делать, а жалованье платить?

— И не говори!.. Вон у Микулихи-то забрали, доси не выпускают... Дотрезвонятся и эти.

Но когда приносили литературу, прокламации или мешочки со шрифтом, и муж отдавал ей, она тщательно и бережно запрятывала и хранила их.

В глухую полночь пришли жандармы и арестовали мужа. Марья обезумела. Бегала в жандармское, в полицию, к прокурору, валялась в ногах и выла. Под конец ее отовсюду стали гнать. Потом она съежилась, замолчала, никого ни о чем не просила, и когда приходила на свиданье в острог, глаза у нее были сухие и горячие. Она непременно приносила бублик или пирожок или яиц. Не волновалась, не плакала, не упрекала, а рассказывала о детях, о соседях, про заводских.

Дома работала как лошадь, и никто не знал, когда она спит. Надо было прокормить семью, и она билась как рыба об лед.

Раз как-то пришел безусый проведать и навести какие-то справки. Когда она увидела его, лицо исказилось, она схватила полено и бросилась на него:

— Вы погубители наши!.. Вы кровососцы... Будь вы трижды прокляты!.. И чтоб вас, анафемов...

Из тюрьмы муж вышел совсем больной и несколько месяцев был без работы. Это было самое тяжелое время для Марьи. Она работала с неослабной энергией, и одно только жгучее чувство светилось в ее сухих и горячих глазах — ненависть. При одном имени: жандарм — она трепетала от злобы.

Снова по ночам стал таинственно собираться народ в их домишке. Назревали события. В воздухе пахло порохом и кровью. То там, то здесь находили убитыми городовых и шпионов.

V

Клубы черного дыма важно подымались над городом, свинья кормила поросят, грохот захлопывающихся дверей сливался в протяжный гул. Женщина торопливо домывала... Кто-то, несмотря на этот черный день, несмотря на трескотню и грохот, кто-то должен был носить тонкое чистое белье, не мог оставаться без белья. И ребятишки, возившиеся на кровати, не могли оставаться без хлеба. И она запаривала, намыливала и терла, терла, терла.

Низенькая дверь отворилась. Нагнув голову, торопливо шагнул молодой парень. Женщина разогнула спину, глянула и всплеснула руками:

— Савелий!..

У него было почернелое, осунувшееся — как будто он не спал целую неделю — лицо и темный сгусток запекшейся крови под правым глазом.

— Тетка Марья... во...

Он с усилием улыбнулся запекшимися губами, тяжело опустился на табуретку и завел веки. Потом торопливо вскочил и, глядя испуганными красными глазами, проговорил:

— Дай глотку промочить да достань поскорей... энти... знаешь, которые спрятать тогда приносили.

Она с отчаянием хлопнула руками:

— А мой-то, мой где?.. Что с ним такое?.. Что он не идет?.. Господи, да разнесчастная я, несчастная... Да милый ты мой соколик... Да куды же я теперь голову приклоню...

Она уставилась на парня злыми глазами и шипела:

— Где мой?.. Говори, где... не бреши... говори!..

Он бегал глазами по комнате и оглядывал себя:

— Вишь, шрапнель всю полу, как горохом... дырочки проделала...

Она взяла ведро и, рыдая и сморкаясь в руку, пошла во двор. Парень прислонился к стене, запрокинул голову; веки тихонько полузакрылись, рот открылся, показывая белые зубы. Он тихонько подсвистывал носом, покойно дышала грудь, и мирное, спокойное, счастливое выражение разливалось по измученному лицу.

Было тихо. Ребятишки притаились и хитрыми смеющимися глазами следили за спящим. В углу грызла мышь. Петух подошел к самому окну, постоял, поворачивая голову, и вдруг заорал что есть силы: ку-ка-ре-ку-у!.. Свинья хрюкнула, ребятишки прыснули со смеху.

Вошла Марья с оттягивающим руку ведром. Парень вскочил, как безумный, шаря у себя на груди и оглядывая комнату дикими глазами:

— Где?.. Куда?.. Постой!.. Фу-у, а я думал...

— Испей, касатик... Покормила бы тебя — нечем, родимый: корочки сухой в доме нет. — И она опять заголосила: — Да куды мы денемся? Да куды мы голову приклоним?.. Да родимый ты наш батюшка!..

Он жадно пил, запрокидывая голову и проливая прыгавшую по одежде серебряными каплями воду.

— Спасибо, Ивановна!.. Прощай!.. Будь тебе, чего сама пожелаешь. — И вдруг нервно заторопился: — Скорей... скорей!..

— Да куды он их дел, не помню.

— В подполье, будто, сказывал.

— Вытащил... Где-то в коробке под кроватью...

Она лазила на коленях, шаря рукой под кроватью, под скамьями, и вытащила небольшой ящик.

Оба нагнулись.

— Пустой!!

— Куды же делись?

— Взял разве?

— То-то, что нет... Послали. Непременно надо.

Ребятишки хихикали.

Странный звук пронесся по комнате. Парень стоял белей стены, протянув растопыренные пальцы. Марья, не поднявшись еще с колен, глянула по направлению его взгляда и застыла, и глаза у нее сделались огромные и круглые: перед сбившимися в кучу ребятишками лежали небрежно на кровати два металлических цилиндра, грубо обделанные напильником. Что-то в них было необыкновенное, потому что люди в застывших позах несколько секунд не могли оторваться глазами.

Потом Марья, как кошка, подобралась к перепуганным детям и с ненавистью прошипела:

— Тссс... нишкни!..

Парень, у которого лицо стало отходить, шагнул, осторожно взял и положил, пожимаясь от холодного прикосновения, один цилиндр за пазуху, а другой опустил в карман.

И когда был уже у двери, обернулся и покачал головой:

— Крошки бы от дому не осталось...

И из-за притворенной двери донеслось:

— Прощай, Ивановна. Спасибо... Не поминай лихом!

Свинья поднялась на ноги, постояла и подумала. Поросята

играли, боком подкидывая мордами друг друга. Потом опять грузно легла на бок, и поросята снова взапуски, тыкая мордами, стали сосать ее.

Из орудий продолжали стрелять, и дым клубами подымался к небу.

Сыпались орехи, громко хлопали дубовые двери, и столб, густой и черный, медленно и важно подымался к небу. А Марья терла скользкое мыльное полотно, и пот, как роса, проступил на ее лице, и капли, соленые и едкие, капали в мыльную воду.

НА ПРЕСНЕ

I

«Бумм!..»

Он донесся издалека, этот глухо-тупой удар, от которого слабо дрогнули стекла, донесся из центральных улиц.

«Началось!..»

И что бы ни делал, куда бы ни ходил, с кем бы ни разговаривал, ко всему примешивалось: «Но ведь началось...» Вырвется детский смех из комнат, стукнет дверь, громко кто-нибудь кашлянет, и в памяти угрюмо встает звук смолкшего орудийного удара... «Началось!..» И сердце сжалось, сцепив грудь тоскливым предчувствием огромного несчастья или огромного счастья, и уже не отпускало до конца.

— Матушки-и мои!.. — просунув голову в дверь, приседая и хлопая себя по бедрам, говорила кухарка, рязанская баба. — Народу-то наваляли-и... конца-краю нету!.. Вся Тверская черна, один на одном лежат, как тараканы... Со Штрашного монастыря содют из пушек.

Я вышел. Орудийные выстрелы доносились с томительными перерывами. Народ обычно шел по панели вверх и вниз по улице. Хрустел снег.

На морозном небе вырисовывалась вдали каланча. Хотелось побольше полной грудью забрать этого славного, бодрого, покусывавшего за уши, за щеки воздуха, не думая ни о чем, но глухие удары, доносившиеся *оттуда*, и каланча на морозном небе говорили: «Началось...»

Все было обычно, только, когда проходили мимо кучки, слышалось:

— А *она* вдарилась возле, так и обсыпала...

Да лавки хмуро глядели наглухо заколоченными ставнями и щитами. Но, по мере того как я шел, народу больше попадалось навстречу, и слышался беспорядочный, торопливый говор. Останавливались, моментально образовывалась кучка, и говорили,

говорили нервно, торопливо, как будто эти люди, никогда не видавшие друг друга, были знакомы много лет.

Какая-то пожилая дама, должно быть немка, придерживая трясущиеся руки на груди, говорила, придыхая, и перья прыгали у нее на шляпе:

— Я кофорю, пойдем, я боюсь... а она кофорит: не бойся... Смотрим: бахxx!.. а у него колофы нет, а из шеи крофь... а из шеи крофь, как фонтан...

И она с перекошенным лицом теребит ближайшего слушателя за пуговицу пальто... Угрюмо слушают, не умея еще разобраться, не решаясь довериться рассказчице, но орудийные удары подтверждают истинность рассказа.

Вот и баррикады. Торопливо снимают ворота, выворачивают решетки, валят столбы. На протянутых через улицу веревках трепещут красные флаги. Оставлены узкие проходы по тротуарам. Все пролезают, покорно сгибаясь, под протянутые проволоки.

Орудийные выстрелы все ясней, и при каждом ударе тяжко вздрагивает земля. Теперь уже не идут, а бегут *оттуда* с растерянными, бледными, как будто помятыми лицами.

— Куда идешь?.. — со злобой, прибавляя непечатную брань, кричит мне в самое лицо какой-то маленький старичишка. — Чорту в зубы?.. Из пулеметов бьют...

— А-а... пусть... пусть натешатся... — с такой же злобой кричит молодой парень, грозя по *тому* направлению кулаками, — пусть натешатся... пусть... — и он торопливо обгоняет меня.

Как роковая полоса, пустынно тянется через перекресток Тверская. Никого нет, но на углах кучки любопытных, — дети, женщины, мужики, торговцы. Вытягивают шеи, выглядывают за угол и опять назад.

Я замедляю шаг. Впереди у самого угла раздается оглушительный взрыв. С дымом и огнем веерообразно взлетают вверх куски чего-то черного. Навстречу, что есть силы, бегут люди. Впереди молча несется, стиснув зубы, сжав кулаки, огромный рыжебородый мужчина, и алая полоска со лба по носу, по щеке теряется в густой рыжей бороде. Девочка, лет двенадцати, кричит нечеловеческим голосом:

— Ай, родные мои... ай, родные!..

И долго, теряясь где-то в конце улицы, доносится:

— Родные... ро-одные мои!..

Бежит старушка с огромными, навыкате белками:

— Свят, свят, свят, господь Саваоф, исполнь небо и земля!..

Из кучки любопытных шрапнель вырвала шестнадцать человек. Часть раненых разбежалась, часть растаскивают по дворам, а на снегу неподвижно чернеют четверо. Пятый стоит в изумленной позе, потом постепенно валится и, не сгибаясь, падает лицом в снег и так же лежит неподвижно, как и остальные. Возле — воронкообразная яма. Кругом кровяные пятна и

какие-то черные обрывки не то одежды, не то человеческого тела.

Никого нет. Хочется заглянуть за угол. И страшно и мучительно тянет, как тянет заглянуть в черную бездну.

С замиранием сердца делаю шаг.

— Погодите...

Я оборачиваюсь. Парень, кричавший «пусть натешатся», отделяется от соседней калитки.

— Обождите трошки — зараз вторая вдарит.

В ту же секунду раздается такой же оглушительный взрыв у противоположного угла. Дым и огонь расходящимися струями несутся кверху, с соседних домов густо сыплется штукатурка, и со звоном летят изо всех окон стекла.

— Теперича можно.

Чувствуя, как холодеет затылок, я заглядываю. Тверская мертвенно-пустынно тянется в обе стороны. Только где-то далеко, в морозной дали, маленькие, игрушечные люди маячат около маленьких, игрушечных пушек.

— Отходите.

Я отошел дома за два.

— В кого же они стреляют?

— А так, глупость одна.

Я гляжу на кобуру от револьвера, которая топорщится из-под расстегнутого пальто.

— Вы дружинник?

— Да.

— Как же так... мало?

— Мало, а видишь, сколько пушек навезли.

— В мирных бьют?

— Потому публика необразованная, зря суется... Умей выйти, умей схорониться, а она лезет. За сегодняшний день эва набили их, а в нашем отряде не ранен еще никто.

Я пошел назад. Орудийные удары, то вздваиваясь, то порознь, стояли в воздухе.

Наплывали сумерки. На площади красновато бросалось из стороны в сторону пламя костров: жгли ворота домовладельцев, которые их запирали. На стенах смутно белели объявления генерал-губернатора о штрафе в три тысячи рублей, если ворота не будут заперты.

Уже царила ночь, темная, глухая. Ни одного фонаря, ни одного огня. Орудийные выстрелы смолкли. Зато то там, то здесь раздавались одиночные или целыми букетами ружейные выстрелы. Где стреляют, кто стреляет — нельзя было сказать. И среди глухой темноты эти щелкающие короткие звуки впивались болезненно и угрожающе. Винтовочные пули без прицела летят на несколько верст и поражают совершенно случайных людей.

— Скрипел снег. На улицах ни души.

II

С утра обыкновенно бывало тихо, но к часу разыгрывалась орудийная стрельба. Улицы — как вымерли. Зато у каждых ворот, у каждой калитки, на каждом перекрестке кучки народу. Передают случаи расправы войск и полиции, подвигов дружинников и горячо обсуждают шансы победы той или другой стороны в развертывающейся кровавой драме.

— И у нас баррикады стоят, — и испуганно, и радостно говорит прислуга.

— Где?

— У заставы.

С представлением революции, восстания вяжется что-то необычайное, поражающее. Но когда я подходил к заставе, все было необыкновенно просто. С пением, со смехом, с шутками валили столбы, тащили ворота, доски, бревна, сани со снегом, и баррикада вырастала в несколько минут, вся опутанная телеграфной и телефонной проволокой. У ворот и по тротуару толпился народ.

— Ну, братцы, и бабы пошли на баррикады... Дело Дубасова — дрянь... Хо-хо-хо...

Все весело подхватывают и смеются.

Баррикады одна за одной вырастают вниз по улице, по направлению к Пресненскому мосту. Вдруг публика исчезла. Улица пустынно, мертво и грозно белела снегом. Бревна, доски, столбы, перевернутые сани, неподвижные и беспорядочно наваленные поперек улицы, придают этим домам, окнам, наглухо закрытым лавкам, зияющим воротам вид молчаливого и напряженного ожидания.

Я тоже захожу за угол в переулок.

— Что такое?

— Казаки.

И это короткое слово разом освещает пустынную улицу и наваленные бревна ровным, немигающим серым светом, в котором чуется: «Для кого-то в последний раз?..» Любопытные жались к воротам. Молодой парень, подняв руку, крикнул:

— Пе-ервый номер!..

Несколько человек с револьверами в руках сгруппировались у ближайшей к углу калитки.

— А вы отойдите... отойдите, пожалуйста... а то подойдут — вы побежите, паники наделаете, — говорил парень, обращаясь к публике.

— Это — дружинник, — передавали, отходя, шопотом друг другу, и в этом шопоте и во взглядах, которыми его провожали, таилось уважение, смешанное со страхом и надеждой на что-то большое, что сделают эти люди.

Я выглянул. Серым развернутым строем поперек всей улицы шли вдали спешенные казаки. Когда взошли на мост, их серый

ряд разом блеснул огнем, и раздалось: рррр... рррр... рррр... точно рвали громадный кусок сухого накрахмаленного ситца. По баррикадам, по водосточным трубам, по вывескам и окнам, а особенно по калиткам дворов, щелкая, посыпались орехи... Рррр... рррр... рррр-ы!.. Я вбежал в калитку переулка. Тут толпилось человек двадцать прохожих и любопытных. Металась какая-то женщина.

— Ой, батюшки, да куда же я...

А ситец продолжали рвать. В промежутках нежно защелкали браунинги. На противоположном перекрестке дружинник спокойно опустился на колено, прицелился из винтовки, блеснул огонь, — и вдруг среди стрелявших раздались крики и радостный смех:

— Браво... браво... браво!..

Ситец перестали рвать. Публика опять высыпала на улицу. Я тоже вышел. Везде стояли кучки. Подобрав четырех раненых, свернувшись повзводно, серели вдали, уходя, казаки.

Снова закипела работа. Баррикады росли одна за другой. Внизу улицы, возле моста, выросла последняя. Красный флаг победно волновался над нею. А вдали угрюмо и молча глядела на нее пресненская каланча.

III

Ночью город вымирал. Мутно белел снег. Черными неясными громадами в глухой неподвижной тьме тонули дома. Ни одного огонька. Ни одного звука. Только собаки лаяли, перекликаясь, и в промежутках стояло молчание. Казалось, среди ночи раскинулась большая деревня, и покоем и мирным сном веяло над нею.

Половина одиннадцатого ночи.

...Рррр...рррр...рррр...

Залпы раздирают ночное молчание и гонят иллюзии... Рррр...

Это уже у нас внизу, во дворе. Я осторожно отворяю форточку. Стреляют в воротах. Пули, как из решета, сыплются в забор, в парадные двери. Весь дом — как мертвый. Дружинников тут нет, потому что им неудобно скрываться и оперировать, — двор, как мешок, с одним выходом, и их легко всех захватить. Тем не менее солдаты стреляют во двор, в окна обывателей, чтобы нагнать страху, чтобы никто не показывался, и главное потому, что в дружинников стрелять не приходится: они неуловимы.

Выстрелы стихают. С улицы доносятся говор и голоса. Небо понемногу багровеет. Несутся искры, коробится и трещит дерево, — жгут баррикады.

Кто-то громко высморкался, и этот мирный звук звонко и как-то умиротворяюще разнесся в морозном ночном воздухе, и представился солдатик, отирающий о полы шинели пальцы, обветренное добродушно-туповатое лицо мужичка, оторванного от

землицы, около которой он и теперь бы с наслаждением ковырялся.

Зарево разгоралось. Дома угрюмо выступили, кроваво озаренные, с мертвыми, незрячими окнами. Потом понемногу потухло, все стихло, солдаты ушли, — и снова угрюмо царил мертвый, молчаливый мрак, и лаяли собаки.

«Конец!»

Грудь давило, как наваленной могильной плитой. Впереди чудился кошмар кровавой расправы. Каково же было удивление утром, когда я увидел, что это еще не конец: вновь возведенные баррикады гордо красовались, и непреклонно веял красный флаг. В городе все было подавлено, только Пресня, пустынная и вся связанная баррикадами, угрюмо и гордо давала последний бой.

Мне пришлось ворочаться из города, и я попал на Пресню со стороны Горбатого моста. Надо было перейти через Большую Пресню. Меня остановили:

— Не ходите.

— А что?

— С каланчи охотятся... беспременно подстрелят...

Я глянул. На каланче действительно вырисовывались фигурки, и иногда доносился оттуда звук выстрела. Городовые и солдаты, обозленные бессилием взять Пресню, охотились на обывателей. Достаточно было кому-нибудь показаться, как его клали. Пули обстреливали вдоль всю большую улицу, летали по дворам, пронизывали окна.

Большая Пресня безлюдно тянулась в обе стороны, но во всех переулках, укрытых от каланчи, чернел народ. В эти дни невозможно было усидеть в комнатах. Я прислушался.

— Ночью у Горбатого моста студента арестовали, обыскали — револьвер; потом девушку, потом рабочего. Офицер ничего не спросил, не узнал, кто они, как и что, мотнул головой — ну, и...

— Что?

— Расстреляли.

Стояло угрюмое и суровое молчание.

— Как же мне теперь перебраться?

— А я вас переведу.

Мальчуган лет десяти, шустрый и проворный, глядел на меня ясными глазенками.

— Как же ты? — удивился я.

— Пожалуйте.

Он подвел к углу, от которого поперек улицы тянулась баррикада.

— Ложитесь на пузо.

— Что такое?

— Беспременно на пузо, а то все одно подстрелят.

Делать нечего. Мы поползли по холодному снегу, укрываясь от каланчи за баррикадой. На той стороне, уже за углом переулка, поднялись, отряхнулись. Я заплатил, и мальчуган, весело,

как ящерица, завилял назад, ожидая случая еще кого-нибудь переправить, пока не уложит пуля карауляющих на каланче городовых.

«На Москву-реку!..»

«На Москву-реку!..»

Это, как кошмар, стояло в мозгу, ни на минуту не отпуская ни днем, ни ночью, ни за работой, ни во сне. Они шли, шли трое, быть может, не зная друг друга, шли молча. И с трех сторон шли мужички Рязанской, Калужской и других еще губерний, положив ружья на плечи.

И тоже шли молча.

И не надо было просить, плакать, сопротивляться, ибо было бесполезно. И была морозная мгла. По бокам отходили назад дома, черные, мертвые, немые. Там, внутри, может быть, спали или ходили, разговаривали, ужинали, раздевались, раздавался детский плач, а эти шли мимо черных и мертвых снаружи домов.

Потом потянулись заборы и пустыри. Потом была одна морозная мгла, да низко белел снег. Остановились. Поставили, чтобы было удобно. На секунду водворилось великое молчание. И эти трое, и мужички из Рязанской и других губерний думали. О чем?

Потом...

Когда мужички ушли, по мутно белевшему снегу чернели три пятна.

IV

Меня разбудили тяжелые, потрясающие удары. Было темно. Я приподнялся. Дети спали. Няня возилась в соседней комнате. Орудийная канонада разрасталась, дом трясся. В промежутках слышно было, как трещали пулеметы и рассыпались ружейные залпы. Странные, скрежещущие звуки, точно много железа тащили по железу, тянулись в стоящей за окном мгле, и это наводило неподавимую тоску.

Вдруг: чок! С коротким звуком пуля, продырявив два оконных стекла, впилась в стену. Штукатурка шурша посыпалась на пол.

— Ой-ой-ой... убили, убили!.. Родимые!.. — заголосила нянька, мечась по комнате.

По голосу, каким она голосила, я угадал, что она не ранена.

— Няня, сядьте... сядьте!.. Не подымайтесь выше подоконника... Сядьте на пол... — старался перекричать я гул канонады.

Я сполз на пол, оделся на полу и — увы! — по Руссо, на четвереньках пробрался к детям. Оба мальчика тихо спали, ничего не подозревая. Я стащил их и по полу потащил во вторую половину квартиры, которая выходила окнами не к стреляющим.

Маленький стал отчаянно реветь, а старший тревожно говорил:

— Папа, пусти меня, я сам пойду...

— Нет, ничего, — говорил я, проползая в двери, — только не подымай головы.

— Разве опасно?

— Нет, нет... только не подымай головы!..

В дальней комнате собралась прислуга, хозяева с детьми. Мы лежали, прижимаясь, на диванах, на стульях.

Здесь, оказывается, тоже нельзя было стать во весь рост: трехлинейные пули, пробив две дырочки в окне, пронизывали внутренние стенки квартиры и впивались в кирпичи противоположной наружной стены вершка на полтора. То и дело слышалось: «чок, чок...» Осыпалась и падала штукатурка, подергивая пол белым налетом.

Стало светать. Время ползло томительно медленно. Орудия гремели. Женщины, уткнувшись лицом, плакали. Детишки расширенными глазами молча глядели на непривычную обстановку.

— Пойдемте посмотрим, — проговорил хозяин, бледный, с подергивающимися губами.

Нагибаясь, мы прошли в мою комнату и, прижавшись в угол, стали глядеть наискось в окна. Рассвело. С нашего пятого этажа улица и Пресненский мост, с которого стреляли, видны, как на ладони.

— Да они расстреливают дома!.. — вскрикнул хозяин, белый, как полотно.

Действительно, каждый раз, как из жерла орудия вырывалась длинная огненная полоса, в одном из домов таял клубочек дыма, брызгами разлетались осколки, валились кирпичи, чернея, зияли бреши, и мертво глядели провалы вместо окон.

Под нашим полом раздался гул. Густое облако зеленоватого дыма проплыло, относимое ветром, заслонив на секунду все, мимо окна. Под нами, в квартиру четвертого этажа попала граната.

Как сумасшедший, я кинулся, уже не соблюдая никаких предосторожностей, схватил мальчиков и бегом бросился по коридору. За мной бежали хозяева с детьми, прислуга. Пули то и дело чокали, и сыпалась штукатурка. Надо было сбежать по громадной, проходящей все пять этажей лестнице. Сквозные окна, освещавшие ее, были пестры от пулевых дырок. Громадные огни орудийных выстрелов, вспыхивающие на мосту, мелькали в глазах. Изо всех дверей квартир выскакивали полуодетые трясущиеся люди и бежали вниз. Дети, старики, женщины, мужчины, — все смешалось в живом потоке.

Мальчики крепко обвивали мою шею, и я каждую секунду ждал, что эти ручонки разом обмякнут, и тельце безжизненно обвиснет у меня на руках. Не разбирая ступеней, бешено мчался вниз, мелькая мимо безмолвно и страшно глядевших окон. Последняя площадка где-то далеко терялась внизу. Ноги подкашивались, стучало в висках.

Наконец выскочил во двор и облегченно вздохнул: двор был

закрыт зданиями и заборами. Но пришлось и отсюда бежать, — пули шуршали, дымясь снежком, по земле, по груде угля, наваленного у забора. На обывателя охотились с каланчи.

Я вбежал с мальчиками на руках в подвальное помещение.

Было темновато и сыро, и пахло мышами. Смутно виднелись силуэты сидевших, стоявших, прохаживавшихся людей. Звуки выстрелов глухо доносились сюда. Страшная, никогда неиспытанная усталость овладела, руки и ноги отваливались. Я сел на какой-то ящик. Надо было собраться с мыслями.

— Ня-яня!.. — капризно протянул маленький.

— Тсс... тсс... — испуганно прошептала какая-то женщина, бросаясь к ребенку и зажимая ему рот.

Все говорили шопотом, ходили на цыпочках, как будто в доме был покойник и как будто это от чего-то могло спасти.

В самом деле, где же старуха? Она или убита, или забежала в подвал другого корпуса.

Среди шопота слышалось:

— О-о, господи, за что наказуешь?..

Таким же придушенным шопотом кто-то молился в углу, и доносилось урывками:

— Боже правый... боже всесильный... в твоих руцех... избави и помилуй... от глада, труса и нашествия иноплеменников...

— Если разрушат верхние этажи — обвалятся, и нас тут раздавит...

Кто-то поднялся и стал щупать руками своды.

— Крепко.

— Да еще балки железные, пять домов выдержат.

— Да-а, выдержат!.. Если б люди строили, а то подрядчики...

— Не знали, что вы тут будете сидеть, а то бы прочно выстроили.

В другом отделении чернела громадная печь центрального отопления. Из-под колосников дрожа ложились на земляной пол красные полосы. Приходили и, протягивая, грели руки.

На кучке угля, сливаясь с темнотой, сидел кочегар, угрюмый и черный. Он был из Тульской губернии, ходил без места, и его из милости приютил управляющий. Он помогал около печки, и за это ему давали ночлег и кормили.

— Что, Иван, страшно?

— Все одно, — угрюмо послышалось из темноты.

— А как убьют?

— И убьют — не откажешься.

И, помолчав, прибавил:

— Нас давно убивают, не в диковину.

— Как?

— А так. У меня в семействе, опричь меня с женой, было восьмеро детей, а теперя — двое.

— Куда же те?

— Померли... с голоду... голодная губерния...

Опять в темноте постояло молчание. Дрожали красные полосы, и выскакивали, прыгая, раскаленные добела угольки. Все незаметно ушли в другое отделение. И мне вспомнилось, как бежал я по лестнице, прижимая ребят. И этот человек так же прижимал своих детей, и у одного за другим разжимались у них руки и обвисало исхудалое, изможденное тельце...

Я вышел, перебежал под пулями двор и стал подыматься по лестнице к себе на квартиру: надо было достать мальчикам потеплее одежду — в подвале было сыро.

Хрустя штукатуркой по полу в пустых комнатах, я прижался к стене и глянул в окно вниз.

Там, где еще час тому назад стояли громадные дома, полные детей, женщин, полные труда, забот и жизни, — бушевало море огня.

В раскаленных окнах среди ослепительного струящегося света, безумно прыгало, металось, кроваво кивало острыми головами, хитро высовывалось и пряталось что-то неуловимо призрачное, и дрожа мелькали, появляясь и исчезая, светлые одежды. И столько было в этом необузданного, мелькающего, змеинохитрого, что я иногда с ужасом видел живые существа. Торопливо, безумно весело играли в таинственно непонятную игру, и продолжалась необузданно дикая пляска.

Временами в раскаленной атмосфере разверзались черные провалы, и оттуда глядели обуглившиеся балки, и змеились перебегавшие искорки добела накаленного железа.

Это веселье и движение было мертво.

Огонь бушевал, пожирая целый ряд домов. На другой стороне тоже горело. За Средней Пресней подымался колоссальный столб дыма. Дома загорались разом во многих местах. Изо всех окон, дверей необыкновенно дружно выбивался дым, клубясь и застилая. Десятки языков со всех сторон лизали стены, крышу. Слышался треск, шорох, несло дым и искры. За Пресненским мостом море пожара. Крыши обрушивались, и уцелевшие почерпелые трубы, как призраки разрушения, высились среди дыма и пламени.

Было что-то громадное, что-то непередаваемое, противоестественное. Было разрушение города.

Я оцепенело глядел на совершающееся, как вдруг сухой мгновенный звук цоканья заставил вздрогнуть: пуля, пробив стекло, расщепляя дерево, пронизала две двери и пропала в стене другой квартиры. Надо было уходить. Я взглянул в последний раз вниз и не мог оторваться. У бушующих пожаром зданий бегали торопливые фигуры.

Они прибегали откуда-то, молитвенно подняв руки вверх, подбегали к загорающемуся дому, бросались вперед головой, и в клубах густо валившего из окна дыма воровато мелькали ноги.

Несколько секунд тянулись мучительно медленно. В окнах молча крутился черный дым. Потом разом появлялась опаленная

голова и вся закопченная фигура. Отбежав несколько шагов, задымленный человек, ловко вышибая ударом в дно ладонью пробку из сотки или полубутылки и далеко запрокинув голову, торопливо лил дрожащей рукой в рот весело колеблющуюся, кроваво искрящуюся на огне водку. Горела казенная винная лавка.

А кругом реяли пули, гудел пожар, лопались стены, проваливались крыши.

V

В подвале попрежнему стоял гнетущий шопот. Пробравшаяся сюда няня рассказывала детям сказки:

— Вот серый волк и говорит Ивану-царевичу: «Иван-царевич, садись ты на меня, понесу я тебя через луга и леса, через горы и дубравы, через моря и реки...»

Детские глазенки широко глядят на морщинистое лицо:

— Няня, ты чего плачешь?

— Боже мой, неужели мы не выберемся отсюда? — шопотом, полным слез и отчаяния, говорит больная, неподвижно лежа на кровати.

— Не волнуйся, дорогая... тебе так вредно волноваться, — говорит, наклоняясь у изголовья, брат.

— Вредно волноваться, — горько усмехается она.

Глухо доносятся теперь где-то дальше выстрелы передвинутых орудий.

— А серый волк откинул полено и пустился скоком...

— Что такое полено? — звенит тоненький голосок.

— Тише. Это волчий хвост.

Никто ничего не ел. Детей поят холодным чаем.

— Нет, это невозможно. Надо же отсюда выбраться.

— Да вот подите и узнайте.

— Куда же я пойду — стреляют... Подите вы.

— Я бы пошел, да ведь... дети. Что они будут делать, вдруг... понимаете...

— Я бы тоже пошел — мать у меня... в Туле... единственный кормилец...

— Надо дворника. Яков!

— Чего изволите?

— Сходи узнай, — можно нам отсюда выбраться?

Все дружно накидываются на дворника:

— Ведь это же невозможно...

— Не сидеть же нам тут, пока расстреляют или сожгут...

— Чорт знает, что такое... Надо же меры принимать, чего же ты ждешь?..

Дворник уходит.

— А я вот что скажу, — слышится глухой ровный голос, — я вот что скажу: пожар подбирается и к нам...

— Ах, оставьте, оставьте, пожалуйста... Терпеть не могу, когда начинают...
— Какой там пожар?.. Куда подбирается?.. За десять верст от нас...
— Слава тебе, господи, наш дом громадный, кирпичный и стоит отдельно...
— Вы — вечно!..
Его ненавидят. А он, помолчав, так же ровно и глухо говорит:
— Отдельно!.. А ведь заборы-то тянутся к нашему. А возле забора у нас, сами знаете, какая громада угля... Загорится — косяки, двери, полы начнут гореть. А то — кирпичный!.. Ну, а тогда не выскочишь, ход-то один, мимо угля, а полезем в окна в переулок, — в первую голову расстреляют, сами понимаете...
Все понимают — он говорит правду, но его продолжают ненавидеть, отворачиваются, перестают говорить.
Входит человек в картузе и фартуке.
— Вы кто такой?
— Приказчик из мелочной лавки.
— А-а, это которая горит... От гранаты загорелась?
— От гранаты! — злобно говорит приказчик. — От гранаты бы не загорелась. Ни один дом от гранаты не загорелся. После стрельбы, когда весь квартал очистили от дружинников, пришли солдаты. Ну, мы обрадовались, — значит, успокоилось все. Входит офицер и говорит: «Уходите все из дому». Мы рот раскрыли. «Уходите сейчас, жечь будем». Стали просить. «Некогда нам дожидаться, сейчас же уходите». Насилу хозяин на коленях умолил, — четыре ящика товару позволили взять. Солдаты сейчас же облили керосином и зажгли в пяти местах. А сколько квартирантов, — битком, и у всех имущество.
Что-то слепое, холодное и липкое заползало, постепенно наполняя подвал... Точно чудовище с громадным мокрым тяжелым брюхом улеглось и бессмысленно глядело на нас невидящими очами, глядело безумием жестокости.
— А сейчас подожгли дом с угла, возле вас; видят — ветер в ту сторону, ну, и подожгли, чтоб весь порядок...
— А-а!!.
У всех разом охрипли голоса.
— Господа... сию минуту... надо завесить... Ведь генерал-губернатор... И тише... ради бога, тише...
И окна завесили, и все ходили на цыпочках, и опять говорили шопотом. Стало совсем темно, только на потолке, пробиваясь сквозь щель окна, ложилось отражение зарева. И эта кровавая полоса то разгоралась, то бледнела, и все с замиранием следили за ней.
— Да где же дворник?.. Боже мой, где же дворник?.. — разносился истерический шопот.
— Яков, что же ты пропал? Что ж ты не узнаешь, когда нам можно отсюда выбраться?

— Да, узнаешь... Подите да узнайте. Я вон высунулся, а солдат мне отмахнул. Я говорю: «дозвольте объяснить», а он как ахнет — так угол у ворот и сколол.

Тихий, покладистый и услужливый Яков сейчас говорит, держит себя свободно и независимо: он уже не дворник, он теперь ровня всем, кто тут есть, ибо подвергается одинаковой опасности сгореть заживо или быть расстрелянным.

Ночь или день — трудно различить; должно быть, ночь, и полоса на потолке становится кровавее.

— Да мне одно ведро!.. — звонко и дерзко, нарушая, как искра — темноту, напряжение и оцепенелость, раздается среди подавленности, тишины и мертвого шопота мальчишеский голос.

— Тссс!.. Тише!.. — шипят все, выскакивая, и машут руками. — Тише... ради создателя, тише!

Мальчуган лет одиннадцати, красномордый, с круглым лицом, скаля веселые белые зубы, ловко подставляет под кран ведро, и струя, пенясь, наполняет шумом угрюмое помещение.

Его обступают.

— Да ты откуда?

— А во, наискось, из белого дома...

— Значит, по улице ходить можно?

— С превеликим удовольствием... куда угодно.

Разом распадается давившая тяжесть, чудовище исчезает. Все шумно, наперебой говорят, торопливо и радостно.

— Ну, вот, я же вам говорил: не звери же они. С какой стати они будут жечь и расстреливать больных, детей, женщин... людей, совершенно ни к чему не причастных.

— Слава тебе, господи... слава тебе, царю и создателю... — безумно радостно крестится, приподнявшись на локте, больная, подняв глаза к потолку.

Слышатся счастливые всхлипывания.

— Дети, одевайтесь!

— Иван Иваныч, куда вы мои калоши дели?

— Значит, не стреляют?

— Стреляют! — весело бросает мальчишка, заворачивает кран, и мгновенно наступает мучительная, давящая тишина. — Двоих зараз подстрелили. Лупят и по переулку, и по улице, и из Зоологического.

— Как же... как же ты?

— Да хозяин грит: «чайку хоцца... Сбегай, грит, Ванька, принеси ведро...» У нас водопроводу-ти нету, водовозы боятся, не ездиють... А хозяин-ти с хозяйкой в погребу сидят, со страху рябиновку тянут, как пуговички... — мальчишка заразительно хохочет, подхватывает ведро и исчезает.

Снова давящая тишина, снова шопот, снова покойник в доме.

Ребята бегают между наваленным хламом, ссорятся, плачут, смеются, визжат, и взрослые, останавливая, поминутно шипят на них.

VI

— А пожар-то больше, — слышится спокойный, ровный глухой голос.

— Да вы откуда знаете?! — злобно и с ненавистью накидываются на него.

— А вон!

И все подымают глаза к кровавой полоске на потолке. Она яркая. Потом понемногу тускнеет, тускнеет. И все жадно тянутся к ней воспаленным, горячечным взором.

— Ну, вот видите, тухнет.

— Боже мой, неужели же!

— Деточки... дорогие мои... родные мои... вы спасены...

Все подымаются и все, даже дети, глядят в одно место на потолке.

— Да это дымом заволокло, — угрюмо слышится все тот же спокойный глухой голос.

— А-а, оставьте!.. Каркает ворона на свою голову...

Но на потолке становится опять светлее, и кровавая полоса, мигая и шевелясь, равнодушно смотрит, как приговор.

Все опускают головы. Что-то чудовищное по своей нелепости охватывает душу. Иногда кажется, все — сон, и хочется проснуться. Я гляжу в пол и прячу преступную мысль: все сгорят, а я останусь с детьми цел.

И я торопливо и беспокойно бегаю воображением по двору, заглядываю в сарай, за заборы, — ищу маленькой дырки, в которую бы можно пролезть. Взять детей и проползти на животе через Зоологический сад — но там особенно усердно расстреливают и расстреляли сегодня служителя, который шел кормить зверей. С другой стороны колышется пожар. По переулку свистят пули... Выхода нет...

Я с усилием дышу стесненной грудью. Подымаю голову, встречаюсь с злобно сверкающими глазами и в них ловлю ту же мысль: все сгорят, а он один останется.

— Гм... дымком отдает...

И хотя его ненавидят, ненавидят его глухой голос, но не возражают; и в горле у всех щекочет горечью, а глаза ест. Дыма на самом деле нет, так как ветер пока клонит его в другую сторону, но все чувствуют его.

Кровавая полоса разгорается. Глухо отдается выстрел: кого-то еще?.. А те, кого прикалывают штыками?.. Ткнут в сердце, другого, третьего по порядку, — спокойно и без хлопот.

— Ночь бесконечна.

— Который час?

— Должно быть, около трех.

— Боже мой, еще четыре часа муки!..

Я достаю часы, гляжу, протираю глаза, опять гляжу.

— *Восемь часов!*

— Не может быть... не может быть... — шелестом ужаса проносится. — Вашн стоят...

И изо всех карманов лезут часы.

— Восемь...

— Без пяти восемь...

— Десять девятого... — подавленно слышится со всех сторон, и все прикладывают часы к уху.

И тогда все замолкают и сидят неподвижно, как каменные. Дети в разнообразных положениях в разных местах спят.

Все молчат, но подвал полон странных шепчущих звуков, шороха, беспокойного и трепетного, тревожного потрескивания. Разгорающийся пожар ведет свой собственный разговор, и шипение, треск дерева, звуки осыпающихся кирпичей воровски вползают, приглушенные, придавленные тяжелыми сводами, толстыми стенами, наполняя глухую темноту тревожным ропотом отчаяния и тоски.

Слышатся чьи-то всхлипывания, подавляемые рыдания. Больше, больше. Вырываются неудержимо, заполняют подвал, подавляя стоящий в нем шорох и шопот. Молодая женщина упала на колени, спрятала лицо в ладони, рыдает:

— Зачем... зачем обман?! Любовь, счастье... Если это для того, чтобы на твоих глазах погибли дети, не надо, не хочу... не надо счастья... не надо обмана... не хочу!..

Рыдания неудержимо бьют ее. Все молчат. Ни у кого не находится слова утешения. Каждому мучительно жалко самого себя. Грозно рдеет кровавый потолок.

А время остановилось, остановилась ночь, остановилась мысль, только тесный круг одних и тех же ощущений устало давит душу.

VII

— Они пришли!.. Они пришли!! — исступленно несется истерический крик.

Все вскакивают с изуродованными страхом лицами, готовые на самое худшее.

— Кто?! Солдаты?.. Артиллерия?.. Расстрел?..

— Они пришли... они пришли!..

— Да кто?.. Кто?..

Ее злобно трясут за плечи, а она бьется в судорожной истерике...

— Кто же? Кто? Говорите!..

— Они... пожарные...

— Тушат пожар?..

— Нет... разбирают заборы, которые тянутся к нам... Нас не хотят жечь...

Всеобщая истерика заполняет подвал. Женщины на коленях ползут в угол, где, по предположениям, икона, крестятся, хохочут,

обнимают друг друга, целуют детей. Проснувшиеся перепуганные дети отчаянно ревут. Я выскакиваю в кочегарку.

Печь почти потухла. Иван полудремлет, прислонившись к углю, — для него все равно. Публика понемногу успокаивается. Все входят с радостными, улыбающимися лицами, пожимают руки, говорят громко. Всем жалко друг друга, все любят друг друга. Ночь быстро проходит. Уже десять... Половина одиннадцатого...

Хочется спать, и чувствуешь, как сладко, как крепко заснул бы, но негде прилечь, — все занято. Детишки понемногу угомонились... Красная полоса рдеет на потолке, но на нее никто не обращает внимания.

— А знаете ли, — слышится глухой голос, — я бы убрался подобру-поздорову; по крайней мере воспользовался бы мирным настроением и вывел бы женщин и детей... Вернее было бы...

Но ему прощают, даже его теперь любят.

— Зачем же? — говорят ему мягко, и в этой мягкости слышится: «Что с вас возьмешь? закон вам не писан». — Раз приняли меры против угрожающего нам пожара, значит, находят, что в доме сидит ни в чем не повинный народ.

Неодолимая усталость охватывает. Я ставлю локти на колени, кладу голову на руки и отдаюсь полудремоте. Иногда мне хочется расхохотаться, — до того нелепо и бессмысленно наше положение.

Потом мне начинает сниться, бессвязно и запутанно, и я борюсь со сном и сновидениями, с усилиями подымая брови, открываю веки, и они опять, отяжелевшие, незаметно падают. И все кажется красным, и в этой густой, приторной красноте отражаются мохнатые человеческие лица, слышится кровавый шопот разгорающегося пожара, и солдаты трудятся, стараясь всадить в меня штыки, и штыки заворачиваются о мое тело, солдаты торопливо их распрямляют и опять всаживают, и я кричу им: «Скорей... скорей!..»

И кто-то кричит над моим ухом: «Скорей... скорей!..» и трясет меня за плечи. Я открываю глаза: красный потолок, в красноватой полумгле головы, руки, ноги, как будто оторванные и лежащие в беспорядке, и опять закрываю. Но опять трясут. Я подымаюсь.

Стоит дворник. Лицо тревожное.

— Солдаты... Страсть их сколько... В окна в сторожку заглядывают... Сказывают, зараз расстреливать дом будут...

Разбросанные в беспорядке руки, ноги, головы шевелятся, отовсюду подымаются люди с заспанно-испуганными лицами.

— Что?..

— Кто говорит?..

— Откуда?..

— Уже два часа... а я все думаю — я сплю.

— Боже мой, какая долгая, какая мучительная ночь!..

— Да не может быть. За что будут расстреливать? Забор же разобрали...

— За что? А за что расстреливали целый день?

— Надо кого-нибудь послать.

Все глаза обращаются на обладателя спокойного глухого голоса. Он подымается и уходит. Потом приходит через минуту.

— Там не солдаты, а звери: я думал, меня посадят на штыки.

— Требуйте, чтобы отвели к офицеру.

Опять уходит. Ждем. Проходит двадцать минут, полчаса... Томительное ожидание разрастается в беспокойство. Поминутно лазают за часами.

— Нет его!..

Прислушиваются к малейшему скрипу, но звука шагов нет. Одна и та же страшная мысль проползает в мозгу: «Убит».

— Его убили... — слышу я шелест над своим ухом. — Не говорите только вслух...

— Не говорите только вслух, — шепчут все друг другу.

И каждый ревниво следит в кровавой полумгле, чтобы не прочитали в его глазах страшной мысли. Больше всего боятся ужаса, паники, когда роковое слово будет произнесено.

Вот шаги. Все с секунду напряженно вслушиваются. Может быть солдаты? *Он.*

Бросаются.

— Что?..

— Сказал?..

— Будут?..

Он ровно говорит таким же спокойным глухим голосом.

— Вывели со двора. Все время штыки на меня. По переулку все освещено пожаром, ни души... «Куда же вы ведете?» — «Иди...» Мне стало казаться, — приколют где-нибудь у забора. Одним больше, одним меньше... Сколько таких трупов валяются по Москве. Вывели на улицу. Светло как днем. Стоит офицер. Лица я у него не видал — нету лица, одни усы, холеные, громадные, смотрят к бровям. Излагаю ему: «дети, женщины, больные...» Он стоит ко мне спиной. Потом небрежно цедит сквозь зубы: «Если завесят окна, если никто не будет подходить к ним, никто не выйдет из дому, и если... *со стороны дома и двора не раздастся ни одного выстрела, мы... не будем расстреливать...*»

В доме снова покойник. Все расходятся по местам. У всех окостеневшие от напряжения лица. Отблеск пожара играет, шевелясь и трепетно озаряя, но в широко и напряженно открытых глазах стоит глухая тьма. Шорох и ропот пожара; попрежнему придавленно, суетливо и тревожно шепчутся, но в ушах этих страшно прислушивающихся людей — могильная тишина: одного ждут, одно жадно ловят, — глухой и слабый звук рокового выстрела, который с секунды на секунду раздастся там, за стеной.

Я с тоской гляжу на ребят и ищу глазами место, куда бы их положить, если начнут стрелять в окна. Но тут нет безопасного уголка: мостовая в уровень с окнами, и пули усеют все пространство. Теперь выгоднее было бы подняться в верхний этаж, но по-

казаться в дверях — быть расстрелянным. Мне опять хочется расхохотаться. Я не гляжу на часы, прислоняюсь и засыпаю крепким, без сновидений, черным сном.

— Сидит, сидит за углом, где забор сходится с нашим домом... там удобно *ему,* не видно...

Этот зловещий шопот входит в мои уши и раскаленными каплями просачивается в мозг. И на меня смотрят хитро злые глаза под хитро поднятыми бровями и голое морщинистое лицо, все перекошенное хитрой и злобной улыбкой.

— ...Он ждет только, чтоб помучить нас... Он наслаждается нашими лицами, нашей мукой ожидания...

— Да зачем ему...

— ...А!.. хи-хи-хи, как же зачем?.. Весь черный, обугленный... Все сгорело: столы, кровати, платье, дети, жена... И он не может смотреть равнодушно на наших детей... гнездится там... и...

И в мои глаза близко-близко впиваются злорадно сверкающие зрачки под косо поднятыми бровями, и заглядывает голое, морщинистое, перекошенное лицо.

— ...И *выстрелит* два раза в воздух!..

Я стряхиваю теребящие меня за плечи крючковатые, костлявые пальцы.

«Настанет день, и все кончится, и все будет попрежнему, но останется безумие...»

. . . .

Никогда не встречал я с таким ужасом счастья брезжущий день, как теперь. Я вскочил и торопливо одел детей.

— Ну, что, можно уходить? — с замиранием спросил я, прислушиваясь к одиночным выстрелам.

— Конечно, ручаться нельзя... — говорит дворник. — Руки кверху, и зараз надо... Никак опять начинают...

Я схватываю за руки мальчиков и выскакиваю из подвала. Вид обугленного пожарища и разрушения поражает.

Прокаленный мороз перехватывает дыхание. Маленький зевает, как вытащенная рыба, задыхаясь и выпучив глазенки, и изо всех сил бежит рядом, торопливо семеня ножками.

— Папа, — говорит старший, испуганно озираясь, и так же бежит рысцой возле меня, — в нас выстрелят?

— Нет, нет... Только скорей... скорей, детки... Скорей... скорей, пожалуйста!..

В забор сухо плюхает шальная пуля. Я каждую секунду жду сзади залпа. Раздражающе звонко хрустит снег.

— Скорее, скорее до угла... до угла скорее!..

Осталось пятнадцать... десять... пять шагов... Мы добежали... Мы заворачиваем... Мы... спасены!..

Москва 8—18 декабря 1905 года.

ПОХОРОННЫЙ МАРШ

I

Они шли среди огромного города густыми чернеющими рядами, и красные знамена тяжело взмывали над ними, красные от крови борцов, щедро омочивших их до самого древка.

Они шли между фасадами гигантских домов, испещренных лепными орнаментами, статуями, мозаикой, живописью, равнодушно и холодно глядевших на них блеском зеркальных окон. Город шумел обычной, неизменяемой жизнью. И среди каменных громад, среди заботливо, равнодушно торопящейся по тротуарам публики — над их бесчисленными рядами, как тысячеголосое эхо, носилось:

— ...рабочий народ!..

И гордо и чуждо неслись эти клики.

Гордо неслись над черными рядами, бесконечно терявшимися в изломах улиц.

Чуждо звучали среди каменных громад, среди роскоши зеркальных витрин.

С веселыми безусыми лицами шли молодые.

Сурово-сосредоточенно шли старики, быть может, все еще борясь с таившейся в глубине души привычкой рабства, с темной боязнью новизны впечатлений, все опрокинувших. И с испуганным изумлением оглядывались они на руины вчерашнего дня.

Мелькали черные козырки, сапоги бутылкой, пиджаки, черное пальто. Носились шутки и остроты, вместе с толпой плыл говор, гомон, и, местами покрывая веселыми взрывами, вырывался смех.

— Товарищи, держите равнение!..

— Да все Ванька выпирает.

— Вишь, у него брюхо колесом, и забастовка его не берет...

— С запасом, стало...

. . . .

— Да-а... приходим, сейчас дежурный: что угодно? Так и так, депутация от рабочих. Ждем. Выходит генерал. Ну, мы скинули шапки...

— А вы бы и штаны скинули...

— Ласковее бы стал.

— К ноге дал бы приложиться...

Рассказчик конфузливо-сердито замолкает, и по рядам густо несется добродушно-иронический смех.

Весело, беззаботно идет толпа, как будто эти чистые, прямые, широкие улицы, эти фасады, испещренные лепными украшениями, как раз были предназначены для них, случайных здесь гостей, для этих черных рядов, развертывающих почуявшую себя силу.

И ряды проходят за рядами, и реют знамена, и плывет:

Нам не ну-ужны зла-ты-е ку-уми-и-н-ры...

и разрастается, захватывает и, густо дрожа, заполняет улицы, площади, овладевает городом, подавляя на минуту его беспокойно-крикливую жизнь, разрастается в нечто могучее, могучее не своей наивной неуклюжестью поэтической формы, а всколыхнувшимся чувством глубоко взволнованного моря, почуявшего человеческое. И в этом густом, все заполняющем гуле шагов слышалась гордая сила, познавшая самое себя.

II

— Товарищи!

Его высоко поднимали над чернеющим морем голов, и далеко был виден он, и голос его звучал отчетливо и ясно. Передние ряды задерживались, задние подходили, становились все гуще, и текучая людская река останавливалась, как в молчании останавливаются шумные воды, прегражденные в русле своем.

Звук шагов замер и только глухо и мощно доносился из дальних улиц.

— Товарищи!.. Даже окинуть я не могу ваших рядов. Но... — он поднял руку, и голос его скрепчал, — не в численности наша сила. Вот мы идем, идем безоружные, с голыми руками, на которых только мозоли. Перед физической силой мы — слабее ребенка. Десяток вооруженных людей может затопить нашей кровью улицы. Почему же враги в злобном ужасе озираются на нас?

Он приостановился. И стояло великое молчание. И он окинул неподвижное чернеющее море и прислушался к далекому мощному гулу еще идущих.

— Не руки наши страшны врагам, — страшны сердца, страшно наше прозрение, страшны горячие сердца, бьющиеся

неутолимой жаждой свободы! Как черная зияющая бездна, раскрылось наше сознание. Мы увидели наше глубокое рабство, мы увидели наших поработителей. Собравшись, мы стали на одном краю бездны, а наши поработители — на другом, и поняли мы: нет нам примирения. И они поняли: нет им примирения. И в этом ужас наших врагов!..

Он говорил им о вечной борьбе поработителей и порабощенных, говорил о железном ходе исторической жизни, который неумолимо сотрет главу змия власти человека над человеком, говорил о вещах, которые они тысячи раз слышали, знали наизусть, сами могли говорить, и все-таки жадно, не отрываясь, ловили его слова, ловили много раз слышанное, ибо оно не утрачивало для них девственной прелести новизны. Как любовь для юноши, старое для человечества было вечно ново для человека.

И снова течет черная река между неподвижными громадами, яркими пятнами краснеют знамена, и слышится говор, гомон и смех, и, мешаясь с непрерывным гулом шагов, торжественно плывет:

На-ам не ну-ужны зла-ты-ые ку-у-ми-и-ры...

А из дальних улиц все выходят и выходят ряды.

Далеко в дымке теряющейся улицы смутно засерело, как сереет печальная отмель в пустынном море, плоская и безлюдная, печальная отмель, над которой носятся белые чайки. Все подняли головы, раздулись ноздри, собрались складки между бровями

III

— А-а!..
— Где?..
— Вон...
— Какие?..
— Не видишь...
— Они!.. Они!..

Как тревожные ночные звуки, срывался говор, передаваясь трепетом неопределившегося беспокойства.

А серая отмель вырастала и из печальной и скучной становилась грозной. Ясно стало: это люди, серые, одинаковые. Солнце играло на остриях оружия.

Было у них одно лицо, неподвижное, немое, как каменное лицо валуна среди мшистых скал, от века нагроможденных. Тусклые глаза мутно глядели на приближавшихся.

А те шли тесно, взявшись за руки, и над чернотой бесконечных рядов кроваво реяли знамена, и стоял все тот же густой, непреградимый, упорный, все заполняющий гул шагов.

IV

Офицер полуобернулся к солдатам и сказал слова команды. Горнист поднял рожок, раздвинул усы, приставил к губам, надул щеки. И разом вся огромность, все значение больно сверкавших штыков, черно зиявших пулеметов перешло к одному человеку в серой шинели.

Слоъно испытывая всю мощь, весь ужас, который сосредоточился в нем, он оторванно бросил этим тысячам жизней три коротких звука.

Дружно блеснув, покачнулись штыки, и сотни их послушно легли на руку, остро протянулись к надвигавшемуся живому морю, безмолвно глядя чернеющими дулами. Передняя шеренга серых людей опустилась на колено, и пулеметы жадно глядели на неумолимо приближавшиеся живые тела.

Смолк говор, потух смех. Настала звенящая тишина и все больше заполнялась звуком шагов. И этот нарастающий гул шагов наполнил мертвое молчание и стоял над улицами, площадями, царил над примолкшим городом.

Разрушая напряжение, над тысячами обреченных, тысячами молодых и старых голосов могуче зазвучал похоронный марш:

> Мы же-ер-тво-ю па-а-ли в борьбе-е ро-ко-вой...

Как прощание восходило пение к бледному небу, к кровавому солнцу, к каменному городу, затаившему шумное дыхание, и народ, толпившийся по переулкам, жавшийся вдоль тротуаров, народ снимал шапки им, идущим.

> ...лю-бви без-за-вет-ной к на-ро-о-ду...

Как погребальный звон, плыло над ними:

> ...мы от-да-ли все, что могли, за не-го...

Лица были бледные, глаза светились, и шли они, как обреченные.

Розовато дымящийся туман окрашивал солнце, дома, лица, и острой волной набегал кровавый запах, и чувствовался на языке приторно знакомый привкус.

Пространство между надвигающимся погребальным шествием и серыми шинелями, страшное пустотой смерти, таяло, как догорающая жизнь.

> ...но гроз-ны-е бук-вы дав-но на сте-не
> чер-тиг ру-ка ог-не-ва-я!..

Тысячи людей шли, тысячи людских голосов звучали погребальной песнью, торжествующей песнью смерти, и на лицах и на белых стенах домов траурно реяли черные тени знамен.

V

Офицер, с бережно зачесанными кверху усами, холодно мерял привычным глазом неумолимо сокращающееся расстояние, блеснул, подняв руку, саблей, и губы шевельнулись, произнеся последнее слово команды.

Страшные секунды ожидания покрылись:

...прощайте же, бра-атья!..

И в то же мгновение исчезло пространство смерти, затопленное живыми, движущимися рядами. Как сверкнувшая вода, блеснули покорно поникшие к земле штыки, и солдаты, растерянно и радостно улыбаясь, потонули в человеческом потоке; лица их были бледны, и у каждого было свое особое молодое лицо. Растворилась серая преграда в бесконечно чернеющих надвинувшихся рядах, как скатившийся с кремнистого берега гранитный валун в набегающих волнах.

Отвернувшись, офицер опустил ненужную холодную саблю. Глупо глядели пулеметы.

Десятки тысяч людей шли, пели гимн смерти, и торжественно и могуче из могильного холода и погребального звона вырастала яркая, молодая, радостная жизнь и сверкала на солнце, и играла на лицах тысяч людей, и народ, густо черневший вдоль улиц, несмолкаемо и исступленно приветствовал их.

Кровавая дымка подобралась и растаяла. Исчез приторный привкус и острый, раздражающий запах.

Солнце сияло, и город снова зашумел тысячами задержанных звуков.

СРЕДИ НОЧИ

I

Они взбирались среди молчаливой ночи между угрюмо и неподвижно черневшими соснами. Под ногами с хрустением расступался невидимый мокрый снег или чмокала также невидимая, липкая, надоедливая, тяжело хватавшаяся за сапоги грязь.

Внизу, у моря, тепло стлалась синяя весенняя ночь, а здесь ни одна звезда не заглядывала сквозь мрачную тучу простиравшейся над головами хвои, и все глуше, все строже становилось по мере подъема.

Тот, который пробирался впереди и которого так же не видно было, как и всех остальных, остановился, должно быть, снял шапку и стал отирать взмокший лоб, лицо. И все остановились, смутно выделяясь, шумно дыша, сморкаясь, вытирая пот, и заговорили разом и беспорядочно.

— Ну, дорога — могила!..

— Ложись, зараз закопаем.

— Братцы, кисет утерял... сука твоя мать!

Загорелись спички, красновато зажглись двигавшиеся в разных местах папиросы, освещая временами кусок носа, ус, часть заросшей щеки или выставившийся мохнатый конец сосновой ветви. И когда немного отдохнули и дыхание стало ровное и спокойное, опять стояло строгое, всепоглощающее молчание.

— Вот когда в Грузии служил, тоже горы... фу-у, ну и высокие... Так там завсегда — зима, и летом — зима, так снег и лежит, на низу — жара, а там — снег.

Снова слышны тяжелые срывающиеся шаги, глубокое дыхание и хруст невидимого снега, становившегося морознее, суше, скрипучее. И воздух был острый, звонкий, покусывавший за уши. Иной раз люди проваливались, слышалась возня, крепкие слова и учащенное, прерывистое дыхание.

Давно погасли папиросы. Последние окурки, тонко чертя огнистый след и рассыпая золотые искры, полетели и несколько секунд во тьме красновато светились на снегу и тоже потухли.

— Должно, года через два дойдем...

— Сдохнешь где-нибудь под сосной, покеда дойдешь.

— Да куда мы идем, ребята?!. Киселя хлебать...

— А все Ехвим... Пойдем да пойдем, а куда пойдем — сам не знает...

И все шли. Нельзя было остановиться, остаться одному, свернуть, пойти назад. Кругом — кромешная темь, молчаливые сосны. Невидимая тропка уже на втором шагу терялась под ногами.

Временами наплывало мутное и влажное, и, хотя было темно, хоть глаз коли, оно казалось белесым, бесформенным и меняющимся. Тогда охватывала расслабленность и апатия, хотелось лечь на снег и лежать неподвижно в поту и испарине. Потом так же беззвучно и бесследно проносилось, и стояло молчание и нешевелящаяся тьма.

В темноте высоко засветился огонек. Пробираясь, скрипя по холодному снегу, то и дело подымали головы и глядели на него, а он так же одиноко глядел на них в пустыне черной ночи.

— В жисть не узнаешь, где мы теперь.

— Вот, братцы...

— Ехвим Сазонтыч, голову тебе оторвем, ежели да как заведешь...

— Так лезть будем, скоро до царствия небесного долезем.

— Ей-богу, долезем... Хо-хо-хо!..

И в горах, поглощенных тьмой, хохотом перекликнулись человеческие голоса.

Ночь сурово покрыла строгой тишиной говорящих.

— А-а... гляди, гляди!..

— Братцы, чего такое?

— Наваждение!..

Посыпались восклицания удивления. Им ответили ночные голоса. Все разом остановились. Все попрежнему было поглощено зияющей тьмой, но снеговая стена, уходившая в черное небо, слабо выступала таинственной синевой. Призрачно чудился тихий, странный, неведомый отсвет. По снежной, едва проступавшей стене двигались гигантские силуэты, так же внезапно остановились и стали оживленно жестикулировать, как жестикулировали остановившиеся люди.

Все, как по команде, обернулись. Черная бездна, до краев заполненная густой тьмой, простиралась, и не было ей конца и краю. Далеко внизу, на самом дне, голубым сиянием сияло множество огней. Они ничего не освещали, кругом было также мрачно, но казались веселыми, отсвет их добегал через десяток верст, и от людей призрачно ложились смутные, едва уловимые тени на слабо озаренный снег.

Это был город.

Долго стояли и молча смотрели на далекие сияющие огни.

— Ночь, а господа теперича самое гуляют по трактирам да по гостиницам али в карты.

— Господа гуляют, а нас нелегкая несет не знать куда.

— Диковина... далече, а светит.

— Электричество, известно.

— Ну, айда, что рот-то разинули, не видали.

Огонек, державшийся впереди среди черной ночи, пропал, потом опять мелькнул, вызывая надежду, снова пропал, и разом раздвинулся между смутно выступившими соснами красновато освещенный четыреугольник окна, слабо ложась полосой на снег и ближние стволы.

Все шумно столпились у неясно обрисовавшейся стены и дверей. Стукнули кольцом, и эхо гор откликнулось. Отзвук, длительный, мягкий и унылый, далеко покатился среди ночи. Ночь простиралась ровная, одинаковая, всепоглощающая, как будто в ней не было ни леса, ни гор, а одна ненасытимая, заполненная мраком, звучащая пустота.

— Эй, дядя Семен, отпирай!

— ...а-**а**-а-ай!.. — мягко слабея, пропадало во мгле.

II

Стоны женщины неслись, то слабея, то усиливаясь, то совсем замолкая. Все те же приступы невыносимой боли, тот же безжалостно давивший, черный от копоти потолок, и тоненький, как змейка, звук коптящей лампочки на стене.

Бесконечная ночь, упорно тяжело глядевшая в слепые окна, мутно белела снегами. Ребятишки, измученные за день, забытые и голодные, в самых неудобных положениях спали, разметавшись по нарам.

— Оо... о-о-ооох-ох... ох... о-о-о!.. Господи, смертынька моя... ой-ой-ой... батюшки!..

Совсем молоденькая, с горячечным румянцем на щеках, со свесившимися на одну сторону волосами, беременная баба, в пестрядинной рубахе, корчилась на застланной соломой и покрытой дерюгой кровати, и голова ее металась из стороны в сторону.

Бородатый, лет за сорок, второй раз женатый мужик, с пятерыми детьми от первой жены, наклонившись, сосредоточенно, молча и неуклюже месил засученными, в волосах, руками тесто. Оно пучилось, лопалось пузырями, назойливо липло к рукам, особенно цепко держась на волосках, а он хмуро соскребал и сильным движением сбрасывал плюхавший в общую массу комок.

— Тять... тять... бб... бл...833блезли... двя... двя... двя... — торопливо и сонно забормотал кто-то из ребятишек.

Мягко ступая, степенно вышел на середину кот, прижмурившись, поглядел на хозяина, на тоненько поющую лампочку, повел

хвостом и так же медленно и важно направился к печке, свернулся клубочком и, зажмуриваясь, сладко замурлыкал.

— Ооо... оохxоо-хо-хо... ооохх!.. смерть моя!.. Сём, а, Сём!..

— Чево?

— Помираю я... попа бы... господи...

Она заплакала.

Мужик, с одной и той же, никогда не покидавшей думой на лице, молча месил, потом сосредоточенно стал обирать с мускулистой руки налипшее тесто.

— Все бабы родят, не ты первая.

И, помолчав, мотнул головой на нары:

— Вона... пятеро.

Кот, задремывая и заводя веки, перестал мурлыкать. Женщина замолкла. Только лампочка тоненько тянула жалобу, да ночь мутно глядела в окно, и все та же, никогда не оставляющая дума лежала на обветренном, с заросшей бородой лице мужика.

Нарушая тишину, безлюдье и неподвижный ночной покой, стукнуло снаружи кольцо, послышались голоса, скрип шагов по снегу, и в горах многоголосо откликнулись ночные голоса, слабея и замирая.

Мужик перестал месить, поднял голову, прислушался и стал счищать с рук налипшее и падавшее кусками тесто.

— Ты, Ехвим?

— Я... отворь!

Дверь отворилась, и вместе с клубами холодного воздуха вошел плечистый, с ухватками лесного медведя парень, с голым, безбородым, безусым лицом. За ним, толпясь, стали пробираться другие, заполняя маленький чуланчик.

— Во, народу привалило.

Хозяин крякнул:

— Э-эхх!.. А у меня дела,— и почесал в затылке.

— Что?

— Жана родит.

— Н-у? Что так рано?

— Да, рано... так мекал две недели еще, а она во, не спросилась.

Парень тоже снял шапку и поскреб голову...

— Эк ты!.. куды жа мы теперича?.. Народ... гляди, сколь перли, замучились.

— Чево стали!.. — раздалось из задних рядов, толпившихся перед дверью.

Хозяин подумал.

— Ступайте в холодную... и рад бы, сами видите, каки дела...

— Ну, ничего, не будем раздеваться, миром дыхать станем, обогреем... чайничек поставить можно?

— Чайник можно, все одно бабе воду буду греть.

Все повалили из чуланчика в холодную половину шоссейной казармы.

Дыхание тонким паром носилось в воздухе и играло радужным ореолом вокруг принесенной лампочки.

В углу навалены лопаты, кирки, топоры, массивные ломы, опрокинуто несколько тачек. Принесли доски, положили концами на обрубки и стали располагаться, усталые, мокрые и довольные, что добрались.

— Сказывал, до царства небесного долезем, вот и долезли.

Когда вскипел чайник и все, взяв по крохотному кусочку сахара, вооружились, кто потускневшим от времени стаканом, кто таким же почернелым блюдцем, кружкой, а то и поржавевшим жестяным черпаком от воды, стали дуть на дымящийся кипяток, прихлебывая и обжигаясь,— в угрюмом, холодном и молчаливом до того помещении совсем повеселело.

— Стало быть, зять письмо получил от свово брата с войны. Пишет так, что сам видал: в отдельном поезде везут нашего енерала в Питербурх, и он — прикованный цепями в вагоне, и рука прикована так вот, как к присяге когда приводят, — рассказчик поднял правую руку, сложил два пальца, и среди молчания подержал некоторое время, — а возле, стало, него куча золота, стало быть, японские деньги. Ей-богу, не вру.

— Накрыли?

— Знамо дело!.. Протить негде — одне деньги... сам сидит по колено в золоте, а рука прикована, как на присяге.

— Оххо... ооох... ооо. Царица небесная... матушка!.. — глухо и скорбно проникало из-за стены.

— Вот и хорошо, пару-другую генералов наших купят, нам прибыль.

— В Расеи подати перестанут брать.

— Нам меньше отседа высылать придется домой.

— Здорово!

— Держи карман ширше. Тоже да дураков нашли. Она, сказывают, Япония косоглазая, сколько миллиёнов тыщ уж с нас взяла. Начальство-то наше, сказывают, скоро в лаптях пойдет.

— Как наш брат, мужик.

— Не призначишь, чи генерал, чи мужик.

— Ванька, кабы не прошиблись, тебя за генерала не обознали.

Ванька, распаренный, красный, с капельками на ресницах, на носу, выкатив глаза и сложив трубой губы, с шумом втянул воздух, и дымившийся кипяток разом исчез с блюдца, стоявшего перед губами на трех пальцах. Он перевернул блюдце, положил крохотный огрызок сахара, размашисто перекрестился и, обернувшись, бросил крепкое забористое словцо.

Все засмеялись:

— По-енеральски.

— Чисто генерал, и спереду и сзаду.

Те, кто заморил червячка, сплеснув, передавали посудину и огрызок сахара дальше. Было человек тридцать — каменщики,

плотники, ремесленники, несколько человек из местного завода, сторожа шоссейных казарм, чернорабочие.

Ремесленники и заводские, щуплые и мелкие ростом, бойкие, подвижные, в сапогах дудкой, говорили бойко, много, споро, вставляя «ералаш», «безобразие», «ерунда». Чернорабочие и шоссейные — кряжистые, неуклюжие, в лаптях, малоречивые, с деревенскими оборотами, наивные своей нетронутой силой.

Маленький человечек, подмастерье из портняжной мастерской с тонкими, слабыми от постоянного сиденья, поджавшись на катке, ногами и, как писанка, пестрым веснушчатым лицом, залез на опрокинутую тачку и тонким голосом торопливо прокричал:

— Товарищи!.. вот мы собрались... братцы!.. потому жизнь рабочего человека... так сказать, трудящегося люду... потому что, что мы видим?.. экономическое производство капитализма производит буржуазию и кризисы, а буржуазия и общественный строй — сила, захочет — купит, захочет — продаст, захочет — дом выстроит... а куда нашему брату, пролетарию... потому собственно одна голая эксплоатация... хозяин, который на готовых хлебах, спит себе с женой или брандахлыстает по театрам да по трактирам, а между прочим, рабочий человек когда отдыхает? когда свое семейство видит? какие радости видит?.. Товарищи, ввиду всего этого... единственная возможность... потому вспомните веник: раздергай — и весь по прутику ломай, а свяжи, попробуй-ка переломить!

Он утер зажатым в руке в комок платочком выступивший от горячего чая и внутреннего напряжения пот на лице и лбу, радостно взглянул на всех, хлебнул воздуху, и, прислушиваясь к важным и торжественным мыслям в голове и ища для них и не находя старых и не справляясь с новыми словами, он начал снова высоким фальцетом:

— Братцы, счастье наше в наших руках!.. Оглянитесь, сколько нас, голодных... и все это — эксплоатация, и все это — народ... пролетарий... ведь ежели все да встанут... все до единого человека, что будет?.. Товарищи, крикнемте же «ура!..» «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Точно радостное похмелье разливалось по всему его тщедушному телу, пробиваясь на бледных щеках непривычным румянцем. Все эти новые понятия, новые слова, «буржуазия» вместо «хозяин», «эксплоатация» вместо «кровь нашу пьют», «пролетарии всех стран, соединяйтесь» вместо «ребята, не выдавай» — ворвались в его серую, замкнутую жизнь, жизнь изо дня в день, которую он проводил, поджав ноги на катке, ворвались чем-то праздничным, ярким, сверкающим и огромным. И хотя эта серая, скучная жизнь все так же серо, монотонно тянулась, над ней, как утреннее солнце, стояла, заслоняя жестокую, неумолимую действительность, каторжный труд, стояла радость ожидания огромного, всеобъемлющего счастья грядущего освобождения.

В молчании и неподвижной тишине слушали тяжело и трудно этого маленького человека с востреньким носом и тонким голосом.

Бородатые, обветренные, изборожденные лица были неподвижны, и было на них что-то свое, давнишнее и старое, не пускавшее в глубину сознания эти новые, странные и в то же время близкие в своей новизне и непонятности слова и мысли. Молодые, безусые, как соколы, приготовившиеся лететь, не спуская глаз, с напряженным ожиданием глядели на говорившего товарища. Некоторые из них прошли уже школу известного политического воспитания, и эти чуждые массе слова, обороты и термины соединялись более или менее ясно с определенными понятиями, но каждый раз все же звучали ново и призывающе на что-то сильное, большое и захватывающее.

Хозяин то входил, то выходил и теперь стоял, опершись о притолоку, точно подпирая стену, нагнув голову и глядя исподлобья. И все та же одна, не сходящая с лица дума лежала на нем.

Кто-то кашлянул. Переглядывались, ожидая, что еще будет. Все свое, тоненькое и заунывное, тянула лампочка.

С впалой грудью, с втянутыми щеками и длинными морщинами на лбу вышел слесарь. Он был не стар, а пальто и сапоги были стары, потерты и рыжи. Он постоял, расставив ноги, сутулый, шевеля черными от масла и железа пальцами, и вдруг густой, какого не ожидали от него, с хрипотой голос наполнил казарму:

— Все на свете меняется, одно, товарищи, не переменяется — рабочий люд,— как был, так и есть гол, как сокол, ни кола, ни двора, один хребет да руки мозолистые.

— Правильно, — сдержанно и угрюмо отозвались голоса.

— ...О-о-хх... ох-ох... ооохх... Мать божия... — тускло и слабо, все же пытаясь напомнить о себе, проникало сквозь стену.

— Была прежде барщина, теперь барщины нету, ну, что ж, легче стало народу? Как не так! Все одно: гни спину по четырнадцати часов в сутки да виляй хвостом перед хозяином...

— Куды-ы!.. Легче! Кабы не так... по миру идет народ...

— Край приходит, рази жизнь?.. Могила...

И в пустом, с холодными стенами помещении шевельнулось что-то живое, беспокойное, понятное и близкое всем.

— Так вот, братцы, речь о том, чтоб помочь рабочему люду. Кто ж ему поможет? не хозяин ли да подрядчик?

— Помогут! подставляй шею...

— Жмут они нас, аж сок из нас бегить...

— Ну, попы, может?

— Тоже... им что! отзвонил — да с колокольни долой...

— Ему хабаров набрать, больше ему ничего не надоть... Карманы у них, что твоя мотня, мотаются...

— Ну, так полиция, может?

— Гляди, эта зараз поможет... Вот брат второй месяц в больнице.

— Что?

— Да помогли... с подрядчиком зарезонился, не доплатил, вишь, — ну, в участок... Теперь ребра заращивают дохтора...

— Так вот, братцы, куда же деваться? На кого понадеяться?

— На гроб надейся, больше ничего.

— В могилу закопают, вот и спокой... тогда все хозяева добрые станут.

И, точно ветер тронул, закачалось, заговорило поверх леса, подержался над толпой говор укоризны и насмешек. Но и этот говор как бы говорил: «знаем мы это... давно знаем».

— Э-эххх-вы!.. — тяжелым комом кинул слесарь: — овечье стадо... козлы отпущения... вас гни, вы кланяться будете да благодарить...

— Не лайся... что лаешься!

— Сам — из козлова царства...

— Да што, не правда, что ли? — выкрикнул, раздув ноздри, блестя раскосыми глазами, молодой рабочий, в сапогах дудкой и с вытянутой, как у зашипевшего гусака, шеей: — вон у нас сорок ден стачка была... с голоду пухли... жена в ногах валяется: «брось»... у ребят голова не держится, вповалку лежат... руку бы свою вырвал, сварил... вот... а добились своего, а то могила!..

— Тебе хорошо... вишь, сапоги — гармония... продашь — восемь целковых, месяц и сыт, а на нас лапти, — угрюмо протянул грязную, обвитую веревкой по онучам ногу шоссейный.

— Не украл... слава те, господи, не доводилось еще... Я, брат, их заработал... во, соком...

— Стой, ребята, помолчите...

— Товарищи, не об этом речь...

— Это все одно, как у нас в Панафидине... Приходит единожды пономарь..

— Помолчите...

— Братцы... ведь все мы пролетарии, — остро выделяясь из всех голосов, зазвенел тонкий голос, — все пролетарии... а пролетарии всех стран, соединяйтесь!..

И он оглядывался, ловя блестящими, остро сверкающими глазами глаза товарищей.

— Я и говорю,— вдруг снова покрыл всех густой голос, и все голоса смолкли. — Я и говорю: овца, когда с нее шкуру дерут, только мемекает, а мы — люди. Ежели будем по-овечьи, так и дети, и внуки, и правнуки наши... Поэтому надо дружно стать всем, да не в розницу...

Он с минуту молча оглядел всех. Все слушали и глядели на него.

— Матери вашей кила!.. — вдруг неистово заорал слесарь. — Да ведь понимать надо, за что стоять, чего нужно добиваться, в чем спасение рабочего люду... Бурдюги проклятые! Вот, как собаки, перли сюда по ночам... темь, того и гляди голову сломишь, а почему?.. Что ж, нам о своих делах поговорить нельзя?..

Как воры... да ведь люди мы!.. А соберись, зараз за шиворот... бедность заела, хозява давят, а нам нельзя собраться, поговорить, обстроить свою судьбу... Нас таскают, избивают по участкам, гноят в тюрьмах, гонят в Сибирь... А от кого это все?.. Ну?.. Понимаете вы... чего нужно рабочему люду?..

Тяжело злыми глазами обвел он всех, торопливо шевеля черными от масла и опилок пальцами. И среди выжидающего молчания раздался голос:

— Землицы бы...

В ту же секунду дрогнули самые стены.

— Земли... Земли...

— Наделы нарезать...

— ...потому земля...

— ...кормилица...

— ...без нее, матушки...

— ...куда мы без земли... бездомники...

— ...семейство, его и не видишь, так и бродишь, как Каин, по чужой стороне...

Красные, мгновенно вспотевшие лица со сверкающими глазами поминутно оборачивались друг к другу, гневно ловя несогласно мыслящих, тянулись руки, сжимались кулаки, дергали друг друга за плечи. Не помещаясь в тесной и низкой казарме, стоял ни на минуту не ослабевающий гул разорванных голосов, в котором совершенно тонули пробивавшиеся из-за стены стоны. Точно всплывая в водовороте, оторванно выделялось:

— Да ты трескать будешь ее, землю-то?

— Панов покрываете...

— Голыми руками...

— Все одно, и с землей сожрет барин да начальство...

— ...она, матушка, все сделает, все произведет... всем хорошо будет...

— Вошь земляная... гнида!..

— Да ты, сволочь, старуху обобрал, с которой живешь... все знают...

— Брешешь!..

— Помолчите!..

— А вон у нас как по восьминке на душу...

— Товарищи!..

— Братцы, пролетарии!..

Хозяин, опершись одной рукой о косяк, другой колотит себя по ситцевой рубахе на груди:

— Десять годов... во... как дикой... сладко, што ль...

Понемногу гомон затихал, и стало слышно:

— ...о-о-о... охо-о-оохх...

— Десять годов бьюсь... зимою во... снегом занесет под крышу, голоса человеческого не слыхать, так и сидишь... А все зачем? Все об одном: вот, вот сколотишься, соберешь... сколько детей, кажного знаешь, — так копейку: ее кажную знаешь, каж-

ную помнишь... с потом, с кровью, с мясом... А все зачем?.. Все об одном... день и ночь... хошь бы четыре десятинки... в вечность... земля-то у нас, господи, боже ты мой!..

Он со страстью, с разгоревшимися глазами бросал кому-то путаные, неясные, но полные для него всеохватывающего, всеобъемлющего значения слова. Десять лет гнездится он в этих безлюдных горах. Рождались и умирали дети, похоронил одну хозяйку, взял новую, сила не та, поясницу ломит, старость подбирается, а кругом все те же молчаливые горы так же, как и в первый момент, равнодушно стоят и не выпускают его, и он дробит булыжник, равняет для кого-то ненужное ему шоссе и не знает, когда придет его черед крестьянствовать.

Дикие, обезумевшие, животные крики ворвались, опрокинув здоровые мужичьи голоса, из-за стены. Хозяин кинулся в двери.

Среди разбившегося неровного гула голосов вырастал хриплый голос слесаря. Он со злобой бросал ядовитые, язвительные слова, вставляя неписанные выражения:

— Задолбили... кабы можно, всю бы землю забрали. Я б и сам в первую голову... да то-то вот, которые все земли дожидают, давно без порток ходят, а вон он земли не дожидает, вишь — сапоги гармонией... потому гужом друг за дружку, а не как вы, как баранье стадо, куда вас гонят, туда и идете все мордой в землю... Э-эхх, остолопье!.. Вон Митрич десять годов из казармы не выходит, все землю дожидает, тут и сдохнет, и отец его сдох, пухлый с голоду, все дожидался... Кабы понимали, анафемы!..

Он ненавидел эту толпу, ненавидел острой, жадной ненавистью фанатика. Лет двенадцать скитается он из города в город, из мастерской в мастерскую, с завода на завод, перебиваясь и голодая с семьей и всегда пользуясь вниманием полиции. И каждый раз, когда, высланный, он снова пристраивался и попадал в рабочую толпу, его опять охватывала ненависть, едкая, жгучая ненависть к этому непроходимому, самопожирающему непониманию и темноте. И его агитация состояла в том, что он жгуче, отборно клеймил своих слушателей. Иногда подымался протест, но большей частью покорно сносили брань и уходили со сходки, унося конфузливо в душе зерно просыпающегося сознания.

И теперь угрюмо и молча слушали этого лохматого, черного человека, такого же заскорузлого, мозолистого, покрытого морщинами трудовой жизни, как и они сами. И если они не отказались от того, что было так же неизбежно и неуничтожимо для них, как жизнь и смерть, то впервые за всю жизнь в цельном, нетронутом, как гранит, представлении «землица» что-то надтреснуло тонкой, невидимой, не доступной глазу трещиной.

— Зачем мы тут!.. На кой дьявол возимся с вами... Да пухните себе, оголтелые черти, пухните с голоду, и чтоб вас били до второго пришествия в морду, в брюхо, в шею!.. Чтоб вас запря-

гали в дроги и ездили на вас бесперечь полиция, паны и все псы их дворовые!.. Чтоб вас на веревке водили за шею, как рабочую скотину... чтоб...

— Тю, скаженный!..

— На свою голову...

— Чтоб ты сдох!..

. . . .

Огонек лампочки побелел, и в углах уже не лежала тьма. Все выступало без красок, серое, проступающее. Прильнув к стеклам, пристально глядело в окно мутноматовое, все больше и больше светлевшее. Из-за стены не доносилось ни звука.

— Теперича бы выспаться.

— Выспишся... цельное воскресенье.

— Стало, как в швейцарском королевстве. Там, братцы... народ пределяет. Скажем...

Дверь распахнулась, показался хозяин с засученными рукавами. На перекошенном лице дергалась улыбка, прыгала борода.

— Бог сына дал.

— А-аа!!.

— Вот это хорошо: работничек в дом.

— Дай, господи...

— Поздравляем... дай, господи, благополучия... и чтоб вырос, и чтоб не по-нашему, а зычно да гордо: сторонись, богачи!..

И в казарме постояло что-то свое собственное, независимое, и всем почудилось, точно теплый маленький комочек коснулся сердца.

III

Когда вывалили из казармы, совсем рассвело. Неподвижно и важно стояли сосны. Белел снег.

От самых ног необозримо тянулась молочная равнина тумана, изрытая, глубоко и мрачно зиявшая черными провалами. Не было видно ни города, ни долин, ни лесистых склонов, ни синеющей дали, только холодно и сурово зыбилась серая пелена, бесконечно клубясь и волнуясь. Стояла точно от сотворения мира ненарушимая тишина, и человеческие голоса одиноко, слабо и затерянно тонули в ней...

— Как же спущаться будем: ничего не видать внизу!

— А ты не спускайся.

— Не жрамши?

Ге-э-й, па-алочки, чу-у-ба-рочки...

— Вот, братцы, семь годов в городе живу, никогда не видал этого... равнина, а?.. будто в церкви, и будто кадила, и дым плавает, а?.. семь годов...

Когда б могла поднять ты рыло...

— Ванька, подари сапоги... ах, сапоги!
— Рылом не вышел... и в лаптях хорош...

Вставай, по-ды-ма-а-айся, ру-у-сский нар-ррод!
Встава-а-ай...
...народ... рооод... ооод...
Встава-ай на вра-га,
...бра-ат го-ло-од-ны-ый!.. —

дружно подхватили молодые голоса, и над все так же чуждо, сурово и равнодушно волнующейся равниной поплыло, теряясь умирающими отголосками:

...а а-аат оооо-оодны-ы...

— Товарищи, кабы да отсюда, да гаркнуть всему рабочему люду, да так, чтобы по всему миру слыхать было:

«Пролетарии всех стра-ан, со-еди-няйтесь!»
...аааа ... аа ... аай...

Когда спустились в полосу тумана, за сапоги снова стала хватать тяжелая липкая грязь, каждый видел в молочно-мутной мгле только спину идущего впереди товарища, и отовсюду беззвучно капали с невидимых ветвей холодные капли.

МЕРТВЫЕ НА УЛИЦАХ

I

Над улицами, над домами белеет морозная мгла. Телеграфные столбы, проволоки, заборы, деревья густо запушились, и, как прокаленное, обжигает белое железо.

Снег визжит и плачет.

Низкое зимнее солнце багрово-тускло пробивается сквозь холодную мглу.

Не вызывая ничего тревожного, где-то весело лопаются щелкающие звуки, сухие, короткие, без отзвука вязнущие в густом воздухе. Или угрюмо-одиноко бухает тяжелое, глухое, без раската и откликов.

Потом смолкает. Стоит мгла, седые деревья, толсто белеют протянутые в вышине проволоки. А в холодно-неподвижном молчании из смолкших звуков щемя вырастает тревога и истинный смысл их.

Уже чудится под этим низким негреющим солнцем огромный испуганно-примолкший город. Простираются в пустынном молчании безлюдные улицы, площади; незрячими, ничего не говорящими очами белесо глядят дома, мертво и черно дымятся развалины.

Ухо испуганно-жадно ловит роковые, последние для кого-то страшные звуки, ибо молчание невыносимо.

Снова лопаются щелкающие звуки. Кто-то умирает. Где-то дымится снег, впитывая красную кровь.

В странном соответствии с щемящим молчанием, прерываемым этими звуками смерти, некоторые улицы полны болезненного, ни на минуту не ослабевающего оживления. Снуют фигуры, мелькают лица, скрипит снег, фыркают клубами пара лошадиные морды.

Мужики с заиндевевшими бородами поспешно тянут ручные санки, нагруженные скарбом. Бабы в тяжелых неуклюжих овчинных тулупах, широко запахнув полы, торопливо дыша, несут, от-

тягиваясь иазад, кричащих ребятишек. Детишки побольше, с накрученными иа головах платками, бегут в отцовских валеиках, хватаясь иззябшнми ручоиками за тулупы матерей. Кто побогаче — едет в нзвозчичьих саиях, а иа саиях высятся узлы, суидуки, короба. Улицы, как живые, шевелятся до самого конца, теряясь в мглистой дымке, и стыиущнй пар дыхания тяжело садится.

Кишит огромный муравейник, иа который наступнлн, или справляют страниый, всех захвативший от мала до велика праздиик.

Это самый большой человеческий праздиик, праздник паиики и ужаса. Тысячи людей стремятся к заставам и растекаются по дорогам среди сиежных полей, среди угрюмо молчащих в зимием уборе лесов.

Кто-то умирает за иих в пустыииых улнцах, а оии бегут, об одиом думая — о жизни в подвалах, в грязи, в иищете, в иеустанной бычачьей работе, в беспросветиом рабстве. Они бегут, иенавидя тех, кто умнрает за ннх в пустыино-молчаливых улнцах, ибо бьется в ннх великая любовь к жизни, постылой, проклятой, а теперь ставшей вдруг прекрасиой жизни.

Я брожу между этими бегущимн в одиом иаправлеинн толпами. На углу у фоиариого столба лежит мальчик с застывающнм восковым лнцом, с сииею дырочкой иад глазом от иеведомо откуда залетевшей шальиой пули. К фонариому столбу испугаино подбегают люди и разбегаются, оставляя вокруг воскового белеющего лица пустое и мертвое простраиство.

Я вхожу иа широкий, весь заставлеииый лошадьми, саиями, ручиыми санками двор.

Торопливо выиосят суидуки, узлы, грузят и спешно выезжают со двора. На всех улнцах испугаиное, тороплнвое оживление. Визг полозьев, фыркаиье лошадей, восклнцаиия, все нмеет не прямой свой смысл, а страино говорнт о чем-то, что стоит молча и грозио иад всемн.

Выделяясь равнодушиой фигурой, с большой белой бородой, согнувшнсь, снднт иа бревне старик, расставив колеии, глядя красиыми слезящимися глазами в истоптаиный снег.

— Ты что же, дедушка?

— Ась?

Ои иа мииуту подымает на меия красиые веки, тусклые глаза и опять в снег.

— Эй, што дорогу загородил, ломовой!..

— Матрешка, бяги скорея в горницу, за божинцей пашпорт... забыли, головушка ты моя бедиая!..

Кто-то ругается отбориыми словами. Плачет ребеиок жалобно и слабо в захватывающем дыхание морозном воздухе.

— Остаешься, что ль, дедушка?

Его равиодушиая, безучастная фигура страино выделяется на этом тревожиом, беспокойиио мечущемся оживлеиии.

Он опять глядит на меня, жует губами и вяло говорит тусклым, старческим голосом:

— Стыть, аж дерево дерет.

И снова глядит в снег, равнодушно пожевывая.

— Кха-а!.. господин хороший!..

Этот странный хриповатый голос, казалось, не имеющий никакого отношения к старику, выделяется изо всех звуков, неестественно-неожиданно проносится, как крик ворона, среди скрипа полозьев, среди частого дыхания, среди испуганных восклицаний, призывов, нетерпеливой брани.

Я оборачиваюсь.

Старик, с трясущейся головой, неестественно расширенными глазами, удивленно собравшимися на лбу морщинами, делает шаг ко мне, неверно колеблющимися движениями цепляясь за мое платье.

— Што я изделал?!. А?..

Я отстраняюсь.

— Ты что, дедушка?

Не то злобная, не то страдальческая усмешка тянет сухую кожу.

— Что изделал?!

И вдруг погух, пожевывая, опустился, уставился между коленями. Снова странно выделяется на общем испуганно-тревожном оживлении его равнодушно-неподвижная, согбенная фигура.

— Как зачали стрелять, все у погреб полезли, все, и господа опустились, шутка ли!

Он говорит, но не видит меня, не слышит скрипа полозьев, фырканья лошадей, тревожных восклицаний. Может быть, набирая морщины на лбу, он старается найти смысл чего-то, что за всю его долгую жизнь никогда не открывалось. Мороз скрючивает старые руки, стягивает в кулак изжитое лицо. Губы плохо слушаются.

— Гы-ы... сладко, што ль... не сладко... кому хошь... не знаешь, откеда придет... Все полезли... господа — нежные, руки бе-елые... А?.. Все тут... в погребу сыро, холодно... мы привычны, весь век там прожили, нам што, нам все одно, а?.. Потому в погребу и спишь, в погребу и родишь, и работаешь, и помрешь... никуда не уйдешь... Кому што представлено... господа нежные, руки — белые и... с нами... легко ли!.. чайком их по-всякому ублажали, да рази им наш чай?.. жестью воняет... тоскуют об своем, об своей жисти... Нам што, нам абы прикорнул, с зарей опять за работу, наше дело привышное... А?..

Он трет старые заскорузлые морщинистые руки.

— Стыть... дерево ажнык дерет... до турецкой канпании к холере такая стыть стояла.

Я присаживаюсь возле. Он видит меня, глядит широкими глазами.

— Тебе, дедушка, сколько лет?

— Бегить... Бегить... всякий, который в силах, бегить...

Двор пустеет. По белому снегу темнеет мерзлый конский навоз.

— Зачали стрелять, у нас верхи занялись... дым, плач... второй этаж полыхает, в погребу уж не усидишь, тепло стало, дымком заворачивает... сынок и говорит... сынок у меня кормилец... по сапожному мастерству сызмальства... возле него кормился... бобыль я, никого в свете... один сынок... кормилец...

Лицо подергивается усталостью, глаза тускнеют, уходят в провалившиеся черные впадины, и снова усталое равнодушие в согнутой осунувшейся фигуре.

— Так что, дедушка?

— Вылезли все из погреба-то... дом-то полыхает... господа плачут, все роскошество погибает... Сынок-то, кормилец мой... восемнадцать годов на Миколин день... «Батюня, грит, подь в сарайчик... Може, чего осталось?» Пошел я, а он вяжет посредь двора на салазки сапоги, голенища, подметки, всякий товар, тем и живем, тем и кормимся... нагнулся, вяжет... Вышел я, вышел из сарайчика, бегить из ворот городовой, пузо толстое, глаза стра-ашные, бегить, в руке ружье со штыком... добег до Ванюши, добег, ды... штыком, штыком ево... весь по самый по ствол... Я... я... кинулся... добег, ды как...

Старик захлебывается и, трясясь и наклоняясь к самому моему лицу, стучит костлявыми старческими кулаками, грозит мне, и лицо его дергается злобной не то усмешкой, не то судорогой:

— ...ды как закричу-у: «Бей!.. бе-ей ево!!. бей ево, забастовщика!.. бей его, забастовщика!.. А-а-а!!.» А он его штыком порет, штыком... весь снег окровянился... «Бей ево, забастовщика!.. Не дают нашей жисти спокою... кабы не они, спокой был бы нашей жисти!..» Гляжу, лежит Ванюша, руки раскинул...

И старик глядит на меня изумленными, полными муки и ужаса глазами.

— А?.. Што я изделал... што я изделал, господин?!.

Двор опустел. Я ухожу. Старик остается один.

II

Я снова брожу по пустынным улицам, по молчаливым площадям, по улицам и площадям, залитым бегущим народом.

На углах серые шинели, наивно-тупые лица, штыки, приклады.

— Руки вверх!

Я подымаю руки, стою, меня обшаривают.

— Покурим, што ли,— гостеприимно предлагает солдатик, вытаскивает из моего бокового кармана портсигар, неуклюже берет иззябшими пальцами папиросу, подает товарищам и мне возвращает портсигар.

Мы закуриваем. Дымок синими струйками мирно вьется над

серыми шинелями. Из-за домов, холодных и спокойных, доносится одиночный выстрел.

Лавки, ворота, калитки заперты. Медленно догорают черные дымящиеся развалины.

Бродить по улицам опасно, но нет сил сидеть дома.

На площади вокзалов бушует огромный пожар. С гарью и дымом несется торопливый треск, шопот и шорох, и свистящее пламя по-змеиному качается острыми головами, мечется и лижет быстро тающий снег, обнажая черную дымящуюся землю.

Орудия молча и длинно глядят хоботами вдоль площади. Серые фигуры часовых мерно прохаживаются вдоль лафетов.

На площади в разных местах, черно выделяясь на снегу, лежат убитые. Возле них собираются кучки народа. Подъезжают широкие с брезентом сани, похожие на те, на которых возят с бойни мясо, на них валят застывшие, раскорячившиеся, упрямо не влезающие трупы, покрывают брезентом и развозят по участкам.

Я подхожу к одной кучке. Стоят молча, угрюмо смотрят. У ног в пустом кругу лежит парень. В застывших скрюченных руках — смерть, но лицо полно молодой энергии, отваги и воодушевления. Рот раскрыт, должно быть, кричал товарищам, и пуля в сердце мгновенно захватила и не дала сбежать с лица живому выражению.

На него смотрят тупо и неподвижно, как смотрят, опустив рога, быки на кровавое место, где только что свежевали тушу. И я стою и смотрю.

С некоторого времени что-то странное, тяжелое стоит у меня за плечами. Несознанное, смутное беспокойство давит, и я шарю по карманам, не потерял ли, не забыл ли чего. Люди уходят, приходят, а тревога моя растет. Я не могу одолеть этого неприятного, давящего, не определившегося беспокойства.

Наконец не выдерживаю и оборачиваюсь: два глаза, два круглых расширенных глаза острым блеском глядят, не моргнув, из-за плеч стоящих людей. И в этом взгляде столько остроты, столько дикого и поражающего, что я отворачиваюсь, но сейчас, словно меня тянет, опять подымаю глаза и слежу за ним. Он смотрит мимо меня, мимо людей, туда, в тот пустой и мертвый круг, где видны скрюченные руки.

Что-то болезненно поражает меня, и я перевожу глаза то на молодое мертвое лицо, то на чернобородое лицо, на котором видны одни только дикие глаза.

И вдруг схватываю сходство: сын!

С болезненным любопытством всматриваюсь в бородатого человека, у которого одни только дикие глаза — да ведь это Михайло Иваныч, маляр, часто работавший на даче у моего хозяина!

Но что-то не позволяет мне заговорить с ним, а он, не отрываясь, смотрит на юное мертвое лицо.

Он не подходит к убитому сыну, не наклоняется, не плачет, не рассказывает своего горя.

Среди нас глухо и отрывочно перебрасываются:

— Совсем молодой...

— Крови не видать...

— Должно, в сердце...

— Много их тут легло.

— Гляди, и отец, и мать есть...

Я тоже не могу оторваться и уйти, хотя стоять тут долго небезопасно — кругом шныряют шпионы, полиция, и тех, в ком признают знакомых или родных убитого, уводят в участок, но неизвестно, доводят ли их туда, и не лежат ли они так же где-нибудь на снегу.

Подъезжают сани. Взваливают мертвеца со скрюченными руками. Я не гляжу, но чувствую сзади остроту диких, безумных глаз. Сани уезжают. Я ухожу. Несколько раз меня обыскивают патрули.

Чьи-то тяжелые, торопливые, измученные шаги догоняют. Он идет рядом со мной.

— Во... сын.

Я не расспрашиваю, идем молча.

Его степенное бородатое лицо, лицо артельного старосты или подрядчика, строгие под нависшими бровями глаза, неторопливые движения глубоко сосредоточенны и покойны. Он идет с опущенными глазами, и от этого лицо тяжело и неподвижно, как каменное. И говорит глухо:

— Ничего... ничего!..

Хрустит снег под тяжелыми одинокими шагами.

— Не признался к нему... это ничего... ничего, еще будет дело...

Улицы пусты. Одиноко стоят дома. Я попрежнему иду молча; к тому непоправимо огромному, роковому, что в этом человеке, я ничего не могу прибавить.

— Руки вверх!.. Есть оружие?

Обшаривают.

И вдруг он засмеялся, засмеялся им в лицо, засмеялся ртом, щеками, личными мускулами, но глаза не смеются, а глядят с тем же безумным блеском, как на мертвеца, глядят пылающей, неугасимой, нечеловеческой ненавистью, и из-за этих страшных глаз не видно и не слышно смеха.

— Ха-ха!.. ведь какая это сволочь!.. Вот вы наколошматили их, как тараканы дохлые лежат... ха-ха! лежат дохлые... а ведь которые остались... разве их узнаешь... которые остались?.. Ведь теперича они вас день и ночь караулить будут... ползе-ет... ползе-ет... на брюхе... из-за забора... из-за угла... с крыши бац! и готов ваш брат!.. Разве от него, от идола, убережешься, ежели ему все одно, сам себе к петле присудил. А? Хе-хе!.. кажную минуту готов будь...

Лица пасмурно темнеют.

— Ну, ну, ну... ступай... ступай, ладно.

С исковерканным злобой лицом к нему подскакивает плюгавенький солдатик, стуча прикладом о хрустящий снег:

— Сволочь!.. Али захотел... зараз тебя на месте... — и осекается на полуслове: на него глядят дикие глаза.

Они стоят друг перед другом, потом солдатик отворачивается, отходит.

Мы идем дальше.

— Ну, прощайте.

— Прощайте... ничего!..

Я иду один по пустынной улице, сзади снова догоняют хрустящие шаги

— Помните, на даче у вас работали... маляр, маляр-то какой был... другого такого мастера не найтить...

Лицо его дернулось судорогой, но глаза были сухи и блестящи.

БЕЛАЯ ГЛИНА

I

Безустали мелькая, бежала назад зеленым простором степь, уносились белеющие пятна разбросанных хат, колодцы с высокими журавлями на голубом небе, но все на одном месте над лиловатым горизонтом громоздились блестящие груды белых облаков. А по свежей, омытой дождями, девственной зелени убегающей степи скользила, поспевая за поездом, сизая тень одиноко бегущего вверху облачка.

Из-за перегородок покачиваются головы в картузах, платках и без картузов с взлохмаченными волосами. В табачном дыму, в духоте вагона, в непрерывно бегающем гуле плавают — плач ребенка, смутный говор, смех, вздохи, кто-то сладко зевает. Когда не смотреть в окно, кажется, вагон без всякой надобности гремит и качается на одном месте, и своя особенная, оторванная от всего, что вне, жизнь заполняет его.

Входит кондуктор. В отворенную на секунду дверь, как ураган, заглушая все, врывается снаружи бушующий железный грохот. Дверь захлопывается, подрезывая мгновенно упавший грохот, и он угрюмо-сдавленно бежит под полом, и человеческие голоса, и вздохи, и брошенная фраза отрывочно всплывают в нем, как в шумно бегущей из-под колес, торопливо волнующейся воде.

— На ярманку?

— На ярманку.

— Торгуете?

— По свиной части.

И снова поглощающий, безустали бегущий гул, бесконечно и мерно разрезываемый стуком колес.

Что-о ж ты, Ва-нька, ром не пьешь,
Аль лю-убить меня не хо-о-о-шь... —

вырывается в конце вагона с игривыми, переливчатыми звуками гармоники, с секунду трепещет где-то под потолком, падает и

бессильно тонет в не знающем ни радости, ни печали, в не знающем человеческих звуков железном грохоте.

Бабы в ярких кофточках и красных юбках, со сбившимися набок платками и потными лицами, ни на кого не глядя, ничего не слушая, ничем не интересуясь, взапуски щелкают семена, равнодушно выплевывая перед собою, и шелуха толстым слоем белеет на полу.

— А вот-с, скажите, пожалуйста, — говорит молодой человек в высоком, подпирающем уши, запотелом крахмальном воротнике, — станции, и на каждой станции буфет-с, и в буфете-с водочка-с, и при водочке закуска-с. Известное дело, как говорится, рыба плавает. Подойдешь, выпьешь, ну, выпьешь и спросишь: «А какая у вас тут, позвольте спросить, местная рыба?» — «Селедка-с». И вот, верите ли, всю Россию проехал, разные климаты, разные местности, реки, а местная рыба все одна: селедочка-с.

Старик-торговец в напяленном картузе, с белеющими из-под него косичками, нахмуренными седыми бровями и острым, старчески худым лицом сердито поворачивается, стараясь пересилить железный говор вагона:

— То-то вот — водочка-с. Водка-то — дело рук человеческих, злак, и с устатку крестьянину разрешается, от трудов это не грех. Сам господь в Кане Галилейской...

— Так то вино...

— Все одно, тогда водки не было, а теперь заместо вина водка, злак все одно, хлеб, и произрастает на корню... А вот табаком ноне задушили, так это что? Молодой человек и бесперечь дымит, как из трубы, прости, господи.

— Так ведь и табак — злак, на корню.

— Не говори хулы. Хлебом-то хрестьянин кормится, а табак — нечисть. Ишь, вагон некурящий, а наскрозь продымили, не продыхнешь. Порядок это?

Он сердито стал смотреть на мелькающую степь, и вагон продолжал свой говор без помехи.

— Що правда, то правда, — после долгого молчания проговорил украинец, с черным, сожженным степным ветром и солнцем лицом, с черными, мозолистыми, полопавшимися от неустанного труда, заскорузлыми руками и чернеющими от набившейся грязи толстыми ногтями, — хлеб — божье произрастанье, а энто — чортов корень.

И он замолчал, спокойный, невозмутимый, легонько покачиваясь от качки, думая свою собственную думу. И все замолчали, как будто не о чем больше было говорить, и только колеса бежали со своим однообразным, но о чем-то новом, непонятно рассказывающим говором.

На станциях, когда, скрежеща, вагоны, валяя пассажиров, со звоном сталкивались, и проплывшие мимо станционные двери, окна, столбы останавливались неподвижно, из поезда, как из рас-

сохшейся бочки, выливались толпы пассажиров, заливая платформу.

Бьет звонок. Платформа пустеет. Входят новые лица, останавливая на минуту на себе внимание, тихонько проплывают станционные помещения, фонари, водокачка — и опять качающиеся стенки, перегородки, полки, табачный дым, духота, бегущий гул, и всплывают говор и плач ребенка, и мимо уносится зеленый простор и белеющие пятна хат, и пепельная тень, поспевая за поездом, скользит по зеленому ковру, торопливо изламываясь на неровностях.

II

Вошли двое. Они внесли с собой впечатление непреклонности, силы и вражды.

Каждый из них оглядел публику, тряхнул волосами и сел, подбирая оружие. Один был в кургузом мундире, обтянутых кавалерийских брюках, а на ногах звенели шпоры. Другой в долгополом, неуклюжем мундире, с волосами в кружок, с беззаботно самоуверенным лицом и красными широкими лампасами на шароварах. Фуражка без козырька была надета набекрень.

— Фу-у, жарко! — сказал драгун, сняв фуражку, и отер вымокшее лицо.

— Жарко, — проговорил казак.

И по тому, как они сидели прямо и молодцевато, не сгибаясь и выпятив грудь, и как говорили, ни к кому в особенности не обращаясь, чувствовалось, что эта особенная одежда, эти ремни через плечо, патронные сумки у пояса, позвякивание шпор — все отделяет их от остальных недоступностью и силой, точно замкнутым кругом.

И весь вагон как бы распался на две половины: с одной стороны — табачный дым, духота, плач ребенка, качающиеся пассажиры, непрерывный гул и уносящаяся в окнах зеленая степь, с другой — эти двое, как бы отделенные, странно уверенные в своем особом положении.

Драгун достал табак, скрутил папироску и нагнулся:

— Дозвольте прикурнуть.

Молодой человек, разыскивавший по России местную рыбу, со смешанным выражением скрытого недоверия и вражды протянул папироску.

— Куда, служивый?

— На побывку, — сильно затягиваясь и подряд вспыхивая папиросой, бросил тот не взглянув.

— Наши места зачинаются, — проговорил казак, и белые, как кипень, зубы блеснули на добродушно разъехавшемся загорелом скуластом лице, — степь!

И помолчав, и опять блеснув зубами, проговорил:

— Через две станции Донская область зачнется. У нас тоже все во́.

И все поглядели на бегущее без конца и краю зеленое степное царство.

— Рады, небось, будут?

— И-и... там рады!.. Хозяйство все в препорции, как есть, — говорил казак, захватывая побольше и захлебываясь воздухом.

— Надоела служба?

— Ну-да, а то... Бог с ней совсем, со службой... Скучился... дома жана ждет, ребятёнки, вся домашность...

И, воодушевившись, заговорил:

— Четыре пары быков, два плуга, овец с полсотни — полная чаша... Зараз покос подходит — только берись да работай.

Он защемил двумя пальцами нос, на весь вагон высморкался и, нагнувшись, вытер пальцы о нижнюю сторону сиденья.

— Али тяжела служба?

— Да она чижала не чижала, а дома лучше.

Украинец сидел так же неподвижно-спокойно, сурово-сосредоточенно. Черная борода и спутанные волосы белели проседью, и по черной, как чугун, от загара шее раскинулась перепутанная сеть морщин. Расставил монументальные сапоги, оперся о колени и, свесив голову и шевеля черными, как юфть, пальцами, глядел, потряхиваемый вагоном, в пол. На полу ничего не было, только горы белеющей шелухи.

Драгун, докуривая папиросу и сосредоточенно глядя через нос на подбирающийся к губам огонь, независимо закинул ногу на ногу, звякнул шпорами, потом придавил о каблук окурок и глянул на баб.

— Хоть бы подсолнухами угостили.

Те, блеснув на него глазами, продолжали щелкать.

— А все жалются на казаков, — проговорил молодой человек в пропотелом крахмальном воротнике, — обижают народ.

— Что ж жалются, — сказал казак, и опять добродушно разъехалось загорелое скуластое лицо, блеснув ровным рядом белых, здоровых зубов, — служба.

И, помолчав и ухмыляясь, добавил:

— Опять же — присяга.

Молодой человек посмотрел на зеленое мелькание в окне и раза два высоко поднял и опустил брови. Ему хотелось прямо и открыто сказать то, что думал, и в то же время подыскивал форму, чтоб не обидно было.

— Это, конечно, действительно так, что как крест целовал, стало быть, присяга... ну, только, разумеется, в разных обстоятельствах и разное применение, неодинаково... потому что, собственно...

— А такие обстоятельства, — заговорил внушительно и авторитетно старик по свиной части, с белыми косичками, в картузе,

напялеином на самые уши, — такие обстоятельства... Вот к иам прислали сотню, да житья не стало: кур режут, все тяиут, девок всех перепортили, бабе показаться иа улицу нельзя — зараз, как кобели; мужикам проходу нету — порют, как скотину. Вот оии, обстоятельства.

— Я то и говорю, — заторопился, приосаиившись, молодой человек, — жалится, жалится иарод. К примеру, я сам, изъездивши всю Россию, и везде неправильность, везде бедствие от воеиного мундира.

— Оно, конешно, не без того, — все показывая зубы, проговорил казак, — да ведь што ж... Так уж поведеио.

И ои вдруг громко засмеялся каким-то своим мыслям и тряхнул головой.

— Комаидир у иас — веселый человек. «Ребята, говорит, тут все буитовщики, постарайтесь, говорит, штоб умножеиие произошло верноподдаиному народонаселеиию». Ну, мы — рады стараться! Все по деревне.

И он опять засмеялся, показывая здоровые веселые зубы.

Из-за перегородок выглядывали головы, глядели глаза, в проходе столпились, опираясь друг о друга, о спинки сидеиий, слушая казака. Степь попрежиему уносилась, и иавстречу летела Доиская область с хозяйством, с семьей, с родиыми местами, со всем укладом привычиой, родной жизии.

— Ишь ты, а это что же, по-божецки, что ли!.. Это басурмаие, и то легче.

— А то зачиут палить, бьют подряд, кого попало — и мужиков, и баб, детей бьют!.. Сколько положили народу.

— Ироды, прямо ироды!..

— Им что!.. Нажрется пьяный, и валяй...

Лица у всех стали пасмуриы, как будто в вагоне потемиело. Казак перестал смеяться и, повериув голову, стал глядеть иа убегающую степь. Только под полом попрежиему равнодушно и упрямо бежал гул, как бы говоря, что ему иет дела до того, о чем говорят, думают и что волиует в вагоие.

Тоиеньким звуком зазвенели шпоры. Драгун повериулся и, сдвииув шапку на затылок, заговорил:

— Да, а ты кто такой будешь?.. Это из таких, которые политические песни поют... Знаем мы... Вот такие — самые бунтовщики, самые и вредиые. Зараз кликиуть жаидарма — и все.

— Да ты что расхорохорился? Ишь ты, нацепил побрякушки, и я — ие я.

— А то... стало быть, сам просишься под арест, и то и так что пристукнуть такого, и отвечать ие будешь. Бунтовщиков истреблять, вот как, потому приказ... Все вредиый парод...

Он повел плечами, выпрямляя грудь.

— Коиечио, если буитовщики, — заговорил молодой человек с грязиым воротииком, — а то ведь есть которые невинные.

Драгун живо повернулся к нему, звякнув шпорами.

— Да разве их разберешь!.. Вот он, вишь ты, сидит, — мотнул он головой на невозмутимо сидевшего украинца, — воды не замутит, святой, а там у себя в деревне-то зараз жечь, бить, грабить. Сколько экономиев сожгли!.. Так где же тут разбирать? Скомандуют: «Бей», — и стреляешь, а там пуля виноватого найдет. Ну, разумеется, всякого не пожалеет. Ежели в толпу, там и баб, и ребят наколотишь. Как же быть-то — не бунтуй, на то правительство... Не-ет, нонче этих слабостев нету.

— Не-ту, — снова благодушно засмеялся казак.

— Ноне чуть чего — нагайки да пули откушай, ноне разбирать не станут. Его, мужичьё это сиволапое, его одно слово — бей. А то как же?

Все разбрелись. Из-за перегородок попрежнему покачивались головы, мелькала степь, стояла духота, бабы щелкали семечки, и в непрерывно бегущем, заполняющем вагон гуле всплывали — плач ребенка, отрывки доносящегося из разных концов вагона говора.

III

Украинец попрежнему сидел невозмутимый, спокойный, думая свою собственную думу. Раза два он исподлобья глянул на драгуна, и странный беглый огонек пробежал у него в глазах. Широко зевнул, покрестил рот и опять посмотрел на драгуна.

— Та ты, мабуть, не из-пiд Харькова?

— С Белой Глины, — небрежно уронил драгун, глядя в окно.

Украинец глядел в пол, пошевеливая пальцами.

— Чи не Карый будешь?

Драгун сдержанно посмотрел на него.

— Нет, Горобцов — а что?

— Да так, думаю, чи Горобец, чи не Горобец, — лениво и нехотя протянул украинец, и тот же огонек бегал у него в глазах.

— А ты сам откуда?

— Та с Белой же Глины, белоглинский, — и опять невозмутимо уставился в качающийся пол.

Драгун повернулся к нему, позванивая шпорам·

— Не признаю.

— Та як же ж... Дядя Хведор.

И помолчав:

— Дядя Хведор.

— Дядя Хведор? Не признаю... — недоумело говорил драгун.

С его лица поползло прежнее выражение, и пополз куцый мундир и обтягивавшие штаны, и патронная сумка, и вся выправка и самоуверенность человека казармы, и на дядю Федора глядело наивно-добродушное, немножко глуповатое безусое лицо

белоглинского парубка, и шпоры уж не звенели на подобранных под скамью ногах.

— Скажи на милость!

Дядя Федор снова уставился в пол, спокойный, невозмутимый.

— Ну, как наши там?

Дядя Федор лениво помолчал.

— Та ничого, що ж, пашуть, сиють, скотину годують.

— А батько?

— Та и батько... — лениво тянул Федор.

— А жинка?..

И лицо драгуна разом подмывающе засветилось, глазки сделались маленькими, хитро сощурились, и во все стороны от них побежали тоненькие лучики.

— А жинка... у земли.

Смеющееся лицо драгуна померкло. Он испуганно подался вперед, и глубоко чернел раскрытый рот.

— А? — ненужно и коротко вырвалось, хотя он отлично слышал.

— У земли, кажу, — невозмутимо повторил дядя Федор, пошевеливая пальцами.

Драгун вобрал в себя воздух, удерживая подергивания лица.

— Хворала?

— Ни-и... здоровая...

Среди на секунду наступившего молчания, как повышающийся звук лопнувшей струны, нестерпимо впилась острота ожидания.

— Что же? — с возрастающим страхом спросил драгун.

Федор не спеша почесал за ухом, полез за голенище и поскреб черными, похожими на собачьи когти ногтями.

— Та усмирение було... так пулей... ось в это самое место, — и он, не подымая головы и не торопясь, показал заскорузлым пальцем над глазом.

— А-а!.. — беззвучно пронеслось в вагоне.

Только побелевшие губы судорожно трепетали.

Из-за перегородок глядели внимательные глаза, в проходе опять столпились, опираясь друг о друга и о спинки сидений.

— А диты? — точно подкрадываясь, по-кошачьи, глядя исподлобья, прошептал парень.

— Старший... у земли... — с жестокой, спокойной неумолимостью продолжал дядя Федор, — а маленький у батькови... Ноги переломаны копытами... та ребра... як скакалы, та и топталы...

Драгун поднялся озираясь. Вагон качался, но молча — не слышно было гула и стука.

— И диты? — как шелест, пронеслось среди страшного молчания.

— Так як же ж, — заговорил, оживляясь, дядя Федор, — толпа!.. разве разберешь, як стрелили у гущу, та и наваляли, як

тараканов. Пуля виноватого на́йде... А потом конями топтать зачалы... экономию громилы...

Драгун криво усмехнулся, шагнул, пошатнулся от качки вагона и, странно ловя воздух и цепляясь за перегородки, беззвучно, как мешок, опустился на скамью.

И снова побежал гул, уносилась зеленеющая степь, проносились белые мазанки, и стучали колеса на стыках.

Лающие, собачьи звуки сквозь гул вагона рвались с того места, где на скамье виднелся мундир.

На него поглядывали с строгой укоризно́й сожаления, потом отворачивались и глядели в окна, мимо которых все летела степь.

ЗАРЕВА

Песчаная отмель далеко золотилась, протянувшись от темного обрывистого, с нависшими деревьями берега в тихо сверкающую, дремотно светлеющую реку, ленивым поворотом пропавшую за дальним смутным лесом.

Вода живым серебром простиралась до другого берега, который весь отражался высокими белыми меловыми обрывами гор. И белым облачкам находилось место в глубине и синевшим пятнам неба, только солнце не могло отразиться четко и ярко и плавилось серебром по всей живой, играющей поверхности.

В синем просвете расступившихся гор золотились кресты издали белевшего монастыря. Но и монастырь отсюда кажется спокойным, молчаливым, без звучащих колоколов. Только светлые, прозрачно набегающие морщины моют золотистый песок, да чуть приметно шевелятся темные листья задумчиво свесившихся над обрывом с размытыми весеннею водою корнями деревьев.

Ясная, светлая задумчивая улыбка, улыбка тихого созерцания, лежит на облаках, на белых отражениях гор, на синеве неба, на серебряно-светлой, лениво-ласковой реке.

И эта тихая улыбка, эта задумчивость созерцания не нарушается присутствием человека. Даже наполовину вытащенный на отмель каюк, выдолбленная из дерева лодка, кажется не делом человеческих рук, а почернелым от времени, свалившимся с родного берега лесным гигантом, много лет лежащим наполовину в воде и ласково омываемым веселыми струйками.

И рыбачья избушка, приютившаяся под самым темным, с нависшими деревьями обрывом, скорей напоминает старый-престарый, почернелый от дряхлости и дождей гриб с наклонившейся шляпкой.

Все заворожено тихой, ласковой, неэнаемой таинственной жизнью, которою живет природа вне человеческого сознания.

Далекий слабый удар колокола донесся оттуда, где торопливо, растерянно и с ненужной тревогой блистали в воздухе мелькающим блистанием золоченые кресты. Он приплыл оттуда, слабо колеблясь, стирая эту особенную таинственную улыбку, эту задумчивость созерцания, и поплыл над водой, все слабея, теряя жизнь и вместе с рекой пропадая за поворотом.

Пропала улыбка дня, — просто белели облака, меловые обрывы, сверкала под солнцем река, и было видно, что около каюка песок был истоптан человеческими ногами, валялись чешуя, кости и рыбьи объедки.

Из избушки вышел человек, старый, но крепкий, с сивой бородой, крепкими морщинами, с сердито взлохмаченными бровями. Приложил козырьком черную, просмоленную ладонь и поглядел туда, где беспокойным трепетом сверкали кресты и откуда плыли все те же слабые, обессиленные расстоянием, едва гудящие удары колокола.

Шершавые усы сердито шевельнулись.

— Ну, завыли!

И, двигая бровями, как наежившийся кот шерстью, повернулся и, тяжело ступая по хрустящему песку, подошел к разостланной бечеве с навязанными крючьями и стал подтачивать их напильником и протирать сальной тряпкой, чтобы не ржавели в воде.

Рыбу он держал в плетенках, спущенных на веревке в реку, и два-три раза в неделю к нему приезжали скупщики закупать.

В праздники, когда отойдет в монастыре обедня, на той стороне, под белыми горами, зачернеют люди, забелеют бабьи платки и юбки и доплывет:

— Афиногены-ыч!..

А у него только шевелятся брови, и спокойно доделывает свое: спускает рыбу в плетенки или перебирает крючки, насаживая наживу, или наращивает оборвавшийся конец бечевы.

— Афиноге-е-ны-ы-ыч! По-да-ва-а-ай!..

Откликаются белые горы, доносит зеркалю реки, шепчут нависшие деревья.

Долго сидят крохотные, игрушечные люди под белыми горами у самой воды, а у деда шевелятся сердитые брови, шершавые усы.

Покончив с последним крючком, аккуратно распустив и свернув пальцами бечеву, Афиногеныч берет прислоненное к избушке длинное узкое весло, идет к каюку и, напружившись и навалившись могучими плечами, сталкивает его со скрипучего песка на весело колеблющуюся, ждущую воду. И каюк, освободившись от неподвижной тяжести, тоже начинает шевелиться, покачиваться и легко поворачивается, точно заражаясь вольным, веселым задором.

Весло, мерно и сильно проходит, изламываясь, в прозрачной воде, и под круглым, тупым черным носом бежит стекловидный вал, далеко разбегаясь двумя морщинами.

А солнце уже высоко, и нет расплавленного серебра, — синяя река, синее небо, — и только в одном месте безумно ослепительно играет и колеблется нестерпимый блеск.

Уже слышны голоса, говор и смех, но люди еще маленькие, еще не отчетливы промоины, расщелины обрывов, — по воде далеко слышно. Вот и белые отражения гор задрожали под каюком, заволновались, запрыгали, уродливо вытягиваясь и расплываясь. Ближе и ближе...

Каюк мягко насовывается на берег. Люди толпятся, торопясь поскорее забраться в колышущуюся под ногами, живую, вертучую лодку, а Афиногеныч сердито подымает весло.

— Куды-ы?! За перевоз подавай... Не пущу... Куды лезете? Перевернете, идолы березовые!

Развязывают затянутые узелками уголки платочков, достают кисеты.

— Афиногеныч, я те отдам после... Вот как перед господом, отдам.

— Ну, после и перевезу.

— Да что ты, зверь лютый, утроба ненасытная, пропасти на тебя нету. Никогда копейки не поверит... Жри, чтоб ты подавился!

Старуха-нищенка низко кланяется и причитает:

— Смилуйся, государь ты батюшка, пожалей старуху ледащую!..[1] Только и подали на паперти три копеечки... на цельную на неделю.

— Подавай, сказываю! А нет, так отчаливай... Неколи мне тут с вами тары-бары растабарывать.

Нищенка торопливо роется, моргая красными, слезящимися глазами, подает деньги и лезет в колышущуюся, зыбкую лодку. Афиногеныч суров и неумолим. И только когда все отдали по копейке с рыла, он наваливается на весло, отталкивается от берега, и опять впереди бежит, разбиваясь, стекловидный вал, и зыблются отражения.

В лодке стоит говор, Афиногеныча ругают и живодером, и сквалыгой[2], но добродушно, — и он, как будто речь не о нем, сосредоточенно бурлит живую, игристую воду веслом. Вода у самых бортов бежит мимо, лодка загружена, и все сидят смирно, цепко держась за влажные, скользкие края, — при малейшем движении вода хлынет, и наружу вывернется круглое черное дно. Белые горы позади все ниже, а навстречу бежит золотистая отмель, свесившиеся деревья, почернелая избушка.

На другом берегу все весело выбираются на песчаную от-

---

[1] Ледащая — худая, плохая, слабая.

[2] Сквалыга — скаред, скупец, скряга.

мель и гурьбой направляются в деревню. Выбирается и старушонка со слезящимися глазами. Афиногеныч аккуратно приллаживает на берегу каюк, ставит весло и, обернувшись, неодобрительно и сурово смотрит вслед плетущейся нищенке. И говорит:

— Ну, куды пошла? Не успеешь с голоду сдохнуть?.. Поспеешь.

Та в недоумении останавливается. Он нагибается над плетенкой и начинает выбрасывать на облипающий ее песок трепещущую рыбу.

— А?.. — растерянно говорит старушонка.

— Сулка...[1] Уха из нее добрая... Ребятишки-то знают, как выхлебать... Вот те карасиков, тоже хорошо в уху... Стерлядок...

Старуха, попрежнему растерянная и радостная, набирает полон подол живой, ворочающейся рыбы и униженно кланяется.

— Спасет те Христос, касатик, мать пресвятая богородица...

— Ну, ну, ступай, ступай! Всем одинаково кланяетесь — и кто дает, и кто в шею бьет.

Афиногеныча недолюбливают и сторонятся, но, когда собираются в монастырь, идут к нему, чтобы не делать большого крюка на паром. Хмурый и молчаливый, он перевозит.

Иногда усядутся у обрыва под деревьями посидеть и передохнуть.

— Привел господь, сподобился отстоять утреню и обедню. Дюже хорошо отец Паисий ноне говорил, до слезы даже: любите, грит, друг друга...

— Пели нонче уж хорошо.

— Чисто андельскими голосами.

— Энто, как сделает чернявенький: о-о-о... у-у... а-о-о...

Мужик перекосил лицо, сделал рот круглым и заскрипел на всю реку. Низко летевшие чайки шарахнулись. А Афиногеныч:

— Это ангелы так поют?.. А потом, вчерась вечером, — хмуро говорит он, ни к кому в особенности не обращаясь, — пятерых бабенок перевозил... для монахов... на святое дело... Ядреные бабенки...

Все хмуро замолкали. И как-то иначе глядели горы, отмель, иначе золотились кресты. Но потом вскипало раздражение, и с слегка вспотевшими лицами ему кидали злобно:

— Глядим мы на тебя, Афиногеныч, не то ты богопротивник, не то ты беспоповник, не то бусурман, — лба не перекрестит, так бесперечь и живет, ни ему праздники, ни ему воскресный день.

Старик хмуро копается и говорит:

[1] Сулка — рыба, судак.

— Рыба вон ходит в воде, тоже праздников нету... — И перебивая самого себя и усмехаясь: — Был я молодой и крепкий, были у меня товарищи. Знали мы праздники. Бывалыча, как праздник, народ перепьется, как свиньи, в грязь рылом тыкаются, потому в праздники полагается скотиной ходить, — перепьются, ну нам праздник: заберемся в церкву да кружку-то и опорожним... Праздник!

На него сыплются ругательства.

— Нехристь!

— Святотатец!

— Иуда-предатель!

— Известно, ты — конокрад, вор и душегубец. Удивление, как господь тебя терпел! Одного тебе надо было — кнутовище в зад. Рыба!.. Да ты хуже рыбы, хуже скота бессловесного! Богопротивник. Церкви даже божии не жалел, что же уже после того... Одно слово — животная!

Было что-то, что упруго сдерживало раздражение. Ведь его надо было избить, изувечить, спустить связанного в воду... Его ругали, а он рассказывал:

— Верно, промышлял лошадьми, с товарищами... Жрать надо было, не святой Антоний, утроба требовала хлеба и протчего... Промышлял.

И, опять рассмеявшись каким-то своим мыслям, продолжал:

— Под весеннего Миколу к помещику забрались. Конюшня каменная, крепкая. Замок никак не свернем... Ах, ешь тя мухи с комарами! Зачали возле притолоки стену разбирать. Разобрали, — ан в стене железный болт заложен, лошадь-то не пройдет, не подогнется. Что тут делать? Скоро светать... А конь — аглицкий жеребец, для приплоду, тысяч десять, а то и больше стоит. Влезли в конюшню, наклали досок на тарантас, с тарантаса — на сеновал, завязали коню глаза, ввели на сеновал, а в барское окно — трах! — камнем. Выскочили с ружьями, с револьверами, к конюшне, — стена разобрана. Отомкнули двери, отворили, коня нету. Хлопают об полы, дивуются, как лошадь могла под болт пролезть, — стало быть, на коленки стала. А мы лежим на сеновале да слушаем. Зараз нарядили погоню человек десять с ружьями, и пан с ними, и залились в степь, — больше, дескать, некуда. Ну, мы подождали трошки, наклали опять досок, свели коня, вывели через двери, прихватили с базу двух меринов да помаленечку и уехали в другую сторону.

Шершавые усы и брови шевелятся.

— Гореть тебе в пещи огненной!

— Го-о-о!.. Ничего, проживу, еще вспоминать будете.

Они хмуро и раздраженно уходили, ругая его, но с странным ощущением, что — да, будут вспоминать, будут его вспоминать. Чем? И мешались в душе неприязнь и раздражение с странным чувством глухого и смутного удивления перед этим человеком.

* * *

Попрежнему каждый день загоралась зорька над лесом, загорались кресты в монастыре, а вечером за поворотом, отражаясь, потухал красный закат, но долго в сумерках белели стены монастыря.

Уютно чувствовалось Афиногенычу на его пустом, безлюдном берегу. Одни у него были разговоры — с немыми рыбами, которые его хорошо понимали, и он их отлично понимал. Да чайки вели с ним деловые сношения, постоянно летая и подбирая остатки рыб. Для них у него находилась добродушная шутка, улыбка из-под жестких усов, для людей оставались колкие, язвительные, насмешливые слова. И ничто его не связывало с людьми.

— Афиногеныч, — говорили ему, — и живешь-то ты не полюдски: ни у тебя роду, ни племени, ни семьи, ни у тебя детей...

А у него шевелились усы и брови.

— Будет того, что вы щенков плодите... перво-наперво, чтоб половину с голоду уморить, а которая остатняя половина подымется, будет заместо вас скотиной в ярме ходить.

И было все одно и то же: река, лес, дальний поворот и в синей расщелине белый монастырь. Старик в тени обрыва плетет сети, и тихо моет вода отмель, тихо шепчутся нависшие деревья, беззаботно реют ослепительно белые чайки. Точно все отодвинулось кругом — и города, и деревни, и людское горе, и прошлое, и молодость. Тихо, спокойно, задумчиво. И сеть, ложась на песок тонкой сквозной тенью, шевелится, непрерывно растет новыми кольцами.

Думает ли Афиногеныч о далекой молодости, рвущейся неизбытыми еще силами, о борьбе одного против всех, рад ли ласковому солнцу, воде, безлюдному берегу, таким же старым, как и он, деревьям, тоже с подмытыми, свисшими корнями, или просто внимательно следит, чтобы правильнее цеплялись друг за дружку новые глазки?

Ночи приходили такие же ласковые, тихие и задумчивые. И не то маячили на той стороне горы, не то это только казалось. Неподвижной темнотой темнела река, или совсем ее не было, и был провал, бездонный и разверстый, и будто стояла вдоль реки густая караулящая таинственная тень.

У потонувшей избушки слабо краснеет, шевелится костер, такой же древний от века, как эта ночь, и в ней невидимая река, такой же одиноко брошенный, как этот старик, у которого сердито шевелятся брови и усы на красном, отсвечивающем лице.

Потом костер засыпает — и нет старика, нет гор, нет реки.

Из города приезжали скупщики. Они были проворные, ловкие, плутоватые, расчетливые. Торговались, били о полы, по рукам, и пахло от них уснувшей рыбой, лавками и городским духом. Но Афиногеныч был с ними угрюм, малоречив и упорен, как заноровившийся конь. Назначал цену и уже не сдвигался, как глинистая глыба у обрыва. А раз, когда особенно настойчиво

предлагали низкую цену, вывалил на их глазах в реку целую лодку живой, трепещущей рыбы.

И долго они грозили ему кулаками, и разносилась скверная крикливая брань по реке, по берегу.

* * *

Раз пришел сюда кучками измученный, оборванный, исхудалый, с ввалившимися щеками деревенский народ. Шли в город — либо на суд, либо садиться в тюрьму, либо хлопотать о пропитании. Садились, выставляя под жгучее солнце костлявые, босые, потрескавшиеся ноги, почернелую, ввалившуюся грудь, сидели и ковыряли горячий рассыпчатый песок.

— Мочи нету! Край — больше некуда. Скотина попадала, избы раскрыты, ребятишки мрут.

Старик шевелил усами и как бы нехотя бросал:

— А вы бы того... к Паисию... он ублаготворит: стало быть, любите ближнего и протчее.

— Край пришел! Все одно — ложись помирай.

— У него теперь брюхо-то понадбавилось. Землицы-то они подкупили округ вашей деревни вплоть до Ольхового Рогу... Свечечку подите поставьте.

Белел монастырь.

А деревенские ныли.

— Больше некуда. Край. Нету мочи!..—заунывно стояло над тихой рекой, как припев вековой, никогда не смолкавшей песни.

А старик говорил, накидывая слова, как новые петли в сети, которую вязал:

— Было нас трое о ту пору, молодые. Вывели мы у богатея, — всю округу держал в кулаке, — вывели тройку: дорогая тройка. Да не успели, — нагнали у реки. Я успел в камыши, сижу в воде по горло, а товарищей сцапали. Сбежалась вся деревня. Богатей кровью весь налился, лютый ходит, зверь-зверем. «А-а!.. Бейте в мою голову!..» Подступились мужики. Товарищ стоит, руки скручены назад, по лицу кровь. И поднял голову и говорит: «Братцы, сами знаете, никогда ни одного мужика не тронули, жеребенка не взяли, заимствовали мы только у богатеев. Сосут они из вас кровь... Ужли ж за них заступитесь, сами себя по ногам бить будете?..» Насупился народ, глядит в землю, чешут в затылках. Екнуло у меня сердце. Уже совсем поднялся я из камыша, к ним, то есть к мужикам-то: «Дескать, братцы, вместе страдаем, одна у нас чаша горькая». Да мироед как заревет: «Али не видите, — конокрады, душегубы!.. Бейте в мою голову! Три ведра водки ставлю!..» Зашатался народ, зашумел. Вдарил кто-то товарища колом, свалили и зачали:.. Цельную ночь сидел я и глядел, не отрывая глаз, а они били, они измывались, они мучили. Не признаешь за человека, а они всё молотят по мясу, по красному мясу, во тут, передо мной, рукой подать...

Старик передохнул и глянул красными глазами.

— Цельную ночь глядел... Ушли. Вылез, постоял над товарищем, — говядина красная, боле ничего. Пошел, как пьяный... А после того восемь раз сжег деревню. Из тюрьмы, из Сибири бегал. Прибегу и сожгу... Все разорились. В восьмой раз как сжег, разбрелась вся деревня, одни головни остались... А теперича и место то запахали, ничего нет.

Все так же белел монастырь, стояли горы и за лесом пропадал поворот реки. Оборванные люди сидели, подняв острые колени и раскапывая горячий песок.

Лохматые, нависшие брови грозили кому-то, приподнялись. И старик вдруг злобно бросил:

— Мало с вас шкуру спускают!

У тех тоже блестят озлоблением воспаленные глаза.

— По две дерут с каждого.

— Мало!.. По три, по десятку надо, мясо с вас спускать, в плуги запрягать, да чтоб тут же, на меже, падали и дохли, — может, тогда хоть за ум возьметесь...

— Не лайся, не собака.

— ...Может, морду от земли подымете.

— Ты лучше перевези нас, Афиногеныч.

Старик разом успокаивается и брезгливо обегает их из-под насупленных бровей.

— По копейке с рыла.

— Побойся бога! Не емши целый день, падем не то где на дороге... Десять верст крюку на паром-то, не дойдем.

— Даром не повезу.

— Христа-ради!.. Сделай божецкую милость... Ни гроша за душой ни у кого.

Старик молча отворачивается и спокойно принимается за работу, как будто он один. Те обступают, униженно кланяются, просят, голоса становятся хриплее, крикливее.

— Чего на него смотреть! Спихивай каюк!..

Они берутся за лодку, озлобленные, кричащие. Старик, как гигант, размахивает веслом: удары сыплются на головы, на обожженные костлявые плечи. Весло раскалывается, и куски летят, сверкая свежей древесиной. Старик схватывает небольшой якорь с растопыренными лапами, и он гудит в воздухе в дюжих руках.

Все кидаются в разные стороны.

— Тю... Объелся белены!. Зверь бешеный!..

Он смотрит на них, как на побитую собаку:

— Сволочи! Дохлое мясо! Вонь от вас стоит, мир только гноите...

А они идут вялой, шатающейся походкой. Идут, и солнце жжет сквозь рваное тряпье почернелое тело, и накаленный песок палит истрескавшиеся ноги, и река нестерпимым блеском слепит воспаленные, ввалившиеся глаза.

* * *

Реже и реже перевозил Афиногеныч богомольцев. Придут бабы с изборожденными вековой усталостью лицами, с покорными глазами, в которых стоит один и тот же, непонятный для них самих, от века безответный вопрос. По целым неделям — никого. Редко когда приплетутся мужики.

По большим праздникам приваливала молодежь. Но они не переезжали на ту сторону, а приносили с собой водки, лускали семечки, играли на гармонике, пели песни, и над тихой рекой неслись крики, смех, крепкие слова и брань.

Собственно, Афиногеныч ничего не мог им дать и не обращал внимания на их шумную компанию, но его отрывочные, несвязные рассказы о прошлом, о буйной, непокорной молодости, едко и зло оброненные замечания собирали около него кружок.

И из толпы вытягивающих вокруг него шеи парней слышалось:

— Двоих наших лесники убили... порубщиков.

— Десятин сто его, лесу-то...

И все глядели на сумрачный монастырский лес, темной густотой выделявшийся у светлой реки.

— Придет черед...

— Погреем руки...

— Все одно это — не жисть... Одинаково пропадать — тут или на каторге.

— Из каторги каторга не страшна.

— И-и, милые мои, — говорил старик, — чего ерепенитесь? Али плохо овце, как с нее шерсть стригут?..

...Побывал как-то у Афиногеныча и никогда не бывавший дотоле гость — монах, черный, с бородой, с светящимися маленькими пронизывающими глазками, в скуфье.

Старик тесал новое весло, а монах стоял и глядел подозрительно и враждебно.

— Ты что же это, али басурман?

— А что?

— Ни тебе благословения, ни тебе креста не надо?

— Замучились вы и без того, сколько наблагословляли кругом. Надо и вас пожалеть, — вишь, жиру-то у тебе от благословения наперло.

Монах пододвинул обрубок, сел, опустил глаза и молчал, и лицо его было холодно и жестко. Потом заговорил:

— Напрямик тебе скажу: все знаю.

— Тебе так и полагается — во святом месте живешь.

— Все знаю, и давно. Отец игумен велел доложить полиции в городе, чтоб убрали, а я упросил: пущай грехи замаливает, пущай живет. А ты что же это делаешь? В благодарность народ мутишь?

— Мутного не замутишь.

— Ну так вот тебе сказ: ежели еще хоть раз дойдет, что ты смутьянишь народ басурманскими речами, — сейчас же позовем полицию, и крышка тебе!

Топор, тихонько тюкая, заворачивал тоненькую стружку. Старик молчал. Потом опустил топор, усы шевельнулись.

— Кто же бабьят вам будет перевозить? Тоже на паром округ не всякая захочет киселя хлебать...

И опять топор затюкал, заворачивая тоненькую стружку.

Маленькие глазки монаха забегали огоньком, потом опять глядели холодно-враждебно, и лицо было спокойное и жесткое.

— Хулу возводят на ангелов господних, не токмо на иноков, а только ежели ты...

— А... самим вам заводить перевоз не покажется зазорно? Вишь, я вам и пригожаюсь. Ну, полиция-то станет брать, что ж, придется обсказать, как Марьянку-то вытащил из воды, бросилась топиться... Чай, знаешь?

Чернец побагровел и ринулся к деду:

— Т-ты... старик!

Потом сдержался и холодно проговорил:

— Язык-то попридержи, старина, попридержи. Даром-то тебе не пройдет...

И пошел, черный и грузный, тяжело вытаскивая ноги из песка, пошел к лесу.

* * *

Лето было сухое и жаркое, и, должно быть, от суши по ночам стояли зарева.

С вечера небо бывало бархатно-черное, а к полуночи начинало заниматься, сначала смутно и неясно, а потом разрасталось, и из-за леса глядело зарево, багровое и колеблющееся. Было молчаливо-зловещее в его мертвом шевелящемся взгляде.

А потом понемногу тускнела чернота в другом месте, и смутно нарождался красневший отсвет, и разрастался, и глядел из-за черного края, багровый, мертвый и шевелящийся.

И потонувшие среди ночи горы, и невидимая река, и глухой лес, и монастырь, который стоял во мгле, и слабо плывшие по темной воде глухие темные звуки колокола — все казалось слабым, маленьким и ничтожным перед этим немым, багровым, стоявшим на небе ужасом.

Черное небо пылало в разных местах, но здесь, внизу, попрежнему было немо, неподвижно, молчаливо, темно и жутко.

Старик много раз вылезал за ночь из избушки, и его темная фигура долго чернела среди молчаливой ночи перед молчаливо, зловеще, ничего не освещая, глядевшим заревом.

Вставала ночь далекого прошлого... Бушевал ураган огня, носились освещенные галки, голуби, дико ревела, задыхаясь в дыму, скотина, метался обезумевший народ. Огонь пожирал, извилисто облизывая, избы ласково-проворными светящимися языками, и зарево охватывало полнеба, но в овраге, где он сидел, глядя из-под насупившихся бровей приподнятыми очами, было темно и немо, как здесь.

Старик глядел на эти неподвижно стоявшие багровые зарева из-под насупленных старых бровей и приговаривал:

— Ага, монастырские экономии полыхают... Дòбре, дòбре, ребятки! «Тогда не осталось камня на камне, и самое место вспахано...» Дòбре, ребятки!..

* * *

Раз старик спал чутким сном, и кто-то сквозь сон толкнул: «Скорее!..»

Он вскочил, выбрался. Насторожившаяся ночь темна и тиха, в разных местах зловеще стоят зарева. Он нагнул голову, прислушался, — никого. Смутно темнел обрыв, над ним деревья.

И, отвечая предчувствию и темному ожиданию, хрустнул одинокий звук наверху, в лесу. Упала ли веточка, прокрался ли заяц, или шарахнулась неуклюжая сова... Опять повторился. Захрустело, затопало. Кто-то бежал, приближаясь торопливо. Посыпалась глина. Мелькнули фигуры — один, другой... Скатились с обрыва — и в темноте перед Афиногенычем стоят два парня, тяжело, быстро и прерывисто дыша:

— Вези скорей!

— Откеда?

— Из монастырской экономии.

Слова падают коротко, быстро, отрывисто, с особенным, помимо формального, значением. И старик не спрашивает, идет к избушке, берет весло, и они спихивают и садятся в каюк. Берег темно расплывается. В носу говорливо бьется вода, бурлит весло. Лодка неподвижна среди ночи, среди реки. И кажется — это продолжается долго, бесконечно долго, и кажется — только отошли, а над головами черно нависли уже невидимые, но ощутимые громады. Лодка ткнулась о другой берег.

— Прощай, дядя!..

Опять говорит в носу говорливая вода, а лодка стоит среди темной ночи, среди темной реки, в виду молчаливого багрового зарева. Чудится — все затаилось, примолкло, потонуло в густой мгле, в чутком напряжении ожидания развертывающейся огромной немой драмы. Точно гигантская завеса кроваво вздрагивает и шевелится, охватив полнебосклона, и вот разверзнется, и понесутся крики и звон, и вопли, и смятение ужаса караемых. Так было в ту последнюю ужасную ночь, когда бушующее пламя пожирало избы, скот, людей...

И была тиха темная река, темная ночь, только темное небо багрово светилось.

Вернулся Афиногеныч, вылез из каюка, вытащил его до половины, прислонил весло и забрался в избушку на сухое душистое сено.

Не спалось. Поминутно прислушивался. За плетеными стенами кто-то шуршал, ходил и хрустел сучьями над обрывом. Но когда выставлял голову наружу, попрежнему было темно, тихо, невозмутимо.

...Раз почудился как бы выстрел, далекий, глухой и зловещий, и снова тихо. Старик опять послушал: может быть, свалилось подгнившее дерево или плеснула большая рыба? Звуки, тонувшие прежде в ночной тишине, теперь странно и чутко выступали, и ухо жадно ловило.

Опять в лесу захрустело отчетливо и ясно. Слышно было — громко, смело и не таясь хрустели и ломались сухие ветки, и чьи-то тяжелые спешащие шаги отдавались по сухой, крепкой земле. Старик хмуро улегся и не подымал головы.

Уже слышны голоса, крики и переговариванья нескольких человек.

— Да тут голову сломишь!

— Спущаться тут никак нельзя.

— В объезд.

— Да куда в объезд... Темень, зги не видать, бездорожно.

Раздалось фырканье лошадей.

— Лошадей оставим наверху. Спущайтесь сами.

Посыпалась глина, захрустел песок. В стенку раздался удар, — вся избушка затряслась.

— Эй ты! Выходи... Выходи, что ль...

— Ась?.. Кто там?

— А вот я тебе покажу.

Двери сорвались, и темное отверстие кто-то загородил. Чиркнула спичка, на секунду осветив развешанные сети, сено, старика... И опять глянуло темное четырехугольное отверстие дверей. А за стенкой голос:

— Один, никого нет.

— Эй, вылазь!

Старик выбрался и стоял перед ними угрюмой темной фигурой. Их было пятеро.

— Ну-ка, старый хрен, давай лодку, вези на ту сторону. Тебе говорят...

— Кого зараз перевозил?

— Никого.

— Брешешь. Ну-ка, свети, Миколай.

Вспыхнул пучок сухого хвороста. Пламя трепетало, и трепетали и скользили живые тени. Казаки, нагнувшись, шаг за шагом рассматривали истоптанный песок

— Вишь следы, прошли только.

— Что же ты брешешь, сучий сын?

— Мало ли народу утром в монастырь к обедне переправлялось.

— Ну, ну, не заговаривай зубы. Садись, ребята.

— А лошади?

— С лошадьми нехай Иван на перевоз скачет.

И, обернувшись к обрыву и приложив ладони ко рту, зычно крикнул:

— Ива-ан! Выезжай на дорогу да лупи к парому. А там выедешь, валяй к Сухой Балке, там жди.

Шарахнулась во тьме ночная птица, а с обрыва донеслось:

— Слушаю!

И стал доноситься удаляющийся ночной топот.

— Ну, ты, чортова кукла, вези!..

Они все подошли к лодке...

— Далече не уйдут... тут деться некуды.

Старик положил в каюк весло, попробовал ногой, крепко уперся в песок, навалился плечом и сделал огромное усилие разом спихнуть и далеко оттолкнуть лодку в глубокое место, вскочить и уехать. Каюк скрипнул о песок и всплыл, тихонько покачиваясь у самого берега. Нет, старик, прошла молодость, прошло время, прошла сила... Он вздохнул, угрюмо придерживая колыхающуюся лодку.

Сели. Весло бурлило в темной воде.

Афиногеныч все посматривал в темноту, в ту сторону, где был монастырь. И стало ему чудиться, что среди тьмы мутно проступают его очертания.

Пятеро тихо сидели, крепко держась за мокрые борта, у самого края которых влажно чувствовалась колеблющаяся вода.

— Ну, ты, сыч, греби, что ль... заснул!..

И в ответ над рекой пронесся хищный крик:

— Проснулся!!.

В ту же секунду темная фигура старика метнулась в сторону. С шумом бурно устремившейся через борт воды слился крик отчаяния пятерых людей. С минуту слышались всплески нечеловеческой борьбы, потом стихло.

Старик с усилием плыл. Одежда все больше намокала и тянула ко дну. Вода влажно и настойчиво вливалась в рот, руки с трудом подымались. В глазах замотались огненные мухи. С нечеловеческим напряжением, глотая страшно вливавшуюся воду, взмахнул раз... два... и перестал грести.

Река попрежнему была тиха и спокойна. Но среди ночи, среди неподвижной тьмы стали выступать залитые розоватым отсветом монастырские стены, башенки, колокольни. Стали выступать розоватые верхи прибрежных гор; как розовым шелком, чуть подернулась река, — небо пылало от черной угрюмой линии горизонта до зенита, все было залито багровым заревом.

СОПКА С КРЕСТАМИ

I

Что бы ни делала, смеялась ли, или шла по улицам, болтала в гостях, читала или открывала щурящиеся от утреннего света глаза, всегда один и тот же постоянный, не теряющий своей болезненной остроты, не ослабляемый временем вопрос вставал: а *он?*

Покрывалась земля снегом, белели крыши, верхушки фонарей... а *он*? Стояли в цвету яблони, пахло зацветающей сиренью, дымилась черная отдохнувшая земля... что-то с *ним*? Жгло полуденное солнце желтеющие поля, блестела знойным блеском река... Но над *ним* такое ли солнце?

Годы проходили неумолимо и безжалостно, все менялось, но все то же оставалось: «А *он*?»

Для других она была высокая, стройная девушка, со спокойными глазами, с большим, оттягивавшим головку узлом каштановых волос, себя она чувствовала упруго сжатой вокруг одной мысли, одного представления.

Но никогда не могла она представить его себе таким, каким он должен был быть теперь: выбритая наполовину голова, серый халат, тупо и мертво звучащее железо... Представлялся он, как тогда, стройным и подвижным, открытое, смелое лицо и молодые, полные жизни глаза.

Уже три года... Становилось страшно, что так же пройдет вся жизнь. Каждый день убегал, заполненный тысячами забот, дел, разговоров, мыслей, улыбок, ничего не изменяя.

Раз в год или в два она получала от *него* несколько строк. Это был маленький серый клочок плохой, почти оберточной бумаги, с вкрапленными кусочками соломы, с пушисто и неровно оборванными краями, захватанными, со следами пятен от пальцев. Должно быть, через много тайных рук проходил этот клочок, прежде чем попасть в конверт и на почту.

Часами глядела она на этот клочок, и странно было, что светит солнце, стоят дома, мчатся экипажи, что жизнь льется рав-

подушная и слепая, как будто не было этого серого, измятого, тщательно расправленного клочка.

Несколько сухих и холодных строк — беглой, знакомой рукой. Он говорил, что здоров, просит не беспокоиться, и — главное — жить, жить своей полной жизнью, не заботясь о *нем*. И не было в них ласки, нежности, намека любви. И эти сухие короткие строки звучали, как похоронный звон...

Уходили дни, месяцы, годы, принося свои заботы, дела, интересы, и все то же жило болезненное, бессознательно смутное воспоминание.

II

Нет водоема, который бы не иссяк, нет гор, которые не были бы размыты, нет раны, которую бы не затянуло.

Молодость просила счастья, ласки, любви; светило солнце, и весна приходила каждый раз новая, непохожая.

Прошлое тускнело, как далекие очертания покидаемого края, жизнь несла только настоящее.

И голоса товарищей, смех, повседневные дела, милые, ласковые глаза, мысли, книги, — все оплетало невидимой и прочной паутиной.

Бурлил самовар, сидели вокруг стола с молодыми лицами. Звучал смех или загорался спор.

— Вы висите в воздухе...

— Нет, это вы висите в воздухе с вашей оторванностью от народа, от русского народа, от индивидуальности, от национальных особенностей народной жизни...

— На мужике держится весь уклад рабства и угнетения...

— Господа, а из Акатуя побег...

— Да, да, постойте-ка... у меня письмо оттуда...

— Ну-у?!. Когда?.. Каким образом?..

— Да уж с неделю... один из ссыльных привез...

— Что же вы раньше-то... что же молчите?.. читайте.

— Читайте, читайте!

Сосредоточенно достал бородатый из бокового кармана неуклюжий, серый, в несколько раз сложенный и мелко исписанный лист, осторожно разложил на столе, как будто это была страница, вырванная из священной книги, и начал хрипловатым, глухим, но везде отдававшимся голосом:

«...нет, милые друзья, не надо утешений, надежд, подбадриваний. Какие бы слова ни говорить, какие бы ни приводить соображения, как бы ни изменялись события, все холодно и спокойно покрывается: «но ведь вечная!..» В окно мне смотрит кусочек неба, да белеет вершина сопки, а на ней чернеют кресты: туда таскают окончивших срок. И мой срок кончится там. И для меня одна дорога — только туда... Но я одного прошу, умоляю:

ничего не говорите Кате. Пусть она живет, пусть любит солнце, счастье, жизнь. Ее образ я ношу в сердце своем днем, ночью и засну последним сном с ее именем. И когда смертельная, пожирающая тоска наваливается и я хочу убить себя, я вспоминаю ее милые спокойные глаза, и... живу. Зачем?..»

Лежали, навалившись грудью на стол, не спуская глаз с чтеца, сбившись тесной кучей, придерживая дыхание. Но отдельно от всех из темного угла сверкала пара глаз. Как будто не было человека, не было платья, рук, прически, не белело лицо, только играли фосфорическим блеском ни на секунду не тухнущие глаза. Горячечным блеском глядели они поверх голов, поверх чтеца, поверх громадных пространств, туда, где немо, неподвижно и мертво ожидала сопка и чернели кресты.

Тихонько встала, оделась и вышла. Ничего нельзя было сказать нового, уже ничего нельзя было добавить. Кто-то мертвыми, холодно-синими губами сказал: «аминь». Сопка с чернеющими крестами...

Так вот почему суровы и коротки были его письма к ней, вот почему не вырывалось ни одной жалобы, ни стона, — мертвые оставляют жизнь живым.

И она оглянулась и вздохнула вздохом облегчения... Все остановилось: солнце, люди, экипажи, шум улиц. Уже не придет весна обновляющей новизной. Жизнь остановилась на роковых словах недочитанного письма.

III

Она не знала, как устроится, как будет действовать, не было никакого определенного плана, но стук колес под полом, убегающие столбы, поля и далекий горизонт говорили, что с каждой минутой, с каждой секундой сокращаются тысячи верст, которые отделяют от *него*.

Проходили ночи, томительные, долгие, с колеблющимся неверным полумраком, с мерцающей свечой, с двигающимися по сонным лицам, покачивающимся стенкам и потолку тенями, с немолчным говором колес. Проходили дни еще более томительные, с несвязными дорожными впечатлениями и разговорами, с забывающимся гулом и стуком, к которому привыкло ухо и который ощущался только в молчании, когда поезд стоял на станциях. А впереди лежали целые недели и тысячи верст пути.

И среди скучного однообразия одним немеркнущим представлением упрямо стояла сопка с крестами. Угрюмая, одинокая, она заслоняла будущее, прошлое, заслоняла мысли, соображения, предстоящие неодолимые препятствия, стояла, заслоняя небо, одна во вселенной, молчаливая, немая, с непокорной тайной.

Поднимала глаза, с изумлением глядя на привычно проходящих кондукторов, на потные лица пассажиров, прислушивалась:

— ...да-а, святитель Прокопий лежит в самой дальней пещере. Пять годов назад была, к ручке прикладывалась, а нынче пришла, ручки уже нету, почернела, земле предалась...

— Земле предалась...

— Земле, стало быть, предалась!..

И покачиваются подвязанные платками головы, и глядят наивные, тупо внимательные бабьи лица. Лавры, монастыри, монахи, золотящиеся при закате кресты — все это встает огромной громадой чудовищной жизни, которая клубится, развертывается и творит свое, в которой нет места сопке с крестами.

Поезд катился среди равнин и лесов, через реки и луга, между гор, обрывов, через ущелья и перевалы, и казалось, что он несется в другую сторону, что расстояние все больше и больше ложится между ним и сопкой.

Но когда носильщик снес вещи на вокзал небольшого городка в самом сердце Сибири, усталость и равнодушие вдруг охватили неодолимой сонливостью.

В крохотном номерке нечистой гостиницы спала крепким, тяжелым сном, а когда просыпалась, все те же глядели в окна деревянные крыши домов, все те же тянулись по бокам улиц деревянные тротуары, все так же хмуро, ровно и серо висело серьезное, молчаливое небо. И люди были чужие, и прислуга, подавая самовар, как бы говорила: «нам все равно...»

Сопка с крестами затерялась и пропала. Со всех сторон стояло чуждое, молчаливо-враждебное. И надо было начинать, и жизнь потянулась.

Обмахиваясь веером, она сидела в цветнике нарядных дам и девиц, и красная роза дрожала на ее груди. Было, как всегда бывает на балах: мягкие звуки музыки, много света, воздушные пляски, декольте, цветы, фраки, мундиры и бальные, праздничные лица, так же обязательные, как и роскошные платья. И положив руку на черное плечо и слегка отвернув голову, шла в мягком томительно медлительном танце, и зал, пестреющий цветными красками людей, медленно плыл по огромному кругу.

К ней то и дело подходили во фраках и мундирах, и она много танцовала, и много завязывалось новых знакомств, и всем отдавала милую улыбку, и спокойно и грустно глядели глубокие черные глаза.

В шуме и пестроте бальной жизни фразы принимали иной, больший, чем содержали, смысл, лица казались значительнее, и временами боязливо вспыхивало сознание, что, быть может, это и есть настоящая жизнь, быть может, железный порядок ве-

щей требует пользоваться жизнью таковой, какой она дается, — ни молодость, ни время не ждут.

Но когда возвращалась домой и, полураздетая, с поникшей головой, задумчиво стояла над кроватью, медленно и неуклонно слезала мишура с бальной музыки, с цветов, с яркого освещения, с бальных разговоров, с бальных лиц. Угрюмо и одиноко стояла сопка с крестами, заслоняя весь мир.

Но почему смысл жизни — в этом угрюмом, без красок, холодном, одиноком, полном тоски и отчаяния?

Почему?

Ответа не было. Молча и немо стояла сопка.

Жизнь складывалась из кусочков, без плана, без определенно поставленной ближайшей цели, с постоянным и смутным сознанием, что в конце концов куда-то придет, устроится, что-то будет достигнуто, и она увидит дорогого человека. А дни уходили за днями, месяцы за месяцами, кончался год.

Она добилась известного положения в городе в качестве учительницы, и время все было заполнено. И опять постоянные заботы, дела, работа стали затуманивать память о нем. Тысячи нитей повседневно снова опутывали и оплетали. Она не давалась, и по ночам, глядя в темноту, горько думала о своем бессилии что-нибудь предпринять и перебирала тысячи планов увидеться с ним, но приходил шумный, пестрый, требовательный день и опять все отодвигал и затуманивал.

В ее отношениях к людям была постоянная двойственность. Они забирали все внимание, силы, напряжение, но в шуме и суголоке постоянно жило несознанное ощущение, что это пока так себе, а настоящее где-то впереди, в будущем, подернутое смутной дымкой, точно раскинулся немолчный крикливый бивуак, который в конце концов снимется, и все кругом опустеет и замолкнет.

В этом городе, куда на зиму съезжалась приисковая знать, где были многочисленные представители административных учреждений, зима проходила шумно и весело. Балы, вечера, рауты. И в их чаду она чувствовала силу женского обаяния. Это проснулось незаметно.

И в студенческой среде девушка чувствовала себя женщиной, но это тонуло в милых, мягких, товарищеских отношениях, тонуло в обилии умственной работы, мысли. Здесь же, среди золотой молодежи, среди тузов золота, важных чиновников, она чувствовала себя нагой, сильной только как женщина, как мраморная статуя.

— Но скажите, пожалуйста, что вас прельщает в этой беготне по метеорологическим станциям?

У него выхоленное лицо, мундир, крупные брильянты в перстнях.

Она чуть усмехается.

— Я же состою членом географического общества... мне поручаются научные работы.

— Ба!.. Наука!.. Наука для старцев, для тех, кто вышел в тираж, для вас — свет, удовольствия. Нельзя себя закапывать в запыленные фолианты...

— Но ведь...

— Представьте же, если бы цветы стали рубить, как капусту, в борщ... Ха-ха-ха... Что было бы...

— А у меня к вам просьба.

Он предупредительно привстает и кланяется.

— Приказывайте!..

Она смотрит, и ее черные, спокойные, дремлющие в глубине глаза говорят с тем особенным девическим цинизмом целомудрия, недоступности и чистоты: «Видишь, молода, крепка, стройна... упруга девичья грудь и нежны губы, еще не знающие поцелуя, но мне решительно до тебя нет дела, и ты не позволишь себе ни намека на вольность». И она чувствует, как этот немой, постоянно звучащий в ее фигуре язык раздражающе-упруго отделяет от нее мужчин, постоянно притягивая их к ней.

— Видите ли... как раз по поводу ненавистной вам науки.

— Для вас я готов сделаться ученым и мудрецом.

Глаза лукаво смеются.

— Ну-ну... не сразу... Мне необходимо совершить ряд поездок с научной целью. Но вы ведь знаете, как относятся в глуши к научным работам и наблюдениям, особенно если это женщина... вот даже вы...

— Помилуйте, вы не так меня поняли... напротив, меня чрезвычайно интересует... Словом, приказывайте, все сделаю, что в моей власти.

— Я попрошу вас, — она говорит спокойно-приказательно, — я попрошу вас... нельзя ли будет выдать мне открытый лист для поездки и... и маленькое... маленькое обращение в нем к властям большим и малым о содействии, чтобы помогли ориентироваться. Вообще ведь трудно, ничего не знаю...

Он подумал. У нее замерло сердце и почти не билось.

— Н-да!.. Надо будет вас представить губернатору. От него зависит. Я все устрою, — говорил он решительно и с таким лицом, как будто хотел сказать: «Видишь — для тебя я все делаю».

А она спокойно глядела глубокими глазами с таившейся насмешливой улыбкой в углах и как бы говорила: «Знаю, но мне решительно все равно, и между нами попрежнему такое же расстояние...»

И эта особенная власть женской молодости бессознательно наполняла ее ощущением некоторой гордости и смутного пренебрежения и брезгливости к окружающим. Пока она молода и

красива, обычные, обязательные рамки человеческих отношений странно для нее раздвигаются.

И она была представлена губернатору. Бодрый старик, с неизменным выражением своего особенного положения, любезно согласился на просьбу.

IV

Снег сверкал и искрился. Он сверкал и искрился везде, куда доставал глаз: и по крутым увалам белевших сопок, и по лощине, и редко мелькая и падая в воздухе брильянтами. Скучно и сосредоточенно бежали гуськом лошади, выворачивая и поблескивая отбеленными подковами, пошатывая крупами, потряхивая думающими головами, бежали и думали свое, такое же однообразное, как эта бесконечно бегущая, скрипучая дорога.

Мороз лежал на всем, густой, тяжелый, прозрачный, и снежные очертания были жгучи.

Молчаливая пустыня раздвигалась скупо, отовсюду волнисто загораживая снежными искрящимися линиями, и язык молчания спокойно и холодно говорил, что нет места здесь живому. Не дымились трубы, не темнели избы, стлался только иссинясверкающий снег. Да мелкой щеткой по белизне склонов темнели леса, но и там, должно быть, было пусто и мертво, — ни зверя, ни птицы, ни дыхания.

Два человека чернели среди громадной, молчаливо думающей пустыни в кошеве[1], быстро скрипевшей по снежной дороге.

— Нно-но, милая!..

Взмахивал кнутом, дергал вожжами, и мысли и настроения у него были такие же однообразные, как эта дорога, как бело встававшие и угрюмо загораживавшие горизонт с обеих сторон горы.

Женская закутанная фигура молчаливо встряхивалась и покачивалась на ухабах. Тысячи мыслей, представлений, воспоминаний.

— Ямщик, скоро?

— Скоро, скоро, барышня, скоро... поспеем.

Усилием воли она отодвигала вздымавшиеся вокруг горы, и ей чудилась сопка с крестами, особенная, не похожая ни на одну гору в мире. И стояла она, огромная, таинственная, касаясь белой вершины небес. И черною ратью покрывают ее кресты. Они густо чернеют, как лес, молчаливыми стражами потухших жизней, похороненных страданий.

Толчок, ухабы, сани прыгают, лошади все так же поматывают думающими головами, все так же холодно искрятся ослепительные сопки.

---

[1] Кошева — сани.

И вдруг что-то дрогнуло, и по сверкающим отлогостям метнулась в глаза живыми пятнами красная кровь. Кто-то гигантский разбрызгал ее по горам, и она густо окровавила холодные снега. Глаз, отдыхая, останавливался на бледнорозовых пятнах, которые теперь казались не кровью, а нежными чайными розами. Среди мертвых морозов, мертвых снегов, среди молчащей пустыни чудные розы говорили о далекой весне, о ласке тихо сверкающего теплого моря, о благоухании томящих ночей.

И чудилось, что *он* ходит, улыбающийся, с ясным лицом, свободный, и радостно ждет ее, и розы устилают путь, душистые, бледные розы. Он ждет ее, небесту свою, и больно и торопливо стучит сердце. Вырывается тихий вздох счастья, глаза полузакрыты. Полозья поют песню, тихо и радостно звучащую мелодию. Ах!..

— Ямщик, скоро ли?

— Скоро, скоро, барышня... Зараз вон за сопкой поворот... Поспеем. Все там будем, от своего не уйдешь...

Лошади попрежнему покачиваются, обдумывают.

— Ямщик, что это красное по горам?

— Багульник, кусты, стало быть.

Только всего багульник. Нет роз, нет тихо поющего сверкания моря. Визжат полозья. Мороз, густой и тяжелый, лежит, иссиня-прозрачный, по лощине, по сверкающим очертаниям гор... Багульник, голые безлистные красные кусты багульника!..

Все просто, все так же страшно просто, как там, в России, как в эти два года в сибирском городке, все просто, все на своем месте. Здесь стоит тот же железный порядок, которому подчинена вся жизнь.

— Вот и Акатуй!

Он показывает кнутом.

Она приподымается, она впивается горячечными глазами, впивается мимо полуразвалившихся, почернелых, как загнившие грибы, избушек нищей деревушки, впивается в сопку.

Но это самая обыкновенная, ничем не отличающаяся от других, занесенная снегом сопка, и десяток крохотных, игрушечных, покосившихся, полусгнивших, полуупавших крестов едва чернеет. Так просто, так обыкновенно и так страшно. Звон цепей, бледное, исхудалое, обросшее лицо... Все на своем месте, все в железном порядке.

Она тяжело вздыхает.

На самой вершине, вырезываясь на морозном небе, белеет благородный мрамор, в последних лучах золотится крест. Не памятник ли это бескорыстным порывам, не напоминание ли, что человеческое великодушие, любовь, самопожертвование молчаливо хоронятся в немой, холодной, равнодушной пустыне жизни?

Показывает кнутом:

— Барин похоронен, декабристом прозывается.

Полуразвалившиеся, слепые избушки позади. Вот и дом начальника тюрьмы — свежий сруб, новая тесовая крыша.

Дальше в полуверсте рядами застроенных бревен смотрит в небо палисад тюрьмы. Едва видна из-за него длинная неуклюжая, приземистая крыша, как чернеющая спина допотопного животного, в тяжелых лапах которого в муке бьются люди...

Так просто, так обыкновенно!..

— Господина начальника нету дома, они уехали. Они будут завтра утром. Вы пожалуйте в комнаты, я зараз велю самовар поставить.

«Ведь *он* здесь... здесь... всего сто шагов...»

И ей хочется рвануться, броситься, бежать туда, кричать изза палисада, но вместо этого садится за накрытый стол и берет чашку горячего дымящегося чаю. Женщина с круглым лицом в темном платье стоит возле, сложив руки и не спуская глаз с гостьи.

— Гляжу я на вас, из России вы... Как-то там теперь?.. И-и, боже мой, хоть бы одним, одним глазком посмотреть...

Слезинка тихонько сползает по щеке.

— Вы давно здесь?

— Четвертый год.

— Что же вы стоите? Садитесь.

— Нет, я постою... Нас презирают на таком положении.

— Вы служите?

— Нет... — она густо краснеет, — господин начальник взяли меня к себе...

И отвернувшись и глядя в уже чернеющее густо надвигающейся ночью окно, говорит:

— Я — уголовная... Такое положение... Никуда не денешься.

А самовару все равно, он бурлит, бросает клубы пара или начинает петь тоненько и однотонно. Женщина стоит, темная, печальная, покорная. В комнате светло, уютно. В срубе стреляют бревна — на дворе крепчает мороз.

— Мальчонка у меня остался там, в России... Как забирали, трех годов был... «Мама, мама!..» Лапает ручонками... — она рассказывает с тихой, сдержанной страстью, с затаенной дрожью. — Румяный, чистое яблоко... Бывало, ночью проснется, лап, лап «мамка, ты тут?..» — «тут, тут...» прикорнет и опять заснет, только носиком так легонько подсвистывает: ти-и, ти-ти...

Часы бьют шесть, потом семь, а глухая ночь давно уж тянется, давно тянется под этот тихий печальный рассказ о далеком мальчике.

Самовар убрали. Темная женщина приготовила постель, пожелала покойной ночи и ушла. Девушка одна ходит по комнате.

В срубе стреляет. Тут, сейчас за темнотой — *он*, милый, усталый, ждущий покоя... И сопка с маленькими покосившимися черными крестами ждет...

— Ах, ничего, ничего не выйдет!..

Хрустят тонкие пальцы.

В тоске, в смертном томлении она мечется. Все то же.

Набросив платок, осторожно и тихо выходит в темные морозные сени. Промерзшие окна глядят фосфорическими пятнами. Тишина, пропитанная тьмой и морозом.

Тихо полуотворила наружную дверь. По ногам тянет леденящий холод. Напрасно силятся глаза пробиться сквозь стену тьмы, — непроглядная, она стоит непроницаемо. Невидим, но осязается потонувший в морозной тьме палисад, там — люди, там — *он*.

Зубы стучат неудержимой мелкой дрожью, трясутся колени, закоченели ноги, застыли руки, льется морозный холод, а она все стоит и глядит во тьму сквозь щель приотворенной двери. Попрежнему мертво-тихо.

Тянутся минуты, может быть, часы, она не знает.

Нарушая густоту мглы, в черной глубине ее шевельнулось живое желтое пятно. Колеблясь, тусклое и мутное, как зарождающаяся жизнь, оно неровно и тихонько передвигается, и нельзя сказать, вперед, или назад, или в сторону.

Девушка, крепко вцепившись окостенелыми пальцами в холодный косяк, не спускает глаз с колеблющегося желтовато мутного пятна. Кругом мертвенная пустота и первозданный холод, там — трепетный зародыш жизни и дыхания. И она с замиранием сердца следит, — вот-вот потухнет.

Кончено... мрак, пустота, холод...

Снова слабо брезжит и желтовато колеблется и борется с надвинувшейся отовсюду черной слепотой ночи.

Теперь ясно можно различить неровно, несмело подвигается сюда. Только отчего с такой болью, с такой смертной мукой толчками бьется сердце?.. Если бы перестало биться, если б потухла тоска!..

Огонек лучится, и по снегу скользит желтовато озаренный кружок.

Люди.

Никого не видно, но нет сомнения — они идут сюда. Дозор, или патруль, или идут с докладом к помощнику.

Огонь фонаря от ходьбы колышется, прыгает, нервно скользя светом по снегу. Скрипят шаги. Ближе и ближе.

Впереди вырисовывается чернее мглы фигура. Покачивается на ходу тяжело и злобно. Лицо, грудь, ноги и руки выступают плоской чернотой, точно вырезаны из картона. Но сзади фонарь освещает серую спину, затылок, мохнатую папаху и колыхающийся на плече, поблескивающий штык. Второй идет такими же большими тяжелыми, сердито топчущими скрипучий снег ша-

гами. В руках фонарь. Свет его старается все заглянуть в лицо, должно быть, угрюмое, в глаза, должно быть, суровые и мрачные, но никак не может достать и только скользит по серой груди шинели, по вспыхивающим пуговицам, по обшлагу рукава.

Третий...

— А-ах!!.

Крик, пронзительный, звенящий, вырывается из груди ее, колышет холодную густую мглу, разносится среди ночи, будит спящих, зажигаются огни, бегут люди... нет, это — беззвучно шелестят сухие губы, как свернувшиеся от мороза листья, и кругом мертво и черно.

Он идет, слегка нагнув голову, и как раз таким, каким она его не могла себе представить — в длиннополом арестантском халате, с обросшим, бледным, исхудалым лицом. Милые знакомые, незабываемые черты. И чтоб помочь ей, фонарь, колеблясь, взглядывает временами ему в лицо желтым пятном... нос с горбинкой, грустные усталые глаза...

Она впивается ногтями в прокаленное морозом дерево... Жених идет к невесте, розы алеют по сверкающей белизне, поет тихое сверкание моря о благоухании томящих ночей... Нет, это слегка позванивает железо кандалов, и *он* поддерживает их рукой.

Из-под ногтей брызжет кровь...

Они проходят в двух шагах от крыльца, верно слышат биение ее сердца, проходят так мучительно близко, что она кричит: «Милый!» Нет, это крик истерзанной души, истомленного любящего сердца, а губы только шелестят, как свернувшиеся от мороза сухие листья: «Я — здесь...»

Они останавливаются во тьме, шагах в десяти, странной таинственной группой, и фонарь, шевелясь, выдвигает из тьмы то руку, то бородатое лицо, то ружейный приклад, придавая еще больше фантастичности этим людям, так таинственно вне тюрьмы в неурочный час стоящим среди чуть мерцающего снега.

Подняли фонарь, и, скользнув в темноте, легла полоса света по смутно уходившим вверх столбам, и вверху были перекладины.

В щели приотворенной двери в ужасе застыли глаза... «Помогите!.. постойте!..»

Он подымается по лесенке, подобрав халат и поддерживая одной рукой кандалы, неверно озаряемый фонарем. Люди в серых шинелях сурово стоят тут же со штыками наготове, ждут... Минуты, вечность смертной тоски... *Он* вздрагивает и на секунду оборачивается по направлению застывших глаз. Все — молчание, все — тьма, потом подымается еще на две ступеньки.

Полоса света передвигается. Смутно белеют приборы в метеорологической будке.

Он спускается, и они идут назад в молчании, с неровно и скупо освещающим фонарем в том же порядке, — впереди солдат, над-

зиратель, потом *он,* в халате, с усталыми глазами, опущенной головой, и солдат замыкает шествие. Они проходят в двух шагах от крыльца, тихо позванивают цепи. Потом фигуры становятся чернее, смутнее, сливаются и тонут в холодной черноте, только фонарь колышется и светит. Потом — смутное, неясное живое пятнышко среди океана мрака, и... все.

Она перестала дрожать и стояла, не чувствуя застывших рук, ног, не отрываясь, глядела в бездонную тьму, не отрываясь, слушала, но было мертво-тихо.

Отдирает закоченевшие руки, дует на деревянные пальцы, тихо с печальным морозным скрипом притворяет дверь и входит в чуждую, молчаливо освещенную лампой комнату.

Девушка ходит, ходит, ломает негнущиеся деревянные пальцы, бормочет, останавливается и долго смотрит в белесо-темное обмерзшее окно. И опять ходит, жестикулирует или падает в подушку лицом и кусает ее, чтобы заглушить рвущиеся рыдания, и все больше и больше смачивается слезами полотно наволоки.

Нельзя кричать, нельзя проклинать людей, судьбу, и она ходит, ходит. Все совершается в железном порядке, и время течет с тою же железной медлительностью и необходимостью.

Одиннадцать, двенадцать... три, четыре, пять часов, все — ночь, все — тьма. И не смыкаются глаза, нет усталости, нет забвения. С железной необходимостью надо жить, надо понимать, надо чувствовать.

— Господин начальник приехали и просят вас к ним.

Брезжит мутное, промерзшее, иззябшее утро. Она торопливо взглядывает в зеркало и отшатывается: глядит белое, чужое лицо.

Огромное усилие, и она спешно плещет студеной водой, поправляет прическу, капризно выбивающийся бант на шее, и тогда из зеркала глядят сияющие глаза, ибо чисто омыты слезами, на щеках алеют розы тоски и надежды, и длинны печальные тени черных ресниц.

И она входит, стройная и сильная, с знакомым напряжением женского обаяния.

Начальник стоит у стола с бумагами, с солдатским неуклюже красным лицом, в мундире и с несходящим выражением строгости, непреклонного, раз заведенного порядка. Но когда она подходит, и он жмет маленькую стройную руку, и в его глаза глядят сияющие из глубины глаз звезды, и алеет на щеках румянец, к выражению на его лице, что он строг и неукоснителен по службе, что не может быть речи ни о каких отклонениях от заведенного порядка, что здесь — каторга, и это так и понимать надо, — к этому раз навсегда застывшему выражению примешивается новое: что она появляется среди этого гиблого

места, как цветок среди пустыни, и что он ее внимательно слушает.

— Чем могу служить? Садитесь, пожалуйста.

«Да, я понимаю, — говорит она свободными легкими движениями, — я понимаю, здесь каторга... И все-таки я красива и молода...»

— Я здесь в качестве члена географического общества. Видите ли... Вот открытый лист.

Он берет протянутую бумагу и читает, не то удивленно, не то внимательно подняв брови. И постепенно привычное выражение слегка меняется, и в него входит новое выражение, что и она с этого момента включается в тот неуклонный порядок, представителем и слугою которого он здесь является.

— Так-с... содействие... Но чем я могу быть полезен?

— Среди других моих научных наблюдений... мы... — она подыскивает слова, — мне поручено между прочим...

Натянутая струна тонко звучит, каждую секунду готовая лопнуть...

...в данный момент мне необходимо собрать данные и наблюдения метеорологических станций, такие данные, которые не укладываются в обычные цифровые отчеты... Между прочим, меня чрезвычайно интересует вопрос: производятся ли у вас глубоко почвенные термические измерения? Ведь у вас тут рудники и метеорологическая станция?

Официальное выражение понемногу сползает с его лица, глазки сделались маленькими и глядят щелочками.

«Кончено!..» — бьет молотом... Застывшая темная ночь, длинный арестантский халат, поникшая голова, усталые печальные глаза... «Кончено!..» Она опускает ресницы.

В комнате дрожит смех, раскатистый, веселый.

— А не боитесь вы ездить одна? А?

— Чего же бояться?

— Н-но... Все-таки... Нда-а. Пойдемте-ка чай пить.

Он подымается, ловко щелкает каблуками и пропускает ее вперед. Она идет, как сомнамбула, среди мертвого холодного тумана... «Ручка земле предалась... земле, земле предалась... почернела... рассыпалась...» Ночь и усталые, печальные глаза... А на губах улыбка, в глазах звезды, и на щеках играет румянец...

— Я вам должен откровенно сказать: в метеорологии смыслю столько же, сколько сазан в библии... Хе-хе-хе!..

— Но позвольте, у вас же метеорологическая станция, и вы заведуете ею.

— Вот то-то, что не заведую, а заведует тот политический каторжанин... вечный.

Она смотрит на него широко раскрытыми глазами, как будто слово «вечный» слышит впервые и впервые понимает весь ужас его.

— Два раза в день, утром и вечером, под конвоем его водят в будку тут в десяти шагах. Так вечно и будет ходить, десять, двадцать лет...

Десять, двадцать, тридцать лет — ночь, поникшая голова, усталые глаза, фонарь...

Ей трудно дышать, но попрежнему улыбка на губах, и играет румянец.

— Его превосходительство господин губернатор также в том ученом обществе?

— Как же. Подпись его вы же видели. Он — почетный член.

— А не знавали ли вы чиновника особых поручений при губернаторе, Арсеньева?

— Да, знакома... На вечерах танцовали вместе... Отлично танцует.

— Он, изволите ли видеть, сватался за племянницу моей свояченицы... С положением человек...

Они степенно и мирно беседуют об общих знакомых, о фаворитах губернаторши, и надо пить чай с печеньями, которые тут — роскошь, и нельзя сказать, нельзя напомнить о том, что наполняет все существо. Надо предоставить события естественному течению.

— Вы когда же думаете обратно?

— Сегодня же думаю... От вас зависит, как дадите нужные сведения. Я еще хотела спросить, не делаются ли у вас геологические изыскания при прохождении рудников...

— Но я, ей-богу же, ничего не понимаю... — взмолился полковник, подымая плечи. — Да вот я сейчас прикажу привести арестанта, заведующего... Эй, кто там?

Он похлопал в ладоши. Вошел надзиратель.

— Распорядитесь, чтоб привели номер тринадцатый... да с усиленным конвоем, — кинул он вдогонку.

Комната, окна, стены, самовар, стол куда-то далеко, далеко отодвинулись, сделались маленькими и неясными; о чем-то говорили, и голоса ее и его доносились издалека, слабые и тонкие. Надо было крепко сидеть и делать целесообразные движения, и нужно было продолжать говорить и впопад отвечать, и это странное состояние отделенности, отодвинутости от вещей, от реальной обстановки тянулось медленно и страшно.

И вдруг оборвалось стуком сапог и замелькавшими в глаза серыми шинелями.

Все произошло как-то уж очень просто Сначала шум и топот, потом шесть пар солдатских глаз, шинели, приклады и...

Она не смела поднять глаз, а когда подняла, — в аршине от ее лица изумленно глядело знакомое, обросшее и теперь еще более исхудалое лицо, чем тогда, ночью.

Но что было самое страшное, это — смертельная белизна, которая стала его покрывать. Побелел лоб, выступили на белизне

большие глаза, видно было, как стали белеть заросшие щеки, и тихо, чуть заметно вздрагивали побелевшие губы.

«Упаду!..»

И она чувствовала приторную слабость, охватывавшую ноги, руки и подступавшую к сердцу, тихо и редко бившемуся.

«Упаду, и все кончено!..»

И в смутном тумане прозвучал голос начальника. До нее дошел только зловещий звук слов, без содержания. И только секунду молчания спустя она поняла, что он просто сказал:

— Вот член ученого общества, состоящего под покровительством высочайших особ, просит дать ей некоторые указания... Садитесь.

Подвинулась по полу табуретка, и по обеим сторонам ее обвисли длинные полы серого халата, а по полу чернели плохо обметенные от снега шесть пар громадных неуклюжих сапог.

Опять несколько секунд молчания.

— Вам позволите чаю?

— Пожалуйста.

Знакомый невыразимо милый голос. В комнате раздражающе стоит высокое торопливо звонкое треньканье, Ах, это — носик чайника трепетно бьется о край стакана. Она на минуту отнимает чайник и снова пытается налить, и снова звонкое треньканье. Нет, она не может налить ему.

Она ставит чайник на стол, глядит прямо в лицо и смеется. И он улыбается. И с обоих разом спадает удручающая, давящая тяжесть, и они начинают говорить друг с другом быстро, страстно, совершенно забыв обстановку, опасность быть каждую секунду открытыми. Они говорят о температуре, о давлении, о гигроскопических измерениях, о геологических напластованиях в рудниках, но в этом странном, причудливом, изломанном и непонятном разговоре они говорят о солнце, о счастье, о любви, о свободе, о покинутых, о друзьях, о погибших.

Начальник закуривает папиросу и смотрит на конец своего носа. Чернеют неуклюжие сапоги, тупо, как стена, смотрят шесть пар глаз.

Мысль, что *он* — тут, возле, что она говорит с ним, слышит звук его голоса, глядит в его милые, грустно радостные глаза, охватывает ее безумием... Броситься к нему, охватить его, обнять, целовать, гладить дорогое лицо, да ведь это — закон, необходимый, ненарушимый закон мира, нарушение которого — преступление, проклятие, которое ничем никогда не стереть. И она сидит в полуаршине от него и говорит:

— Но ведь рудники прорезают же водоносные пласты?

Какая-то противоестественная сила с уродливой, бессмысленной отвратительной головой стоит между их молодостью, их страстью, их яркой жизнью, стоит и слепо смотрит на обоих, смотрит неуклюжими, черными, плохо обметенными от снега сапогами.

И в комнате звенит странный, чужой, неуместный женский смех. Это она смеется, смеется неудержимо, нелепо, понимая, что губит последние минуты. Начальник с отвислыми мешками под глазами подымает брови, как уши у бульдога. Тупо смотрят неуклюжие сапоги.

...Снег сверкает и искрится. Он сверкает и искрится везде: по отлогостям гор, по лощине и изредка падающими брильянтами в воздухе. Сосредоточенно думают бегущие, потряхивающие головами лошади все одну и ту же думу, и визжат скрипучими голосами все одну и ту же песню быстро скользящие полозья, песню о смерти, о железе, о радости жизни, о любви, о тихом сверкании моря, о железном порядке мира, в котором всему свое место. И розы кровавеют по ослепительной белизне гор.

У ОБРЫВА

I

Уже посинело над далеким поворотом реки, над желтеющими песками, над обрывистым берегом, над примолкшим на той стороне лесом.

Тускнели звуки, меркли краски, и лицо земли тихонько затягивалось дымкой покоя, усталости под спокойным, глубоко синевшим с редкими белыми звездами небом.

Баржа и лодка возле нее, понемногу терявшие очертания, неясно и темно рисовались у берега. Отражаясь и дробясь багровым отблеском, у самой воды горел костер, и поплескивал на шипевшие уголья сбегавшей пеной подвешенный котелок, ползали и шевелились, ища чего-то по узкой полосе прибрежного песку, длинные тени, и задумчиво возвышался обрыв, смутно краснея глиной.

Было тихо, и эту тишину наполняло немолчное роптание бегущей воды, непрерывающийся шопот, беспокойный и торопливый, то сонный и затихающий, то задорный и насмешливый, но река была спокойна, и светлеющая поверхность не оскорблялась ни одной морщиной.

Всплеск рыбы, или крик ночной птицы, или шорох осыпающегося песку, или едва уловимый шум пароходного колеса, или почудилось — и снова дремотное, невнятное шептание, то замирающее и сонное, то встрепенувшееся и торопливое, и светлый, ничем ненарушимый покой реки под все густеющей синевой надвигающейся ночи.

— «Ермак» никак идет.

— Где ему!.. Теперича небось на Собачьих Песках сидит...

И человеческие слова, такие простые и ясные, прозвучали и погасли в этом непонятно-беспокойном шопоте спокойно-недвижной реки.

Короткая, притаившаяся у колебавшегося огня тень разом вытянулась, побежала от костра; уродливо перегнулась через

обрыв и пропала в степном сумраке, откуда неслись крики перепелов и запахи скошенных трав, а над костром поднялся высокий, здоровенный, с длинными руками и ногами, в пестрядинной рубахе, человек и, скинув ложкой сбегавшую через края пену, всыпал в бившую ключом воду пригоршню пшена. Вода мгновенно успокоилась, а тень скользнула по обрыву, вернулась из степи и опять притаилась у огня. Длинный человек сидел, неподвижно обняв колени, глядя на светлеющую реку, на пропадающий в сумеречной дымке лес, дальний берег.

Поодаль на песке, протянувшись, неподвижно и мертво чернела человеческая фигура.

Не было видно лица.

Спал ли он, или думал, или был болен, или уже не дышал, — нельзя было разобрать.

Уже потонул в темнеющей синеве и не стал видим лес, и поворот реки, и дальние пески, только вода попрежнему поблескивала, но уже черным, вороненым блеском, и звезды в ней бездонно повисли, яркие и бесчисленные.

И казалось, так и нужно, чтоб в эту синюю ночь у дремотно-шепчущей воды возле обрыва горел костер, и красный отсвет трепетал, неверно озаряя багровым светом костра высокую, нескладную, но точно выкованную фигуру человека, могуче охватившего руками колени, и неподвижную темную фигуру на песке, и третьего — с широкой бородой старика, со спокойным и строгим лицом, отлитым из бронзы.

Как будто кто-то задумчиво без слов пел, и не было слышно голоса, и только представлялась потонувшая в ночной синеве река и костер, и смутный обрыв, и в темной глубине чуть зыблемые звезды.

— Пришло время... Жисть-то она человеческая, как трава полезла...

Голос был ровный, спокойный, медлительный, и так было спокойно кругом, что нельзя было сказать, кому принадлежит голос

И среди ни на секунду не прерывающегося, немолчного, дремотного шопота голос, казалось, принадлежал синей ночи, как и угрюмо стоящий обрыв, как ропот воды, как костер с беззвучно ползающими по песку тенями.

— ...как трава молодая на провесень из черной земли...

— Нда-а... Теперича полезла, ничем ее не уторкаешь.

И кто-то на том берегу смутно и неясно отозвался, слабея: «...да-а-а!»

Сидевший, обняв колени, замолчал. Молчал и тот, чей темно простертый силуэт смутно рисовался на песке. Молчал старик с бронзово-багровым шевелившимся лицом, изредка лениво вбрасывая в костер голыми руками выскакивающие оттуда раскаленные угольки, и в этом молчании чудилась недоконченная дума, — думала сама синяя ночь.

Тонкий щемящий крик пронесся над рекой.

Опять тихо, задумчиво-сумрачно, снова непрерывающийся беспокойно-торопливый шорох-шопот бегущей воды. Молчал в наступившей со всех сторон темноте смутно подымающийся обрыв, молчала степь за ним. Котелок лениво вскипал, сонно подергиваясь пеной.

Тонкий крик повторился против, над рекой. Водяной играл. А может быть, летела над самой водой невидимая птица, — нельзя было сказать. Ночь теснилась со всех сторон, молчаливая и темная.

— По реке далече слыхать... Хошь у самого Кривого Колена, и то будет слышно...

И оба наклонили головы, чутко ловя смутный, неясный звук. Ухо хотело поймать приближающийся шум пароходных колес, но звуки ночи, тихие, неясные, тысячу раз слышанные и все-таки особенные и странные, говорили об отсутствии человека.

Горел костер, у костра сидели двое, третий недвижимо чернел на песке.

II

Длинный поднялся, снял котелок. Тени засуетились, и одна опять скользнула вверх по обрыву и пропала в степи.

— Упрела.

Он поставил котелок и покрутил в песке.

— Часов девять есть... Охо-хо-хо...

И за рекой кто-то: «о-о-о-о...»

— Скажи парню, нехай садится с нами, вишь, отощал.

Старик достал из кармана ложку и вытер заскорузлым пальцем.

— Эй, паря!.. Хошь, поешь с нами, — длинный наклонился над неподвижно черневшей фигурой.

— А?.. а?.. а?.. Куда... Постой!.. Братцы, держитесь!.. — закричал тот, вскакивая, трясясь.

— Что ты... что ты, парень... Говорю, поешь с нами...

Тот обвел вокруг удивленным взглядом, не понимая этой темноты, смутно рисующихся контуров, этого ночного молчания, заполненного немолчно шепчущим ропотом, этого трепещущего, красноватого, поблескивающего в воде отсвета, и провел рукой, как будто снимал с лица паутину. Он точно весь обмяк и улыбнулся бессильной, измученной улыбкой.

— Ишь ты... опять попритчилось.

При свете костра поражали исхудалость и измученность, завалившиеся щеки, черные круги, горячечно блиставшие, беспокойные, как будто глядящие мимо предметов глаза.

Сели кругом котелка, поджав на песке ноги, и стали есть и громко дули на кашу. И, повторяя движения, суетились по песку тени.

Долго и молча ели, и долго в дремотно шепчущий ночной ропот чуждо вторгался звук усердно работающих человеческих челюстей.

Первая острота голода притупилась; парень, на лице которого землисто отпечатался призрак смерти, вздохнул:

— У-ух-х!.. Маленько отошел.

И, опять улыбнувшись бессильной и измученной улыбкой, добавил:

— Два дня не ел.

— Да ты откуда?

— Из города, — и снова усталая и теперь доверчивая улыбка. — Из самого из пекла вырвался. Как и вырвался, сам не знаю...

— Да мы это догадались, как ты еще шел по берегу, — усмехнулся длинный, — да не стали расспрашивать, что человека зря беспокоить.

— Не бойсь, ничего... По степи патрули разъезжают, хватают, которые успели из города убежать. Ну схватят, разговор короткий — пуля, либо петля. Мы не одного переправили... Артель-то на баржах, да и команда на пароходе свой народ... К нам вот не догадаются на баржу заглянуть, а... то бы была им пожива. Да ты в городу-то чем был?

— Наборщиком, — и он повел плечами, точно ему холодно было, и боязливо оглянулся.

Длинный черпнул, подул на ложку и, вытянув губы, с шумом втянул воздух вместе с кашей.

На реке завозился водяной или ночная птица. Всплеснула рыба, но в темноте не было видно расходящихся кругов. Старик ел молча.

— Всё по реке шел, как чуть чего — в воду... Вчерашний день до самой ночи в воде сидел, закопался в грязь, а голова в камыше, так и сидел.

Он отложил ложку и сидел, осунувшись, и мысли, далекие от теплой ночи, от костра, бродили в голове, туманя глаза.

— Что было — страшно вспомнить... Крови-то, крови!.. Народу сколько легло!..

И опять боязливо огляделся и передернул, как от холода, плечами.

— Устал я... устал, замучился, и... не то, что руками или ногами, душой замучился. Все у меня подалось, как обвисло...

И он опять обвел кругом, глядя куда-то мимо этой темноты, мимо костра, реки, мимо товарищей, — точно заслоняя все, стояли призраки разрушения, развалины, и некуда было итти.

— Главное что!.. — вспыхивая, заговорил он. — Трудов, сколько трудов убито. Нашего брата разве легко поднять да вбить в башку?.. Ему долби да долби, его учи да учи, а он себе тянется, как кляча под кнутом, с голоду сдыхает да водку хлещет... Покуда все наладилось, да сгрудились, сбились в кружки,

да читать, да думать стали, да расчухали, ой ёй-ёй, сколько времени, сколько трудов стоило!.. А сколько народу пропало по тюрьмам, да в ссылке, да на каторге, — да какого народу!.. Кирпич за кирпичом выводили, и вот трраххх!.. Готово! Все кончено!.. Шабаш!..

И он отвернулся, и опять глядел, не замечая, мимо синеющей ночи, мимо шепчущих звуков, мимо тихого покоя, которым веял дремлющий берег.

— А-а-а-а... — и он мерно качался над костром, сдавливая обеими руками голову, точно опасаясь, что она лопнет и разлетится вдребезги. И качалась тень, уродливая, изогнувшаяся, так же держась обеими руками за голову, тоже уродливую и нелепо выгнутую.

Но, обходя развалины, разбитые надежды и отчаяние, о чем-то о своем немолчно и дремотно журчали струи, чуть-чуть глубоко колебалось во влажной тьме звездное небо. Несколько хворостинок, подкинутых в костер, никак не могли загореться, и едва уловимый дымок, не колеблемый, как тень, скользнул вверх.

И этот покой, и тишина, погруженные в ночную темноту, были величаво полны чего-то иного, глубокого, еще не раскрытого, недосказанного.

— Глянь-ко, паря, вишь ты: ночь, спокой, все спит, все отдыхает, — и голос старика был глубоко спокоен, — всё: и зверь, и человек, и гад, трава и та примялась, а утресь опять подымется, опять в рост... Все спокой, тишь... да-а!..

Над водой удалялись тонкие тилиликающие звуки, — должно быть, летели на ночлег кулички.

— Да-а, спокой... Потому намотались за день, намаялись, натрудили плечи, руки, лапы... во-о... И заснула вся земля, а наутресь опять кажный за свое, — птица за свое, зверь за свое, человек за свое. Только солнушко проглянет, а тут готово, начинай, снаизнова. Так-тось, паренек...

Долго стояла тишина. Рабочий, сутулясь и подняв голову, глядел на дымчатую дорогу на небе. Длинный уписывал кашу.

— Дедушка, — болезненно раздался надтреснутый голос, — да ведь все наутро проснутся, а энти, которые в городе лежат, ведь они-то уж не подымутся.

— А ты ешь, паренек, ешь, — говорил старик, вытирая ладонью усы и бороду. — Да-а... мужичок, хрестьянин вышел пахать... Вспахал. Вспахал, взял лукошко и зачал сеять. Высеял, заскородил, дождичек прошел, и погнало из земли зеленя, погнало, словно те выпирает. Да-а, радуется хрестьянин. Нашему брату что: вспахал, посеял, собрал и сыт. Да-а. Колоситься зачало. И вот, откуда ни возьмись, туча, черная, пречерная. Вдарила грозой, градом, все дочиста сравняла, где хлеб был — одна чернота. Вдарил об полы сердяга! Что же, думаешь, бросил, руки опустил? Не-ет, ребята-то бесперечь есть хотят. Пошел на чу-

гунку, на чугунке стал зарабатывать. И отрежь ему колесами ноги. Поболел, поболел и богу душу отдал. Что же, думаешь, чем дело кончилось? Не, слухай, парень. Нивка его не осталась сиротой, зачали ее пахать да сеять братаны да зятья. Опять пробились зеленя, опять стал наливаться колос. И сколько ни изводили мужика, — и на войну-то его гнали, и по тюрьмам гноили, и нищета давила, и с голоду пух и помирал, а кажную весну зеленели нивы, да-а...

Он помолчал.

Стояла сама себя слушавшая тишина.

А?

И кто-то, внимательный, полувопросом, полуутвердительно отозвался из-за реки: «а-а-а!..» Наборщик молча стал носить из котелка.

— Ишь, звезда покатилась, — проговорил длинный и рыгнул.

— Так-тось, братику... Сколь ни топчи траву, она все распрямляется, все тянется кверху... Глядим мы на тебя давеча, идешь ты, ковыляешь, глядишь исподлобья, и кажут тебе вокруг только вороги, и к нам ты подошел — и нас боишься. А мы сметили давно, что ты за птица, да я Митюхе говорю: «Не трожь его, пущай обойдется». Ан вот теперь и оказалось... Вона у нас, — старик мотнул головой на баржу, — чего хошь, в каждой деревне выгружаем. Пущай народ любопытствует, пущай трава выпрямляется... Охо-хо-хо!..

И за рекой: «хо-хо-хо-о!..»

III

— Да вы чего тут стоите, дядя?

— На перекатах, вишь, не проходят баржи, глубоко сидят, а река нонче рано обмелела, так пароход часть отгрузил и пошел через перекаты. Потом вернется, с этой баржи снимет часть грузу и поволокет.

Наборщик лениво лазил в котелок. И вдруг мягко, с улыбкой, огляделся кругом. И впервые увидел тихую, молчаливую, задумчиво-спокойную ночь, тонко дрожащие в глубине звезды, дремотный шопот невидимо бегущей воды. Глубоко вздохнул и проговорил:

— Ночка-то!..

Усталость, мягкая, зовущая ко сну и отдыху, овладевала.

— Теперь хоть и вздремнуть бы, — две ночи глаз не смыкал.

— Погодь трошки, махотка с кислым молоком еще есть.

И длинный лениво поднялся, вместе со своей тенью прошел к лодке, покопался и, держа в руках небольшую миску, вернулся и сел. Тень тоже подобралась на свое место.

— Ну, ешьте. Доброе молочко.

В неумолкаемый ропот бегущей воды, который забывался, сливаясь со стоявшей вокруг тишиной, грубо и непрошенно вор-

вался чуждый звук. Был неясный, смутный, неопределенный, но разрастался, становился отчетливее и наполнял ночь чем-то, чего до сих пор не было.

Трое повернули к обрыву головы и стали слушать.

И костер, дрожа и колеблясь отсветом, беспокойно взглядывал красными очами на выступивший на секунду из темноты обрыв. Тени торопливо и испуганно сновали по песку, ища чего-то и не находя, с усилием вытянулись, перегнулись и заглянули через обрыв в степь. Оттуда, все приближаясь, неслись дробные, мерно топочущие звуки.

Ближе, ближе... Чувствовалось, что там наверху иссохшая, крепкая и звонкая земля.

Костер, истратив последние усилия и догадавшись, в чем дело, стал погасать, засыпая и подергиваясь пеплом, и тени разочарованно расплылись, сливаясь со стоявшей вокруг чернотой, но головы все так же были обращены к обрыву.

Топот оборвался. Над ровно обрезанным по звездному небу краем обрыва темно вырисовывался уродливый силуэт чудовища. Оно неподвижно вздымалось, широкое и неровное, как глыба, оторвавшаяся от горы, загораживая ярко игравшие звезды.

Несколько секунд стояло молчание, поглотившее все звуки ночи.

— Эй... Что за люди?

Голос сорвался оттуда хриплый и грубый, и за рекой нехотя и глухо повторили его.

— А тебе что?.. — лениво и небрежно бросил длинный, таская ложкой молоко.

— Что за люди?! Мать... — и грубая ругань оскорбила насторожившуюся ночную тишину.

Длинный по-медвежьи, неповоротливо поднялся.

— Чего надо?.. Ступай... отчаливай... Неположенного ищешь...

Костер осторожно глянул из-под полуспущенного красневшего века, и на минуту можно было различить над самым обрывом в красноватом отблеске конскую голову и над ней человеческую и рядом еще конскую голову и над ней человеческую. В ту же секунду блеснул длинный огонь, и грянул выстрел, и, негодуя, понеслись по реке, по лесу, будя ночную тишь, рокочущие отголоски, долго перекликаясь и угрюмо замирая.

И уже не было тихой ночи, ни темной реки с дрожащими звездами, ни дремотного шопота, ни обрыва, ни смутной степи, откуда неслись крики перепелов и медвяные запахи скошенных трав. Стояло тяжелое и жестокое в своей бессмысленности.

— Казаки!.. — шептал наборщик, поднявшись. — Прощайте, побегу...

Старик придержал за руку:

— Погодь...

— Ничего...

— Не пужай... не из пужливых... А вот только кого-нибудь

зацепишь версты за три, за четыре позадь леса, неповинного, — так это верно... Пуля-то куда летит... Сволочи!.. — длинный тяжело и злобно погрозил кулаком.

Костер снова подернулся пеплом, и темные силуэты над чернотой обрыва шевельнулись, стали делаться меньше, понижаясь и прячась за край.

Звезды снова играли, не беспокоемые, из степи несся удаляющийся, замирающий топот, оставляя в молчании и темноте неосязаемый след угрозы и предчувствия. Напрасно торопливый, бегущий шопот воды старался попрежнему заполнить тишину и темноту дремой и наплывающим забвением, — молчание замершего вдали топота, полное зловещей угрозы, пересиливало дремотно-шепчущий покой.

Снова сели.

— Поисть не дадут, стервы!

— Подлый народ!.. Земли у него сколь хошь, хочь обожрись, ну, и измываются над народом...

Было тихо, но ночь все не могла успокоиться, и тихий покой, и сонную дрему, которыми все было подернуто, точно сдунуло; стояла только темнота, с беспокойной чуткостью ждущая чего-то. И как бы оправдывая это напряженное ожидание, среди тьмы металлически звякнуло... Через минуту опять. Головы снова повернулись, но теперь они внимательно глядели низом в темь вдоль берега.

Снова звякнуло, и стал доноситься влажный, торопливо размеренный хруст прибрежного песку. И в темноте под обрывом над самой рекой зачернело, выделяясь чернотой даже среди темноты ночи. Ближе, ближе. Уже можно различить темные силуэты потряхивающих головами лошадей и черные фигуры всадников.

Они подъехали вплотную к костру, сдерживая мотающих головами, сторожко похрапывающих лошадей, сидя прямо и крепко в седлах, и концы винтовок поблескивали из-за спин.

— Что за люди?

— А тебе что?

Все трое поднялись.

Сыпалась отборная ругань.

— Шашки захотели отведать? Так это можно... Две половинки из тебя сделаю... Что за люди, спрашиваю?

— Ослеп, что ль?.. Сторожа при барже.

— Рябов, вяжи их, дьяволов, да погоним к командиру.

Молодой казак с серым лицом, выпятившимися челюстями, спрыгнул с коня и, держа его в поводу и звякая оружием, подошел.

— Знаем мы этих сторожов. Поворачивайся-ка...

— А тебя, сволочь длинная, всю дорогу нагайкой буду гнать, чтоб не огрызался, погань проклятая.

— Связать недолго, — спокойно заговорил старик, — и угнать можно, самое ваша занятия, но только кто кашу-то потом расхле-

бывать будет? Нас-то угонят, а баржа доверху товаром набита, к утру ее ловко обчистят. Пароход-то придет, голо будет, как за пазухой... нда-а! Пожалуй, смекнет народ, — казачки и обчистили, для того и сторожов угнали, они на этот счет мастаки...

— Бреши больше, старый чорт, — и в голосе бородатого казака послышалась неуверенность, — погоди, Рябов... Покажь пачпорт, ты, сиволдай.

— Да ты что, али только родился, мокренький... — усмехнулся длинный, — пачпорта обыкновенно у хозяина, ступай к капитану, он те и пачпорта даст.

Казак в нерешительности натягивал поводья.

— А этот?

— И этот сторож... водоливом на барже...

— Брешешь, сучий подхвостник... Не видать, что ль — из городу убёг. Ага!.. Его-то нам и надо... Погляди, Рябов, може, которые разбежались. Погляди, нет ли следов от костра в энту сторону.

Молодой сунул в уголья хворостинку, подержал, пока вспыхнул конец и, наклонившись и освещая, прошел несколько шагов, внимательно вглядываясь в песок, по которому судорожно трепетали тени.

— Нету, оттуда следы, как раз из города шел.

— А-а, сиволапые, отбрехаться хотели, люциеров укрывать. Погодите, будет и вам, не увернетесь! А между протчим, Рябов, обратай-ка этого.

— Веревки-то нету.

— А ты чумбуром [1], чумбуром округ шеи. Погоним, как собаку.

Молодой взял свободный конец свешивающегося от уздечки длинного ремня, за который водят лошадь, и подошел к наборщику.

— Ну, ты, паскуда, повернись, что ль.

Тот оттолкнул его, пятясь назад.

— Пошел ты к чорту!..

Металлически звякнул затвор. Наборщик невольно поднял глаза: на него глядело дуло винтовки, целился с лошади бородач.

— Ежели еще шаг, на месте положу!..

Рябов накинул на шею чумбур и стал завязывать петлей, бородач закинул винтовку за плечи. Рабочий равнодушно и устало глядел во мглу над рекой. Ночь стояла густая, мрачная, и давила со всех сторон, и нечем было дышать.

Старик и длинный как-то особенно переглянулись и продолжали спокойно глядеть на совершающееся.

— Завязал? Ну, садись, и айда! Да гони нагайкой перед конем.

---

[1] Чумбур — длинный ремень к уздечке.

Молодой, вдев одну ногу в стремя, взялся за луку и напружился, чтоб разом вскочить в седло, и в темноте чернел чумбур от морды лошади к шее человека.

Дед подошел к молодому, и в тот момент, как тот заносил ногу в седло, наклонился к нему, что-то сообщая по секрету, потом тот, отвалившись от коня, прильнул к дедову плечу и крикнул перервавшимся голосом.

В ту же самую минуту длинный подошел к бородатому казаку, сидевшему на лошади, и, протягивая с чем-то ладонь, проговорил:

— Никак потерял, ваше благородие?

Казак перегнулся с седла, разглядывая, и вдруг почувствовал, как с железной силой толстая змея обвила шею. Он мгновенно толкнул ногами лошадь, чтобы заставить ее вынести, но другая змея, такая же толстая, с такой же железной силой обвилась вокруг поясницы, и огромная лапа из-за спины сгребла поводья и так натянула, что лошадь, закинув голову и приседая на задние ноги, пятилась и уперлась задом в обрыв.

— О-го-го!.. Сво...о...лочь!.. Ря...бов... ссу...ды...

— Ни...чего... дя...дя...

— По...го...ди, я... тте ша...шкой!

— Го...жу... Ва...лись-ка!..

Они тяжело, прерывисто и хрипло обдавали друг друга горячим обжигающим дыханием, лошадь билась под тяжестью двух людей, и с обрыва на них сыпалась глина и ссохшиеся комья.

— Ого-го-го... Рря...бов...

Казак изо всех сил старался выпростать руку и все искал головку шашки, но облапивший его дьявол с нечеловеческой силой ломал спинной хребет, и, несмотря на отчаянное нечеловеческое напряжение, бородач тяжело, грузно гнулся с седла. Уже поднялись тускло поблескивавшие стремена на раскорячившихся ногах, уже под брюхо бьющейся лошади лезет взмокшая от пота голова. Что-то хрустнуло, и под вздыбившейся лошадью ухнула земля от тяжко свалившихся тел.

Ночь невозмутимо и мрачно стояла над ними, дожидаясь, и в ее тяжелой тишине лишь слышалось хриплое дыхание да задавленные стоны, а проклятья и брань застревали в бешено стиснутых зубах.

Лошадь почувствовала свободу и, наступая на конец волочившегося по песку повода и низко кланяясь каждый раз головой, пугливо побежала прочь от того места, где тяжело ворочался черный ком.

Дед с освободившимся наборщиком туго вязали молодого, беспомощно лежавшего на песке.

— Эй, давай-ка, чумбур!.. — хрипел длинный, наступив на грудь задыхающегося казака.

Дед с наборщиком поймали лошадь, подбежали к лежавшему

на песке хозяину, и в захрустевшие в суставах руки жестко впился ремень.

— Фу-у, дьявол, насилу стащил, еще бы трошки, вырвался бы, лошадь увезла бы. Ну, давай же молоко доедать, никак не дают повечерять... Возжакайся тут с ними, с иродами.

IV

Они сели в кружок, веселые, торопливо дышащие, отирая потные лица, и снова принялись за ужин.

— Ну, этот молодой и крякнуть не поспел, как дедушка его зараз на песок.

— А этот — здоровый, откормился кабан...

— Ишь, а то за шею... ах ты, моченая голова!..

Подбросили хворосту, и костер, совсем было задремавший, снова глянул, и снова засуетились по песку тени. Неподвижно лежали связанные казаки, и неподвижно стояли над ними лошади, понурив головы.

— В прошлом году стояли тут на перекате, — заговорил длинный и, отложив ложку и отвернувшись, шумно высморкался, придавив ноздрю пальцем, — так гроза сделалась, н-но и гроза! Мимо шар си-иний пролетел, так и отнесло меня духом сажени на две. И вдарился этот шар в дерево саженях в пятидесяти по берегу, — от дерева лишь пенек остался, ей-богу!

— Прошлое лето грозовое было, в городе два дома спалило.

Бородатый казак понемногу приходил в себя от изумления, от неожиданности всего совершившегося и, сам себе не доверяя и скашивая глаза, оглядывал, что мог, в своем положении. Да, он лежал, туго связанный чумбуром, над ним стояла лошадь, а те преспокойно таскали кислое молоко, белевшее у них в ложках. Рябова не было видно, он лежал у него за спиной.

— Да вы что же это, пропойцы сиволапые, али головы вам своей не жалко, али обтрескались?

— Как не жалко, — жалко, — усмехнулся длинный, — потому и связали вас.

— Да вы что же думаете, нас двое, что ли? Там целая сотня стоит, патрули везде ездют... Завернут сюда, тут уж вам беспременно расстрел... Развязывай зараз!

— Да за что же нам расстрел, ежели никаких казаков у нас не будет?

— А ты бреши, да не забрехивайся. Слышь, за́раз развязывай!.. Мать вашу...

— За что же расстрел, ежели казаков у нас не будет? — невинно продолжал длинный. — Ты трошки потерпи, за́раз поедим, коней ваших расседлаем, в штаны вам и за пазуху песку насыпем, да и в реку обоих.

Воцарилось гробовое молчание. У казака глаза сделались

круглыми, и даже в темноте белели белки. Он стал часто и трудно дышать и, пересиливая себя, проговорил глухо:

— Не пужай, не испужаюсь... Казак — не иголка, все одно дознаются... Лошадей не утопите, по лошадям и до вас доберутся.

Длинный весело загоготал, и так же весело откликнулось ему из-за реки.

— Мели, Емеля, твоя неделя... Об нас не тужи, станишничек... Лошадей мы расседлаем, седла вам на шею для верности; они чижолые, не всплывете, а лошадей выведем в степь, сымем уздечки, ухнем, только их и видали, так и пойдут писать по степи. А в степи им, брат, хозяева зараз найдутся. К хутору прибьются, кажный с превеликим удовольствием приблудную лошадь возьмет для хозяйства. А нет, так конокрады бесперечь по степи ездют, обрадуются дареному коню, зараз обратают. Так-тося, станишничек...

Замолчали. Ночь над казаками стояла густая, черная, полная предсмертного ожидания и не ждущая пощады... И вдруг среди неподвижной, грозно молчащей мглы раздались хлюпающие, переливающиеся, прерывистые, воющие звуки, как будто выл молодой волк, подняв морду. Бородач насупился и, скосив глаза, следил, как носили ложки с молоком. Делали это не спеша, умирать ведь не им, и страшно было спокойствие этих людей. А волчьи прерывистые ноты раздирали ночную тишь, испуганные носились над рекой и горькими, рыдающе-воющими отголосками пропадали в сумрачно и неподвижно раскинувшейся степи.

— А-а, жидок на расправу, а людей неповинных, беззащитных убить али искалечить — это ты можешь. Как с-собаку за шею привязал. Не то, что там за руку али за пояс, а за шею, а-а!..

Бородач стиснул зубы и процедил:

— Не вой, сволочь!..

Но волчий вой все носился у него за спиной и над рекой и над степью. И бородач с напряжением следил за спокойно ужинавшими людьми и одного только мучительно, с замирающим трепетом хотел, чтоб никогда не кончилось это молоко, — но глубже опускались ложки.

— Братцы, — заговорил он глухо, — отпустите...[1]

— Вишь, паренек, — заговорил спокойно старик, — ехал ты убивать и калечить людей, ни об чем не думал, а теперича сам лежишь и ждешь. — И, забрав с ложки губами и вытерев усы, продолжал: — Да-а, придет время, так-то и народ, нежданно-негаданно подымется, и будете вы лежать и ждать, и будете удивляться, и душа у вас смертно заскорбит и возопиет: эх, кабы воротить, по-иному бы жили.

— Служба наша такая, разве мы от себе.. У меня дома хозяйство, семья, тоже скучаешь, сладко ли по степи шаландаться.

---

[1] Дальше эпизод выброшен был царской цензурой. — *Ред.*

— Что служба!.. Ежели тебя служба заставит образа рубить, али будешь?

— А как же! Потому присяга престол-отечеству... — и ему чудилось, как проворно убегает время на этом пустынном, темном, молчаливо ожидающем берегу, — и уже с самого дна берут опускающиеся ложки.

— Присяга!.. — голос старика зазвучал желчью. — Присяга!.. Вот она, присяга, — и старик вдохновенно поднял руку, — перед святыми звездами, перед ясным месяцем, перед темным лесом, перед чистой водой, перед зверем лесным, перед птицей полевой, перед человеком, потому жисть она — человеческая, а не перед попом волосатым, ему абы хабары. Вот она, присяга истинная! Вот кому присягали мученики. Вот кому должон присягать всякий, у кого душа не в мозолях... А вы, несчастненькие, замозолилась у вас душа, тыкаетесь, как слепые щенята... Жисть, вот она кругом, — он широко повел рукой, — ей присягать надо, а не попу, а вы ее топчете конями, да колете пиками, да рубите шашками, да бьете из ружей... Ишь, пустил пулю, куда она полетела!..

Темно и неподвижно было кругом. Не было ни живой, говорящей смутным говором в темноте воды, ни смутно прислушивающегося леса за рекой, ни пропадающего в двух шагах берега. Зато с отчетливостью меди краснели в темноте озаренные профили лиц сидевших вокруг костра, — только это и было.

Казак не мог оторвать от них глаз. И чем больше глядел, тем большей силой наполнялись они. Сидели они, как будто отлитые из меди, неведомые богатыри темноты и ночи.

— Охо-хо! Жисть-то она человеческая! — проговорил старик, положил ложку, отер залезавшие в рот усы, потом опять взял и стал неторопливо носить от горшочка к волосатому, заросшему рту, — и казак, не отрываясь, следил за ней, белевшей. — Как она выходит... К примеру, по хозяйству сколько заботы примешь: с плугом ходишь, землю месишь-месишь... Потом сердце изболится, покеда щетинкой зеленой пробьется, да все на небо поглядаешь, дожжичка просишь. А там перышко выгонит, да пойдет в трубку, да в колосок, да нальется, а ты все ходишь округ нее, округ пшенички, округ травки-то...

— ...Звезда покатилась, — проговорил длинный и рыгнул.

Казак повел глазом и увидал темную реку, без счету полную дрожащих звезд, услышал смутное лепетание сонной воды, но все это точно отодвинулось от него, словно это прошлое стояло перед памятью, прошлое, в котором и семья, и хозяйство, и привычная, вросшая в самое сердце степная работа, — все это в прошлом, а настоящее — это темь, и в темноте у костра медно озаренные профили людей.

Лошадь стояла, горестно опустив голову, с печально отвернутыми ушами. По реке удалялось тилиликанье невидимо махавшей над водой ночной птицы.

Старик помолчал, глядя из-под седых насупленных бровей за реку, где смутно чудился лес.

— Травка растет, ты ее побереги, прут гонит из земли, ты его обойди, не сломи... Человек — ништо, он дешевле пшеницы, подумай-ка, живой ведь он, и вон звезды-то, звезды-то всем одинаково светят, а ты приехал тиранить да убивать, да в тюрьму сажать. Присяга!!. Нет больше присяги, как жисть человеческая, самая дорогая, братику, присяга. Вот ты ехал, думал: сила — ты, ан теперя сам лежишь и ждешь...

Казак, закусив губы, с нечеловеческим напряжением напрягся, но сыромятные ремни только глубже въелись.

— Братцы! — заговорил он, отдаваясь бессилию. — Братцы али я...

Лица ужинавших зашевелились, и костер полностью озарил их, и столько было в них спокойной решимости, что казак отвел глаза. Вытерли ложки, спрятали... и подошли.

Весь сегодняшний день промелькнул перед казаком, и с поразительной отчетливостью все встало в том роковом порядке, в каком привело его сюда, к гибели, к бессмысленной смерти. С тоской прислушался: тревожно метались за спиной воющие причитания, из степи не доносилось ни звука. Да и кто мог подъехать? Не было спасения, не было пощады, да и не могло быть, потому что он сам их не щадил.

И это молчание было страшнее смерти. Он вслушивался — вслушивался, болезненно напрягаясь. И вдруг услышал: неслось бесчисленное треньканье кузнечиков, то самое треньканье, что всегда наполняло живую степь, и теперь звучало последним прощанием.

Должно быть, к Рябову уже приступили, потому что воющие причитания торопливее и тревожнее неслись оттуда и вдруг смолкли.

У бородача екнуло сердце. Над ним нагнулся длинный и стал возиться с ремнем. И ремень ослаб и выдернулся. Казак быстро поднялся. Рябов, прыгая на одной ноге и звеня оружием, садился в седло. Наконец вскочил, лошадь пошла карьером и скрылась в темноте.

— Ого-го-го!.. Ноги в зубы взял, — смеялся длинный. — Вали, дядя, и ты!

Казак, сдерживаясь и едва справляясь с охватившей его радостью жизни, наружно спокойно подошел к лошади, попробовал подпруги, потом сел и тронул поводья.

— Прощайте, ребята!

— Прощай, паря...

Лошадь не спеша пошла рысцой, хрустя влажным песком, и ночная мгла постепенно поглотила ее.

Попрежнему сонно колебалось дремотное шептание струи, и из темной воды глядело бесчисленными звездами ночное небо.

— Ну, теперя хоша и спать.

— Котелок надо побанить.

И длинный усердно стал оттирать песком, нагнувшись над водой, внутренность котелка.

— Одначе, они тягу дали.

— Помирать никому не хочется.

— Исажары как высоко. Поздно... О-о-ха-ха-ха!..

И по реке кто-то сонно и замирая много раз зевнул. Тишина стояла в степи, над рекой, над чудившимся во тьме лесом, навевая чувство покоя, отдыха.

— Тебя как звать-то?

— Алексей.

— А по отцу?

— Николаич.

— Ну, вот что, Миколаич: полезем на баржу спать, там у нас и солома есть. Нешто искупаться перед сном?

— Доброе дело.

Они подошли к самой воде, чуть колебавшейся темным густым отблеском масла и живой изменчивой линией, отделявшейся от неподвижно темневшего берега. Стали раздеваться, и разом руки застыли у поясов, а головы повернулись к обрыву.

— А?

— Неужто?.. — коротко и подавленной тревогой прозвучало.

И головы все так же напряженно были обращены к степи: оттуда, все делаясь отчетливее и нарастая, несся приближающийся топот. И опять слышно было, что там земля иссохшая, крепкая и звонкая, и это почему-то вселяло особенное беспокойство. Тревога, как невидимая черная птица, реяла в нахмурившейся ночи. Только старик, не обращая внимания, попрежнему копался в лодке.

— Эхх!.. — досадливо крякнул длинный, завязывая пояс. — Сказывал, не выпущать... Теперь расхлебывай... Ишь карьером лупят, спешат, кабы не упустить.

— На ту бы сторону, что ли, переехать, — проговорил Алексей, и тоска зазвучала в его голосе.

— Ничего, ребята, ничего, — спокойно проговорил старик, продолжая копаться.

Вот уже близко, уже над самым обрывом, потом звуки помягчели и пошли влево — в объезд поехали к спуску. Несколько минут стояла ненарушимая тишина. Потом стал доноситься, приближаясь, мокрый хруст песка. Двое, не отрываясь, глядели в ту сторону.

— Эхх!.. — все досадливо чмокал длинный. — Зря отпустили.

Вырисовался среди темноты силуэт лошади. Рысью подъехал бородач и, сдержав разгорячённого коня, заговорил:

— Вот что, ребята... Перегоните зараз баржу на ту сторону, а парень нехай уходит через лес... Энта стерва поехал докладывать командиру сотни... Хотел перестрелять вас оттеда, с обрыва, насилу уговорил... Сказываю, дескать, живьем надо взять их.

А тоже мне наседать-то на него не приходится: зараз доложит, что люцинеров покрываю... Глядите, к утру взвод пришлют, туго вам придется...

— Ххо-о!.. Часа через два пароход придет, к утру нас и след простынет.

— А-а, ну так... То-то, я думаю. ворочусь, скажу... Ну, прощайте!

— Счастливого, дядя... Спасибо тебе...

— Спасибо и вам... — он придержал немного коня. — Тоже и у нас — не пар, ну, положение такое. А старик у вас — правильный человек.

Лошадь ходко пошла. Некоторое время из степи доносился удаляющийся топот, потом смолкло. Над чертой обрыва свободно, не затеняемые, играли звезды, играли по всему небу, играли в темной глубине реки...

ПО СЛЕДАМ

I

Из-за мелькающего снега на секунду проступали местами темные окна многоэтажных домов, столбы фонарей, запорошенные головы бегущих лошадей, — и снова всюду только одно белое, живое, изменчивое, угрюмо-веселое мелькание.

Мягко шли люди, и белели их черные одежды, беззвучно скользили на минуту чернеющие сани, словно это белое, веселомертвое мелькание поглощало все звуки, все краски. Даже конки, вырастая движущейся громадой, катились глухо и мягко и сейчас же тонули в неугомонно колеблющемся, играющем белом воздухе.

Человек в черной барашковой шапочке, черном, белеющем от снега пальто, с наглым лицом и жадно устремленными вперед глазами, стараясь запихать в тесные карманы не влезавшие красные иззябшие руки, торопливо шел по мягкой от снега панели, обгоняя прохожих.

Он шел странно, нервно и торопливо; вдруг останавливался, подходил к белому занесенному окну магазина, кося боковым взглядом, или тихонько и задумчиво шел назад, или внезапно срывался и, ускоренно дыша, толкая и обгоняя прохожих, бежал вперед, жадно стараясь проникнуть за эту неустанно мелькающую пелену.

Если бы люди хоть на минуту приостановились и обратили на него внимание, их бы поразили эти странные движения, но все попрежнему беззвучно торопились со свертками, с покупками, сердито, озабоченно отворачиваясь от весело мелькавшего перед глазами и обтаивавшего на лице снега.

Возле огромного со сводчатыми воротами дома человек остановился и долго стоял. Потом стал ходить взад и вперед, стряхивая пластами наседавший снег, бегая глазами по прохожим и сторожко и чутко каждый раз взглядывая на глубоко зияющие под домом ворота.

Каждый раз, как кто-нибудь выходил оттуда, заставлял его быстро и напряженно оборачиваться; потом опять с разочарованным видом ходил взад и вперед.

Бесконечно мелькали прохожие, мелькали снежинки, проходили часы. Ноги от усталости подламывались, и хотелось есть. Представлялся трактир, рюмка обжигающей водки, тепло и уют знакомой обстановки. Днем в бильярдной бывает мало народу, и приятно пахнет жареной рыбой. Кии глухо постукивают, зеленое поле простирается широко и ровно.

— Дуплет в угол!

Раз, раз!..

— Эй, челаэек... десяток «Експрессу»!..

От солянки идет вкусный пар и соленый запах. Зачерпнул и, следя, как дымится ложка, понес ко рту...

Из ворот быстро вышел высокий. Как ветром, снесло трактир, бильярд, солянку, вкусный запах. Бросился. Сквозь мелькание снега торопливо шли прохожие; толкался о них, но уже не выпускал знакомой высокой спины, высокой шапки. Странное, несознанное беспокойство торопливо билось, как будто сделал не то, как будто что-то упустил, ошибся, и кто-то, издеваясь, посмеивался.

Все так же толкаясь и ни на секунду не упуская в белом мелькании высокой темно колеблющейся спины, он догнал и пошел по пятам вплотную сзади и обмер: спина была высокая, но вокруг шеи облегал бобровый воротник, а у *того* был барашковый; у этого шапка котиковая, а у *того* такая же высокая, но барашковая, и этот шел прямо, а *тот* слегка припадал на правую ногу.

И опять толкая и обгоняя, бросился назад к воротам.

— Нахал!..

— Что толкаетесь?

— В участок захотел...

Но он бежал что есть силы, остановился у ворот, тяжело дыша и испуганно глядя на их темное зияние.

Все то же бесшумное белое мелькание, поглотившее все уличные звуки, и, напрягая все силы, он старался по неуловимым, не оставляющим следа признакам угадать, вышел ли *тот*, или нет, сидит ли *он* где-нибудь там, в этих бесчисленных комнатах огромных домов, или добыча верная, так крепко схваченная, бывшая почти в руках добыча ускользнула.

С отчаянием ходил перед воротами, то и дело взглядывая в их глубину, уже не принимая мер предосторожности, переходя от отчаяния к надежде, от надежды к отчаянию. Время неумолимо проходило, казалось, бесстрастно сливаясь с этим белым мельканием, ничего не изменяя, все так же не отдергивая пелены неизвестности.

Качаясь взад и вперед, как маятник, на небольшом пространстве перед воротами, усталый, продрогший и проголодавшийся, он минутами совсем решал уходить, но сейчас же насмешливо и

зло вставало: «А вдруг там!..» И опять пять шагов вперед, пять шагов назад, опять сквозь белое мелькание торопливые прохожие, бесшумные, темно появляющиеся и исчезающие конки, белые лошадиные головы и темно зияющие томительной и злой насмешкой ворота.

От постоянной ходьбы, бесконечных поворотов охватывало равнодушие, тупое и усталое. Казалось, огромным кольцом вокруг бесшумно неслась улица, полная странной, молчаливо и темно мелькающей непонятной жизни. На минуту то там, то сям она проступала чернеющими пятнами, и ничего нельзя было понять, и опять был один белый колеблющийся воздух.

Стряхнул целый пласт насевшего снега с барашкового воротника и шапки, а когда был молодым неуклюжим деревенским парнем, так же стряхивал наседавший снег с вонючего рваного овчинного тулупа. Но и овчинный тулуп и деревенская околица, покосившиеся избы, скотина, березовый лесок на угорье, пашни, нищета и убогость деревенской жизни далеко и смутно маячили, а перед глазами — трепетное мелькание, и в этом белом мелькании темные проступающие и пропадающие пятна.

Было скучно, однообразно и томительно, и даже снег, утомленный этим однообразием, стал падать реже, и стали выступать по обеим сторонам улицы сплошные здания. И конки обрисовывались почти доверху, но катились так же мягко и беззвучно.

Было все бело. Когда из деревни попал половым в трактир, было самое тяжелое время, пока новая непривычная жизнь жестко и беспощадно обламывала. Назад уже не было возврата.

С ног сваливающая беготня и работа с утра и до вечера. Кругом разгул, пьянство, деньги, смех, песни. И эта дурманящая жизнь стала нужной, неизбежной, не давала опомниться, и далеко потонула деревня. Служил кучером, в дворниках, лакеем, но не хотелось итти на фабрику, в мастерскую, тянуло служить у господ: господская еда, господское обращение, и всегда на чай.

Когда остался без места, долго голодал с семьей. Поступил сюда. Была трудная, тяжелая и опасная служба, но, когда удавалось словить, выпадали крупные деньги: тогда пьянствовал, гулял и жил в свое удовольствие.

Жизнь стала игрой, и только одного хотелось: отличиться, изловить. Он не думал о *них,* о тех, кого ловил, кем набивали тюрьмы; перед глазами только стояли высокие и низкие фигуры, разных форм шапки и шляпы, с малейшими признаками отличия в походке, к которым так наметался глаз.

II

Уже потускнел воздух, дома, терявшаяся вдали улица, откуда выползли и где терялись люди. Одиноко попархивали редкие снежинки. Сумрак вползал в улицу незаметно и предательски, и все

молчаливо говорило о холодной надвигающейся ночи, в которой громадный город, блестя огнями, медленно замирал, свертываясь огромным клубком на покой.

— Ну... стало быть, иттить!..

Он прошептал это и с удивлением услышал звук своего голоса.

— Эхх, ты!.. Ну, что ж... упустил, — не спрашивай...

И, делая последнее усилие оторваться от гипнотизирующих и тянущих к себе ворот, повернулся и с щемящим ощущением пошел прочь.

Толстяк с огромным животом, с красными отвислыми щеками, шел, колыхаясь и отдуваясь.

«Обтрескался, чорт!..» Сосала злоба. Шел понуро, ни на кого не глядя. По непонятному побуждению остановился и... глянул назад: из ворот торопливо и уверенно, чуть припадая на правую ногу, вышел высокий, быстро глянул направо, налево и так же быстро и решительно пошел в противоположную от остолбеневшего человека сторону. У него была длинная спина, барашковый воротник и высокая украинская барашковая шапка.

Сбивая с ног, в расстегнувшемся пальто, дыша открытым ртом, кинулся за ним. Вцепился глазами в эту высокую качающуюся спину, и теперь уже не оторвется, не оторвется, если бы его даже рвали на куски. Вытянув шею, с раздувающимися ноздрями, со сладострастием гончей, которой в чутко вздрагивающие ноздри вдруг ударил острый, захватывающий запах звериного следа, торопился он по пятам среди странных, чужих и ненужных людей, которых перестал видеть и слышать.

Шли по улицам, заворачивали в переулки, переходили площади, напряженно связанные, точно их было только двое среди огромного, сторожко и чутко примолкшего города. Улицы, бесчисленно темневшие окна зданий, зажигавшиеся фонари, — все теряло свой прямой смысл и назначение и застыло во внимательном и напряженном ожидании.

На секунду, у ворот, они встретились глазами, и эти серые, сверкнувшие в сумеречной мгле глаза, маленькие черные усики немеркнущим представлением стояли, неотделимо связываясь с качающейся длинной спиной и большими, неровными журавлиными шагами.

Все стерлось: ощущение голода, усталости; стояло одно только остро захватывающее, раздражающее ощущение близости момента, когда он схватит этого гибкого, упругого, сильного, с огромной сноровкой зверя.

Когда проходили перекрестки и посредине улицы смутно рисовалась фигура городового, этот момент был так близок, что сердце замирало. Стоило только свистнуть, и городовой бросился бы на помощь. Но он имел дело с редкой дичью: малейшая неосторожность, упущенное мгновение, — и все пропало.

И они шли и шли под потемневшим небом по угрюмым ули-

цам, на которых лежали тени, и тысячи холодных огней глядели на них чуждо и сурово.

Раза два терял из виду за движущейся толпой и, стиснув зубы, кидался вперед, готовый хоть револьвером прокладывать путь, и снова нагонял, и снова, вцепившись глазами в качающуюся спину, ни на секунду не упуская, шел за ним, как приросший.

Не было конца улицам, не было конца зданиям, светящимся линиям фонарей, перепутавшимся в чудовищный лабиринт; не было конца темной, безликой, неведомо откуда выползавшей, неведомо куда вползавшей, чернеющей бесконечными звеньями толпе.

Фонари стали редеть, глядели тускло, уже не бросали широко на панель ослепительного света магазины, дома пошли ниже, с перерывами, темно глядели пустыри, и редко и одиноко чернели прохожие. А они шли.

Улица упиралась в поперечную, тянувшуюся глухим и длинным забором. Смутно рисовалась фигура городового. Когда длинная спина, качаясь, скрылась за угол, подбежал к городовому, показал значок. Городовой насторожился.

— Проходной двор... Беги наперерез, через... дворников... высокий, в высокой шапке — как свистну, хватайте... четвертную, а то больше... а я за угол сейчас...

И уже на ходу, задыхаясь, крикнул:

— Да смотри, ухо востро... а то...

Городовой, придерживая шашку, пропал в калитке.

На улице никого. Переводя торопливое дыхание, держа свисток у губ и сжимая в кармане револьвер, кинулся наискось по улице к углу.

Из-за угла по панели вывернулась навстречу зачерневшая фигура. Что-то стукнуло в груди, но фигура была ниже, в маленькой приплюснутой шапке, и не припадала на одну ногу. Они быстро сблизились, и при тусклом свете снега и дальнего фонаря, не давая опомниться, сверкнули серые глаза и глянули маленькие черненькие усики.

И прежде чем успел выхватить револьвер или свистнуть, тот широко замахнулся. Инстинктивно закрылся рукой, но снизу неожиданно и со всего размаху пришелся тяжелый удар в челюсть.

На секунду взметнулся лучистый свет дальнего фонаря, угол стены, и, с мгновенным ощущением теплой полноты во рту от раздробленных зубов и перекушенного языка, опрокинулся и тяжело и глухо стукнул затылком о каменную холодную плиту.

Пусто. Смутно белел снег. Неподвижно и немо простиралось над улицей черное небо.

ЛЕСНАЯ ЖИЗНЬ

В лесу стояла та особенная тишина, которая бывает только осенью. Неподвижно висели мохнатые ветви, не качалась ни одна вершина, не слышалось ничьих шагов, лес стоял молча, задумчиво, прислушиваясь к своей собственной вековой думе.

И когда, отломившись от родного дерева, мертвая сухая веточка падала, переворачиваясь и цепляясь пожелтевшими иглами за живые, зеленые, чуть вздрагивающие ветви, было далеко слышно.

Вверху не было видно печального северного неба, хмурою ратью закрывала его густая хвоя, и, как колонны, могуче вздымались вверх красные стволы вековых сосен. И покой безлюдья царил, точно под огромным темным сводом меж молчаливых колонн, над мягкими коврами прошлогодних игл.

Между стволами, которые сливались в сплошную красную стену, мелькало что-то живое. Кто-то беззвучно шел, и прошлогодняя хвоя, толсто застилавшая землю, мягко поглощала шаги. Сосны расступались и сзади опять смыкались в сплошную красную стену. Но когда нога попадала в тонко затянутую ледком лужицу, далеко, испуганно нарушая тишину, раздавался звонкий треск.

Мальчик лет двенадцати, туго подпоясанный узким ремнем, за которым торчал топор, в огромных, должно быть отцовских, сапогах, наклонялся, приседал на корточки, что-то цеплял за ветки и стволы, и когда шел дальше, позади на земле оставался целый ряд волосяных петель, и в них краснели прицепленные ягоды.

Мальчик ставил силки, внимательно запоминая местность в лесном лабиринте.

Молчаливый лесной сумрак посветлел в одной стороне, и меж деревьев блеснул водный простор. С крутого песчаного берега открылось озеро. Необозримо уходило оно, отодвинув леса до синего горизонта, и изумрудно-зеленые острова бесчисленными стаями покрывали светлое лицо его. Узкими протоками оно

тянулось в другие соседние озера, на сотни верст растянувшиеся по угрюмому, суровому, молчаливому краю, с одной сторочы которого катило тяжелые холодные волны Белое море, с другой — морозной мглой дышали ледяные поля Северного океана.

Бесчисленные стада уток, гусей, лебедей, нырков и всякой пролетной водяной и болотной птицы с криком, шумом и гамом возились на воде, шумно подымались густыми, чернеющими тучами, заслоняя и воду, и далеко синеющий лес, и изумрудные острова, и далеко тянулись вереницами.

Мальчик с минуту постоял на берегу и пронзительно два раза свистнул. Озеро ожило. Как будто множество спрятавшихся людей засвистало и отозвалось со всех сторон, и над водой, все ослабляясь, понеслись замирающие тонкие звуки. Птица рванулась, взрывая воду, шумом заглушая умирающее эхо.

— Стало быть, не пришел, — проговорил мальчик, вынул изза пояса топор и стал рубить деревья, сваливая в воду возле берега.

Он работал ловко и быстро; сочные щепы летели из-под топора, и эхо, не умолкая, с разных сторон повторяло удары:

— А-ах, холодная... — проговорил мальчик, пожимаясь, когда, скинув сапоги и засучив шаровары, полез в воду, которая, как ножом, резала острым холодом.

И, торопливо стаскивая с обрубленными ветвями стволы, стал вязать гибким тальником плот. Через минуту стянутые вместе бревна неуклюже высовывались из водного зеркала.

Мальчуган перенес на плот пук волосяных силков и суму с хлебом, уперся шестом, и плот, сдвинувшись тихонько, поплыл от берега. Длинные травы колебались и тянулись в прозрачной холодной воде, цепляясь и обвиваясь вокруг шеста. Птицы с неумолкаемым шумом без перерыва подымались с озера, как будто сама вода рождала их из глубины, и все больше и больше чернеющая косая туча их заслоняла и лес, и небо, и синеющую даль.

Далеко отошел берег, и кругом необозримо расстилалось серебряное зеркало с висевшими в глубине его облаками, печальным серым небом и опрокинутыми прибрежными лесами. Шест перестал доставать дно, которое далеко внизу виднелось сквозь чистую, как слеза, воду, и мальчик крепко упираясь посинелыми от холода ногами, бурлил шестом, работая, как веслом.

Низкое холодное солнце передвинулось к самому лесу, когда плот ткнулся в берег острова. Мальчик обулся и пошел в лес.

На стволах сосен белели зарубки, которые он сделал несколько дней назад. Лес был глухой, угрюмый, без тропок, без следа человечьего, но мальчик шел легко и уверенно, поглядывая на белые отметины.

В чаще возле кустарника неподвижно висела птица, свесив крылья и вытянув вверх шею. Тонкая волосяная петля, захлестнутая за ветку, туго стягивала шею.

Мальчик высвободил мертвую птицу и бросил в мешок. По мере того как он шел, мешок наполнялся птицами, которых он вынимал из силков.

Между кустарниками быстро мелькнуло и пропало пушисто-красное. Мальчик бросился туда. На ветке неподвижно висела полуобъеденная птица.

— Ах-х, ты!.. — сердито проговорил мальчик, осматривая объеденную птицу и лисьи следы под деревом. — Ладно, ужо приготовлю тебе гостинца.

Все остальные силки оказались пустыми или в них торчали одни объеденные головы и шеи.

Надо было собираться назад. Солнце село. Мрачно и угрюмо высились сосны. Стояла неподвижная, полная таинственности тишина. Мальчик торопился выбраться к озеру, но лес упорно держал его, и все глуше и темнее становилось кругом. Тяжелый мешок тянул плечи, под ногами испуганно хрустели сухие веточки, и потом опять сапоги беззвучно-мягко ступали по хвое, и угрожающе сгущалась темнота, сливая деревья в одну таинственную сплошную массу.

«Как бы не заблудиться», — тревожно мелькнуло в голове, и он напряженно всматривался, но белевших прежде зарубок уже не было видно.

Наконец темнота слегка раздвинулась, и темным блеском едва блеснула у берега вода. Мальчик прислушался: над потонувшим в темноте озером стояла такая же мертвая тишина, как и в лесу, только дышало оно мраком, холодом и сыростью.

Он стал ходить по берегу, разыскивая плот, но везде был все тот же пустынный, молчаливый берег, так же едва поблескивала черная вода, и стояла дышавшая холодом и сыростью тишина.

— Ок-казия!.. Что будешь делать!..

Мальчик прошел немного в лес, стал на колени, нащупал вылезавший из земли смолистый корень, вырубил его, высек кремнем огня, зажег корень и помахал, чтоб разгорелся.

Багровое пламя, струясь и колеблясь, дымно бежало, и в лесу трепетно забегали тени, и в багрово вспыхнувшей воде отразились покрасневшие вершины сосен.

Недалеко показался из красной воды угол плота. Мальчик загасил огонь. И разом водворилась кромешная, непроглядная, чернильная тьма. Мальчик сложил на плот мешок с птицами, с провизией, обгоревший корень и оттолкнулся шестом.

Шест уходил все глубже и глубже, переставая доставать дно. Бурлила вода. Плот тихо и беззвучно подвигался вперед среди немой тишины, среди непроглядного мрака.

Словно мертвое, заколдованное царство простиралось вокруг на сотни верст, и не слышно было человеческого голоса, ни всплеска рыбы, ни писка птиц. Шест бурлил, не доставая дна, и пенил невидимую воду, и тихонько колыхался плот, заброшен-

ный и одинокий среди пустынного водного простора, среди холодного ночного мрака.

— Что ж это, никак к берегу не прибьешься...

Мальчик тревожно стер пот со лба и оглянулся: даже краев плота не видно. Поднял голову — та же густая, непроницаемая, молчаливая темь, ни одной звезды.

— Аххх, ты, бож-жа мой!.. — хлопнул себя по бедрам, поплевывая на руки, и опять принялся работать шестом.

Время уходило, стали ныть руки и плечи, а кругом все та же молчащая холодная ночь, все так же неизвестно где блуждающий плот.

И это огромное молчание холодной мертвой темноты стало заползать в сердце тоской и отчаянием. Хоть бы крик, хоть бы всплеск. Ни одного живого существа.

Теперь он уже не представлял себе, где берег, к которому он ехал, и где тот, от которого отчалил. Все одинаково кругом безмолвно-мертво. Работал наугад, лишь бы не остаться без дела и не отдаться отчаянию.

Бревна от постоянной работы колыхались и стали расходиться под ногами. Наскоро связанный плот готов был развалиться. Мальчик с отчаянием работал, каждую минуту ожидая, что, как ключ, пойдет между высвободившимися бревнами в холодную воду и ляжет на далекое мертвое дно.

Он сел на корточки, положил шест и... заплакал. Заплакал беспомощными детскими слезами, потому что в этом огромном черном погребе не было выхода.

— Дядька-а Силанти-ий! — закричал он тонким, детским голосом.

Тысячу раз повторила ночная темнота: «...а-а-нти-и-ий...»

В ту же секунду, заглушая умирающее эхо, зашумели тысячи невидимых крыл. Ночная тишина заполнилась непрерывающимся полетом. Мальчик с радостью прислушался: это были первые звуки, нарушившие давившее мертвое молчание.

Он торопливо высек огонь и зажег остаток полуобгорелого смолистого корня. Багровое пламя разом оттеснило темноту и легло светлым кругом, но ничего не открыло кроме воды. Только упавший в глубину красный свет обманчиво озарил далекое дно и сонно дремлющих рыб.

Куда плыть? Где берег?

Остаток корня, треща и капая кипящей смолой, стал жечь пальцы. Мальчик бросил. Зашипев, мгновенно погас огонь. Темнота мертво сомкнулась со всех сторон. Шум крыльев смолк, и снова водворилось в неподвижной темноте неподвижное, мертвое молчание. Но теперь не было так страшно, — и на воде и в воде было множество живых существ.

Он опять стал наугад работать веслом, осторожно упираясь, чтоб не нарушить связей в бревнах плота, и вдруг приостановился и чутко прислушался: среди темноты стояла та же тишина, но

почудилось легкое, почти неуловимое дуновение проснувшегося среди ночи ветерка.

Торопливо и обрадованно мальчик послюнил палец и, подняв, стал медленно поворачивать. С той стороны, откуда неуловимо тянул ветерок, в пальце почувствовалось ощущение холода. Быстро схватив шест, стал гнать плот по направлению ветерка. Сердце радостно билось, — теперь он уже не будет кружить по озеру.

Вот о дно стукнул шест. Становилось мельче и мельче. Где-то недалеко берег.

Мальчик изо всех сил налег на шест, но под ногами заскрипели бревна, лопнули связи, плот разошелся, и холодная густая, как кисель, вода охватила по пояс.

В первую секунду захватило дыхание. Мучительно-холодная острая вода вливалась за сапоги, за шаровары, и взмокшая рубаха липла к телу. Зубы стучали неудержимой мелкой дрожью. Мальчик схватил сумку с провизией, поднял над головой, прихватил мешок с птицами к поясу и, щупая ногой, стал пробираться среди холодной кромешной темноты. Мельчало. Уже ниже колен пенится и бурлит вода. Наконец — берег.

Он дрожал, как лист, и ноги сводило судорогой. Не теряя времени, наломал еловых и сосновых ветвей, высек огня, и костер весело запылал, бросая багровый отсвет на воду, на деревья, на печально покачивающиеся, расплывшиеся бревна плота, и тени трепетали и прыгали между деревьями. Пар валил от мокрого платья.

В лесу кто-то ходил. Под тяжелыми ступнями ломались ветви, трещал валежник, и чье-то сердитое урчание недовольно нарушало ночной покой.

— Шатун... ахх, ты... Носит тебя нелегкая!.. — И мальчик прислушивался к треску ломаемых медведем веток, усердно подбрасывая в разгоревшийся костер, чтоб отогнать непрошенного гостя.

Огонь огромного костра бушевал, пламя торопливо бежало, и в багровых просветах леса то тут, то там чудились маленькие злые глазки, вытянутая морда, прижатые уши.

Мальчик вложил два пальца в рот, как-то особенно пронзительно свистнул и загоготал:

— О-го-го-го!..

«О-о-о-о-о!» — далеко покатилось и отозвалось вместе со свистом по озеру, и опять бесчисленно зашумели тысячи крыл, и кто-то ходил по лесу, трещал валежник, и чудилось чье-то сердитое урчание.

Мальчик поворачивал к огню то спину, то бока, то ноги, пока от них не перестал итти пар. Потом пожевал краюшку хлеба, примостился у огня и... стало ему казаться — из лесу вышел медведь, оскалил зубы, расхохотался и стал есть в мешке наловленных тетерек. Поел тетерек и принялся за мальчиковы

ноги, отъел ноги, чихнул, отер лапой морду, сел на плот и поплыл по озеру. Плывет по озеру, смотрит на него мальчик, а это не медведь, а дядя Силантий. И будто стоит дядя Силантий и трясет его:

— Эй, вставай, Митюха! Разоспался... Солнце-то где...

Раскрыл Митя глаза, вскочил, видит, солнце поднялось над соснами, залило и лес, и озеро, и острова. А над озером стоит неумолкаемый гам, плеск, стон, и стаи перелетной птицы черными вереницами носятся над водой, и возле чуть дышит полупотухший костер.

— А я думал — медведь.

— Какой медведь?

— Да ночью шатун все шатался по лесу... Я было пропал на озере вчера: опознался, темь, не видать, куда плыть. Кабы не ветерок, пропал бы: плот-то подо мной расселся.

— Ночью отчаливаешь, огонь на берегу зажигай, он и будет призначать направление

— Ах, я дурак!.. И верно... А я зажег смолистый корень да потушил... Ну, темь, хоть глаз выколи, не видать, куда ехать.

Они забрали птицу, заткнули за пояс топоры и отправились домой.

КАК ВЕШАЛИ

Было странно, почти невероятно, что такая маленькая, тщедушная старушка могла выплакать так много слез.

Целые недели она не ложилась спать, задремывая на минутку перед зарей, прислонившись головой к стене. Что бы ни делала, прибирала ли по дому, ходила ли по бесконечным учреждениям и влиятельным лицам, — одно: слезы, слезы, слезы...

Была она у всех: у губернатора, у полицмейстера, у приставов, у председателя судебной палаты, у знаменитых адвокатов, ходила в канцелярию ведомства императрицы Марии, к попечителю учебного округа, была в обществе покровительства животным, — и везде было одно и то же:

— Что вам угодно?

Она глотала слезы, глядела измученными глазами, которые умоляли:

— Сы...сыночек у меня...

Но не выдерживала и рыдала неудержимыми, неподавимыми рыданиями. И, дрожа, что ее не дослушают, не дадут досказать, била земной поклон, уже не в силах сдерживать рвущиеся рыдания.

— Одни... о-дин он у меня... Ванюшечка...

Люди разом смолкали, смотрели на нее, потом долго какими-то другими голосами уговаривали:

— Матушка, мы ведь ничего не можем сделать... вы не туда попали... обратитесь туда-то и туда-то...

Потом сторожа бережно и осторожно выводили на подъезд и говорили:

— Иди, иди, мать... иди... Ничего тут не помогут...

И она шла и плакала неудержимо слезами, которых никогда не выплакать, и тащилась в другое учреждение.

Она не помнит, прошел ли с тех пор месяц или день, отворилась низенькая дверь, и в комнату шагнул высокий, с рыжим, отъевшимся лицом городовой в темной шинели.

Так и кинулась к нему, так и залилась:

— Матвеич, рòдный мой... ты бы узнал, что...

Они были из одной деревни, но городовой уже давно служил, и город, и полиция, и казарменная жизнь по-своему обработали его лицо, фигуру, душу.

— Постой... вишь ты... — и стал отстегивать, долго возясь, саблю, а старушка рыдала у него на груди, выговаривая сквозь слезы:

— Ванюшечка... родной мой... сы-нок мой...

Тот отстегнул саблю, поставил в угол, снял шинель, не торопясь и оттягивая время. Помолился на угол.

— День нонче слободный... дай, думаю, зайду... Эх, служба наша!..

И он присел на лавку за стол.

— Родимый мой, чем мне тебя попотчевать?.. Не варила я... с тех самых пор не варила... о-о-о-о!..

Городовой крякнул, почесал за ухом:

— Мозоль у меня... вот до чего... стоять на посту нельзя, — и, помолчав, опять добавил: — Эх, служба наша!..

— Самоварчик либо поставить... постой, родимый, я зараз...

Она возилась у печки, щепля лучину, а слезы капали, и городовой лазал глазами по потолку, проводил ладонью по усам, то собирал, то распускал кожу над переносицей...

— Хочь бы одним глазком... что там с ним делают.

Тот откашлялся, поскреб подмышкой, повозился на лавке, как будто было колко сидеть.

— Трудно в деревне, грязно и необразованность, чаю до дела напиться не умеют, а, ей-богу, в иной черед снял бы саблю, ливорверт бросил приставу: вот тебе хомут и дуга, а я тебе больше не слуга! И махнул бы в деревню. Вот как перед истинным!.. И харч, и помещение тебе в казарме, одёжа казенная и при господах завсегда: пристав, полицмейстер приезжает, прокурор, — хороший господин, дом свой трехэтажный на Воловьей, а то и сам жандар, полковник ихний, — все при господах, а вот иной случай все бы бросил, прямо в деревню залился. Ей-богу! Скажем к примеру, политику нужно али депламатию, ну, трудно мне насчет депламатии, инда взопреешь... Какая тут веселость!..

Он откусил сахару, подул, сложив губы дудочкой, и с шумом втянул воздух с дымящимся чаем.

— Позавчера в наряде был. Теперь у нас под *это* сарай отвели; прежде пожарные лошади стояли, так очистить велено, — за город далече господам ездить. Да. Ночью часа в три ввели нас. Сарай здоровенный, конца не видать и крыши не видать, темь, только что фонарь на стенке возле дверей да посередке у стола. На столе, стало быть, черная скатерть, чернильница, перья, весь причендал. За скатертью — прокурор, возле — поп, отец Варсонофий, а этак-то — доктор. Фонарь над ним. Доктор как сел, закрылся руками, локти поставил на стол, так и сидит, ни разу не глянул. Батюшка все цепь крутит с крестом на груде, —

вот, думаю, перекрутит, рассыпется. Серебряная, золоченая... Нда-а, стоим. Четверо нас. Да от охраны человека три стоят поодаль в темноте. Ну... На каланче к пожару прозвонили; слыхать, во дворе забегали, зазвонили, выкатывают и загремели в ворота. Стихло. Стоим, дожидаем. Прокурор все ногти чистит. Ножичек такой, там чего-чего хочешь: и ножички, и подпильники, и уховертка, и в зубах ковырять, и гребеночка усы расчесывать... Спрячет, посидит, опять достанет, опять чистить; так, думаю, наскрозь прочистит. И время-то много и стоять скучно, и боишься, что скоро пройдет. Крыша худая, подымешь голову, — звезды пробиваются.

Вошли двое. Глянул, так на сердце заскребло: замест лица маски черные, только что видать бороду да усы, да глаза ворочаются. Где потемней прошел один, потом другой. Тут я увидал, две веревки в темноте спущаются от самой от крыши, а под каждой под веревкой по табуретке. Один взялся, подтянулся — крепко; другой — крепко. Стали, дожидаются.

Гляжу я на них, и сволочь жадная! У одного дома на Березовой, за мостом, аккурат против богадельни, как перед истинным!.. Так мало ему, суды лезет, еще хругваносец... Тьфу, прости, господи!.. За кажного они по сту целковых получают. Мы уж подавали начальству: чем им платить, так мы сами... все одно, не мы, так другие, конец один, а нам на брата по четвертной придется, — четверо нас. Ну, пока ответа нету еще... Ффу-у-у! Жарко... взопрел!.. Али еще стакашек? Ну, вот, стоим, ноги отстояли. Прокурор было спрятал, опять достал, опять зачал чистить... Только загремело по мостовой. Думали, пожарные назад, ан нет, у самых у дверей остановились. Шибко застучали. Глухо по всему сараю, как в гробу... Сразу двери распахнулись, ввалились двое городовых, а промежду их человек, бородатый, под руки его крепко держут. Впереди, сзади городовые, с ружьями; чиновник за ними, портфель подмышкой. Подошел к прокурору, рапортует: так и так, мол, доставил из дома заключения арестанта за номером. Прокурор поднялся, взял бумаги, расписался.

— Вы, — говорит, — господин Ушаков?

— Да.

— Вы имеете полное право напоследок распоряжение сделать.

— Я хочу письмо жене написать.

— Можно, можно.

Прокурор заспешил, подал ему бумаги.

Энтот сел к столу, макнул, стал писать. И те-емь такая в сарае стала, просто темь. Долго писал, лист кругом исписал.

— Дайте мне, — говорит, — конверт.

— Да зачем конверт? — прокурор-то.

— А как же я адрес напишу?

Прокурор забеспокоился, — да, адрес действительно негде. Порылся, достал конверт.

— Извольте.

Взял конверт, лизнул, запечатал, стал писать адрес, долго писал, как будто и конца этому не будет. Опять загремело по мостовой, остановились и опять ввалились городовые, и двое держут. Молоденький, — ни усов, ни бороды, я его и не признал спервоначалу. Зирк, зирк, во все стороны. Как увидал — петля спущается с крыши, как забьется у них в руках.

— Вы, — говорит прокурор, — господин Николюкин?

Как завизжит, как закричит не своим голосом:

— Не-ет!.. не-ет!.. не-ет!.. Я — не Николюкин... я — не Николюкин... я — не Николюкин... я — Николаев...

— Как, Николаев?

Прокурор аж вскочил... Так по всему сараю шелест шопота: шшу... шшу... шшу... Доктор даже руки отнял, впервой глянул. Охранники, и те уши наставили.

— Я — не Николю-укин... я — Николаев!

Прокурор прытко побежал к телефону. Дзинь, дзинь, дзинь!.. «Вы, говорит, прислали к нам по ошибке арестанта под фамилией Николюкин, а он — Николаев...» Помолчал. Все притаились. И опять кричит в телефон: «Николаев... он сам заявляет...»

Опять помолчал. Тихо. Никто не дышит... — Да как же так!..— сердится, значит, не хочет отойтить,— тут недоумение... Я пришлю вам его назад...

Опять послушал, потом потемне-ел с лица, положил трубку — и к столу. А к энтому, к первому-то, поп подошел, крест зажал.— На последних твоих минутах, — говорит, — принеси покаяние перед господом, он облегчит... — А тот попа за плечи обернул и — так: «Иди, иди, батюшка, иди...» Отец Варсонофий пригнулся, крест прижал, оглядывается, боком этак, боком поспешает, благословляет его, сам скорей к столу. Доктор лицо закрыл. Тихо и опять те-емь... Прокурор стоит, бородку крутит. И слышим из темноты: «Бороду петлей прихватил... больно... выпростай!..» И опять: «Сними с меня пальто... неловко... не тебе висеть...» И ахнуло в сарае: полетела из-под него на пол табуретка. А по сараю аж в ушах юзжит:

«Я — не Николюкин.. я — Николаев... у меня мать... спросите у матери... у ма-атери... у ма-атери... у ма-а-те-ри...» — покеда голос не захлестнуло...

Думал, покеда к тебе сходят, да наведут справки, все ночь, денек, другой проживет на белом свете, оттянуть хотел... — Ну, вот!.. вот оно. Что мне теперь с тобою делать? Эх, служба!.. Куда шинель-то положил? Ну, чего? Не вернешь... а сама спрашивала... лучше б не приходил... Пойдем, что ль, могилку покажу...

НА МОРЕ

Мелкодонное, мутное, с плоскими бурыми берегами, море, но когда разыграется, когда бестолково пойдут толчеей короткие вихрастые волны и по ветру длинно понесется старая полосатая пена, — немало рыбацких баркасов, дубов глотает оно.

А рыбацкие хаты, мазанки и шалаши то там, то здесь глядят в одиночку, то кучками, на пустынном побережье. На жарком солнце под палящими лучами на кольях все сушатся колеблемые сети, ослепительно сверкает слабо шевелящаяся вода, да чайки носятся с криком.

Редко увидишь — голопузые ребятишки возятся в горячем песке, либо баба с подоткнутой юбкой развешивает на кольях вместе с сетями синие, красные, белые рубахи, а на мреющем под зноем море то черный косовичок подержится, то пароход подымит. Знойно, пусто, лишь чайки да сети, да прокаленный белый песок слепит.

В лов хозяин и не заглядывает домой, разве переменить сети. Растянет хозяйка мокрые на кольях, а сухие торопливо соберет и сунет в баркас вместе с едой и бочонком свежей воды, и опять знойно-дремотно, ослепительно, да чайки, а у шевелящейся, моющей воды — длинным бордюром сухая рыбья чешуя.

В мутной горячей мгле изредка туманятся города, такие же спаленные, с поведенными от жары листьями на деревьях, с пыльными улицами и вечно закрытыми от зноя ставнями у низких домов.

На пристанях кипит работа: грузят, причаливают, торопливо таскают, согнувшись, кули, ящики, железные полосы. Стоит гомон и говор. С осевших баркасов таскают рыбу в рыбницы.

Но на побережье на горячих песках, на глинистых пустынных обрывах, где белеют одинокие хатки или поселки без дворов, без огорожи, без зелени, — нет дела до городов. Своя тут жизнь, свои обычаи, законы, свои уставы.

Люд пришлый, ни земли, ни хозяйства, одно море, да и то неверное, изменчивое, прихотливое: сегодня удача — деньги, раз-

ливанное море, завтра — все потеряно, нищета и голод месяцами. И оттого на море суровые нравы и беспощадные кары.

Бегут мерные мутно-зеленые волны, бегут и моют большой, глубоко осевший грудастый баркас, с черно-блестящими смолеными боками. Огромным, полным ветра пузом выпятился, дрожа, весь в латках, грязный косовик, кренит судно. Подымаясь и падая, темнеют черные смоленые бока. Рассыпается белая, как кипень, пена. Звенят натянутые шкоты.

Рыба лежит по самый верх, затянутая брезентом, еще зевает,— только что обобрали сети.

Двое сидят: один на руле, навалившись, не отрываясь, смотрит по носу, который, качаясь, ходит по далекой черте смутно маячащего морского края, другой держится за мачту и, как выбирающийся на заре волк, оглядывает мутно-зеленую бегущую равнину. Должно быть, братья, очень похожи — оба плотные, широки в плечах и от ветра, от солнца, от соленой воды бронзовые, и из-под клеенчатых шляп с насунутыми полями глядят смелые брови, острые глаза.

Тяжело переваливается груженый баркас и режет волны под дрожащим от напряжения, выпятившимся косовиком, — уже проступил тоненькой черточкой далекий мглистый берег.

Ястребиный глаз привычно угадывает каждую складку, каждую чернеющую точку, и крепко правит налегающая на руль рука, а сзади змеится, далеко отставая, кипящий белый след.

Справа по носу едва приметны дымки пароходов, слева — чисто. Небо высокое, сухое, жаркое.

Вдруг оба повернули в одну сторону ястребиные, темные, полускрытые полями лица, долго, не отрываясь, смотрят. Пустынно мутно-бегущее море, и разве только в бинокль можно было увидеть, как отделилась от далекой черты берега точка.

И тотчас же оба, как по команде: один повернул руль, другой, опираясь ногами в банку и совсем завалившись на спину, так что солнце бьет под полями в карие с острыми зрачками глаза, натянул шкот и перевел затрепыхавшийся парус на другую сторону. Снова зазвенел туго натянувшийся шкот, и огромным животом разом выпятился косовик. Баркас тяжело лег набок, и всем бортом хлынула в уснувшую рыбу мутная волна, заворачиваясь белым гребнем. Но баркас сейчас же грузно поднялся и, кренясь, пошел правым галсом под туго гудящими парусами, убегая от волны, оставляя ей белый змеисто-кипящий след.

А впереди влево точка растет. Уже не точка, а острым уголком кверху, как почернелый листок, который унесло, вырезывается на мутно-зеленой бегущей равнине черный парус. И все яснее и все отчетливей.

Оба брата снова глянули из-под нависших полей, и без слов тот, что у мачты, молча ухватился за конец, тянувшийся к верхушке, и, напружившись, потянул парус кверху, и парус еще громаднее загудел, дрожа над опасно легшим набок баркасом, а

перед черно-смоленой грудью невиданным бугром стала разворачиваться от бешеного бега кипящая пена. Парус отдали полностью, напряженно следя за ним, — такой ветер в секунду может положить судно, и глухо пройдут через головы волны.

Но и там, на встречном судне, с островерхим черным парусом, секунду приостановились, сделали поворот и пошли другим галсом наперерез.

Уже отчетливо видно, что это косовик, под ним черный, смоленый небольшой рыбачий баркас, за бортами маячат три повернутые внимательно в эту сторону головы, которые вместе с бортами, с мачтой, с косовиком мерно подымаются и падают с приходящими, уходящими волнами. И все ясней, и все ближе, и все отчетливей.

Солнце выше, и с просмоленного паруса, с бортов, с веревок капают черные слезы, а по бокам, расступаясь в неуловимом мелькании, уносится пена.

Мглисто замаячил в море выдавшийся с берега рог, а на нем смутные дома, трубы, колокольни, внизу пристань, сизо подернутая пароходным дымом, мачты, суда, лодки.

Братья молча смерили расстояние до идущего наперерез косовика, до пристани, — нет, не успеют первыми дойти, придут вместе, а вместе — так все равно будет развязка, хоть тут и народ и полиция.

Когда город отчетливо вырисовался, двое разом сделали поворот, перекинули парус и пошли в другую сторону. И на другом судне сделали поворот и пошли следом.

Встречный косовичок, видно, был легче, — все отчетливей и ясней становились его черные заплаты, рассыпающаяся на обе стороны пена, и три головы, неотступно следящие за этими двумя.

И все ближе и все меньше расстояние.

Прошли Таганрог, далеко прошли Ахтырку, Ейск и пошли в глубь моря, а солнце уже низко, и до края легла по морю ослепительная струящаяся дорога.

Тот, что сидел на руле, сказал хриплым голосом:

— Глянь, в бочонке, може, хочь трошки.

— Ни капли.

У обоих пересохло в горле и потрескались губы.

Опять так же мерно подымают волны, рассыпается, отставая, пена, темнеет от воды окунающийся угол паруса.

Пароходы далекими черточками проходят мимо, длинно оставляя по ветру черный дым. Идут с грузом, с пассажирами в Мариуполь, в Таганрог, в Ростов, встречные — в Керчь, к Черному морю, то и дело тянутся дымки, но пароходы помочь не могут — три головы неотступно следят за этими двумя, и все до подробностей видно на совсем боком ложащемся, торопливо подбирающемся косовичке.

Мелькнули в волнах красные на якорях обрубки-поплавки и

пропали, убегая в пене: здесь на заре сняли с сетей богатую добычу.

Густо посиневшие волны моют большое, тяжело опустившееся к самому краю солнце, на которое уже не больно смотреть. Оно уходит в воду, и над тем местом повис лишь слабый золотой туман, да и тот погас. Потемнело помертвевшее море, и волны стали круче и злей.

Несколько раз двое меняли галсы, ложась то на правый, то на левый бок, но и те трое делали в точности то же и стало слышно, как гудит сзади их до половины темный от несущихся брызг парус.

Ночь все темнела, и от свистевшего ветра торопливо мерцали и гасли рассыпанные звезды. Изредка красными точками, как уколы, загорались в стороне пароходные огни и пропадали сзади. Только смутно-волнующееся пустынное море да два чернеющих в темноте силуэта, почти поравнявшихся, будто два брата, после долгой разлуки.

Когда разбежавшиеся баркасы, с хрустом лопающихся от толчка досок, сошлись, пятеро кинулись с топорами друг на друга, как бешеные:

— А-а, чужие труды обирать!

Ветер, волны, шум рвущихся, оставленных на произвол парусов заглушал слова, да и не до слов — один, чернея, мелькнул за борт с раздавленным до шеи черепом. Хватали друг друга за горло, грызли, душили, а баркасы под ними бешено танцовали.

Обрадованный ветер, шумя и обрывая шкоты, что есть силы навалился на хлещущие паруса и повалил. Баркасы грузно легли набок, потом тяжело повернулись мокрыми скользкими килями вверх, сталкиваясь, то покрываемые волнами, то смутно блестя мокротой под звездами.

Было все то же: шумящее море, колеблемое ветром, сверкание звездного неба.

Изредка тоненько проступит красный огонек, потом зеленый, и погаснет, и опять смутный, ровный, неустанный шум, в котором пустынность, и ничего человеческого.

Иногда, как надежда, как далекий живой отзвук, в шуме слабо подержится далекий морской гудок и умрет. Звезды, море, ровный шум...

Медведица, как это она делала миллионы миллионов лет, неуклюнно поворачивалась около Полярной, и из-за смутного горизонта выходили все новые и новые звезды, а с другой стороны скрывались. Ночь была, как тысячи других ночей.

Чуть заяснело небо, тихонько погасали звезды, обозначились белеющие гребни и мутно-зеленые, с полосами пены, ленивые бока валов. Над изборожденным краем легким пятном встал золотой туман, и потом медленно выплыло из воды солнце.

Взошло и осветило успокаивающееся море, далекую черту мглистого берега, рождающиеся и умирающие на краю дымки

пароходов, влажный, поблескивающий киль и три пары рук судорожно уцепившихся за него.

Волны, равнодушно перекатываясь, мерно моют бледные руки и три головы.

Одна — голова старика, с прилипшими от воды и крови волосами; передняя часть лица отрублена, вместо носа — черная запекшаяся дыра, глядит из навсегда раскрытого рта половина зубов. Двое других не похожи друг на друга, не братья, а только что рубившиеся враги. Они то и дело подтаскивают к килю слабеющего, опускающегося в скипающую кругом зеленоватую воду старика.

— Батя, держись, — хрипло говорит один, — вишь, стихает, стихнет, заметют, подберут.

Старик что-то говорит глазами, не поймешь, подымает руку, хватает воздух, потом складывает корявые, неслушающиеся окровавленные пальцы, будто благословить хочет, и вдруг весь ссовывается, перестает держаться, волна ласково оттаскивает его. Те двое, судорожно уцепившись за киль, с секунду сдерживают старика, но волна вырывает, и в зеленой глубине видна неестественню изогнувшаяся, с раскоряченными ногами, фигура, уходящая все глубже и глубже, пока, наконец, не пропадает в мути.

У киля остаются двое, с серо-зеленоватыми, непохожими лицами.

Поднявшееся солнце припекает, и успокоившиеся волны слабо лижут подымающийся и опускающийся киль.

Помогая друг другу, оба взбираются и садятся верхом на опрокинутое переваливающееся судно.

Слышен хриплый голос:

— О-полдень пассажирский должон иттить аккурат этим местом... Подберут...

Они обрывают рукава кроваво запятнанных рубах и перевязывают друг другу разъедаемые солью раны. Оба сильные, крепкие, вскормленные морем, — их и раны не берут.

— Жалко бати, крепкий был старик, износу не было... царство небесное...

Другой вздохнул, глядя в мреющую под солнцем даль.

— А у брата, — продолжает все тот же хриплый голос, — жене вот-вот родить. Как теперича скажешь ей?

И опять оба жадно смотрят в туманно сверкающую даль.

Хриплый голос снова:

— Мы еще с субботы приметили, что вы до наших сетей...

Тогда другой сказал:

— Да все — брат, царство небесное... Говорил ему: «Сняли — и будет», — так нет, ешшо захотел.

— На много энти разы продали?

Другой помолчал, и измученное серо-зеленое лицо чуть тронулось:

— Да сот на шесть.

И осекся. Этот, с задрожавшим от ярости подбородком, прохрипел, давясь словами:

— Нашими... кровными... трудовыми... а-а, кровопивцы!..

Вцепился в горло, и оба рухнули в расступившуюся воду. Минуты две бились, хрипя, захлебываясь, далеко раскидывая брызги, потом, зажав друг друга, пошли вглубь плотным комком, и солнце долго среди подвижных зеленых водяных теней доставало их жаркими лучами, пока не скрылись.

В полдень проходил пассажирский пароход, увидел перевернутый киль, спустил шлюпку, обошел кругом — баркас был пуст. Пароход пошел дальше, а пассажиры долго стояли у кормы и смотрели на удаляющийся, одиноко колышущийся, влажно поблескивающий на солнце киль.

— Должно быть, с берега сорвало. Не доглядят, не привяжут, и унесет.

Пароход шел, и кругом был только блеск спокойного моря.

СТАРУХА

Двор у о. Иоанникия — просторный, укатанный, с многочисленными хозяйственными постройками.

Среди приземисто белеющих, нахохлившихся соломенными крышами куреней, среди кудряво-зеленых верб и вишен, свисающих из-за наклонившихся плетней на улицу, матеро глядит двухэтажный деревянный поповский дом под железною зеленою крышею, с желтыми ставнями, с узкими балясами вокруг, по которым ходят, когда закрывают ставни в верхнем этаже.

И каждый вечер, когда растрепанная девка Малашка, курносая, с подоткнутым подолом и загорелыми ногами, нанятая на ярмарке, куда ее привели родители, на год за тридцать шесть рублей на хозяйской одежде, торопливо пробираясь по узким балясам, закрывает ставни, — по густо заросшей колючкой и репейником улице, в непроглядных облаках лениво виснущей пыли возвращается хуторское стадо, и хозяйки настежь раскрывают скрипучие обвисшие жердевые ворота перед важными, задумчиво медлительными коровами.

Из окон дома видна похожая на огромный пустырь площадь, как спокойным зеркалом вся занятая никогда не просыхающей, точно озеро, громадной лужей, с узенькой, жмущейся к самым плетням дорогой. В жирно и густо зеленеющей по краям тине целыми днями, в истоме полузакрыв глаза, неподвижно лежат свиньи, а в спокойной воде — дремотно синеющее небо, кудряво белеющие облака и опрокинутая темным профилем сухонькая старенькая церковка.

Утром и вечером с низенькой, тоже потемневшей от старости колокольни, шепелявя, гнусаво отзывается надтреснутый старческий колокол.

Служил о. Иоанникий по будням кратко, потому что народ весь на работе, а в церкви две-три старенькие старушки, — по воскресеньям же и праздничным дням служит лепо и пространно, и тогда яблоку упасть негде, и все выходят с мокрыми, потными лицами, расправляя затекшие от долгого стояния ноги, усталые и довольные.

Когда дома, где всегда стоит шум, гам, крики, беготня, потому что из восемнадцати рожденных матушкой детей четырнадцать в живых, — когда дома о. Иоанникий снимает рясу и остается в одном старом, уже разлезающемся по швам подряснике, из которого он как будто вырос, и видны рыжие голенища, — видно, какой это огромный, ширококостый, массивный мужчина. И в странном противоречии с этим на красной толстой шее — стыдливым хвостиком по-бабьи заплетенная косичка, а когда заговорит, голос у него тонкий, тоже бабий, или как у подростка.

Но характера он твердого, неподатливого и хотя не любостяжатель, своего росинки не уступит. Его не столько любят, сколько уважают.

Весь день, за исключением утренней и вечерней службы, отдает он хозяйству, а оно у него обширное и ведется образцово и строго. Строг, пунктуален, бережлив он и в своей семье. Настрого заведено, чтоб все во-время садились за стол. Терпеть не может, когда на столе на тарелках остается недоеденное, и требует от матушки, чтоб готовили в обрез, чтоб не оставалось кусков. А чтоб детям хватало и они наедались, сам ест очень мало, и когда крестится после обеда на икону и читает вполуслух: «Благодарю тя, Христе боже наш, яко насытил мя еси...» чувствует себя впроголодь и испытывает соединенную с этим особенную легкость. Зато на свадьбах, молебствиях, похоронах, поминках ест много, долго, сосредоточенно и дома страдает от живота.

Вся его жизнь, помыслы и заботы разделяются между требами, хозяйством и детьми.

О детях из года в год одна забота: тех надо подготовлять, те поступают, те кончают, то в епархиальном, то в семинарии, то в духовном, и всюду неуклонно требуется одно — деньги.

Когда начинал эту жизнь, было батюшке двадцать четыре года, потом стало двадцать восемь, и тридцать, и тридцать пять, и уже сорок, и уже сорок восемь лет. Уже пошел седой волос в темной бороде, а порядок и дни все те же, все так же распределяется время, так же ежегодно рожаются ребята, и нарекает им имя, так же отражается и небо, и облака в озероподобной луже, и темненькая, сухонькая церковка, и колокольня, и надтреснутый, шамкающий голос разбитого колокола отзывается по хутору перед утреней и перед вечерней.

Стоит о. Иоанникий в подряснике на крылечке и смотрит изпод руки, как работник возится около старого, норовистого, но знающего свое дело гнедого, запрягая его в повозку везти хлебы и кислое молоко рабочим на покос.

— Чересседельник-то подыми — не пойдет он у тебя на гору, наплачешься.

Гнедой лениво стоит, пренебрежительно заложив оба уха назад, — там, мол, видно будет, пойду или не пойду.

Проводил батюшка работника, пошел на баз и в птичник, побранил работницу, что некоторые куры несутся под амбаром, а не в курятнике, сделал выговор матушке, несмотря на восемнадцать детей, неистощимой, немного расплывшейся хлопотунье, что мало выручается от сухарей, — он знал, что матушка часть их тайком продает, так как он ни копейки не давал на руки.

— Да как же, отец, — хлопотливо говорила матушка, деловито обирая налипшее тесто с белых, толстых, мягких рук, — сам знаешь, какое время. Пятачок-то фунт, и не подходи.

Она тоже знала, что батюшка осведомлен о ее проделке, но оба сохраняли декорум, приличествующий священническому сану.

Уже Малашка, шлепая босыми ногами по балясам, закрывала ставни, шло стадо, и улица вся потонула в медленно плывущей пыли, прибежали, повизгивая, поросята, и догорали, потухая, дальние верхушки верб.

Батюшка снова сидел на крылечке, пил одиннадцатый стакан и, запустив руку под рубаху, огромной широкой ладонью растирал взмокшую грудь и подмышками и следил, как меланхолически, не ускоряя и не замедляя шага, без конца шло по улице стадо, — хутор был огромный.

Из пыли, как в сухом тумане, смутно маяча, проступали две фигуры: одна побольше, другая поменьше, все ближе, то вырисовываясь, то мутнея в заплывающих медленных облаках. Можно различить — старуха, темная, сухая, идет тихо, прямо, никуда не поворачивая неподвижную голову, высокая, деревянно-прямая, и маленькая девочка, лет восьми-девяти, впереди ведет ее за посошок, мелко ступая босыми ножками, торопливо, как птица, поворачивая во все стороны головку.

Подошли к калитке, и девочка с трудом, становясь на цыпочки, стала возиться со щеколдой. Потом справилась, отворила и, робко поглядывая и замедляя шаги, подошла и стала у крылечка и подняла на батюшку серенькие, робкие, просящие глазки: «Не трогайте меня, я ведь вам ничего не сделала».

А за нею неподвижно, прямо и строго стояла темная фигура старухи, и глаза ее странно-неподвижно и безучастно глядели прямо перед собою — в перила крыльца, а не на батюшку.

О. Иоанникий неодобрительно прихлебнул из стакана. Много всякого народу ходило к нему во двор — и нищие, и странние, и переселенцы забивались, и прохожие заходили испить водицы, и по волчьему паспорту заглядывали. И к каждому у батюшки было свое особое деловое отношение.

Нищих не любил, никогда не подавал, ибо тунеядцы, а тонким и строгим голосом рекомендовал взять топор или мотыгу и исполнять завет господень: «В поте лица твоего ешь хлеб твой».

Странникам и странницам недружелюбно напоминал, что вера

и спасение не в ногах и не в хождениях, а в неустанном труде на себя, на людей и на господа; помолиться же с усердием и верою можно и в своем храме, и не оскудеет милость господня.

Переселенцам приказывал отсыпать сумочку сухарей, изнурены они были всегда, а у ребятишек, выглядывавших из лохмотьев, только кости да кожа. Прохожим же, хотя и позволял напиться ковшиком из бочки, но всегда наставительно замечал, что везде — колодцы, берут бабы воду, и нечего ходить по дворам.

Босяков же и по волчьему паспорту не подпускал ко двору и на выстрел — как-то ночью такие же сломали у него огромный замок на хлебном амбаре, но унести ничего не унесли — собаки у батюшки отличные.

Глянул опять на стоящих у крыльца, прихлебнул и никак не может отнести их к нужной категории и взять должный тон. И, крякнув и чувствуя, что от него ждут, сказал:

— Ну, что скажете?

Девочка, подняв глазенки, все так же не то испуганно, не то молитвенно, продолжала смотреть на священника, а старуха, такая же прямая, неподвижная, повернула темное, пергаментное, как на старых закопченных иконах, лицо на звук голоса и так же неподвижно строго, безучастно стала глядеть в этом направлении.

Батюшка подождал и опять проговорил:

— Что скажете?

Тогда она заговорила низким, старым, изжитым голосом, который, казалось, так же был темен, как те закоптелые иконы, заговорила так, как будто давно уже говорила, как будто рассказывала священнику сурово и просто всю свою долгую, изжитую и тоже такую же темную жизнь.

— Вот пришла я... девонька меня в избу ввела... перекрестилась... не вижу образов, не знаю, в какой я хате, в своей ли, нет ли, ничего мне не видать. Ну что, говорю, родные мои, будете меня кормить? А они в четыре голоса — две снохи да два сына: «Нет, не надо нам тебя, куда нам, хоть бы самим прокормиться...» Да, хорошо. Спрашиваю опять: «Возьмете ли?» Закричали: «Не надо!..» Я опять: «Будете меня, старую, кормить? помирать мне...» До трех разов спросила. Закричали они: «Нет, нет, и не надо, и нет, нет, нет... иди, куда знаешь!» Заголосила я тут не своим голосом, жалко мне их стало: бросили мать свою, старуху... иди, куда знаешь, иди, слепой человек... Жалко — в утробе ведь их выносила, рожала...

Старуха зашевелила пальцами, державшими костыль, судорожно подергались неподвижно-темные черты.

Она помолчала, и опять строго, спокойно глядят мимо людей незрячие глаза.

— Взяла меня девочка за руку, повела. Куды мне иттить? Господи, царица небесная, заступница, сохрани и помилуй. Слепой я человек, а слепой, что мертвый, кому нужен? Вышли мы, идем полем, сиверко, стыть, одежонка-то плохонькая, стала у меня

душа холодеть, руки закоченели, ноги не слушаются. Подумала я, погрешила богу: неужто без покаяния, без святого причастия придется помереть? Только ведь и радости у меня осталось, покаяться господу во грехах, душу свою грешную приготовить к смерти по-христианскому... А кругом-то, видно, стало темнеть. «Бабушка, — говорит девонька, — боюсь, я...» Ухватилась за юбку, держится. «Чего ты, болезная, чего испужалась?» — «Ой, баушка, боюсь... мимо леса идем, темно... ведь ты не видишь...» — «Ну-к что ж, больная моя, перекрестись, сотвори знамение, с нами крестная сила... кому мы сдались, кто нас обидит...» — «Надысь в этом лесу у Митрича Мазана волки корову зарезали...» Идем это мы, мне-то не страшно, да за девочку сердце болит, дрожит она, за меня ручонками держится, ноги у меня подкашиваются, творю молитву заступнице пречистой. Сжалился над нами господь, послал своего ангела святого, вывел он нас к хутору. Пришли мы к церкви, служба кончилась, народ разошелся. Слышу, кругом тихо стало; ночь, видно; полезла я в сумочку, поискала, дала девочке кренделек. Пошла она домой, осталась я одна.

Она замолчала, и было темно ее пергаментное лицо и неподвижна темная фигура. И батюшке казалось, что он действительно знает ее жизнь, знает ее жизнь от первого дня до последнего. И он спросил:

— А девочка чья?

Старуха молчала, точно думала свою темную думу. Ручонки девочки зашевелились, и послышался тоненький, как соломинка, голосок:

— Я — Кобелихи дочка... что за кузнями живет... маменька спосылает меня, когда проводить баушку, не видит... она нам чужая...

О. Иоанникий отодвинул стакан, чувствуя, как ночь медлительно и темно заполняет пустотой и улицу, и двор, и крыльцо, и маячат только две фигуры, — одна побольше, другая поменьше. Он хотел что-то сказать подходящее, но не нашел.

— Это у которой муж умер? Горшечник?

— Мой папенька умер четыре месяца назад, горшками занимался... теперь мы одни.

О. Иоанникий вспомнил про работника, благополучно ли довез до покоса, и обрадовался этой пришедшей обычной заботе. Но она сейчас же свернулась и потухла, а у крыльца попрежнему две темнеют, — одна побольше, другая поменьше. Но ведь он тут помочь ничем не может, — не брать же к себе, а сынов не уговоришь, оголтелый народ.

И он хотел это сказать, как послышался опять низкий старый голос, в котором в самом было какое-то темное содержание, помимо прямого значения слов:

— Ты меня куда привела-то, девонька?

— Я — священник, — нахмурясь, несколько с неудовольствием ответил о. Иоанникий.

Она заговорила:

— Боюсь я, батюшка... — и что-то дрогнуло в ее темном голосе, — боюсь... сказывает народ, за мать не простится. Господи, выгнали... Это что ж, что ни то... мне немного осталось, приберет господь... мне-то помирать, им жить-то... вот что страшно... как там на небеси силы господни глянут... А ну-ка, сын, скажут, за мать-то... за мать-то... строго у них там... Иисус Христос мать-то свою возвеличил... Что как... господи!..

Голос ее замолк, и о. Иоанникий не видел в темноте, но угадал, как задрожали пергаментные черты. Он потрогал бороду и огляделся; было темно, точно все насупилось, но разглядел, что калитка не была прикрыта, подумал: «ишь, не закрыли», — и мысленно защелкнул щеколду.

— Вот что, матушка, сделать-то я ничего не могу... Да ты откуда? Сыновья-то твои где проживают?

Старуха, смутно темнея, молчала. И голосок девочки:

— С Прилипок они, на Прилипках живут ее сыны.

— А-а, знаю... поговорю, поговорю. На будущей неделе крестить там буду у лавочника, так поговорю.

И опять низкий почти мужской голос, полный спокойствием невыплаканного горя:

— Не об том, батюшка... а страшно мне... все одно уж не возьмут. А хоть бы и взяли, грех-то, грех он уж есть перед господом, перед святыми силами его, боюсь я за сыночков моих...

— Ну, вот что: завтра приходи к церкви-то, — станешь на паперти, там подадут, и я прихожанам скажу, кои и помогут во имя господне. А после обедни зайдешь сюда, матушка сухариков сумочку насыпет. Ну, господь с вами, идите, — и он в темноте невидимо благословил их.

Они пошли, смутно выделяясь, и уже у ворот потонули в темноте, и о. Иоанникий крикнул:

— Калитку, калитку-то прихлопните.

Долго слышно было, как возились со щеколдой. Должно быть, девочка все не могла достать.

О. Иоанникий встал, точно освобождаясь от чего-то, и мысленно окинул дом и двор, вспоминая, насчет чего бы надо еще распорядиться на ночь. На большом крыльце гомозились ребятишки, укладываясь вповалку.

У церкви сторож бил в колотушку. Лениво и спокойно где-то лаяла на сон грядущий собака. Шла ночь, молчаливая, тихая, деревенская.

О. Иоанникий вставал рано, чуть зорька глянет сквозь вербы и через соломенные крыши куреней. Еще до обедни успел распорядиться по хозяйству и осмотреть все и обедню служил долго и истово, — был праздник, хотя и церковный.

Во время обедни, между возгласами, или когда садился в алтаре к сторонке на стуле отдыхать, думал о том, о чем всегда приходилось думать: о хозяйстве, не упустил ли чего, все ли наказал работнику, так ли сделают, как приказывал, без своего глаза ведь и дом — сирота, и на поле работники шалыганят, а то чего доброго еще праздновать с обеда начнут, непременно надо после обедни съездить туда. Думал о том, что в прошлом месяце Саше в семинарию отослал пятнадцать рублей, а уже просит и в этом рублей десять прислать. Вот и в епархиальное за нюшину музыку надо посылать; не хотел о. Иоанникий учить музыке, зачем она серьезной девушке? Да и плата особенная, все зря... Еще о чем-то хотел подумать о. Иоанникий, о чем забыл, а что-то нужное... Певчие кончили, и надо было возглашать.

После обедни, когда народ разошелся, сняв ризу и облачившись в черную рясу, вышел вместе с дьяконом, — и на паперти...

Вот о чем он хотел подумать, да не вспомнил!..

На паперти неподвижно и темно стояла старуха с пергаментным, не шевелящимся лицом.

Батюшка было приостановился, точно застигнутый врасплох, и раскрыл рот, чтобы сказать, да вдруг вспомнил, что ведь она слепая, не видит, и торопливо, как будто немного согнувшись, прошел мимо, ничего не сказав. Старуха была одна, и когда, обойдя озеро, издали о. Иоанникий оглянулся, она все темнела неподвижно и одиноко на паперти.

Целый день в заботах и трудах провел о. Иоанникий. Съездил и на поле и подогнал рабочих, которые действительно было стали праздновать после обеда, дома приказал работнику отвезти на мельницу пшеницы смолоть, а вечером матушка пришла с жалобой на Малашку — балуется с парнями.

Батюшка нахмурился и велел позвать девку. Та пришла, опустив лицо, не отрывая глаз от своих загорелых черных ног. Долго говорил ей батюшка. Говорил ей, что родители ее отдали на год, взяли задаток и написали условие, а если будет баловаться с парнями, недолго и матерью стать. Какая же она тогда работница? И как же она будет выполнять условие? А всякое неисполнение обязанностей — грех перед богом и перед людьми. Вот он сам священник, а работает с утра до вечера не покладая рук и все обязательства выполняет точно, как часы заведенные.

Батюшка говорил так убедительно, что Малашка рыдала навзрыд. Потом за нее принялась матушка, и Малашка только слышала: «это гадко, это мерзко, это отвратительно...» — и еще много другого, что Малашка уже перезабыла и чего вместить не могла.

Так прошел день, в заботах и трудах, и опять пришла ночь, тихая, деревенская, звездная ночь.

Ни одного огонька в хуторе. Ни собачьего лая, ни скрипа. Беспокойная колотушка церковного сторожа, и та замолчала. Только звезды мигают.

Темен, спокоен и тих и поповский дом. Все на запоре. Спят цепные собаки. Ребятишки спят с Малашкой на одном крыльце, а батюшка с матушкой на другом, под легким пологом. Спит и матушка давно, намаялась за день, а о. Иоанникий не может сомкнуть глаз. Уж он и ворочается, и примащивается, и старается обмануть себя, закроет глаза, ни о чем не думает, нет, не идет сон. И опять думает думы.

Выглянул из-за полога, — во все небо играют звезды, и много поднялось над вербами таких, каких с вечера не было. Поют комары. Задернул и опять попытался уснуть и долго лежал неподвижно, — нет.

«Но разве я виноват?»

«Нет, не виноват», — ответил кто-то.

«Виноваты сыновья...»

«Да».

«И взять не могу... ведь тогда пришлось бы брать во двор каждого неимущего...»

Но ему ничего не ответили. Он подумал.

— Мать, а, мать? — проговорил он неожиданно для себя, приподнявшись на локте.

Матушка, разморенная за день, сладко похрапывала.

— Слышишь, матушка?

Та испуганно завозилась.

— А?.. Что такое?.. Ты чего?..

То, что он хотел ей предложить, было просто и ясно, но было просто и ясно, пока он думал, а когда надо было сказать это словами вслух, показалось нелепым и диким, и он проговорил

— Блохи... заели.

— Блох — сила.

Она зевнула, перекрестила рот, отвернулась и стала похрапывать, и вдруг проговорила заспанным и сонным голосом:

— И чего не спишь?.. Завтра к утрене... Людям покою не дает... спи!..

И захрапела мирно и редко, смутно белея в темноте.

Батюшка подождал и стал опять думать.

Да, конечно, он было сказал сейчас большую глупость — четырнадцать человек детей и... брать во двор еще бездомную старуху. Конечно, нелепость, и хорошо, что не сказал, матушка бы рассердилась. Ему стало легче, и он подумал, что уснет.

Но какое-то беспокойство, не то какое-то смутное воспоминание, не то забытое впечатление подымалось откуда-то из темной, затерявшейся глубины прошлого. Может быть, ничего и не было, может быть, дело шло совсем о другом, но беспокоимый, как комариным пением, он перебирал разные совершенно не относящиеся к сегодняшнему дню случаи своей жизни.

И вдруг неожиданно и без усилий выплыло, остановилось перед глазами, проступая все отчетливее и яснее из смутности воспоминаний, далекое детское прошлое.

Высоко и темно, готическими линиями, подымается к синему небу католический костел. Отец батюшки был полковым священником в Польше. Часто забегал ребенок в костел, слушал торжественные звуки органа, глядел на непривычную торжественную службу и, входя, всегда останавливался у ниши, сделанной снаружи костела, в которой стояла потемневшая от солнца, времени и ветра женская фигура, с изборожденным не то старостью, не то дождями морщинистым лицом. И столько скорби, столько невыплаканной муки было разлито в ее темной фигуре, в ее изможденном лице, что мальчик долго не мог оторваться, смотрел и все ждал, что из глаз ее закапают слезы.

И теперь то далекое изображение скорби и одиноко темнеющая фигура на паперти слились в один тревожный, темно звучащий, не дающий покою укор.

Только когда стал шевелить складки полога надремавшийся за ночь предрассветный ветерок, от которого побледнели звезды и чуть побелело небо, заснул о. Иоанникий.

С этих пор каждый день на паперти глаз о. Иоанникия прежде всего останавливался, — в тайной надежде не встретить ее, — на темной фигуре старухи. Она всегда была одна, не просила, не протягивала руки. И проходили мимо равнодушные, иные подавали и совали ей в сумочку бублик или копейку. Поп Иоанникий проходил, слегка нагнувшись, точно опасался, что она увидит его незрячими глазами, и быстро шел домой.

Непонятным, тайным укором стояла в его памяти эта темная, неподвижная, как изваянная, фигура скорби матери, предстоящей пред всевышним о детях своих, которым грозит кара.

Но потом она стала его раздражать, и он говорил сердито дьякону:

— Отец дьякон, ты бы, что ли, пристроил куда-нибудь эту старуху, что на паперти, — слепая-то, что сыновья выгнали.

— Куда же я ее пристрою? Сынам не надо, так кому же она нужна? Господь приберет, и так на ладан дышит.

Заботы, труды, хозяйство, налаженный порядок жизни взяли свое, — о. Иоанникий понемногу забыл старуху.

По целым неделям он не помнил, видел ее или нет, и иногда, думая о своем, важном и нужном, подымал глаза: «А-а, тут!..» — и сейчас же опять забывал.

И все было попрежнему, и все повторялось изо дня в день.

ПАРОВОЗ № 314-Б

На Подсолнечной стоял почтовый поезд.

Делать ему тут было нечего: почту, состоящую из тощей сумки, давно выгрузили; из деревеньки, серо раскинувшейся обвисшими соломенными крышами, в полутора верстах от станции, никто не садился, и все лениво тянули никому не нужную десятиминутную стоянку. Вагоны, пассажиры, лущившие семечки и выплевывавшие из окон, красная фуражка начальника на платформе, старый генерал в отставке, прогуливавшийся вдоль вагона первого класса, прихрамывая на подагрическую ногу с таким видом, как будто поезд стоит для него, — все как бы говорило:

— Ну, что ж, подождать — подождем... больше ждали подождем...

К сдержанно шипящему паровозу подходят двое в засаленных картузах, в синих промасленных блузах, с запавшими рабочими щеками и темной от въевшегося масла, пыли и грязи кожей — один высокий, другой низенький.

— Никандру Алексеевичу наше вам почтение, — и приподняли картузы.

Машинист, кряжистый, раздавшийся, как будто ему было тесно в маленькой железной будочке, хмурый, с лицом в складках изношенной, дряблой кожи, тоже слегка подернутой налетом масла и копоти, ничего не сказал, отвернулся, взялся слегка дрожащей рукой за кран, и паровоз, точно прорвавшись, с озлобленной радостью, дрожа от нетерпения, зашипел так оглушительно, кутаясь в облаках пара, что бродившие поодаль куры со всех ног пустились к деревне.

Как бы удовлетворившись этим бешеным, все покрывшим, переполнившим платформу шумом, рука повернула в другую сторону, и в мгновенно наступившей зияющей тишине, в которой точно поплыла вся платформа, издалека, с весенних, пахнущих, необъятно зеленеющих полей, где происходило свое, донеслось тоненькое испуганно-звонкое ржание отставшего жеребенка.

Мать откликнулась коротко и спокойно. Тарахтели поскрипывавшие в осях и, должно быть, пахнувшие дегтем колеса.

Слесарь, переминаясь, сдвинул картуз на затылок, потом ссунул опять на лоб.

— К вашей милости, Никандр Алексеевич.

— Да это ты, Иван?

Хмурые, отвыкшие улыбаться складки поношенной кожи снисходительно шевельнулись.

— Я же, я... я... и есть... это — товарищ токарь.

— Откуда?

— Да грешным делом на праздничек урвались в деревню. Сами знаете... Опять же в конторе печенег-народ, билета, удавятся, не дадут... Сами ездиют бесперечь, а для нас так, как родить им. Сделайте милость, возьмите.

Машинист достал бумажный портсигар, нежно взял папиросу большим и мизинцем, обмял, закурил и стал пускать дым, глядя на кончик носа.

— Кабы не срочно, а то срочно... безотлагательно в депе кончить работу ко вторнику.

— Главное, срочно, — неожиданно тонким голосом, так не шедшим к его тощей длинной фигуре, неизвестно чему засмеялся токарь, с побежавшими вокруг глаз лучиками, и сразу опять стал серьезным, глядя в сторону, точно его все это вовсе не касалось, — длинный, серьезный, с потухшими лучиками.

Помощник машиниста, молодой, широкоплечий, со впалою грудью и такими же впалыми, густо занесенными угольной пылью щеками, повернувшись спиной, точно молча осуждая весь этот разговор, неодобрительно лил из длинной лейки масло в парившие тонко таявшим паром сочленения паровоза.

— Штрафуют нас, — хмуро выронил машинист и густо выпустил дым, скупясь на лишнее слово.

— Сделайте милость... Кабы не к сроку...

— Главное, к сроку, — засмеялся длинный с засветившимися лучиками и замолчал, и лицо опять стало длинное, костлявое, лошадиное.

— В поезде что же?

— Контро-оль! Спрашивали обера... Сами бегают, не знают, куда зайцев девать... Одного положили на скамейке, покрыли одеялом и велели сесть мужикам... Ну, он лежал, лежал, упарился, да как заревет боровом на весь поезд, публика с испуга кто куда... Смеху было...

Отчетливо трижды медно ударил колокол. Засвиристел обер-кондукторский свисток. Платформа опустела; только краснела шапка. Паровоз густым, низким голосом отозвался.

— Никандр Алексеич... кабы не срочно... срочно... будьте добры... мастер-то главный — собака, беспременно к штрафу...

Он торопливо спешил выложить, чтобы поспеть, пока не ушел паровоз, все слова.

— Ну, лезьте... да зайдите с другой стороны, чтоб не видать.

Они торопливо, искоса глянув на красневшую издали шапку начальника, обежали широкую, приготовившуюся к бегу, грудь паровоза, от которой несло жаром, и торопливо, цепляясь, как обезьяны, взобрались на площадку.

В мгновенно наступившей тишине паровоз тронул, густо с металлическим выдохом дохнул клубом белого пара и двинулся, со скрежетом раздвигая под ногами железо площадки. Побежала платформа, побежала назад земля, сбегавшиеся в одну пару рельсы; но далекие зеленеющие поля на краю под самым небом бежали вперед. Уже ветер побежал навстречу. Уже шпалы безумно неслись под ненасытно пожиравший их паровоз.

Неукротимый, клокочущий железный грохот тяжко метался, не отставая, над паровозом, то больно выделяясь в ушах отчетливым клекотом колес, то потрясая мозг, слух, задыхающуюся грудь лязгом сотен тысяч железных пудов.

На площадке было тесно, жарко, грязно от угля, крутились вихри вырывавшейся из-под колес пыли, — и люди, и железо, и уголь шатались, кидаемые из стороны в сторону.

Слесарь и токарь, оглушенные, с усилием удерживая под ногами со скрежетом ходившую площадку, цепко держались, прижимаясь к стенкам, все боясь помешать.

Машинист бегло глянул на водомерную трубку:

— Качайте, — и, выставив слегка голову под бешено несущийся навстречу воздух, глянул вдоль пути.

На секунду мелькнуло привычное: бесконечно вытянувшиеся по нити чернеющие рельсы, и все, что неслось вдоль них — березки, столбы, овраги, дальние поля, — все издали бежало медленно, но чем ближе — быстрее, быстрее, быстрее, в шумящем разорванном воздухе проносясь у паровоза, как и пожираемые им, сливающиеся в мелькании шпалы.

Машинист, все такой же хмурый, проговорил:

— У нашего деповского начальника, говорят, жена сбежала.

Но в железной будке, ни на секунду не слабея, с искаженной злобой, все покрывая, бешено метался грохот, и слесарь и токарь только видели, как шевелились под усами у машиниста губы.

— Ась?

Помощник сильными молодыми размашистыми движениями глубоко забирал железной лопатой уголь и кидал в разинутую топку, нестерпимо обдававшую ослепительным жаром и людей и железо.

Слесарь и токарь все жались и сторонились, но податься было некуда, и перед глазами шли красные круги.

Помощник с размаху захлопнул загремевшую мгновенно, потушившую красный блеск, дверцу, и люди легче вздохнули. Грохот метался.

— Тепло, — проговорил слесарь, чтоб поддержать разговор, но и сам не слыхал своего голоса. — Тепло, говорю, у вас! — закричал он диким голосом, поглядывая на всех.

Ему не ответили.

Помощник отирал со ставшего пепельным лица крупные капли пота, размазывая уголь, грязь и масло.

— Соблаговолите? — и слесарь осторожно потянул из кармана и, спохватившись, что не слышит своего голоса, опять закричал диким и заискивающим голосом: — Соблаговолите, Никандр Алексеич! — и снова потянул; из кармана полезло горлышко с красной печатью сверху.

Машинист бегло взглянул на манометр, на водомерную трубку, присел на крошечную откидную железную лавочку и закрыл глаза. Складки кожи на лице еще больше собрались, голова свесилась, и все осунувшееся тело слегка покачивалось от хода машины.

Помощник, наклонившись в окошечко, глядел на несшийся навстречу путь, и волосы на голове буйно рвались и трепетали.

Слесарь держал бутылку, протянув машинисту, недоумевая и находя неловким начинать без хозяина. Ему казалось, сквозь мечущийся грохот и гул он слышит, как тот подсвистывает мирно носом. Оглянулся на товарища, — тот так же покачивался, держась за скобку, со своим полуудивленным длинным лицом, думающим о своем.

Слесарь крякнул, хлопнул снизу ладонью — выскочила пробка. Запрокинув голову, торопливо проглотил несколько глотков.

— Угощайтесь, пожалуйста.

Но помощник попрежнему не оборачивался, и встречный ветер трепал его волосы.

Слесарь забывал и о грохоте, и о движении шатающегося паровоза, и только когда подымал глаза, поля летели мимо, и когда говорил, не слышал своего голоса.

Длинный тоже глотнул неуклюже и, играя кадыком, запрокинул голову.

— Вон, сказываете, у деповского жена сбежала. Да у меня у самого сбежала! — проговорил он, отдавая бутылку, и вдруг засмеялся, но сейчас же лицо опять стало лошадиным и длинным, а глаза красные и беспокойные.

Машинист открыл глаза, хмуро глянул на бегущий путь, как будто хотел сказать: «Знаю, знаю... как раз то, что нужно» — и отер лицо, точно снимая паутину усталости после минутной дремы, и складки лица чуть-чуть разгладились.

— Ну-ну, давай, что ли, — протянул он слегка дрожавшую руку.

— Соснули трошки, Никандр Алексеич? — и слесарь услужливо подал бутылку, достал из кармана и положил на бумажку соленый огурец.

— Да ведь по-лошадиному... разве это служба! — злобно играя мускулами черных от сажи щек, прогонорил помощник, — девятнадцать часов с паровоза не слезает... и почти что каждый день так.

Слесарь вдруг открыл секрет: не надо напрягаться и кричать в этом безустали дико-мечущемся грохоте, а только смотреть на лицо и губы говорящего — и схватывать с полуслова. Оттого машинист с помощником так странно спокойно, не торопясь, разговаривают.

— Да, вот как женишься, да будет дочь в гимназии, будешь и по двадцать девять не слезать с паровоза.

Но помощник, словно не желая продолжать, снова с грохотом распахнул железную пасть, уронившую на всех красный отблеск сжигающего жара, и стал напряженно кидать уголь, роняя с побледневшего лба капли пота.

— Убежала!.. Что ни делал, бил, вязал, за волосья возил по полу, — ни-и-чего: как будто не ее... опять возьмет и убегет...

Лошадиное лицо с тоской, с болью и изумлением обернулось и посмотрело на всех.

— Домик у вас на Воскресенской? — проговорил слесарь, хрустя откушенным огурцом и чувствуя, как в грохоте, в гуле, с лицом, окрашенным отблеском палящего жара, машинист спокойно и вкусно хрустит. — Под железной крышей, хороший домик.

— Вот он у меня где, этот домик, — машинист хлопнул себя по шее, — для него и живу, для него с паровоза не слезаю. Вон руки у меня уж трясутся, а мне всего сорок второй. Годов пять подержут, а там скажут: «До свиданья, слезай, наездился», а дом-то заложен.

— И бил и за волосья таскал — ни-и-чего!..

— Разве дома́ для нашего брата?.. Дома для нашего брата — камень и смерть. — Помощник, только что с железным стуком потушивший палящий жар захлопнувшейся топки, злобно запрокинул голову и жадно глотнул водки. — Наш брат должен быть вольный, как ветер в поле, куда хочешь, вот!.. А то — до-ом, гимназия!.. А почему?

Точно во всем был виноват слесарь, помощник повернулся к нему худым, со втянутыми щеками, постарелым лицом, нарочно, чтобы подчеркнуть его виновность, не закусывая после горькой водки и глядя злыми глазами.

И слесарь повинился и, сделав заискивающее лицо, проговорил:

— Действительно.

Должно быть, смягчил. У помощника лицо снова стало молодым, и было видно, что оно — голое и безусое; что-то мягко прошло по нему, точно сняло нагар, копоть и грязь, и глаза влажно подернулись ласковостью и грустью.

— На пасху прихожу в церковь, — он глядел куда-то мимо

слесаря, — а она вся в белом, цветы в волосах, тоненькая, как хворостинка... Я стою... пиджак на мне — коробом, цельную неделю мылся, не мог морду оттереть, въелось все... стою и не знаю, не то на алтарь молиться, не то на нее. А около нее гимназисты, студенты... куда уж нам!..

В первый раз за все время неподвижные складки каменного лица машиниста тронула улыбка, и оно стало иным, точно мягко глянул другой человек.

— Дочка — ничего, дай бог всякому... хоть в генеральский дом, не побрезгают...

Лицо помощника исказилось злой судорогой и опять постарело залегшей между искривленными бровями складкой.

— Думаете, долго вас железная дорога продержит? — руки вон трясутся... Выкинут, не беспокойтесь, а тогда ей... — и он закричал визгливо сорвавшимся голосом, — в проститутки?!

Машинист грузно, как каменный, пошатнувшись, поднялся:

— Нну!!. Т-ты!!.

Помощник на секунду закрыл ладонью глаза, потом схватил бутылку, и, быстро и жадно запрокинувшись, сделал три огромных глотка.

Слесарь сидел согнувшись. Холодный, пробирающийся страх охватывал, покалывая в пальцах. Как будто в первый раз увидел, что все пьют водку, что никто не смотрит на несущийся навстречу путь, что машина в грохоте, в дыму несется, слепая, ничего не видя, безумная.

Мелькают поля, проносятся березки, телеграфные столбы, а тут пьют и закусывают, как будто забыли о мелькающих навстречу рельсах, и сквозь грохот и мелькание слышится торопливое и предостерегающее: «клы-клы-клы!..» — голос сотни колес, которые неустанно и торопливо твердят позади: «Мы за вами... мы за вами... клы-клы-клы-клы...» — покорно и все одинаково.

Слесарь ненужно щупает вокруг себя как будто побелевшими глазами, хочет побольше вдохнуть, но не может и, хоть в чем-нибудь стараясь найти выход и смягчить положение, говорит, заикаясь:

— Она сама... то есть, знает дорогу... машина-то...

— А-а... чорт с ними... — и помощник злобно отмахнулся от кого-то рукой.

Тут, в виду этих спокойных каменно-темных лиц, в виду этой непрерывной, дьявольски-грохочущей, пышущей жаром работы, слесарь забывает про угрожающую ему самому опасность. Леденящий холод заливает мозг, когда он прислушивается: «клы-клы-клы». Полтысячи человек назади спокойно сидят, лежат, разговаривают, спят, смеются, ни о чем не думая, ничего не подозревая, а тут, шатаясь от безумной силы, оставляя после себя разорванный грохот и дым, несется машина, молниеносно работая сочленениями, несется слепая, темная, невидящая. Выпивают, закусывают огурцами... «клы-клы-клы-клы...» Несется к какому-

то темному, немому, черно разинутому оврагу, который жадно бежит перед самыми передними колесами, постоянно убегая, и о котором непрерывно твердит сотня покорно бегущих позади колес: «клы-клы-клы!..»

— Вон в прошлом году в разлив около реки пассажирский поезд на всем ходу, — впалое лицо помощника опять постарело искривленной складкой между бровями, — рельс и разошелся, поезд по уклону и пошел в воду. Машинист, молодой парень, — ему бы соскочить — уцепился, стал тормозить. Паровоз все глубже в воду, а он тормозит, да пар выпускает, чтобы не взорвало. Ну, остановил. Вагоны все целы, никто из пассажиров шишки не набил, а он очутился по горло в воде. Кричит. Ноги-то ему в воде тендером прижало. Ухватился за скобку, выставил голову; устанет, начнет опускаться, захлебывается, опять подтянется из последнего, выставит рот над водой, только слышно: «Братцы!.. братцы!..» А эти братцы спешат, выволакивают багаж, вещи из вагонов, дамы кричат: «Дети простудятся, дети...» кутают их, а тот дурак все свое: «Братцы, братцы!» Рабочие рассказывали, которых вызвали со станции, слеза прошибла. Под конец кричать перестал, выглянет из-под воды, только глаза одни, полные смерти, и опять скроется. Ну, что ж, на другой день достали, синий весь...

Он замолчал, не то мгновенный грохот пробежавшего под колесами мостика прервал.

— Да ты бы, говорю, пеленочки постирала, да хату бы подмела, да вечерять бы приготовила — знаешь, муж с работы вернется, с устатку поесть захочет, и все хорошо, и славно, а она убегёт!.. — и смотрят удивленные, растерянные глаза: так просто хорошо и счастливо можно устроить жизнь, и все так бессмысленно, ненужно, тяжело и трудно.

— Молодую взял, другую, для детей... девять человек их у него от первой жены, — пояснил слесарь, все так же съежившись, так же каждую секунду ожидая какого-то потрясающего, грохочущего удара и несчастья.

«Клы-клы-клы-клы...»

«Дети простудятся...» Так бы иной и пустил их всех под откос или с моста...

Помощник прибавил грубое ругательство и стал кидать в заблиставшую топку уголь.

Тесно, узко и душно на крохотной, со скрежетом то сдвигающейся, то раздвигающейся железной площадке; но просторно для усталости и измученности, и, казалось, еще хватит места для горя и тоски — потеснится все заполняющий грохот.

«Клы-клы-клы-клы... Клы-клы-клы-клы...»

Слесарь чувствует — измучился, истомился этим непотухающим ожиданием.

— Нет, у нас в депе лучше, — говорит он с извиняющейся улыбкой, — отработался, да и домой.

Машинист и помощник разом, как по команде, подымаются и глядят с обеих сторон в оконца.

— Я те... я те... а... эт... ваа...

Но несущийся навстречу ураган срывает и уносит слова, которые не разберешь; только видно, как грозит кому-то черным кулаком машинист; уносит и незакрытый переезд, и закинувшуюся от испуга лошадь, накренившуюся телегу, и на секунду мелькнувшую виноватую фигуру путевого сторожа.

И опять тот же грохот, тот же скрежет железной, ходящей под ногами площадки; так же тесно, грязно, удушливо, и пышет жаром, и кидает из стороны в сторону, и все дрожит и трясется безумной тряской неперестающего бега, и несется мимо ураган.

«Клы-клы-клы... клы-клы-клы-клы...»

Но теперь голос сотни бегущих позади колес клокочет спокойно, уверенно и покорно. Разинутый черный овраг пропал. Глубокий покой и уверенность разливаются по измученной, истомившейся ожиданием душе слесаря. То, что оба они, и машинист, и помощник, разом, не глядя на путь, поднялись именно там, где нужно, точно камень свалило. Слесарь почувствовал: за беззаботностью и равнодушием этих хмурых неподвижно-каменных лиц живет постоянное, ни на секунду не потухающее напряжение, от которого без усов приходит старость, и в сорок два года трясутся руки, и человек — развалина.

«Клы-клы-клы-клы!..» Ничего, машина знает свое, и люди знают свое...

Где-то в темной глубине их души неосознанно, вместе с бегом машины, ни на секунду не потухая, бежит навстречу полотно со всеми знаками, закруглениями, уклонами, будками, столбами. Даже сон весь наполнен этим неукротимым бегом и мельканием.

С обеих сторон проносятся широкие поля, сверкающий воздух, деревни, люди, животные, птицы и звуки со своей особенной ласковой неспешной жизнью, а эти двое с хмуро-темными лицами ничего не видят, не слышат и живут в тесной, узенькой, душной будочке, в урагане крутящейся пыли, жара и грохота, в непрерывном мелькании, непрерывном скрытом напряжении, что бы они ни делали; и так сутки, недели, годы: так вся жизнь, будто нет другой жизни.

«Клы-клы-клы-клы...»

Машинист то взглядывал на несущийся путь, то на водомерную трубку, то присаживался и на минуту заводил глаза, узким белком глядя из-под незакрывшегося века.

Помощник кидал уголь, качал воду, тоже взглядывал на беспрерывно пропадающие под паровозом рельсы, присаживался к бутылке, — и, шатаясь и кутаясь в грохоте, неслась слепая машина.

Слесаря стало одолевать. Сидит он на корточках, тесно и неудобно, и вдруг все поплывет, мягко и грустно, и мучительно

хочется лечь и опустить голову, и где-то далеко, далеко слабо и ласково бежит замирающий клекот колес: «клы-клы-клы-клы...»

И вскинется:

— А?

Тот же грохот, и теснота, и буйно кружится угольная пыль.

Слесарь встряхивает головой, избавляясь от дремоты, взглядывает на пустую бутылку и говорит, ухмыляясь:

— Еще есть... запас, — лезет в карман, и оттуда не спеша вылезает горлышко с красной печатью.

— Будет, — хмуро говорит машинист.

Слесарю хочется сделать или сказать ему что-нибудь приятное в благодарность за то, что взяли, и еще за то, что освободили от давящего ожидания и страха.

— Вам бы, Никандра Алексеич, какую ни то другую работу взять. Чижало уж очень тут. Вон, надысь купец Корытин искал машиниста — мельница у него паровая. И жалованье хо...

Осекся. Машинист страшно задвигался, и сквозь неподвижно-пепельные черты тяжело пробивалось волнение.

— Будет те молоть-то... балабола... дай-кось сюда.

Взял бутылку и проглотил много, как воду. Смутный румянец лег на пепельную кожу. Он передохнул, и как бы вдавливая воспоминания назад, крепко и широко потер лоб.

— Нельзя мне... нельзя мне, — заговорил он, подавшись, — не могу бросить... Вот в этом самом... в этом самом паровозе человека я сварил!..

Он поглядел вокруг себя, точно ища чего-то, и все так же тяжело и сдерживаясь дыша.

Слесарь не знал, как ответить, крякнул и тоже потянул из бутылки.

— В депо поставили паровоз в ремонт. Слесарь был, вот так, как ты...

— Ну так, понимаю... — слесарь утвердительно мотнул головой.

— К рождеству. Каждый старается загнать лишнюю копеечку.

— Известно, к празднику-то.

— Вот и он... работал день и ночь не в очередь... спал часа по два в сутки. Глянешь, а он белый, и ноги, как мочало. «Кончаю, говорит, Никандр Алексеевич», сам улыбается, устал, стало быть. Потом нету его, ну, думаем, ушел домой, кончил. Велел я помощнику воду пустить, затопить. Затопили. В депо стук, гром, разве слышно?..

— Где уж!..

— А он, слышь, залез в котел кончать да и уснул, устал...

Машинист глядел, раздув ноздри, трудно дыша.

— Гляди, бился, кричал, где уж слыхать, — проговорил слесарь, чувствуя, как хмель слезает с него.

— Две недели в пути были, ходили с поездами. Баба его все в депо ходила, все слезы проплакала — нету мужа, куда ушел.

никто не знает. Праздник прошел, а его нету. Ну, вернулись опять в депо через две недели, выпустили воду, полезли в котел, а там... косточки бе-елые... одни косточки, ни мяса, ни одёжи, ни глаз, ни хряща... бе-елые... одни косточки...

Он наклонился, дыша в самое лицо, глядя широкими неподвижными глазами.

Все четверо помолчали, нечего было прибавить, точно постояли над свежей могилой с непокрытыми головами; только грохочущий гул ревел и метался, куда попало, длинный, слепой и, должно быть, косматый, отпевая свою железную воющую панихиду, всегда одну и ту же, такую простую и такую непонятную и загадочную людям, и сквозь него спокойно, уверенно и покорно:

«Клы-клы-клы-клы...»

Помощник, искоса и хмуро глянув на рассолодевшего, опустившегося, плескающего в дрожащей руке водку машиниста, делал теперь сам все.

— Не уйду я отсюда... не уйду, покуда не прогонят, али голову сложу, не уйду от его могилки. Давали курьерский водить, да на другой паровоз надо, нет, не могу...

— Я то и говорю, то и говорю, — бросил помощник, — убью без следа и следствия... камня на камне от башки твоей не оставлю... ей-богу!

— Убьет!.. Он убьет,—такой!..—подтвердил спокойно слесарь.

Поражая слух даже среди грохота несущегося поезда, заревел паровозный гудок. Помощник, глядя, наклонившись, в окно, тянул веревку, и белый пар клубками бурно рвался над свистком. Загремели колеса на переходе, мелькнула стрелка, другая, проплыл семафор.

Машинист поднялся. Безразличное, хмуро-равнодушное выражение село на серое лицо. Положил руку на регулятор, глядя на бегущую навстречу водокачку и платформу... Станционное здание... красная шапка на платформе. Земля, вся запорошенная углем и исчерченная рельсами, шла мимо тише и тише. Вагоны, навалившись друг на друга, толкнулись, звеня буферами, — поезд стал...

Двое, тщательно спрятав пустые бутылки, слезли с паровоза.

— Покорно благодарим. Счастливо оставаться, Никандра Алексеич! — и пошли по путям, не оборачиваясь и о чем-то разговаривая.

Публика суетилась на платформе, потом успокоилась. Гуляли вдоль вагонов, иногда подходили к паровозу, глядели на его отдельные части и слушали, как, сдержанно подавляя бунтовавшие внутри силы, дышал. Глядели на этих спокойных, с серыми равнодушно-каменными лицами людей, спокойно делавших в будочке что-то свое, важное и недоступное другим.

Впрочем, паровоз был, как все паровозы, и отличался только номером: 314-Б.

НА БЕЛОЙ ГОРЕ

I

Это была высокая белая гора.

Она отвесно смотрела прямо в воду. И там от ее подошвы, опрокинувшись вниз, уходила в бездонную глубину такая же белая отвесная гора. Но это бывало только в ясную спокойную погоду, когда в неподвижной реке отражалось и голубевшее небо, и ослепительное солнце, и белые нежные облачка.

В ветреный же день вся река серебрилась, как рыбья чешуя, и в ней ничего не отражалось, — ни небо, ни облако, ни неподвижная белая гора.

А когда приходила буря, и тучи, черные и лохматые, низко неслись над водой, гнулся камыш и ровно и сердито шумел встревоженный лес, река чернела и однообразно шла в одну сторону ровными темно шумевшими валами, и их говор и шум стоял всюду, подымался даже до верхушки горы и заглядывал и проникал в маленькие темные окошки небольшой, стоявшей на самом краю, хатки. Снизу она казалась крохотной и чуть белела.

Каждый раз, как за дальним лесистым поворотом реки начинало белеть просыпающееся ночное небо, из избушки выходил коренастый, небольшого роста мужик с заросшим лицом, корявыми от ветра и воды узловатыми руками, похожими на старые отмокшие в воде коряги.

А за ним, сладко потягиваясь, зевая, борясь с детской утренней дремотой, выходил мальчуган, лет десяти, туго подпоясанный веревкой, босиком, несмотря на предутреннюю свежесть.

Они несли весло, отточенные крючья, проваренные в отваре дубовой коры веревки и спускались по узенькой, лепившейся по отвесной стене извилистым карнизом, тропке.

Далеко внизу, как игрушечные, чернели лодки, серебрилась река и лизала прибрежный белый камень. Итти надо было очень осторожно, шаг за шагом, иначе оборвешься и через несколько секунд будешь лежать у самой воды. В предрассветно-сумереч-

ной мгле плохо видна тропка, но ноги привыкли верно и точно ступать.

Вот и вода. Тихонько и ласково, она моет белые камни и все больше светлеет. Уже открылась гладью до того берега: к самой воде там свесились кусты.

Две пары ног упираются в камни: черная, круглая, долбленая лодка, скрипя, ссовывается с берега и через секунду всплывает и колышется, как живая, на вольной воде.

— Якорек-то захвати.

— Тут, положил.

Они садятся в нее, живую и зыбкую, до того зыбкую, что малейшее движение выводит ее из равновесия, и она каждую секунду норовит хлебнуть бортом. Но как на тропке сами ноги, помимо сознания, точно и верно ступали, так в этой лукавой, вертлявой и хитрой «душегубке» сами тела совершенно инстинктивно сохраняют постоянное равновесие.

Весело, мерно и сильно буравит весло светлеющую воду, и от долбленки торопливо убегают, далеко расходясь, два стекловидных жгута. Назади гора отходит, впереди все ближе другой берег со свесившимися кустами.

Нос долбленки со скрипом въезжает в мокрый песок. Летят белые чайки, хорошо выспавшиеся за ночь. Из кустов, из лесу, который придвинулся к самому берегу, несутся утренние птичьи голоса. Каждый звук далеко разносится, живой и ясный.

А уже за лесистым речным поворотом пылает заря. И для птицы, и для зверя, и для человека начинается трудовой день.

Мальчуган торопливо соскочил с лодки, придерживая ее. Сошел и мужик. Влажный скрипучий песок остыл за ночь, и мальчуган, пожимаясь и оставляя следы босыми ногами, бегал и собирал развешанные на кольях и просохшие за ночь сети.

Мужик достал из воды плетеную корзину, и в ней мелким живым серебром бесчисленно билась мелкая рыбешка. Корзину он привязал к лодке и опустил в воду. А мальчуган положил целую гору сетей на носу. Снова сели, оттолкнулись и принялись за работу.

Мужик сбросил якорек, сделанный из камня и сучьев, и, стоя на живой, шевелившейся под ногами долбленке, перебирал быстро уходившую за якорем в воду веревку, а мальчуган, стиснув зубы и напрягая все силы, гнал лодку, работая веслом.

Наконец веревка вышла вся, и мужик сбросил в раздувавшуюся и брызгавшую кругом воду привязанный к другому концу якорь и поплавок из сухой, пустой внутри, тыквы. Длинная веревка легла по дну почти поперек всей реки.

Тогда оба сели и, перебирая мокрую, дрожавшую от течения и уходившую в воду в обе стороны веревку, стали привязывать к ней на крепких суровых нитках остроконечные крючья, а на крючья насаживать судорожно бившуюся мелкую рыбешку.

Уже солнце поднялось и побежало длинными лучами и по свет-

лой реке, и по верхушкам зашептавшегося леса, и по белой горе, а они, нагнувшись и чувствуя, как тепло пригревает спины, без отдыху работали. Наконец дошли до другого конца и сбросили веревку, сейчас же ушедшую со всеми крючьями в воду.

Потом отъехали и стали ставить сети. И, когда кончили, совсем разгорелся жаркий день, и палило солнце и блестело в стеклах избушки на горе.

— Полудновать надо.

Мужик погнал лодку на ту сторону, где был лес.

— Есть хочется, — проговорил мальчуган, у которого от голода и усталости втянуло щеки.

Он выскочил на берег, живо набрал хворосту, и под треногой весело затрещал костер, а с треноги на проволоке свешивался черный котелок, и в нем вскипала уха.

— Батя, отчего такое, как по нашей горе идешь, стукнешь ногой об землю, а оно: бу-умм... как в пустое ведро.

Отец молча носит дымящуюся уху деревянной ложкой, и лишь слышно, как губы с шумом вместе с горячей ухой втягивают воздух, чтоб не обжигаться.

— А так, — говорит он, кладя ложку и вытирая заскорузлой, корявой рукой бороду и усы, на которых насели крошки хлеба, — так: мы думаем, что мы с тобой тут только одни, и больше никого, пусто, ан тут много всяких народов жило, царства были.

Он опять черпнул ложкой уху и стал громко схлебывать ее вместе с воздухом.

— Целые царства были. Которые погибли, которые разбрелись, а которые ждут свово время... оттого ударишь, а в горе пусто.

— То-то река кажный год подмывает гору, а там кости.

И втягивая с ложки уху, мальчик покосился на ту сторону реки.

Огромная стена, заслонившая полнеба, ослепительно белела в солнечном свете, и такая же белая отраженная громада чуть шевелилась и колебалась в воде, когда пробегали стекловидные морщины. Эта молчаливая белая гора, такая безлюдная и знакомая, вдруг населилась, стала таинственной и как будто чужой.

Было почти жутко, но кругом стоял яркий солнечный блеск, в котором тонули и тихие заводи, и песчаные косы, и голубевшая от неба водная даль. Чернела долбленка, и, как бородавки, на светлой поверхности плавали поплавки от «переметов». Белые чайки, как подхваченные листки белой бумаги, косо переворачиваясь, летали над водой, и крик их, странный, почти кошачий, носился над рекой.

— Ну, будет, — проговорил мальчуган.

Кончили, вымыли котелок, прибрали и снова принялись за работу.

Полуденное солнце стояло над лесами, над горами, над ослепительно сверкающими водами и беспощадно жгло спины, руки, шеи, головы нагнувшихся над водой мужика и мальчика; а они

болтались в воде, тянули сети, ставили свежие переметы, обирали с них попавшуюся на крючья рыбу, пот лил с их загорелых лиц.

Долог летний день и весь наполнен напряженной неустанной работой. Только когда покраснеет солнце и станет заходить на другом конце реки за дальние синеющие горы, рыбаки, поставив последние сети, плывут домой, и по дремлющей, остывающей от утомительного дневного зноя, гладкой, как зеркало, реке лежит от горы огромная, все покрывающая, сумеречная тень.

Усталые, они подымаются по тропке, а на горе вся избушка еще залита лучами засыпающего солнца, и стекла блестят, как расплавленные.

— Сенька, приготовь-ка котел, завтра вываривать надо, — говорит отец.

Пока Сеня возится с котлом, в котором завтра будут вываривать веревки и сети в отваре дубовой коры, чтоб не гнили от постоянной мокроты, сумерки тихонько покрывают и засыпающую реку, и молча темнеющий на той стороне лес, и болотистый луг за ним, с тусклым блеском мочежин и озер, по которому, как вечер, бродят белесые молочные туманы, разнося хворь и лихорадки.

В темной глубине реки зажглись звезды.

Старая, давно знакомая картина, к которой так привык Сеня, но сегодня он торопливо, боязливо оглядывается перед этой наступающей летней ночью. Слова отца придали особый смысл, значение и этой горе, и пустому полю, всему изрытому оврагами, которое тянется отсюда неведомо куда, и курганам, одиноко и смутно синеющим на нем.

Мальчик старается осторожно ходить, чтоб под ногой как-нибудь не зазвучала пустота, точно боясь разбудить неведомую, спавшую, а может быть, бодрствующую жизнь, которая вот-вот даст о себе знать.

Чтоб подбодрить себя, запевает:

Выбе-е-га-а-а-ла ло-о-одо-о-о-чка-а...
Вы-бе-е-га-ала-а из-за бе-е-ла-а ка-ам-ня-а-а...

А уже совсем ночь. Уже нет неба, а только мириады шевелящихся в черноте звезд. Уже нет реки, леса, болот, а только глубокий черный провал. И смутно все кругом, и все то же, и как будто незнакомо и таинственно.

Из-за-а бе-ела-а ка-амня-а-а...

— Сенька, ложись. Завтра опять тебя не добудишься.

Они укладываются спать у избушки на разостланном по земле камыше, у самого края горы, так, чтоб завтра, только что посереет небо, открылась и река, и тот берег с нависшими кустами, и чернеющие по водной глади поплавки.

У мальчика в сладкой дремотной истоме заводятся веки; изредка он встрепенется, откроет глаза, — с поля несется звон кузнечиков. Тихо и смутно: наперебой мерцают звезды. И все кажется, будто кто-то идет... Никого нет.

II

День идет за днем.

Раз в неделю приезжают скупщики, забирают рыбу и оставляют за это очень мало денег. Надо итти в соседнюю деревню, покупать хлеб, припасов.

На хлеб и припасы отец отпускает гроши, а все копит, и когда соберет несколько рублей, пешком идет полдня до слободы, где почтовая контора, и отсылает деньги домой — в далекую деревню, где бьется голодная семья.

Не помнит ее Сеня. Плохо помнит и мать свою. Помнит он большой город, громадные дома по бокам узких, как коридоры, улиц, чадную, жаркую от плиты кухню. Мать с красным потным лицом мечется от стола к плите, от плиты к столу; а на плите что-то шкворчит, жарится, кипит и сбегает пеной на огонь. Мать сердитая, то и дело дает ему подзатыльники, когда он попадается под ноги: «У-у, ты, постреленок, через тебя нигде не держат!..»

Сенька был тогда маленький, бледный и худой. В кухне было очень скучно и душно, и хотелось итти на улицу играть, да не с кем было.

Иногда мать собирала свои узелки, брала его за руку и, утирая покрасневшие глаза и сморкаясь в угол платка, уходила.

Тогда они жили в каком-то подвале, сыром и темном. Через некоторое время мать опять брала его за руку, собирала узелки и шла жить в другую кухню в таком же большом доме, где также было жарко, душно и горько пахло пригорелым маслом.

Потом пришел откуда-то отец с другими детьми и увез всех в деревню. В деревне все очень голодали. Потом отец взял Сеню, и они долго бродили, где прося милостыню, где работая, пока, наконец, не пришли к этой реке и не стали ловить рыбу. Тут они уже пятый год.

Летом было хорошо и весело, а осенью скучно и дождливо, и осенью плохо ловилась рыба.

Но всего тяжелее было зимой. По всей реке лежал тогда толстый, крепкий синеватый лед. Надо было его пробивать тяжелым железным ломом и спускать сеть с отдушины под лед. Невыносимо холодная вода, когда вытаскивали мокрые сети, намерзала на рукавах, пальцы сводило судорогой от холода. А по реке жгучими струйками тянул морозный ветер сухой мелкий снежок. В избушке было холодно и чадно, а по ночам приходили волки, садились недалеко и выли на снегу подолгу и жалобно.

Всю зиму Сеня только и мечтал о том, как придет весна, побегут ручьи и тепло пригреет солнышко усталую иззябшую землю.

Так уходили год за годом.

Трудно было рыбакам спускаться каждый раз и влезать на высокую гору по узенькой, лепившейся по обрыву, тропке. Но поселиться на другом берегу, близко от воды, где бы так удобно было для работы, нельзя было. В лесу стояли топкие ржавые

болота, и как только спускался вечер, вставали белые туманы и бродили под деревьями, между камышами, стлались над ржавой стоячей водой и тянулись тающими, изменчивыми, призрачными змейками. И если встречали ночью спящего человека, клубились и вились около него белым клубком, и с тонким комариным пением впивались злой лихорадкой. После этого человек долго таскал с собой лихорадку, худел, желтел.

Такая беда приключилась с отцом Сени. Весною, когда особенно хорошо ловилась рыба, он остался на ночной лов, и целую неделю провел на том берегу, каждую ночь отсылая Сеню на гору в избушку.

Рыбы набрал много, но сам заболел. День ходил, работал бодрый и здоровый, а день валялся в жару и ознобе, и его так трясло, что всю одежду, которую навалил на него Сеня, подкидывало. Исхудал, пожелтел.

Мальчик не знал, что делать. В дни, когда отец лежал, он сам справлял всю работу, как это ни было тяжело: ставил и вынимал все сети, обирал с крючьев рыбу, насаживал наживу, отваривал сети и веревки в дубовом отваре. Сеня тоже осунулся и похудел от непосильной работы.

— Батя, что теперь делать нам? — говорил мальчик, глядя на его исхудалое, красное от жара лицо.

— Постой, сынок... поправлюсь вот.

А самого трясло под кучей одежды, и никак не мог согреться.

А тут пришли дожди и стали лить с утра до ночи, а ночью дождь стучал по стеклам и шуршал по камышовой крыше. Отец лежал под тулупом; мальчик сидел перед печуркой, где потрескивал огонек и вскипал чайник. Тоненько пела коптящая жестяная лампочка.

Что-то зашлепало по мокрой грязи и по лужам снаружи. Мальчик прислушался: только шумел дождь, — и он опять стал следить за чайником. В голове бродили невеселые думы.

Опять зашлепало, потом кто-то стукнул в дверь. Мальчик весь, как пронизанный, выпрямился и насторожился.

— Кто там?

Но кто мог в такую погоду ночью забраться сюда? Никогда тут не бывает прохожих, да и дороги идут стороной.

— Кто там?

И вдруг страх, холодный, подымающий волосы страх, охватил его: что если это выходцы из того царства, которое когда-то тут было, выходцы из пустоты, которая так звонко отдается в горе?

Мальчик бросился к отцу и прижался:

— Батя, боюсь!..

А в дверь гремят и голос: «Отоприте... впустите в хату...»

— Батюня, боюсь!.. Ой, боюсь, это из горы вылезли человеки!

Отец с усилием поднял голову:

— Будет тебе, дурачок... пойди отопри...

— Ой. боюсь... Ой, батя. это человеки...

Дверь с треском распахнулась, с оторванным крючком; глянула чернота шумевшей дождем ночи, и вырисовалась неуклюжая приземистая фигура в тряпье, с которого ручьями сбегала вода.

— Али пропадать на дожде, что не отворяетесь? — проговорил вошедший, притворяя за собой дверь.

— Мальчонку напугал, — проговорил отец и бессильно опустил голову, натягивая на себя тулуп. Ему было все равно, что ни происходило в хате.

Когда мальчик увидал, что на вошедшем обыкновенная рваная одежда, что с него сбегает дождевая вода и все больше и больше растекается темной лужей по земляному полу, он успокоился. Он теперь знал, что это — обыкновенный человек, а не из горы вылез.

— Дайте погреться чаем, что ли, вишь, насквозь промок!

— Да ты откуда?

— Заблудился, — нехотя проговорил человек, снял с себя рубаху и стал выжимать в углу.

Мальчик налил в жестяную кружку кипятку, настоенного вместо чая на березовых почках и молодых листьях.

— Сахару у нас нет. Когда выменяем на хуторе на рыбу меду, а теперь батя — больной, некому сходить, а мне недосуг.

— И без сахару хорошо горяченького: продрог, — и он шумно втягивал дымящийся кипяток.

Долго стояло молчание в хате. Шумел за черными окнами дождь. Тоненько коптила лампочка, да шумно вбирал в себя обжигающий кипяток пришедший.

Отец отвернул тулуп и, склоняя то в одну, то в другую сторону истомленную, покрытую испариной голову, проговорил запекшимися губами:

— Сеня, дай-ка испить горяченького, все нутро сожгло.

Мальчик торопливо налил кипятку и подал больному.

Тот взял дрожащей, неслушающейся рукой и стал прихлебывать запекшимися губами.

— Откуда, добрый человек, будешь? — проговорил он, когда несколько отдышался.

— Где был, там нету.

Опять водворилось молчание, да просился в черные окна, расплываясь, дождь.

— Где бы у вас лечь? Устал.

— Дать-то тебе покрыться нечем, вишь, на мне вся одежонка. Вон в углу камыш, на нем и ложись.

— Отлично. Тряпье мое, почитай, просохло на мне.

И он завалился в углу на затрещавший камыш, и через минуту в хате стоял храп крепко спавшего человека.

Мальчик сел к столу точить крючья на завтра.

Надо было наточить штук двести. Глаза слипались, и в голове, путаясь, плыли разные мысли. Почему-то он вдруг успокоился

насчет горы. Этот человек, так таинственно среди ночи пришедший, как бы служил живым доказательством, что даже и ночью и таинственно люди приходят не из горы, а оттуда, с воли.

Мальчик повел глазами на отца, тот не спал.

Тихонько, шопотом:

— Батя, а, батя?

Тишина, скучный шум за окнами и неперестающий храп в хате.

— А, батя?.. Что за человек будет?

— Кто ж его знает... Проходящий, а какого звания, неизвестно.

— Може, лихой? Може...

— Точи, точи, сынок, спать надо, завтра тебе сердяге опять одному маяться, — вишь, я какой.

— Може, он нас придушит ночью?

Отец ничего не сказал, отвернулся и стал смотреть в черный, низко над самой кроватью тянувшийся з закоптелыми досками потолок.

Повизгивает напилок. Один за одним откладываются в нарастающую кучку крючки с остро отточенными, сверкающими на огне лампочки остриями. Слипаются глаза... Спать хочется...

III

Утром, когда мальчик проснулся, стало сереть в мокрых от дождя окнах. В печурке уже потрескивал огонек, и вчерашний гость суетился, наставляя чайник.

— Собирайся, собирайся, сынок, пора на работу, да выпей чайку, вишь, добрый человек огонек вздул.

Мальчик быстро вскочил, хлебнул кружку горячего кипятку и, забрав крючья, вышел. Холодной сыростью охватил серый дождливый рассвет.

В полдень поредели тучи, даже разорвались в одном месте. Солнце скользнуло в прорыв лучом, и заиграл озолотившийся в одном месте лес, расплавилась золотом река, и блеснули на горе стекла избушки.

— Се-ень-ка-а-а!.. — донеслось из-за реки.

Мальчик поднял голову: кто бы это был? Некому звать-то. Отец больной лежит.

— Се-енька-а-а!..

Теперь уже явственно доносилось из-под горы, и кто-то у самой воды махал руками.

У мальчика стукнуло сердце, — чего ему надо? Может, с отцом что-нибудь сделал? И что за человек, неизвестно, и не говорит о себе.

Сеня все-таки бросил сети и погнал лодку к горе. У берега действительно стоял вчерашний гость.

— Вишь, скучно там... — проговорил он, прыгая в лодку, когда она стукнулась о берег, — делать нечего.

Они вместе поехали к сетям, вместе работали, и мальчик много смеялся над неуклюжестью и неумением парня. Сварили уху, пообедали. Воротились только к ночи.

Отец попрежнему лежал и трясся под тулупом в лихорадке. Сварили опять березового чаю и стали пить вместе под шум снова принявшегося дождя.

— Издалека ли, милый человек? — спросил отец, откинув тулуп, когда приступ лихорадки ослабел.

Гость почему-то рассмеялся.

— Из теплых из самых мест, — проговорил он, скаля зубы, — из города, а в городе из босяка.

— Так!.. — протянул отец.

Мальчик смотрел на обоих не понимая.

— Во, в босяке третий год, — проговорил опять парень, и рябое лицо его стало жестко и скучно.

— Почему так?

— Сам знаешь, город не любит, которые без работы: зараз либо в босяк, либо в острог, чтоб господам на улице не мешался.

— Как не знать?.. Знаю.

Сеня плохо помнил город, но ему почему-то вспомнилась чадная, жаркая кухня с пылающей плитой, измученное, красное от огня лицо матери, которая то и дело раздавала ему подзатыльники, злобно приговаривая: «У-у, постреленок! Из-за тебя нигде не держат...» И как она собирала узелки и, плача и сморкаясь, вела его по шумным, узким, с высокими домами по сторонам улицам в какой-то темный затхлый подвал, где они жили до следующей чадной, душной и жаркой кухни.

И у него разом установилась странная и ему самому непонятная близость к этому рябому парню.

— Пакеда работа была, пакеда надрывался над ней, жил, а как привалила из голодающих деревень сила, тут и работы нехватило на всех, пришлось итти в босяк. А в босяке, известно, одно: либо милостыню собираешь, либо воруешь.

Долго они разговаривали с отцом, и сквозь набегающую клонящую дремоту, никак не справляясь со слипающимися глазами, Сенька слышал отдельные слова: «в городе... все одно... деревня... с голоду... острог...», пока, наконец, не заснул сладко и без сновидений.

IV

На другой день приехали скупщики и забрали рыбу. Мальчик принес отцу пять рублей тридцать две копейки. Тот внимательно несколько раз пересчитал их на дрожащей руке, велел завязать в тряпку и положить в угол за икону.

Рябой парень все время внимательно следил и долгим взглядом проводил завязанную в узел тряпку, когда мальчик клал ее за икону.

На другой день гость из хаты исчез. Когда проснулся мальчик, он увидел отца, сидевшего на кровати и как-то странно водившего рукой.

— Слышь, нет его... ах, ты!.. Скорей, Сенька, скорей за икону-то, деньги-то... ах, ты!..

Мальчик с тревожно бьющимся сердцем полез в угол, достал тряпку. Развязали, деньги были целы.

— Погрешил на человека... погрешил. Почему такое ничего не сказал, ушел, ничего не сказал...

Прошла неделя. О госте и забыли. Сеня все время сам возился на реке, а отец лежал, съедаемый изнурительной лихорадкой.

Снова, как и тогда, отворилась вечером дверь, и на пороге показалась знакомая фигура парня. Он весело скалил зубы:

— Слышь, будет хворать-то! В слободу ходил, думал, работишка какая попадется, ничего нету. Заглянул к доктору, лекарства тебе принес. Го-орькое! Цельную неделю велел пить на воде.

С утра стал принимать больной хину, и разом оборвало лихорадку. Дня через три он уже спустился с горы и работал с сыном.

— А я, братцы, пойду, — говорил как-то утром парень, — пойду в деревню, теперь покос, може, пристроюсь. Спасибо за хлеб, за соль, за привет.

Долго смотрел Сеня, как шел он по полю, потом побежал за отцом, спустился по тропке, — и опять река, сети, переметы и белая хатка на высокой белой горе...

СТАРОЕ

Курени, длинно вытянувшись вдоль беспрерывно подмываемой дороги, жмутся к самым садам, которые, цепляясь, обрывисто всползают по береговым откосам до самого верху. А там — голая, бескрайне выжженная степь.

Недреманно режут светлые воды красный глинистый яр, то и дело с шумом рушащийся, и серая, пыльная изъезженная дорога на самом краю его испуганно жмется к плетням.

Курени и сараи лохматятся старой, почернелой соломой, а дворы, в противоположность казацкому обычаю и широкому степному размаху, — маленькие, тесные: все съедает батюшка тихий Дон, подмывая вершок за вершком, сажень за саженью, прижимая к самым зеленеющим по откосам садам, куда куреням карабкаться уже невмочь.

За Доном — вербы над водой, а за вербами, сколько глаз хватает, — бесконечный луг, рыжий, сухой; выгоревший, давно выкошенный, а за лугом, на самом краю, смутно сияет, как золотая звездочка, крест — станица.

Спокойная река тихий Дон Иванович, — старая спокойная река, — и все улыбается добродушно, чуть насмешливо, по-стариковски.

Улыбается кудрявыми облаками, которые как упали, так и белеют на дне, чуть шевелясь, и рыбы ходят с удивленно-круглыми глазами. Улыбается голубым небом, которое тоже все там, внизу, в живой, чуть играющей прозрачности. Улыбается ленивыми песками, белыми, рассыпчатыми, которые всего пересыпали, и куры бесконечно бродят здесь.

Ходят тут иногда и пароходы, возят пассажиров, таскают скучные пузатые баржи с хлебом. Но не любит утруждать себя старик. К середине лета, когда словно седой, весь разляжется белыми песками, глядь, то и дело на отмели обсушивается на боку пароход.

Матросы без штанов ловят бреднем рыбу, раков; капитан с пассажиром первого класса пьют коньяк и о чем-то глубокомысленно молчат; а палубные пассажиры — которые храпят нав-

вничь с раскрытыми ртами, с красными лицами, которые играют в карты в «носы», в «три листика», а которые, усердно потея, добиваются прохлады водочкой и чайком.

Иные, отоспавшись, выиграв или проиграв и бессчетно выпив чаю, не спеша спускаются на берег.

— Пойтить, видно.

Но для очистки останавливаются.

— Что, братцы, долго, видать, будем стоять тут?

Матросы, напряженно согнувшись, глядя на воду и сверкая белыми ногами, тянут бредень.

— Соменка упустил... Тебе говорят, забредай из глуби, забредай из глуби...

— Да ты свой-то край не подымай! Гляди, под бредень ушел.

— Под бре-едень!.. Рот раззявил! Чистый егузиил!

Вытряхивают бредень, и на песке серебристо трепещет мелкая рыбешка.

— Сказываешь, простоим сколько?

Матрос прикладывает руку козырьком и для чего-то смотрит на солнце.

— Да дён пять, гляди, простоим, а то и всю неделю.

— Прошлое лето об эту пору месяц стояли, — говорит другой, собирая рыбешку в ведро.

— То-то, думаю, пойтить, помаленечку и дойдешь.

И, вскинув сумочки, идут бережком группами по два, по три человека, степенно рассуждая о чем-то.

А старый искоса ухмыляется и пропадает бесконечными поворотами, белея песчаными отмелями среди пустой, выгоревшей степи.

Над степью копчик трепещет, точно повис на невидимой нити; кругами плавает коршун и глядит вниз, на свою, плывущую по шершавому полынку тень, да солнце — высоко, неподвижно горячее, ослепительное, и трескается иссохшая земля, и веки смежаются узенькой щелочкой. А по иссохшей, как камень, земле бродит красный скот и делает вид, что пасется.

Вечерами, когда уйдет жар, потухнет закат, все благословляет благодатная прохлада. Тихонько стынет тихая, мягкая темнота.

Со степи тянет запахом чебреца и полыни. Унывно и тонко отовсюду поют комары, много их.

Тих и дремотно задумчив старик Дон.

И, обогащая ночь живым человеческим звуком, плывет песня.

Нет, не песня, — ни слов, ни произносимого содержания, ни мотива...

— Э-э-э... о-э-э-о... о-о-о...
да э-э-э... а-а-а... о-э-э-э...

Просто душа раскрылась и тянется к этому молчанию, к этой тихой задумчивости, мигающей в водной темноте звездами, к этой беспредельности, ибо нет у нее слов, нет слышимого языка, а есть

лишь воспоминания, далекие, смутные и, как всякое воспоминание, подернутые грустью.

— Должно быть, едет на каюке по черной воде казак, мерно и редко гребет веслом, — либо на реке ставил вентеря и крючья на перемете смотрел, либо с лугу коня искал, — гребет и отдает этой тихой, темной, задумчивой ночи смутные, неясные, самому ему неведомые воспоминания.

О чем?

Не о том ли, как столетия назад, вот в такую же темную, тихую, задумчивую ночь по черной воде плыл на каюке казак и пел: «Э-э-о-э... э-о-э-э...», а в густых зарослях, на лугу, таились и следили хитрые кумыки, ногайцы, беспощадные татары, косоглазые калмыки, а на другом берегу мирно спали в темноте станицы, хутора, сады?

Нет, и предания о том погасли.

Не о том ли, как пришли на пустынные берега, когда не было ни станиц, ни хуторов, ни садов, вольные люди, не стерпевшие рабства, но не сумели в привольных степях зажить привольно?

Нет, самая память, откуда взялись, пошли казаки, вытравилась...

Как и у других на хуторе, двор старика был тесен и узок.

Двухэтажный деревянный курень на пригорке глядел на реку, на пропадавший в сухой мгле бесконечный луг, на сияющую на самом краю звездочку креста. Старик выходит на крылечко и, приложив руку козырьком, тоже глядит на старую реку, на луг, на звездочку.

Он высок, широкоплеч, старинная борода не очень седа, а ему — девяносто два года.

Каждое утро выходит он и смотрит из-под козырька, не ворочается ли старина... Нет, не ворочается. Как будто и сорок, и пятьдесят, и восемьдесят лет назад то же было: и Дон, и пески, и луг, и небо, — и в то же время все теперь по-иному, все по-новому. Пропадает благодать простора в степях, пропадает зверь и птица, пропадает рыба в озерах, да и самые озера, пропадает удаль в казаках, мелкий народ пошел. Вон пыхтит и тащится с баржами супостат; какая уж тут рыба, — всю разгонит. И радуется старик, когда увидит, как сохнет на солнышке севший на мель пароход.

Так каждое утро оглядывает старик владения своего неоглядного царства.

Потом проверяет, что делается в узком подмываемом Доном дворике. Курица вылезла из-под досок и кудахчет, — стало быть, не в курятнике снесла.

— Марья, а, Марья, ты что же за курами не смотришь? В курятнике-то у тебя крысы одни живут.

Марья, крепкая жилистая женщина, сожженная солнцем, ветром, лет пятидесяти, засучив рукава и высоко подоткнув юбку, стирает в корыте белье.

— Ну, ладно уж, знаю...

Как и все бабы на хуторе, она встала сегодня, когда еще звезды были на небе, убралась с коровами, прогнала их в степь, выгнала телят, испекла хлебы, отстряпалась, возилась с птицей, банила полы, а теперь взялась за стирку. Было одно и то же изо дня в день, вот так уже двадцать два года, не покладаючи рук. Незачем подгонять... И взяло ее зло.

— Да ты ни свет ни заря подымаешься, делать тебе нечего и балабонишь. Сиди уж у себя, чисто сыч!

Старик пропускает мимо ушей, — на то бабы, чтоб молоть.

Не в этом суть, а главное, что и бабы теперь стали не такие, как по-старине: все хи-хи да ха-ха, а нет, чтобы настоящее. Что — настоящее, и сам ясно не представляет, но было иное, и он это чувствует.

Он живет отдельно от тех, занимает верх двухэтажного куреня. В нижнем этаже сложены старые хомуты, седла, мешки с отборным зерном для посева, крысоловка с куском объеденного сала и всякая домашняя рухлядь.

Наверху, в маленьких четырех комнатах — никакой мебели: только белый стол, табурет и тесаная кровать. Пахнет травами и старостью. По стенам на гвоздиках — множество мешочков с сушеными травами, с семенами, с косточками неведомых зверей и оружие. Кривая баклановская шашка, с которой он ходил на Кавказ, пика — наискось, из угла в угол, во всю стену; еще шестнадцатилетним казачком он служил с нею во время наполеоновского нашествия, много переколол французов — и счет потерял; красная ржавчина, как старая забытая кровь, всю ее оползла.

Но лучшее украшение комнаты — это: в небольшие окна виден Дон, и песчаные косы, и тот берег с наклонившимися вербами, и бесконечный луг, и сияющая звездочка невидимого креста на краю.

Целый день у старика забота и дело. С утра выйдет на крылечко, побранит Марью; если племянник тут — так и племянника, а если работник еще не уехал в поле, — то и работника; потом ворочается в комнаты, и начинается настоящее дело.

Ходит старик около стен, трогает мешочки. Из одного семена высыплет, попробует, из другого — травку сухую; разотрет между старыми костлявыми иссохшими руками, понюхает плохо слышащим носом.

Потом ходит из угла в угол старыми шагами и старым гнусавым голосом победно поет:

Взбран-ной во-е-воде по-бе-ди-тель-ная.

Ходит, и поет, и ухмыляется хитро, по-стариковски. Чему? Но разве не целая жизнь позади?

Обедать приносит ему в горшочке Марья. Он и ее встречает настороже, хитрой улыбкой, сузив глазки, стоя в углу.

— Ага, принесла!.. Ну, ну, ну... Так, так, так... Попробуй, попробуй...

Марья, раздраженно и сдерживая себя, ложкой черпает кашицу и, дуя, осторожно тянет губами горячее варево.

А он все ухмыляется.

— Та-ак, та-ак... Черпни сбоку, черпни сбоку... Развороти, развороти кашу-то...

И вдруг трясется от охватившей злобы и жует заросшими губами.

— Подсыпала, подсыпала!.. Что не берешь сразу-то? Ага, выбираешь! Нет, ты развороти-ка, возьми-ка с донушка, с донушка, с донушка...

— Тьфу, будь ты проклят! И когда только...

И, переламывая себя, со злобной и льстивой ласковостью говорит, стягивая тонкие позеленевшие губы в уродливую улыбку:

— И чтой-то вы, Трофим Никанорыч?.. Али мы лиходеи? Ну вот, вот беру, откеда хотите. Господи, да неужто ж мы... Горячее, губы жгешь... Кушайте на здоровьице.

Она уходит, а он принимается за еду, осторожно прислушиваясь к запаху и вкусу.

Старый, с вялой кожей, но еще сильный и бодрый, он борется за свое право на жизнь, борется за свое понимание ее, за свою власть над нею.

Вечером приезжает с поля племянник. Ему шестьдесят два года. Сухонький, маленький старичок, живой и озабоченный, с загорелым зимой и летом лицом.

Когда-то это был офицер старинных времен, каракулями подписывавший свою фамилию, отличавшийся от казаков не лицом, не голосом, а погонами на неуклюжем, мешковатом мундире. Но теперь и это стерлось, и он потонул среди огрубелых, копающихся около земли казаков, и лишь засаленная, заношенная, неизменно зимой и летом на голове, офицерская фуражка свидетельствовала о былом.

Едва смолк скрип приехавшей арбы, уже разносится в объявшей тесненький дворик сухой мгле летней ночи хриповатый, обветренный голос с тем особенным, грубовато-сердитым повышением, которое выдает экспансивность казачьей натуры, все принимающей близко к сердцу.

— Куда хомут бросил? Кому сказывал, как приехал: «Зараз в конюшне вешай»? Н-но народ!.. Марья, а, Марья, свиньи опять у тебя просо рассыпали... Ге, кум Мирон! Ну, как?

Густеет синий сумрак, и уже потонули плетни, курени, сады, нет реки. Ярко и весело краснеет, колеблется, потрескивает огонек в летней кухне; вкусно несет оттуда горячими галушками.

В курене, с низким выбеленным потолком и чисто выметенным земляным полом, уже накрыт домотканной скатертью грубо ско-

лоченный стол. Подрагивает скупым красным огоньком в полуразбитом стекле пахнущая копотью и керосином лампочка на стене. Тонко-тоскливо звенят налетевшие комары. Уже дымятся галушки.

Голос Марьи:

— Трофим Никанорыч, пожалуйте кушать!.. Григорий Митрич, иди!.. Иван, слышь, иди вечерять.

И вот четверо обсели стол, и у каждого — свое, и каждый, обжигаясь, носит и дует на горячие галушки.

Старик сидит в красном углу под потемневшими, закоптелыми иконами, и девяносто два года, все, как один, смотрят из прошлого и караулят каждое его движение.

Работник ест сосредоточенно, много и без конца набивая оттопыривающиеся щеки. Для него — все просто и ясно: поработал с зари, теперь поесть и завалиться спать, а завтра — опять. И так — изо дня в день до покрова. А в деревне, в России — хозяйство, жена, дети.

У Марьи — тоже свое. Где-то в смутном, нежном далеком прошлом — милая Польша. Где-то, как на потерявшемся повороте непылившей дороги, веселая, свежая, гибкая фигура и смеющиеся, задорные глаза, и русая коса, и звонкий голос.

Это — ее веселые глаза, это — ее тонкая фигура, это — ее сбегающая по спине каштановая коса. И казачий офицер, смешной, неуклюжий, с черными, как маслины, глазами, позванивает серебряными деньгами.

И вот — чуждое небо, чуждые люди, старая река, чужие степи. И они не знают, они не видят, сколько бессонных ночей, сколько пролито слез по милом крае.

Звонкий девичий голос...

А теперь — седые жесткие пряди, теперь — грубое, обветренное, полумужское лицо, полумужской голос, крепкая жилистая рука, которая и коня осадит, и сильными взмахами умело перегонит на ту сторону каюк, и раскинет сети. И уже свои — это небо, эти пески, этот зной, эта неустанная работа в поле, в саду, в огороде, эти когда-то грубые и отталкивавшие своей грубостью люди.

Изредка во сне или во время болезни и когда смерть смотрит, — далекое, нежное, смутное, как умершее, воспоминание: звонкий голос, задорный блеск глаз и небо — то, другое, потухшее...

И опять стоит настоящий, теперешний день со всеми своими требованиями, заботами, горем и ожиданием, — тем ожиданием, которое двадцать два года владеет ими, владеет их сном, их думами, каждым часом дня и ночи.

Вот они сидят четверо и носят деревянными ложками дымящиеся галушки. И Григорий Митрич говорит:

— Плугом хорошо теперича подымать землю. Кабы косилку, — н-но. хозяйство вполне было бы.

Говорит это, а за словами стоит: «Измучился ждать... Старость, шоб тебе!..» И с подавленной, может быть, неосознанной ненавистью глядит на того, кто сидит под образами и с хитрой старческой улыбкой носит в заросший рот галушки.

А тот:

— Во! Косилки, веялки, жнейки, а — дураки... Почему такое в старину выйдет, деревянным плугом подымет степь, — во пшеница была! А ноне што? Куда Дон делся? Али птица у вас гогочет на лугу?.. Дураки! Людоеды! Куда пятитесь?.. Оглянитесь, — назади благодать-то господня была.

А за словами: «Не спеши, погоди-ишь! Еще поживу. Бог веку дает, отчего не пожить?..»

Двадцать два года назад помер его сын — и тоже вот так же ждал пятьдесят лет. Знал, — у старика еще с французского похода было накоплено, но крепкий был старик, кремень, — и сын умер, не дождавшись.

Пришел племянник с женой и тоже стал ждать. Кормит, поит, одевает, рвется в работе, недосыпает и ждет — ждет каждый день, просыпается, прислушивается каждую ночь.

Так идет жизнь.

Старик нелюдим, но к нему приходят. Приходят посоветоваться насчет детей, приходят больные со своими болезнями, приходят бабы пожаловаться на свое горе, на пропивающих хозяйство мужей.

Старик стоит среди своих трав, мешочков, среди старинного оружия, среди запахов прошлого и недоверчиво посматривает суженными острыми глазками.

— Здорово почивали, Трофим Никанорыч!

— Ну, ну, ну, будь здоров, будь здоров... Откеда бог принес? Без дымку кизек не горит, не горит, не горит...

— До вас, Трофим Никанорыч.

— В долг не даю, не даю, казны нету, на тракту никого не щупал... Это калмыки арканом — хлясь! Готово, поволок... В повозке ехал, кони добрые, только пыль из-под колес, а они скачут на горбоносых, малахайки — во... Арканом — жик! В повозку-то, стало быть, меня, меня-то, стало быть, выволочит, а я — руки кверху, аркан-то — хлоп, упал... Разов десять...

Он смеется старческим смехом.

— Трофим Никанорыч, калмыки уже годов сорок не существуют в наших местах. На Салу и то их пределили уничтожить, стало быть, чтобы в станицах жили.

— Ври, ври больше! А арканом-то...

— Насчет сына пришел к вам.

— Ну?

Он остро и подозрительно уставился маленькими глазками.

— Ну?

— Да что... Делиться хочет.

— Бей!.. Бей по голове, чтобы кровь из ухов пошла. Сказываю! Сын, покойник, царство ему небесное, во̀ был, не чета, — кочергу вязал. «Отдай, говорит, двух жеребцов, сведу на ярманку, продам». Вдарил его раз — шатнулся, вдарил два — упал, из ухов, из глаз — кровь. Упал... Уехал я. Через неделю ворочаюсь. Жив? жив. Ай, сын был!

На глазах старика — слезы. Лицо оживает встающей давнишней жизнью.

— В венгерскую кампанию уходили на лошадях, в разъезде были... Наседают иноверы. Скачем. Река — три Дона. Кинулись, плывем. Стал сдавать маштак под сыном, — пуля поймала. Показал ноздри — и только видали. Ухватился он за моего, — здоровый жеребец был, а двоих не сдюжает. Бросил я поводья, окунулся. «Выплывай, Ваня, живи!» Понесло меня... Потом не помню... Иноверы выловили. Десять месяцев при смерти лежал... Во́ сын был!

Старик всхлипывает, потом быстро, недоверчиво и сторожко взглядывает маленькими острыми глазками.

Когда приходили больные, он строго спрашивал:

— У дохтура был?

— Не. Что они могут?..

— То-то, то-то, то-то... Вот возьми, возьми.

Он давал зашитый в ладонку желтый волчий зуб. Поил крапивой больных водянкой, от лихорадки — подсолнечным настоем девесила, и все были довольны, потому что помогало.

Но было его царство и давно не испытанная радость, когда приходила баба и, заливаясь слезами, говорила:

— Господи, да куды же мне!.. Трохим Никанорыч, да пожалейте вы!..

— Ну, ну, ну?..

— Да напустила на нас Власьиха, — чтоб ей завтрашнего дня не дождаться! — нечисти. Матренке моей рогач посадила, в избе нечистая сила всю ночь пляшет, утром встанешь, — все углы запакощены... Ведь бросаем новый-то курень. У батюшки были, молебны служили, — без внимания, крепко напустила... В кухонке жить будем, с детьми тесно да сыро, а курень-то никто не покупает, и слухать не хотят... О-о-о-о!..

— Так, так, так...

У него жадно блестят глаза. Вот она, вот она — подымается старая жизнь, настоящая жизнь, когда все, что ни делали люди, протягивалось за пределы видимого, ощутимого, и от этого все было полнее, жизненнее, всюду ощущалось дыхание, пусть даже и нечистое.

И гордо чувствовал старик: никакими пароходами, никакими жнеями и веялками, никакими новыми выдумками не сломить настоящего, ибо оно, что море народное, всюду разлито.

Заходит очень редко к нему и племянник. Придет, поздоро-

вается, сядет на скамейку и молчит, и в окно видел Дон, и оба они стары: один высокий, другой маленький.

— Дядюшка, хоть бы помогли! Мочи нету!

— Из какой казны? Из какой казны?.. Не кую, денег не делаю!

— К зиме идет, тулупы надо покупать.

— Ступай в займище, набей сайгаков. Ступай седлай.

— Последнего сайгака убили в шестьдесят первом году.

— Врешь, все врешь! Не ушло время. Бывалыча, оседлаю Карнаухого, по тридцать верст гоняю за сайгаками. Резвые, идолы!

А племянник смотрит на него, как на далекое темное прошлое, и думает: «Куды прячешь? Беспременно старинными монетами червонными, ноне таких и не выпущают. В банк не положит, про банк и слышать не хочет. Стало быть, у него... Где? Разве зарыл?..»

— Потому вы все по-новому, по-машинному... Хе-хе-хе! — старик смеется зло и едко. — Стало быть, богаты, стало быть, всего у вас...

И, как всегда, легко переходя в раздражение, говорит злобно шипящим голосом:

— Что изделали?.. Что изделали с Доном, с степями? А? Где птица? Где зверь? Откеда пески идут туча-тучами? А-а?.. Собаки! Все продали!..

И, заглядывая в глаза, таинственно:

— Слышь, не тужи! Ворочается старина, назад идет... Гляди, по ночам слухаю, помаленьку, не заметишь... Слышь...

Он шепчет, и подымаются старые взъерошенные брови, и племянника заражает этот таинственный, безумно-уверенный шопот:

— Гляди, гляди! Дон-то...

И они оба глядят.

Да, да! Дон полноводнее, и по ту сторону все больше и больше темнеют прибрежные дубовые леса, и между ними блестят озера, и тянут казаки невода, — рвутся от рыбы. Тихонько идут на лямках вверх баржи с товарами...

Но племянник встряхивает головой и говорит:

— Обмелел Дон.

— Врешь, врешь, врешь! Врешь!.. Ежели придут ко мне, да мертвый, — священнику сделал заявление: стало быть, племянник с племянницей удушили. А-а!..

К Григорию Митричу приехал сын. Он был с молодыми впалыми щеками, с торопливым взглядом занятого человека и говорил: «У нас в станице...»

Отпряг коня, и после ужина под темным звездным небом они сидели с отцом на завалинке и говорили.

— Зараз поставил рушку и два жернова с нефтяным двигателем. Ветряк продал. Опять же кредитуюсь в банке. Железную дорогу через наш юрт поведут, подряд на песок беру. Ежели в нашей станице депо устроют, девиц выпишу, — большой доход. Вот

только на оборот мне капиталу нужно. Под любой процент. Ух, как нужно!

Он скучно поглядел на звездное небо, на жавшуюся в темноте к самим ногам дорогу и сплюнул.

— Опять же...

— Не одобряю. Потому казак, пика да шашка, а дома плуг да коса. Не отрекайся! Слышь, сынок, кровью своей Дон, стало быть, приобрел, грудью...

Старик хотел заплакать, но сын перебил:

— Будя тебе! Размяк!.. Ты вот у старого чорта денег достань.

Старик разом осунулся. Не те же ли речи он слышал от дяди, которые теперь от него не хочет слышать сын?

— Ждем, — уныло проговорил он.

— «Жде-ем!..» Двадцать два года только и слышно: ждем!.. Что на него смотреть! Поите, кормите, — поди да возьми! Он, старый козел, еще сто годов проживет. Чего ждать-то?

— Заявление сделал, — уныло тянул старик.

— Ну, целуйся с этой падалью, а я вам не товарищ!

И уехал...

Умер племянник незаметно, тихо, как будто и не боролся за себя, не боролся за свою жизнь. Пришли на сеновал, а он лежит, уткнувшись в сено, и уже холодный. Умер, как жил, ожидая от старого, да так и не дождался и сам ничего не оставил.

Марья поголосила и уже одна принялась за работу, — жить-то надо будет. И уже сама стала справляться со всем хозяйством — и на покосе, и дома, и в саду.

А старик пришел из куреня, посмотрел на мертвого, неодобрительно пожевал губами.

— На семой десяток, а уж свернулся.

Он торопливо, озираясь и жуя губами, покрестился и ушел в курень.

С этих пор старик решил умереть. Решил так же просто, как прежде решал, что ворочается старина, что все новое, неуказанное пропадет, а возворотится, а выживет только старинное...

Старик сам отправился к священнику и в церковь, отговелся, причастился, пособоровался и стал ждать смерти. Она подходила медленно, тихо, без шума.

Он ослабел, уже не выходил из куреня. Доберется кое-как до крылечка и смотрит на пески, на тихо сверкающие заводи, на задумавшиеся на том берегу над водой вербы. Все перед глазами, все тот же простор, все так же горит на краю луга в фиолетовой дымке золотая звезда, все то же безбрежно синее небо, а — конец его царству: все это чужое, все это отходит к другим людям, к худу ли, к добру ли, но к другим.

И когда уже смерть глядела в окна, в двери и он уже не поднимался с кровати, пришла Марья и с искаженным, изуродованным судорогой лицом наклонилась над ним со сведенными в крючки пальцами.

— Сказывай, куды дел!.. — шипела она змеиным шопотом злобы и отчаяния. — Сказывай!..

А он глядел на нее белыми невидящими глазами, и что-то в них, в слепых, смеялось беззвучно, но лицо было бледно и неподвижно.

— У-у, изверг!.. Господи, всю жизнь...

И опять, как во все тяжелые минуты, на нее глянуло далекое родное небо, далекие полузабытые люди, говор, поля, — глянуло все невозвратным прошлым, и она с судорожным озлоблением кинулась и вцепилась в эту худую, жилистую вытянувшуюся шею, но она была мертвенно холодна, и не бились жилы...

Все перерыла Марья, но — ни золота, ни денег, ни драгоценностей. Разбила шкатулку, которую старик берег как зеницу ока, оттуда вывалились желтые звериные зубы да пыль иссохших трав.

В несказанном отчаянии она взламывала половицы, изрыла весь двор, — ничего. А он лежал длинный, сухой и мертво смеялся неподвижным восковым лицом.

Когда похоронили, она продала все на снос и ушла, а на следующий год, в разлив, мутный и сердитый Дон смыл остаток двора, и только сады, зеленея, смотрелись в воду...

ЧИБИС

Весь истрескавшийся, в серых кочках, нескончаемо млеет иссохший луг в призрачно струящемся зное. Пятнами рыжеет корявая, как вывернутые корешки, неведомо как уцелевшая шершавая травка, которую и овцы не берут.

Кочковато сереют ложбины высохших озер. По краям — нешевелящийся белый пух, но гусей не видно.

Пыльные дороги пусты. Пусто иссохшее, помутневшее небо, и на нем — маленькое колюче-ослепительное, иглистое солнце.

Далеко разлеглись невысокие сизые горы. Ни промоин, ни сбегающих балок и оврагов. Лежат только дымчато-синеватые тени в задумчивом молчании, и не то печаль в них, не то смутная надежда. И, теряя в прозрачно зыблющемся воздухе контуры и краски, уходят они, невысказанные, и неуловимо тают в облегающей фиолетовой дали.

На этой громаде иссохшего, залитого солнцем простора, нарушая царство знойной неподвижности и пустоты, далеко по дороге зачернелась живая, затерянная точка. Она ползла по пыли извивающейся дороги, и уже можно различить маленькую, как игрушечную, лошадь и повозку, а в повозке — непокрытые головы, и беспощадное солнце над ними.

Лошадь сонно ступает по лениво встающей пыли, влегая в изодранный, из которого лезет солома, хомут, не мотая костлявой, со слезящимися глазами, покорной мордой, и измученные уши по-собачьи обвисли.

Мухи тучами липнут, но она не шевелит обдерганным хвостом, и только на брюхе судорожно дергается кожа, когда овод прокусит и по облезлой шерсти извилисто закровянится.

На передке, задом наперед, свесив босые, черные от загара ноги, в пестрядинной рубахе и портах качается, бубнит мужичонка, с въевшейся в собачьи космы пылью.

Три серых от пыли ребячьих головенки в самых неудобных позах качаются в скрипуче-качающейся повозке.

За задними колесами, не отставая, идет девка, не отрываясь глядя на свои мелькающие в пыли босые ноги.

Баба сидит возле мужика, правит веревочными вожжами, поминутно чмокая узкими, иссохшими, прилипающими к синим деснам губами. Лицо у нее такое же, как у лошади, костлявое, со слезящимися глазами, с измученностью, которая, казалось, навсегда прилипла к костям и бледной обтянутой коже.

— Хто?.. Ну, сказывай, хто?.. Хто обувает?.. Хто одевает?.. Хто кормит?.. Опять же я. В экономии приказчик сказывает: «И чево ты с ими валандаешься? Одно слово, ты — красавец, а они што? Прорва голодная». А я што сказал? А?.. Сказывай, што я сказал?..

— Ну, будя.

— Нет, ты сказывай, што я сказал? А?.. Што я сказал?..

— Да будя тебе... Но-о... Но-о, супостатка!..

— Али б я прошибся, не надел сапоги с набором? А?.. Сказывай.

— Ну, да ладно... Вот прилип... Но-о, окаянная!..

— Ах, ты, утроба проклятая!.. Как ты законному мужу отвечаешь?

Он поймал ее за косенки, соскочил и, боком поспевая босыми ногами за повозкой, стал таскать. Ребятишки привычно закричали, лошадь остановилась и, не оглядываясь, стала ждать со сбившейся набок веревочной сбруей.

Девка оперлась о колесо и чесала ногу о ногу. Пыль изнеможенно висела неподвижными клубами.

— Душегуб!.. Кровопивец!.. Ой, батюшки!.. Ой, светы!..

Со сбившимся платком и ненавистью, преодолевшей вечную усталость, она вырвалась и, отбежав, стала поправлять выбившиеся жидкие косички и платок.

Мужик было погнался, но она с резвостью, не свойственной костлявому лицу, измученности и озлоблению, побежала.

Мужик остановился:

— Чорт с тобой!

Поскреб в космах.

— Куды спрятала бутылку?

— Все вылопал.

— Брешешь, оставалось... запрятала... убью!

— На кой ляд она мне, — сам в солому засунул.

Тот полез корявой, черной, как земля, полопавшейся от ветра, солнца и работы рукой в сбившуюся под ребятами в труху солому, вытащил бутылку и покачал на солнце сверкающую колебанием влагу.

— И дна не кроет... эх-ма!..

И, запрокидывая голову и булькая, стал глотать.

Опять скрипит среди рыжего, сожженного, с высохшими озерцами луга повозка; идет за колесами девка, и ноги по колено в ленивых серых клубах медленно встающей горячей пыли.

Пусто. С тайной надеждой стоят на самом краю сизые смутные горы, далеко уходя, тают в знойно-трепещущем воздухе, и надо всем — маленькое ослепительное, иглистое солнце.

Женщина, безнадежно глядя вперед костлявым лицом, безустали дергает веревочные вожжи и чмокает истрескавшимися синими губами:

— Но-о... Но-о, стала...

Разморенные жаром ребячьи головенки не держатся на шее, валятся то на ту, то на другую сторону.

Мужик, с красным, пылающим, точно из бани, липким от пота лицом, черным раскрытым ртом, в который бьет солнце, и мотая от тряски из стороны в сторону головой, лежит навзничь, свесив через грядку согнутые в коленях ноги, храпит, мучительно захлебываясь, на минуту замолкая, перехваченный удушьем, и опять заглушает храпом одинокий скрип повозки.

Неведомо откуда взявшийся чибис медленно летает над повозкой и над лугом и жалобно, тонко кричит: «чьи-и... ви! чьи-и-ви!..» — жалобно и безнадежно, как будто, кроме этого иссохшего сереющего луга, ничего нет на свете.

«Чьи-и... ви?..»

— Маму-уня, папу-уня задавил...

— Ишкните!.. Проснется, — будет вам...

Ребятишки жмутся в самый угол повозки, стараясь не притрагиваться к обжигающему дереву. Качается мертвое тело с согнутыми ногами. Носится белая, с черноопаленными крыльями птица, как потревоженный дух, с жалобным криком и все спрашивает, не ожидая ответа:

«Чьи-и... ви?..»

— А?.. А?.. Чего такое?.. Но!.. Но!.. — испуганно и беспокойно заметался мужик, с красными, как мясо, глазами, с соломой в космах, с иссохшей в углу рта слюной, к которой неотступно липли носившиеся мухи, и, выхватив вожжи, задергал.

— Што ты!.. Ополоумел.. Окстись...

Лошадь стояла. Далеко позади, над дорогой, ее заслоняя, висела нетревожимая пыль.

Горы возле. И они уже не сизые и манящие, да и не горы это, а просто неровные, размытые обрывы, а за ними поверху нескончаемо уходит степь. По подошве тянутся сады.

У дороги сереет сруб колодца и, наклонившись, заглядывает в него длинный журавель с висящей на конце веревкой и железным крюком для ведра. Из-за верб домовито глядит соломой крыша.

— Должно, постоялый.

Мужичонка отвязал под повозкой ведро и стал поить лошадь. Детишки вылезали, расправляя затекшие ножонки; баба подбирала по дороге солому, высохший навоз, разожгла и повесила на треноге котелок. Жар, пыль, мухи, иссохший, истрескавшийся простор как будто остались позади, и куда-то приехали, и как

будто не надо уже опять ехать по сожженной степи, куда глаза глядят.

Мужичонка, обобрав слегка из бороды и усов солому и независимо похлопывая кнутом по вспыливающей дороге, подошел к жердевым перекосившимся воротам.

— Эй, хозяин!

Отчаянно залились собаки, норовя ухватить за голые ноги. На дворе, затрушенном соломой, просторном и жарком, никого не было. Только под дальним навесом, не притрагиваясь к сену, стояла лошадь, отмахиваясь хвостом, била ногой по брюху и мордой сгоняла надоедливых мух.

— Хозяин!..

Щелкнула щеколда, на крылечко в ситцевой, горошком, расстегнутой рубахе, из-за которой косматилась грудь, и ситцевых подштанниках, босой и красный, — должно быть, спал, — вышел чернобородый плечистый казак.

— Можно сенца купить?

Тот провел рукой по лицу и бороде, снимая сонливость, деловыми строгими черными глазами ощупал повозку, лошадь, ребят и беззаботно похлопывавшего кнутом по пыли мужичонку.

— Деньги есть?

— Ну, как же без денег! Без этого товару нельзя. Сколько?

— Тридцать пуд. Давай.

Мужичонка порылся в портах, набрал медяков и отдал.

— Цены еройские. Да цытьте вы, дьяволы!

Казак молча пошел через двор, не отгоняя злобно рычавших на шедшего за ним мужика собак с черными пастями.

За плетневым навесом с махавшей хвостом лошадью тянулся сад, и на выкошенной полянке стоял стог, а возле огромные с досками на веревках весы.

— Веревка есть?

— А мы без веревки. Руки на што.

Тот молча, не сдаваясь на фамильярность, отвесил.

Давно вычерпали весь котелок, и ребятишки, обсев кругом, вылизывали ложки. Отпряженная лошадь стояла теперь без упряжи, еще более худая и костистая, и, слезясь, с усилием жевала сено, не отгоняя роившихся около глаз мух.

Мужик постоял, почесал зад, — делать было нечего.

— Ну, что стоишь, корова! Али дела нету, — злобно накинулся на дочь, прислонившуюся к повозке и безучастно глядевшую недумающими глазами на пропадающую в лугу дорогу.

Девка была крепкая, круглая, с загорелым, зовущим к себе лицом, с дремлющей, просящей работы, движения, смеха — силой.

Не было работы — не было расхода томящемуся напряжению. И отец знал, что делать нечего. Что и ему делать нечего. Пошел, поднял, привязал оглобли, натянул дерюжку и лег в ее маленькую тень, сквозившую солнечными пятнами, и сейчас же

навалился тяжелый разморенный сон знойного дня, тоски и безделья.

Ребятишки сидят посреди дороги, палимые солнцем, и играют, закапывая ноги в пыль. Баба, подперши костлявое лицо, пригорюнилась у повозки.

Прозвенели колокольцы, подъехала и стала у колодца тройка. Кучер поил по очереди из ведра лошадей, а в экипаже сидел господин в белой фуражке, под большим белым зонтом, усталый и разморенный, и раза два остановил глаза на девке. Потом тройка побежала, оставляя в воздухе длинную пыль и мягкий, слабеющий след колокольцев, пока все не потонуло в мареве.

Одно пылающее солнце.

По лугу пошли длинные, остро-косые тени.

Солнце сдалось и было уже над садами, большое и остывающее.

Мужичонка поднялся, зевая, крестя рот, точно хотел закрестить подымавшуюся, не отрываемую, как впившийся клещ, тоску. Опять запрягать, опять тащиться неведомо куда по молчаливым степям, мимо хуторов и станиц, мимо чужих покосов, пашен и жнив, глядя, как люди убирают хлеб, возят, пашут, живут заботой и кормящим трудом. Он крякнул, подтянул поясок у портов и повел поить лошадь.

Со степи шли коровы, степенные и важные, поматывая полным выменем. Легонько гогоча, ворочались, белея, гуськом гуси.

Хозяин отворил коровам ворота и подошел к плетню, взявшись за торчавшие из него колья.

— Куда путь держите?

Мужичок суетливо заговорил обрадованно, подавляя хоть на время гложущую тоску:

— Тянемся вот... работишки где-нито... работенки какой-нито...

— Та-ак...

— Пить-исть надо... семейство... Опять же обужа-одежа... и все прочее.

— От своего хозяйства ушел?

— Како хозяйство! По экономиям и жил... в работниках.

— Та-ак...

Помолчали. Казак оглядел луг, уходившие вдоль обрыва сады и погладил бороду.

— Работа и у меня есть.

Мужичок придвинулся, не спуская глаз, точно этот бородатый человек со сказанными им словами сейчас растает в воздухе.

— Заболел у меня работник, ногой не владеет, в больницу поехал... Хлеб убирать, да и по домашности.

— Ну-к, што ж... Я с превеликим...

— Лошадь у тебя.

— Што ж, лошадь продать можно.

— Сколько возьмешь?

— Вот как перед истинным, сорок два с полтиной отдал..? огонь, а не лошадь...

— Кожа да кости... Хошь, до покрова оставайся с бабой, да и девка будет подсоблять. Харчи мои, а за лошадь десятку дам.

Мужик горестно хлопнул об полы.

Вечером, когда все стало смутным, неузнаваемым, деревья и избы, и плетни, и черные сады, и лошади звучно жевали под навесом, хозяева семьей сели ужинать посреди двора на траве: девчонка-подросток, двое мальчишек да хозяин с хозяйкой. Казачка — степенная, крепкая баба — позвала работника:

— Степаныч, слышь, иди похлебай, покличь ребят и хозяйку. Ничего, поешьте, а на завтрева сами сготовите. Повечеряйте с устатку.

А когда после ужина прибрали посуду, обе бабы, смутно белея, сидели на ступеньках крылечка, и тянулся монотонный, один и тот же, как будто много раз рассказанный рассказ.

— Было свое хозяйство, да сплыло. Спервоначалу держались, а потом невмочь стало, ушел мой-то на заработки. Побилась я, побилась с детьми, пошли по кусочкам, потом землю продали, поехали к нему. Лето проработаем, зиму бьемся. Работали по экономиям да по плантациям. Кабы один, — с семьей чижало. Видят — с семьей, зараз прижмут, цену меньше. Семеро их всех-то было, зараз вот только четверо.

— Куды жа пристроила энтих?

Баба замолчала.

Стояла тихая летняя темнота, и в ней черными сгустками плетни, деревья, крыша, и несло с луга запахом пыли и разгоряченной за день, все не остывающей земли. Звучно жевали лошади. Едва приметно чертя темноту, носились нетопыри. Небо усеяно.

— Андельская душка померла, покатилась... Ну?

— Одного глотошная задушила, один животом изошел, а энтот... старшенький-то...

Послышались хлюпающие прерывистые звуки, как будто в животе вода болталась. Казачка проговорила:

— И-и, болезная, легко ли... инда к сердцу прирастут... с кровью родишь, с кровью оторвешь...

— Молотилкой... ногу оторвало... сутки только жил...

— Божья воля... Разве свое дитё забудешь?..

Обе замолчали, смутно белея в темноте.

Казачка вздохнула, жалеючи жалостью налаженного, крепкого хозяйства, где все идет по порядку, как надо, с своими привычными хозяйскими заботами, хозяйским горем, довольством, радостью, — жалела особенной хозяйской жалостью ту, у которой нищета, голод, отрепья — тоже в порядке своем, неизбежном. Но материнское горе, эти хлюпающие, не видимые в темноте бабьи слезы, ни с чем не считаясь, горько сказались материнскому сердцу, и она тоже всхлипнула.

— Бог не без милости, энтих вырастишь.

— Та-ак, только замучилась. Чую вот, замучилась, лягу — рукой не тронусь. У людей — дети, растят, пределяют, а у нас девка — одно горе.

— Шалыганит?

— Кабы так!.. Покорливая, не балуется, работница на всякую работу. Ядреная девка, правду надо сказать, без изъяну. Другие справляют, об том хлопочут — выдать, а мы одно бьемся, как рыба на сухопутье. По весне ранней пределились на плантацию к армяшке: черномазый, как обезьяна, и капусту сажает. Во́ кочаны, с конскую голову, поливают очень искусственно, колесом. За зиму наголодались, бесперечь рады, на всех на троих плата, работы не оберешься по весне: садка, поливка, полка; ребятишки при нас. Одначе через неделю армяшка идет, как паук мохнатый, че-орный, бельмами ворочает, а груди у него все в шерсте, как у доброй собаки. «Вы, грит, то ни то, а закону моему повинуйтесь: хозяин я, — хочу, наизнанку выверну. А девку беспременно поучите, чтоб спала со мной. У меня такое заведение, а она, чем благодарить, брыкается, кобыла». Обмерла я... «Да ведь дитё мое кровное, ай на то родила...» — «А-а, грит, марш, вон на дорогу!» — и зубы оскалил бе-елые. Мой-то поймал девку за косы, оттаскал, собрали пожитки, по-ошли по степи.

— Азияты, — одно слово, что черкесы, что армяне, народ арайский. И фрукт и овощ у них омманные. Вот привезут в станицу капусту, возьмешь кочан — руками не обымешь, а сваришь борщ — ее, капусту, там не слыхать. Тоже, к тому сказать, и сама, может, до него льстилась, бывает и это.

— И-и, ро-одная моя, девка-то бегает от него, как очумелая, ревмя-ревет: все, грит, маменька, по закону, а я одна по-собачьи. И, грит, ко-осматый он, как Полкан, — собака у нас в деревне была, злая да караульная, — раззявит, вся пасть черная.

— У нас тоже добрые собаки с черными ротами. Бондарь из станицы, дай ему здоровья, привез щенками. Мне, говорит, топить их жалко, а вам пригодятся.

Помолчали.

Попрежнему теплая, нешевелящаяся, смутно сквозящая звездами темнота, равнодушная ко всему, у которой — свое, неживое, вдруг ожила, шевельнулась; родилась неведомо где, смягченная расстоянием, тишиной, песня, бабьи голоса.

Работница вздохнула.

— Девки-то по садам полуношничают... О-о-оххо, прости господи, — и казачка закрестила рот, чтобы черный туда не шмыгнул. — Должно, пошта.

Колокольцы прозвенели мимо в темноте, и колеса прокатились, потом все растаяло, и было все то же.

Надо было спать, зевается, да одна никак не вздумает подняться, хочет дослушать; другая — никак не уйдет, хочется полегчить душу изболевшуюся.

— Ходили в степе недели две, везде забито, везде народ.

наемка кончилась, жалко стало, ребятишки подбились, идем табором, с голодухи аж синие стали.

— Конь у вас.

— Опосля купили. Наконец того, пределились в економию. Огромадная економия, собак видимо-невидимо, народу, приказчики, молотилки, сад при доме. Вздохнули. И ребятишки отошли трошки, повеселели. Думали — все лето проработаем. Месяца два прожили. Гляжу, на покосе как раз было, бежит Гашка простоволосая: «Маменька, ой, маменька!» Оммерла, я так и оммерла. Господи, думаю, може, уж не возворотишь! Вдарила ее по щеке: «Говори, сука!» — «Ой, грит, от силы вырвалась, все бока обмял старший приказчик-то». Сказала вечером отцу; намотал он ейную косу на руку и бил смертным боем, аж кричать перестала, а дня через три приказчик грит: «Берите расчет, не нужны». Ой, и хлебнули горя! Купили лошаденку, повозку, вот ездим; сушь ли, дожж ли, сонце ли, погода ли — так ездим бесперечь, и степь, ее глазом не окинешь, луга, — сухие они у вас, — а мы все ездиим да глядим, как люди работают.

Она подперла голову и горько замолчала.

— Закладает твой-то?

— Как в работе — маковой росинки не держит. Ну, а, как без дела — глядишь, бутылку-другую зацепит, не без того.

— Спать надо. Будешь утром доить, Иванна, бурую, сиськи помажь сальцем — полопались, кабы ведро не перекинула.

Над черными садами выползают новые звезды. За плетнем кашляет больная овца.

Новый работник с азартом влег в привычный хомут. Точно его была эта скотина, эти лошади, эти овцы, этот сад, тянувшийся за плетнями, пестреющий наливающимися яблоками.

Девка гоняла мотавших головами лошадей, а Иван на лобогрейке правил ножами и сбрасывателями, и она, скрежеща, резала густую пшеницу, оставляя позади, как выбритую, щетину, и пот градом катился с обоих.

Не было ни праздников, ни церкви, ни передышки, да и не думалось об этом. Баба, подвязав голову ушастым платочком, полола, окучивала и, согнувшись над коромыслом, бесчисленно таскала в огородах воду на поливку. Как будто долго бродили по сожженным степям и вот нашли свою работу, свой дом, свое хозяйство, и рвались, обо всем забывая, только бы не упустить часа.

Заворачивали на постоялый проезжие, — попьют чайку, покормят лошадей и позвенят по лугу колокольцем, затихая. Останавливались купцы с ярмарки, с крепкими кряжистыми лошадьми, с повозками, набитыми товаром, обтянутыми холщовыми будками, сами ражие и красные от довольной жизни.

Раз хозяйка сказала работнице:

— Слышь, Иванна, девка-то твоя, должно-таки, шалыганит. Надысь иду в катух свиней кормить, слышу, за плетнем твоя-то

доит, а мой старый чорт общапал ее, — она хошь бы што, как кошка на сметану.

Лицо у хозяйки было чужое и непрощающее. Губы у работницы посинели, стали тонкими, и она их быстро облизала.

А ночью Иван вывел дочь за сады, чтоб не слыхать было, и, боясь, что забьет, исступленно возил вожжами и таскал за косы по черной, иссохшей, полопавшейся от бездождья земле, а в темноте ныряли нетопыри. Девка кричала, цапаясь руками за кочки:

— Ба-тю-у-уня!.. Пожалей... Старый он, не хочу я его... Ой... ой... ой... Чем же я-то виновата?.. Лезет он.

Бросив смутно белеющее пятно на земле, неподвижное и невздрагивающее, он шел к себе, собирая трясущимися руками вожжи, и бормотал:

— Ежли хочь примечание, в петлю головой суку, один конец... Все кобели на нее.

Степные работы шли нерушимой чередой. Сняли пшеницу, подошли арбузы, стали возить в скирды, и по вечерам и ночам, бесчисленно звеня, затренькали сухим и звонким треньканьем миллионы выведшихся кузнечиков. «Кузнец закричал, лету конец», — говорили. Подросшие утиные выводки летали зорями на пшеницу кормиться. Попрежнему безоблачно палило и землю, и людей, и скот солнце.

— И зачем найматься таким, — шипела хозяйка, и лицо у нее становилось все вытянутее и суше, — сидели бы у себя в Расее, а то чужой хлеб едят и пакостят, смуту в честное семейство носят, беса тешат.

Баба в ушастом платке рвалась в работе, как захлестанная кнутом кляча, чтоб покрыть какую-то несодеянную, но непрощаемую вину. А девка ходила с незаживающими рубцами, с темнозавалившимися глазами, — отец бил без передышки.

Разговелись медом и яблоками. И по мере того, как отходили работы, их напряженность и спешность, Иван судорожно хватался за всякое дело, только об одном помышляя — дожить до срока, и по ночам за садами неслись обрываемые крики, вой и плач.

Раз ночью там никто не кричал, и Иван, вернувшись, злобно кинул вожжи.

— Убегла. Ну, завтра наверстаю, всю кожу спущу.

Когда все заснуло, мать тихонько выбралась и долго ходила, белея, между деревьев в саду. Было тихо и сонно, только с луга и со степи неслось бесчисленное треньканье. И тихо стояло:

— Гаш... а, Гаш!..

Пусто. Баба стала дрожать, и все стояло в саду — несмелое, полушепчущее:

— Гаш!

Вышла на луг. Он был темен, едва видно под ногами. Долго и одиноко ходила, дрожа. У дороги смутно над черной землей маячило белое пятно.

— Гашка!

Девка, сидя в пыли, беззвучно качалась.

— Ну, вставай.

Та поднялась.

— Замучилась я...

Постояли, и мать сказала:

— Иди, Гашенька, у город... И там люди живут...

— Замучилась я...

— Иди, Гашенька... Вот я тебе каравайчик припасла... Господь тебя сохранит, царица небесная... Ну, слышь...

Она ее притянула, поцеловала и крестила в темноте. Та пошла мягко, беззвучно по пыли босыми ногами и остановилась. Они стояли так в нескольких шагах, смутно различая только белеющие пятна. И вдруг материнскую шею обвили крепкие руки, и в самое ухо теплое дыхание:

— Страшно, мамунька!..

Так они стояли, крепко держа друг друга, роняя слезы на грязные шеи. А когда ушла, над дорогой была только темнота, и в темноте долго белела мать...

Над лугом в одном месте посветлело, — хотел всходить месяц. Надо было итти спать.

Захолодали утренние зори, но еще в полную беспощадную силу палит днем солнце. Неоглядная степь. Сколько хватает глаз, знойно желтеет щетина снятого хлеба, и по дороге, толсто застланной пылью и затрушенной золотой соломой, тянется повозка.

Размореная лошаденка в веревочной сбруе равнодушна к полчищам снующих мух; баба, вытянув костлявое лицо, глядит в неведомую даль, чмокая иссохшими, сине-потрескавшимися тонкими губами, дергая веревочные вожжи:

— Но-о... но-о-о, милая!..

Через грядку, свесившись в согнутых коленях, болтаются черные, полопавшиеся от земли и загара босые мужичьи ноги, и три ребячьи головенки жмутся в угол, стараясь не притрагиваться к больно разогретому дереву.

— Ма-му-у-ня, па-пу-у-ня задавил...

— Нишкните, проснется, — будет вам...

Неведомо откуда взявшийся чибис медленно летает над повозкой, над степью и кричит жалобно, тонко: «чьи-и ви!..», как потревоженный дух, с жалобным криком — все спрашивая и не ожидая ответа:

«Чьи-и... ви?»

За колесами, медленно подымающими виснущую пыль, никто не идет.

МОРОЗ

От лошадей и изо рта людей валит пар. Не трогаемые ветром, подымаются белые клубы дыма. Над дальним концом теряющейся в сизом тумане улицы, где шестиэтажные дома — как игрушечные, сияет маленькое солнце, и мириады искр дробятся в белораспухших телефонных проводах.

Бесчисленно, сурово и молча глядят нелюдимые побелевшие окна, и от каменных стен, от железных перил, ворот и столбов веет холодным дыханием.

В противоположность неподвижности сплошных домов бесконечная улица черно кишит, извивается.

В первый момент она заполнена до самых краев шуршанием тысяч торопливых шагов по хрустящему желтоватым песком прокаленному асфальту, — шуршание тысяч шагов, все собой покрывающее. Как иглы, сверкают острые взвизгивания бегущих саней. А там уже нагоняют звонки трамваев, гудение и поревывание автомобилей, пропадающие окрики кучеров, и опять — шуршание, неумолчное, все покрывающее шуршание.

И люди, и кареты, и бегущие сани, и несущиеся автомобили — все на одну масть, с одной и той же печатью множественности и одинаковости. А приглядишься, — у каждого свое лицо, своя забота и тревога, своя спешка — и у лошади, и у автомобиля, и у человека.

Мелькают боа, и коротенькие, прелестным серым мехом наружу, кофточки, от которых так холодно торопливо мелькающим ногам и коленям, огромные двойные с вывороченным молодым жеребячьим мехом дохи, медлительные и важные, подметающие подолом асфальт, — в них тепло, — молодцеватые, презирающие леденящий мороз легкие офицерские пальто, и под ними — целый магазин шерстяных фуфаек, — погромыхивают сабли. И повсюду розовые щеки, густо намерзшие усы, маленькие сузившиеся, заплывающие от холода слезами глаза, намороженные уши.

Старушка в салопе и капоре, с морщинистым и розовым, как у молодой, лицом, сутулясь и мелко шаркая, шамкает сама себе вслух:

— ...и поволокли опять. А он лохма-атой! Что-то говорит... Дорого, мочи нету... и все дорого, и все дорого, и приступу нету... И что будет? Что будет, господи!.. Почем дрова? По семи с гривенником. Господи, и нету на него никакого наказания... Ощерился, а чего щеришься, пустая середка...

Отдельные фразы ее бессвязно долетают до проходящих, но никто не обращает внимания, — у нее свое, и, должно быть, полное значения, — и каждый спешит.

На углу согнулся в санях извозчик; старая шея обмотана грязным шарфом. Маленькие, сощуренные, слезящиеся глазки, бело-затканные морозом, и лицо красное, как обваренное кипятком, растянутое, точно смеется, а губы свело от холода.

Лошадь с прижатыми ушами, белая от инея, стынет.

— Стоишь, стоишь, а чего стоять?.. Теперича б в баню на полку, кости старые уважил бы... Э-эх, ты, икона-масло! Домов-то, домов-то, и-и господи!.. Как грибов, и в кажинном — печи, и в кажинном люди живут... икона-масло!..

Он шевелит плечами и провожает пробегающие с гулом трамваи.

— Бегить, всяк бегить... Потому стыть... Извощика надоть? Бугай проклятый, побежал, загудел... Режет, без ножа режет. Эх, икона-масло!.. А народу как насеяно, и всяк бегить...

Лошадь, белая от инея, неподвижная. Стоит непадающее, стоголосое, все покрывающее шуршанье; поревывают мчащиеся автомобили, и трамваи оставляют по себе коротко брошенные звонки и оброненные с проволоки синие, медленно гаснущие искры.

И в дальнем конце движущейся улицы, — последнее, коротко сияющее солнце, готовое потонуть в морозной мгле.

Должно быть, эти люди, что торопливо шаркают по усыпанному песком плитняку, — толпясь, толкаясь, кутаясь в облаках собственного дыхания, плечо в плечо, — должно быть, эти люди очень одиноки, если разговаривают сами с собой вслух, как в лесу или в пустой степи.

Идет реалистик, с красными пухлыми щеками, и рассказывает, как попался сегодня Белиберде и оставили без обеда.

Господин в поддельной бобровой шапке и легонько подбитом ватой пальто, двигая бровями, широко шагая и глядя перед собой, говорит, поглощенный:

— Вспыхнула заря. Зазубрились синие леса... синие леса на зареве... Нет... синие леса зазубрились на красном зареве зари... Не так...

Видно, литератор, и не дается рассказ.

— Извощика надоть?

Какой-то человек, плохо и коротко одетый, с впалыми щеками, которые странно бледны даже на морозе, ходит по боковой улице

Дойдет до извозчика, повернет и опять медленно удаляется, — и мороз не подгоняет. Потом снова медленно приближается к углу, поворачивается и снова уходит.

А на руках у него ребенок лет трех, свесил головенку назад через плечо и горько, неутешно плачет тоненьким детским голоском, жалобным, недоумевающим голоском, которым безнадежно плачут маленькие, горько обиженные дети. Головенка свесилась через плечо, и крошечная рука в изодранной рукавичке бессильно свисла по спине несущего.

Этот тоненький голосок, такой беспомощный, в беспредметной жалобе, странно нарушает привычный порядок улицы, неумирающий шорох шагов, гул и звонки трамваев, гудки автомобилей. И оттого плохо одетый человек искоса поглядывает на темнеющую на перекрестке, с черно-подвязанными ушами фигуру городового.

Иногда ребенок вскрикивает особенно болезненно, точно его укололи, и еще жалобней, еще горше плачет.

Должно быть, нарушает тоненько плачущий голосок привычный порядок мыслей, ощущений и у торопливо идущей в обе стороны публики, — некоторые подходят и суют молча монету плохо одетому человеку. А он молча кланяется одной головой и опять медленно ходит от угла до угла по боковой улице.

И те, кто взглядывают, долго не могут стереть в памяти бессильно перегнувшееся через плечо тельце и свесившуюся на спину головку и ручонку.

— Надоть извощика?.. Эх, икона-масло!..

В конце улицы солнце потонуло в сизом морозе, и разом и повсюду легли мертвенно-синие тени, погасив искрившиеся снежинки. Стало суровее, холоднее, и лица угрюмей. Но сейчас же вспыхнули и зазолотились бесчисленные огни.

Они голубовато загорелись над улицей ослепительно-напряженно, и синие тени легли от столбов, бежали за санями, шли за людьми. А в окнах магазинов и вокруг окон засветились прерывистые линии, золотые, такие же прерывистые угольники и разные другие фигуры.

День еще не умер, бледно доживая, но эти огни убили его — вверху дома стоят в мрачном молчании и сгущающейся мгле, внизу — море огней.

И все приобрело вечерний праздничный вид — и лица, и с красными глазами бегущие трамваи, и несущиеся автомобили; они низко бросают скользящий свет, от которого на секунду в испуге разбегаются все тени.

— Надоть извощика?..

Это яркое озарение какое-то напряженно-бессильное. Вблизи все проступает изумительно четко синеватыми контурами, а в десятке шагов уже обманчиво тонет в морозном мареве.

Вот к самому углу подходит плохо одетый человек, держа горестно перегнувшегося через плечо ребенка, и видна каждая

заплата, каждая морщинка худого нестарого лица, — а повернется, пойдет назад, и видно свесившуюся по спине головку и ручку всхлипывающего ребенка, и вдруг затуманится и растает в озаренной мгле.

— Надоть извощика?..

Среди шороха, текущего говора, как огни человеческого счастья, радости, беззаботного веселья, вспыхивают смех, шутки, колкое словцо. Эти перебегающие огни озаряют то тут, то там проступающие вдруг лица.

Идет в общем потоке парочка.

Он держит ее под руку, прижимаясь. У нее пылает лицо, — не от мороза ли? У нее сияют глаза, — не от счастья ли?

Самые обыкновенные слова, — а они оба заразительно хохочут. Ревнул хрипло пробегающий автомобиль, — хохочут. Вылез из трамвая толстый господин, — хохочут. Навстречу господин с обвисшими, обмерзшими усами, — хохочут. Не оттого, что смешно, а оттого, что счастливы.

От этого все так напряжено, озарено синеватым светом; от этого — нескончаемый шорох, движение и бег; от этого такой веселый, такой радостный мороз.

— Милый, пройдемся еще.

— Ты не озябла?

— Да нет же, нет. Отчего он так горько всхлипывает?

Не отнимая руки от ее локтя, теплоту которого чувствовал сквозь шубку, другой рукой порылся в кармане шубы и подал плохо одетому человеку серебряную монету. Потом они повернули. По панели, все так же в обе стороны чернея, с шарканьем двигался людской поток. Стоял на углу извозчик, постукивая в санях ногами и умоляюще глядя на проходящих. Ходил от угла по боковой улице плохо одетый человек, и на руках его молча лежал ребенок, утомленный горестным плачем.

Опять подошла та же парочка. У нее пылало лицо, и смех искрился, освещая лица.

Господин с багровым носом в мохнатой шапке и енотовой шубе влезал в сани к извозчику, — *он* и *она* хохочут. Извозчик задергал вожжами, седая от инея лошаденка побежала, — они заливаются смехом.

— Господи, и чего мы так хохочем? Как глупо!.. — говорит она, и оба покатываются со смеху.

К углу подходит плохо одетый человек со спокойным ребенком на руках.

— А-а, сеньор, здравствуйте. Вы опять тут?

Плохо одетый человек пугливо взглядывает на темнеющую среди движущегося содома фигуру городового, поворачивает и торопливо идет прочь. Они за ним, прыская от смеха.

— Куда же вы так торопитесь? Нищенствовать запрещено.

И они, крепко держась друг за друга, спешат за ним, с разгоревшимися, брызжущими беспричинным смехом лицами.

Он торопливо проходит квартал, заворачивает за угол, — они за ним. Он шагает огромными шагами, — они за ним. Он заворачивает опять за угол, почти бежит, они за ним, давясь рвущимся смехом.

— Дай ему рубль, когда догоним, — шепчет она, вся сотрясаясь от хохота, и глаза залиты горячими слезами от смеха.

— Только бы поймать... — захлебывается он, все прибавляя шагу и ища в кармане среди мелочи целковый; они почти бегут.

— Ох, я умру от смеха...

Прохожие оглядываются на них, а они несутся с раскрытыми ртами, глотая холодный воздух, чувствуя, как жарко в шубах.

— Ему-то хорошо налегке... — и закатываются на ходу.

Плохо одетый человек добегает до чернеющего двигающимся народом проспекта и останавливается, прижатый, — на перекрестке два городовых и околоточный, залитые электричеством, среди мчащихся саней следят за движением.

— Помилосердствуйте... второй день ничего не ели...

Он держит на руках притихшего ребенка.

Они отдаются гомерическому хохоту. Он вытаскивает целковый:

— Ну, вот вам за резв...

Безумный крик ее пресекает его. Глаза ее круглы, и в воздухе стоит одно слово:

— Мертвый!..

— А-а-а...

Роняет целковый, подхватывает ее под руку, и оба пропадают в толпе.

Но брошенное слово уже реет, и толпа, как волна около камня, заворачивается кругами.

— Кого?..

— Из-под трамвая вытянули...

— Не-ет, автомобилем сшибло...

— Да что такое?

— Ноги отрезало...

— А вы не наваливайтесь, я вам не перила...

Оттесняют друг друга, заглядывают в белое, как снег, лицо ребенка, с белым прозрачным носиком, белыми закрытыми веками, которые уже тронул иней. Торопливо подходит городовой.

Это мертвое лицо тянет к себе, — и, нажимая, все заглядывают через плечи.

— Кто ж его знает... Спать, говорит, хочу, взял на руки, а он вон... замерз... и не слыхать... — бормочет плохо одетый человек, озираясь, как загнанный волк.

— Чем промышляете? Собственным ребенком!.. Сердце-то у вас где? В кармане!..

У студента трясутся губы, не то от мороза, не то от волнения. Пальто у него зеленое, летнее, злые ноздри и щеки зеленые, с чахоточным румянцем.

— А вам чего!.. — говорит человек, и у него раздуваются ноздри, и желтые впалые щеки начинают краснеть, должно быть, от мороза. — Не в свое садитесь...

— Расходитесь, господа, прошу расходиться, мешаете движению...

Городовой верещит в холодный свисток, и, неуклюже путаясь в долгополой овчинной шубе, подбегает дворник.

— В участок!

Впереди идет плохо одетый человек, держа ребенка, с белым мертвенным лицом, за ним дворник, студент с злыми ноздрями и кучка праздных.

А на панели попрежнему царит ничем не нарушаемое тысячеголосое шуршание, и в обе стороны без перерыва течет черный людской поток. Мчатся сани, ревут автомобили. Оставляют после себя красноглазые трамваи короткие звонки и вспыхивающие, как голубая молния, длинные искры. Безумно светят электрические фонари.

— Что такое?

Помощник пристава зол, щека у него раздулась от флюса, и рот повело на сторону. Стены черны от копоти, пол заплеван, воняет дешевым табаком.

— С поста мертвое тело девяносто шестой номер прислали, — рапортует дворник.

— Ступай.

Дворник поворачивается и, как медведь, пролезает в дверь.

— Ну?

— Кто же его знает... Одежонка — худая, рвань, заколел.

А у студента трясутся губы...

— Торгует собственным ребенком... Кровь пьет... Что же это?..

Околоточный стоит, как воззрившийся лягаш с поднятым ухом, одним глазом заглядывает на побелевшее хрупкое личико.

Человек в худой одежде поворачивается к студенту, забывая обо всех остальных; лицо его дергается:

— Вы еще чего? Мало, так вы еще... Кровопивец!.. А как утром каждый день проснешься, а они: «Папаня, хлеба, хлебушка хоть бы крошечку!» А их у меня шестеро... А-а?! Вот пришли бы да накормили...

Эти два чахоточных, с ввалившимися глазами, смотрят друг на друга с неутолимой ненавистью. Откуда-то из-за дверей тянет махоркой.

— Зверье!

— Брандахлыст! Ишь, язык-то по пояс вывалил.

— А вам что угодно? Что вам угодно?

Помощник странно ворочает языком, и от злости щека дуется больше.

— Я прошу занести меня в протокол в качестве свидетеля.

— Будете занесены, будете занесены. Сделали заявление, и а-атлично!.. Господа, потрудитесь учреждение участка очистить.

Студент и публика уходят.

Помощник кричит сиплым, срывающимся голосом, и щека подпирает глаз:

— Нищенствовать!.. Попрошайничать!.. Детей морозить!.. Этапу захотел... тюрьмы!.. Составьте протокол. Покою не дадут...

И, выпятив языком больную щеку, уходит, хлопнув дверью, в присутствие.

Околоточный достает чистый лист, делает папиросу, закуривает и садится писать протокол, глотая дым и не выпуская из зубов папиросы.

— Фамилия?.. Имя?... Отчество?.. Звание?.. Губерния?.. Уезд?.. Чем занимаешься? — И осторожно дует на пепел, чтобы лег на написанное и не надо было сушить промакашкой.

— Без работы... четвертый месяц...

— Сколько детей?

— Шестеро.

— Этот самый малый?

Человек мнется.

— Да он... не мой.

Околоточный снова воззрился, как лягаш:

— Как не твой?

— Арендованный... Старуха у нас там в углу, пьяница, на паперти стоит... внучек ей будет... и сдает в аренду...

— Много платишь ей?

— Целковый в сутки.

Околоточный задумчиво глядит на него:

— Сколько набрал?

Человек переступает с ноги на ногу, чувствуя на отяжелевших руках холодящее окаменелое тельце.

— Не знаю... тут вот...

— Выкладывай.

Тот медленно, не глядя, начинает выбирать из кармана медяки; белеют и серебряные. На столе, темнея, вырастает горка.

— Ну-ну, не копайся, доставай.

— Все.

— Врешь. Ну-ка, по карману хлопни.

Тот хлопнул, — не звякает.

— Ступай.

Тот поднял брови, держа холодное тельце, шагнул к дверям и опять повернулся:

— Сделайте божескую милость... ведь шестеро... Хоть сколько-нито. Приду, ни крошки. Ведь малые, глядят, ждут, сердце переворачивается...

— А ты, видно-таки, хочешь понюхать тюрьмы да этапу. Ну!

Тот уходит, медленно скрипя промерзшими сапогами.

Околоточный торопливо докуривает папиросу, подряд затягиваясь, швыряет в угол и начинает считать, ловко раскладывая в кучки.

— Девять... девять с полтиной... десять... Десять целковых. Ишь, мошенник, вынюнил. Тертый народ...

Он подумал и улыбнулся в пространство.

— А ведь успею к *ней*... В десять смена, минут за двадцать доберусь... — и опять лицо разъехалось в улыбку. — Только куда же с этими черепками? Семен!

Влезает городовой в шинели, в шапке, с черно-подвязанными ушами.

— Чего изволите?

— Ступай вот эту мелочь разменяй на золото. Чтобы два золотых по пяти.

И крикнул вдогонку, когда тот затворял двери:

— Да новенькие чтобы!

— Слушаю.

Околоточный прошелся из угла в угол, хотел было закурить, да раздумал и спрятал портсигар. Подошел к столу, взял недописанный протокол, пробежал глазами, сложил, аккуратно разорвал на четыре части и бросил под стол в корзину.

— Извольте.

— Не фальшивые?

— Никак нет.

Околоточный попробовал на зубах и со звоном по очереди бросил на стол.

В длинном, низком, теряющемся дальним краем во мраке зале без конца стояли рядами столы с неподвижными мертвецами. Так же мертво висели над ними незажженные лампочки. Густой, неколебимый запах мертвечины.

У дверей горели две рабочие лампочки с потускневшими стеклами. На одном столе лежал труп взрослого, с высоко вздыбившимися из вскрытой грудной полости темными легкими, с запавшим животом; головы не было, и правой руки не было. На другом столе — ребенок, лет трех, с закрытыми глазками и тоненьким носиком.

Вошли двое, студент в тужурке, с желтым лицом и злыми ноздрями, и с бородкой, в штатском, должно быть, врач, сдающий на доктора медицины.

Они не спеша доканчивали начатый раньше разговор и готовили препаровочные инструменты. У доктора был свой набор в изящном футляре, обтянутом шагренем; студент достал из столика заржавленные, запятнанные и загаженные казенные.

Доктор снял пиджак, аккуратно сложил на табурете в сторонке и надел белый балахон.

— Полина Ивановна полна здоровой, бодрой жизненной силы, и отлично.

Студент, не снимая испятнанной высохшей кровью тужурки, засучил рукава, и ноздри у него раздувались.

— Я не знаю такого разделения: мужчине мы не прощаем самодовольства, общественного индиферентизма, а... а женщина— лишь бы здоровое тело да лучезарно-птичье настроение духа.

— Все можно окарикатурить...

— Почему не бывает среди мужчин синих чулок? — не слушая, говорил студент, осторожно надрезая плевру.

Доктор, нахмурившись, предварительно обежал трупик опытным глазом.

— Странно, весь низ, все ножонки, ягодица покрыты пятнами. Это прижизненные, несомненно. Как будто его щипали, что ли.

И, подумав, проговорил:

— Неизвестно даже, откуда попал.

Студент подошел, скользнул по многочисленным темневшим щипкам, по холодному личику, заостренному носику, хотел что-то вспомнить, да не вспомнил.

— И Полина Ивановна ваша к этим самодовольным принадлежит...

Близоруко нагнулся к трупу и, вдыхая густой его запах, стал копаться в легком.

Доктор сделал надрез и ловко закрыл холодное личико с востреньким носиком и затянутыми глазками сдернутой с головы кожей.

Работа шла молча.

МЕДВЕДЬ

I

Над самым берегом стояла великолепная дача, похожая на белый дворец, — в ней жили господа. Даже и не жили, они все время проводили за границей, и дача стояла пустая. Но ее охраняли и за ней ухаживали, и для этого во дворе жило много народу: дворники, сторожа, кучера, садовники, горничные, лакеи.

Жил в сторожах рязанский крестьянин, переселившийся года два назад на Кавказ с большой семьей, — старшему, Галактиону, четырнадцать лет. Жена, крепкая российская женщина, хорошая работница, вот уже полтора года лежит желтая и раздувшаяся от злой кавказской лихорадки и слабым замученным голосом все скрипит:

— Галаша, сынок, ты бы мне медвежатинки добыл, что ли. Так и вертит в носу, так и вертит, кабы съела кусочек, поздоровила, гляди. Уж так-то хочется, так-то хочется!

Жалко Галактиону матки, да как добудешь? За эти два года он отлично выучился стрелять, да на медведей отец не пускает, и некогда; то винограды вскапывать, то в огороде, то скалу порохом взрывать, — от работы некогда и оторваться.

От дачи в одну сторону тянулось бесконечное синее море, а сзади, возвышаясь друг над другом, уходили в небо горы.

Ближние были густо-зеленые, покрытые дремучими лесами; дальше синели затянутые фиолетовой дымкой, а за ними громоздились белые, как сахар, снеговые хребты.

Леса и горы тут пустынны — редко встретишь человека, но тут своя жизнь, свое население: бродят грациозные козы, а за ними серой толпой, низко опустив лобастые головы, волки. Одиноко разгуливают медведи, деловитые, наблюдательные, все примечающие, ко всему прислушивающиеся. Прыгают по деревьям белки. Раздвигая кусты могучей грудью, с треском проходят огромные, с чудовищно косматыми плечами зубры, которых во всем мире осталась только горсточка на Кавказе да в Беловежской пуще.

Много по Кавказским горам и лесам звериного и птичьего населения, — охотнику тут раздолье. Много и гадов всяких: в траве, в каменистых щелях извиваются гадюки; на припеке греются маленькие красные змейки, от укуса которых человек и зверь быстро умирают; на камнях выползают греться смертоносные скорпионы, похожие на рака. Бегают проворные сколопендры, многоножки, и серые ядовитые фаланги, похожие на большого длинного паука, охотятся на мух, ловко хватая длинными мохнатыми лапами.

II

Рано утром, в воскресенье, еще солнце не вставало, Галактион потихоньку от отца вскинул охотничий мешок с хлебом, взял подвязанное веревочкой ружье, мешочек с порохом и пулями и вышел.

Море только что проснулось, было светлое, покойное и еле заметно дымило тонким туманом утреннего дыхания. Прибой мягко, ласково шуршал, чуть набегая на мокрые голыши тонко растекающимся зеленоватым стеклом. Косо белели вдали, не разберешь — крылья ли чаек, рыбачьи ли паруса.

Галактион пошел по знакомой тропке, уходившей в горы. Лес тоже только недавно проснулся и стоял свежий, прохладный, в утреннем уборе алмазно-дрожащей росы.

Долго он шел, подымаясь выше и выше. На тропинке, загораживая ее всю, показалась маленькая горская лошадь. Ее не видно было под огромными, перекинутыми через деревянное седло чувалами, набитыми древесным углем. За ней, так же осторожно и привычно ступая по каменистой тропинке, гуськом шли еще три лошади с качающимися по бокам огромными чувалами. На четвертой, свесив длинные ноги почти до земли, ехал знакомый грузин, Давид Магарадзе.

Увидя Галактиона, он улыбнулся, ласково и приветливо кивая головой, и заговорил, останавливая лошадь, чисто по-русски, лишь с легким акцентом:

— Здравствуй! На охоту собрался!

Передние лошади сами остановились, и от их дыхания чуть шевелились по бокам огромные чувалы, а на белый, хрящеватый камень тоненькой струйкой посыпалась угольная пыль.

— Эх, вот работа у меня сейчас, а то б с тобой махнул. На Мзымте стадо коз видел, так и полыхнули в горы, только камни посыпались.

У Давида горели черные глаза — он был страстный охотник.

— А в монастыре все просят, чтоб с ружьем притти — медведи одолевают, сад весь пообломали. Ге-а... о-о!.. — гортанно крикнул он.

Шевельнулись чувалы, тронулась передняя лошадь, за ней вторая, третья, поехал и Давид, подталкивая ногами под брюхо,

ласково кивая мальчику головой. Вот на повороте на минуту показались растопыренные по бокам чувалы и скрылись. Галактион остался один. Издали донесся голос Давида.

— В монастырь зайди — просили.

— Ла-а-дно!

Деревья неподвижно стояли; в ветвях гомозились птицы; верхушки тронуло взошедшее солнце.

Долго мальчик карабкался, хватаясь за ветви и выступавшие корни. Из-под ног срывались камни и, прыгая, катились вниз, а со лба падали крупные капли пота.

Часа через два, задыхаясь, с бьющимся сердцем он выбрался из лесу на каменистую площадку. Далеко внизу расстилалось синее море.

Кругом стояли скалы, старые, потрескавшиеся. Высоко из расщелины отвесной скалы тянулась, протягивая корявые ветви, уродливая сосенка. Никто не знает, как ее занесло туда и как она держалась на бесплодном камне. Гигантские обломки были причудливо наворочены. Как будто жили здесь великаны и стали строить невиданное жилище. Сорвали с гор каменистые верхушки, сбросили и нагромоздили здесь, да потом раздумали и ушли. Так мертво все и осталось, лишь из расщелины одиноко протягивала уродливые руки корявая сосенка.

Мальчик осторожно прошел между камнями, где мелькали змеи. Площадка обрывалась отвесной стеной. Далеко внизу белело ложе высохшего ручья.

Выбрался из ущелья, перевалил горный отрог, и среди синевших гор в лесной долине открылся белевший кельями и церковью с золотым крестом монастырь.

Зашел к знакомому монаху. Монах был откормленный, краснорожий, с огромным брюхом. Он повел мальчика мимо пчельника. Кругом звенели, золотисто мелькая, пчелы.

«Хоть бы медку дал», — подумал Галактион, втягивая носом сладкий запах разогретого меда.

— Одолевают, одолевают нас медведи, — сказал монах, поправляя скуфью, — просто сладу нету. Чуть отвернешься ночью, двух-трех ульев нету, заберется, повалит и лапой все выгребет. И не укараулишь, — хитрые!

— Мне Давид говорил. С углем я его встретил.

— А далеко встретил?

— Да только что стал подыматься.

— Он вчера у нас был с углем. Просили его. Говорит, ружья не захватил, дома.

— А отчего же вы сами, отец, не стреляете их? Тут у вас раздолье, охота великолепная.

Монах присел на срубленный пень.

— Нам нельзя. Устав монастырский не велит оружия в руки брать, не токмо кровь живую проливать. Вам можно, вы в миру, а мы божье дело делаем. —

Помолчали. Галактион подумал: «Божье! Пьянствуете тут; обжираетесь, народ обманываете и заставляете на себя работать. Ружья, вишь, ему в руки нельзя взять, а бездельничать можно, — привыкли все чужими руками загребать».

Хотелось встать и уйти, а, с другой стороны, уж очень хорошо было на медведя поохотиться.

— Вот садись тут в засаду. Ночи светлые, луна. В конце сада сливы поспели, так туда стали таскаться, — все деревья пообломали.

— А вы, батюшка, ежли убью медведя, медку дайте, матке понесу, больная дюже!

— Ну, там видно будет, — уклончиво ответил монах и ушел.

III

Вечером взошла луна, и сад, и лес, и горы стали волшебными. Всюду голубые тени, в просветах листвы лунное сияние, деревья, как очарованные, и на верхушках голубоватооблитых гор зубчато чернеют леса.

Отчего все так таинственно, непонятно, все иначе, чем днем?

Галактион лежит на спине в густом малиннике на охапке душистой травы, которую нарвал на пчельнике. Над ним бездонный синий океан, и на нем высоко сияющая луна. И в ее сиянии звезды побледнели и попрятались.

Иногда наплывает жемчужное облачко, покроет, сквозя, луну. Луна бежит в одну сторону, облачко в другую. Облачко дымчато растает, а луна опять одна, и сияет на беспредельном синем океане.

Мальчик осторожно раздвигает малинник; таинственно стоят черные деревья с простертыми ветвями, и в одну сторону от них тянутся голубые тени.

Ни звука, ни шороха. Изредка в это сонное молчание впивается томительный крик маленькой совы, «сплюшки», невидимо летающей: «Сплю-у... сплю-у...» или доносятся вой, визг и крики — шакалы возятся в лесу.

Ружье, заряженное пулей, лежит возле. Галактион заводит веки, надоело ждать, а когда открывает, — все то же: молчание, покой и сияющая луна, но тени на земле передвинулись — время идет.

«Нет, видно, Михаил Иванович сегодня не заявится!»

Он решил подождать, пока луна спустится к самому лесу, и тогда уходить.

Поднял глаза — под деревом стоит человек. Присмотрелся — медведь на задних лапах внимательно осматривается и нюхает воздух. Мальчик затаил дыхание. Долго глядел и нюхал медведь. Потом, не спеша, опустился на передние лапы, подошел к дереву и обнюхал его со всех сторон. Опять поднялся неуклюже на зад-

ние лапы, неуклюже облапил дерево и полез. В его фигуре, в движениях была медлительность, медвежья неповоротливость, но не успел мальчик и глазом моргнуть, как медведь очутился на дереве и уселся на развилке ветвей.

Дерево низенькое, и Галактиону отлично видно каждое движение медведя. Он осторожно приладил рогулю, положил ружье. Стрелять хорошо и близко, только надо сразу свалить, а то задерет.

Медведь помахивал к себе лапой, очевидно, ловил сливы, но никак не мог поймать: ветви тонкие, а сливы на концах веток, и когда он нагибался, все трещало и гнулось, никак Мишка не достанет слив. Он поворочался, прислушался, потом, захватив два толстые сука, стал с силой трясти все дерево. Сливы посыпались дождем. Галактион ждал, хотелось посмотреть, что дальше будет.

В ту же минуту послышалось торопливое чавканье под деревом. Глядь, а там целое семейство диких свиней, и большое семейство: папаша, мамаша, дедушка, бабушка и целый выводок поросят, больших и маленьких. Все они торопливо подбирали с земли сливы, вкусно чавкая.

Медведь еще два раза сильно тряхнул дерево и стал спускаться, перехватывая ствол лапами.

Только коснулся земли, свиньи прыснули в кусты; и медведь с удивлением стал обнюхивать пустую землю, всю пропитанную запахом свиных следов. Походил-походил, посмотрел в одну сторону, в другую — никого. Лишь круглая, ясная луна на высоком небе, да горы неровно вырезываются зубчатым лесом на верхушках, да голубые тени от деревьев еще более передвинулись.

Мишка недовольно поурчал и опять полез на дерево, а свиньи— тут как тут, все расположились кольцом, осторожно похрюкивая в ожидании. Медведь глянул на них свирепо и стал спускаться. Свиньи моментально исчезли. Мишка снова полез, поглядывая вниз. Охватив сук, опять с силой тряхнул, сливы посыпались, шлепая о землю.

Медведь, не теряя ни секунды, неуклюже и в то же время с поразительной быстротой стал спускаться. Мальчик глянул, ухватил зубами пальцы и стал кусать: хохот душил его, до того уморительна была фигура.

Но как ни проворен был Мишка, свиньи оказались проворнее; когда он спустился, на земле только воняли их следы, а сами они рассыпались по кустам, подобрав до одной все сливы.

Медведь долго ходил, качая головой, сердито урча, на все корки «ругал» свиней и свиную породу. Становился на задние лапы, долго смотрел в кусты. Было тихо, молчаливо, пустынно. Все залито с одной стороны лунным светом, с другой лежали густо голубые тени.

Опять походил, качая головой и неодобрительно урча, грозил кому-то. И полез на дерево в третий раз. А свиньи уже стоят

кольцом вокруг дерева в ожидании. Медведь глянул на них сердито и не спешил трясти. Долго он возился, примащиваясь, потом захрустел косточкой, достал-таки, видно, сливу лапой.

Опять схватился за сук, тряхнул и в ту же секунду повис на передних лапах и повалился сверху прямо на свиней. Они с отчаянным визгом кинулись бежать, а мальчик неудержимо расхохотался и повалился на траву.

Когда поднялся, не было ни медведя, ни свиней.

Стояла одинокая ободранная слива. Сад спал. Спали осеребренные горы, все так же чернея зубчатым лесом, и бежала мимо жемчужного облака луна.

«Сплю-у!.. сплю-у!..» — томительно, с тоской, замирает в насыщенном лунном сиянии. Вдруг завозятся в лесу, нарушая молчание визгом и хохотом, шакалы, и опять тишина, и сияние неспящей луны, и горы, и неподвижный сад.

Галактион поднял ружье и сумку.

— Эх, жалко медвежатинки матке не добыл, и меду теперь не́ даст толстопузый...

Идет Галактион, хочется спать.

Да как вспомнит неуклюжий, на мгновенье повисший медвежий зад и как он повалился на свиного дедушку, громко расхохочется на весь сад.

Мальчик разыскивает на поляне свежескошенную копну, забирается в нее, — чудесно выспится до утра.

Месяц стал ниже, уже касается верхушек деревьев, — ему тоже хочется спать. Все потемнело.

ТРИ ДРУГА

I

Утреннее, не жаркое еще солнце чуть поднялось над соседней хатой и сквозь вербы задробилось золотыми лучами, а семилетний Ванятка уже слез со скамейки под образами, где ему стлала всегда матка, и выбрался из душной хаты.

Мать, худая и костлявая, с головой, повязанной ушастым платком, кидала на дворе зерно и кричала:

— Кеть, кеть, кеть, кеть!..

К ней со всех ног бежали куры, индюшки, неуклюже раскачиваясь, спешили утки, гуси. Свиньи, приподняв уши и похрюкивая, тоже торопились, разгоняя птицу, а мать на них кричала:

— Та це!

Ванятка ухватил хворостину и, радостно визжа, стал гонять хрюкавших и повизгивавших свиней.

— Гони их на улицу! — закричала мать.

Ванятка, забегая то спереди, то сзади, стегал хворостиной кидавшихся во все стороны свиней. Свиньи не выдержали и побежали в раскрытые скрипучие жердевые ворота. Только лишь старый кабан, с нависшими изо рта желтыми клыками, угрожающе остановился, повернувшись мордой к Ванятке, как будто говорил:

— Ну, ну, подойди, подойди!..

Ванятка знал, что он не одну собаку запорол клыками. А отец рассказывал, что в лугу распорол брюхо лошади, наступившей на поросенка. Лошадь, чтобы за нее не отвечать, кинули в озеро, а когда она там расползлась, — ее растащили рыбы и раки.

Ванятка подбежал к кабану, который был выше его, и, чуя его горячее вонючее дыхание, вытянул между маленьких злых кабаньих глаз хворостиной. Кабан повернулся и грузно побежал на улицу, а мать закричала:

— Не трожь, пострел! Он тебе-таки выпустит кишки... — И дала подзатыльника.

А когда Ванятка заревел на весь двор, утерла ему нос и сказала:

— Не плачь, сынок, иди в конюшню, помогай отцу, — запрягает на степь ехать.

Ванятка побежал к конюшне. Отец, подставив под телегу дугу, мазал дегтем и крутил ходко вертевшееся на приподнятой оси колесо.

Ванятка постоял, глядя хитрыми серыми глазами. Он был белобрыс, брови его выцвели от солнца и степного ветра, а нос облупился. Очень хотелось самому подмазывать телегу, макать черный помазок в ведерко с дегтем, крутить ходко вертевшееся на поднятой оси колесо, но отец все равно не позволит, а даст подзатыльника.

Ванятке хотелось все делать, что делают взрослые, а силенки нехватало.

Вот и теперь — постоял-постоял, поглядел на скособочившуюся телегу, на широкую спину наклонившегося отца и юркнул в конюшню.

В конюшне под соломенной крышей летали ласточки, а в углу, свесив губу, стоял, покачиваясь от дремоты, Пегаш. Без уздечки, без шлеи и хомута он казался голым.

Хомут висел на деревянном гвозде, вбитом в стену. Ванятка поднялся на цыпочки, достал руками хомут, а снять не может — тяжел. Ухватился за шлею и стал изо всех сил тянуть в сторону, — хомут грузно упал на навоз. Ванятка, напрягаясь, подтащил его к коленям лошади и, весь красный от натуги, приподнял и стал надевать на морду Пегашу.

Пегаш, подрагивая добрыми, мягкими губами, нагнул голову, вытянул шею, помогая надевать на себя хомут, но Ванятка никак не мог справиться, запутавшись в шлее. Наконец кое-как насунул хомут на нос, но через глаза не мог продвинуть. Пегашу надоело, и он высоко вскинул голову. Хомут сам собою ссунулся на шею, а Ванятка отчаянно завизжал: его зацепило шлеей, и он повис под лошадиной шеей. Пегашка смирно стоял,—пожевывая губами.

Мужик вошел на визг, высвободил болтавшегося в воздухе Ванятку — лицо у него было расцарапано — поставил наземь и дал такого шлепка, что тот вылетел из конюшни и с ревом побежал к матери, да не добежал: из открытого база выскочили беломордые телята и, задрав хвосты, стали носиться по двору, подбрыкивая.

Ванятка схватил хворостину и погнал их на улицу, а с улицы, обогнув сад, — на гору.

На горе потянулась степь, сколько глаз хватает, и на самом краю стояли курганы, три кургана, как три брата. За курганами отец будет косить сено.

Телята спустились в балочку и, помахивая хвостиками, стали щипать траву, а Ванятка обернулся в другую сторону и, приложив руку козырьком, стал глядеть. Под горой, за хутором тя-

нулся луг, по лугу извилисто блестела речка, темнели вербы, а дальше, теряясь обоими концами, как желтая ниточка, тянулась линия железной дороги. Телеграфные столбы стояли тоненькими палочками, и тихонько ползла длинная сороконожка — поезд; чуть белел передвигавшийся дымок.

Потом Ванятка стал смотреть в ту сторону, где в сухом тумане пропадали рельсы, — там был город. Города не было видно, а тоненько-тоненько блестела звездочка, — говорили, собор.

Долго смотрел в смутный, сизый, сухой туман, одевавший край земли, — очень хотелось глянуть хоть одним глазком, какой-такой город, какие там хаты, плетни, куры, собаки, и так ли скрипят там неподмазанные телеги, как у них по улицам.

Да забыл про город, упал на четвереньки и стал разыскивать заячью капусту. Заячья капуста топорщилась в траве мясистыми листьями. Сорвал и долго со вкусом жевал, выплевывая жевки. Потом поискал и поел щавелю. Потом сунул в муравьиное гнездо палочку и облизал с нее муравьиный сок.

В небе плавал коршун.

Ванятка огляделся. Солнце поднялось. Становилось жарко, и от зноя степь стала трепетать тонким трепетанием.

Ванятка побежал с горы, мотая руками, как крыльями, — есть захотелось.

II

Над двором стоял зной; над навозом гулко тучами зудели серые мухи, а ласточки с чиликаньем низко и мгновенно проносились.

У печурки, сложенной во дворе, возилась мать с хлебами, — к утру надо везти на покос, — и сказала:

— Кабы дожжа не было, касаточки разыгрались.

Обедали в хате только Ванятка, двухлетняя сестренка да мать, а старшие брат и сестра и отец были на покосе.

— Мамка, — сказал Ванятка, отпуская пояс на раздувшемся животе, — я к батюне пойду на покос. Чего я тут не видал!..

— Я те пойду!.. Я те так пойду, своих не узнаешь...

— Чего я тут не видал... — плаксиво тянул Ванятка.

— Цыц! Бери Нюрку да ступай на двор... Да гляди мне за ней, а то надысь нос расквасила. Ступай.

Ванятка подхватил сестренку под животик и поволок из хаты.

Во дворе все то же: зной, зудящие мухи и белогрудые ласточки, мелькая, чиликают.

Мать, убравшись с посудой, пошла месить навоз, тяжело вытаскивая из него босые, сразу ставшие грязными ноги. Потом навоз станут резать кирпичами, потом их высушат и будут зимой топить печи.

Ванятка выбрался с Нюркой на улицу; сели с ней посредине в горячую мягкую пыль и стали играть. Пришла старая свинья,

постояла около них, посмотрела и пошла кушать копеечки, которые густо росли вдоль дороги.

Ванятка вскочил, погнался было за свиньей, потом сказал, делая страшное лицо и выпучив глаза:

— Нюрка, беги скорее к матке, а то свинья съисть.

Девочка жалобно заплакала, закрыв ладошкой глазки, и, ковыляя, направилась к воротам, а Ванятка что есть духу пустился по дороге, обжигая босые ноги о горячую пыль, обогнул сад и, задыхаясь, вбежал на гору.

Внизу за хатами открылся луг, блестевшая в зное река, ниточка железной дороги, но Ванятка ничего этого не видел, а пустился бежать к трем курганам, которые стояли, как три брата.

Жесткая мелкая трава царапала босые ноги, солнце жгло. Иногда Ванятка с размаху садился на землю, хватал обеими руками ногу, выворачивал подошву, подтаскивая ее к самому лицу, слюнями оттирал налипшую пыль и грязь и, схватив черными ногтями воткнувшуюся колючку, выдергивал и опять пускался бежать.

Добежит до покоса, — трава там не такая, как тут: высокая, густая — отец ездит на громко звенящей, грохочущей косилке, управляя ножами; брат Алешка гоняет потных лошадей, а сестра Варька на кизяках варит кашу. Подойдет Ванятка, скажет: «Пусти, Алешка!» И станет сам гонять лошадей, косилка пойдет еще лучше, и отец скажет: «Ай да Ванька, молодца!..»

И вдруг вспомнил плачущую Нюрку и что его бить будут, когда вернется. Заныло сердце, приостановился, посмотрел: луг уж скрылся за далеким краем обрыва, спряталась и речка, не видно железнодорожной линии, лишь сизоватый сухой туман лежит на краю, и в нем чуть приметно звездочка сияет. А впереди — степь, и три кургана, три брата на самом краю стоят.

Опять побежал. Спустился в балочку, стал подыматься, да остановился: впереди какая-то большая рыжая птица бросилась на землю, потом взмыла, опять упала, снова сильными взмахами поднялась и снова рыжим комом упала, и что-то на траве под ней трепыхалось, что-то желтое и живое.

Ванятка что есть духу побежал и увидал, — под коршуном отбивается и кричит, как ребеночек, тоненько и жалобно зайчишка. Подымется коршун, зайчишка прыгнет раза два-три, а тот упадет на него и начнет терзать когтями и клювом, зайчишка заверещит, опять прыгнет, и опять насядет коршун.

Ванятка пронзительно закричал и бросился к зайцу, испуганно махая руками. Коршун недовольно поднялся, раскинув большие крылья; виднелся кривой нос, который он поворачивал то в ту, то в другую сторону, да лапы желтоватые, мохнатые, которые он так и не подобрал. Коршун улетел.

Зайчишка весь съежился комочком и сидел неподвижно, покорно заложив уши на спину и глядя большим выпуклым, круглым

глазом, — другой был выклеван. Шерстка на нем мягкая, как пух, — зайчишка был совсем молоденький, молочный, — и голова в крови.

Ванятка взял его на руки. Он не сопротивлялся, а подвигал лапками и улегся комочком, как в гнезде.

Ванятка, осторожно держа, понес его домой:

— Ах, ты, сердяга!.. Лапушка моя... бедненький... Ишь, проклятый, как он тебя!..

Долго шел, пока не открылся луг, речка заблестела; по линии полз поезд, белея дымком, и звездочка собора стала яснее блестеть.

— Мамунька!.. мамунька!.. — не своим голосом заорал Ванятка, вскакивая во двор, весь дрожа, с пылающим лицом, — гли, кого я поймал.

Он забыл, что его будут драть, а мать, перестав на минутку ногами месить навоз, закричала:

— Ты иде это шалаешься! Кому я велела Нюрку смотреть?.. Постой, я тебе побегаю...

Но увидев окровавленного зайца на руках, сказала:

— Это еще чего такое?.. Вот кабы увидали тебя на улице собаки, разодрали бы совсем и с зайцем.

А Ванятка весь дрожит, прижимая зайца:

— Мамуня!.. мамуня!.. мамуня!.. я его под лавку, я его под лавку... — и понес в хату.

Мать закричала:

— Куды ты эту погань!.. Вот я тебя совсем с ним на улицу выгоню.

Тогда Ванятка побежал к амбару, чтоб там устроить своего больного, но когда подбежал к дверям, заяц вдруг развернулся, как пружина, толкнул в грудь, прыгнул на землю и, не успел моргнуть Ванятка, исчез под амбаром в узкую дыру, проделанную крысами.

Ванятка упал животом на землю и, прижимаясь лицом к мелкой сухой соломе и горячей пыли, долго глядел в дыру, но там было черно и пусто.

— Ванятка!.. — закричала мать, бросила месить и, слегка обтерев нога об ногу навоз, подошла и оттаскала за вихры.

III

А ночью случилась гроза, — недаром так припекало днем, и низко летали касаточки. Ванятка спал под образами на лавке. Спал он всегда крепко и ничего никогда не слыхал, а сегодня чудилось, бегает будто по степи, а за ним гоняется коршун, и будто нос у коршуна кривой, а глаз один вывернутый, красный. И вдруг сквозь веки почуял, кто-то заглянул яркосиний, режущий. И опять заглянул, да так нестерпимо, что Ванятка открыл глаза.

Сквозь щели ставен лился ослепительно синеватый, почти белый свет, несколько секунд лился, дрожа, потом погас, и стало непроглядно черно, глухо. Ванятка зажмурился, а сквозь веки опять на секунду заглянул ослепительный свет и погас.

Ванятка вскочил, ничего не видя. Стало невыразимо страшно, не оттого, что вспыхивал этот ослепительный даже сквозь веки свет, а оттого, что вспыхивал он молча. Когда погас, в темноте стояло глухое молчание, и Ванятка закричал:

— Мамуня-а!..

Мать спала на кровати с маленькой сестренкой; Ванятка сполз на пол и, натыкаясь на стол, на скамейки, стал пробираться к кровати. Пошарил — пусто. Опять сквозь щели полился свет, и Ванятка увидал, матери нет, а Нюрка, прильнув к подушке, тихонько подсвистывала носом.

Снова все стало черно, глухо. Ванятка кинулся к выходу, нащупал дверь, и когда отворил, все увидал, яркое и отчетливое: пустой двор, корыто посредине, плетни и белый, как кипень, нетрепещущий тополь.

— Мамка-а!.. — закричал он в темноте и побежал к базам, — должно быть, мать пошла подпереть двери, чтоб скотина не разбежалась.

Но когда все кругом снова замерцало в ослепительном свете, он увидал, что возле не базы, а плетень в соседний сад. Сейчас же все потухло, и Ванятка, протянув руки, побежал к базам, а когда осветило, увидал, что лазает у конюшни.

Заворчал гром. Упали тяжелые капли. Плача, натыкаясь то на плетень, то на кучу соломы или навоза, метался Ванятка, зовя мать.

Густо посыпал дождь. Гром раскатывался, заполняя все небо. И хоть часто, почти без перерыва, светила молния, сквозь мелькающую, мутно-белесую сетку дождя ничего не было видно.

Отдавшись отчаянию, весь мокрый, Ванятка, как стоял, сел на корточки, не зная, где он, и горько всхлипывал, глотая слезы вместе с сбегавшим по лицу дождем.

А гром то оглушал потрясающим треском, то ровно, как множество колес, раскатывался во всех направлениях, то, глухо ворча, смолкал. Тогда, слышно было, шумел дождь, и с томительными промежутками вспыхивал синевато-беспредельный свет, трепетно отражаясь в бегущих всюду ручьях.

— Мамулька-а... мамка-а... ы-ы-ы...

И вдруг прислушался: возле, у самых ног, кто-то бесконечно жалобно и беспомощно вякал. Ванятка протянул руки и нащупал мокрого, грязного, слабо ворочавшегося щенка. Верно, кто-нибудь выбросил, и щенок прибился к воротам.

Сразу прошел страх, ощущение заброшенности, одиночества. Ванятка поднял щенка, прижал, чувствуя, как он теплеет, тыкается мордочкой в грудь, и пошел, сразу разбирая, что он сидел под плетнем у ворот.

Молния широко осветила растворенную дверь в хату.

В комнате, освещаемая побледневшей и поредевшей молнией, мать беспокойно шарила по лавке:

— Ты где делся?.. Ванятка!..

Ванятка осторожно пробирался к своей лавке, и вода бежала с него, оставляя лужи. Очень хотелось ему рассказать матери о своей находке, да побоялся, и, прижав пригревшегося щенка, крепко и сладко заснул. Заснул, и приснилось ему, будто опять налетает коршун, клюет и больно бьет его крыльями.

Вскочил испуганно, а это мать больно шлепает его рукой, и уже день на дворе.

— Это что за моду взял!.. Не таскайся, не таскайся!.. Все запакостил... Вот тебе!.. Вот тебе!..

Потом схватила жалобно завизжавшего щенка и понесла во двор и за воротами выкинула в лопухи.

Ванятка бежал за ней плача. А когда ушла, подобрал щенка, принес к амбару и устроил ему из соломы гнездо в старой кошёлке.

Так завелось у Ванятки свое хозяйство.

Заяц долго сидел под амбаром, да голод не тетка, и в конце концов высунулся из дыры, выставив мордочку, торопливо обнюхивая подвижными ноздрями воздух. Больной глаз заструпился, втянуло его, стал подживать. Здоровый, большой, круглый и любопытный, глядел осторожно.

Ванятка клал около дыры под амбаром кусочки хлеба, молодые капустные листья, ставил молоко в кринке, приносил из степи заячьей капусты, и заяц все подбирал. Стал есть из рук и день ото дня ручнел.

Вот только собаки одолевали. Как только приедет под праздник отец с поля, собаки придут за телегой и, как звери, кидаются к амбару, а заяц юркнет в дыру и уже не показывается. Собаки визжат, роют лапами, да не достать.

Да и отец был недоволен и раза два больно оттрепал за волосы Ванятку, чтоб делом занимался, а не баловался с зайцем.

Дела же у Ванятки всегда было много, как и у всех во дворе. Когда лошади были дома, гонял лошадей и быков на водопой, выгонял телят на гору, возил отцу на ближний покос хлеба, пшена, глядел за Нюркой. Зато в каждую свободную минуту бежал к амбару и проводил время с друзьями.

Щенок и заяц подросли и выравнялись, привыкли друг к другу и презабавно играли. Щенок облапит зайца, поймает за шиворот и начинает немилосердно таскать. Заяц встанет на задние лапы — да так забарабанит передними по морде, что щенок повалится на спину и начинает отбиваться, сердито повизгивая. А Ванятка покатывается со смеху.

Только взрослые досаждали Ванятке: гонялись за зайцем, травили собаками. Но заяц перестал бояться собак: погонятся за ним, он под амбар; а если посреди двора окружат, вскочит в те-

легу или в сени забьется, а раз вскочил в большую кадку с резаной соломой. Собаки прыгают кругом, а достать не могут; увидал Ванятка, выручил.

Щенок и заяц спали вместе в кошёлке, свернувшись клубочком. А утром рано, чуть зорька низко закраснеется за дальними вербами, щенок и заяц являются к окну, за которым спит Ванятка, станут на задние лапы и заглядывают. Щенок повизгивает, а заяц вдруг забарабанит по стеклу, да так, что, того и гляди, стекло вылетит.

Увидит мать и прогонит хворостиной, а не увидит, Ванятка откроет окошко и даст каждому по корочке хлебца, припасенной с вечера.

IV

Однажды случилось событие, которое не только помирило всех с зайцем и щенком, но и доставило обоим почетное положение.

Лето перевалило за Ильин день. Пшеницу сняли, и все стали готовить катки и молотилки.

Отец Ванятки тоже целый день налаживал каменные катки, чтоб утром на заре отвезти их на поле и начать молотьбу.

Ночь была черная, ветреная, — суховей трепал в темноте вербы и тополя, кружил по темному двору соломинки и сухие камышинки. Все крепко спали. Собаки полаяли с вечера и тоже дремали, свернувшись под телегой. Заяц со щенком забились под амбар.

С улицы, осторожно скрипнув жердевыми воротами, вошли три человека; у одного был лом. Собаки с ревом вырвались из-под телеги. Им бросили несколько кусков сала с отравой. Они похватали, сейчас же стали кататься в судорогах и неподвижно вытянулись.

Три человека стали ломать замок у конюшни, из-под амбара выскочил щенок и, вертясь около ног, стал тявкать. Тот, что держал лом, ударил им щенка, но в темноте задел лишь слегка. Щенок отчаянно завизжал и понесся, поджав одну ногу, к ваняткиному окну; заяц испуганно помчался за ним. Под окном щенок, надрываясь, визжал, метался, а заяц стал на задние лапы и забарабанил в стекло.

Услыхал ваняткин отец, схватил ружье, вышел на двор, покликал собак, — никто не отзывался. Это показалось подозрительным, и он выстрелил в воздух. Потом позвал старшего сына, вместе осмотрели двор, нашли дохлых собак, а на дверях конюшни погнутую дужку замка; воров и след простыл, — не успели сломать замка.

С этих пор и щенок и заяц стали полноправными гражданами во дворе. Мать ваняткина стала обоих кормить.

— Ничего, пущай растет, — говорил ваняткин отец, трепля

радостно лизавшего руки щенка, — пущай растет, сторожем будет. Ишь, рот черный, — злой будет.

И дали клички: щенку — Забияка, а зайцу — Одноглазый. Они привыкли и прибегали на клички.

К осени Забияка выравнялся в хорошую собаку, облохматился, а кругом морды и около глаз выросли косматые, торчком стоящие усы и баки, что придавало ему свирепый вид. А Одноглазый стал белеть.

Ванятка не расставался с ними. Куда бы он ни шел, впереди трусил лохматый, дымчатый Забияка, с косматой свирепой мордой, а сзади Одноглазый сделает два-три скачка, станет столбиком и поводит ушами, а там опять прыгнет и опять постоит и послушает. Если выскочат собаки, Одноглазый перемахнет через плетень и исчезнет в саду, а там его лови не лови, не поймаешь.

Ванятка пройдет дальше, оглянется, а Одноглазый опять тут, прыгнет, прыгнет, станет и пошевелит ушами.

Зато и Ванятка любил их. Бывало, сядет на землю, обнимет с одной стороны Одноглазого, с другой — Забияку, сидит и рассказывает им, как людям, по целым часам. А они понимают: Одноглазый пошевеливает ушами, а Забияка, нет-нет, да и лизнет Ванятку в лицо, за что получает легонький тумак. И всяким сладким куском делился с ними Ванятка.

V

Пришел сентябрь. Все ваняткины товарищи ходили в школу. Скучно стало Ванятке, и говорит он как-то отцу:

— Батя, слышь, отдай в училище... Ну, чего я тут... Слышь, отдай.

Отец почесал поясницу, поглядел на серое небо, по которому скучно летели вороны, и сказал:

— Постой, сынок, рано тебе, пущай эта зима пройдет, а на тот год отдам.

— Отда-ай, батя... отда-ай... — упрямо хныкал Ванятка.

— Цыц! Сказываю, на будущий год.

Ванятка замолчал, но задумал свое.

Пошли дожди. Деревья трепались в холодном ветре, который обрывал последние крутившиеся листья и заливал окна сбегающими ручьями. По лужам, покрывавшим целыми озерами черневшие от грязи улицы, вскакивали и лопались дождевые пузыри. Стало неуютно, безлюдно, скучно. Одноглазый и Забияка целыми часами спали под амбаром.

Ванятка улучил минуту, достал с полатей старые отцовские сапоги и вставил туда ноги. На спину и на голову углом накинул от дождя мешок и отправился.

До училища было три версты. Грязь стояла непролазная. Колеса вязли по ступицу, лошади едва вытаскивали ноги.

Ванятка на улице сейчас же утонул сапогами, и когда потащил ноги, они вылезли из сапог. Тогда он ухватился за голенище, вытянул сапог и переставил одну ногу; потом ухватился за голенище другого сапога, переставил, — так и стал передвигаться, переставляя ноги.

В пот ударило Ванятку. Он разогнулся и глянул назад: уныло опустив голову и хвост и вытаскивая грязные лапы, плелся Забияка, а за ним то присядет, то прыгнет Одноглазый, по самые уши в грязи.

Ванятка замахнулся:

— Уйдите вы! Вам нельзя... Пошли, пошли!..

Забияка покорно завилял хвостом, с которого текла грязь, а Одноглазый недоумевающе поводил ушами.

Ванятка стал швырять в них грязью, а они не понимали, за что это.

— Пошли!.. Убью... — кричал Ваня, отогнал и опять побрел, утопая в грязи.

Косой дождь все так же сек лицо и заливался за шею и в рукава. Итти было мучительно тяжело. Только когда выбрался на полугорье и пошел косогором по каменистому хрящу, стало суше.

Вдали из-за сада показалось белое здание школы. Ваня, подходя к училищу, оглянулся: Забияка, нагнув голову, хитро крался, а Одноглазый стоял столбиком, пошевеливая ушами.

Ваня опять с отчаянием стал швырять в них камнями, комьями грязи, со слезами озлобления крича. Забияка, поджав хвост, мокрый и жалкий, побежал под дождем домой, а за ним, то задерживаясь, то скачками, пошел Одноглазый. Выскочила откуда-то, тявкая, собачонка, и заяц умчался.

Ваня обтер в сенях свои чудовищные сапоги и вошел в школу. Там стоял невероятный содом, гам, шум — была перемена.

Ребятишки накинулись на Ваню:

— А-а, зайчиный отец!..

— Ванька, здорово!..

Ваня стоял посреди них, не зная, что делать. Когда пробил звонок, все повалили в класс. Ваня, шмурыгая по полу сапогами, которые он с трудом поднимал, вошел вслед за другими и примостился на краешке парты.

Вошел учитель. Все закричали:

— Новичок! Новичок!

Учитель подошел к Ване:

— Ты чей?

Ваня стоял, упорно глядя в пол.

— Ну, что ж ты не говоришь? Чей же ты?

— Мамкин, — угрюмо сказал Ваня, все глядя в пол.

Ребятишки покатились от хохота и закричали:

— Заячий хозяин...

— Он Щербаков... Щербака рыжего сын.

Учитель улыбнулся.

— Зачем же ты пришел?

— Букварь.

Все опять засмеялись.

— Сколько тебе лет?

— Об рождестве девятый пойдет.

— Видишь, хлопец, ты еще мал; приходи на тот год.

— Я реветь буду, — все так же хмуро заявил Ваня.

Учитель опять улыбнулся и ласково погладил его по голове.

— Ну, хорошо, оставайся пока; слушай, о чем тут говорят; я сам поговорю с отцом.

Класс стал заниматься, а Ваня, напрягаясь и морща лоб, слушал, ничего не понимая, и чувствовал себя, как в церкви.

Урок подходил к концу. Вдруг все головы повернулись к окну, и учитель остановился на полуслове: в омытом дождем стекле виднелись две морды, внимательно глядевшие в комнату, — одна косматая, другая с длинными ушами.

Ребятишки захохотали.

— Это что такое? — спросил учитель.

— Это ванькин кобель да заяц.

— Одноглазый...

— На задних ногах стоят...

— Они у него выучены...

Учитель строго сказал:

— Это не годится. Нельзя так.

Ваня горько разрыдался:

— Я их убью. Я их прогонял, они не слухают. Я их собаками зацукаю...

Учитель, успокаивая, опять ласково погладил по голове:

— Ну, ничего, ничего, успокойся. Только не бери их с собой в другой раз.

Потом позвал сторожа и что-то сказал ему. Сторож, стуча в сенях сапогами, хлопнул наружной дверью, и в стекле разом исчезли и косматая и ушастая морды.

Когда Ваня ворочался, на косогоре его ждали и Забияка и Одноглазый, невыразимо грязные. Забияка, радостно визжа, прыгал и лизал в лицо, а Одноглазый становился столбиком и барабанил по коленям. Ванятка ласкал обоих и, радостный и счастливый, держась руками за голенища, чтобы не вылезли ноги, добрался домой.

VI

Пришел март. Снега быстро таяли, шумели овраги, птицы летели с юга, и солнце безоблачно сияло.

Ваня каждый день ходил в школу, но ни Забияка, ни Одноглазый его уже не провожали.

С зайцем стало делаться что-то странное. Стал он беспокоен,

пуглив, поминутно навастривал уши, не давался в руки. И однажды исчез.

Долго ходил и искал его Ванятка, — нигде не было. Только, когда однажды выбрался на гору, на талом снегу увидел обтаявшие заячьи следы: большими скачками, видно, уходил в степь и уже больше не ворочался.

Только раз летом на покосе видел Ваня, как по скошенному месту прокатился крупный заяц, остановился на секунду, присел, повел ушами и исчез, мелькнув в траве. Своя, видно, началась жизнь.

А у Вани и Забияки тоже у каждого своя была жизнь: Забияка зло сторожил двор, лошадей, скотину, днем и ночью не подпуская к дому никого. Стал он еще космагее, вечно в орепьях, с мотающимися комками грязи на лохмах.

Ваня летом не покладая рук работал во дворе, в поле, ездил на мельницу, возил на станцию хлеб, а зимой в отцовских валенках бегал в школу.

ЗМЕИНАЯ ЛУЖА

I

Хата стояла на взгорье. Выше нее проходила ласковая песчаная дорога, по которой беззвучно катились колеса и так же беззвучно вязли лошадиные копыта. А еще выше темнели вишневые сады, подымаясь до самого гребня, а за гребнем потянулась степь без конца и краю, только не видно было ее снизу.

Под хатой желтел глинистый обрыв. И хата белым пятном, и обрыв желтизной отражались в ставу, который неподвижен, как стекло. Отражались в нем на той стороне погнувшиеся камыши и лозняк, и старые прибрежные раскоряченные вербы, на которых ветки, как пальцы, торчали во все стороны из макушки толстого дуплистого ствола.

За плотиной ровным, неизменным шумом шумела мельница, у которой видна только крыша. По колено в воде неподвижно часами стоял красный скот; возились утки, ныряя одной головой, и долго выбирали что-то в тине, пошлепывая плоскими носами. На берегу неподвижно и важно белели, стоя на одной ноге, гуси. Было тихо, спокойно и сонно, как будто кто-то важный отдыхал и не тревожили его мирного отдыха.

Возле хаты маленький, тесненький дворик, тоже засыпанный песком, — сверху с дороги сыпался. И чего только тут не понастроили: и маленькая конюшня под взлохмаченной соломенной крышей, и плетневый, обмазанный глиной сарайчик, и курятник, и закута для свиней. Тут же ходили куры, разрывая песок; хрюкали свиньи; лениво валялись врастяжку собаки, и, свесив губу, дремала, покачиваясь, возле дрог старая лошадь. Ступить негде было в тесноте, да некуда было дворику податься, — сверху дорога теснила, снизу обрыв прижимал.

В хате, видно, никого не было, — молча смотрела она сизыми окнами, только перед чернеющей щелью неприкрытой двери столбом толклись назойливые мухи.

За жердевыми, всегда открытыми воротами кто-то тихо поскрипывал колесами, так тихо, что собаки не шевельнулись. Вдруг услышали, с отчаянным лаем выскочили и сейчас же замолчали, виляя хвостами и умильно улыбаясь: в ворота въезжал, свесив вожжи, на бланкарде хозяин, с черной густой подстриженной бородой, острыми глазами, плечистый, в картузе.

Белолобая, белоногая рыжая лошадь осторожно, не цепляя, ввезла в ворота бланкарду и, раздувая ноздри, легонько заржала: дескать, тут я, овсеца бы! В дворике совсем стало негде повернуться.

— Эй, кто там? — сказал хозяин крепким басистым голосом, слезая.

В ответ только курица, квохча, что-то проговорила, да старая лошадь чуть приоткрыла глаз, около которого вились надоедливо мухи, и опять задремала. Из-за плотины доносились звуки валька.

— Все разбежались...

Хозяин скинул кафтан и стал распрягать белолобого, а рыжая собака, с косматой мордой, с отяжелевшим от орепьев хвостом, все улыбалась, прижимая уши, как будто хотела сказать: «Ну, вот и приехали...» И терлась о ногу лошади, которая недовольно переступала.

Снизу с пруда кто-то по-детски свистнул, и собаки опрометью кинулись в ворота, а тонкий голосок прокричал:

— А тю-тю-тю-у-у!

Собаки с лаем погнали по дороге хрюкавших и поднявших уши свиней. Из-под обрыва показался мальчик лет восьми, с острыми, как у отца, глазами, в ситцевой, без пояса, рубашонке, на которой сплошь налипла черными комьями присохшая грязь. Он держал в согнутых руках странно выделанные черные фигурки.

— Куда все делись? — спросил отец, не глядя и продолжая распрягать.

— Матка за плотиной белье баиит. Гашка пошла на мельницу зерна курам взять, а Иван в кузню — обтянуть колесо, а Нюрка с маткой. Батя, видал — я наделал? Во — Белоногой, во — Барбос, а это Петька наш, а это Кабанец...

Мальчик торопливо сел возле отца на песок и стал расставлять фигурки, вылепленные из грязи. Отец, топча песок большими, пахнущими дегтем сапогами, продолжал распрягать, не обращая внимания на мальчика.

— Это — Белоногой. Вишь, ноги его белоглинкой натер, а бока красноглинкой, чтоб рыжий стал, а заместо глаз по просяному зернышку вставил, а хвост из метелки с камыша... А Петьке сизое перо вставил... Батя, отчего у петухов сизые перья в хвосте да у селезней еще? А это наш Барбос. Видал, ему орепьев в хвост настромил. Он завсегда в орепьях. А хвост из овчинки пришил. Бать, отчего с собак овчину не дерут на тулупы? А теперича я сделаю нашу хату и двор, и все, что в нем. У тебя хозяйство

и у меня хозяйство. Буду, как ты, извозничать. А платить мне будут? Сколько? На вокзал — сорок; мешок муки отвезть — тридцать копеек. Две лошади заведу, на одной — ездить, а другая — отдыхать. Батя...

— Чего ты тут под ногами елозишь? Это что — рубаху всю опакостил в грязь? Ишь, чем займается... Ты бы дело делал... Вон Белоногому давно овса пора дать. Ах, ты, свинячья требуха!..

И стал топтать большими, толстыми, как глыбы, сапогами расставленные фигурки, а мальчика крепко и больно схватил за ухо. Мальчик отогнул от боли голову, увидел, как под сапогами все его хозяйство превратилось в кусочки засохшей грязи, побледнел, как стена, весь затрясся, куснул отца за корявую мозолистую руку, вырвал сразу опухшее ухо и так пронзительно завизжал, что куры беспокойно закудахтали, старая лошадь опять приоткрыла глаз и подергала губой, а собаки повиляли хвостами, потом кинулся бежать, захлебываясь от злобы и слез.

— Гаврилка, куды т-ты?! Задеру, как сидорову козу!..

Но мальчишка летел без оглядки, спустился по заворачивавшей к плотине дороге, пролетел, продолжая визжать, по плотине и, нагнув голову, ринулся в заросли. Гибкие лозины хлестали его по лицу, размытые весенней водой корневища рвали босые ноги, а он все бежал, перепрыгивая, пробираясь сквозь попадавшиеся камыши и осоку, которые резали лицо и руки. Иногда попадал в колдобины, наполненные водой и грязью. Наконец, задыхаясь, остановился.

Сзади, из-за плотины, сквозь шум мельницы, доносились удары валька. Сквозь лозняк и камыш краснел на той стороне глинистый обрыв, виднелся дворик, где распряженные лошади, дроги, бланкарда, а когда опустил глаза, увидал все это в ставу: и обрыв, и дворик, и лошадей, и белую хату, и все было такое отчетливое, яркое, с мельчайшими подробностями, что он не знал, где настоящее действительное, не то наверху, не то внизу. Может быть, снизу тоже настоящее, живое. А то отчего же эта опрокинутая хатка такая белая, белая, как кипень, как будто матка только что побелила ее мелом?

Гаврилка долго стоял, смотрел, вытянув шею; вода пропадала из глаз, а вместо нее голубело небо, белели гуси, стоял по колено в воде красный скот, — только все вверх ногами. Но когда вспугнутые утки, покрякивая, проплывали, по всему ставу побежали прозрачные, как стекло, морщины, и опрокинутое небо, и обрыв, и хатка заколебались и помутнели.

Тогда Гаврилка опять вспомнил, как его обидели, заскулил, схватил засохший ком грязи и пустил в свой двор. Ком долетел только до середины става, упал, и по воде побежали торопливые круги. А Гаврилка, утирая кулаками слезы, размазывая грязь по лицу и подсмаркивая, пошел прочь от става.

Среди зарослей лозняка и камышей попадались прогалины с

лужицами, а в них такая теплая вода, точно кто пролил еще неостывший кипяток. Гаврилка с наслаждением влез босыми ногами и стал болтаться в горячей жидкой грязи и воде. Да вдруг вспомнил, что тут змеиное место, — в прошлом году два теленка сдохло, змеи укусили.

Гаврилка разом прыгнул на сухое место и встал неподвижно, вытянувшись на цыпочках, с хворостиной в руке, карауля, чтобы не ужалила за босые ноги.

Когда муть улеглась, стало видно в посветлевшей воде, как торопливо по краям извилисто плавали маленькие змееныши, испуганно выбираясь на скользкий мокрый берег, — много их тут выводилось. А траву кто-то шевелил убегающими зигзагами.

Гаврилка остро вглядывался и вдруг увидел серую большую змею со стрельчатой головой и черной извилистой полосой на спине. Она осторожно пробиралась из камышей и шевелила траву возле лужи.

Гаврилка хватил ее хворостиной. Змея мгновенно свернулась спиралью и закачала головой, блестя раздраженными глазами, раскрыв пасть, шипя и показывая раздвоенный язычок. Гаврилка стал беспощадно хлестать ее, отскакивая при малейшем ее движении, чтоб оберечь ноги. Змея, все так же шипя и показывая язычок, быстро поползла в траву. В последний момент Гаврилка нагнулся, неуловимым движением, с похолодевшим от страха затылком схватил исчезавшую в траве змею за хвост, выдернул, как веревку, и быстро завертел в воздухе, выпучив глаза, отодвигая назад голову и оскалив зубы.

Змея делала отчаянные усилия свернуться и схватить его за палец, но от быстрого движения летала вокруг руки, вытянувшись, как палка. Все так же вертя, Гаврилка, что есть силы, хлопнул ею о землю, и она осталась неподвижной. Потом разбил ей голову сухими комьями. Сел на корточки и стал разглядывать, вороша хворостинкой.

— Замучила, проклятая. Ага, теперь не будешь!

Он долго рассматривал ее спину, по которой кто-то вычертил странный черный узор.

— Как нарисовано! Вот-то чудно!..

Потом стал опять ловить. Убил одну большую и штук пять маленьких. Этих он просто засекал хворостиной.

Пока возился, солнце перевалило за вербы и дробилось золотом лучей сквозь ветви. Мельница попрежнему шумела. На той стороне пригнали стадо; слышно было щелканье бича, шум копыт в воде, мычание.

— Гаврилка-а!.. — доносилось с того берега, — Гаврилка-а, иди вечеря-ать!..

«Ага, что!.. Покричи-ка, а вот не пойду... — думал Гаврилка, стоя около убитых змей, — есть дюже хочется».

Прислушался — никак коровы идут с луга. Гаврилка осторожно выбрался из зарослей, похлопывая хворостиной по траве.

чтоб не наступить на змею. Коровы важно шли домой друг за дружкой, медленно прожевывая жвачку.

— Буренка! — радостно позвал Гаврилка.

Черная с белой отметиной корова остановилась, повернула голову на знакомый голос, глянула выпуклыми блестящими глазами, отвернулась и опять важно пошла, медленно жуя жвачку.

— Буренушка, дай молочка, есть хочется, кожа лопается.

Он подбежал к корове и придержал за рог. Та остановилась, не оборачиваясь и жуя. Гаврилка припал губами к переполненному вымени и стал сосать молоко, которое бежало у него по щеке и подбородку. Корова стояла смирно, потом переступила ногой, от чего Гаврилка полетел на траву, и пошла.

Гаврилка встал, вытер губы.

— Ничего, Буренушка, спасибо, вот хорошо... повечерял.

Он опять пробрался к ставу, сел под ветлой и стал смотреть. Стадо угнали. Ушли и гуси, только утки продолжали торопливо шлепать широкими носами в тине. Да хата висела, опрокинувшись в воде, сначала белая, потом стала розоветь все больше и больше; видно, солнце садилось за лугом, оставляя красную зарю. По воде легли длинные тени.

Гаврилка сидел, охватив колени, и глядел, не спуская глаз, как зачарованный. Эти меняющиеся световые пятна отражения, то белые, то розовые, то вдруг подернувшиеся тонкой фиолетовой дымкой заката, не давали оторваться глазу. Перед мальчиком точно звучала музыка меняющихся цветов.

Закат погас, и все погасло и в воде, и на земле, и отражения повисли, темные и смутные, а в небе зажглись звезды.

— Гаврю-у-шка-а!.. Иде ты, пострел, запропал?.. Иди домой, а то драть будут.

«Ага, покричи, покричи... Не пойду, вот и все...»

Слышны голоса в дворике: то с хрипотой бас отца, то беспокойный испуганный голос матери, то Ивана, старшего брата, то звонкий гашкин голос.

— А, може, утонул.

— Но-о, утонул! Вот придет, я его прохворощу хворостиной.

— А, може, на слободу побежал, к дяденьке?

Ночь густеет. Вода, как вороново крыло. Отражения почернели и слились с темнотой. Тот берег стоит смутной стеной, и не видно ни хаты, ни двора, ни вишневых садов за дорогой, — все темно, пусто, молчаливо; должно быть, все спать легли.

Спокойные, ослабленные расстоянием и от этого мягкие навевающие дремоту удары церковного колокола доносятся с того края слободы... Три, четыре... семь... девять, десять!..

Сонно лают далекие собаки. Спать!

Гаврилка подымается, да вдруг вспоминает про убитых змей, минуту колеблется, потом смело лезет в лозняк, чутьем находит похолодевшую лужу, бьет перед собой палкой, чтоб разогнать гадов, ощупью поддевает дохлых змей на палку и берегом, по-

том молчаливой плотиной воровски пробирается домой, держа перед собой перевесившихся на палке змей.

Во дворе тихо; спят. Собаки молча ластятся; в конюшне звучно жуют лошади, в сарае вздыхает корова, а под дрогами на разостланной полсти храпит отец.

Гаврилка аккуратно развешивает дохлых змей на дрогах, над отцом, пробирается на сеновал и сладко засыпает. И сейчас же к нему приходят странные сны. Снится ему, будто лошади у них зеленые, с красными глазами, а собаки голубые, и будто у отца на лице черный извилистый узор, как на змеиной шкуре. И будто лошади покраснели, как хата на вечерней заре, а с отца черные узоры поползли и стали извилисто ползать по всему двору, забираясь на дроги, на плетни, на дорогу — деваться от них некуда. И Гаврилке стало страшно. Он стал решать, в яве это или во сне, и закричал: «Мама!..»

Открыл глаза, щели золотятся от яркого солнца, — уже утро. И сразу догадался, что не он кричит, а во дворе голос отца сердито:

— Ишь, видал, чего наделал! Дохлых змеев по всем дрогам навешал. Ну, пущай только придет, я ему кожу поштопаю.

А Гаврилка слышит, сладко заводит глаза и сквозь улыбку отдается неодолимому детскому сну.

II

Разыскали Гаврилку только к обеду, когда солнце стояло прямо над прудом, до самого дна погружая в него ослепительные лучи.

Иван, старший брат его, которому на будущий год итти в солдаты, полез доставать сена для дрог — ехать на шахты за каменным углем, и увидал Гаврилку. Взял за ухо, вытащил во двор.

— Вот он, прятальщик... А-а, попался!

Гаврилку ослепил солнечный свет, нестерпимо яркие белизной стены хаты, пятна кур, собак, вишневых садов, как будто все это видел в первый раз, — и ласточки, чирикая, носились над двором.

— О-ой, пусти, а то укушу!..

Вышла мать. Глаза у нее набрякли, — целую ночь проплакала, боялась, не утонул ли Гаврилка. Отца не было.

— Ну, иди в хату, поешь; свиные полдни, а он вылеживает. Вот погоди, приедет ужо отец, он те даст встрепку! — сердито говорила мать, а Гаврилка чувствовал, как она его любит, боится за него.

Она пошла на речку с бельем — полоскать, ведя маленькую Нюру, которая держалась за подол, а Гаврилка юркнул в хату. На чисто выскобленном столе миска горячих щей. Гаврилка жадно хлебает, проголодался, а сам пялит глаза по стенам, —

все стены в картинках, которые он поприлепил, которые он собирает в сору около лавок, возле церкви, на большой дороге. Тут и газетные иллюстрации, и крышки с конфетных коробок, и брошенные, затоптанные в песок рекламные картинки, которые он тщательно собирал, расправлял, очищал от грязи и налеплял на стену.

Потом стал глядеть на синих петухов, которых мать понарисовала синькой на печке. Они были куцые, с двумя палочками вместо ног. Мать в чистоте держала хату, все было вымыто, выскреблено, вычищено, и стены и печь ярко выбелены мелом.

Гаврилка долго смотрел на петухов, сорвался, бросил ложку, достал с полки завязанную в узелок синьку, развел ее слюнями и стал подрисовывать петухов.

— Разве у них такие ноги? — говорил он, сидя на корточках перед петухами, — у них лапы. А позади в хвосте перья вон какие. Это только у мельника-козла кот Васька — куцый, да и то он сам ему отрубил хвост.

И он стал пририсовывать петухам великолепные хвосты, похожие на изогнутые серпы. Потом полез в угол, достал красной глины и стал протирать ею бока петухам.

— Разве петухи синие? Наш Петька весь красный, как огонь. Сизые перья у него только в хвосте да на шее. Да разве петухи бывают такие малые? Они всегда больше курей, а это цыплята.

Когда с речки воротилась мать, усталая и разморенная, всплеснула руками, — вся хата, стены, печка, была в огромных красных петухах с великолепными синими изогнутыми перьями в хвостах.

Мать ахнула, а вечером отец больно отодрал Гаврилку.

Семья извозчика жила крепкой, трудовой жизнью, как и все в слободе. Земли у него не было, а держал две лошади, возил дачников с вокзала и на вокзал, купцов в город, уголь с шахт. Все собирался прикупить третью лошадь, да нехватало.

Иван ходил работать по экономиям, жил и в городе работником. Двенадцатилетняя Гашка нанималась на огороды на полку, работала по садам, а на будущую зиму решили ее отвезти в город, сдать в услужение.

На Гаврилке лежала забота о лошадях: засыпать овса, дать сена, напоить во-время. Иногда и он возил дачников на вокзал. Только маленькая двухлетняя Нюрка ничего не делала и все тянулась за подолом матери. Но как ни бились все, еле-еле сводили концы с концами, и Гаврилка знал, что оттого отец его хмур, неразговорчив, с тяжелой рукой, а мать худая, костлявая, как загнанная кляча. Впрочем, Гаврилка не думал об этом, а просто тянулся к работе, как все, а в свободную минуту бегал и играл, забывая обо всем.

Раз сидели всей семьей посреди двора и ужинали на разостланной чистой дерюжке под звездами.

Шумела мельница.

Отец облизал деревянную ложку, вытер корявой рукой усы и бороду, положил ложку на край глиняной чашки и сказал:

— Иван, слышь, никак без того не обернемся, не иначе — придется тебе иттить на шахты.

Иван тоже захватил в рот всю ложку, тщательно облизал ее, вытер рукой безусые губы и сказал:

— Ну-к, что ж, иттить так иттить!

Мать горестно утерла слезинку, а отец сказал:

— Иттить тебе в солдаты, останусь без работника, никак не обойтиться без третьей лошади. Беспременно надо заработать на лошадь, а, сказывают, ноне на шахтах по два с четвертаком дают, недостача народу.

— Работа-то чижолая, — сказала мать так же горестно. Да не договорила, отец прикрикнул.

А работа в шахтах действительно, должно быть, была тяжелая. Когда через два месяца вернулся Иван, Гаврилка ахнул, не узнал брата. От здорового, краснощекого парня остались на ввалившемся скуластом черном лице одни огромные глаза, сверкавшие белыми белками.

Гаврилка не мог оторваться от этих сверкавших огромных белков. С тех пор и началось. Взял уголек, пошел и нарисовал на печке глаза с огромными белками и скошенными зрачками.

— Ты чего это тут!.. — закричала мать, шлепнула полотенцем, — тьфу! — выгнала из хаты и торопливо забелила мелом огромные глаза, которые безустанно следили за ней скошенными зрачками.

Тогда Гаврилка стал рисовать угольком глядящие на всех глаза на белых стенах хаты, снаружи, на дверях, на окнах, на дрожинах дрог, на всех досках, какие попадались во дворе. Отовсюду, куда ни повернись, скосившись, глядели глаза с огромными белками.

Гаврилку гоняли, мать поминутно всюду тряпкой стирала глаза, а отец и Иван трепали за уши. Наконец взбешенный отец так отодрал мальчика, что тот два дня не мог подняться.

И Гаврилка перестал рисовать дòма. Зато со всех заборов соседних дворов, с дверей, с ворот, со ставень, скосившись, неподвижно глядели бесчисленные глаза. Глядели глаза и на мельнице дверей, со сруба, а мельник, выдернув из воза кнут, долго гонялся за Гаврилкой при хохоте и улюлюкании помольщиков.

— Ну, ладно, я ж тебя уважу!

Гаврилка убежал на змеиную лужу, перебил и разогнал змей и целый день, вытаскивая со дна черную грязь, подсушивал, мял и лепил из нее.

А к вечеру помольщики и все проходившие мимо мельницы хватались за бока и покатывались от неудержимого хохота: на плетневом колу, у плотины торчала козлиная голова, вылепленная из грязи и, как две капли, похожая на голову мельника —

с бородкой, с белыми глазами, с оттопыренными ушами, да вдобавок, рожки торчали.

Выскочил мельник, палкой разбил голову и, весь трясясь, пошел жаловаться к извозчику.

— А?!. Что смотришь!.. — кричал он, тряся бородкой и брызжа злой слюной. — Это что такое, ославил на всю слободу! Какой я козел?.. К уряднику пойду жаловаться, к приставу, до губернатора дойду, в сенат подам. Нет таких правов, чтоб щенки над старыми надсмехались, над старыми людьми при всем честном народе...

— Ну ладно, иди себе... — сказал извозчик, глядя в землю.

Старик ушел, ругаясь и грозя.

Извозчик собрал кольцами вожжи и сказал глухо:

— Гаврилка, иди сюда.

Мальчик, трясясь, забился на сеновал. Хозяйка кинулась к мужу:

— Ой, не трожь! Глянь-кось на себя, лица на тебе нет. В другой раз поучишь...

— И впрямь кабы не убить. Возьми вожжи.

Потом подошел к бочке и вылил себе на голову два ведра воды. Пригладил волосы.

— Гаврилка, иди сюда, иди, не трону.

Мальчик подошел. Долго и молча шли. Прошли слободу, вышли на церковную площадь.

— Дома учитель? — спросил извозчик у сторожа.

— Дома.

— Доложи об нас, дело есть.

— Ничего, идите на крыльцо, там стряпуха скажет.

Вышел учитель, худой, рыжий.

— Что скажете?

— До вас, до вашего совета.

— Что такое?

— Вот не знаю, что с хлопцем делать. Балуется, от рук отбился. То змеев нанесет дохлых, над отцом навешает, а то глаза зачнет рисовать, куды ни глянешь, глаза ды глаза, а то голову слепит козлину, ну, точь-в-точь наш мельник, а народ обижается.

— В школу надо отдать.

— Не из чего, не из чего отдавать-то. Осенью сын старший уходит, без работника останусь; сами знаете, какие наши достатки Кабы отдать его в мастерство какое. Ежели вы слово только скажете, всяк возьмет, и сапожник, и кузнец.

— Так зачем же к сапожнику. Рисует, говоришь?

— Так глаза сделает, ночью снятся.

Учитель подумал.

— Ну, так вот, иконописец есть у меня в городе знакомый. Он же и вывески пишет. Вот к нему и отдай; если склонность есть к рисованию, выучится, зарабатывать будет лучше, чем сапожник.

— Сделайте милость.

Через неделю Гаврилка уже работал в мастерской иконописца.

Мастерская была маленькая, с низким черным потолком комнатка, вся заставленная струганными, покрытыми грунтом досками, которые готовились под иконы, и готовыми иконами. Тут же стоял верстак, валялись инструменты, кисти, пахло клеем, красками и лаком.

Мастер был плешивый, в очках, и большой пьяница. В других комнатах шумела детвора, — большая семья была.

Гаврилка быстро освоился и через месяц уже копировал иконы. Мастер держал его за работой с утра до ночи, передохнуть не давал и жестоко наказывал за малейшее упущение.

Как-то принес ему икону Георгия Победоносца и велел скопировать шесть штук, а сам ушел и запил, целую неделю не приходил.

На беду, должно быть, ребятишки утащили икону, с которой надо было копировать. Гаврилка в отчаянии искал, но так и не нашел. Целый день проплакал, нет как нет, не с чего рисовать.

На стене криво висело засиженное мухами зеркало. Глянул в него Гаврилка, и вдруг его осенила мысль. Схватил загрунтованную для письма доску и стал торопливо рисовать Георгия Победоносца, глядя на свое лицо. К концу недели были готовы все шесть рисунков.

Пришел хозяин, хмурый, разбитый и злой, и все кряхтел, разбираясь в мастерской.

— Ну, что, готово? —спросил он.

— Готово, — весело ответил Гаврилка, подавая свою работу.

Хозяин взял, глянул, сделал широкие глаза, протер их, надел железные очки, опять поглядел, отодвинув рисунок, и вдруг побагровел:

— Да ты что же это? А?! Ты что же это свою поганую морду вздумал рисовать? А?..

— Дяденька, ребятишки куда-то икону дели, искал, искал, так и не нашел...

— А-а, так ты так!..

Гаврилка больно был наказан, проплакал всю ночь и думал, уткнувшись в подушку и глотая слезы:

«Ладно, ежели бы в деревне, я б набил змей, всю мастерскую бы ими устлал... То-то бы ты повертелся...»

Наутро мастер велел Гаврилке собираться и отвез его в деревню к учителю, который порекомендовал мальчика.

— Как хотите, не могу держать такого. Поглядите, чего он наделал, — везде свою морду понарисовал.

Учитель взял рисунки, поглядел и весело рассмеялся:

— Ну, Гаврилка, не беда, не горюй, из тебя будет толк. Надо, брат, только учиться, из тебя выйдет отличный художник.

Гаврилку на казенный счет определили в школу рисования. Потом он уехал учиться в академию, потом за границу.

Прошло много лет. К хате, что стояла над ставом, подъехал с вокзала человек в широкополой шляпе, с бледным лицом и в золотых очках. Это был известный художник Гавриил Иваныч Оскокин.

Поговорил он с обитателями хаты. Это были новые люди. Они тоже занимались извозом. Отец и мать художника умерли. Иван женился и перебрался на Кавказ. Сестры вышли замуж и уехали в другие деревни.

Вспомнилось художнику детство и показалось таким милым, таким светлым и далеким. Захотелось закрепить его, пожить воспоминаниями о нем.

Он достал краски и стал писать. И на холсте, как воспоминание о невозвратном прошлом, проступала хатка, белым пятном отразившаяся в неподвижной, неуловимой глазом воде, в которой голубело далекое небо, и опрокинутые старые-престарые вербы, и желтый осыпающийся обрыв, и темная плотина.

Эта картина потом побывала на выставках, и перед ней постоянно толпилась публика, потому что веяло от нее тихими ласковыми воспоминаниями о невозвратном.

ТЕРМОМЕТР

Кровати мальчиков разделял только коврик.

Первым проснулся Толя. Он торопливо сел и торопливо, как лапками, протер согнутыми ручонками глазки, потом глянул. Его глаза были веселые и плутоватые, они дрожали смехом, искрились таким неисчерпаемым запасом выдумок и шалостей, что в комнате посветлело.

Сквозь подернутое морозом окно пробивалось солнце.

Толя оперся о решетку кровати, весь вытянулся и воззрился на брата, как лисица на куропатку. Кожа у него беленькая и прозрачная и вся исчерчена синими жилками, а глазки и ноздри дрожат неудержимым смехом.

Шепчет:

— Игрушка.

Но Игорь солидно спит. Оттопырил круглые, полные щеки, и на переносице морщинка от чуть сдвинутых бровей. Он и во сне серьезный, положительный и не улыбается.

Толя торопливо перекидывает ногу через решетку, слезает на коврик и бежит в одной рубашонке босиком к старому буфету в углу, схватывается за полуотворенную дверцу, и начинается борьба.

Трудно. Острые ребра дверец упираются в колено, шкаф шатается, наклоняясь, того и гляди рухнет и тогда задавит — давно надо бы вынести из детской, да все не соберутся.

Старый шкаф, огромный, потемнелый, много видавший на своем веку, с потрескавшейся фанерой, качается, тяжело и испуганно кряхтя, отваливается к стене и говорит хрипло:

— Дурачок! Куда лезешь?.. Мне трудно, я, брат, стар... деда твоего, деда знал... ежели навалюсь, запищать не успеешь... — и старается ребром дверцы придавить колено, чтоб заставить слезть плута.

Но маленький, напрягая все силенки и показывая из-под рубашонки белое тельце, весь изогнулся, впился в старика и, тоже кряхтя и отдуваясь и цапаясь, ползет все выше, выше.

— Ой, накрою... Ой, упаду... — качается старик, то приподымаясь, то становясь ножкой на пол, и посуда внутри жалобно позванивает.

Но мальчик стал на выступ, грудкой и раскрасневшейся щекой прилип к верхней дверце и, не глядя, нашаривал ручонкой вверху карниз. Нашарил, уцепился и опять полез кряхтя. Старик опять зашатался и закряхтел, подымая и опуская на пол ножку.

Мальчик влез наверх, свернулся в пыли и паутине белым комочком, и из-за карниза выглядывал лишь веселый заячий глазок.

В комнате все успокоилось. Старик перестал качаться, кряхтеть и позванивать посудой. Только спящий Игрушка, с серьезным личиком, высоко и неподвижно поднятыми черными тонкими азиатскими бровями, оттопырив губки, тихонько посвистывал носом.

По комнате пронесся не то птичий, не то мышиный писк, и опять смолкло, опять тишина, опять тихонько посвистывает носиком Игрушка.

Игрушка открыл черные без зрачков глаза и, как лежал на спине, не шевелясь, стал смотреть в белый потолок.

За дверью зашлепали мягкие старушечьи шаги.

— Господи Исусе...

Нянька, с обвисшим от старого жира телом и постоянной заботой на лице, как будто думала всегда о чем-то беспокойном, испытующе оглядела комнату и, глянув на пустую кроватку, ахнула:

— А где Толя?

Игрушка, не шевелясь и лежа на спинке, невозмутимо смотрел на потолок.

Нянька, с усилием нагибаясь, заглянула под кроватки, под стол.

— Да где же Толя? Ай ты мне не скажешь?..

Игорь, все такой же серьезный, скупясь на лишнее движение, скосил большие, влажные, с синими белками, глаза и сказал медлительно и серьезно:

— На аэлоплане улетел.

Кто-то фыркнул под потолком и стал давиться тоненьким смехом, должно быть, рот затыкал кулаком.

Нянька стала на цыпочки и подняла белобрысые брови:

— Ах, ты, разбойник!.. Ах, ты, фортунат ты этакий! Зараз слезай, а то маме расскажу все без всякой жалости!

Из-за карниза, блестя лисьим блеском, выглядывали два шельмоватые глаза.

Нянька поставила стул, с усилием взобралась дрожащими ногами и стала стаскивать разбойника с закачавшегося шкафа.

— Господи, да что это за наказание! Шкаф повалится, сплющит, мокро только будет. Чистое наказание! А выпатрался-то! Весь в пыли да в паутине, хоть в корыто его сейчас сажай. Сни-

май рубашонку, бесстыдник! Вчерась только рубашонку надела, на, как заделал.

Нянька с трудом оттащила разбойника к кровати, он юркнул и стал взбивать над собой ножонками одеяло.

— Ну, вот постой, мать придет, она тебе заглянет хворостинкой под рубашонку.

— Откуда ноги ластут, — сказал важно, все так же лежа на спине, Игрушка таким басом, что странно было, как помещается он в таком маленьком горлышке.

Нянька угрожающе ушла, а разбойник вскочил, огляделся, хотел было бежать к шкафу, да раздумал.

— Игрушка, — заговорил он, блестя глазами, такими живыми, что нельзя было разобраться, какие они, — не то синие, не то зеленые, не то серые,-давай термометр поставим.

— Давай телмометл поставим.

Оба вытянулись под одеялом и, глядя в потолок, упорно в унисон, стали кричать, сколько хватило легких:

— Ма-ма, ня-а-ня... Ма-ма-ма, ня-аня. Ма-ама, ня-аня!..

Толя то верещал козленком, то кричал бабьим, нянькиным голосом, то на особый манер трещал, как трещотка, точно горошинка у него заскакивала в горле. Игорь кричал ровно, упорно, одинаково, неизменным басом, лежа на спине и глядя в потолок.

Прибежала нянька, красная от раздраженья.

— Ну, чего разорались?! Зараз одеваться... У других дети как дети, а с этими ни сладу ни ладу.

— Нянька, термометр!

— Нянька, телмометл!

— Еще чего?

— У меня голова болит и живот.

Толя скорчился, скривил рот к самому уху, притянул колени к подбородку и стал, извиваясь от боли, тереть руками живот.

Игорь с таким же неподвижным лицом и поднятыми тонкими бровями, лежа на спине, — лень переваливаться на бок, — серьезно, без улыбки, слегка потер себе под одеялом живот.

— Замучили вы нас... Не любите вы мать свою, — с отчаянием сказала нянька и, махнув рукой, ушла.

Они не любят маму... Странно! Но как же ее любить? Странный вопрос. Это все равно:

— Любишь ты свой пальчик, или глазик, или носик?

Их нельзя ни любить, ни не любить, — это просто пальчик, носик, глазик. И маму нельзя ни любить, ни не любить, она — пальчик, глазик, носик. Мама — просто мама, и все. Мама — всегда.

Вот папа — другое дело. Когда просыпаешься, никогда папы нет, и когда засыпаешь, папы нет. Только по воскресеньям и по праздникам бывал папа. Да еще когда у кого-нибудь из них жар и мама ставит термометр, папа тоже приходит, и тогда начинается самое интересное: папа садится на стул возле больного и начи-

нает рассказывать. Он рассказывает, пока тот держит термометр. А как вынет термометр, папа перестает рассказывать.

Обыкновенно из-за термометра целое сражение, — мальчики не хотят держать его, так скучно, да еще целых двенадцать минут. А когда папа рассказывает, так готовы держать и по два часа.

Так как папины рассказы — награда за держание термометра, то и здоровый требует, чтобы ему поставили. Оттого завели два термометра и ставят сразу обоим, хотя болен один.

Но тут опять затруднение. Толя требует, чтобы папа на него смотрел и ему рассказывал за термометр, а Игорь требует, чтобы папа на него смотрел и ему рассказывал за термометр. Никто не уступал, а если папа был к одному из них несправедлив, подымался ожесточенный рев.

Папа хитрый и ловкий. Он приказывал принести кровать, ставил ее между кроватками мальчиков, ложился на спину лицом кверху и одним глазом смотрел на Толю, другим глазом на Игоря, а губами рассказывал «пополам». Иногда Толька глянет на папины глаза, как они врозь смотрят, и покатится от хохоту:

— Папа, у тебя глаза раскорячились.

А иногда Игорь строго скажет:

— Не мешай слушать!

У папы обыкновенная голова, как у всех людей, а сколько там сидит историй! О чем только не рассказывал: как через Африку на воздушном шаре путешествовали, как под водой в морях путешествовали, как нарвалы рвут китов, как в шахтах добывают уголь, как из глубины океана достают круглых, как большой мяч, рыб, которые на поверхности выворачиваются через рот наизнанку, как образуются горы на земле.

Неудивительно, что, когда приходил папа, оба мальчика шлепали в ладоши и кричали радостно:

— Папа!.. Папа!.. Папа!..

А теперь вошла мама и сказала:

— Что такое?

— Да вот, требуют термометров, — сказала нянька, поджав губы.

— Тлебуем телмометлов, — строго сказал Игорь.

Мама подержалась за железный прут кровати, чтобы охладить руку, потом приложила на минуту ладонь ко лбу одного и другого.

— Лоб холодный у обоих.

— Тлебуем телмометлов.

Мама постояла, глядя перед собой и забыв детей. Толя вдруг отчаянно забрыкался:

— Ой-ой... живот... живот...

— Дайте, няня, термометры, пусть поставят.

Нянька принесла термометры и сердито сунула каждому подмышку.

— А ты рассказывай, а то держать не будем. Как папа рассказывал.

Мама растерянно и умоляюще посмотрела на детей и сказала упавшим голосом:

— Что же я вам расскажу?

— Что хочешь... Папа никогда не спрашивал, а сразу рассказывал... Ну, расскажи, как горы образуются.

— Как голы облазуются...

— Папа рассказывал, вот как нянька хочет чихнуть, вся-а сморщится, как печеное яблоко... так и земля...

— Как печеная нянька смолщится, — угрюмо говорит Игорь. У него всегда свои собственные мысли, — трудно представить человека более самостоятельного, и толины мысли случайно, думает он, совпадают с его.

— Папа успел бы и про горы рассказать и еще бы про что-нибудь... Мама, ты плачешь...

Толя тревожно вскочил на колени, выронив термометр.

— Нет, деточка... — улыбается, а у самой капают на платье слезы.

Толя бросается к ней, губки у него трепещут, охватывает ее шею, душит:

— Мамуля, мамуля... мамочка... Я твой сын... я... я... а то я... зареву...

Игорь молча становится на четвереньки, потом — на колени, тянется к матери, обвивает ее шею ручонками и некоторое время прижимается к ней щекой. Потом, полагая, что для матери этого довольно, снова молча забирается под одеяло, кверху ногами ставит выпавший термометр и спокойно лежит, глядя в потолок.

— Ну?

— Ну, мама, — говорит сразу повеселевший Толя.

Мама вытерла глаза и силится улыбнуться.

— Горы... горы образуются, когда... кора земная... по ней мы ходим...

— А папа не так...

Толя торопливо подымается на локоток:

— Ты говорила, папа приедет с войны через две недели, а вот уже два месяца...

Кто-то сморкается в комнате и всхлипывает, — это нянька вытирает набрякшие глаза. А мама, сдерживаясь, уронила голову на кроватку, и плечи ее вздрагивают, — она знает, что папы уже нет на свете.

ШРАПНЕЛЬ

I

С того момента, когда вопрос об отправлении Обруева на фронт был решен, все былые отношения, дела, заботы, — все отодвинулось, как будто не было ни настоящего, ни прошлого, а вся жизнь, весь ее смысл были отнесены к тому, что ждало, что было серьезно, строго, без улыбки.

На вокзале провожали товарищи, родные и Лина. Как всегда, она выделялась среди окружающих. Чем? Никогда не скажешь. Одета со вкусом, но просто; красивый, строгий, зовущий профиль, большие черные глаза под длинными выгнутыми ресницами.

Она смотрела задумчиво вдоль платформы, по которой стояли и ходили отъезжающие и провожающие. Всюду мелькали офицерские и солдатские шинели. Видны были нежные и печальные, заплаканные и изредка улыбающиеся женские лица.

Стояли у вагонов, отражаясь в стеклах окон, по-дорожному одетые. Слышалось: «пиши же...», «не забудь передать Алексей Ивановичу...», «буду ждать телеграмму!..» — все одно и то же, что говорится на проводах, и всегда новое, ибо за каждым словом целая жизнь.

Обруев, в серой шинели с красным крестом на рукаве, стоял около вагона и говорил:

— В последний раз, когда мы были у Варгуниных, маленький Коля принес и стал мне показывать швейную машинку своего изобретения: сделал деревянный ящичек, вырезал из катушек шестеренки и состряпал машинку.

Он умышленно говорил о том, что не имело никакого отношения к его отъезду, как бы подчеркивая всю несравнимую огромность того, что ожидало.

— Милый мальчик!

— Эти вундеркинды редко оправдывают надежды, — сказала Лина, думая о своем.

Ударил третий. Торопливее забегали носильщики. У вагонов стали обниматься. Потом Обруев видел сквозь стекло вагона, как поплыла назад платформа, и все, что на ней было, до красной шапки дежурного включительно.

Некоторое время Лина шла рядом с вагоном, глядя в окно. Румянец на ее щеках вдруг побледнел, и у Обруева больно сжалось сердце, — рванулся обнять еще раз, но ее белый порхающий платок мелькнул и скрылся за краем окна.

И вместе со стуком колес, с мельканием полей, перелесков и деревень снова им овладело прежнее сосредоточенное настроение оторванности от всего прошлого и огромности надвигающегося. Эту все заслонявшую значительность предстоящего подтверждало все — и толпы баб и подростков на станционных платформах, и отсутствие мужчин на проносившихся полях, где работали только бабы, и длинные санитарные поезда, откуда выглядывали бледные лица раненых. Был смысл, и все имело значение только там, куда он ехал.

На третьи сутки умножились признаки того громадного, что совершалось впереди: вдоль железнодорожного пути высились колоссальные бунты хлеба, сена, сухарей; на запасных путях стояли нескончаемые красные вереницы груженых вагонов; на платформах из-под брезента глядели орудия, зарядные ящики, двуколки, и всюду — солдаты. Наконец железнодорожные бригады заменились солдатами, и из вагонов исчезли штатские,— только военные.

Откуда-то из-за деревьев, из-за красной водокачки и станционных зданий стало доноситься орудийное буханье. Обруев почувствовал, что входит в торжественный храм, где совершаются кровавые жертвы.

II

Работа началась со следующего дня. Но странно — и у раненых, и у персонала отряда, и у солдат было что-то будничное, привычное выражение, точно все кругом совершается в каком-то определенном, привычном порядке и иначе быть не может.

И это настроение деловой кропотливости Обруев всюду встречал и испытывал — и в линии огня и в тылу. То, что издали казалось колоссальным событием, тут раздроблялось на бесчисленное множество неотложных, требующих немедленного исполнения дел. Даже страх, иногда невыносимый страх смерти, и тот в конце концов притупился, оставляя лишь внутри никогда не падающее напряжение, как туго свернутую спираль.

И где-то, на самом дне души — острие смутной разочарованности: встретил не то, чего ждал, что представлял себе издали. Так уходили дни, недели, месяцы.

Прискакал казак и подал уполномоченному пакет. Запрягли

лошадей в фургоны, в двуколки; летучка продвинулась верст за десять и расположилась на опушке.

Садились сумерки, и в сумерках моросило. Монотонно и важно шептались листья, а те, что мертво лежали по земле, пластами липли к ногам. Мокро темнела протянувшаяся палатка; сестры и санитары готовили бинты, марлю.

За лесом били полевые орудия, и в промежутках, потрясая до самой глубины земли, отдаваясь в груди и в мозгу, бухала тяжелая артиллерия.

Подъехал казачий офицер, постоял, как бы раздумывая, потом слез с лошади, отдал поводья ехавшему с ним и соскочившему казаку. Присел на смолистый корень огромной сосны, которую не пробивал дождь.

Обруев протянул папиросы:

— Не хотите ли?

Тонкий пахучий дымок терялся в сумерках. Лошади понуро стояли, темнея мокрой шерстью.

— Газет нет ли? — сказал офицер, и вдруг слегка отвалился к дереву, голова свесилась, повисла рука с красневшим огоньком

Обруев сидел, не шевелясь, прислушиваясь к сонному дыханию. У офицера выпала из руки папироса, и он разом встрепенулся, быстро огляделся:

— Сергеев, где сотня?

— У Кирсановского болота, вашскблагородие, — проговорил казак, привычно делая под козырек.

— Спасибо, — пожал руку Обруеву офицер и вскочил, попрыгав на одной ноге, на лошадь. — Сегодня ночью раненых вдоволь у вас будет.

И, уже отъезжая и полуобернувшись, сказал:

— Третьи сутки не сплю.

Лошадиный топот мягко замер среди деревьев. За лесом все отдавались орудийные удары.

Когда сгустилась темнота, дождь перестал, стали подвозить раненых. Красноватое пламя свечей шевелило в палатке длинные тени. Пряно пахло потом, кровью, иодом. Врачи в запятнанных халатах, наклонившись, копались в зияющих ранах.

III

Обруев принимал раненых, заботливо клал на солому, кормил, поил. Но и эти истерзанные тела, молчаливо копающиеся над ними врачи, сестры, черные шевелящиеся тени, сырая, туманная ночь и проезжий казачий офицер, — все проходило кусочками, будто все тянулись по дороге, и не было ей конца и краю, и потерялось ее начало.

Внесли раненного в живот. Из-под спущенных век глядели узенькие белки.

Когда его перевязали и бережно положили на солому среди других, он сказал, широко открывая глаза:

— Пи-ить...

Обруев наклонился.

— Голубчик, потерпи, поголодай немножко. При ранении в живот — чем меньше есть и пить, тем скорее поправишься...

Раненый закрыл глаза и неподвижно лежал на спине. Орудийные удары утомленно замолкали.

— Ваше благородие, дозвольте...

Обруев быстро подошел к нему и опять наклонился:

— Голубчик, потерпи...

Раненый смотрел прямо и твердо:

— Вашскблагородие, дозвольте меня отослать в наш город... Дюже больница хорошая, выпользуют...

— Хорошо, хорошо, меньше говори, дружок... Там будешь проситься, на распределительном, а теперь тебе только подправиться к дороге.

Раненый смотрел все так же прямо и твердо сказал:

— Жена у меня... бил ее... темно жили, не дай бог!.. Работница, не то что... Похвалюсь... Курьё, гуси, две коровы, обшить, одеть ребятишек, — все она, всякие бабьи причиндалы, все у ей...

Он помолчал, стараясь отдышаться.

— Бил...

— Ты успокойся, брат, мало ли чего не было... Нельзя говорить много...

Солдат продолжал строго глядеть.

— Не мешай, вашскблагородие... Наших двое, суседи мне, на проволоке как повисли, так и остались, а меня бог вынес... Стало быть, знамение дал: «Иди, божье помни, не как животное...» Темно жили, без понятия... уткнулись мордой в землю... Теперя ворочусь, выпользует больница... супругу-то мою богоданную... девять годов прожили... Упал возле проволоки... разинулись глаза: стоит, глядит на меня, заплаканная... а я ее бил, сердешную...

Раненых перестали подвозить — неприятель освещал прожекторами поле и обстреливал, не давая подбирать. Нары пустели — раненых вывозили, лишь тяжелые оставались до утра. Красное пламя догоравших огарков колебало черные погустевшие тени.

Врачи и сестры спали сидя, где и как попало и свесив на грудь измученные зеленые лица, по которым тоже бродили траурные тени.

А Обруев сидел, близко наклонившись к раненому, не спуская с него глаз, как заговорщик. В ночном мраке, шевелящемся от теней, Обруев услышал то, чего никогда не слышал в толчее днем — стоны. Они неслись с нар, то детски беспомощные, то озлобленные, то смутные и неясные, как сквозь сон.

Раненый глядел блестевшими глазами, пробегая языком по сухо пузырившимся губам; с одной стороны лежал солдат с ампутированной ногой, а с другой — с раздробленной челюстью и вырванным языком.

— Теперича выпользуют меня в городе, не такая жизнь будет... Как свиньи жили... Вашскблагородие, похлопочите, чтобы в нашую больницу отослали, там выпользуют... Дюже доктор хороший, Федюшко... Сколько народу спас... Гляжу я на жисть свою — глаза разулись...

Обруев огляделся: и почудилась та торжественность, та громадность, которой он ждал и которой не замечал в не дававшей передохнуть всегдашней суете тысячи дел.

IV

Снаружи набежал глухой лошадиный топот по мокрой земле. Обруев вышел. Сквозь белый пар тонко блестели звезды.

Подъехал офицер. Обруев вгляделся — это был давешний, казачий; рука на перевязи. Казак соскочил, помог сойти офицеру.

— Ну, вот опять к вам, покурить, — сказал офицер, стараясь улыбнуться.

Перевязали. Офицер сел на нары. Обруев подал папиросы.

— Никогда не курил с таким удовольствием. Сейчас изрубили заставу. К утру опять будут напирать. Поверите ли, никогда не думал о военщине, о лошадях, о винтовке, о походах. У нас, у казаков, все обязаны служить, но в свое время был освобожден — руку когда-то в ребячестве сломал. А теперь пошел, охотой пошел. И уж не уйду, если останусь жив, до конца... Я — адвокат. Семья. Бывало, набьются клиенты; всё зипунный народ, а мне скучно: думаешь, чорт знает, как жизнь проходит. И не разгонишь, просто потому, что заработок нужен. А теперь вспомнишь, боже ты мой! — сколько человеческой жизни они несли, и душевного золота, и гнили, и отчаяния, и редкой радости! И я ничего этого не видел... Не то что не видел, а не ценил, смотрел куда-то мимо, — вот теперь отсюда видишь, отсюда ценишь.

Он помолчал, жадно докуривая папиросу.

— Ну, прощайте! У меня предчувствие — еще свидимся. Верю в предчувствия, здесь стал верить. Сергеев!

— Здесь, вашскблагородие.

— Да куда вы, что вы, рана откроется, этим не шутят!

Офицер пошел к выходу и, пошатнувшись, толкнулся о притолоку в одну сторону, в другую. Улыбнулся, давясь, с усилием пересохшими губами.

— Крови много потерял. Всего доброго!

За палаткой слышался, замирая, удаляющийся мягкий топот по влажной земле.

V

Среди мигающих темных теней стояло клокотание. Раненый с перебитой челюстью поманил Обруева и показал на соседа с ранением в живот. Обруев подошел: тот смотрел широко открытыми глазами в сходившиеся вверху полотнища, а в горле клокотало и переливалось.

Обруев позвал доктора.

— Накройте шинелью, — сурово сказал тот.

Накрыли шинелью. Клокотание постепенно стихло, глаза остеклели, но были все такие же широкие, разинутые.

Когда предрассветно обозначились деревья и тяжелая от капель погнувшаяся трава, прискакал казак, и стали быстро свертываться.

Туман плыл клочьями, цепляясь за кусты. Матовая роса темнила до колен лошадиные ноги. Орудия гремели где-то близко справа. Двуколка с качающимися койками, в которых молча переваливались головы раненых, потянулась по лесной дороге и шоссе.

Снова прискакал казак и еще на скаку издали кричал:

— Вашскблагородие, на шоссе чисто засыпает... Лесом сворачивайте, по просеке, лесом!..

Свернули и потянулись целиной по лесу. Санитары с топорами и вагами в руках расчищали впереди.

Обруев поддерживал идущих раненых, местами переносил на руках через колдобины и лесные канавы или шел рядом с двуколкой, поддерживая тяжелых, чтоб не так встряхивало.

И казалось ему, что от всего, что они делали и делают, откинулись к той прежней их жизни тени и в ней теряются корнями. И что над той жизнью стоит торжественность и огромность, которую он искал здесь. Стоит торжественность и огромность, только не видел он ее, не видел, смотрел мимо.

«Лина, родная! — думал он, с хрустом наступая на сухие ветви, на валежник, — если только вернусь, какая прекрасная жизнь у нас будет! Ну, любим друг друга, но почему, но что отравляет любовь нашу, отравляет жизнь нашу? Не то подойти друг к другу не умеем, не то ненужные требования предъявляем. Ах, Лина, пойми, ведь жизнь наша чудесна, только мы мимо смотрели, только мы жили с закрытыми глазами, в мешке. Я все напишу ей, все, господи, и как она будет рада!..»

Он шагал через мокрые папоротники и спрашивал себя:

«Отчего, когда думаешь, так ярко, понятно и убедительно, а когда напишешь, это сухо, порой смешно и сентиментально?»

Никто не ответил. Разрывы в лесу становились реже и глуше, бой стихал.

НА ПОБЫВКЕ

Деревня протянулась одной улицей. Концом уперлась в неподвижно синевшую наворочеиными льдинами реку, другим вышла в поле, а за полем темнел занесенный снегом лес.

С тех пор, как проводили солдата, у Ненашевых точно мгла осела на двор.

Изба стояла против училища, белевшего через улицу новым срубом, с большими окнами и с большим крыльцом, с которого каждый день в первом часу вываливалась шумливая, гомонившая толпа ребятишек. Позади избы — сарай, хлев, сбоку — маленький садик с вечно объеденными летом червивыми яблонями.

День начинается и наполняется всегдашним деревенским: обряжают скотину, возят дрова, рубят лес.

Вечером при коптящей лампочке ребятишки нудятся за столом уроками; маленькие спят, посвистывая носом, вповалку поперек огромной кровати; старик, нагнувшись и показывая залохмаченную кругом седеющими косицами лысину, починяет отдающий крепким лошадиным потом и дегтем хомут. Старая, с иконописным, потемневшим строгим лицом, приглядываясь в железных очках, шьет.

Шьет возле и невестка, молодая, вся круглая, нагнувшись низко, точно давит ее к шитву, всегда воскрешая неугасающее больное воспоминание. Зять, рыжий растрепанный мужик, с бельмом на глазу, тачает передки к сапогам, разводя руками и протаскивая свистящие, липкие от вару дратвы. На лавке, у печки, под тулупом, должно быть в горячке, лежит баба с кумачовым лицом и выбившимися из-под повязки косами. Она молча протягивает из-под тулупа исхудавшую, дрожащую руку, берет с остывшей уже печки кружку и, не попадая, жадно ловя иссохшими, потрескавшимися губами, постукивая о липкие зубы, пьет, на секунду задерживая свистящее, обжигающее дыхание.

И снова в избе стоит дремотный шорох, — не то тараканы шепчутся, не то от шороха шитва; с легоньким свистом протаски-

вают дратвы, да ребятишки нудятся, да по темным стенам бродят тени.

Собаки давно отлаялись, и за промерзшими окнами — ничем не нарушаемая ночная деревенская тишина.

Еще больше наклоняется молодайка, и слезинки, догоняя друг дружку, часто кап, кап, кап... на белую, в горошинках, рубашонку, которую шьет, а игла во взмахивающей руке попрежнему посверкивает на лампочке.

Старуха говорит строго:

— Ну, уж... чего там...

А сама стаскивает железные очки и протирает уголками платка затуманившиеся глаза.

Так день за днем, ночь за ночью.

Раз, еще ребятишки не успели полечь, забрехали в темноте собаки, сквозь замороженные окна послышались смутные голоса, заскрипели сани, и лошадь с морозу, слышно, фыркает.

— Никак к нам? — сказала старуха, поднимая голову.

— Не, мимо, — отозвался рыжий, — лавочник, должно, с чугунки, у город ездил, ждали нонче.

— К нам... — сказала молодуха и подняла начавшее смертельно бледнеть лицо; одни глаза на нем, остановившиеся, блестели неизъяснимым страхом.

Все прислушались.

— К нам и есть.

А уж на крылечке скрипят снегом, обивают валенки, слышны голоса, и собаки не брешут. Застучали кольцом.

Старуха перекрестилась.

— Спаси, господи, и помилуй!

Молодайка откинулась и все так же глядела блестящими приостановившимися глазами.

В сенцах, куда вышел, отложив натянутые на колодку сапоги, рыжий, заговорили странно и беспокойно, потом в клубившемся из отворенной двери морозном тумане проступила заиндевелая солдатская шинель, стоймя обернутый вокруг низко стриженной головы тоже побелевший башлык и запушенные, смерзшиеся глаза.

А старуха уже повисла, обнимая холодный мороженый башлык, и заголосила неожиданно высоким покрывающим голосом:

— Да родимый ты мой! Да соколик ты мой ясный, Сенюшка!.. Ай ты?!. Ай не ты?.. И откеда ты к нам прилетел...

— Постой, матка, поперед попа в алтарь не ходят. Держи равнение направо...

Он размотал башлык, расстегнул шинель, широко, наотмашь, покрестился на образа, так же широко, наотмашь, поклонился в ноги отцу, матери, со всеми перецеловался, и молодайка, стоявшая в сторонке, как оглушенная, вдруг кинулась и, охватив шею, заголосила. Заголосила старуха; заплакали дети; только больная

торопливо, со свистом дышала и равнодушно глядела кумачовым лицом в темный низкий потолок.

— Эх, ну, бабы!.. До чего слабое войско. Кричи, не кричи, а как полагается, так и будет... Митрич, ты чего же? Распрег мерина-то? Сенца там в сарае кинь ему. Сундучок тут... Ну, ну, садись, садись, погрейся. Это каким оборотом... Выхожу со станции, метет стыть. Эх, думаю, мать честна! Сотни верст проехал, а тут каких-нибудь десять шагов надо; да сундучок, — главное, неловко взяться за него. Делать нечего, солдатское такое положение: ни от чего не отказывайся — ни от штыка, ни от пули, ни от каравая, ни от теплого угла. Вскинул сундучок и замаршировал, а сам насвистываю марш наш полковой, — трубачи наши до чего чисто его выделывают. Капельмейстер у нас в полку — чех, злой, как на цепе, а насобачил их здорово. Ну, шагаю, глядь — Митрич. «Ты чего?» — «Пассажира привез». — «Тебя-то мне и надо». Зараз сундучок к ему, сам — в сани, таким оборотом и доставился. А где сестрица наша богоданная? Чегой-то я их не вижу.

— Занедужила, вишь, вся сгорела. Кабы не померла.

— Вы что же это, сестрица, по неуказуемому? Али жить надоело?

Та равнодушно, не поворачивая головы, смотрела темнокрасным лицом в потолок. И потом сказала, передыхая на каждом слове:

— Со...млела... банила... на р-ечке... в грудях... тес-нит... не взды-шишь...

— Эх, нехорошо, сестрица, не по уставу...

А в избе шел большой переполох, — на загнетке весело трещал огонек, ребятишки вздували самовар, старуха чистила дрожащими руками картошку, а молодая металась, накрывала на стол, все делала одной рукой, — другой поддерживала перегнувшегося спинкой, жмурившегося на огонь и плакавшего ребенка. Подняли его сонного, тепленького из люльки показать отцу. Солдат взял с неуклюжей лаской, а тот все отворачивался, тянулся к матери и ревел.

Старик, давно сунувший свой хомут в угол, за столом, который обсела вся семья, все спрашивал, стараясь откусить старыми зубами огрызок сахара:

— Объясни ты нам, сынок, объясни всю тахтику. Бывалыча, молодой я был, служил, так у нас больше все правым плечом заходили.

— Э, папаша, об этом позабыли и думать. Теперь главное — артиллерия, опять же пулеметы, окопы; также сапа тихая...

— Змея, что ли? — сказала старуха, любовно глядя на сына.

— Какая змея! Просто сказать, мину друг под дружку подкладывают.

— А у нас сапов развелось по мокрым местам страсть! Ты ушел, двух коров покусали в лесу.

— Да ты надолго ль к нам, касатик? Хоть бы наглядеться на тебя.

Солдат весело втянул воздух, — он немного заикался:

— До самого до понедельника, аккурат неделя.

Старуха всхлипнула, и у молодайки закапали слезы.

— Ну, чего! Вот уж сказано — бабы, бабы и есть. Тужи, не тужи, слезьми крышу не выстроишь.

Он говорил весело, весело блестя глазами на продолговато-круглом, немного одутловатом лице.

— И каким манером все вышло... «Вашскблагородие, — ротному нашему говорю, — дозвольте их взять, немцев». Так что из окопов их выбили, они к лесу подались, а трое остались. Бризантным снарядом вырыло яму, ни мало — ни много, на сажень места. Трое-то туда и забрались, не схотели бежать. И стреляют. А потом подняли руки, — дескать, сдаемся. «Ну-к, что ж, — ротный-то говорит, — поди возьми». Я зараз винтовку наперевес, выскочил и побежал к ним. Нашему брату, военному, лестно взять, — к отличию представят. А они сразу — чик меня! Как подкосили, упал и пополз назад. Влез в окоп, наши стянули сапог, разорвали штанину, аккурат повыше колена, навылет. Перетянули бинтом, повели на перевязку.

Бабы опять заплакали. А он почти уже злобно:

— Тю!.. Ну, чего завыли?! Главное — не бояться, а оно уж само, — чему быть, то и будет. И что не боишься — то и лучше, целей выйдешь. Я-то вот ушел раненый, а которые меня разували, целые... аккурат, где я сидел, прилетел снаряд, всех до одного побило.

— Вот так в японскую кампанию глаз мне выхлестнуло, — говорит рыжий, держа у заросшего рта дымящееся чаем блюдце, — в обозе был; сижу на фуре, а так он сидит, и хлестнул по коню и по глазу меня чик! И зараз бельмо.

И он опять принимается пить до поту обжигающий кипяток.

— А у нас в лесу барсук, — мы боимся ходить; во-о, когти, — говорит мальчик, сын рыжего, испуганно глядя на солдата.

Солдату бесконечно подают яичницу, курицу, которую уже успели сварить, молоко горячее и бесчисленно наливают чаю, как будто он должен пить и есть за десятерых.

— Уж и не чаяли, — писал ты: «не пущают».

— Каким оборотом вышло... Рана зажила, в легких нашли хрипы, стали мышьяку под кожу заваливать, — вот ел, страсть! И поправляешься, как мерин на овсе.

Старуха опять всхлипнула:

— Хоть толстый, а квелый ты, сынок, нет в тебе крепости настоящей, не жилец ты...

Солдат злобно покрутил головой, но удержался.

— Ну, слопаешься цельный день. Эх, побывать бы дома, сколько бы делов переделал!.. Подъехал я к ротному, ну, на недельку отпустили.

Все переменилось в ненашевском дворе, не угадать, закипела работа. Только и слышно: стучит топором солдат. И солдатского уж в нем ничего нет, — надел старый тулупишко, перетянулся кушаком, и нет щелки хозяйской, куда бы не заглянул. Вырубил пару отличных оглобель; поправил санки городские, чтобы рыжий, коли случится, мог повезти на станцию пассажира. Ездил делить общественный лес на рубку. Понедельник отодвинулся куда-то в неопределенную даль — не было ни окопов, ни артиллерии, ни ждущего смертного часа.

Вспомнили было бабы обо всем, попробовали завыть, да солдат так прицыкнул, языки прикусили.

— Эх, бабы, одно слово — бабы! И где ни возьми, как баба была, так баба и есть. Был я в одном лазарете. Попечительша в нем. В карете приезжает, в ушах бриллиантовые сережки, тысячи по полторы, аж больно смотреть, все шелк да бархат, и по сие место голая — а как баба, баба и есть. Дает мне билет к воинскому, десять выздоровевших на осмотр весть, так чтобы на трамвае с нас не брали. И ничего не объяснила, — баба! Хотела даже заклеить в конверт, да раздумала. Ну, конечно — садимся в трамвай, на площадку, разумеется; кондуктор: «Пожалуйте». Даю ему билет. «Это вы чего же, говорит, порядку не знаете, а солдат. С этим билетом на станцию, там вам и выдадут проездные», и попер нас. Ну, пошли на станцию, а холод, продрогли, часа три потеряли. Вот она, баба.

Он потянул воздух и, слегка заикаясь, продолжал:

— Вот вы воете, а посмотрели бы, как *там!* У вас все, чего душа просит, все есть. И одежа есть, и хлеб есть, и сено, и скотинка, и птица, и в избе тепло, а глянули бы *там:* от избов трубы одни, ни хлеба, ни помету, ни птичьего пера, только на себе худая одежонка, — хоть свисти. Вот он — страх — где.

И бабы сразу присмирели, а понедельник отодвинулся еще дальше.

Солдат рвался, как привязанный, вставал ни свет ни заря, жадно выискивал нужное и ненужное дело и кидался на всякую работу, как оглашенный.

Теплая была изба, крепко рубленная, а солдат навозил соломы и стал укутывать. Укутал: стоит она, как в шубе, и окна маленькие смотрят сквозь лохмы.

— Все дров меньше пойдет.

Старуха смотрит, смотрит на сына — да и заголосит:

— Родной ты мой, и чего ты бьешься, натужаешься, глаза у те провалились, ровно почернел весь. Тебе гулять да радоваться, без тебе сделают.

Он только отмахивается, да желваки на скулах заиграют; возьмет топор и, уж слышно, тюкает на дворе.

Зайдут соседи, посидят, покалякают:

— Ишь, ты! Это он рад — домой попал.

— Глаза ровно мутные.

— Либо к смерти.

Ездили за реку к родне, целую ночь прогуляли. Когда солдат, сидевший под образами, молодецки откинувшись, положив кулаки на стол, запел высоким голосом:

По-осле-ед-ний но-не-е-шний де-е-не-чек
Гу-ля-ю с ва-ми я, дру-у-зья... —

поднялся такой бабий вой, что пришлось перестать петь.

Пришел понедельник, и все ахнули, — уже? Казалось, конца-краю не будет этой жадной лихорадочной работе.

Опять закурило, и смутно проступали избы в белом мелькании. У ворот — митричев мерин и розвальнн, белые от снега... Провожали только до околицы, — померла сестра солдатова, надо было обряжать, — и долго стояли и глядели опухшими глазами в мелькающую муть, где никого не было видно.

Митрич ехал, подергивая вожжами, а солдат неподвижно привалился к задку саней, и снег набивался за башлык н вокруг ног.

За версту до станции, когда проезжали смутно черневший лесок, он поднялся, стряхивая снег.

— Стой, Митрич, равнение направо!

Лошадь стала. Ненашев вылез из саней.

— Ты куда же? Али смерз? Белый весь.

Солдат обернулся назад и долго стоял и жадно смотрел на сизо-подериувшийся лесок, за которым потерялась деревня. Потом зашагал к леску, проваливаясь в сугробах, и потерялся за деревьями.

Долго ждал Митрич, подставив ветру спину и нахлобучив овчинный воротник.

Наконец не вытерпел, вылез из саней н, проваливаясь, пошел по следу.

— И куды он провалился?!

Долго шел и ахнул: на согнувшейся молодой березе висел солдат.

СЛЕДОПЫТЫ

Шоссе бесконечно теряется позади, напоминая о пройденном. Кругом волнуются выколосившиеся хлеба, темнеют рощицы. Вдоль речушек, которые поблескивают по лощинам, белеют хаты. К этапу по шоссе длинной теряющейся серо-синей колонной тянутся пленные.

Австрийцы в башмаках идут равнодушно и устало с черными от загара и пыли лицами. Два австрийских офицера-летчика, один — молоденький, безусый, другой — с рогатыми рыжими усами, качаются на повозке. По бокам шагают наши солдатики в мешковатых гимнастерках с винтовками на плечах. Человек пять казаков лениво покачиваются на седлах.

Жара, мухи, пыль...

— Подтяни-ись! — зычно кричит унтер, но колонна так же медленно, лениво и устало тянется, окутанная пылью, и последние ряды теряются за увалом.

До этапа верст десять. Солнце клонится к дальнему лесу, но еще печет. В низине важно шагает, подымая лапу, аист и хватает лягушек. По обочинам краснеют яркие маки.

Два ополченца с запыленными бородами идут, покачивая винтовками на плечах.

— Микит, а Микит, как их добыли? — говорит один из ополченцев, мотнув головой на летчиков.

— Вишь, над позициями они летали, а посля залетели в тыл. Да, видно, бензин-то весь вышел, стали спущаться. Увидели казаки, марш-маршем за ними, думали, у леска спустятся, лесок впереди был. Ан лесок-то они перелетели. Ну, казаки поскакали лесом, нагнали их, бегут по хлебу что есть духу. Взяли обоих, они и не оборонялись. Стали казаки искать аэроплан, всю округу изъездили—нет, хоть што хошь, скрозь землю провалился, упрятали, и скажи на милость, как упрятали!..

— Сказано, немец, и есть.

— Найдут, — уверенно говорит другой.

— Цельная сотня искала, не нашла.

— Найдут-ут!..

Уже померкли позолотившиеся было зубцы дальнего леса. Стали густеть сумерки. Хлеба кругом посерели и казались гуще. Ни головы, ни хвоста колонны не было видно, они тонули в пыли и в сумерках. Тишина наполнялась ровным топотом множества ног, да поскрипывали повозки.

Немец с рогатыми усами, сидевший на повозке и делавший вид, что дремлет, сказал негромко:

— Rechts... links [1].

В ту же секунду оба сорвались и метнулись на обочины шоссе.

Ополченец разинул рот:

— А!..

Потом вскинул винтовку, грянул выстрел, осветив колеса повозки, стоптанные башмаки, загорелые лица, синие штаны и куртки. Вдоль шоссе загремели выстрелы по хлебу с обеих сторон. Шарахнулись лошади. Казаки вытянули их плетьми; они перелетели канаву, и слышно было, как из хлеба несся мягкий заглушенный лошадиный скок. Несколько солдат со штыками наперевес тоже кинулись за канаву. Потом все смолкло.

— Сто-ой... Сто-ой!.. — раздалась команда.

Подходившие пленные остановились, сгрудившись около повозки.

— Ежель кто вздумает, уложу на месте!.. — кричал охрипшим голосом унтер. — Стрелять при малейшем движении!

Колонна замерла.

— Эти не побегут, энто офицеры, а эти рады, что в плену.

Конвойные стояли настороже с винтовками на изготовку. Звук шагов и крики скакавших казаков смолкли, и стало слышно, какая ненарушимая тишина стоит над сумеречными хлебами.

Долго стояли, пока черной стеной не опустилась кругом ночь.

Двинулись опять, и темнота заполнилась шорохом множества шагов, поскрипыванием телег да окриками совсем охрипшего унтера. Сбоку в невидимом болоте кричали жабы. Высыпали звезды.

Этап огромно раскинулся в имении графа Потоцкого. Громадный, как широкое поле, двор, в одном конце застроенный длинными узкими строениями, — графские скаковые конюшни. Имение специально назначалось для скаковых лошадей, которыми граф щеголял на скачках в Вене. За двором тянулся сад с озерами, с прудами, а в них лебеди, — впрочем, лебедей поели.

Ни лошадей, ни многочисленных служащих теперь здесь, конечно, не было, а белели разбитые всюду палатки, стояли винтовки в козлах, у коновязей мотали головами казачьи лошади.

В другом конце стояли груженные хлебом, сухарями, консервами фуры; высилось прессованное кубами сено. Солдатики сидели кучками, кто переобувался, кто зашивал рубаху, желтея

[1] Направо... налево.

голой спиной. Синевато дымились костры, и поплескивали чайники.

Этапный комендант, с невыспавшимся лицом, охрипшим голосом, кричал на обозного, что загородил подъезд к конюшням. Потом пошел распорядиться насчет больных, арестованных, по канцелярии. С шести утра до двенадцати, до часу ночи комендант не знает покоя: надо принять и отправить маршевые команды, выздоровевших раненых, возвращающихся в строй, пленных, проезжающих офицеров, и всех накормить, дать ночлег.

Когда длинные конюшни и старый сад потонули в густой черной ночи, всюду багрово засветились красные костры, бросая длинные шевелящиеся тени. Во двор карьером влетел казак и осадил перед комендантским крыльцом тяжело поводившую боками лошадь.

— Что такое? — сказал комендант выходя.

— Так что, вашскблагородие, двое пленных убегли, ахвицера.

Комендант сердито надвинул фуражку на самые уши.

— Бабы, расстегнули рот... — и прибавил крепкое слово. — Иван, сказать Алексею Алексеевичу, чтобы весь казачий разъезд отправил на поиски.

Было заполночь, когда дотянулась колонна до этапа. Темный двор наполнился говором, сморканьем, шарканьем ног, а костры заслонились множеством темных фигур.

Пошла перекличка, потом, где кто стоял, повалились спать, так все были утомлены. Казачий разъезд выезжал рысью, звонко отбивая подковами, из широких ворот на шоссе.

К коменданту подошли два бородатых ополченца, держа под козырек.

— Что надо?

— Так что, вашскблагородие, дозвольте на поиск иттить.

— Упустил, а потом на поиск. Вам бабьим делом заниматься, а не в солдатах быть. Где же вы их по ночам будете искать? Куда же вам за конными поспеть?

— Вашскблагородие, у нас по лесам зверя следить чижалей. Он — зверь — путает, путает след, покеда признечишь, одначе добиваемся. Сохатый ли, песец ли, уж не сам будешь, коли не добудешь.

— Эх ты, кувалда сибирская! Что же ты по немцу, как по зверю, собираешься?

— Он теперь, немец, как отбился от своих, так будет накидывать петлю, как заяц. Ему тут, вашскблагородие, податься некуда, а по деревням, которые русины, их не принимают, дюже не любят... Дозвольте, вашскблагородие, беспременно приведем.

Комендант подумал:

— Ладно, только без немцев не являйтесь.

— Слушаем, вашскблагородие.

Ополченцы прошли по темному двору, черневшему спавшими, к себе под навес. Слабо краснели потухающие костры.

Лошади мирно жевали. Никита достал вещевой мешок и стал класть туда хлебы.

— Слышь, Серега, никак сало у тебя осталось?

— Есть.

Положили в мешок сало, закатав в траву, налили в манерки воды, покрестились и, взяв винтовки, пошли с крепко спящего двора. У ворот окликнул часовой.

Над шоссе мерцали звезды, и оно выделялось неясной белесой полосой. Пахло наливавшими колос хлебами, необозримо раскинувшимися в темноте. Шли молча.

Когда подошли к месту побега, остановились и долго стояли, как легавые, принюхивающиеся к следу.

— Пойдем, — сказал Серега, мотнув в темноту головой.

— Не, туда не побегли, там — лес, знают, что казаки перво-наперво кинутся в лес обыскивать. Они хлебами побегли.

Оба перешли канаву и, шурша ложившимся хлебом, пошли от шоссе, поглядывая на звезды. Долго шли.

Стало светать, зазвенели жаворонки. Стало далеко видно. И куда ни глянешь, желтеют хлеба, либо зеленеет клевер.

— Ну, земля тут — прямо масло. Сторонушка тароватая.

Они долго шли. Уже солнце поднялось, стало припекать.

— Надоть перекусить.

Залегли в хлеб, поели, отдохнули и опять пошли. Шли и сами не могли сказать, почему держатся направления, которое взяли. Вел привычный лесной полузвериный инстинкт.

В балке заблестела в осоке речка. Спустились, умылись и опять пошли. К вечеру, усталые, разморенные, пришли к деревне.

Она тянулась по речушке. Между вербами белели хаты.

Никита сказал:

— Беспременно округ этой деревни бродят, больше им некуда. Впереди и назади — наши. В энтих лесах, что за шашой, знают — ищут их. А тут, небось, высматривают своего, может, из немцев который, чтоб одел вольное, провианту дал. Давай тут засядем.

Серега почесал за ухом:

— Чего же мы тут будем делать? Ежели не приведем да проболтаемся тут, взбанит нас комендант.

Никита крякнул:

— Не родить же нам их, как их нету! Вишь, ночь находит.

Внимательно осмотрели, чтобы не спугнуть, деревню, — народу почти не было, изредка пройдет баба либо мужик в белой свитке.

Опять пришла ночь, сверху зажглись звезды, кругом стала темь. Никита с Сергеем положили возле себя винтовки и прилегли. Сначала сквозь кустарник мелькали огоньки деревни, потом потухли. Стояла ненарушимая тишина, такая спокойная, мирная, будто кругом родные поля, родная темная ночка.

И Никита, лежа на спине, заложив руки под голову, медленно рассказывал, глядя на звезды:

— Ну, хорошо, я и говорю: «Марья, побойся бога, али ты белены объелась?» А она хвать горшок, али кочергу, али ведро, ды в меня! Дым коромыслом!

— Ну! Я такую-то вожжами.

— Учил, слов нет, как чугун, бывало, ходит, а сама опять за свое. Склока была непроходимая.

— Я — вожжами.

— А как объявили войну, что сделалось с ней: пала в ноги, слезами сапоги мыла, вот, братец. Я будто впервой ее увидал.

Никита долго и мерно рассказывает, а Серега слушает, тоже лежа на спине и глядя в звездное небо.

Когда рассвело, оба приятеля решили осмотреть все места вокруг деревни.

— Надо поесть, — сказал Никита, доставая провиант из мешка.

Деревня легонько задымилась по-утреннему.

— Сало доброе, — сказал Серега, уминая хлеб с салом, — дух от него добрый.

Хрустнули веточки. Солдаты замерли: сквозь кустарник на них смотрели четыре горячечно блестевших глаза. Серега схватился за винтовку.

— Не трожь, — спокойно сказал Никита, — ну, вылазьте.

Из-за кустов, шатаясь, поднялись двое: один — безусый, а другой — с рыжими обвисшими усами. У обоих были бледно-зеленые лица и провалившиеся глаза, которые они не спускали с хлеба.

Никита спокойно отломил по большому куску, положил сало и подал немцам. Те жадно, давясь, стали рвать зубами.

Когда съели, Никита вскинул винтовку и сказал, махнув рукой:

— Ну, айда!

Немцы понуро поплелись вперед, а солдаты пошли сзади, тихо разговаривая про домашность.

На этапе ахнули, когда увидели, что ведут беглецов.

Комендант позвал, расспросил, сказал: «Молодцы!» и подарил по целковому.

— Рады стараться, ваше благородие!

Казаки ругались:

— Лошадей замылили ни к чему, полтора суток скакали по лесам да по балкам, а они, дьяволы, завалились где-нибудь спать, а потом привели. Выпадет же счастье дуракам!

— Дураки по лесам скакали. А мы их, немцев, на приманку, на сало вызволили: как почуяли сальный дух, так и выползли на карячках и за куском шли до самого до этапа.

А этап жил своей обычной жизнью, — подходила новая партия.

СТЕПЬ И МОРЕ

Все как было: ослепительно белеют у воды две мазанки, чуть пошевеливаясь, мерным сверканьем сверкает морская гладь, белеют намытые с ракушками и рыбьей чешуей пески.

Вдоль берега стоят пустынные истрескавшиеся глинистые обрывы. А за обрывами — жаркая бескрайная степь.

Маленькое колючее солнце смотрит на море, на степь, на шевелящиеся на кольях сети, и с бортов опрокинутой у самой воды лодки капают черные слезы.

В тени ее сидит, раскрыв клюв и развесив крылья, ворона, а в неуловимо-горячем, почти без синевы, небе медлительно плавает коршун.

Голубые ставни у мазанок плотно закрыты, закрыты и двери. Никого. Одиноко шевелят по соломенной крыше слабую сквозную тень вербы. Ни пристроек, ни сарайчика, — пусто, бесхозяйственно, только весла стоят, прислоненные к стене.

В степи по балке раскинулась слобода: белеют хаты с причесанной соломой на крышах, виднеются сады с объеденными червем яблонями; огромные вербы в левадах покрывают тенью степную тинистую речушку, а в ней лежат свиньи, белеют гуси.

В слободе тоже никого, наглухо закрыты ставни, — народ в степи на работе. Повсюду видна забота, хозяйственность — сарайчики, хлеба, курятники. На затрушенных соломой дворах рогато торчат плуги, полинялые, истрескавшиеся от солнца веялки, конные молотилки, арбы. Чернеют запасные стога, и куры с легким разговором роются в навозе.

Далеко над морем длинно тянутся пароходные дымы; как букашка, чернеет рыбацкая лодка с обвисшими парусами.

Лодка медленно ползет к берегу, где, как два пятнышка, белеют мазанки. На носу мерно, откидываясь и запрокидывая взмокшую от пота голову, с подергивающимся от напряжения лицом, гребет мальчик лет двенадцати, без шапки, с черными полопавшимися от загара ногами, с бронзовым телом, которое пока-

зывает разошедшаяся на груди ситцевая в горошинках рубашка, — гребет, напруживаясь, как взрослый.

Ближе к мачте, с темными пятнами пота на прилипшей к спине рубахе, с выбившимися из-под сбившегося платка волосами, гребет баба, нестарая, с заострившимися чертами на разморенном, потном лице. Под соленым мокрым пологом зевает набросанная кучей рыба, а на носу темнеет быстро сохнущая наваленная груда сетей.

Баба оглянулась на тоненько белеющие пятнышки мазанок:

— Чего-сь-то гребешь, гребешь, а все столько же.

А мальчишка строгим басом:

— Будет тебе, мать, не оглядывайся. А то до вечера не дотянемся.

И снова две пары весел мерно сверкают, с них торопливо падают звонкие капли, и бурлит зелено-голубоватая вода, оставляя пенистый убегающий след.

Море да слепящий блеск, да мерно откидывающиеся со взмокшими пылающими лицами фигуры, да два белых пятнышка на смутной полоске берега.

Только когда постаревшее, красное, расплывшееся солнце, такое незлобивое и бессильное теперь, коснулось синеющего края воды, лодка с тяжелым хрустом глубоко врезалась носом в мокрый песок.

Выскочил мальчишка, вылезла баба, оправляя платок.

На берегу, говоря о проснувшейся жизни, курились синим пахучим дымком кизяки под навешенным котелком, в котором уже весело закипала вода. Бабка суетилась возле, старая, жилистая, длинношеяя, — все собирала для костра сухой камыш и осоку.

Целый выводок ребятишек ходил за ней, оставляя маленькие следы на белом песке, — тоже собирали. В одной мазанке голубые ставни были открыты, и глядели маленькие окна с поднятыми стеклами. Только другая стояла тихо и безжизненно с забитыми ставнями, с заколоченными дверями.

Ребятишки с визгом побежали, забрались в лодку и, чирикая по-воробьиному, начали выбрасывать на песок все еще не уснувшую, трепетно вскидывавшуюся рыбу.

Мальчишка цыкнул на них, достал из кормы кисет с табаком и стал загибать собачью ножку. Прежде мать вытянула бы его за это по спине веслом или кочергой, и, чтобы покурить, он забирался куда-нибудь в темный уголок, а теперь затягивался, длинно сплевывая, как отец. И, как это делал отец, предоставив усталой матери и детям лодку, пошел не спеша, вдавливая босые ноги в песок, — это после отца всегда оставались глубокие следы.

Солнце зашло.

На море — тихий, отдыхающий покой. Едва уловимые стекловидные морщины слабо всплывают на песок. Незаметно родятся

белые звезды, и из глубины на них смотрят такие же бледные и слабые.

Пахнет соленой водой, прелыми водорослями, а из степи сладко наплывает запах чабора и приносит дремотную перепелиную дробь.

Все обсели котелок и вкусно таскают деревянными ложками уху, в которой белеет разварившаяся рыба.

Самый маленький, с выцветшими от зноя в белый лен волосами, уже положил головенку на колени бабки, да и у остальных слипаются глаза.

— Чебак пошел, — говорит толстым голосом мальчишка, — не сегодня-завтра сула и подсулок. Нонче табунок вытащили. Сети, вишь, не выварили. Ты чего же, бабка, смотришь?

— Куды же мне от детей... Утресь пошла в слободу картошки взять, ды староста говорит: «Разорять вас придем». Господи, и чего такое будет!..

Кряхтя и вздыхая, бабка подняла маленького и с усилием понесла на руках, а у него болталась свесившаяся головенка.

— Пущай явятся, — сказал мальчишка, собрав на переносице морщинку, и постучал, отряхивая, ложкой по краю котелка, — пущай. Я им покажу от ворот поворот... Я их потяну за зебра!..

— И чего такое будет, — всхлипнула баба и утерла глаза уголком платка, — самого угнали, а тут еще разор... Пошли спать, идоловы! — закричала она сердито на детей.

Дети, поскребывая голову, потянулись к мазанке, а Манька, старшая, взялась мыть котелок и ложки.

— И письма давно нету — може, и убили.

Баба всхлипнула.

Мальчик поднялся, посмотрел на золотые звезды, которые вылезали из-за смутного темного моря, и сказал, как обыкновенно говорил отец после ужина:

— Спать надоть.

Мать с детьми и бабка легли в мазанке на полу, чисто подметенном, затрушенном от блох горькой полынью. Мальчишка достал в сенцах топор и лег на берегу под лодкой, а топор возле себя положил.

«Если придут, старосте развалю голову...»

Не успел подумать, а староста тут как тут, да не один, а сотский, десятские, заседатель, понятые, бабы и девки, — эти поглазеть пришли.

Хотел вскочить Пахомка и развалить голову старосте, а топор — в десять пуд, рука к нему приросла, не шевельнется. А староста говорит.

— Лежишь? Ну, и лежи.

И стали они делать то, что два раза делали на памяти Пахомки. И будто стоит отец, как и тогда стоял, и смотрит.

«И откуда отцу быть тут?» — думал Пахомка, и ему не странно, что тут отец.

И вдруг сладко потянуло чабором со степи, донесло перепелиный: подь-подеп... подь-подеп... И влагой потянуло с моря. И нет ни старосты, ни заседателя, ни отца. Знает Пахомка — снилось все это, но, все заслоняя, как из легкого тумана, выступает опять староста, заседатель... А потом опять все пропало в черноте, заволокло крепким, молодым сном без сновидений.

Спят в мазанке бабы и дети, спит под лодкой Пахомка, а море не спит, смутно проступает берег, и все так же сладко пахнет из степи чабором.

В степи так же тихо и спокойно, спит слобода, и смутно белеют по балке хаты.

Лет десять назад пришел сюда Василий, пахомкин отец, с бабой, с матерью и с двухгодовалым Пахомкой, глянул вправо и влево по пустому берегу и стал с бабами класть из глины мазанку; вывели стены, печку, трубу, натаскали соломы, тряпья и стали жить. Василий пригнал лодку, привез сетей, крючьев и в вёдро и в непогоду пропадал на море.

А когда приезжал, бабы вываливали рыбу, потрошили, распластывали, вялили, солили, либо приезжали на дрогах скупщики и увозили рыбу, оставляя на песке следы от колес.

Не было ни хозяйства, ни живности, ни пристроек, даже забора не было. Бабы не пекли хлебов, не возились с огородом, все добывали в слободе, — туда несли рыбу, а оттуда — печеный хлеб, вишню, капусту, молоко, когда и свежину.

Слободские из поколения в поколение пахали, сеяли, знали только землю и не любили и боялись воды. К голодранцам, поселившимся на их земле, на берегу относились презрительно.

А однажды на берег пришел староста с мужиками. Мужики присели в тени мазанки, закурили, и староста сказал:

— Вот чего, Василий: сымайся и уходи.

— Как так?

— Так. Земля наша, а ты самовольно. Мы землю берегем.

— Брешете — бечевник по берегу казенный. Ваша земля вон в степе.

Помолчали мужики, посидели, и староста сказал:

— Земля наша, а землю мы берегем. Сымайся со всем своим скарбом и уходи, куда знаешь.

А один мужик, поковыривая песок, сказал:

— Два ведра вина обчеству поставишь — можно оставить на время.

Василий молча сложил тугой кукиш:

— На-кось!

Мужики пошли, и долго в степи покачивались их широкие, крепкие хлеборобные спины. А через год в это же время приехал заседатель с рабочими, пришел староста, понятые, прочли Василию определение суда, вынесли все из мазанки и стали рушить. Выломали окна, двери, развалили стены, печи, трубу — и ушли,

а над тем местом, где стояло пригретое жилье, лишь курево курилось.

Бабы сидели на большом красном, обитом жестью сундуке и голосили. В тряпье копошились ребятишки. Василий ходил по берегу, кричал на своих, дал бабе по затылку, потом спихнул на воду лодку и уехал смотреть сети.

Над сундуками, над тряпьем поставили из рогож шалаш и жили все лето. А когда пришли черные осенние ночи и глухо зашумело в темноте море, Василий подрядил в слободе тех же мужиков, что приходили, и их баб, ночью на подводах привезли материал, земляные с навозом кирпичи в человеческий обхват, сложили стены, сбили печку, вывели трубу, и к утру над новой серой мазанкой уютно курился синий дымок; только не вставленные еще окна и двери черно зияли.

Пришел староста с понятыми, составил протокол, дело пошло опять в суд, а ребятишки всю зиму ходили с раздутыми носами, чихали и кашляли. Летом стены просохли, бабы их побелили, и опять далеко, гостеприимно белым пятнышком глядела мазанка в море.

Приехал как-то на лодке новый рыбак с бабой и ребенком, поставил о-бок новую мазанку, стал рыбачить, а в море, маня уютом и покоем, глядели теперь две мазанки.

Через лето после судебной волокиты снова приехал заседатель с рабочими, пришел староста, понятые, развалили обе мазанки и ушли, а в черную осеннюю ночь они обе опять выросли у самой воды на божьей земле, и опять рыбаки в погоду и непогодь ходили в море, а бабы возились с рыбой.

Так было до трех раз.

В последний раз снова пришел староста и сказал:

— Може, добром уйдешь?

И опять к его широким, как ворота, ноздрям, откуда лезла шерсть, протянулся тугой, просмоленный, обветренный кукиш.

Снова начали дело, да война приостановила. Василий собрался, баба выла, как по мертвому, ребятишки захлебывались. Пахомка, моргая, глотал слезы. У дверей, загружась колесами в песок, стояли дроги, и парень, дожидаясь, скучно похлопывал кнутом по пыльным сапогам.

— Слухайся матерю, теперя тебе справлять всю работу, всю страду.

По обветренному, продубленному лицу ползли слезы, — никогда не видал этого Пахомка и захлюпал носом.

С тех пор Пахомка за хозяина на берегу, — ходит в море, спускает, подымает сети, ставит крючья, а мать помогает, как прежде он сам помогал отцу.

Пахомка как будто раздался в плечах, голос окреп, стал хриплее, как у отца. Прежде, бывало, мать всердцах огреет его кочергой либо коромыслом, а теперь он кричит на нее:

— Вон, глянь на суседев. То-то!

Сосед тоже ушел на войну, а баба взяла девчонку за руку и пошла в наймитки. Мазанку заколотили.

И мать и бабка давно встали, возились по хозяйству. Когда солнце из засветившейся степи тронуло верхи верб, мать разбудила крепко спавшего Пахомку.

Недовольно вскинулся Пахомка, — отец, бывало, сам всех будил. Закричал на ребятишек, что вылеживаются, и принялся за выварку сетей. Потом конопатил лодку, потом приезжали скупщики, и он с ними резонился. А вечером положили в лодку хлеба, бочонок с водой, навалили на носу сухих сетей и пошли в море на ночь.

Было тихо и душно. Даже песок вода не лизала, а море и степь тонули в сухой сероватой мгле, как после пожарища.

Пахомка, откидываясь, работал веслами. Пот градом катился по воспаленному лицу, и белые мазанки, всегда долго белевшие, когда уходили в море, сразу затянулись.

Когда медно-красное огромное солнце, сделавшись коричневым, опустилось не в воду, а во мглу, Пахомка, странно озираясь, сказал:

— Матка, ай на берег воротиться?

А мать, беспомощно опустив весла, тоже с распаренным лицом, еле раскрыв рот, сказала нерешительно:

— Как же быть-то: завтра скупщики к вечеру будут.

Снова весла стали глухо бурлить, толчками подвигая лодку. Своего места, где плавали обрубки на якорях, не нашли и стали сыпать сети, где застала наступающая ночь.

Пахомка беспокойно, торопливо, то и дело срываясь, сыпал за борт сети и все понукал мать, которая, надрываясь, с растрепавшимися косами, гнала тяжело волочившуюся лодку.

Вдруг стало легче дышать, и бесконечно заблистали в воде звезды. А через секунду они задрожали, запрыгали в бесчисленных морщинах, и в снастях зашумело; у бабы затрепыхались концы платочка, а у Пахомки вздуло на спине рубаху. Потом опять бездонно во все стороны играли звезды.

Пахомка рвался, выкидывая сеть.

— Скорей, сынок, скорей!..

Шлепнул тяжелый якорный камень и обрубок. Пахомка схватился за весла, и от лодки, расходясь торопливо, побежали в обе стороны два жгута, уродуя и вытягивая попадающие в них звезды.

Да, видно, поздно было: зашумело, загудело кругом, все до одной звезды в море пропали, а через минуту стало качать и хлестать через борт.

Пена во тьме смутно неслась, обдавая обоих. Стал было ставить Пахомка парус, мигом долетели бы, да не справился, — рвануло, выдернуло шкот из рук, и забилось, свистя и хлопая, огромное полотно. Лодку накренило, и она глубоко черпнула.

Когда ходил с отцом в бурю, в ветер, Пахомка ни о чем не

думал, иногда спал, свернувшись калачиком под банкой, даже во сне чувствуя бронзового, как отлитого, человека, на корме отвалившегося на руль и державшего в железной руке дрожащий, как струна, шкот.

Пахомка, чувствуя себя маленьким, полез, кидаемый в лодке, к матери и закричал тоненьким, без хрипоты, голосом:

— Ма-атка-а!..

А мать металась, хватаясь то за руль, то за весла, и на секунду облепил лицо Пахомке сорванный с ее головы платок.

Тогда Пахомка, вцепившись в борт, чувствуя, что в одном только спасение — в том, чтобы на корме, навалившись на руль, тяжело сидел темно-дубленый человек, — глотая соленую воду и не справляясь с выворачивавшей рвотой, закричал детским заячьим голосом:

— Ба-атя! Ба-атя!

Во тьме, смутно белея, крутилась и неслась пена, с визгом рвался в снастях ветер.

СНЕГ И КРОВЬ

В конце 1905 года я был в Москве.

Зима легла глубокая, снежная. Замороженные окна сплошь мшисто белели, а тяжелые белые клубы дыма медленно восходили над крышами.

Все шли и ехали с красными, как мясо, лицами. Кто тер перчатками щеки, кто торопился, не поворачивая головы, втянув в плечи, как будто у всех одна была забота, чтоб не одолел мороз, от которого всюду побелело железо и улицы терялись в холодной синеве.

Жизнь шла обычно, толпились в магазинах, в трактирах, то и дело отворялись двери, выпуская клубы пара, выходили пьяненькие с осоловелыми глазами. Та же толкотня на рынках, в рядах. Казалось, москвичи жили своей неугомонной обычной жизнью.

Но только казалось — тревога таилась всюду: за прикрытыми воротами, за побелевшими окнами, — стучалась за енотовыми шубами, за сермягами. В этом морозном воздухе, чуялось, нарастало еще пока неназываемое.

А по ночам стояли зарева. Стояли зарева, и не разберешь, в какой части города. Просто, выделяясь над упругим электрическим светом, полыхало полнеба, шевелилось, и звезд не видно.

Ночью все торопились, оглядываясь, и переулки глухо и пустынно подкарауливали.

В такую морозную ночь я шел по Садовой. Мигали звезды, бесстрастно светили фонари. Я стал сворачивать на Спиридоновку. Где-то, должно быть, на Бронных, глухо, как в вате, стукнул выстрел, и сейчас же за ним сразу два. И опять тихо, морозно, мигают звезды, светят фонари.

Я осторожно свернул на Ермолаевский к Патриаршим. И вдруг мимо по переулку, отбрасывая бегущую косую тень, откинув голову, без шапки пробежал студент в расстегнутой шинели. Мелькнуло у фонаря молодое безусое лицо, почудилось в крови, и пропал за углом.

«Что это?..»

Я остановился. И сейчас же из-за угла, звонко скрипя снегом, торопливо вышла группа студентов, держа руки в карманах, и тоже скрылась за углом, а один бросил на ходу:

— С оружием не ходить к Патриаршим...

Оглянулся — я один в переулке, стало быть, это относилось ко мне. Но тянуло неодолимое любопытство, и я осторожно пошел к пруду.

Возле серебрившихся деревьев чернела кучка народу. Когда я пересекал наискось улицу, один подбежал ко мне торопливо, испуганно и злобно, обдавая запахом водки, сказал:

— Давай револьвер... Стой!

— Какой револьвер!.. Что вам нужно?

Он, так же торопливо и злобно дыша, шарил по мне рукой.

— Да что вам нужно?

Подбежали остальные, человек пять, двое в валенках, один в теплой и потертой шапке с наушниками. Лица испитые и все так же испуганно-злобные, и сильно отдает перегаром.

Они все стали шарить по мне. У одного в руках кинжал.

— Нету оружия.

— А крест есть?.. Есть крест?.. Так тебя разэтак!.. злобно обдав подлой руганью и вытаращив глаза, крикнул высокий, худой, с подвязанными под холодным картузом ушами.

— Городовой!

Высокий быстро сунул руку ко мне в карман и переложил мой кошелек к себе. Городовой неподвижно чернел на углу спиной к нам.

Вдруг вся шайка на секунду воззрилась, бросилась за угол и исчезла. С Бронной, похрустывая снегом, вышло человек десять студентов...

Я обратился к ним:

— Что это за субъекты?

— Банды черносотенцев. На себя приняли миссию спасения отечества. Из-за угла подкарауливают прохожих, обшаривают, найдут оружие, избивают, иногда убивают и ранят. Студенчество особенно ненавидят, но осмеливаются нападать шайкой только на одиночек. Вчера двух студентов ранили, а третьего дня на Малой Бронной одного убили. Так шайками и сидят за углами.

Студенты ушли, а я пошел осторожно дальше. И теперь всюду чудилась тревога — в косой синей тени, густо лежавшей на снегу по углам от громадных молчаливых домов, в церковных дворах, над которыми в морозной мгле смутно и слабо сияли главы, по пустынным бульварам, изрезанным по снегу синими же тенями от деревьев, — всюду.

И опять где-то далеко, спереди ли, сзади ли, как хлопушка, завязая в морозе, хлопал выстрел, да вдруг посыплются, как горох, и опять смолкнет. Молчаливы замерзшие окна, молчаливы наглухо запертые ворота, — обыватель, как улитка, втянулся в теплые комнаты, в углы и полеживает там.

Около часа возвращался домой. Жил на Пресне, и окна нашего громадного многоэтажного дома глядели на Зоологический сад и на пресненскую каланчу.

В доме, несмотря на поздний час, встретили меня шум, говор и волнение. На средней площадке столпились жильцы сверху и снизу, охали. Виднелся околоточный, несколько городовых — воры обокрали четыре квартиры и два чердака, утащили шубы, шляпы, шапки, разные вещи, с чердаков — белье.

— Ни днем, ни ночью покою нет, — говорил чахоточный околоточный в очках, — как с ума посошли, каждую ночь краж десять в районе. А все — революционеры.

— Какие же это революционеры, это — жулики, — сказал кто-то мрачно.

— Как ваша фамилия?

Обыватель, работая локтями в толпе, стушевался.

А утром опять уже озабоченная обывательская торопливая суетня. Но обыватели чувствуют, что что-то совершается, что-то назревает еще неназываемое.

В газетах среди откровенных и резких статей письма: «Граждане, торговец такой-то в Охотном ряду — ярый черносотенец: он, говорили, делал то-то, то-то и то-то... Приглашаются все бойкотировать этого торговца».

А торговец, засунув руки в карманы, презрительно посматривает злобными черносотенными глазами на проходящую публику.

Проходит день, два, площадка перед его магазином пуста, в магазине ни одного покупателя, все обходят, как зачумленного, а соседи-торговцы, конкуренты, такие же черносотенцы, потирают руки, втихомолку ухмыляясь.

Дня через три черносотенец взвоет, бежит униженно в редакцию и помещает письмо:

«Я действительно был черносотенцем, но теперь переменил свои заблуждения, вижу, как я ошибался, и прошу простить меня».

Странно теперь вспомнить этот дружный натиск общественного мнения. Ведь чтоб результат был ощутителен, нужно было массовое участие в бойкоте, и оно так и было.

Охотнорядцы — самая наглая, вызывающая клика черносотенцев, неизменно поставлявшая кадры при избиении студенчества. Однажды охотнорядцы-мясники, хозяева и приказчики, отстранив полицию, с длинными ножами пошли на манифестировавших студентов. А теперь, придавленные бойкотом, прикусили языки, «переменили свои заблуждения», и по Охотному ряду разлился либерализм.

Эти удары общественного мнения поражали особенно ярых представителей черной сотни в разных частях города и всегда с неизменным результатом «перемены своих заблуждений».

Все возраставшая скрытая тревога, наконец, не выдержала,

тонкая сдерживающая ее оболочка лопнула, и тревога разлилась по улицам Москвы. Москва вдруг стала пешей — остановились трамваи, местами нагромоздившись на площадях в баррикады; смолкли звонки; пропали гудки паровозов, омертвели вокзалы, и неподвижно стояли на путях вагоны. Еще не было столкновений, а тяжелое гнетущее ожидание навалилось на огромный город.

Улицы и площади Москвы закипели народом — сколько глаз видел, скрипя морозным снегом, кутаясь в облаках дыхания, шли и шли вереницей люди по мостовой, по панелям, и шли все одинаково: от центра, от сердца Москвы к заставам. Шли в тулупах, в полушубках, бежали вприпрыжку в подбитых рыбьим мехом куртках и пальто.

Бабы, закутанные в навернутые по самые глаза платки, вели за руку посиневших от мороза детей, а побольше бежали сзади, играя и подбрасывая ногами мерзлый круглый конский навоз.

Многие везли за собой нагруженные добром и увязанные салазки.

И за заставами, сколько глаз хватал, шевелилась по пропадающему в морозной дали шоссе уходящая толпа.

— Куда путь-дорожку держите? — спрашивал я на Пресне мужичка, тащившего салазки со скарбом.

Он остановился, высвободил бороду и усы от намерзших сосулек и сказал:

— Да что, работенка кое-какая была, да вот забастовщики забастовали, все остановили, делов теперь никаких, там перегожу, а тады опять назад.

Деревенский народ широкими потоками исходил из Москвы, равнодушно предоставляя назревавшую борьбу им, забастовщикам, «ребятам», вообще *им*. Симпатии его интенсивно тянулись в *их* сторону, но сам он отстранялся и шел пережидать в деревню. Еще не пришло время, еще тяжелый плуг горьких обид, кровавого горя не взрыл до глубины его сознания, не открыл полуопущенных глаз.

Однажды в такой же синевато-белый от мороза день ухнул орудийный выстрел, замер, завяз в морозе, — и у всех остался от него тревожный отпечаток, как неощутимое злое эхо.

И неведомо откуда он прозвучал: не то со стороны Страстной площади, не то из Замоскворечья, не то от Пресненской заставы.

«Началось!..»

Мимо Зоологического проскакал взвод казаков.

Снова грянул орудийный удар и, сдваиваясь, еще. Потом вдруг посыпались горохом пополнее винтовочные выстрелы и пожиже револьверные.

«Да, началось...»

Улицы опустели, но углы на перекрестках вдруг заполнились кучками народа. Неодолимо тянуло на улицу, невозможно было сидеть в комнате. Стояли часами, говорили, жестикулировали.

И опять то же: тянуло любопытство, — но борьбу предоставляли *им*, — любопытство с примесью бессознательного, хотя и пассивного сочувствия забастовщикам.

— Бывала, бедным извозчикам житья нету: ды штрафуют, ды номера записывают, прямо хоть ложись ды помирай, — говорит красный мужичок в кучерском армяке, — а теперя городовик отмахнет извозчику, а он ему: «Пошел ты вон куды!..» — и поехал мимо без полного внимания.

— Ну как же, слободнее куда стало, — раздаются голоса, — бывало, праздничными одними задушут. А ноне: вот тебе бог, а вот порог, не прогневайся.

Тут же около стены стоят человека три, четыре, кто с винтовкой, а большинство с поблескивающими в руках браунингами. Это — *они*, таинственные *они*, от которых замер весь город и, сдваиваясь, глухо отдаются где-то орудийные выстрелы.

Они мирно беседовали с публикой, — в черных барашковых шапках, некоторые в папахах, в коротких куртках, перехваченных ремнем, в высоких сапогах. Потом старший говорит:

— Ну-ка, Ваня, сними-ка... Больно уж свободно они там...

Ваня, с южным резким лицом и ястребиными глазами, должно быть, горец, выступает за угол на широкую пропадающую в синей морозной дали улицу и, вскинув винтовку, припадает на одно колено. Раздается выстрел, и горец отбегает назад.

— Снял!.. Снял!.. Снял!..—слышится радостно среди публики.

Все, вытягивая шеи, напирая друг на друга, выглядывают из-за угла.

— Долой! — кричит один из дружинников.

Но прежде чем успевают понять, где-то в потонувшей синеве улицы грохнул орудийный выстрел, в ту же секунду, оборвав приближающийся свист, у противоположного угла воронкой дыма и пламени разорвался снаряд. Зазвенели стекла, посыпались куски водосточных труб и штукатурки. Кто-то закричал высоким заячьим голосом, — там тоже стояла кучка народу.

От нашего угла все прыснули, как перепуганные мыши. Кинулись в калитки, в подворотни; какая-то толстая женщина, перевесившись животом, тщетно лезла на забор, ребятишки с хохотом стаскивали ее вниз.

Я отошел дома на четыре назад по переулку и остановился. На углу было пусто. Но понемногу снова стали собираться с этой и с той стороны кучки народа и, вытянув шеи и замирая, заглядывали из-за угла туда, откуда каждую секунду могла прилететь смерть. Невозможно было усидеть в комнате, неодолимо тянуло на улицу.

Возвращаться домой труднее. Магазины закрывались, улицы становились все безлюднее, на углах там, где опасность, кучки народу, и те же вездесущие мальчишки шалят, выталкивают друг друга из-за угла под выстрелы, швыряют мерзлыми комьями.

Попал в Замоскворечье, едва выбрался. На Пятницкой возле

дома Сытина стояли грохот и пальба. Когда я вышел от знакомых, путь был отрезан—все переулки продольно обстреливались, поминутно цокали пули в водосточные трубы, в ворота, в стены домов, осыпая штукатурку. Ни на улице, ни в переулках никому нельзя было показаться.

В углу всхлипывала баба и утирала красное мороженое лицо углом теплого платка, накрученного на голову:

— И-и, господи, как я теперь... Ведь детишки дожидают, теперь ревут, а тут носа не высунешь...

— Тебе говорят, садом, а там пустырем, — говорит дворник, облаживая у сарая топор.

За воротами в разных местах то и дело начинали сыпаться выстрелы.

— И вам, господин, этой же дорогой. Зараз этой калиткой в сад, а там пустырь, только пригинаться надо, чтоб из-за стенки не видать было, а то зараз цокнут пулей. Ну, пустырем проползете, там церковный двор, а из церковного двора в тихой переулочек, а там слободно.

Возле стоял и слушал, подняв на меня глаза и поминутно подбирая носом выжимаемые морозом сопли, мальчик лет девяти, должно быть, в материнской кофте, — рукава висели до самой земли.

— Я вас провожу, — живо предложил он, подшмурыгнув носом.

— Ну, с богом! — сказал дворник. — Иди за ними, — сказал он бабе.

Мы втроем подошли к калитке; мальчик отодвинул завизжавшую старую задвижку, открылся большой сад.

— Снегу много, — сказал дворник, покачав головой.

Деревья глубоко тонули в снегу: мы стали проваливаться почти по пояс.

Где-то загоралась перестрелка; вверху пели пули, шевелили ветви, а иногда обмерзшие веточки падали, как подрезанные ножом.

Мы болтались в снегу, пригибаясь, иногда почти ползая. В углу сада двое возились над чем-то черневшим в снегу.

Мальчишка воззрился, как гончая на зайца:

— Кого-то волокут.

— Никак убили! — воскликнула баба, совсем легла на живот и, вскидывая руками, точно поплыла.

Когда добрались до людей, оказался, должно быть, рабочий, со слезящимися, намерзающими глазами и в потертом лоснящемся пальто. Возле суетилась франтовато одетая, вероятно, горничная, а на снегу, на широком лубке, застланном ковром, беспомощно лежала на подушке страшно полная дама, в великолепной лисьей шубе. На полном, красном от мороза лице неестественно синевато и густо выступала пудра. Она перевела на нас большие выпуклые, полные ужаса глаза и сказала:

— Боже мой, что же это такое!.. У нас люстру в зале пулей разбило... — и в изнеможении закрыла глаза.

— Али больная? — участливо спросила баба.

— Здоровее нас с тобой, — проговорил рабочий, стоя по колено в снегу, согнувшись и разбирая веревочную лямку на груди, которая шла к лубку. — Муж уехал, а она боится, а иттить не может — разве согнешься при такой корпуленции? Четвертной билет обещала. Вот и волоку, взмок весь, пудов шесть будет...

Он встал на четвереньки, уперся, как бык, и потащил лубок с покачивающейся на подушке барыней. Горничная заботливо помогала.

— Ох ты, господи! Мать пресвятая, до чего дожили, — воскликнула баба.

А мальчишка повалился на спину, задрал ноги и, дрыгая ими и мотая длинными обмерзшими рукавами, неудержимо стал хохотать на весь двор.

— Цыц, ты, бесенок! Все ухи оборву... сатана...

Наконец добрались до пустыря. В заборе выломана доска, все пролезли в дыру и с большим трудом протащили барыню. От церковного двора я пошел свободно; вспыхивавшая от времени до времени перестрелка оставалась позади.

По городу стали расти баррикады, — по улицам, по переулкам.

С утра до двенадцати часов идет постройка баррикад. Валят столбы, тащат снятые ворота, калитки, будки, газетные киоски, выдранные из заборов доски, все оплетают телеграфной и телефонной проволокой. Поют:

Вы жертвою пали...

Ребятишки всюду скачут, как бесенята... Помогают и бабы и девки, главным образом фабричные работницы.

А обыватели, кухарки, хозяйки с корзинами мирно шествуют в мясные, в зеленные за провизией, и никто не стреляет, и все спокойно и тихо. Нельзя же без обеда оставаться. Спокойно вырезывалась на холодном зимнем небе грозная пресненская каланча.

С двенадцати часов улицы обезлюживались, — ни души. Нельзя было носу показать, не только за ворота или калитку, но даже в форточку окна, — сейчас же летела пуля. Только прячась за баррикадами да за углами, чернели напряженные фигуры дружинников. Иногда они припадали на колено, и вспыхивали дымки их выстрелов. С каланчи, из-за зданий за Зоологическим садом, тоже вспыхивали тоненькими желтыми иголочками огоньки выстрелов или потрясающе бухал орудийный выстрел. Сторож, отправившийся в Зоологический сад кормить зверей, упал, и долго чернел на снегу его труп.

Ночью измученные дневной борьбой дружинники — их была горсточка — уходили передохнуть, поесть. Тогда приходили сол-

даты: приезжала пожарная команда, обливала расположенные по низу баррикады керосином и жгла их. Огонь трещал, пожирая дерево, и небо багрово шевелилось.

А с утра снова тихо и мирно, с корзинами идут за провизией. А поперек почернелой, обтаявшей до камней, пахнущей дымом мостовой строятся свежие баррикады под «Вы же-ертвою па-али...»

Управляющий нашего огромного дома озабоченно ходил по квартирам, справляясь, действует ли водопровод. Ассенизационный обоз не действовал, и была опасность потонуть в нечистотах.

— Хоть на улицу под пули беги. А знаете что, — сказал он,— что замечательно: ни одного воровства. Вот утром до двенадцати все же свободно ходить, квартиры настежь, хоть бы перышко утащили. Как сквозь землю провалились, — а ведь прежде в наших местах целые притоны были, каждую ночь, каждую ночь кражи, взломы, нападения, а теперь жулье как воды в рот набрало.

Скоро идиллия кончилась: улицы стали обстреливать и днем и ночью. Ночью стреляли по освещенным окнам, приходилось завешивать. Фонари всюду погасли. Выйдешь, как стемнеет, украдкой во двор, темная морозная ночь над домами, лишь звезды играют. Тишина. Где-то упорно и долго лают собаки. И чудится — спит мирно деревня, и нет тревоги, нет страха и смерти, лишь собачий лай все стоит, подчеркивая мир и покой.

Нарушая очарование, грохнет орудие, другое, и красивой огневой дугой над крышами летит под звездами снаряд. Слышен взрыв, другой, третий. Помертвели звезды: начинает полыхать багровое пламя — горит фабрика Шмидта.

И все, все, сколько ни есть, обыватели, все сидят по своим комнатам, углам, полуподвалам, предоставляя горсточке людей в морозную ночь биться за то, что и он, обыватель, не прочь бы получить, если бы ему дали.

Так тянется время, и все прислушиваются то к тишине, то к бухающему одинокому орудийному звуку.

Пришла, наконец, развязка. Еще было темно, часов с четырех загрохотали у Зоологического сада орудия, и мелко и дробно затрещали пулеметы. С трудом вставлялись между ними одиночные винтовочные и револьверные выстрелы.

Вдруг пули зачавкали в окна нашей и соседних квартир, звеня стеклом, впиваясь в перегородки комнат и густо обсыпая на пол штукатурку. Женщины с визгом хватали детей, бежали в дальние комнаты и кидались с ними на диваи, на постели, загораживаясь подушками. Мужчины лазили по комнатам на четвереньках, чтобы не подыматься выше подоконников и не угодить под пулю.

Пули часто попадали в наши черные окна. В некоторых квартирах, сбивая со стен штукатурку, застилало пол по щиколотку.

Рассвело. У окна одной квартиры разорвался снаряд, начисто высадив раму и все изуродовав в комнате. Тогда из всех квартир, похватав детей, все понеслись вниз, по лестнице, в подвал. В подвале было столпотворение. В соседних дворах горели подожженные солдатами дома. В подвале сидели сутки.

Наконец часам к девяти утра все стихло. Пришел дворник и сказал:

— Вылазьте, можно...

Все повылезли с таким чувством, как будто в первый раз увидели и светлый день, и дома, и людей. На улицах уже стояли городовые.

— Слава тебе, господи, слава тебе, — крестился дрожащей рукой старичок в наваченном кафтане, — вернулись власти предержащие.

Все разошлись по квартирам. И вдруг с разных площадок лестницы понеслись отчаянные крики:

— Батюшки!.. Караул!.. Обобрали!.. Что же это?

— Слава те, все попрежнему, все, — крестился старичок, — слава богу, успокоился народ, даже воры вернулись.

— Да идите вы сюда! — кричали женщины, зовя мужчин.

Несколько квартир оказались обобранными до нитки.

Все входило в свою обычную колею.

ВОРОБЬИНАЯ НОЧЬ

За далеким лугом только что проснулась узенькая красная полоска зари. В синеватом сумраке все больше светлела широкая река.

У самого берега подымалась гора: по горе лепились домики; наверху белела церковь. Под горой у берега чернели паром и лодки. А на берегу, возле парома, стоял маленький дощатый домик.

В комнате, на полу, на полсти спал паромщик Кирилл, бородатый черный мужик, а в углу на соломе свернулся калачиком мальчик лет десяти, Вася, подручный Кирилла, придвинув к подбородку колени.

По извилистой пыльной дороге с горы спускались две подводы, и лошади упирались, сдерживая накатывавшиеся повозки. На подводах были высоко наставлены большие решетчатые ящики, а в них тесно сидели гуси, куры, утки, покачивались, беспокойно вертели головами, поклевывали друг друга и на толчках испуганно вскрикивали и начинали беспорядочный птичий разговор:

— Куда нас везут?.. Ой, как тесно!.. Ну, не клюй меня. Ах, сколько воды, вот бы поплавать, поплескаться, вдоволь напиться... Как бы это выскочить отсюда... — и просовывали головы сквозь решетки.

Но решетки были узкие и выскочить нельзя.

С передней подводы соскочил высокий парень, заправил вожжи под сиденье, крикнул на лошадей, которые, прижав уши, стали было кусаться: «Но-о, балуй!..» и пошел к домику, похлопывая кнутом по пыльным сапогам.

В домике было тихо.

— Эй, кто там!.. Паромщик, переправу! — и постучал кнутовищем в темное оконце.

Никто не откликнулся.

С другой подводы прошамкал старик:

— Спят, видно, не слышат. Грохни-ка в дверь.

Парень подошел к двери, загремел кольцом.

— Слышь, что ль! Давай переправу.

Кирилл поднял черную лохматую голову:

— Эй, Васька, слышь, ступай, перевези, — и лег.

Мальчик вскочил, протер глаза, потянулся и опять упал на солому — мучительно хотелось спать.

— Ты чего же вылеживаешься? Ждут, — сказал Кирилл, не поднимая головы.

Мальчик опять вскочил, поддернул штанишки, снял со стены ключ и без шапки, босиком вышел.

За лугом сквозь легкие тучки краснелась заря, отражаясь в реке. Над водой курился легкий пар.

Мальчика передернуло от утренней свежести, и он побежал к парому, шлепая по мокрому песку босыми ногами; нагнулся и стал ключом отмыкать цепь, которою на ночь примыкался паром.

Сзади захрустел мокрый песок под колесами и копытами — подводы подъехали к парому.

— Кто же паром погонит?

Мальчик поднял голову: над ним стоял длинный, как жердь, парень и смотрел одним глазом, другой был затянут бельмом, а в ухе блестела серьга. Подводы стояли одна за другой.

— Я.

— Куда тебе... От земли не видать, что ж старшой не идет?

— Я могу, гоняю, а вы, дяденька, поможете...

— То-то, поможете.

Парень сердито дернул лошадей, и они, топоча по доскам и косясь на воду, ввезли подводу на паром. Другой подводчик ввел вторую пару лошадей. Вася глянул на него испуганно и не мог оторваться: у него не закрывались губы, старческий пустой рот чернел, и сбоку из-под клочковатых седых усов выглядывал желтый клык.

«Это — разбойники!..» — подумал мальчик и стал торопливо отвязывать от столба конец веревки.

Парень взял шест, и напружинившись, оттолкнул паром от берега. Мальчик ухватился за канат, уходивший в воду, и стал тянуть. Стали тянуть парень и старик. Паром повернулся носом и быстро пошел наискось к другому берегу, оставляя за собой на светлой воде убегающий след.

«Куда они птицу везут? — думал мальчик, — на ярмарку рано еще; в город — так им надо на гору ехать. Непременно разбойники. В прошлом годе так-то у дяди Силантия свиней ограбили, а на той стороне порезали. Ишь, никто так рано не уезжает. И серьга в ухе».

Мальчик искоса посмотрел на парня: он, не обращая внимания, перехватывал длинными, как у большой обезьяны, руками канат, с которого бежала вода. Особенно страшного ничего в нем

не было, но уверенность, что это — разбойники, почему-то еще больше засела.

А на старика, тоже перебиравшего мокрый канат, он и взглядывать боялся: когда взглядывал, на него смотрел провалившийся черный рот и большой желтый клык.

«Нет, разбойники...»

— Ну, ну, цыплок! Поворачивайся... В воду тебя спихнуть, что ли... — сказал парень и злобно блеснул белым мертвым глазом.

«Они меня спихнут в воду, чтоб не рассказывал, что видал, как с краденой птицей ехали».

И, нагнувшись, что есть силы стал тянуть канат, чтоб скорей добраться до берега. А берег уже вот он. Паром ткнулся в песок. Лошади от толчка переступили с ноги на ногу. Мальчик радостно прыгнул на песок и замотал конец веревки от парома за столб.

Парень свел своих лошадей, старик — своих; некоторое время они беззвучно шагали по песку рядом с лошадьми. А когда выехали на крепкую дорогу, сели и уехали.

Мальчик с облегчением посмотрел им вслед.

«Ну, наконец!.. А непременно разбойники. Ишь, как погнали лошадей».

А солнце уже взошло и радостно осветило реку, тот берег, дома, лепившиеся по обрыву, и белую церковь на горе. За речным поворотом чуть таял белый дымок — пароход шел.

— Эх, хорошо искупаться!

Это было великое искушение, так ласково мыла здесь светлая вода, желтый чистый песочек и стреляли в разные стороны крохотные рыбки.

Мальчик вздохнул и стал отвязывать от столба веревку, — нельзя купаться, увидит Кирилл, высечет. С усилием отпихнул паром и стал тянуть за мокрый канат. Трудно. Тяжелый паром еле-еле ползет, а река широкая. Если подъедет кто, Кирилл будет сердиться, что долго гнал паром. И мальчик изо всех сил тянет медленно скользящий канат.

А кругом рыбы весело и взапуски пускают по воде расходящиеся круги, как будто и они радовались и утру, и солнцу, и тишине, а некоторые выскакивали на секунду из воды, точно хотели посмотреть, что тут делается.

Вася стал уставать, тяжело дышал, перестал смотреть кругом, а, нагнув голову, что есть силы тащил канат, и пот капал с красного пылающего лица.

Когда паром подошел к берегу, из домика вышел Кирилл, черный, косматый, и сказал, насунув на глаза черные брови:

— Что долго так? Ишь, цельный час паром гнал. Либо купался там? Гляди, кабы кнут по тебе не погулял.

Очень мальчику хотелось сказать Кириллу, что он сейчас перевозил разбойников, да побоялся, не сказал.

А уже с горы спускались подводы к перевозу. Начинался рабочий день. Кирилл пошел гонять паром и крикнул:

— Берись за конопатку, Васька, да чтоб к обеду кончить!

Вася сходил в домик, взял молоток, долото, пакли, взял с полки ломоть хлеба и, жуя, пошел к опрокинутой на берегу вверх дном лодке и, все кусая хлеб, стал забивать паклей рассохшиеся щели в боках и в днище лодки. Он делал это ловко, постукивая молотком по рукоятке долота, — за лето всему научился.

Еще ранней весной привела Васю мать из дальней деревни к Кириллу и сказала:

— Кирилл Иванович, вы уж не обидьте моего.

А Кирилл нахмурил брови:

— За хлеб возьму, а больше ничего.

Вдова всхлипнула:

— Хоть полтинник за лето положьте ему.

— За хлеб, и больше ничего. Какая с него польза? Мал. Только что лодку перегонит с одной стороны на другую. Хочешь, за прокорм оставляй, больше ничего не дам.

Так и остался мальчик.

Постукивает Вася молотком, а сам прислушивается к веселому гомону на берегу. Бабы вальками хлопают по мокрому белью. Покрикивают мужики, купая лошадей. Лошади плавают, храпят и вскидываются в воде на дыбы.

С завистью смотрит Вася на бегущих с горы ребятишек. Они на бегу стаскивают с себя рубашонки и кидаются в воду. Брызги, сверкая, летят столбом. Крик, визг, смех, — весело. А Вася все постукивает да постукивает молотком по долоту, забивая в щели паклю, — к обеду надо кончить, а то рассердится Кирилл.

Прокричал пароход и, шлепая колесами, протащил мимо грузные баржи.

Солнце подымалось выше, и река становилась жаркой. Больно было смотреть от блеска. Воздух дрожит и колеблется. Ах, как хорошо бы теперь искупаться!..

К вечеру душно. Всюду стоит сухая горячая мгла, и от нее все неясно и смутно. Ласточки носятся над самой водой, чертя крылом.

Когда багровое солнце стало садиться за далекие вербы, Кирилл кликнул:

— Кончил?

— Кончил.

— Ишь ты, прокопался до вечера. Ну, я пойду по делам, а ты оставайся, да никуда не уходи. Теперь езды мало. А ежели с той стороны покричат парому, переезжай на ту сторону на лодке, возьми мужика, переправишь сюда, с ним отсюда и перегоните паром, а то один ты долго прокопаешься. Да теперь никто и не поедет, — он поднял голову и посмотрел на мглистое небо, по которому бежали сизыми клочьями тучи.

— Дяденька, я боюсь, как бы ночью гроза не вдарила.

— Ну, боится! Нежно воспитанный. Ничего! Никто тебя не укусит!

Кирилл ушел. Мальчик остался один.

Быстро темнело. Пропал другой берег. Гора смутно чернела, и на ней белым, едва уловимым пятнышком обозначалась церковь.

На берегу водворилась тишина — ни шороха, ни вздоха, только чудилось, молчаливо мелькают над потемневшей водой ласточки.

Где-то глухо погромыхало, как будто большой телегой проехали по мосту, но моста не было. Опять тишина.

Мальчик пошел было в домик, да жутко одному в темноте. Он вышел и примостился на берегу под опрокинутой лодкой. Возле неподвижно чернел паром, а под ним черным блеском чуть проступала вода.

Опять кто-то проехал на телеге, глухо ворча. Мальчик весь съежился и подобрал под себя босые ноги.

Вдруг над лодкой зашумело, засвистело, сыпнуло в глаза песком и понеслось по невидимой реке. В бока парома заплескала мелкая торопливая волна, и беспокойно застучала в помост привязанная веревкой лодка.

На минутку снова стихло, только неуспокоенная волна билась о паром.

«Господи, чего же я тут буду делать!..» — подумал мальчик, вглядываясь в темноту и боясь в нее глядеть.

Ветер бешено загудел. Река зашумела сердито и грозно. Слышно, как отчаянно билась, стараясь оторваться с привязи, лодка. Мальчик боязливо прислушивался, не загремит ли гром, но гром больше не гремел, а лишь стоял гул ветра да шум реки.

Сквозь этот шум почудилось:

— Па-ро-му-у!..

Будто слабо донеслось с той стороны.

Мальчик вытянул шею и напряженно стал слушать. Нет, видно, показалось, — только ветер один визжал: вввж-ж...

Сверху на опрокинутое дно лодки упало несколько крупных капель, и вдруг дождь забарабанил громко и часто, да сейчас же перестал, и лишь ветер да река сердито ворчат в темноте

И опять сквозь шум:

— Па-ро-му-у!..

Мальчик притиснулся к лодке:

«Нет, ни за что не поеду, — это мне попритчилось. Кто в этакую ночь поедет?..»

Молния широко осветила реку и дальние вербы, и паром, и белую церковь на горе, а на другом берегу две подводы и двух человек — один высокий, один низенький.

Молния потухла, и все потухло в кромешной темноте. Мальчик стал дрожать: ему вспомнилось, как утром перевозил двоих — один высокий, другой низенький.

Снова теперь явственно донеслось:

— Да-ва-ай па-ро-о-му-у!..

Мальчик, весь трясясь, закричал:

— Дяденька Кирилл, я боюсь!..

В ответ только свистел ветер да шумела река.

Опять донеслись с того берега крик и брань. Мальчик выбрался из-под лодки, и ветер разом затрепал его рубашонку.

Мальчик заплакал:

— Дяденька Кирилл будет меня би-ить!..

Он подошел к смутно черневшей, бившейся у пристани лодке, и, плача, дрожащими руками стал развязывать веревку.

— И куда я поеду... Темень, не видать... ы-ы-ы... дяденька Кирилл, куда мне ехать, страшно!..

А с того берега все доносилось:

— Парому-у!..

И ветер рвал лодку, а она, качаясь и прыгая, рвала из рук веревку.

Мальчик ухватился за качающийся борт и прыгнул. Лодка встала, как лошадь, на дыбы, и сразу пропали в темноте черневшие паром и берег, — течение и ветер подхватили и понесли крутившуюся лодку.

Мальчик изо всех сил работал веслами и перестал плакать — не до слез было. Пот градом лился с него. Лодку качало и швыряло, как игрушку. То одно, то другое весло глубоко зарывалось в невидимые волны или моталось в воздухе, не касаясь воды.

Неизвестно, куда несло, где был берег, пристань. Мальчик вдруг понял, что он бесполезно бьется среди этой темноты. Он оставил весла, кинулся на скамейку и горько зарыдал, — пусть несет, пусть опрокинет, и он утонет, все равно, ему не выбраться отсюда.

Лодку приподняло, накренило и с размаху ударило о берег раз и два, — а мальчика выкинуло. Он упал на мокрый песок, и волны, шипя, обдавали его. Он на четвереньках отполз от воды и поднялся. Где он? На каком берегу? Где пристань, домик, паром? Куда итти? Кругом ветер, свист и шум, и плеск волн.

Мальчик сел на корточки, — с него бежала вода, — и опять стал плакать:

— Дя-день-ка-а Кирилл!..

Снова молча загорелась широкая синеватая молния и, как днем, все до последней песчинки озарило ярким трепещущим светом: паром, пристань, домик были в пятидесяти шагах, а взбудораженные волны реки с секунду оставались неподвижными. Потом все потухло, и темнота стала еще гуще.

Вася обрадованно пустился бежать и, когда добежал, услышал опять:

— Па-ро-о-ому-у!..

«Надо ехать... Лодку унесло... Поеду на пароме... Его не унесет, он на канате...»

Мальчик в темноте отвязал паром, с трудом оттолкнулся от берега шестом и схватился за канат, но сразу отдернул руку, —

ветер и течение с страшной силой подхватили и понесли паром, и канат мелькал с такой быстротой, что нельзя было за него хвататься, иначе он мог сдернуть в воду.

Маленький паромщик ждал, что будет. По качке он почувствовал, что паром идет все тише и тише, наконец, совсем остановился, и его стало бить на месте. Где он? Далеко ли берег, — нельзя было сказать.

Мальчик стал тянуть канат, но он натянулся, как струна, и дрожал, не сдвигаясь ни на вершок. А волны подымали и били паром. Казалось, вот-вот лопнет страшно натянувшийся канат, и волны подхватят и опрокинут паром.

Молчаливая молния снова озарила мохнатые изорванные тучи, туго натянувшийся углом над рекой канат и посреди реки паром, бившийся и старавшийся сорваться с каната.

Но что было всего страшнее, так это на другом берегу две подводы и два человека, — один высокий, другой низенький. Низенький стоял возле лошадей, а высокий у самой воды. А когда молния молчаливо вспыхнула опять, на берегу стояли две подводы, лошади и низенький.

Мальчик в страхе стал изо всех сил тянуть паром назад к домику, но паром тяжело бился на вытянувшемся канате, не сдвигаясь с места.

Молчаливая молния чаще и чаще разгоняла тьму, и видно было, как стали летать воробьи.

«Воробьиная ночь...» — подумал с отчаянием мальчик.

В ту же секунду он увидел ухватившиеся за край парома две длинные голые, мокрые руки. Потом из-за края показалась голова, с прилипшими волосами, с них бежала вода, и глянул белый мертвый глаз.

В смертельном ужасе мальчик закричал:

— Ма-а-ма!.. ма-аму-уня!.. пропадаю... ма-а-му-уня...

Он бросился к противоположному краю парома и, закрыв глаза, ринулся вниз. В ту же секунду длинные, мокрые костлявые руки обвились вокруг него и поволокли на паром. Мальчик рвался изо всех сил, только шепча: «Мама!.. мама!.. И вдруг почувствовал, веревка несколько раз обвилась вокруг его тела и прикрутила его к столбику, а над ним кто-то сердитым голосом бормотал. Мальчик потерял сознание.

Когда он очнулся, паром не качало. Стуча по настилу, съезжали на берег подводы. Возле, при свете загорающейся молнии, виднелся домик.

Кто-то поднял Васю и внес в комнату. Вздули огонь. Васю осторожно положили на солому. Старичок с незакрывавшимся ртом наклонился над ним и сказал добрым старческим голосом:

— Сомлел, сердяга. Ну, ничего, парень, вырастешь, крепче будешь.

И выставлявшийся изо рта желтый зуб у дедушки глядел добродушно и незлобиво.

А высокий закурил цыгарку и глянул на мальчика добрым белым глазом:

— Ну, молодца, парень, — до середины реки догнал паром. А то бы мне пришлось плыть через всю реку.

Вася, чувствуя радостное облегчение, сказал:

— А я думал, дяденька, вы разбойники.

— А разве такие разбойники? — сказал длинный с бельмом. — Мы, внучек, курей покупаем для заграницы, — всякую птицу, и гусей тоже, и уток.

— Это твой Кирилка разбойник, — сказал длинный, затягиваясь цыгаркой, — сам пошел бражничать, а мальчонку заставил по ночам паром гонять.

А Вася ничего не слышал, но только одно чувствовал — какой он счастливый, и радостно улыбался.

РОДНАЯ ЗЕМЛЯ

Горы, снизу доверху щетинившиеся лесом, всегда в одном и том же месте закрывали восходящее солнце. Уже бабы коров подоят, станут готовить полудневать, — тогда только из-за лесистого хребта выплывает солнце, но уже ослепительное, знойное, разгоревшееся, заливающее и тесное ущелье и вечно звенящую в нем говорливую речушку.

Никогда эти глухие места не видали нежного, розового, еще прохладного восхода, подернутого сквозными тучками с алыми тающими краями.

Никогда не видали они и доброго усталого заката; когда поднимается золотая пыль и идет на покой стадо, слышно мычанье до хлопанье длинного кнута. С другой стороны тоже огромной стеной поднимались лесистые горы и неподвижно лежали от века.

Маленький поселок, дворов восемнадцать — не больше, совсем затерялся в изгибах ущелья. Насунувшиеся отроги клали на него вечную тень.

А когда зайдешь в избу, забудешь про горы: те же, что в глубине России, рубленые стены, печка, выпятившаяся на полкомнаты, пришитые к стенам скамьи, высокие сундуки, генералы по стенам, широченная с наваленными подушками кровать, на которой спят вповалку поперек, кислый запах овчины, божница в углу.

Все то же, но только чуется достаток: крепко шитые, пахнущие деготьком хомуты висят на длинном деревянном гвозде, а не веревочная сбруя, да ружье, рог с порохом и широкий нож на стене для кабанов, должно быть, — говорят, что тут по-особенному, другое.

Степан Притыка, крепкий сухощавый старик, с желтым серьезным лицом, чуть тронутой сединой бородкой, — а ему уже за семьдесят, — вышел на баз, отгороженный от остального двора жердевым забором.

На базу — то же, что в России: коровы, рогатые быки, овцы сбились. И только кучка живых, задорных, себе на уме, насмеш-

ливых коз, подергивающих бородками, говорит, что тут иное, по-своему.

Степан прошел между скотиной к красному быку, который скучно лежал, не жуя, и смотрел мутными усталыми глазами.

— Ты чево же? — сказал Степан, взял за рог и пошатал бычью голову. Бык попрежнему, расставив рога, неподвижно и мутно глядел перед собой.

— Тоскуешь? А? — Степан вздохнул. — Тварь бессловесная, а сердце ссёть... А? Сам — скотина, а как у православного... А?..

Снял замызганный черный картуз и поглядел на зубчатые верхи хребта.

«Пихта, — подумал, — дерево мачтовое, а никаким родом не возьмешь... близко, да не укусишь...»

Он вздохнул, но о чем-то о другом, что, свернувшись, сосало под сердцем, и надел картуз. Чернопегая корова, стоя к нему задом, тоже глубоко вздохнула, выпустила длинный мягкий язык, быстро и влажно лизнула себя в одну ноздрю, в другую и продолжала медленно жевать, не оборачиваясь и все стоя к хозяину задом.

Подошел сосед, — в воскресенье не работали, — толстый, в ситцевой рубахе, которая кругло поднималась на животе, а под животом — черная подпояска.

— Здравствуй, Гордеич.

— Доброго здоровья.

Сосед облокотился на жердевую загородку и посмотрел на быка:

— Недужит?

— Здоровей нас с тобой. Зря скотину не пущаете; что же ей дома-то жерди обгрызать?

— Себе берегем, Гордеич. Ты не серчай. Сам знаешь, ежели к нему прилипла, все стадо пропадет, пущай на базу отлежится, може, отойдет, тогда гони опять, ничего, пущай в стаде.

Степан опять поглядел на пихтовый лес и прислушался. Ущелье было звучное, как пустой коридор в большом доме, и полно капризной, говорливой игрой речушки. Она торопливо звенела, лукаво посверкивая, среди камней, то белых и плоских, то навороченных уродливыми глыбами. И день, и ночь непадающий звон ее то разрастался в грозный заглушающий шум, то смиренно бежал едва приметным журчанием, открывая вековую лесную и горную тишину, которая невозбранно царила века.

— Так-то, — сказал сосед и снял руки с жерди, чтобы итти.

А Степану не хотелось отпустить его, хотелось опять притронуться к тому, что глодало.

— Здоровей нас с тобой, а это сердце у него — ссёть, тоскует, об месте об своем тоскует.

— Сам же говоришь, с Кубани пригнал. Далече ли тут? Два хребта перевалил — и Кубань, чево ж ему еще?

— Не об том, — сказал Степан, все прислушиваясь не то

к перемежающемуся говору бегущей воды, не то к чему-то, что постоянно жило в душе, — скотина об своем тоскует, а как человек? Разве сравнишь?..

— Чудной ты, Степан Гордеич, — глядя на него смеющимися глазами, сказал добродушно сосед, — сыт, обут, одет, бог послал тебе, нужды не видишь и скотинкой не обидел, и птица, и по домашности... Сказать, и дети — работники, жить тебе, как у Христа за пазухой, да бога славить, а ты рыло воротишь. Бро-ось!.. Тебе говорю, брось, по-суседски, по совести говорю.

А Степан между гомоном воды уловил вечную тишину и сказал:

— Скотина, и та тоскует, а человек! Надысь землемеры по хребту промеряли, так рабочий у них расейский, ну, рассказывал, — чижало народу на свете жить. Эх, мать Расея, хто тебе блюл, хто тебе годувал... Ежели скотина тоскует, то как человек без понятия...

Ночью из-за хребта поднялась луна... Она тоже встала светлая, сияющая, — такая, какой она бывает у нас посреди неба. И никто не видал ее такою, какою она восходит в полях из-за темного смутного края, — красная, огромная, мутная.

Только перед тем, как подняться, она тонко позолотила сквозным золотом гребни гор; загорелись пихты. А в ущелье лежала глухая чернота. А потом и горы, и леса, и небо стали серебряными, а в ущелье все лежала голубоватая темнота, и неумолчно звенела вода, навевая сон.

Поселок спал, поглощенный дымчатыми тенями. Ни одного огонька; даже собаки спали.

Но тут же в лесу, в горах, кто-то не спал, кто-то зорко смотрел в синей темноте острым глазом; чье-то слушало острое ухо; осторожно потрескивали веточки, беззвучно махая в синей темноте, пролетало что-то меж деревьями, и безустали звенела вода, все звенела бегущая вода.

Овцы в загородке вдруг шарахнулись, сбились в волнистую кучу и замерли, облитые лунным светом. Больной бык вздохнул.

Луна передвинулась. Овцы потонули в густой синеве, а в глубине двора среди деревьев проступила ослепительно белая хата.

Должно быть, украинцы жили, — только у них бывают такие белые хаты в лунную ночь.

Скрипнула дверь; на пороге — весь белый от лунного света старик. Он постоял в ситцевых портах и рубахе, босой, прислушался.

— Должно, ходит.

Но ничьих шагов не было слышно, звенела вода, и за ее неустанным звоном стояла тишина.

Больной бык, упершись на коленки, встал на задние ноги,

потом на передние, поглядел на старика, отрыгнул и стал жевать жвачку.

— Ну, во, а они — больной; здоровей нас с вами... Потить глянуть, кабы видьмедь в кукурузу не забрался, никак ломает.

Он тихонько пошел по тропке, изрезанной лунными полосами; сзади, пошевеливая хвостами, — две собаки, а за ними — косматые тени. Деревья расступились. Полянка, а на полянке стеной, выше роста человека кукуруза. Собаки навострили уши, понюхали воздух и уселись спокойно, — никого.

Старик стоял, глядел... Все — его стариковы труды и муки, — пятьдесят лет поил потом и кровью эти горы, эти страшные леса, без передышки, без смены; двадцатилетним парнем пришел, семидесятилетним стариком уходит. Напоил досыта.

Он повернулся к чернеющему из-за деревьев зубчатому хребту, широко положил крест и положил земной поклон, прижавшись лбом к влажной траве.

— Прощай, землица!.. Прощай, сторонушка...

А утром, еще не потухло раннее золото, которым горели зубчатые верхи гор, в притыкину хату набился народ.

Старшая невестка наварила, напекла. Односелы, родня, сыновья сидели на скамьях за столом; ребятишки шмыгали по хате; невестки и стариковы дочери подавали.

— Сердешные мои, — говорил старик размякшим голосом, — горько мне спокидать вас, но только положено человеку: ходи, заробляй, щастя свово ищщи по всем краям, по всем странам, по всем морям и окиянам, а помирай на родной сторонушке, шоб присыпали тебе очи родной землицей. Не будет душенька твоя ныть да тосковать на чужой сторонушке. Где схоронились от божьего мира твои отцы и деды, там и ты лягай у домовину.

— Э-эх, Гордеич, зря ты жисть свою ломаешь, зря семя свое обижаешь. Дом у тебя — полная чаша, твои труды; сыны — дай бог всякому, работнички. Жить тебе, бога благодарить, а ты морду воротишь.

— Батя, — сказал старший стариков сын, осанистый мужик с четырехугольной темной бородой и спокойными карими глазами, в которых — доброта и сила, — оставайся; ты нас людьми сделал, ты и живи с нами.

Сын поднялся и поклонился старику в ноги. Стариковы дочери и невестки заплакали.

— Брось, Гордеич, брось, слышь, брось, — заговорили сельчане со всех сторон, — неладно затеял.

Старик поднялся, широко покрестился и сделал три земных поклона перед образами.

— Шоб божье благословенье над вами и над вашими делами.

Хотел он много сказать, да не сказалось. Не шло словами.

Провожали старика всем поселком до второго хребта. Когда

поднялись на хребет, открылись горы, бесчисленное море гор, уходящих в синеву. Они толпились, как овцы в великой божьей отаре.

А за горами, в смутно-синем дыму — невидимые отсюда степи, — мать Россия потянулась.

Когда говорили последние прощальные слова и перецеловались со стариком, баба Горпина, уже пятнадцать лет жившая в этих горах, вдруг всхлипнула, вытерла подолом покрасневшие глаза и сказала дрожащими губами:

— Господи, у нас-то, у России, выйдешь за околицу, тут тебе и лопушок растет, тут тебе и галочки гуляют, а по-над речкой вербы схилились... и-и, господи!.. — и заплакала. — А тут горы да кручи, да не продерешься, — надысь всю юбку на чертяковом дереве оставила...

— Шо правда, то правда. Хорошо у Расеи, солнечко тебе всходит и заходит. Выйдешь, все дочиста тебе видать, а тут, как у погребе.

Мужики сумрачно молчали. А молодежь, которая родилась тут, весело щелкала семечки, стройная, подвижная, беззаботная.

— Ну, прощевайте!

— Дай тебе бог легкой дорожки.

Народ стал спускаться в поселок, а старик по едва приметной, должно быть, звериной, тропке — по другую сторону хребта.

Было тихо и так одиноко, как будто нога человечья не ступала тут никогда. А для старика все — как книга, много раз читанная, до последней былиночки запомнившаяся.

Спускается, а сам провожает глазами: городище черкесское; сады у них были; груш, яблок, слив — сила; покислело только все, дичать стало... Люди когда-то жили, хозяйствовали, а теперь, гляди, одни камни обгорелые да сады заросшие.

А вот чинара. Как легла поперек, ломая соседние деревья, так и лежит горой, почитай, годов тридцать, вся заросла. Бурей повалило.

Стал спускаться старик в ущелье — глубокое и мрачное. Скалистые стены, сколько глаз хватает, стоят отвесом. Красные скалы нагромождены. Между каменьями, которые лежат с дом величиной, шипит и пенится река. Из расселины искривленно выползают одинокие сосны.

Старик привычным, внимательным глазом оглядел плоские чистые плиты и, опершись на руки, припал и стал пить.

Отсюда он нес покойного отца; трое суток нес. Вот также стал пить, а змея укусила. Раздулся пах, стали пухнуть живот, грудь. Лицо стало кумачовое; больной говорит невесть что, — без памяти, а парень несет его, шатаясь, обливаясь потом. Через трое суток донес, и старика отходили.

И вся жизнь была такая же каторжная.

Поселились сначала, как пришли, на плоскогорье. Так же, как в России, было просторно и видать далеко. И хлебопашеством можно заняться.

Засеялись. Стала пшеница в рост человека; колос валился, хоть жердями подпирай. Только стала вызревать, набежала мышей несметная сила, и по всему хлебу пошли плешины и прогалины, — снимать было нечего.

На другой год завалил снег плоскогорье двухсаженными сугробами и лежал до самой пасхи, а когда, наконец, жаркое солнце растопило его, озимь, оказалось, вся выпрела. Опять остались без хлеба.

Переходили на новые места, но, за что бы ни брались, все было не так, как в России, все было навыворот, все валилось из рук. И некому было указать, некому было объяснить, что, когда и где садить и сеять, как бороться с наступившим со всех сторон лесом и с его бесчисленными жителями, которые все поедали и разоряли. До всего добирались ощупью, слепо, измучившись до последнего. Болели, умирали, бежали в Россию. Осталась горсточка, которая и осела в теперешнем поселке.

Посеяли кукурузу, а медведи ее ломали, свиньи рыли, зайцы грызли. Насадили садов, а дрозды тучами поедали все, и деревья стояли бесплодные. Так пятьдесят лет.

Но через пятьдесят лет мужицкое покорное упорство все одолело: и горы, и леса, и птиц, и зверей, и незнаемую капризную землю. И теперь в одиноком ущелье белел хатами поселок, и всего было вдоволь, — эти же горы, эти леса, эта же земля, всем наградили: вдоволь и скота, и одежи, и хлеба.

Оглядывается Степан на лесистый хребет, с которого он спустился, оглядывается на свою жизнь. Нет, не одним хлебом жив человек, не об одной скотине, не об одной пашне была забота. Попал в их поселок человек, из себя простой, и одежа простая, а руки белые, — видно, никогда не знали работы. И осел в поселке; за всякую работу брался, — рубил лес, сажал сады, сеял.

Мужики каждый тянулся для себя, а этот будто все для других, помогал работой то той, то другой бедствовавшей семье. Потом приехало начальство, — редко оно попадало в поселок, только когда низко стояла вода в речке, чуть поднимется, по ущелью не пройти, а по горам и думать нечего, не продерешься, — приехало начальство и увезло того человека.

Какое-то семя уронил человек в душу Степана. Свою мужицкую работу-борьбу он правил, как все, только не было беды, либо семейного разлада, либо горя от водки, чтобы Степан не пришел, не посоветовал, не помог. И уж так привыкли и тянулись все к притыкиной хате, как повитель по жердочке.

«А ведь не мних, не схимник... — вспоминает теперь Степан, — про бога, бывалыча, не скажет, а божьими делами займался, — светильник на горе... с совестью...»

Перешел Степан по камням шумящую речку, да запнулся, — на том берегу неподвижно лежавшая серая оглобля странно шевельнулась, потянулась в замерцавшей мелкой траве, и на одном конце поднялась тупая, как отрубленная, змеиная голова, блеснувшая маленькими злобными глазками.

Тьфу, будь ты проклят! Еще не видал такого здорового; зубы — как у собаки...

А желтобрюх исчез, и трава перестала шевелиться.

Когда жил, впереди все было заполнено неизбывным тяжким трудом и смутно маячившей надеждой, что когда-нибудь выбьются. А теперь, когда оглядывался, как будто все шло да шло к одному — к тому, чтобы он вот взбирался с хребта на хребет, спускался из ущелья в ущелье и шел на родимую сторону.

«По-своему, по-свойски и балакаты позабув», — горько думал он.

День уходил за днем, пришла, не спросясь, старость, стукнуло семьдесят! Эге, Степане, слухаешь? Еще бодрый, крепкий, а все старость.

Померла старуха. Пятьдесят лет с ней в этих горах, в этих лесах и щелях муку несли. Вот тут и начала грызть тоска. Начала грызть тоска. Все зовет: «Иди да иди, слышь, иди до ридной земли...»

Поднимется ли на горы, облитые лунным светом, или в лесу, полном темной синевы, ищет отбившуюся корову, одно шепчет: «Иди!»

Свой мужицкий оброк справил: оставляет крепкое наладившееся мужицкое хозяйство, которое теперь уже не свихнешь. Оставляет крепкое мужицкое племя, которое крепким ростком уцепилось в эти горы, не оторвешь. Старший сын — степенный, медлительный с добрыми глазами, а когда надо, быка сломает. И старик с любовью оглядывает памятью его широкоплечую вырубленную фигуру. Этот не сдаст, не попятится; от этого пойдут ядреные корни по всем горам.

Младший...

Усмехается старик: прокурат! Уж не он, чтоб чего-нибудь не выдумать: то диких свиней на крюк как рыбу наловит, то медведя в яму заманит. А в прошлом году отвел в ущелье трубой воду, поставил толчею, кукурузу обдирает да мелет.

Ухмыляется дед, вспоминая о сыне.

«Ищи щастя по всем царствам, по всем океанам, а помирай в ридной земли...»

Но дед идет не с пустыми руками. Знает, родная сторона бедностью заедена, водкой пропита, есть что сказать людям. И чувствуется ему, так западет его слово примирения, как западало оно сельчанам в поселке. И еще краше кажется родная сторона, краше встает из-за далекого бугра раннее солнышко, переговариваются схилившиеся над водою дремотные камыши, а за околицей — родные лопухи и галки гуляют.

Звериными тропками, то пропадая в сырых лесах, то выбираясь на взлизы, идет одинокий старик с мешком за спиной, с палкой.

Наконец выбирается на главный хребет. Перед ним открывается степная полоса, — серебрится ковыль, играют цветы, бежит переливами трава, никем не кошенная, никем не топтанная. А направо, налево открывается необозримое царство синих гор: направо толпятся они к чуть блещущему далекой полоской морю, налево теряются в голубом дыму, а за ним невидимые отсюда степи. Там — Россия.

В поселке все шло своим чередом.

Откосились в горах. Трава держалась на таких крутизнах, что приходилось становиться на одно колено при косьбе. Потом траву скатывали в круглые юрки, прихватывали веревкой и сбрасывали вниз. Долго катились юрки, прыгая на неровностях, пока, наконец, не падали на площадку. Тут стояли лошади. Траву сгребали в копны. Копну прихватывали канатной петлей, конец привязывали к хомуту, и лошадь волокла вниз в ущелье. Работа была трудная и опасная: случалось, люди и лошади срывались в пропасть. Недаром молодое поколенье росло такое гибкое, крепкое, стройное, с открытыми, смелыми лицами.

А там, на полянах, хлеб подошел. Кукурузу надо было караулить от медведей да упорно наглых свиней. Потом ломали ее. А там баштаны, сады, так и шел годовой круговорот.

Дело к осени. Поредели леса. Одиноко и угрюмо бродили медведи, подкарауливая подросших и нагулявших жиру молодых свиней.

Пошли дожди. Загудело ущелье, зашумело на все голоса, загрохотали обвалы, и не стало ни проходу, ни проезду, — от стены до стены неслась по ущелью бешеная пена, скалы дрожали.

А потом пришли ясные дни, и вершины гор и хребтов забелелись снегами, — стали по ним ходить пушистые белые облака. В ущелье же тепло и тихо.

Работы мало, только что около скотины, да лес стали заготовлять, рубить по горам.

По праздникам собирались к притыкиной избе, сидели на завалинках, вспоминали деда — от него ни слуху ни духу.

К весне снова загудело, загремело ущелье, бешено забелелось несущейся пеной.

Раз прибежали к крайней хате ребятишки, размахивая руками, и закричали:

— На энтой стороне человек стра-ашный!..

Пошли мужики, бабы, смотрят — дед стоит, и совсем другой, не узнаешь: борода белая по пояс; исхудал, как скелет; лицо почернело, глаза ввалились.

Засуетились все, закричали, а ничего сделать нельзя· несется бешеная вода от стены до стены, переворачиваются камни, вели-

чиной с хату, звон стоит и стон, скалы дрожат, — ни одно живое существо не перейдет в это время неукротимо несущейся реки, разве птица перелетит.

Стали махать старику, чтобы шел горами вдоль ущелья к морю, там переберется через бешеную реку по железному шоссейному мосту. Старик отмахнулся, — без топора не пройдешь лесами, пропадешь в горах.

Так и стали жить: эти — на этой стороне ревущей реки, а дед — на той.

Как вечер, заблестит между деревьями огонек, — костер разведет старик, чайничек поставит; потом наломает веток, настелит и прикорнет у огонька. А днем все в лес уходит, — должно быть, ягод ищет да птичьих яиц в гнездах — тем и питался.

А в ущелье стоит непадающий грохот, — оглохнуть можно. Соберутся к несущейся воде сыновья стариковы, дочери, остальной народ с поселка, смотрят, бабы плачут, а ничего не сделаешь. Так уходил день за днем, неделя за неделей. А старик, видно, слабеть стал, все больше лежит.

Только через месяц пропал на горах снег и упала вода. Перебрались на ту сторону, доставили старика, а он совсем ослаб, лежит на лавке, белый, длинный, руки худые. И все народ толчется в хате.

Раз старик поманил сыновей; сгрудились кругом него и сельчане.

— В горах дюже зазяб, — проговорил старик как будто припоминная, — шел, думал и не доберусь, завалит снегом, — и шабаш. Донес господь.

Он помолчал, глядя перед собой. Потом обвел всех подернутыми мглой глазами и проговорил глухо:

— На родине побывал... Да, был... Ну, чижало, мочи нету... Следов не соследишь. У нас тут зверь, а там зверьями люди живут. Шо делается!.. Старшина — по шее, урядник — по шее, становой — по шее, исправник — по шее; земскому не отвесишь поясной поклон — в тюгулевку на высидку. Братцы мои, мы-то боярами тут живем, по скольку месяцев начальства не видим, а там все продажное стало. А бедность!.. Ну, знищал народ, душой знищал, — ды тянут, ды рвут один у одного, ды за глотку хватают. А со святой мати-землей шо делают! Торгуют да барышничают, як сапогами. Хто схопил, глотку брату своему перервет, — кишки вымотает...

— Ой, лишечко!.. — всплеснула ближе стоявшая баба.

— Потемнела ридна земля, хмарою насунулась, духота стоит, человечье горе да слезы, и нема ему конца и краю нема...

Все угрюмо молчали. Звенела в ущелье река, молчали горы, леса.

ЧЕРНОЙ НОЧЬЮ

Из окна вагона не видно было надвигавшегося города: необозримо лежала туманная пелена. Ни крыш, ни домов, только концы фабричных труб бесчисленно высовываются над этим дымным морем.

На громадном вокзале неуютно, сыро и серо, и люди, нахохлившись, сосредоточенно и торопливо выливались на площадь.

На площади тот же деловитый сумрачный порядок, незапамятно когда заведенный. Мелкий, похожий на серую холодную росу дождь неуютно садится на мокрую мостовую, на потемневшие памятники, на громадные дома.

И так же молча все спешат, сосредоточенные и угрюмые.

Небольшого роста огненно-рыжий человек, с выбивавшимися из-под шапки космами, сказал извозчику:

— Мне нужно в гостиницу.

— Пожалуйте, восемь гривен.

Рыжий человек положил чемоданчик, сел, и пролетка, мягко покачиваясь, беззвучно покатилась по мокро темневшей мостовой, лишь раздавалось цоканье кованых копыт.

Мимо бежали громадные стекла магазинов, вывески; терялись верхушками в сыром моросившем тумане многоэтажные дома; проносились трамваи, и нескончаемой вереницей катились экипажи.

«Чисто барин, — подумал рыжий, — а в кармане всего восемнадцать рублей. Пропадешь тут... У нас теперь, поди, грязь по колено, утонешь...»

Заслоняя многоэтажные дома, и вывески, и стекла магазинов, всплыл в памяти заброшенный в степях захолустный городок,— осенью тонет в грязи. Глушь беспросветная, белые гуси пощипывают на улице зеленую травку, свиньи бродят, но почему-то теперь этот далекий заброшенный городок кажется милым, родным, близким сердцу.

В гостинице дали крохотный, но чистенький номерок за целковый. Окно выходило на узкий глубокий двор, обставленный со

всех сторон стенами с бесчисленно черневшими окнами. Далеко внизу, как в колодце, темнел мокрый асфальт и чернело, неведомо как уцелевшее среди немых камней, одинокое уродливо искривленное дерево с судорожно вывернутыми сучьями.

Вошел официант и сказал чужим голосом:

— Паспорт пожалуйте.

Он это сказал, а показалось, будто сказал: «Нам все равно, и ни до вас, ни до вашей жизни дела нет, только лишь расплачивайтесь аккуратно. А хоть час просрочите, выставим».

В паспорте было написано: «Мещанин города Черный Яр, 22 лет, Белощеков Алексей Сергеев».

Рыжий человек достал из чемоданчика рукописи, бумагу, перья, все это любовно разложил на столе и почувствовал себя дома.

Мимоходом глянул в рябое зеркало над комодом:

— Фу-у, да и страшный я! Вихры-то огненные чего стоят... Разве могут меня полюбить?..

Он придавил готовый вздох и запел козлиным голосом баркароллу Чайковского:

...Вый-де-ем на бе-ерег,
Та-ам во-ол-ны бу-у-дут
Нам но-о-гн ло-о-бзать.
Зве-е-зды та-ин-стве-нным бле-еском
Бу-у-дут на-ад на-а-ми сн-я-ать...

Потом пригладил вихры, сел на кровать, по-турецки поджав под себя ноги, и стал пересчитывать деньги: семнадцать рублей двадцать семь копеек. Сумма показалась огромной. Ведь всего на несколько дней. Завтра же будет в редакции и, может быть, завтра же выдадут аванс.

Зве-езды та-ин-стве-нным бле-еском
Бу-у-дут на-ад на-а-ми сн-я-ать...

Белощеков встал, прислушался: в гостинице было тихо. Окно мутнело от оседавшего дождя.

Он прижал глаз к стеклу: на дне стояло на асфальте дерево, черное от мокроты, одинокое.

...бле-еском... бу-у-дут сн-ять...

Нужно итти в редакцию, но приемный день завтра. Чистенький номер, в коридоре блестит пол, никого, все двери с ярко вычищенными медными ручками молчаливо закрыты. Праздник без праздника.

И на улице за туманом садящегося дождя — праздник. Праздник блестящих магазинов, украшений домов, чугунных ворот, катящихся нескончаемой вереницей экипажей, красиво и модно одетой, несмотря на дождь, непрерывно движущейся по широкой панели толпы.

Белощеков чувствовал и себя кусочком праздника, и останавливался перед витринами, и шел в толпе, как и все, не обращая внимания на дождь.

Пообедал в столовой, и там девушки подавали ему по-праздничному.

В мутно-туманных сумерках жемчужно вспыхнули фонари.

Вернулся Белощеков усталый той приятной праздничной усталостью, какая бывает по воскресеньям.

Когда вошел, на минутку была какая-то беготня, беспокойный говорок, донеслись всхлипывания, торопливо прошел управляющий с холеными усами, кого-то пронесли, потом опять по-праздничному блестел пол в освещенном коридоре, и были молчаливы многочисленные двери с ярко вычищенными ручками.

Белощеков потребовал самовар, достал купленную пастилу, инжир, финики — сладкоежка был,— и праздник продолжался.

Коридорный с одутловатым лицом, когда убирал самовар, сказал:

— Горничная у нас отравилась.

— Это которая тут убирала? Девочка еще совсем? С ясными глазами?..

— Она самая. Матери их присылают, чтоб подсобить, чтоб заработали, а они травятся. Сколько их перепортили жильцы... Положение наше чижолое...

Ночью снилась девочка, тоненькая, как тростинка, с ясными невинными глазами, и сказала: «Я не отравилась, я — дерево». Он ахнул: в глубине, в сырой темноте с черной отваливающейся корой маячат искривленные, уродливо вывернувшиеся ветви. И молча со всех сторон черно и пусто смотрят на них окна сверху донизу, а кто-то говорит: «выпили, все выпили...»

До самого утра.

В двенадцать часов Белощеков пригладил вихры и отправился в редакцию. Тот вчерашний праздник тянулся и сюда, только по-иному: тут он был в строгости, в том значительном и большом, что здесь совершалось. Прежде, бывало, мальчишкой в церкви он такое испытывал, а теперь уже не заглядывает в церковь, а это чувство перенес сюда, в редакцию,— теперь здесь храм, храм мысли, таланта, благородного творчества.

В небольшой комнате сидела дама с желтым изжитым строгим лицом в очках и писала. За другим столом барышня с длинным лицом записывала что-то в конторскую книгу. Другая барышня перебирала кипу пыльных газет.

Через дверь второй комнаты виднелись полки, заваленные книгами, и неслось щелканье счетов.

«Как будто старой мебелью торгуют»,— подумал Белощеков.

— Мне бы секретаря редакции надо видеть.

— Я — секретарь. Что вам угодно? — сказала дама, глядя на него сквозь поблескивавшие очки и говоря строгими глазами: «Ты сам по себе, мы сами по себе».

«А ведь когда-то была молодая и красивая...» — с сожалением подумал Белощеков и сказал:

— Рассказ сюда я прислал, уже два месяца назад. Я — Белощеков. Заглавие: «Голубой край».

Дама, болезненно наклонившись, взяла книгу, ловко перелистала, захлопнула, положила обратно, снова стала писать и, помедлив, сказала:

— Не принята.

Белощеков остолбенел.

«А у меня только девять рублей восемьдесят две копейки осталось... на пастилу да финики сколько убил», — подумал он, чувствуя, как ползут мурашки.

— Как же это... ведь я... ведь я у вас в журнале уже печатался...

— Что ж: то подошло, а это не подходит.

Барышня мельком оглядела его и опять продолжала возиться с своими газетами, подымая пыль.

Белощеков тупо помолчал перед столом и, преодолевая хрипоту, с усилием выговорил, глотая слюну:

— Тогда возвратите рукопись.

— Марья Ивановна, передайте рукопись — 32546.

Барышня оторвалась от газет, подошла к пузатому шкапу, порылась и сказала:

— Рукописи нет.

— Как нет?

Дама поднялась, сама поискала, потом прошла в другую комнату, долго там была, вернулась и сказала, ласковее глядя:

— Рукопись затеряна.

— Что же вы со мной делаете, наконец?! Ведь я живу этим. Я, наконец, в чужом городе...

— Что же делать? К нам тысячами поступают рукописи — вышел недосмотр, всегда возможно, извиняемся.

Белощеков шел по улицам, сырым и липким. Туманный дождь влажно садился холодной паутиной на лицо, на руки, на стекла, на стены.

«У фабричных ворот толпятся рабочие, и к ним вот так же выходят и говорят: не надо... И они идут по мокрым, сырым улицам, и дождь садится на одежду, на лицо... Девять рублей восемьдесят две копейки... Перестану обедать...»

Зашел, купил немного сыру и хлеба и пошел в гостиницу. Но когда дошел, не мог подняться в номер, который вдруг опротивел, прошел мимо и без конца ходил по мокрым угрюмым улицам, отщипывая понемножку в кармане хлеб и сыр и прожевывая на ходу.

Уже вечером в сумерки, когда опять вспыхнул матово-жемчужный свет фонарей, отливая в тумане круглой радугой, поднялся к себе в номер, неуютный и тесный. Внизу в темноте чув-

ствовалось искривленное, изуродованное дерево. На него бесчисленно смотрели с четырех сторон светившиеся окна.

Зажег электричество, подали самовар, стало уютнее.

«Ну что же, нечего нюни распускать. Засяду тут писать, напишу. Сыру только нужно отложить половину на завтра, надо экономить. Напьюсь чаю и сяду писать. Сегодня часа четыре поработаю, много можно двинуть».

Сел за чай, съел весь сыр и вдруг мучительно захотелось спать, все забыть. Ночью опять стояла тоненькая, как тростинка, девушка с бледным личиком и печально пела:

...там мо-ре... будет нам ноги лобзать...

И опять оказалось, это стоит внизу во мгле и сырости на холодном асфальте сдавленное со всех сторон шестиэтажными домами искривленное дерево.

Утром, вместо того чтобы сесть за работу, отправился бродить. Ходил под дождем по улицам, заходил в трактиры, в кафе, в библиотеки и к вечеру пришел в номер такой измученный, что свалился и спал, как мертвый.

К ужасу его, такая жизнь потянулась день за днем. Каждый раз он строил планы, как примется за работу, как ярко будет писать завтра.

Приходило завтра, и не было сил засесть за работу, и опять уходил шататься по улицам огромного кипящего города.

Как-то вытащил кошелек, там оставалось семьдесят три копейки. Тогда в страхе рванулся к столу и принялся писать.

Писал, не отрываясь, вскакивал и начинал ходить из угла в угол, быстро поворачиваясь и бормоча вслух.

Коридорный иногда с удивлением останавливался у двери, заглядывал в замочную скважину:

«Чудно! Сам с собой разговаривает. Выпил, что ль?»

И как-то, подавая самовар, сказал:

— У нас жилец был, и хороший господин. Так зачал сам с собой говорить,— отвезли в желтый дом.

Но Белощеков ничего не замечал: нечесаный, косматый, неумытый, с расстегнутой рыжей грудью, он прямо с постели кидался к столу, зажигал электричество и начинал писать, вскакивая, бегая, бормоча и опять кидаясь на стул, хватая ручку.

Как-то пришел официант и сказал:

— Соседи обижаются — спать по утрам не даете: разговариваете, и неведомо с кем.

Официант сказал это грубо и пренебрежительно,— уже третий день на столе Белощекова лежал неоплаченный по номеру счет. Да не только счет не оплачивался, Белощеков забыл уж, когда и обедал.

— Хорошо, хорошо... — сказал Белощеков и стал снимать штиблеты и в одних носках бегать по номеру, шипящим шопотом выговаривая фразы.

Его одолели мужики, которые толпой лезли на бумагу, их нищета, невежество, грубость, несчастье, лошадиный труд, заморенные, как клячи, бабы, хворые ребятишки.

И это была такая мучительная, такая нечеловеческая страшная каторжная жизнь, так она кричала всеми своими язвами, что Белощекову к горлу подкатывался комок. Он торопливо поворачивался в угол, лицом к стене, и, стиснув зубы, не давал воли едко просившимся из-под век слезам, стараясь заморгать их.

«Ффу ты!.. дурак... ну, чего... Ведь это же сам выдумал... А если есть оно, так ведь не тут же...»

Но страшная жизнь, не давая себя ослабить, страданием и мукой ложилась на бумагу.

Наконец, измученный житьем в мужичьей избе, с телятами, свиньями, в грязи, в струпьях и болезнях, Белощеков вырвался в поле.

И уже не было тесненького, неоплаченного номера, а лежало голубое утро над росистыми хлебами. Солнце радостно подымалось над затененным еще оврагом. Синел лес. Никли отяжелевшие росой травы. Ребятишки гнали стадо в ленивой пыли, и необыкновенно звонко и далеко разносились голоса в серебряном воздухе. Утро смотрело, словно умытое, и, вперебивку, надрываясь, щебетали, как потерянные, птицы.

И опять из угла в угол бегает Белощеков в продранных носках и громко шепчет, отворачиваясь и стараясь не глядеть на то место стола, где лежит счет.

Когда бегает, поворачивается так быстро на углах, что голова начинает кружиться. Останавливается передохнуть и тогда чувствует, как страшно хочется есть.

Достает два кусочка сахара, хрустит ими на зубах, потом затягивает пояс, загоняя желудок под ребра, и снова спешит к мужику, который тарахтит уже домой, — и прыгает по кочкам брошенная сзади на телеге охапка свежескошенной травы.

И опять нет номера, тесных стен, изуродованного дерева на асфальтовом дне, а — деревня потягивает деготьком, петухи кричат, куры в разговорах роются на солнце, скачут верхом на хворостинках голопузые ребятишки, и доносится с другого конца деревни из кузницы — пятаки... пя-та-ки: звонко бьют по наковальне.

Белеет церковка.

Так встает это все на бумаге мучительно, как в родах, бесконечно мучительно оттого, что это не так остро и ярко, как в голове и сердце.

Раз подошел к зеркалу и ахнул: глянул на него оттуда тщедушный человечек в веснушках с запавшими земляными щеками. Глаза блестели, и даже волосы были какого-то голодного цвета.

— Нет, надо пойти хоть воздуху глотнуть, а то так и сдохнешь по нечаянности.

А на воздухе голова закружилась от движения, от влаги, от звонков и гула трамваев. С проволоки падали, освещая, синие искры.

У всех были замечательно сытые морды, у мужчин, у женщин, даже у бегавших в оглоблях лошадей.

Он подальше обходил те места, где висели вывески чайных и столовых.

А на улицах все та же нескончаемая, вечно движущаяся, день и ночь не замирающая толпа.

Из какого-то ненасытного чрева вылизались эти люди, и опять эта же ненасытная пасть их глотала. Шел чудовищный круговорот. И никогда не чувствовал себя таким одиноким Белощеков, как в этом гигантском водовороте.

Не голод, не безденежье давили петлей, а это мертвое одиночество среди движущейся толпы. И он торопливо бежал в свой номер, схватывал перо, бумагу, и знакомо, приветливо, сердечно обступали его со всех сторон мужики, бабы со своими нуждами, горем, слезами. Приходила радость полей, солнца, медленно шумящего леса.

Иногда в это нездешнее царство приходил официант и заявлял:

— Ежели не заплатите к завтрему, съезжайте — управляющий велел

«Ведь и он от тех же мужиков, — думал Белощеков, — либо мать, либо отец вот в этой моей деревне. Ведь его мне опысывать придется... Нет, не его, а другого, настоящего, не этого, а этот — грубый, чорт... Ишь дьявол — «съэзжайте». Без тебя съеду...»

Белошеков еще туже перетянул пояс — пальца не просунешь, — и отнес осеннее пальто в ломбард. Назад легко шел в обвисшем от дождя летнем пальто, и с обвисших полей шляпы бежала вода. Зато на столе не мучил все время лежащий счет — полегчало.

Кончил рассказ и отнес в другую редакцию. Там были милостивы и обещали прочитать через три дня.

Снова потянулись полуголодные дни — пальто живо проел.

«Будь готов к самому худшему, надейся на лучшее», — сказал кто-то, и Белощеков натаскивал себя — что, мол, не примут, коряво написано, не обработал...

А в глубине души тоненько кто-то пел:

«Вре-ешь! Отчего же сам плакал, когда обступили мужики, бабы с измученными лицами? Разве не живые стояли леса, хлеба, солнце подымается, куры разговаривают, ребятишки кричат... Разве все это не стоит перед глазами?..

— Нет, не примут, — говорил он, строго нахмуривая брови.

Так три дня тянулась с кем-то борьба, тянулось мучительное одиночество среди бесчисленных людей на улице, и отдых и ласковость в голодном номере среди мужиков, баб, сопливых ребят.

На третий день пошел в редакцию, задавив в себе волнение, ожидание, боязнь, надежду. Просто шел, глядя в мокрые спины идущих, и холодный осенний дождь всюду мокро темнил все.

А в редакции сказали:

— Нет, не подойдет.

Как громом поразило.

Только теперь вдруг почувствовал, что кровью прикипелась уверенность, что будет взято. Ведь эти мужики, бабы — не выдумка. Ведь они — живые, кусочек сердца, кусочек жизни... Они кричат, им больно — неужели никто не услышит?

Он шел под дождем, держа подмышкой рукопись, как будто шел из деревни, разбитой, разрушенной, и сзади — только развалины.

В номере повалился и спал, как убитый, без снов.

А там опять пошел в редакцию. А в редакциях одно и то же:

— Вы просите через три дня прочитать,— не можем. Приходите через две недели.

— Да я с голоду умереть могу к этому времени. Ведь не с улицы же я пришел. Я печатался. У меня хоть маленькое, да есть литературное имя.

— Что ж, что печатались. Помним. Но ведь вы знаете, сколько поступает рукописей к нам, десятками тысяч. И каждый хочет, чтоб сейчас дали ответ. Физической возможности нет это сделать.

Безнадежно пошел в другую редакцию, в третью, в четвертую,— все то же, приходите через месяц, через две недели, через три недели. И он уносил рукопись. А пояс уж некуда подтягивать.

Ему сказали в гостинице:

— Съезжайте, господин. Разговаривать — разговариваете сами с собой в номере, а платить не платите...

Взял чемоданчик и в мокром, холодном пальто стал спускаться с лестницы.

— Ну, что ж...

Долго шел по осенним улицам. Сворачивал, шел по переулкам, переходил мосты через почерневшую реку и пришел на вокзал. Только не на тот вокзал, с которого уезжать домой, а на другой, на чужой.

Сел в вагон.

Куда?

Не все ли равно?

Станции через три кончился билет. Вышел. Хмурое небо. Хмурые косматые ели. Одиноко уходят мокрые рельсы в туманную просеку.

И он пошел по лесной молчаливой дороге. Кругом угрюмо обступили в густевших сумерках сосны. Накрапывал дождь. Последние станционные огоньки сзади мигнули, и надвинулась черная ночь, и, как ночь, надвинулся черный лес. Он стоял со всех сторон молча и невидимо. Шуршал дождь.

Дорога была грязная, ноги разъезжались.

Ни одного живого звука. Неужели тут никогда не жили люди? Вероятно, и дачи есть в лесу, теперь на осень покинутые и холодные.

Но разве было люднее в городе среди людей? Разве там не давили одиночество и заброшенность? И разве все там не говорили ему молча: «Ты — сам по себе, мы — сами по себе?..»

Ночной осенний дождь, упрямый и холодный, моет лицо, руки, забирается за ворот, тяжелит обвисшее пальто, и медленно и бездушно шуршит в невидимой хвое.

И Белощеков спрашивает:

«Но чего же мне надо?»

А кто-то рядом, невидимый и черный, отвечает:

«Тебе надо счастья: славы, любви, признания другими твоего таланта...»

«Но кто же мне сказал, что у меня есть дарование? Кто сказал, что я нужен людям? Что краски и звуки моих писаний дойдут до сердца людского и заставят его забиться?»

«Тебя печатали...»

«Да, меня печатали. Но мало ли печатают бездарных? Может, и для меня, и для других гораздо полезнее, лучше, если я буду техником, а не писателем?..»

Тот беззвучно засмеялся, блеснув белыми зубами, а Белощеков оборвался и полетел куда-то в глубину. Вода и мокрая грязь брызнули в лицо, и ударился грудью о край.

— Чорт!..

Было так черно, что, не разбирая, шел иногда не вдоль, а поперек дороги, и вот врюхался в придорожную канаву.

Не стал и обтираться — бесполезно.

Опять медленно шагает, ноги разъезжаются в жидкой грязи и то и дело влезают в канаву. И опять стоит ночь, черная, сырая, наполненная к нему враждебностью. Стоит лес такой же черный, и с холодной настойчивостью, ни на минуту не прерывая своего бормотания, бормочет дождь.

Устал и стал дрожать от сырости. Казалось, не будет этому конца, не будет конца этой тьме, этому пустынному дождю.

И, как в сказке, стал светлеть край над лесом, стал светлеть край неба.

Это не был рассвет — долгая ночь только в середине. Какой-то голубоватый отсвет упруго подымал тьму, лиловато озаряя низкие тучи.

Да ведь сюда же он и идет. Сюда же он, не думая, бессознательно и билет взял.

Лес поредел, пропал. Залитый светом могучих фонарей, сказочно стоял среди отодвинувшейся ночи большой дом. Уютно и тепло смотрят в два этажа освещенные окна.

Мокрый, с стекающей грязью, с заляпанным лицом стоял Белощеков в передней. И ему не удивились. Как будто так и нужно было, чтоб из дождливой, сырой, пустынной ночи пришел в этот

дом незнакомый человек, и вокруг ног его быстро бы натекала вода и грязь.

Вышел хозяин, коренастый, с изрытым оспой лицом, проседью в космах волос, в неуклюжей блузе, перехваченной тонким ремешком. Курносый, а глаза чудесные, черные, мягкие, смотрят в душу, ничего не упуская, и ни один портрет не передаст их.

Он пожимает мокрую руку Белощекова, как будто давно знакомы, и говорит мягко:

— Жалуйте.

Через пять минут Белощеков в уютном кресле в сухом платье, и на изящном круглом столике дымится крепкий чай.

— Это хорошо, что вы пришли,— говорит хозяин, беззвучно ходит взад и вперед по мягкому ковру, прислушиваясь к напряженному напору мыслей.

— У вас боязнь и сомнения,— говорит он, ходя мимо Белощекова по кабинету,— боязнь и сомнения, нужны ли вы литературе, нужны ли жизни как писатель. Этот вопрос решает только время. Не странно ли: иногда судьба вознесет на верхушку славы с такой яркой убедительностью, что нет возражений, а потом ни с того ни с сего от знаменитости начинает отваливаться по кусочку, глядь — осталось только туманное воспоминание. Почему? Отчего? Никто не ответит. Как никто не ответит, как нарастает сознание ребенка. Тут стихийный процесс, проходящий через миллионы голов.

Он помолчал, проходя мимо со своею тенью на мягком ковре.

«А ведь теперь там все дождь над черной дорогой...» — подумал Белощеков.

— Но ведь человек-то должен решить, для себя-то решить — отдается он писательству или нет. Тут никто не подскажет, ни у кого не спросишь, тут — сам. Ведь не спрашивает же человек: кушать ему каждый день, или, может быть, только через два дня, или через неделю. Не спрашивает: любить ли ему, дышать ли воздухом, ходить ли по земле, а любит, дышит, ходит. Так и писательство: оно властно само выбьется у человека без спроса.

Но Белощеков уже не слушал — свои мысли шли — и сказал:

— Вот вы... Знаете, меня что всегда поражает, а теперь при личном знакомстве еще больше поражает. Все вам судьба дала, все: огромный ум, громадный талант, величайший дар в жизни; наконец слава далеко за пределами родины. Вы обеспечены, счастливая семья, чудесный ребенок,— все. Но почему же, почему ваши произведения полны отчаяния, полны мрака, безнадежности? Читаешь ваши книги, и как будто идешь к черному провалу, к пропасти. Вы все, что у человека есть, все косите. Неужели же ни просвета нет в человеческой жизни?

Тот молча ходил, потом, глянув проникающими глазами, сказал:

— Да. У меня славный сынишка, милый ребенок. Вчера я присел отдохнуть. Он вскарабкался, положил голову мне на колени

и уснул. Я смотрю на его подрагивающие черные ресницы и думаю: вот, может быть, завтра же в этот час он будет лежать на столе, и эти ресницы будут неподвижны на восковом лице. Да ведь это сейчас может случиться, сию минуту, через секунду. Придет дифтерит, налетит автомобиль, и нет жизни. Это может случиться с семьей, с заработком, со славой и, что всего страшнее, с талантом. В одну минуту можешь оказаться в язвах и голый, как Иов. И это со всяким человеком, и так и бывает...

Они продолжали говорить о литературе, об искусстве, о значении писательской работы, а Белощеков думал свое.

Пробило три, четыре,— все — ночь, все — чернота в окнах. Устало клонит ко сну.

Хозяин отвел гостя в приготовленную комнату: постель, чистое белье, уют. Захотелось все забыть, от всего оторваться в этом гостеприимном уголке.

Но когда хозяин, пожелав спокойной ночи, ушел, Белощеков постоял, к чему-то прислушиваясь внутри себя. Потом переоделся в приготовленное свое уже сухое платье, взял чемоданчик и осторожно, никого не беспокоя, стал спускаться с лестницы.

Вышел, и его опять встретила тьма, сначала отодвинутая светом фонарей, потом густо обступившая со всех сторон. Опять чернел лес, бездушным бормотанием бормотал дождь, разъезжались в жидкой грязи ноги, то и дело попадая в канаву, полную воды.

Опять холодно затекало за ворот, и от сырости прыгали зубы.

«Нет,— думал он,— не туда попал. Самое страшное — не смерть, не потеря славы; самое страшное, когда отгородишься от настоящей, подлинной жизни семейным уютом, достатком, всеобщим уважением, работой, талантом, славой. Нет, не здесь надо быть. Жизнь не в одиноком номере, не за писательским профессиональным столом, не среди книг, не за разговорами. Жизнь — там, где ее делают те, кого описываешь, делают ее, мерзкую и прекрасную, огромную и мелочную, подлую и великодушную. С ними нужно жить, с теми, кого описываешь, с ними и жизнь нужно делать, тогда только...»

И он продолжал тяжело итти среди мрака, грязи, среди мертвого бормотания холодного дождя.

И стал, будто как намек, едва приметно светлеть край. Просыпающаяся ли заря, или далекий отсвет станционных фонарей, или ошибся?..

ЛЬВИНЫЙ ВЫВОДОК

— Так идем?

Жутко.

Из Москвы я выехал — было тепло, и я очутился тут в одной шинели. А теперь воет в трубе, на полатях тяжелый морозный ветер. И когда отдирает поповскую железную крышу, похоже, будто ухают отдаленные орудия.

Ребятишки забрались на печку и гомозятся, как цыплята.

Делать нечего. Выходим, садимся в сани.

С наветренной стороны у саней и у ног лошади уже горы снега.

Деревенская улица и все избы курятся белым куревом несущегося снега. Все бело, холодно, неуютно.

Мой спутник — председатель коллектива коммунистов бригады. Я вспоминаю, какое лицо у него было в избе. Совсем молодой, чуть пробиваются усики, круглолицый, волосы в кружок, и одутловатая бледность; хоть и крепыш по виду, а нездоровье.

А тут не узнаешь: нахлобучил папаху, втянул голову в шинель, сколько мог, всунул руки в рукава, весь белый, и, всячески изощряясь, сечет его злой ветер.

Но он жадно говорит, и я с трудом улавливаю слова, срываемые несущимся морозом:

— Я из Сормова. Там моя родина, там и работать стал. В паровозных мастерских. Мать у меня, брат был Я учиться хотел, до чего хотел учиться! Так и стоит перед глазами: учусь. Книжки читал, учебники были, да это все не то. Вот сбил всеми правдами и неправдами шестьдесят рублей, написал в Москву, в университет Шанявского. Да не вытерпел, не дождался ответа, взял да уехал. Приезжаю в Москву, прихожу в университет, а там говорят: «Да мы вам отказ послали, — требуется среднее образование. Значит, разминулся с бумагой». Я так и обомлел. Видно, очень изменился в лице. Мне говорят: «Ну, постойте. Посоветуемся». Пошли, долго совещались. Выходят. «Ну, ладно,

примем в виде исключения, можете внести пятьдесят рублей». Я и не знал, что можно в рассрочку. Отдал пятьдесят рублей, пошел комнату искать. Нашел. «Давайте, — говорят, — четырнадцать рублей за месяц вперед». А у меня десятка на руках. Иду по улице. Что же это? Счастье было вот в руках, теперь куда же мне?.. А? Вы чего?

А я говорю: «Бу... бу... бу...» — стянутыми губами, да вижу, что не слушаются, рукой махнул.

Кругом только дымящийся снег,— ни деревца, ни черточки, Где же дорога?

Лошадь с трудом вытаскивает ноги, и скрипят полозья. Из-за этого снежного дыма могут показаться казаки или чехи. Впрочем, теперь не до них,— вот запрятать бы руки поглубже в шинель.

А он говорит, говорит... Спешит излить свежему человеку из другого мира, поделиться, чтоб не теснило грудь накопившееся одиночество.

«И как его губы слушаются!» — думаю я, изо всех сил подавляя незатихающую внутреннюю дрожь.

— ...Ну, ходил, решил. Пошел в Сокольнические мастерские. Говорю: «Так и так, братцы, вот что вышло». А они: «Фу-у! Да оставайся у нас. Мы тебя кормить-поить будем, а ты учись. Учись и учись, товарищ, не думай ни о чем». Ну, бегаю к Шанявскому. Записался на одно отделение, а сам на все хожу, жадность одолела, — ну, конечно, зайцем, воровски. А в конце концов бросил Шанявского, стал работать в мастерских. Потом в районе стал работать, в Сокольническом же. Оттуда и в Красную Армию пошел. На военную службу в начале войны меня забраковали по здоровью, а в Красную Армию волей пошел,— надо. Брат у меня был строгий, суровый, не сдвинешь, настоящий коммунист. Он разбудил у меня душу. Бывало, где он, там сейчас же организация коммунистов. И уж требовательный был! Вместе в армии были. Вместе в цепи ходили, стреляли. Я только на него и глядел... Убили...

Наконец-то мы въехали в лес. Между деревьями несется, меняя очертания, метель. Отчаянно треплется, как черная струна, кабель полевого телефона, протянутого по качающимся веткам.

Гул стоит.

Я делаю попытку разжать губы и издаю нечленораздельные звуки.

Но он понял меня.

— Как убили-то?.. Под Казанью в цепи шли. Белые засыпают. Залегли. Стали окопики рыть. Молоденький красноармеец не так, плохо роет. Брат взял у него лопатку, стал показывать, а пуля — ему в живот. Все время молчал, два дня мучился, помер. А мне все равно стало: хожу, как во сне, ружье таскаю, не стреляю, иду на пули, да и все. Три дня так тянулось. Хотелось бросить ружье и иттить, иттить. Ну, потом пришел в себя. Что ж, думаю, брат бы видал — не похвалил. «Надо дело делать, надо работу работать»,— только, бывало, от него и слышишь. Ну, тут я взял

себя в руки, и теперь одно — работа, работа коммуниста, не покладаючи рук...

Потом мы ехали молча. Потом приехали.

Приехали в особый социалистический отряд «ЦИКа», или, коротко, приехали в «ЦИК».

Насилу из саней вылезли,— примерзли. И долго не могли расправить рук, ног, губ и начать говорить в поповском доме, где поместился штаб.

Комнаты пустые, неуютные. Холодно. А по стенам картины и открытки. Поп сбежал.

На голом столе остывший самовар, кусок хлеба и протоколы коллектива коммунистов: в «ЦИКе» много коммунистов, остальные — сочувствующие.

Председатель коллектива — петроградский рабочий, с неуклюжим, но необыкновенно привлекательным и милым лицом — и секретарь рассказывают нам:

— Бумаги у нас нет. Ну, верите ли, протокола заседания записать не на чем.

А я с товарищем в пол-уха слушаем,— нос щекочет запах свинины. Молоденький красноармеец на корточках перед печкой что-то жарит, шипит на сковородке сало.

Мучительно хочется жирного. Недаром самоеды в морозы просто пьют тюлений жир.

— ...Так мы что сделали: забрали церковные книги, выдрали кто там родился, кто замуж вышел, а на чистом свои протоколы пишем. Вот.

Они показывают. На переплете: «Церковная книга», а внутри — протоколы коммунистической партии.

Мы смеемся.

— У нас тут работа идет во-всю. Мы, коммунисты, держим в руках весь отряд. Вот протокол: двоих исключили из партии. Один выпил самогонки, а другой пожалел, что если коммунист — из Красной Армии уйти нельзя. Сейчас же долой его из партии. Несладко с клеймом ходить.

Жареная свинина возвращает нам способность и слушать и говорить. И я с удивлением вслушиваюсь, с какой восторженностью говорят они о партии, о своем коллективе, о партийной работе. Как будто это не старые, годы положившие на свою работу, партийные работники, которых ничем не удивишь, а молоденькие только что вступившие в партию, которые горячо принимают к сердцу всякую мелочь. А у моего товарища глаза разгорелись, глядя на них.

Так вот в чем сила истинного коммуниста: в неувядаемости, в том, что для него нет будней, все — революционный праздник, нет партийной усталости. Вот почему коммунисты — совесть в отрядах.

— А знаете,— говорит председатель, ласково улыбаясь всем своим неуклюже милым лицом, и морщинки побежали от глаз,—

просачиваются в ряды коммунистов и прохвосты форменные. Только не выловишь, хитрые.

— А это вот протокол незаконченный,— говорит секретарь. — На половине заседания — вдруг: «В ружье!» Все повскакали, похватали винтовки — и в бой. Я схватил в одну руку винтовку, в другую — церковную книгу, выскочил к обозникам. Взмолился им: «Товарищи, возьмите! Ведь это партийные протоколы наши» А они ругаются «Куда нам вожжаться с ними! В этакой суматохе пропадет, вы нам голову проедите». Бегал я, бегал,— ну, что тут делать? Так и побежал в цепь,— в руке винтовка, а подмышкой церковная книга. Так и перебежки делал, и ложился, и стрелял... Ну, как в Москве? Расскажите нам про Москву. Как там? Как настроение?..

Понемногу комната наполняется. Пьем чай. Сахар пованивает керосином, но вкусно. Реквизировали у спекулянта, — должно быть, со зла облил.

Кто сидит на табуретке, кто на ящике, кто на связке старых газет, кто на доске, ребром поставил.

— Одно горе — газеты нам плохо доставляют. За полторы-две недели пришлют два-три номера, и опять жди пол-месяца. Опять же рассказов хотелось бы почитать — ни одного!.. И тяжко: почты нету, полевой почты до сих пор нету.

Я всматриваюсь. Любопытный народ!..

Вот командир отряда. И не подумаешь: в шапчонке, в замызганной гимнастерке. Юное матовое лицо. Грек. Совсем молодой. Он с железной волей водит в бой своих железных коммунистов.

А вот сидит, тяжело согнувшись, крупный, плечистый, и очень похоже — из купеческого звания. Молодой, безусое лицо, волосы вьются. В поддевке. Точь-в-точь купеческий сынок. Командир отдельной конной сотни, а эта сотня чудеса делает.

Нахмурил белобрысые брови командир роты. Юное голое лицо — что-то в нем мальчишеское — бронзовое, выдубленное ветрами, морозами, солнцем и дождем, а лоб весь изрыт глубокими, старческими морщинами. Шея мускулистая, низко открытая, как у матроса, даром что холодно в комнате.

Он водит свою роту, как будто перед ним не неприятель, засыпающий пулями, а заросли кустарника, которые просто надо раздвинуть плечами — и все.

И все они смотрят немножно исподлобья, кряжистые, крепкие и юные.

У этих мертвая хватка: как вцепятся, хоть за ноги тащи — не оторвешь.

Я гляжу на них: львиный выводок, да и всё. Крепкошеие, будто неловкие, а чувствуешь затаенность огромной быстроты движения, поворотливости, волчьей цепкости, и клыки свешиваются.

Сегодня они взволнованы. Жестикулируют, говорят тяжело и страстно, и ложатся на стол бронзовые кулаки.

— Нам отдан был приказ отбить наседавшего неприятеля.

Хорошо! Мы вышли. У нас триста штыков, на нас двинулись полторы тысячи отборных чешских и польских солдат. Мы опрокинули и гнали их двадцать верст. А когда вышли все патроны и ленты, молча пошли в штыки, выбили и заняли деревню Байряки. Неприятель бежал, и мы потеряли с ним соприкосновение. Расположились в Байряках. Вдруг приказ: оттянуть отряд на двадцать верст назад, чтоб выравнять фронт. Да пусть по нас равняются, а не мы по ним! Восемьдесят товарищей раненых, одиннадцать убитых. Понимаете, это — наши товарищи, коммунисты! Их головами мы взяли Байряки. И бросать? Что?! Окружение? Мы не боимся окружения!

Командир роты, с бронзовым юным лицом и со старческими морщинами на лбу, говорит сердито, изламывая морщины:

— Под Казанью мы шли цепью на впятеро сильнейшего неприятеля. Нас засыпали. Мы вплотную подошли. Глядь, а неприятель не впереди, а справа густая его колонна и слева колонна. Мы думали — нас окружили. Ну, что ж! Мы сломали свою цепь, правая часть пошла против правой колонны, левая — против левой, и разбили, разогнали, рассеяли. Оказалось, не нас окружили, а мы прорвали неприятельский фронт, разрезали его на две части, а мы этого не знали. А нам толкуют об окружении.

Они в страстном негодовании мечутся, как львята в клетке. Я смотрю, любуюсь ими и думаю: мужественность, не знающая удержу, страстная храбрость и стратегия должны быть в сцеплении, и первая — в подчинении второй. Но к ним и на козе не подъедешь.

А они все рассказывают о своих сражениях.

Бойцы вспоминают минувшие дни
И битвы, где вместе рубились они...

И когда я уезжал, я уносил впечатление как от огромной книги,— имя ей Революция,— книги, брызжущей борьбой, кровью, слезами, невиданными героизмом, самопожертвованием, и наряду с этим — смехом, предательством, фанатизмом.

И этот героический отряд «ЦИКа», и эти председатель и секретарь коллектива коммунистов, которые совершают свою партийную работу с величайшей серьезностью и напряженностью и в бой идут прямо с собраний с протоколами подмышкой, и мой молодой товарищ, у которого глаза и лицо загораются при одном слове «коммунист»,— все это только переворачиваемая страница великой книги «Революция», страница, края которой озарены ослепительным светом: человеческое счастье.

ПРЕСТУПНИКИ

1920-й год...

Базар — огромный, и чего только тут нет: ситец, мед, сало, сапоги, сушеные груши, граммофоны, целый ряд туго набитых мешков муки, от которой все бело кругом: и люди, и протоптанные в грязи дорожки, и стены лавок, и лошадиные морды.

В сыром — с гор ползут туманы — посинелом воздухе стоит нескончаемый шум, гомон, выкрики, а под ногами промозгло хлюпает въедливая, от которой стынут мокрые ноги, жижа.

Торговки молоком, хлебом, сметаной потанцовывают в грязи вдоль длинных столов и азартно выкрикивают посинелыми от холодной сырости губами:

— Молока!.. Молока!.. Свеженького, топленого!.. Сметанки!.. Хлебца белого!..

У столов то и дело одни отходят, другие, толкаясь, подходят, заворачивают полы, достают деньги, потом берут налитые молоком выше края стаканы или миски со сметаной и вкусно и громко жуют белый хлеб, запивая, ни на кого не глядя, сосредоточенно занятые собой.

Я тоже проталкиваюсь к столу, достаю деньги, беру стакан молока. В пролете между лавками не видно гор, густо и серо колышутся туманы. Я прожевываю хлеб, и вдруг странное беспокойство охватывает меня: что-то тянет меня оглянуться. Я некоторое время сопротивляюсь, потом, не в состоянии удержаться, поворачиваю голову. Около меня стоит кучка тряпья и трясется... Я вглядываюсь — ребенок. Он не сводит с меня загноившихся глаз; они глядят с грязного, испитого, провалившегося личика; подернуты туманом — должно быть, голубые.

Я разламываю хлеб, хочу протянуть ему. Сразу ошеломляя, подымается вой, крики, злой бабий визг. Ко мне тянутся красные от сырого тумана кулаки торговок. Они дергают меня за рукав, отнимают стакан, стараются вырвать хлеб. Да что за чорт! Белены объелись?..

А с другой стороны ко мне тяиется уже с десяток грязных бледных ручонок — и так же замазанные лица и загноившиеся глаза.

— Воша с них сыплется, — говорит один из закусывающих, — самая тиф эта и есть, — и торопливо уходит.

Вокруг столов образуется пустота. Я раздаю хлеб. Около меня стоят те, что посильнее. За ними кольцом — поменьше, а за ними самые маленькие, с бледными головенками, протягивают, сложив грязными лодочками, ручонки.

— Послушайте, вот деньги, — налейте в эти миски молока ребятишкам.

Я никогда не видел таких злых круглых бабьих глаз, таких сведенных судорогой лиц. Меня грубо стали толкать.

— Проваливай, ирод... Штоб те брюхо лопнуло! Махмед окаянный!.. Мы те все зенки твои лупоглазые выдерем... Заткни свои деньги пегому кобелю под хвост... Ступай отседа, откуда пришел!..

А ребятишки толкались, тянули шеи и руки и причитали:

— Дяденька, мне... два дня не ел... Господин, дай мне! Товарищ, мне!.. Барин, дай мне... я — голодный!

— Не стыдно вам гнать детей, голодных, беспомощных?

Бабы толкали ребятишек и визгливо лезли ко мне, не давая слово вставить. Протолкалась немолодая, благообразная, в перетянутом полотенцем тулупе.

— Ты, товарищ, несешь — не трясешь... Ай мы — звери беспонятные? И у нас сердце не камень. Кормили, давали, из последнего давали кусочек этим самым. Да одному дашь, десять тянутся. Десять накормим, а их сто, а за ними тыщи. Да ведь этак наскрозь съедят. Ты не гляди — торговки: мы с заработка живем. Кабы свои коровы, а то из деревни принесут, мы и продадим. Много ль останется? Опять же дети, семья, в сараях ютимся. Иной раз так-то проторгуешь целый день, ан погода, дожж, никто к столу не подойдет, гроша не выторгуешь. Придешь домой, дети ревут, покормить нечем. А ты у нас хлеб отбиваешь, — вишь, всех разогнал. Ты и нас пожалей, деток наших,тоже жить хотят. Сколько от тифу полегло! Мы же отседа и приносим. Иди ты с богом в другое место...

А меня все окружают огромным клубом трясущегося тряпья, и в нем бледные грязные личики, голодный блеск загноившихся глаз, протянутые грязные, лодочкой, ручонки и непрерывное со все сторон:

— Мине... мине! Я исть хоцу... Я — голодный.

Подходит милиционер.

— Товарищ, нельзя тут митинги устраивать. Этак весь базар заполоните. Расходитесь...

Я роздал все, что было со мной. А они все вылезали, их все прибавлялось. И откуда? Они вылезали из-под ларей, из мусорных ящиков, из-под ящиков, из-под лавок, из сложенных штабе-

лями дров. Казалось, они вылезали из всего этого базарного шума, суеты, заставленных возами улиц и площади, из самой земли, залитой холодной навозной жижей, — и надо всем стоял туман.

Я торопливо стал выбираться, но они обтекали меня со всех сторон с протянутыми руками и подвигались, куда я шел, огромным комом, заполняя весь пролет между лавками. Маленьких толкали, они падали, побольше перепрыгивали через них и бежали передо мной задом наперед, протягивая руки:

— Не е-ел... голодный... да-ай!..

А к ним приставали все новые и новые.

Я почти бегу по улицам, и они понемногу отстают. Окраина, кладбище, а там, за черным полем смутно синеющей громадой чуются в тумане горы. Постоял, послушал повизгивающий мокрый ветер и пошел назад. Вечер гуще.

...А гор все дни не видно, как будто в равнинной стороне живем.

— Послушайте, — говорю я товарищу, — ведь так нельзя, — и рассказываю о базаре.

У того играют желваки на желто-чахоточных щеках, и надвинутые на глаза брови застыли. Молчит, глядя в мутное окно, барабанит по столу.

— Пойдемте.

Я иду за ним. Мы спускаемся, переходим двор, входим в длинное низкое строение, идем по коридору, подходим к двери, открываем глазок. В низкой комнате на нарах сидят, лежат, лениво перекидываются отрывочно. Двое, наклонившись друг к другу, прикуривают козьи ножки.

Да ведь это ж они — те, что на базаре. Ведь те же испитые лица, тот же блеск глаз. Тут всякие — и тринадцатилетние, и двенадцатилетние, и девяти, — и совсем ребенок.

— Ночью за базаром, под мостом, нашли убитого человека. Огнестрельная рана. Ночью же обход забрал вот этих. У двоих — по нагану и по два десятка патронов. У троих — ножи. При допросе путаются.

Он помолчал. Я смотрел в глазок: «Да, да, те же самые...»

— Но как же так? Неужели нет приютов, детских домов?

— Есть. Один — на пятьсот, другой — на триста. Еще готовим на полтораста. Да ведь это же капля в море. Их тысячи, десятки тысяч. Ведь только покажите кусок хлеба, так они вылезают из всех щелей. Да ведь это в городе. А сколько по деревням, станциям, аулам! И они постоянно передвигаются: поживет, поживет в одном месте и тянется в другое. По дорогам постоянно трупы находят, — ложатся и умирают от истощения. Иногда крошки тянутся, трехлетние, — возьмутся за ручонки и идут. Ну, эти уж все на дорогах остаются.

— Откуда они?

— Подавляющее большинство с Поволжья. В огромном большинстве — без родителей. Есть и здешние, кавказские, — в Ставропольской-то ведь голод форменный. Вы понимаете, шайки, форменные шайки организовали эти малыши, с воровством, со взломами, и повидимому, с убийствами.

Он замолчал, сцепив железные челюсти.

— Помгол?

— Да что Помгол! Там гроши, хлеб фунтами. Обыватель-то — кремень. Знает, что оттуда, из этого тряпья, ползут вши, расползается тиф, — тиф-то, угрожающе с каждым днем увеличиваясь, разливается по городу. Знает это обыватель, все эти владельцы великолепных магазинов на главной улице отлично знают, — так ведь из них-то не выколотишь. Он дверь-то поплотнее прикрывает, чтоб к нему не залезли. Его не прошибешь. Добровольные сборы до смешного малы.

Я смотрю в глазок. Они задорно курят, сплевывают через губу, с манерой взрослого хулигана. Бедные маленькие разбойники!

— Что же вы с ними будете делать?

— Да ведь не в тюрьму же их сажать. И выпустить нельзя, — они людей по-настоящему умеют делать трупами. Одно: надо обуть, одеть и отправить в деревню, чтобы была привычная для них деревенская работа. А в городе все равно пропадут. В детских домах кормят плохо, и — что самое главное — полное безделье. Целый день ничего не делают, тоска заберет, ну, и убегают и шатаются по базарам, прячутся по трущобам, составляют шайки.

Я все вздыхал, ходил по учреждениям, разузнавал. И везде вздыхали, охали, разводили руками: денег нет.

А товарищ не вздыхал, а, сцепив железные челюсти, делал. В газете развил кампанию: по городу грозно распространяются тифы, дизентерия, дифтерит, скарлатина, — все это вылезает из тряпья голодных, и никто не уверен, что завтра не свалится, как плотно двери ни закрывай. По всему городу сорганизовал митинги рабочих. Рабочие заволновались. Всюду резолюции: принять экстренные меры, провести самообложение населения.

И самообложение было проведено: дети подобраны, накормлены. Преступники десяти- и двенадцатилетние — исчезли.

ДОЛГОВЯЗЫЙ

Он был долговязый, худой, бледный, в угрях, и никто ему не давал девятнадцати лет, а считали вытянувшимся подростком с обезьяньими, по колено, руками.

Уж и забыл, чем только не был: у сапожника в выучке — рубец от шпандыря над бровью; и в столярной; и тряпье и отбросы собирал, и нищенствовал, и отвинчивал медные ручки на парадных, и замертво валялся под мостом от голода.

А когда полиция, забрав и продержав в участке, приводила его к матери, та, утирая концом замасленного фартука нос, вечно в капельках пота, и замученное, потно-бледное лицо от плиты, всхлипывала, начинала утирать сразу вспотевшие глаза:

— Родимый ты мой!..

Давала городовому на мерзавчика, а сына посадит около себя на кровати, обнимет, положит голову ему на плечо и скупо и торопливо всплакнет:

— Сыночек ты мой, сынок... Одного бог послал, да и тот...

От нее вкусно пахнет жареным маслом, пирогами.

Но как только по коридору из хозяйских комнат послышатся мелкие частые, козьи шажки, она толкнет его:

— Лезь скорей!

Он юркнет под кровать; она приспустит, оправит из разноцветных кусочков одеяло. Он видит: по полу торопливо мелькают маленькие, с бантиками, черные туфельки, — так и хочется поймать лапой и придержать. И слышен милый девичий голосок, от которого, должно быть, светлее в кухне делается.

— Матреша, что это у тебя все не готово? Ведь за стол сели...

А около плиты топчутся раскоряками развалившиеся, кособокие башмаки матери.

— Готово, готово! Неси первое. Зараз все готово.

Только горничная из кухни, а под кровать сунет пахнущая жирным борщом худая рука кусочек пирога, котлетку, ложку запеканки, вкусного печенья; он лежит и, счастливый, жует. Под кроватью пахнет пылью, лежалым пропотелым матрацем, ко-

шачьим нужником. А по полу то и дело черно мелькают бантики на туфельках или одиноко топчутся у плиты заскорузлые раскоряки.

Когда господа отобедают и отдыхают, в кухне повольней. Вылезает Долговязый, а мать все его кормит и все утирает глаза, и все горько приговаривает:

— Так надо. Стало быть, так и надо. Господь кому как определил. Нам с тобой, сыночек, тяжелый крест... Ну, что ж, стало быть, так и надо.

Он ни соглашался, ни не соглашался, а просто жевал пирог или жареный кусок мяса. Но во всем его теле и длинных руках и угристом лице, где-то под ложечкой ныло, не подавая голоса: «Так и надо... Так и надо...»

И улицы с шумом и гамом, и высокие дома с блестящими стеклами, и витрины, за которыми вкусная снедь или красивое платье, и экипажи, и сытые женщины, — все было внутри тонкого сомкнутого круга, непереходимого для него от века. «Так и надо».

Он не сопротивлялся, но когда сапожник рассек шпандырем бровь, — убежал. А когда столяр стал утюжить по голове фуганком и он оглох на некоторое время, — опять убежал. Хотя и убежал, но ему и в голову не приходило куда-нибудь деться от этой жизни. «Так и надо».

Долговязый попал в тюрьму. Всякий народ там был. В первый раз он услыхал — читают книжку. Лежит на пузе малый, рябой, и на маковке волосы закрутились куриным гнездом. Кругом гомон, шарканье котов, вонь от параши; в углу, на разостланном халате, с воспаленными, жадными лицами дуются в карты; матерная ругань висит — не продыхнешь. А тот лежит и читает вслух для себя.

И читает чудно̀. Будто солнце — не солнце, а шар, вот как в кузнице, раскаленный, и будто месяц — не месяц, а вроде как земля, по которой ходим, и блестит, как зеркало, от солнца, и будто не солнце всходит и заходит...

А там картежники грянули хором:

Со-о-нце всхо-дит и за-а-хо-о-дит,
А в тюрь-ме мо-ей тем-но-оо...

...а земля, как голова круглая, крутится округ себя...

...мне-е и хо-чет-ся на во-о-лю...

Долговязый тоже лежит на животе, подняв голову; рот раскрыт, тоненькой ниточкой слюна тянется до нар. Он ничего не слышит, не видит, только видит, как огромная круглая голова вертится вокруг себя...

...це-е-пь пор-вать я не мо-гу...

Вот с этого и началось. Точно эта круглая земная голова, которая вертится вокруг себя, выдернула его, как нитку из иголки, из всей его прежней жизни.

Клокатый рябой оказался матросом. Кто-то доставлял ему с воли книги, и он их запоем читал вслух для себя, а Долговязый его слушал, не закрывая рта. Выучил его матрос и грамоте. Рассказал, как на земле выросли горы, как расплодились животные, как прапращуры человека ходили на четвереньках, лазали по деревьям, а сами в шерсти.

— А насчет бога — фффью! — свистнул матрос.

И когда свистнул, у Долговязого больно сжалось сердце: «Эх, матка, худая уж дюже!..» Представилась на секунду кровать и полутемнота под кроватью, воняет пылью и кошками, и исхудалая рука сунет то пирожок, то котлетку, то сладенькое...

Выпустили их из тюрьмы вместе, и вместе поступили на пассажирско-грузовой пароход «Днепр». Долговязый сразу стал не один. Работал ли в трюме, стоял ли на вахте, мыл ли палубу, или свертывал канат, около него и с ним были такие же товарищи, так же напрягавшиеся в неустанном труде, так же не знавшие ни отдыху, ни сроку. И эта связь тянулась к матросам на других пароходах, тянулась к заводам на берегу, где бывали тайные собрания с рабочими. Ткалась невидимая, но громадно раскинувшаяся связь со всем трудовым людом, у кого разинулись глаза.

В Батуме брали с заграничных пароходов нелегальную литературу и развозили ее по портам, а оттуда она растекалась по заводам и по фабрикам, растекалась по всей России, заражая сердца, умы. Тучи царских шпионов, провокаторов, полиции, жандармов, прокуроров, как чудовищная сеть, старались захватить эти печатные мысли, но они, как вода, всюду просачивались.

А Долговязый с железной настойчивостью работал в кружках, как только попадал на берег. Высокий, обветренный, загорелый, он говорил коряво-взъерошенно, но, как железной рукой, держал собрание, и его, затаив дыхание, слушали.

— Товарищи, конечно, одно знать, понимать должны, которые рабочие... Тут, братцы, не шутки шутить, не игру заводить, тут, ребята, кто одолеет, на живот и на смерть, — либо мы, либо они. А уж они спуску нашему брату не дадут. Потому, ежели среди своих хоть чуть чего заметите, ежели хоть намек, что предатель, — пришить. А то все сгинет!

«Эх, к матке бы, а то и не знаю, как она. Сколько не видал! Жива ли?..»

Но к матери опять не попадал. С собрания среди ночных фонарей бежал на пароход, — сниматься в три ночи. А там опять все то же: море, солнце, вздымающиеся волны, ослепительный блеск и соленый ветер. А там опять порт, затхлый трюм, подача из него грузов наверх, грохот лебедки, — и все один и тот же

монотонный припев труда: «Майна! Вира!» И на берегу растущие горы тюков, бочек и ящиков. А по набережной гуляет чистая, разодетая публика, в панамах, в белых платьях. Плывут цветные звуки оркестра.

«Эх, матка!..»

Солнце всхо-дит и за-хо-дит...

И опять море, опять порт. Только уснешь, — хриплый голос с палубы: «Наверх, к разгрузке!» Так — без конца и краю.

Стала полиция выдергивать матросов, то одного, то другого — в тюрьму. И как по отметке — лучших товарищей, лучших подпольных работников.

«Гад завелся, — сцепив железные челюсти, думал Долговязый. — Но кто?»

Голова напрягалась, готовая лопнуть. Как его узнаешь? На лбу не написано.

Ночью ли, когда шумело море и в черноте, как земные звезды, приближались рассыпанные огни города, или днем, когда сбоку стеной проходили горы, а верхи щетинились лесами, — одно сверлило и жгло железом мозг Долговязого: «Кто?»

...Це-епь пор-вать я не могу...

Цепочкой бежали дни и ночи. Пришла суровая морская осень. Низко тянули на юг птицы, низко неслись клочковатые тучи.

«Нашел!»

Стиснув зубы, глядел серыми неумолимыми глазами Долговязый в волнующуюся даль.

Мрак глухо несся клубами мимо парохода, разворачивающего среди ночи тяжелые, слабо белеющие волны. Долговязый лежал на койке, не смыкая глаз. Исступленно светило электричество. Снаружи в пароход било, как из орудий. Потолок и пол тяжело валились наискось в одну сторону, потом — в другую. Два пьяных матроса играли в карты, переваливаясь от качки и азартно выкрикивая, прибавляя непечатное:

— Твоя!

— Куда попер?..

— Бей!

В кубрик спустился Рябой и, держась за край, чтобы не свалиться от качки, сказал в самое ухо Долговязому:

— Нашел!

Тот вскочил, вцепившись:

— Кто?

— Кок!

Долговязый вскочил, как подкинутый качкой:

— Почем знаешь?

— В третьем классе едет парень. Знаю его. Наши ему в городе сказали: пусть, мол, кока опасаются, в дела не пускают, — с охранкой связь держит.

— То-то у нас с получкой нелегальщины все провалы... Идем к нему!

— Постой, пускай уснут, — показал тот глазами на игравших матросов.

Долго те качались, подбрасываемые, хлопали картами, выкрикивали. А в Долговязом неотступно, не умолкая, звучало:

...цепь пор-вать я не мо-гу...

Матросы угомонились, улеглись, потухло электричество. Долговязый выбрался из кубрика. Ветер бешено свистал и крутил черноту ночи, палуба медленно валилась то в ту, то в другую сторону. Долговязый и Рябой прошли, раскачиваясь, и спустились в маленькую каюту кока.

Он спал и, когда они вошли, вскочил, как обожженный.

— А? Вы чево?!

А они навалились, придерживая за глотку, чтоб не кричал.

— Говори!

Он смотрел на них белыми от ужаса глазами.

— Ничего не знаю... За что вы?! Чево вы?!

— Готовь!

Рябой достал веревки и скрутил ему руки, ноги. Он забился, как пойманная рыба.

— Постойте, братцы!.. Все скажу... товарищи...

— Ну?!

— Один... один только раз... Больше не буду... никогда не буду!..

— Довольно!

Ему замотали рот и стали насовывать мешок. Завязали над головой, к ногам — полупудовую свинцовую болванку. Вытащили на все так же валившуюся из стороны в сторону палубу, в кромешный гудящий мрак. В мешке смертельно извивался и дергался.

Они сунули его, когда палуба пошла вниз. Мешок скатился до борта. Перевалили за борт, — и был все тот же гудящий мрак, смутная чернота ближних бочек, да содрогания винта бежали безустанно.

Долговязый спустился в кубрик, зажег электричество и стал писать каракулями, привалившись грудью к столу, чтоб парализовать качку. Руки дрожали.

«Дорогая матка, вот никак к тебе не доберусь, все никак не вырвусь, на пароходе работа заела, а в городе дела, никак к тебе не вырвусь. Ну, в этот рейс к тебе обязательно наведаюсь и деньжат прикопил тебе, принесу. Хочу глянуть, как ты живешь. Ты не

ропь, матка, мы буржую шею сломим и не будем его объедки под кроватью кушать».

В порту его арестовали.

Что бы ни делала, — шила ли, готовила ли картофельную себе похлебку, убирала ли убогую комнату исхудалая женщина, — жила она только одним: напряженно вслушивалась.

Давно ее рассчитали господа. Стала часто кашлять, — побоялись, не чахотка ли, как бы не заразила. Места не нашла. Наняла на краю города крохотную комнатку возле кухни и стала с себя продавать, что было, — тем и жила. И все слушала, все прислушивалась.

Днем ли, ночью ли, она угадывала малейший скрип двери: это вошел квартирант, это — хозяйка, это — дворник. Так — день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем. Не слышалось только шагов того, кого ждало изболевшееся материнское сердце.

Все труднее и труднее подымалась по утрам с постели и кашляла, а сердобольная хозяйка говорила:

— Нету сыночка что-то. Али забыл мамашу?

А та говорила слабым голосом:

— Нет, Антонина Ивановна, он не забыл, он придет... он придет, Антонина Ивановна...

И все вслушивалась.

А раз утром не поднялась с постели и, когда вошла хозяйка, только повернула голову. Та ахнула:

— Господи, да как вы исхудали!

— Ни-чего, Антонина Ивановна, по-правлюсь вот... только дождаться... Сережа придет...

Хозяйка покачала головой.

...Шли дни. Осень стала в окнах слезливая, заливая стекла холодным дождем. Деревья облетели.

Слышно было — вошел почтальон. Хозяйка отворила дверь и подала торопливо письмо, — некогда было:

— Должно, от сыночка.

Больная уже не поднимала головы, только скосила счастливые глаза.

Долго возилась в хлопотах хозяйка и только к вечеру заглянула к жиличке. Та неподвижно лежала с безгранично-радостной улыбкой на восковом лице, и похолодевшая белая рука прижимала к неподымающейся груди нераспечатанное письмо.

ГУСИ

Давно это было. Два голубых царских жандарма привезли меня в Архангельскую губернию. Угрюмые туманы, все дышащие болотами да сырыми тундрами места, одинокие, пустынные. А в другую сторону без конца леса, также угрюмые, темные траурной хвоей, и так же в них одиноко, пустынно.

И, медленно дыша холодом, накатывается серыми волнами суровый недоступный океан, а вдали горами белые льды.

Крохотный городишко и прозывается Мезень: улица да два переулка с почернелыми домами — вот и все, вроде, как кочка, а дальше бескрайная, неоглядная черная тундра и низко-белесые туманы.

Тоска взяла, как приехал. В гроб краше лечь, думалось. А вгляделся, присмотрелся к окружающему — да ведь кругом жизнь, суровая, насупленная из-под тяжко опущенных железных ресниц, но жизнь своя, особенная жизнь, полная биения.

И не полны ли эти дремучие от века леса, не полны ли тихо движущейся жизнью бесчисленного пернатого населения? Не дымятся ли тонким куревом узко пробуравленные громады снегов, а под ними сонные медведи? И не звериное ли царство надвигается чернея, когда, шумя и ломаясь, двинутся к пустынным берегам громады ледяных полей, а на них — чудовищные морские стада, которых никто не пасет, не стережет, а они несут сотни тысяч тюленьих моржовых шкур, сотни тысяч пудов ворвани и жиру?

А весною... да разве есть где поставить ногу между кочками тундры, между кочками чернеющей тундры, по которой, блестя, вправлены зеркальцами маленькие озерца, лужи, мочежины, а в них и низкое небо, и низкое солнце, — день и ночь ходит оно над краем тундры — а кругом... батюшки! Крик, гам, писк, кряканье... Взлетывают, садятся, перепархивают, поклевывают, ссорятся, мирятся, любятся, безумолку болтают, поминутно разбивают бле-

стящие осколочки, и в них пропадают за секунду отраженные мелькавшие крылья, лапы, клювы, и низкое небо, и низкое солнце, которое день и ночь ходит над самым краем тундры. И никуда не поставишь ногу, чтобы не наступить на сидящую на яйцах гагару, крякву, лебедя, гуся и тысячи других горласто-пернатых. Уф, мочи нет!.. Сколько их, миллионы миллионов!..

Да, жизнь!

А какой породистый народ у океана! В плечах косая сажень, грудь хоть кувалдой бей, и в океан ходят в открытом беспалубном баркасе. А это — штука на охотника: ведь как заревет старик, как закосматится, как разыграется ледяной волной — свету не взвидишь. Ничего — ходят. Норвежцы, англичане приходят сюда бить зверя на отлично оборудованных пароходах, а помор — на открытом баркасе, и мачты не видать среди вздыбившихся океанских волн. Могучая порода.

Откуда-то из старины сохранилась северная женщина, старорусский тип, крупная, белотелая, голубоглазая, выступает словно лебедь белая. Да, эти далекие холодные страны, безграничные болота, эти непроходимые леса сохранили породу. Жизнь.

Я сижу в избе у Ивана Сохатнова. Крепыш. Борода русая. Из-под ровных бровей крепкий, неупускающий глаз, и лицо добродушное.

Когда подходил, разве это изба? Громадный почернелый двухэтажный бревенчатый дом, и — странно поражает — слепой, без окон. Только внизу сбоку маячит пара подслеповатых окон, а то везде глухие почернелые стены. А вошел — во всей этой громадине две небольшие горницы. Все остальное и в первом и во втором этаже занято сеном, коровами, лошадьми, телегами, санями и всяким хозяйственным инвентарем; тут же, во втором этаже, горы навоза. Зато двора нет: дом — это двор.

— Так что, Сарахвимыч, ежели гусятинки вам желательно живой, это я вам могу предоставить, — говорит хозяин, вприкуску упрямо стягивая губами с блюдца обжигающий белесый чай, а на лице — бисер.

Жена прямо из печки подает дымящиеся ячменные шанежки. Вкусные! Нужды нет, что острекал весь рот, — и в нёбо, и в язык, и в щеки изнутри натыкалось соломы и ячменных усов; ржаного хлебушка тут не увидишь — несколько десятков верст, и уже Полярный круг, тут и ячмень-то с трудом вызревает.

У хозяйки лицо изрезанное, замученное, а всего-то лет тридцать пять — надрывающая работа, нужда, горе, дети. Где же прекрасная русская женщина севера? А вот вошла девушка лет восемнадцати, точно пава, поклонилась одной головой, как будто тут ее подданные; движения неторопливые, уверенные и мягкие, а в лице снежок и тонкая заря разошлась. Ну, что же, через де-

сяток лет будет как мать — «всевыносящего русского племени многострадальная мать».

— Так так-то, живых гуськов приволоку, ежели понадобится, а вам самим в это дело встревать нет нужды. Вы себе гусятинки жареной покушаете с аппетитом, а самому мараться нет нужды, потому дѐла грязная, непрошенная, из нужды идешь, а ваша дѐла сторона, — пей, попивай чаек...

Он ни за что не хочет взять меня с собой на охоту. Для него охота — дело, труд, и труд серьезный и тяжелый, как всякий труд в хозяйстве, как всякий крестьянский труд — труд, а не забава. А я в его глазах — баринок. Во-первых, у меня руки белые, а не шершавые от мозолей; во-вторых, в комнате у меня на полках много книг; в-третьих, и самое главное, когда ко мне приходят крестьяне, я, не потея, могу написать всякое прошение во всякое учреждение, вплоть до министра, — стало быть ясно, охота для меня — забава, а не труд. Нужды нет, что я вместе с моими товарищами по политической ссылке с утра до ночи работаю рубанком и пилой в нашей столярной мастерской — а все-таки руки у меня белые.

А мне очень хотелось поохотиться в этих местах, и именно с ним. Ведь он тут все насквозь знает, всякую прогалину, всякую щель, заросль, всякую лесную трущобу.

— Так вот, Сарахвимыч, гуськов живых принесу, коли што. Ну, конечно, стоить будет — две сороковушки поставите, не то штоб для питья, а для дела: без водки их не добудешь.

«Гм! Разумеется, без взбрызгов ни одно дело не делается». Купил. Проходит неделя, другая, ничего не слыхать про Сохатнова. «Ну, — думаю, — усохли мои две сороковки».

А очень хотелось поохотиться на гусей — умная, осторожная, сообразительная птица. Была у меня двустволочка. Да беда, охотиться-то не позволяло начальство: жандармы, исправник, надзиратели, полицейские караулили нас во все глаза. Нам нельзя было отлучиться за черту домов и нельзя было иметь охотничье ружье. А мы и отлучались и имели ружья.

Бывало, разнимаешь ружье, стволы и ложе отдельно завернешь в тряпье, и крестьянские ребятишки с удовольствием отнесут в лес. А сам через изгороди позади дома проберешься — и в лес, а они уже ждут в условленном месте.

Верст за пять за городом река делает большую излучину. Широко разметались по обе стороны пески. А у самой воды сереют гуси. Никак не подберешься на выстрел. Гуси располагаются большим табуном, погоготывают, а старый стоит на одной ноге, вытянув шею, как палку, чуть поворачивая голову с всевидящим оком.

По промоинам, по обсохшим ложам ручьев я начинаю подбираться. Часами ползешь, и так скрытно, что сам себя не видишь, — вот теперь двустволочка достанет. Глядь, а они эвона сереют у воды. Пока полз, они так же спокойно, переговариваясь,

погоготывая, отходили вдаль, и сколько я подползал, столько они отходили.

Выберешься назад в лес, обойдешь и начинаешь подбираться с другой стороны, — то же самое.

А вот Сохатнов говорит, — живьем принесу. Захожу к нему. Степенно извиняется, говорит — кошка сронила со стола обе бутылки, разлила. Делать нечего, покупаю еще две. Но и эти, конечно, сронила. Э-э... дело дрянь. Так кошка все потроха из меня вытянет.

— Ну, — говорю, — последний раз.

— Ладно, — говорит, — придет воскресенье ждите, мешок гусей принесу.

Ждать-то неохота, уж очень хочется посмотреть, как он их добывать будет. Если я не сумел подобраться — как же он?

В воскресенье входит к нам в мастерскую Сохатнов и говорит, встряхивая мешок:

— Вот, принес...

А в мешке что-то бунтует, бьется. Развязал, вытаскивает три гуся, три серых гуся, три диких гуся, живые, исступленно, дико рвутся из рук, лапы, крылья связаны. Что за чудеса! Как же он добывал их?

Опять получил Сохатнов две бутылки.

В воскресенье на ранней утренней заре я с ружьем пробирался к раскинувшейся песками реке. На смутно желтеющих песках было пустынно; далеко у самой воды серели гуси.

Неожиданно я увидел Сохатнова. Он смело спустился с обрыва и зашагал по пескам к воде, где серели гуси. Через плечо мешок. Над лесом далеко разошлась заря. Я ждал. Вот-вот гуси подымутся и понесутся над водой, а потом потянутся над лесом и пропадут. Сохатнов спокойно шел, а гуси и не думали подыматься и вели себя в высшей степени странно: ковыляли, кружились, приседали, кланялись или шатались, распустив крылья и разинув клюв. Ничего не понимаю. Иду за Сохатновым, глядя во все глаза.

Вот он подходит к ним, а они, качая головами, валясь из стороны в сторону, неуклюже, неумело, поминутно тыкаясь головой в песок, заковыляли к воде. Он схватил опять тройку, сунул в мешок, остальные поплыли, жадно глотая клювами воду. Сохатнов повернулся, спокойно пошел назад и у обрыва увидел меня. Он странно и растерянно затоптался на месте, как будто я его накрыл с поличным. Потом засмеялся:

— Ишь... во... с гусями... — и стал крутить цыгарку.

— Скажите, пожалуйста, что с ними сделалось? Околдовали вы их, что ли?

— Водкой всякого околдуешь...

— Как водкой! Да ведь водку-то вы выпили?

— Сколько я ее выпил — шкалик с устатку, а энто гуси стрескали.

— Как гуси?..

— Ну, да уж сказать, что ли? Обнакновенно, на водку всякая тварь пойдет. Опять же гусь — строгая птица, пойди, подберись к ней, завсегда на открытом месте садится, за версту видать кругом. Ну, мы напарим горох в водке, на ночь в печь после хлебов ставим, горох-то распарится, разбухнет. С вечеру и рассыпешь по берегу, — места-то примечаем, где садятся, — к утру дух от гороху отобьет, а внутри пьяный. На зорьке прилетают и зачнут глотать. Наглотаются, вот чудные, и станут куражиться, а то плясать, чисто мужики в трактире.

Затянулся и уронил пренебрежительно:

— Рази охота, так, баловство. Водка-то — что стоит? Это для вас только.

Стояла осень. Подморозило. Сохатнов-таки сдался, взял с собой на рябчиков. Я забрал с собой провизию и целую кучу петель. Нарезали мешок красной рябины и углубились в молчаливые, угрюмые, внешне пустынные леса недели на три. Знаю, когда ворочусь, меня посадят в тюрьму месяца на три за незаконную отлучку. Ну, что же, ладно.

Первую ночь провели у костра. Когда поужинали, Сохатнов вырубленной елкой сдвинул костер, подмел сосновыми лапами и накидал на горячую землю еловых ветвей. Ночью побелел морозец, но спать было чудесно. Утром отправились ставить петли. Сохатнов высоко на суку подвесил наш мешок с провизией. Он тут был совсем другой — почти не разговаривал со мной, а когда говорил, так на «ты», грубовато, а если чего не так — и матюкнет.

Странно. А ведь какой ласковый, вежливый, мягкий там, дома. Но эта грубоватость странно вязалась со всей суровостью, насупленностью окружающей обстановки.

Этот угрюмый, без границ лес, полный болот, трясин, нехоженых мест, трущоб, заваленных валежником тайных топей, пощады не дает, если зазевался. Заблудился, ну, прощай. Обессилевшего скушают медведи или сожрут волки или скачком без промаха перервет шейные позвонки ушастая рысь. Лес не терпит незнаек; к нему пришел — будь смел, ловок, находчив, наблюдателен, и он раскроет тебе все свое изобилие — и зверя и птицы, и бесчисленного количества ягод — умей лишь взять. А проворонил — медленно подохнешь с голоду.

Оттого сосредоточенно молчалив Сохатнов, неразговорчив и грубоват со мной, — он пришел ради заработка, ради сурового труда, и если я увязался, сам о себе должен думать: ему некогда нянчиться со мной.

Мы идем по подлеску, по кустам и торопливо навязываем на высоте нашего роста петли, а в каждой петельке, как коралл, краснеет крохотная веточка рябины. Но пока я поставлю одну петельку, тот — пять. Я иду напролом через кусты и заросли, а он

с выбором, по прогалинам, по лощинкам, и его рябина издали далеко и заманчиво краснеет, а моя пропадает среди густой поросли.

Уже стало темнеть, когда вернулись к стану. Опять красновато озарились снизу суровые сосны, булькала вода в котелке; опять угрюмо, таинственно стоял кругом молчаливый лес без людей, затаились звери, а Сохатнов, как и лес, был сурово-молчалив, с короткими деловыми движениями. Опять спали на еловых ветвях, и теплый дух шел от прогретой костром земли, и крепко спалось. Так изо дня в день. В поставленных раньше петлях неподвижно обвисли птицы, опустив вдоль крылья и вытянув шейки. Только у меня на двадцать, на тридцать петель один рябчик, а у него через пять, шесть петель птица. Отчего же эта разница? Будто все делаю, как он.

Со мной несчастье: провалился в ручей. Думал — ледок выдержит, — провалился. Вылез мокрый по пояс. Пока развел костер, пока обсушился, сильно продрог. А на другой день лицо стало гореть, а по телу озноб.

Сохатнов, не замечая, делал свое. Но когда я, не в состоянии ходить, лег у сосны, он постоял возле, недружелюбно посмотрел и уронил:

— Не таскался бы.

Подумал о чем-то и сказал:

— Ну, собирайся, што ль, пойдем, — и пошел, не оглядываясь.

Я тащился за ним, шатаясь и ничего не видя, в ушах звон, в глазах круги.

Не помню, как дошел. Над лесным озером, на песчаном бугре — черная, насквозь прокопченная избушка без окон. Я повалился и стал бредить. Сохатнов нарубил дров, встряхнул меня, как мешок с мякиной, я очнулся.

— Полезай, што ль...

Я согнулся вдвое и почти на коленях вполз в дыру вместо двери. В одной половине кромешная тьма, в другой ярко пылают на груде камней дрова, освещая насевшую по стенам, по потолку, как черный снег, сажу. Густой едкий дым стлался ровно до низенького потолка, а в потолке дыра, куда вываливался дым и летели искры. Сохатнов, голый и запятнанный сажей, в густом дыму, как демон, распоряжался, а я в три погибели на корточках дышал над самым полом.

Костер прогорел, камни светились. Сохатнов плеснул на них ведро воды. Рвануло мгновенным взрывом и таким нестерпимым жаром, что я повалился без чувств. Очнулся от нестерпимой, обжигающей боли. Сохатнов, согнувшись под низеньким потолком, сек меня жгучими распаренными вениками.

— Тю, да вы с ума спятили!.. Пусти... брось...

Но он попрежнему, придерживая коленом, продолжал нещадно драть меня, обливая время от времени горячей водой.

А через час мы сидели, стараясь не притрагиваться к стенам, в другой половине, нагретой и освещенной быстро бегущим со смолистого корня красным пламенем, и с наслаждением пили чай с ячменными шанежками.

И передо мной сидел, прихлебывая из жестяной кружки, Сохатнов, тот, которого я знал в городе, вежливый, обходительный, и ласково говорил на «вы»:

— Знамо, чижало ходить на карбасе без палубы, сами знаете — окиан хлестает на него. Никак не сберусь запалубить, все недохватки да недостачи.

И он рассказывает, как по веснам ходит за зверем на океан. И я вспоминаю, как норвежцы и англичане снаряжают для этого специальные пароходы — капитал, а у нас работают более успешно такие богатыри, как Сохатнов, у которых сметка, удаль и смелость.

Утром мы с трудом тащили ворох рябчиков, и я шел, как ни в чем не бывало, и Сохатнов меня сурово «тыкал».

Верстах в пятнадцати от города ждала в условленном месте подвода, и дочка Сохатнова величаво поклонилась нам.

А потом я три месяца сидел в тюрьме, и клопы жрали меня.

ГЛАЗА БЛЕСТЯТ

Мокрая с изморозью темь шумит и качает невидимые деревья. Мутно белеют талые пятна снега. Одинокие, заброшенные огоньки редко мерцают вдоль смутно угадываемого шоссе, — деревня; ни собак, ни живых звуков, только тьма шумит.

В одном месте низко сползлись огни, и в ночной изморози — смех, гармошка, девичьи взвизги:

— Отчепись, сатана!.. У-у, идол косолапый! А то как двину... оголтелый чорт!.. Удди!!.

А в сердитости — девичья радость, ожидание, готовность на ласку. А ребята гогочут.

— Да кады нас пущать начнут?..

И в двери грохают здоровенные кулаки.

А из-за дверей молодые комсомольские голоса:

— Товарищи, осади!.. Не хватайся за культуру... Товарищи, не безобразь!..

И опять изморозно-волнующийся мрак, невидимо качающиеся деревья, и гармошка, и смех, и девичьи ожидания.

А наискосок, через невидимое шоссе, другие огни — чайная. Там суматоха, брань, вытаскивают, поправляют, стучат молотки. Внутри — светопреставление: скамьи изломаны, столы опрокинуты, всюду белеет щепа расколотых ножек. Чайник носится, приводит в порядок и в три этажа поминает:

— Да что это!.. Хуже Мамая... Али люди!?. Животная!..

Организаторы свадьбы в чайной раздавали билеты на вход. Толпа рвалась и все разнесла.

— Да ведь свадьба-то не простая — комсомольская, с самого сотворения мира первая комсомольская свадьба в деревне. Из других деревень поприехали. Неудивительно, что разнесли чайную.

Наконец впустили. Человек триста набилось. Пот градом. Потолок над самой головой — комсомольский клуб. Бабы сидят, затаив дыхание, и чувствуют себя, как на угольях: вот вылезет хвостатый, и начнется светопреставление. Уйти бы, откреститься.

да как уйдешь? Так вот и тянет, так вот и тянет посмотреть — бес-то... в ём сила!

На крохотной скрипучей эстраде за красным столом заседают. Тут и ячейка комсомола — их всех-то семь человек, и секретарь ячейки РКП, и предисполкома района, и приехавший шеф, — словом все, и им больно жжет маковки лампа-молния, головы поднять нельзя, стукнешься в нее. Так все и сидят, как бирюки, с нагнутыми головами.

Да где же молодые? Молодые-то где?

Вот они сбоку. Шестьсот глаз лопаются, впились в них.

Крепкая, по-деревенски крепко-сбитая, — тесно в кофточке; по-деревенски румяная, мозолистые пальцы, а ноздри раздуваются, и глаза блестят; казалось, потуши свет, от этих глаз в темноте протянулись бы две светлые полоски, — блестят.

Да и как не блестеть? Ведь это же она, она устроила эту бучу — шестьсот глаз лопаются, впились в нее.

Дома — бедность; мать и она бьются, чтобы поднять детей — куча; отца нет. Эх, бедность ты деревенская!

Она — комсомолка, уже полгода комсомолка. Мать все боялась, все просила: «Да куда тебе!..» Блестят глаза, бунтует румянец щек: комсомолия — единственное место, где голову девичью преклонить, и как-то по-новому все, и матерного не слыхать, и самогона не жрут, — полгода комсомолка.

Из другой деревни парень втрескался, все потерял, все валится — не жить без нее. Смиренный парень.

Ну, она что ж, — ладно. Только одно: комсомольская свадьба, и никаких! Тут что хочешь делай.

Отец у него — середняк крепкий, хорошо живут, всего вдоволь. Другая бы и руками, и ногами ухватилась, а эта ни за что, — блестят глаза, вот что хошь!

Стал просить отца, а тот:

— Да ты што: ополоумел!..

Сохнет парень.

— Батя, слышь, расходов никаких, — комсомолия.

Крякнул старик.

— Ну, ин быть по-твоему, — любил старик сына, — тебе жить, не мне жить. Бога-то, бога забыли, забыли ноне бога...

А все-таки дома благословили молодых иконами. Стали молодые на колени, а старые — ну махать над ними изрисованными досками. Спрятала молодая глаза под пушистыми ресницами, потушила блеск, а пушистые ресницы подрагивают, — вот, вот из-за уголков брызнет заразительный блеск. Благословили.

...Шестьсот глаз впились, слезятся от напряжения. Блестят глаза. Если потушить лампу-молнию, из-под пушистых ресниц длинно засветятся в темноте два тонкие луча, — блестят глаза.

Говорит шеф, все слушают, складно говорит. Слушают, а сзади у стены потихоньку семечки лускают, девчата приду-

шенно хихикают, парни их смешат, теснота, плечо в плечо, в поту все.

Подымается комсомолец, председатель, лицо тоже все в бисере, в поту, красное. Стукнул смаху кулаком по эстрадному столу, закачался, затрещал стол, — эх, пропал стол! Нет, выдержал — сами комсомольцы делали для себя, для своего клуба, на совесть. Треснул да закричал молодым голосом:

— Не безобразь, товарищи!.. Что такое?!. Не хулигань торжества!..

И, обведя глазами, посмотрел на всех в тумане духоты строго, неуступчиво. Потом сел и сказал веско:

— Продолжай, товарищ.

Шеф продолжал:

— Вспомните, как прежде женщина жила. Разве она могла выбрать себе мужа? Отдавали, за кого хотели отец с матерью. А после свадьбы ярмо надевал муж, да свекор, да свекровь, и тяжкая жизнь начина...

А голос с передней скамьи перебил: поднялся бородатый мужичок в тулупе:

— Мой сын, моя и сноха, я — хозяин, чево хочу, то и делаю.

И пошел сердитый тулуп к двери. Все примолкли, только стояла духота. А шеф сказал:

— Вот вам, видели, как прошлое не хочет уходить, не хочет дать место новой хорошей жизни...

Потом поздравляла ячейка РКП, потом комсомольцы, председатель волостного исполкома, кооперация, — и подарки: на платье, на костюм, плуг.

Блестят глаза у молодой, рвутся румянцем щеки, ноздри раздулись, тесно в кофточке:

— Я, товарищи... спасибо вам... ну, за все спасибо! Я, товарищи, только в мае в комсомол поступила... Я, товарищи, вам скажу: меня, товарищи, воспитал комсомол. Он, товарищи, открыл мне глаза на новую жизнь. И... спасибо ему. И вам спасибо. И всем товарищам спасибо...

Ох, и грохнуло же в духоте! Ревел клуб, стены раздавало; девчата и про парней забыли; руки доупаду трепались, ладони вспухли.

А потом музыка: гитара, две балалайки. Потом гармония. Потом в пляс. Ух, и плясали же! Сначала в сапогах, а потом один сапог в одну сторону полетел, другой — в другую, да как начал босыми ногами выделывать! Как притопнет, будто блины горячие по полу: шлеп! шлеп! шлеп!.. Ах, удивительно!.. Заревел опять клуб, затряслись стены, потолок, вот сколько живу на свете, не видал такого.

Видал-ал! Да ведь там, бывало, сначала нажрутся, как свиньи, а потом и выделывают. А тут ни-ни! Ни понюх табаку, все в своем естестве. И босиком который откалывал, до трех часов уняться не мог.

А на другой день бабы лускают семечки, как тараканы пачками сбираются по деревне.

— И-и, бабоньки, ну и свадьба! Во свадьба: ни невестина, ни женихова семейства полушки не истратила, ей-бо! Ни синь пороху на свадьбу не потратились. Все в доме осталось. Плохо ли?

— У-у, родные мои, да ишо самим надарили.

— Эдак хошь кажный день свадьбу играй.

— Опять же свадьба приятная: всея деревня, почитай, сидела.

— А, бывалыча, позовут родни человек пять-шесть, в избе и так повернуться негде, да кормить надо, а тут и народу много, и все на своем иждивении. Всем свадьбам свадьба.

— А, бывалыча, нажрутся водки али самогону, осатанеют у-у, матушка ты моя родимая, зачем ты меня на свет почала!

А одна сказала печально:

— Да уж куды лучше свадьба — ни пьянства, ни бою, дешево и весело всем, чисто, а только б... присоединить к этому... почему батюшку обидели? Пущай бы благословил.

Бабы молчали, луск减ая, — и шелуха, сверкая, ложилась по грязи. Одна сказала:

— Дык што ж поп... Опять же ему платить, а тут задарма.

...Блестят у девок глаза.

ДВЕ СМЕРТИ

В Московский совет, в штаб, пришла сероглазая девушка в платочке.

Небо было октябрьское, грозное, и по холодным мокрым крышам, между труб, ползали юнкера и снимали винтовочными выстрелами неосторожных на Советской площади.

Девушка сказала:

— Я ничем не могу быть полезной революции. Я б хотела доставлять вам в штаб сведения о юнкерах. Сестрой — я не умею, да сестер у вас много. Да и драться тоже — никогда не держала оружия. А вот, если дадите пропуск, я буду вам приносить сведения.

Товарищ, с маузером за поясом, в замасленной кожанке, с провалившимся от бессонных ночей и чахотки лицом, неотступно всматриваясь в нее, сказал:

— Обманете нас, расстреляем. Вы понимаете? Откроют там, вас расстреляют. Обманете нас, расстреляем здесь!

— Знаю.

— Да вы взвесили все?

Она поправила платочек на голове.

— Вы дайте мне пропуск во все посты и документ, что я — офицерская дочь.

Ее попросили в отдельную комнату, к дверям приставили часового.

За окнами на площади опять посыпались выстрелы — налетел юнкерский броневик, пострелял, укатил.

— А чорт ее знает... Справки навел, да что справки, — говорил с провалившимся чахоточным лицом товарищ, — конечно, может подвести. Ну, да дадим. Много она о нас не сумеет там рассказать. А попадется — пристукнем.

Ей выдали подложные документы, и она пошла на Арбат в Александровское училище, показывая на углах пропуск красноармейцам.

На Знаменке она красный пропуск спрятала. Её окружили юнкера и отвели в училище в дежурную.

— Я хочу поработать сестрой. Мой отец убит в германскую войну, когда Самсонов отступал. А два брата на Дону в казачьих частях. Я тут с маленькой сестрой.

— Очень хорошо, прекрасно. Мы рады. В нашей тяжелой борьбе за великую Россию мы рады искренней помощи всякого благородного патриота. А вы — дочь офицера. Пожалуйте!

Ее провели в гостиную. Принесли чай.

А дежурный офицер говорил стоящему перед ним юнкеру:

— Вот что, Степанов, оденьтесь рабочим. Проберитесь на Покровку. Вот адрес. Узнайте подробно о девице, которая у нас сидит.

Степанов пошел, надел пальто с кровавой дырочкой на груди — только что сняли с убитого рабочего. Надел его штаны, рваные сапоги, шапку и в сумерки отправился на Покровку.

Там ему сказал какой-то рыжий лохматый гражданин, странно играя глазами:

— Да, живет во втором номере какая-то. С сестренкой маленькой. Буржуйка чортова.

— Где она сейчас?

— Да вот с утра нету. Арестовали, поди. Дочь штабс-капитана, это уж язва... А вам зачем она?

— Да тут ейная прислуга была из одной деревни с нами. Так повидать хотел. Прощевайте!

Ночью, вернувшись с постов, юнкера окружили сероглазую девушку живейшим вниманием. Достали пирожного, конфет. Один стал бойко играть на рояли; другой, склонив колено, смеясь, подал букет.

— Разнесем всю эту хамскую орду. Мы им хорошо насыпали. А завтра ночью ударим от Смоленского рынка так, только перья посыпятся.

Утром ее повели в лазарет на перевязки.

Когда проходили мимо белой стены, в глаза бросилось: у стены в розовой ситцевой рубашке, с откинутой головой лежал рабочий — сапоги в грязи, подошвы протоптаны, над левым глазом темная дырочка.

— Шпион! — бросил юнкер, проходя и не взглянув. — Поймали.

Девушка целый день работала в лазарете мягко и ловко, и раненые благодарно глядели в ее серые темно-запушенные глаза.

— Спасибо, сестрица.

На вторую ночь отпросилась домой.

— Да куда вы? Помилуйте, ведь опасно. Теперь за каждым углом караулят. Как из нашей зоны выйдете, сейчас вас схватят хамы, а то и подстрелят без разговору.

— Я им документы покажу, я — мирная. Я не могу. Там сестренка. Бог знает, что с ней. Душа изболелась...

— Ну, да, маленькая сестра. Это, конечно, так. Но я вам дам двух юнкеров, проводят.

— Нет, нет, нет... — испуганно протянула руки, — я одна... я одна... Я ничего не боюсь.

Тот пристально посмотрел.

— Н-да... Ну, что ж!.. Идите.

«Розовая рубашка, над глазом темная дырка... голова откинута...»

Девушка вышла из ворот и сразу погрузилась в океан тьмы — ни черточки, ни намека, ни звука.

Она пошла наискось от училища через Арбатскую площадь к Арбатским воротам. С нею шел маленький круг тьмы, в котором она различала свою фигуру. Больше ничего — она одна на всем свете.

Не было страха. Только внутри все напрягалось.

В детстве, бывало, заберется к отцу, когда он уйдет, снимет с ковра над кроватью гитару, усядется с ногами и начинает потинькивать струною и все подтягивает колышек, и все тоньше, все выше струнная жалоба, все невыносимей. Тонкой, в сердце впивающейся судорогой — ти-ти-ти-и... Ай, лопнет, не выдержит... И мурашки бегут по спине, а на маленьком лбу бисеринки... И это доставляло потрясающее, ни с чем не сравнимое наслаждение.

Так шла в темноте и не было страха, и все повышалось тоненько: ти-ти-ти-и... И смутно различала свою темную фигуру.

И вдруг протянула руку — стена дома. Ужас разлился расслабляющей истомой по всему телу, и бисеринками, как тогда, в детстве, выступил пот. Стена дома, а тут должна быть решетка бульвара. Значит, потерялась. Ну, что ж такое — сейчас найдет направление. А зубы стучали неудержимой внутренней дрожью. Кто-то насмешливо наклонялся и шептал:

— Так ведь это ж начало конца... Не понимаешь?.. Ты думаешь, только заблудилась, а это нач...

Она нечеловеческим усилием распутывает: справа Знаменка, слева бульвар... Она, очевидно, взяла между ними. Протянула руки — столб. Телеграфный? С бьющимся сердцем опустилась на колени, пошарила по земле, пальцы ткнулись в холодное мокрое железо... Решетка, бульвар. Разом свалилась тяжесть. Она спокойно поднялась и... задрожала. Все шевелилось кругом — смутно, неясно, теряясь, снова возникая. Все шевелилось: и здания, и стены, и деревья. Трамвайные мачты, рельсы шевелились, кроваво-красные в кроваво-красной тьме. И тьма шевелилась, мутно-красная. И тучи, низко свесившись, полыхали, кровавые.

Она шла туда, откуда лилось это молчаливое полыханье. Шла к Никитским воротам. Странно, почему ее до сих пор никто не окликнул, не остановил. В черноте ворот, подъездов, углов — знает — затаились дозоры, не спускают с нее глаз. Она вся на

виду, идет, облитая красным полыханием, идет средн полыхающего.

Спокойно идет, зажимая в одной руке пропуск белых, в другой — красных. Кто окликнет, тому и покажет соответствующий пропуск. Кругом пусто, только безустали траурно-красное немое полыхание. На Никитской чудовищно бушевало. Разъяренные языки вонзались в багрово-низкие тучи, по которым бушевали клубы багрового дыма. Громадный дом насквозь светился раскаленным ослепительным светом. И в этом ослепительном раскалении все, безумно дрожа, бешено неслось в тучи; только, как черный скелет, неподвижно чернели балки, рельсы, стены. И все так же исступленно светились сквозные окна.

К тучам неслись искры хвостатой красной птицы, треск и непрерывный раскаленный шопот — шопот, который покрывал собою все кругом.

Девушка обернулась. Город тонул во мраке. Город с бесчисленными зданиями, колокольнями, площадями, скверами, театрами, публичными домами — исчез. Стояла громада мрака.

И в этой необъятности — молчание, и в молчании — затаенность: вот-вот разразится, чему нет имени. Но стояло молчание, и в молчании — ожидание. И девушке стало жутко.

Нестерпимо обдавало зноем. Она пошла наискось. И как только дошла до темного угла, выдвинулась приземистая фигура и на штыке заиграл отблеск.

— Куды?! Кто такая?

Она остановилась и поглядела. Забыла, в которой руке какой пропуск. Секунда колебания тянулась. Дуло поднялось в уровень груди.

Что ж это?! Хотела протянуть правую и неожиданно для себя протянула судорожно левую ладонь и разжала.

В ней лежал юнкерский пропуск.

Он отставил винтовку и неуклюже, неслушающимися пальцами стал расправлять. Она задрожала мелкой, никогда не испытанной дрожью. С треском позади вырвался из пожарища сноп искр, судорожно осветив... На корявой ладони лежал юнкерский пропуск... кверху ногами...

«Уфф, т-ты... неграмотный!»

— На.

Она зажала проклятую бумажку.

— Куда идешь? — вдогонку ей.

— В штаб... в Совет.

— Переулками ступай, а то цокнут.

...В штабе ее встретили внимательно: сведения были очень ценные. Все приветливо заговаривали с ней, расспрашивали. В кожанке, с чахоточным лицом, ласково ей улыбался:

— Ну, молодец девка! Смотри только, не сорвись...

В сумерки, когда стрельба стала стихать, она опять пошла на Арбат. В лазарет все подвозили и подвозили раненых из

района. Атака юнкеров от Смоленского рынка была отбита; они понесли урон.

Целую ночь девушка с измученным, осунувшимся лицом перевязывала, поила, поправляла бинты, и раненые благодарно следили за ней глазами. На рассвете в лазарет ворвался юнкер, без шапки, в рабочем костюме, взъерошенный, с искаженным лицом.

Он подскочил к девушке:

— Вот... эта... патаскуха... продала...

Она отшатнулась, бледная как полотно, потом лицо залила смертельная краска, и она закричала:

— Вы... вы рабочих убиваете! Они рвутся из страшной доли... У меня... я не умею оружием, вот я вас убивала...

Ее вывели к белой стене, и она послушно легла с двумя пулями в сердце на то место, где лежал рабочий в ситцевой рубашке. И пока не увезли ее, серые опушенные глаза непрерывно смотрели в октябрьское суровое и грозное небо.

ГОД

Когда комсомольская братия собиралась, дым шел коромыслом. Особенно, когда девчата были. И особенно среди них Манька Лунова.

Толстая, кругленькая, краснощекая, и из глаз всегда сыпались насмешливые искорки, точно в постоянно бегущем ручейке непрестанно дрожало хитрое солнце. Того дернет за ухо, — того оттаскает за вихор или шапку швырнет в окно, — и такой галдеж подымется, такая драка, хоть беги вон. Хозяйка, заведующие спальнями, коменданты общежитий терпеть ее не могли и гнали.

— Манька, и в кого ты таким дурным дьяволом уродилась? — говорит ей плечистый черный, как арап, комсомолец, с неправильным, приятным, запоминающимся лицом, железно держа ее руки, чтоб не вцепилась. — Али мать твоя, как носила тебя, бешихи объелась? Ну, ты смотри, а то, ей-богу, по уху дам.

А она ласкается; глаза безустали роняют смешливые искорки.

— А еще комсомолец — бога поминаешь... Ну, пусти, больно ведь. Навалился, как лошадь, рад силушке. Ты вот чего лучше скажи, — говорила она, заглядывая ему в глаза, близко садясь, — вот Маркс... как лучше, по Марксу или... А ну, скажи, что такое государство? Эх, ты! Ни тмны, ни хмны... Нет, правда, скажи: неужто Маркса непременно по Марксу надо? А?..

— Гм! Как это?

— Нет, видишь ты... Постой. Ну, вот, я принялась за Маркса по самому Марксу. Ну, до того трудно... Понимаешь ты, по самой книге, по «Капиталу». И, знаешь, отчего трудно? Оттого, что уж очень просто, легко. На целых страницах он рассказывает, что один кафтан равняется двум штанам. Ну, так что ж! Это я и без него знаю. А ведь не зря же он это писал. В этом какая-то заковыка. Это не простая простота.

— А чего же ты хочешь? — говорил он, даже сквозь кожанку чувствуя теплоту ее плеча.

— Ну, чего я хочу? — проговорила она раздумчиво, и лицо ее стало чужое, как будто луг, по которому бродили веселые

солнечные пятна, вдруг стал однотонным и ровным, и косцы мирно и сосредоточенно рядами взмахивали косами, и ровно лежало над ними однотонное небо. — Я хочу, понимаешь ты, ну, одним словом, изучить Маркса не по Марксу, а по изложению, как другие его излагают. А то, право, голова лопается, — и придвинулась еще ближе к нему, почти прижалась.

— Ну, как это сказать... это не тае. Опять же самого Маркса прочтешь — одно, а в изложении... Маркс, он, брат, самую суть... главное, у него научишься думать, как факты обхаживать, а по изложению — это своими словами рассказывают. Факты марксовы он тебе расскажет, а как Маркс достукался до фактов — ни хрена.

Она положила руки ему на плечи и, слегка навалившись грудью, смотрела в глаза.

— Нет, брат, врешь, самого Маркса прочтешь — одно, а его словами рассказывают — другое. Опять же...

Мгновенно сорвалась, запустила ему в кудлы обе руки и с такой силой навалилась, что он сполз со стула и, чтоб не разбить лицо, уперся обеими руками в пол.

— П...пусти... с-сволочь!.. У-убью!

Она хохотала, как безумная, и прижала его лбом к полу.

— Вот тебе!.. Вот тебе!.. Вот тебе!.. Не поминай бога, ты — комсомолец.

Ввалившаяся комсомольская орда ржала неистово.

— Так его! Так его!.. Го... го... го!..

— Чорт с младенцем связался.

— Одначе младенец оседлал-таки чорта... Хо-хо-хо...

— Пусти... с-стерва... ей-богу, у-убью!..

Она выпустила его и бросилась по комнате, прячась за товарищей. Он вскочил с перекошенным от бешенства лицом, кинулся за ней, как разъяренный бык, ничего не видя. С грохотом летели стулья, табуретки. Она ловко увертывалась, а ему всячески мешали, хватали за рукава, подставляли ножку и ржали на всю комнату. Он раскидывал всех, как медведь, вот-вот схватит ее...

— Манька! Манька! Беги, чорт, убьет он тебя...

Она кинулась к двери, да он перехватил. Тогда она — в окно, и только ее видали. Он ринулся, высадил полрамы и исчез, топот по улице убегал. Ребята кинулись к окнам.

Она добежала до угла, запыхавшаяся и раскрасневшаяся. Громадный, обсыпанный мукой крючник стоял, засунув большие пальцы за веревочный свой кушак, спокойно смотрел на них.

— Дяденька, муж пьяный напился, бить хочет, — и прижалась к нему, вся белая от муки.

Крючник шевельнулся, точно сдерживая просившуюся во всех мускулах чудовищную силу.

— Чего бабу изводишь? Залил зеньки. Чебурыхну раз, до смерти забудешь, как халыганить. Гляди!

И стоял, как монумент. А тот уже остыл. Подбежал, подхватил под локоть Маньку, — и понеслись назад. Манька на бегу обернула на секунду раскрасневшееся, смеющееся, припудренное мукой лицо:

— Дяденька, я пока девка — не баба.

Крючник стоял, как монумент, глядел. Потом длинно сплюнул, отвернулся и стал глядеть на улицу.

Прибежали. Их встретили аплодисментами.

— Ну, окно-то кто будет расхлебывать?

Порешили вскладчину. Потом расселись по табуреткам и лавкам и принялись за учебу.

Где бы и как бы ни собрались, только и слышалось:

— Манька, где ты?

— Манька, начинай!

— Манька, запевай!

Голос у нее был веселый и радостный, далеко слышный и в разговоре и в песне.

Без нее ни дело, ни веселье не спорилнсь. Любили ее.

И она часу не могла прожить без этой шумной, неуемной комсомольской ватаги.

Не у одного комсомольца ныло сердце.

— Манька, будет тебе мещаниться. Ломаешься, как коза на веревке. Не видишь, что ль, сохну по тебе. Ну?!

Та ласково берет его за голову:

— Цыплок мой золотенький, да какой же ты славненький...

— Ну, будет, будет, — а сам норовит ее обнять.

— Постой, ты только мне ответь, а там по-твоему будет. Ты...

— Чего такое?

— Ты ответь. Какая разница — постоянный капитал и переменный капитал?

— Еще чего! Экзаменовать вздумала...

— Да нет же, ты только ответь, а там...

У комсомольца от натуги наливаются щеки, шея, уши.

— Да это что же... тут большого фокуса нету. Постоян... постоянный — это ежели у капиталиста капитал в банке или там в кассе, не тратится, значит, постоянный. А ежели тратится, ну там на производство или там еще на чего, то переменный...

Никогда комната не звенела таким нестерпимо подмывающим девичьим смехом: бес рассыпался.

Манька сделала по раскрасневшейся роже вселенскую смазь. Во-вторых, вцепилась в волосья и стала нещадно таскать.

— Будет... брось... Чорт!.. Сатана!..

Он мотал, выворачивая головой, стараясь высвободиться.

— Посохни, посохни еще, миленький, да каши книжной поешь. Тогда разговаривать будем.

В районе ею дорожили: ценная работница. Фабричные, особенно работницы, души в ней не чаяли. А когда посылали в деревню, крестьянки встречали, как родную.

Все заполнено тужурками, кожанками, блузами, гимнастерками, потрепанными френчами. И цветут маки. И цветут глаза! Комсомольская поросль густо поросла по всему залу. Такой же молодой бунт голосов мечется над головами.

Среди всех, красно озаряя, цвели щеки Маньки Луновой. Звенела непотухающая улыбка. Летели к ней голоса, вскрики, смех.

— Манька, глянь сюда!

— Эй, Манька!

По смеющемуся румянцу выбивались из-под повязки непокорные русые стриженые волосы. Она встряхивала ими.

Было беспричинно весело, радостно, и хотелось через все эти молодые головы в черных фуражках, красных повязках, — через все головы крикнуть туда, к самым крайним, к самой стене:

— Эй вы, товарищи, что у вас там?

И она крикнула, слегка приподнявшись и помахав рукой:

— Ванька Лупоглазый, ты чего же книжку мою зажилил?

А оттуда донеслось так же беспричинно радостно сквозь взбаламученное море голосов:

— Не прочи-тал еще...

— Принеси вечером.

От стены протянулся задорный кукиш. И оба, через множество голов, засмеялись друг другу.

А на красном возвышении, на эстраде, — там свое, своя стройка. Колокольчик тоненько и отчаянно мотается среди невообразимой свалки голосов. Да разве его тонко звенящему язычку затоптать их, буйных, разметавшихся? Но тоненько звенящий голосок настойчив и знает свою силу. Он, крохотный, постепенно овладевает этой непокорной ордой буйных молодых голосов, загоняет их по углам, они низом ползут, смиряясь. Наконец свернулись и затихли.

Тогда державший колокольчик сказал бодрым комсомольским голосом:

— Товарищи! Объявляю общее собрание комсомола района открытым. Надо избрать президиум.

Избрали. Уселись.

— Слово — секретарю райкома.

Тот поднялся, порылся в бумагах, посмотрел на комсомольскую братию.

На него тоже смотрели, другие рылись в своих портфелях, а то потихоньку разговаривали, нагнув головы; иные лускали семечки, втихомолку выплевывая шелуху в кулак, хитро подсовывали ее друг другу в карманы. Как будто всем этим хотели сказать секретарю:

«Да знаем, все знаем, и чего говорил и чего будешь говорить».

А он сказал:

— Товарищи!

А они весело, семечками:

— Ну, так что ж!..

Тогда над ними над всеми охнуло, взорвало человечьим голосом, и все головы повернулись и все глаза остановились на нем, потому что он сказал:

— Товарищи, среди вас — предатель!

Поплыло молчание, погашая малейшие движения.

Все остановилось, стало страшно прозрачно, и сквозь прозрачность отчетливо видно: сотни глаз смотрели не мигая.

Как траурный звон, опять повторил:

— Среди вас — предатель.

И протянул руку.

Никто не шевельнулся. Только видно было: сотни глаз неотрывно смотрели на него.

Тогда он злобно сказал:

— Марья Лунова!..

Как хлынувший прибой, все повернулись и увидели: сидит, слегка подавшись полной грудью, Маня Лунова, и мгновенно поблекшие щеки попрежнему ярко цветут, и искрами блистающие глаза неотрывно смотрят перед собой.

Мгновенно сомкнулся холодный круг отчужденности.

Все сжались, чуть сдвинулись. Она сидела, подавшись грудью, и ярко цвели потускневшие было щеки, и вглядывались во что-то блестящие глаза, и назойливо кричала красная повязка.

Резко строгий голос из дальнего угла:

— Доказательства!

Как треснувшее во все стороны стекло, полопалось оцепенение.

Зашевелились, задвигались, повернулись головы, и глянули на нее сотни прежних, любящих, близких глаз. А она сидела неподвижно, глядя перед собой, и секретарь засмеялся, и душно давивший всех потолок приподнялся, — все стали дышать. По залу поплыл шум, говор, движение.

Чахоточное лицо секретаря исказилось. Колокольчик метался, тоненько всверливаясь в раскосматившийся шум и голоса, и председатель поднялся, отчаянно мотая им:

— Тише, товарищи!

Чахоточное секретарское лицо повело злобной судорогой. Поднял бумагу:

— Вот!

И этой бумагой разом придавил шум:

— ...Вот протокол группы анархистов-индивидуалистов. Она — член группы анархистов, самый деятельный член. Она тут среди нас, среди партийцев, среди комсомольцев... мы любим ее... отличная работница... Вы понимаете, тут среди товарищей, а потом побежит к анархистам... Что же это такое?.. Ведь это же развал... Член партии, член комсомола и... продает всех...

Он захлебнулся и оглядел всех гневными косящими глазами. Опять перекосило изжелта-белое лицо, хлопнул ладонью по бумаге:

— Ее собственная рука вела протокол заседания.

Тогда взрыв повалил его голос, голос председателя, и без перерыва тонко извивавшийся голосок колокольчика

— Долой!

— Вон!

— Пошла вон отсюда!

— Шкура продажная!

— Уходи же, сволочь!.. А то...

В нее летели вспененные злобой, презрением, отчаянием слова. Мотались кулаки. Лица у всех были пьяные, красные, распаренные.

Комсомолец от стены пустил книгой, и она пролетела над головами, торопливо перелистываясь, и упала у ее ног. Молоденькая комсомолка, еще девочка, уронив голову в колени, горько плакала.

— Манька! Манька! Чего ты наделала!..

Загремели стулья, опрокидываясь; кругом столпились, как будто не было председателя, президиума, порядка дня... И стоял рев, и мотался лес кулаков.

— Во-о-он!

Тогда Лунова поднялась и пошла к двери, не глядя, и на помертвелых щеках тлели красные пятна.

...Исключили из комсомола, из партии.

* * *

Все, как было. Из-за фабричных труб каждый день всплывало солнце, и гудели корпуса, и бежали комсомольцы — кои на учебу, кои к станкам, кои на партработу. А Маньки Луновой не было.

По вечерам, на собраниях или на демонстрациях пели комсомольские песни или революционные марши, — а голоса Маньки Луновой не слышно было.

Часто вспоминали ее, и удивлялись, и ругали, и жалели, как же это она так, — а ее не было. Никто не видел, никто не слыхал.

И бежали дни и месяцы и делали свое дело. Забвение тихонько стало затягиваться, и когда обернулся год, заволокло память о ней: перестали вспоминать, перестали говорить...

...Идет черный, как арап, комсомолец, плечистый, с неправильным, приятным лицом. Шагает — портфель в руках, задумался, глядит под ноги, дорожки не видит, а видит свою работу: на фабрику перекинули.

Навстречу девушка. На щеках дотлевают пятна. Остановилась.

Тихи деревья.

— Алеша!

Остановился, глянул, нахмурился.

— Вам что угодно?

— Постой... давай, сядем... ведь год...

— Не о чем нам.
— Но... подожди... что ж боишься, не укушу... не испортишься... вот тут... на лавочке.
Нехотя сел, не глядя.
Она — поодаль, обернувшись к нему. Сквозь ветви дробилось солнце.
Няни, придерживая детские колясочки, беседовали с кавалерами.
— Алеша... я не хотела... я б не должна бы этого говорить, но... не мо...гу...
Зарыдала, зарыдала рвущимися рыданиями. Зажала глаза, рот платком. Все равно рыдания, сдавленные, рвали грудь, слезы неудержимо ползли из-под платка.
Он сморщился, брезгливо поднялся. Она судорожно ухватилась.
— Н-не... мо-гу. Я ведь... Меня посла-ли, понимаешь... к анархистам... это было... задание. Это — революционное задание. Я не могла никому вам сказать... сам понимаешь, но как тяжело... как мучительно... на фронте... там смерть... но там со всеми... с братьями... с друзьями, там ведь другое... умереть радостно... а тут среди врагов... одна... брошенная... отвергнутая... своими... целый год презрения...
Она опять зарыдала, затискивая платок в рот. А он стоял перед ней, оглушенный. Плыл кругом бульвар, скамейки, деревья, прохожие.
Вдруг она отняла платок и засияла, в слезах, улыбкой, а на щеках горят влажные румянцы.
— Пойдем в партком. Меня уже восстановили в партии и комсомоле.
И засмеялась попрежнему, сияя на него еще не просохшими слезами.
— Милый, я тебя больше не буду таскать за волосья.

ГАЛКА

I

Она была как галчонок — маленький, беспокойный галчонок, черный жучок. Семь лет, а кричала, будто ей двадцать пять.

Впрочем, и без нее с утра до ночи невероятный содом: галл... галл... галл... Ведь восемь человек детей да мать — замученная, исхудалая, с ввалившимися ямами глаз, и отец — широкоплечий, грузно носивший силу, не похожий на еврея, а глаза добрые, спокойные: грузчик на железной дороге — отец, десятый.

Этому гвалту, этой беспокойно крикливой семье не поместиться в крохотной хибарке с слепым окном Нет! захочешь, — поместишься. И когда на ночь притворяется дверь, гвалт, тихонько угоманиваясь, свертывается клубком; и беспокойная семья тоже свернется тесным клубком на полной клопов кровати, на скамье, на полу — и стоит смрад, стоит смрад и сонные стоны, и скрипят маленькие зубами.

А за облупившимися стенами хибарки, за косо прихваченной дверью, гигантски неподвижны лунно-залитые тополя; от них узкий, длинный траур. И от ослепительно белых с одной стороны купеческих домов — широкие черные тени; и от играющего в высоте крестом собора, и от садов по улицам, по площади — густые, черные тени.

Лунно-залитая тишина.

Только собаки на том конце лают упорно, надсадно; замолчат и сами себя слушают. Потом на другом конце — и опять слушают.

А со степи наплывает теплый запах чебреца. До самого до утреннего холодка так и стоит все, залитое лунным потоком.

Эх, жизнь!..

Мать умерла, отец роздал детей — роздал детей, чтобы попрежнему таскать со складов в вагоны и из вагонов на склады кули, ящики, тюки, таскать с утра до ночи, чтобы в конце недели получить два-три рубля, с которыми хоть целуйся, — роздал...

Каждого как от сердца отрывал — с кровью. Роздал и дает

деньги на прокорм, а сам — лишь чеснок да хлеб. Старшие работают изо всех детских сил за кусок черствого хлеба... Отрывал от сердца... Кули, ящики, тюки...

А галчонка взял дядя, богатый дядя, брат отца. Поехала галчонок в Одессу, в первый раз поехала по железной дороге. Как все было интересно, пестро, невиданно! Проносилось, мелькало: города, деревни... Мама!.. Мама!.. Плакала, смеялась... смеялась, ела конфеты и была в новом платьице.

Огромные здания, уходящие, как коридоры, улицы, море... Думала: продолжение неба по земле, а это много синей воды: море!.. Какое хорошенькое платьице... Перед зеркалом... Ах, мама, мама! Добрая толстая тетя...

На четвертый день дядя упал, умер. Тетя сказала:

— Уходи, мне теперь и без тебя горе, свои дети.

Галчонок пошла, постояла у ворот, опять вернулась. Тетя бросила коврик в чулан под лестницу. Свернулась калачиком, так и лежала днем и ночью. Когда попадалась на глаза, — тетка:

— Уходи прочь, куда знаешь, мне не до тебя.

Корочки хлеба не давала... Ах, как есть хочется!.. Мама!.. Лежала на коврике, блестели глаза, как у волчонка, и быстро-быстро перебирала какие-то мысли... Мама!..

А город был громадный-громадный, а весь поместился в маленькой взъерошенной, как у черного воробья, головке, — все мелькало, шумело, катилось, гремело.

Проходила неделя за неделей, месяц за месяцем, и как прежде хибарка, мать, отец, братья, сестры, высокие тополя казались единственным, что существует на свете, — так теперь этот город, великолепный дядин дом и злая тетка, и злой голод, — это казалось необходимым, единственным, неизбежным.

Она воровала у тетки корочки, забиралась в нужник и там осторожно хрустела. Иногда давали хлебца сердобольные соседи, — и потому не умерла, но была такая маленькая, взъерошенная: не могла расти.

Так два года. И уж почти не могла ходить, все больше лежала в полудремоте под лестницей. И опять сжалились соседи — отвели на пробочную фабрику. Нужны были документы, достали, и в них стояло: двенадцать лет. Кто же поверит? Никто, кроме фабрики, которой нужен детский труд.

Резали машины полосы пробки, потом резали их для бутылок, для банок, и они непрерывно сыпались; их отгребали, ссыпали в меру, паковали, и маленькая надрывалась, таскала на склад. Ни минуты покоя. В глазах двоились, троились кровавые круги, дрожали колени, а вечером валилась на солому в углу, который ей нашли. (Тетка выгнала: «теперь и сама можешь».) Ныла каждая косточка, маленькие руки, ноги, и голова не держалась на тоненькой шейке.

Мучительно подниматься утром, когда темно, и слез нет... Мама, мама, мама!

Было все то же, все одно и то же, месяц за месяцем. Только изменялось, когда приходил какой-то человек с портфелем. Тогда прибегал мастер Иоганн, толстый, налитой немец, и шипел:

— Уходи, подлый девшюнка! Иди за мной, а то я буду тебе бросайт за ворота.

Она торопливо уходила за ним в подвал, где навалены рогожи; он толкнет ее, она уткнется носом в рогожу. Загремит окованная дверь, щелкнет замок, и тихо; пахнет мышами да рогожей, и отдыхает маленькое тельце. Так час, два, может быть, день, может, неделю... Есть хочется...

Потом загремит опять дверь, и она, жмурясь, выходит на свет, и служащие — облегченно:

— Ушел.

Кто ушел — она не знает. Только ухо привыкло при этой суматохе к словам: «малолетние», «инспектор». И она понимала, что над всесильным красным немцем, над страшной конторой, которой так боялись на фабрике («иди в контору» —и каждый, даже большой, задрожит), есть что-то, чего и мастер и контора сами боялись, и от этого было легче маленькому галчонку.

У галчонка все та же маленькая голова и во все стороны дикообразно торчат вихры, а внутри голова страшно раздвинулась, и не узнаешь, — и все в ней поместилось: тут и фабрика, и женщины, и девушки исхудалые, которые на фабрике, и красный налитой пивом немец, и контора, контора, которую все боятся, и хозяин, которого и контора боится. И теперь уже стало казаться, что все это — единственное, неповторимое, все собой заполнившее.

А галчонка все любили — работницы и рабочие: живая, резвая, с пронзительным голосом, и вихры во все стороны; а как завизжит, все на минуту глохнут.

Только немец не любил. Бывало, шмыгнет мимо его ног.

— Шертёнок... настоящий шертёнок... и рог на голове, — чуял немец маленького врага.

А маленькому вихрастому чертенку стало казаться: отодвинулась далекая каморка, и тополя, и наплывающий со степи запах чабреца, и мертвый дядя, и злая тетка, и море, которое ей не приходится видеть, закрытое бесконечными серыми улицами, площадями. Теперь другое наполняло распухшую головку — фабрика, неустанная работа, звук машин, вечно готовые к раздражению, измученные, завалившиеся лица работниц и работников, болтовня девушек в свободную минуту о милых, — и теперь это было единственное, все заполняющее.

Маленькое сердечко, самой ей незаметно, заполнялось ненавистью, — ненавистью, тлевшей у всех под пеплом обыденности в этих стенах, мертво сосавших. Эта ненависть, это озлобление временами подымались, как опара в кадке, но немец, медно-красный, налитой пивом немец, осаживал опару тяжелой красной рукой. И опять все то же, изо дня в день, из месяца в месяц.

И опять стала вздуваться злая опара. По темным углам, за машинным гулом, всюду, где только собирались две-три работницы, два-три работника, воровато проползало:

— На тачке!..

А чертенок тут как тут. Для нее уже полно смысла это мелькающее таинственно по закоулкам «на тачке».

Ох, легко сказать «на тачке»; но неподвижно тяжело, как из-под железных век, смотрят громадные ворота: раскроются, закроются, очутился на улице и там в упор, не спуская голодных глаз, нищета. Страшно, как смерть.

Оттого полное жгучей ненависти слово «на тачке» потихоньку ползет по закоулкам, и нет сил ему вспыхнуть пожирающим пламенем борьбы.

А налитой пивом мастер, великолепно знающий свое дело мастер Иоганн, представил хозяину проект о сбавке заработной платы русской и «жидовской» рабочей «свыня»; ведь это не Германия — тут все «свыня». Сбавили, — а Иоганну за усердие, за умелость прибавили: ни одна пробочная фабрика не шла так хорошо, как эта.

И заползало по всем закоулкам, по всем темным углам, по сортирам, которые были клубами, и где хоть минутку отдыхали, злобно заползало: «на тачке» и сейчас же потухало, как только показывался налитой пивом немец с отвисшим брюхом.

У чертенка горели глаза, горели глаза, как две искорки, которые ненароком уронил дьявол, — искорки ненависти.

Так же в своем неустанном беге бежали машины, пожирали пробковые пласты, и лились мелкими ручьями готовые пробки. Так же неустанно, с ввалившимися лицами, ловко, быстро, истомленно работали женщины, девушки, мужчины, еврейские и русские, а вихрастый крохотный комочек, похожий не то на выпавшего наежившегося чернородого птенца, не то на невиданный колючий кактус, ехидно притаился в узком полутемном проходе, на высоком ящике под потолком.

Ага, вот он, мастер Иоганн, идет с презрительно отвисшим брюхом. Поравнялся с ящиком, с торчащими во все стороны вихрами. О чем-то своем думает.

С нечеловеческой быстротой насунулся ему на голову рогожный куль. Крохотные ручонки захлестнули вокруг шеи, прижимая куль к глазам, ко рту, к носу, и неслыханно пронзительный, оглушительно звенящий визг носился, пронизывая, заглушая ход машин.

Жирная громада мастера никак не могла стряхнуть впившийся комочек, — а уже бежал приближающийся топот, уже быстро, как длинная змея, обвивались толстые веревки, и громадная туша, оставляя впечатление слепоты, рухнула на пол громадным перевитым тюком.

Работницы, рабочие, толкая друг дружку, задыхаясь от тесноты в узком проходе, торопливо копошились вокруг него, как невиданной породы муравьи.

А бесенок, напрягая последние детские силенки, волочит непосильную, тяжелую, всю в навозе тачку. Никто не осмелился взять со двора тачку: могли увидеть из конторы.

А когда приволокла, в проходе подхватили, ввалили закрученную тушу и, с пронзительным визгом, с криками, с улюлюканьем всей фабрикой быстро покатили за ворота и вывалили в зловонную канаву, распугав блаженно похрюкивающих свиней.

Мастер Иоганн ревел сквозь рогожу, как недорезанный боров.

Все разбежались.

Опять шумели машины, каждый усердно делал свое дело.

Всех усердней — галчонок.

Пока сбежались служащие да полицейский с ближайшего поста, да выволокли из канавы, да распеленали, немец едва не задохся в зловонной жиже. Вытирает рот, глаза, бешено ругается:

— Русская свыня... жидовская свыня... уббию... разгоню весь фабрик!..

Явилась полиция. Забрала человек десять; увели и галчонка. В полиции злобно допрашивал усатый пристав:

— Как вы смели! Расперетак вашу мать!.. Сволочи! Молчать!.. Сгною!.. В Сибирь загоню! Иоганн Карлович, кто первый зачинщик?

Немец, заикаясь от ярости и весь трясясь, лаял по-собачьи, фыркал раздувшимися губами, на которых желтела размазанная жижа:

— У... уфф... фф... и п-подлюк... шшорт.. шертёнок, уфф, шертёнок этот... — и он указал налившимся пальцем на маленький, стоявший рядом, вихрастый комочек.

Пристав, точно стойку сделал, воззрился на торчавшие во все стороны острыми космами черные вихры.

— Он... он, эта самый шертёнок... такая шертёнок, такая шертёнок... уфсе он... рогожу на мине надеваль, за голёву держаль, вищаль, прямо до уха вищаль, как младенец свиня...

— Эта черномазая?.. — с изумлением выпучив глаза, проговорил пристав, переводя глаза то на громаду налитого немца, то на крохотный черненький комочек у его ног и вихры во все стороны.

— Та я ж кофорю, все сделиль она, шертёнок... рабочи мине любит, побоялься надеваль рогожку, а то буду выгоняль за ворот. А она, шертёнок, все делиль и рогожку мине на голева надеваль, и держаль за мой, уф, голёва...

А пронзительный голосок:

— Я не достану дяденькину голову.

Она мгновенно обняла бревноподобную ногу немца и прислонила торчавшие вихры, — они пришлись в колено:

— Вот.

Немец толкнул ее, а неудержавшийся пристав раскатился по всему присутствию, вытирая проступившие слезы. Хохотали писаря, хохотали конвоиры, тронула улыбка бледные, истомленные лица арестованных рабочих. Сбегались из других комнат, толпи-

лись в дверях и, глядя на красную, налитую, разъяренную фигуру немца и торчавшие у его ног во все стороны вихры маленького галчонка, тоже хохотали.

Хозяин был взбешен. Первое движение было — всех за ворота, — потом остыл: срочные заказы, фабрику нельзя ни на минуту ослабить. С удовольствием бы выкинул этого вихрастого чертенка, да маленькие были самые выгодные, гроши им платились и никаких расходов. Он пошел в полицию, поговорил. Рабочих выпустили через три дня, галчонка продержали две недели и тоже выпустили — что с нее возьмешь?

...Опять все тот же неумирающий шум машин, все та же надрывающая работа, все те же темные запаутиненные, занесенные пылью стены. Но странно, точно раздвинулись. Что-то родное, какой-то кровный узел завязался, и галчонок с радостным азартом работала, таскала непосильные тяжести, носилась на окрики мастера по всей фабрике — только вихры мелькали, еще больше выросли, торчат во все стороны.

Немец стал еще злей; «свыня» не сходила с языка, но рабочим стало легче дышать: перестал так душить, как душил до этого — побаивался опять проехаться на тачке, — чего доброго, еще утопят в зловонной жиже.

Как-то подошла молодая работница-еврейка, с большими черными глазами, пригладила ей вихры ласковой рукой и сказала:

— Поди за ворота, там папиросник на углу. Ты скажи: «Почем папиросы — «пятак аль пятак с копейкой?» Если он тебе скажет: «Рано тебе курить, горький дым» — ты отдай ему этот пакет, а он тебе даст другой. Только, чтоб никто не видал.

Вихрастая, точно жук полетел, понеслась на задний двор, вылезла в проломанный забор, и все вышло так, как та говорила.

На другой день вся фабрика — как потревоженный улей: возбужденно блестели глаза, рабочие отрывисто перекидывались фразами; мастер ходил красный от бешенства; хозяин ругался подлыми словами, грозил разогнать всю фабрику. Приходила полиция, произвела обыск.

Вихрастая, пьяная всеобщим возбуждением, ничего не понимала. Только инстинктивно чувствовала: эта кутерьма в какой-то связи с «горьким дымом». Прибежавший утром мастер самолично сдирал наклеенный на стене лист. Что там написано, галчонок не знала — неграмотная — одно было ясно: там что-то ядовитое для мастера, для хозяина, для полиции.

Жизнь галчонка переменилась; началось новое, большое, захватывающее.

II

Далекие, далекие тополя, далекий зной Кишинева: и отец громадный, с мешком вагонного груза на плечах; и мать, которую чуть-чуть пом... Нет, не помнит, не помнит матери. В памяти все

побежало в даль, в синюю даль, как тогда, когда ее, маленькую, в первый раз сунули в вагон, и все понеслось назад, по краям полотна.

Тогда ей было шесть лет. И эти шесть лет убежали. И тетка унеслась, толстая, у которой она сидела под лестницей и не плакала детскими слезами, — нет, не плакала, потому что привыкла, и соседи приносили корочки. Все унеслось, и она стала совсем взрослая: два дня тому назад ей стукнуло восемнадцать.

Только одно осталось с ней — фабрика, такая же почернелая, такие же огромные ворота, в которые выгоняют рассчитанных рабочих. Вот она стоит у станка, и пробки, резаные, круглые и свежие, сыплются из железного рукава.

Теперь фабрика для нее — отец, мать, родня, радость и горе, и... и любовь. И любовь.

Маленькая, курчавая, черненькая, а любит исступленно, — исступленно любит. Его любит.

Кто *он?*

Ну, *он* же, *он*. Широкоплечий, приземистый. Приземистый... Неправда, не приземистый. Какой же он приземистый — насилу в ворота проходит. И всегда у него светлый, светлый кружочек в глазу, ну вот, как в вычищенной пуговице.

Отчего это у него?

Верно, оттого, что он любит ее... любит, любит, любит... А говорят, что он приземистый... Он-то приземистый!

А еще оттого у него нестерпимо яркие точечки в глазу, что он... чтоб ему насквозь видеть, — он шпиков за три квартала видит.

Отчего у него так блестят глаза? Оттого ли, что так любит ее — как крепко обнимает! — или оттого, что за пазухой у него пузырятся прокламации... приносит ей, а она на фабрике... а она по фабрике разбрасывает. Не разберет она... Милый, милый...

И все они... всех она любит за него.

Когда идешь, бывало, ночью, сначала светло, все залито светом как днем, а потом фонарей все меньше и меньше: то слепые, с выбитыми стеклами, то совсем их нет... пустыри... сады темнеют... Было бы страшно, если бы не было так радостно. Сердце тук-тук-тук... Не поспеваешь за ним... Чернеет завалившаяся в землю хибарка. Ти-и-хо... Ни собак, ни шороха, деревья черные, не узнаешь их.

И хибарка молчит. И окно глухое...

А что, как?.. Мороз пробегает по коже... Что если в этой черноте под деревьями таится человек, таятся и глаза, как угли?

Остановилась. Слегка вытянула шею и не только ушами — и глазами стала слушать: ни дыханья — темь, тишина, неподвижность. Огромными черными клубами в черноте ночи застыли деревья. Но еще гуще, еще непрогляднее чернеет пятном под деревьями хибарка. И все та же тишина, все та же неподвижность, все та же бездыханность.

Она протянула руку. И никто не знал, что она — маленькая, курчавая, черненькая, — что она здесь. Одна.

Протянула руку и стала шарить по шершавой стене. Нашарила щеколду и три раза стукнула щеколдой медленно, а два раза быстро. И тогда невидимо чернеющие во тьме деревья, и хибарка, и придвинувшаяся со всех сторон ночь — все налилось напряжением ожидания.

«...как угли глаза...»

За дверью, точно все знал, голос:

— Кто там?

А она:

— Башмаки починить и галоши залить...

Она в первый раз услышала свой голос — он тоненький и с хрипотцой, чуть-чуть, — в первый раз в жизни.

Вот как блюдечко зазвенит, только капельку надтреснутое.

— Башмаки починить и галоши залить.

Скорее, чем ожидалось, приоткрылась низенькая дверь и в узком пролете чернота зачернелась еще чернее, чем кругом. Шагнула. Голос:

— Прямо.

И хоть темнее уж некуда быть, когда дверь притворилась, стало непроглядно, как в подвале. Протянула руки, — с двух сторон шершавые стенки зацепила. Посыпались с гвоздя невидимые обручи. На один, должно быть, наступила, — он вывернулся, больно ударил по коленке. Сзади товарищ закладывал засов.

У самого лица разошлась низенькая дверная щель; оттуда — тусклый свет, сизый, махорочный — не продыхнешь — туман. Лиц людей не различишь, лишь пятно лампочки в легком радужном кольце дымно пробивается со стены.

Даром, что туман и ничего не разберешь, а ее сразу узнали.

— Э-э, Галка, ты?

— Ну, иди суды.

— Чево у вас там?

— Никак, надумываете опять бастовать?

Она совала свою крохотную полудетскую руку, и ее дружески шершаво жали мозолистые, пахнущие потом, металлом и маслом. В едком тумане одни сидели на скамейке, двое на косоногом столе, несколько, нагнув головы, подпирали измазанными спинами стенки, — потолок с облупившейся глиной давил; трое на корточках на земляном полу крутили цыгарки. А маленькое, низкое, над самым полом, окошко плотно завешено тряпьем и рваными штанами.

«Его нет...» зазвенело, и сердце торопливо: тук-тук-тук... все убыстряя.

Она — одна среди них, среди товарищей, крохотная женщина, как черненький цветок. Она знала, что они это чувствуют.

Тук-тук-тук... Уже, казалось, не может быстрее биться, а грудь до боли переполняется, и уже трудно дышать.

«Его нет...»

Она отлично слышит:

— Нам по каждому прохвосту не модель бить.

— Наш террор — во вред.

— А ежели они петлю тебе на шею да волокут в яму, это как?

— Мало ли что... Об организации надо думать. Покеда этого стервеца не трогали — жили и, хоть трудно, а работали св...

— Жили... Каждый день одного, двух — а уж арестуют... А били то...

— А теперь сразу пятьдесят восемь человек смыли. Это как? От организации-то одни головешки остались...

Сердце — тук-тук и... провалилось. Концы пальцев — как лед. Она сидела и слушала и все знала, сидела и слушала. Только сердце провалилось, и стало тихо, тихо.

...Пустырь... чернота и в черноте ночи чернота застывших клубом деревьев. Густым пятном покривившаяся хибарка. Угли глаз на секунду вспыхнули.

Как мгновенный сон, все пронеслось. Она сидит и слушает и знает. И, как бы подтверждая то, что она, не зная, знала, сказал сидевший на косоногом столе:

— Зря Исайка вляпался, — теперь петля.

— Да-а, за пристава — это уж петля.

Она так же неподвижно окостенела, как черная ночь снаружи, как застывшие черным клубом деревья, как черное пятно хибарки... Да, она знала, что ее Исаечка пропал, она это давно знала, она знала это, когда еще не знала его, когда была еще маленькая, крохотная. Если бы заплакать... Ах, если бы заплакать...

Глаза ее были сухи... были сухи, как тогда, когда она сидела под лестницей у тетки, и соседи приносили ей корочки и потихоньку кормили. Были сухи ее глаза, и носилось в густом едком тумане:

«И отчего пропал мой Исаечка, мой единственный, мой любимый, мой... мой Исаечка».

Она стала дрожать, стала дрожать так, что застучали зубы. Она сдавила их так, что вдавила в десна.

Нет, она не сказала. А чей-то чужой, которого она никогда не знала, голос, вовсе не похожий на тот, что зазвенел сегодня чуть надтреснутым блюдечком, — этот чужой голос прозвучал:

— Когда Исая арестовали?

— Позавчера, на улице.

— Тимошка выдал, — сказал другой, — провокатором оказался — проследили.

Она вобрала едучий туман и никак не могла выдохнуть, — так и остался в неподымающейся груди. И опять в черноте, в той черноте, в которой она только что шла, мелькнули искры — чьи-

то страшные глаза. Она теперь знала тишкины глаза. И, преодолев судорогу, она выдохнула и сказала:

— Ну, я пойду. Будут поручения?

Тот, что в очках, заторопился и сказал виновато:

— Постой, постой, Галочка, сейчас кончаем. Поручений много. — И, повернувшись, строго:

— Товарищи, индивидуальный террор недопустим. Он ведет к бесполезным потерям. Партия категорически против него. — Он помолчал. — Да, вот еще: необходимо возможно шире распространить, что Тимофей — предатель.

А из тумана:

— Сука!

— Иван, у тебя готово?

— Готово, вот целая пачка.

— На, Галочка, это — про Тимофея. Разбросаешь на своей фабрике. А это — у Торна, а это — у кожевников, а это — возле казарм, а это передашь Ракушке.

Она запихивала пачки в карманы, в рукава, за пазуху, отвернувшись, под юбку.

— Галка, гля, разнесло тебя. Шпики подумают: беременная.

Засмеялись. Она не слыхала.

Когда шла, ночь с неподвижно черными деревьями, с загадочно-чернеющей хибаркой осталась позади. Навстречу сияющие созвездия, то длинные, прерывчато светящиеся цепочки.

Если б схватили, хоть бы жгли, резали, выламывали руки, ни слова не вырвали бы. Насквозь прокусила бы губы, и ни звука.

— Эй, девочка, пойдем со мной.

Она рванула руку, только не очень шибко, — боялась, посыпятся из рукава, — а он почуял, что не очень сильно, и нагло пошел с ней, обнимая.

Ее охватила истерическая злоба; хотелось завизжать, кинуться, запустить в мясо зубы, топотать ногами, — но она тихонько шла, тая дыхание, и он, плотно прижимаясь, обдавал ей лицо вонью ослизлых зубов и перегаром.

Прошли длинный забор. Она остановилась у калитки.

— Миленький, подожди минуточку. Я спервоначалу... а то хозяйка не пустит.

— Ну, не-е-т... — и полез облапить.

Она по-мышиному юркнула и захлопнула калитку. Он стал шарить, чтобы найти булыжник и сбить щеколду.

— У-у, потаскуха... покою от тебя нету... а то сгоню... — говорила распатлаченная, с отвислыми грудями, в одной рубашке, хозяйка, отворяя на стук: — Запри...

И ушла к себе. Галочка схватила ведро с помоями, полено, выскочила, приставила полено к забору и сказала:

— Миленький...

Он обрадованно поднял с улицы к верхушке забора голову и выругался длинно, радостно и пакостно. Она мгновенно вылила

ему на голову помои и убежала. Тот заревел, как бегемот, и, чудовищно ругаясь, стал бить в калитку ногами, кулаками.

Свистки, ночные сторожа... Поволокли в участок:

— Сволочь, нажрался, в помойной яме вывалялся да спокойствие нарушает...

Она лежала с открытыми остановившимися глазами, и стояла кругом ночь. Не городская привычная ночь, светящаяся окнами, блистающая фонарями и витринами, а темная, с застывшими чернотой деревьями, с покосившейся хибаркой. Вспыхнули, погасли угли глаз.

«Индивидуальный террор партия не допускает...»

Да, да, она отдаст всю себя, по капельке выцедит на революционной работе, только...

Утром разбросала на своей фабрике, а вечером перед казармами, у кожевников, у Торна, передала Ракушке и только один раз подумала: «Ах, если бы заплакать...» И стояла ночь, и все стояла ночь, с неподвижно застывшими деревьями.

Два дня не смыкала глаз, все сторожила хозяйку. Однажды утром та взяла корзинку и ушла на базар.

Как мышь, мелькнула Галка в погреб. В углу, за кадушками, среди паутины и сора, выкопала ямку, достала просаленный сверток. Развернула — бульдог, патроны.

Долго крутила барабан, щелкала курком и все пыталась вставить патрон задом наперед, мучительно, с тоской вспоминая, как учил ее обращаться с револьвером Исаечка. Наконец открыла секрет и вставила в барабан шесть патронов.

Вытянула руку, нажала собачку. Погреб мгновенно наполнился ослепительным треском, точно лопнули уши, и оглохла. Трудно было дышать от едко вползающего в нос и горло дыма.

Подползла, торопливо нашарила рукой, — пуля просадила дно бочонка насквозь. Опять зарядила, вылезла и как ни в чем не бывало стала возиться в кухне, — вареных картошек на фабрику взять.

Пришла хозяйка с базара, сняла платок, вынула капусту, стала рассказывать:

— И-и, родная моя... чево было-то... там было. Приехал мужик огурцы продавать. С им баба его. Он торгует, а баба грит: «Зараз приду, тут мне должны восемь копеек». А мужик-то заприметил, куда пошла. Бросил огурцы — туды. А там купец на него собаку натравил. Он собаку удушил ды купца собакой, собакой, собакой... А баба-то у торговки была, семечки покупала... Там что было — ужасть...

Стоит ночь, и в ней неподвижные деревья... Три раза прошипели за стенкой часы. Поднялась, смутно белея. Не скрипнув половицей, не задев неверным движением, выбралась из сеней. Накинула большой платок.

Горели над двором звезды, на улице фонари. Вышла на улицу и долго шла. До тех пор, пока звезды над окраинными домами

не стали гаснуть. Предутренняя пыль на шоссе лежала сухая и остывшая. Потянулись в город крестьянские повозки. Шли рабочие.

В предутренней темноте не видны на изжелта-бледном лице бархатные глаза, а в них — доброта и остановившаяся боль. Под платком бульдог со свинцовыми пулями, похожими на тяжелые жолуди. Опустилась на колени, ящерицей проползла в шоссейную канаву.

Рассвело. По шоссе все так же ехали повозки на базар; шли рабочие в кепках. Упорно гудели заводские гудки. А по канаве мирно росли крапива и лопухи, и там Галка ждет предателя.

...Когда Тимофей, в новой кепке, в новых сапогах бутылкой, проходил мимо канавы, бледно и странно-слабо, вовсе не так, как в погребе, ударил выстрел. Тимошка вскрикнул, разом свалился и, как огромный червяк, стал судорожно извиваться, дымя пылью.

Вскоре подошли двое рабочих в измазанных блузах, заглянули в лицо и сказали:

— Собаке — собачья смерть...

Прибежавшие городовые их арестовали и стали валить огромно извивавшегося червяка на повозку, а мужик орал:

— Куды вы ево!.. Всю капусту спортите. Ишь, с нево течет руда, как с зарезанного борова.

Канава дремотно поросла крапивой, лопухами.

. . . .

С этого дня начинается история Галочки.

ТРАКТОРИСТ ПОНЕВОЛЕ

По степной речке длинно раскинулось белыми хатами село. Село многолюдное — народу тысяч шесть в нем жило. Но сейчас ни на улицах, ни в хатах не было ни одного человека. Нигде не видно было и ребятишек.

Оказывается, весь народ собрался километрах в двух на пашне. Тут же юрко мотались и ребятишки. Над толпой висел говор, смех. Все глядели на чудную черную, с трубой, машину, которая приехала пахать. В первый раз видело село такую машину. Слышались голоса, что эта машина, которую называли трактором — неверная машина и пахать с нею нельзя. Вот пройдет она загон, начнет пахать и... запарится.

— Что ж он, трактор-то этот, какая от него польза? Только что дым, — говорил седенький старичок, постукивая палкой, — а с дыму пользы мало.

— Опять же долго ли он ехать может, — сказал сердито рыжий мужчина. — Проедет загон, и стоп. Это нам не с руки. На лошади пашешь с утра до вечера, и горюшка мало. Подбросишь ей сенца или овсеца подвесишь, и паши загон за загоном.

Тракторист хмуро возился у трактора.

— Эх, вы, грибы деревенские! Сравнили машину с лошадью. Эта устали не знает, а лошадь вся пеной изойдет и станет. Во, глядите!

Он завел трактор и пустил его. Машина, урча и застилая дымом, двинулась. Машинист вел по прямой, ловко правя рулем. Далеко обошел четырехугольник и направил назад. Подъехал, остановился.

Все окружили его. Кругом говор.

— Здо-рово ходит!..

— Так и прет!..

А старичок опять постучал палкой по земле:

— Толку-то с него — раз проехал. Нет, ты поезди как следует. А-а, то-то и есть! Поедет, поедет, да и станет, что с ним будешь делать?

Тракторист озлился и закричал:
— Кто тут из вас хочет сесть? Я заправлю и покажу, как управлять? Мудреного тут ничего нет. Ну?
Толпа затихла.
— Ну, что же вы? Мне сейчас надо сбегать в слободу — дозарезу дело. А вы кто-нибудь поездите.
Неожиданно, растолкав толпу локтями, выдрался вперед длинный, вихрастый четырнадцатилетний Петька Косоногов и испуганно сказал:
— Я!
Тракторист осмотрел его с ног до головы, сказал:
— Садись. Мудреного ничего нет. Берись за руль. Сюда повернешь, трактор сюда пойдет. Сюда повернешь — в эту сторону пойдет. Ну? Понял?
— Понял.
— Ну, я пущу. Ты круга два-три сделаешь и остановишься тут. А чтобы остановиться, вот этот рычаг нажми.
Петька нажал.
— Ну, вот так. Теперь завожу, держись за руль. Ну, пошел!
Трактор затрещал и двинулся. Петька вцепился в руль, держа его в одном положении. Трактор шел, как по линейке, удаляясь.
Страх у Петьки прошел. Ему очень хотелось глянуть назад, как на него все смотрят, но боялся шевельнуться. Вот и заворот, где тракторист заворачивал. Петька осторожно повернул руль, и трактор, все так же гремя, стал поворачиваться и пошел назад. У Петьки радостно забилось сердце:
— Научился!.. Научился!..
Стоявшая вдалеке толпа все ближе, все ближе. Вот уж видны лица. Вот мальчишки несутся со всех ног навстречу.
Петя подъехал к толпе. Все захлопали в ладоши, закричали «ура». Петя с красным от счастья лицом повернул и поехал назад. Сзади, удаляясь и слабея, неслось «ура».
Петя доехал до конца, повернул и опять поехал к толпе. И опять «ура» и аплодисменты, а он опять поехал назад. Так пять раз проехал. Ему стали кричать:
— Стой, Петька, стой!.. Остановись!..
А он доезжал, поворачивал и ехал назад. Так проехал десять раз. Потом одиннадцать, потом двенадцать.
Когда он проезжал в тринадцатый раз, толпа заревела:
— Стой, тебе говорят!..
У Пети лицо было красное от растерянности, и полны слез глаза. Он сказал, заикаясь:
— Не могу остановить... Забыл, куда крутить...
И поехал. Мать его громко заплакала:
— Заездит парнишку машина проклятая!.. Сымите вы его.
— Да как его сымешь — задавит!
А Петя с мокрым от слез и красным от волнения лицом уже ехал в четырнадцатый раз. Тогда закричали:

— Да бегите за машинистом, — пропадет парнишка!

Стая ребятишек понеслась в слободу. А Петя все ездил да ездил. Ему кричали:

— Верти ты ее, окаянную, куда попало, може, остановится.

— Боюсь, — рыдал Петя, — боюсь, как бы брыкаться не стала, — и поехал в двадцатый раз.

Показался тракторист. Он бежал от слободы. За ним, как воробьи, летели ребятишки. Тракторист подбежал, когда Петя поворачивал в двадцать седьмой раз. Он на бегу схватился за рычаг, повернул. Машина смолкла, остановилась.

— Ничего, брат, хоть и поневоле, а показал всей слободе, как машина может работать, — не чета лошади. Из тебя будет толк, хороший будешь тракторист!

РЕБЕНОК

Мы проехали железнодорожный мост через реку Иловлю. У нас был громадный эшелон: тысяча эвакуируемых из детдомов ребят и около трехсот красноармейцев.

Солнце невысоко стояло над голой степью. По вагонам собирались завтракать. Раздался сдвоенный взрыв. Потом еще и еще. Поезд остановили. Дети, крича, посыпались, как горох, из вагонов. Дальше выскакивали красноармейцы. Все залегли по степи.

Белый дым зловеще стлался над железнодорожным мостом. Пятнадцать вражеских самолетов громили мост. Заговорили наши зенитки. Шрапнель падала с высоты трех-четырех километров. Попадись ей — насмерть уложит.

Я старался отбежать возможно дальше от вагонов, по крышам которых тарахтела сыпавшаяся шрапнель. Маленькая девочка пяти с половиной лет, нагнув головенку, крепко держась за мою руку, торопливо мелькала босыми ножками. На ней были только трусики: выскочили из вагонов в чем были.

Мы прижались к земле. Взрыв несказанной силы потряс всю степь. Было секундное ощущение, что вывернуло грудь. Если бы стояли, нас бы с силой ударило о землю воздушной волной. Громадно протянулся через речку, зловеще крутясь, волнисто-дымчатый вал. Моста в нем не видно было. Лежавший недалеко красноармеец поднял голову, посмотрел на белый вал и сказал:

— Не иначе как больше тонны бомба, неимоверной силы. Мост, как слизнуло!

Били зенитки. Большинство стервятников кинулось в сторону и вверх и улетело. Штук пять бросились на мирный рабочий поселок, и там сдвоенно стали взрываться бомбы. Черные густые клубы дыма все застлали, и огненные языки, прорезывая, вырывались вверх. Улетели и эти. Только один, черно дымя, штопором пошел книзу.

— По ва-го-нам!

Вся степь зашевелилась, быстро потекла к эшелону. Я тоже бежал, крепко держа за руку Светлану. Она, нагнув головенку, изо всех детских сил мелькала босыми ножками. Добежали до полотна. Поезд шел уже полным ходом. Подымил вдали и пропал. Кругом — пустая степь. Мы одни. Слишком далеко забежали от эшелона. Черный дым густо клубился над поселком, разрастаясь, и огненные языки все чаще высовывались, пожирая крытые соломой избушки.

Делать нечего. Мы пешком пошли по полотну на другую станцию, расположенную в одиннадцати километрах. В Иловле бушевал пожар, и было не до нас. Нестерпимым зноем дышал песок. Мучительно блестели рельсы. Вдруг Светлана села на обжигающий песок, и крупные, как дождевые капли, слезы прозрачно повисли на ее выгнутых ресницах. Она зарыдала, смачивая мою руку горячими слезами.

— Что ты? Что с тобой?

Я ее гладил по головке, вытирал слезы, а она плакала навзрыд.

— Да что с тобой?

Сквозь рыданья она едва выговорила:

— У нее головы нету...

— У кого, дружок мой?

— У нее, у девочки...

— Постой, что ты, где?

— Когда бомбили, знаешь, на Медведице мост? Дети потом, как улетели немцы, побежали смотреть, и я побежала. Мост крепко стоит, а где жили рабочие, все сгорело. А детишки в проулке играли; немцы бросили на них бомбы. А у детишек полетели руки, ноги, а у одной девочки нет головы. А мама ее прибежала, упала, обняла ее, а головы нет, одна шея. Маму хотели поднять, а она забилась, вырвалась, упала на нее, а у нее только шея, а головы нету. А другие мамы искали от своих деток руки, ноги, кусочки платьица...

Она перестала плакать. Вытерла тыльной частью руки слезы и сказала:

— Дедушка, я кушать хочу.

— Милая моя, да у меня ничего нету. Давай пойдем скорее, может, на станции буфет есть, что-нибудь достанем.

Мы торопливо шли, и она опять семенила босыми ножками, нагнув в напряжении голову. Зной заливал степь. Показался разъезд. Одиннадцать километров прошли. Несколько красноармейцев с винтовками, сменившись с поста, сидели в тени. Светлана с искаженным лицом вся затрепетала от ужаса, схватилась за красноармейца и обняла его и винтовку:

— Он опять, он летит!

— Где ты видишь? Небо — чистое.

— Я слышу: «Гу-у-у... Гу-у...»

Да, он летел очень высоко, вероятно, разведчик, посмотреть — что с мостом. Она верно передала тот мертвенно-траурный волнообразный звук, который враг тяжко влечет за собой. Чтобы как-нибудь ее успокоить, я повторил:

— Да нет же, никого нет. Небо — чистое.

— Фу ты! Ты, дедушка, глухой. Ты, дедушка, не велишь мне говорить неправду, а сам обманываешь. Он летит, чтобы сбросить на этот домик бомбу, и у меня головы не будет.

Она исступленно рыдала.

— Вот пожар, детишки валяются...

Красноармеец гладил ее головку, и она заснула, все так же обняв красноармейца и винтовку, по-детски жалобно всхлипывая во сне. Красноармейцу было неудобно сидеть, но он не шевелился, чтобы не потревожить ребенка. Тени стали короче. Красноармейцы, согнувшись, сидели молча, держа винтовки между колен. Постарше — у него на висках уже пробивалась седина — сказал:

— Вот что страшно: мы начинаем привыкать, ко всему привыкать, дескать, война, и что ребята валяются — тоже, мол, война.

— Ну, к этому не привыкнешь.

— То-то не привыкнешь... Думаешь, только те дети несчастны, что в крови валяются? Нет, брат, немецкие зверюги ранили все нынешнее поколение, ранили в душу, у них в сердце рана. Понимаешь ты, все эти немцы вместе с Гитлером сгниют в червях, и все. А у детишек наших, у целого поколения рана останется.

— Ну, так что же делать-то?

— Как, чего делать! Горло рвать зубами, не давать ему передыху. Их сегодня штук пятнадцать было, а сбили только один. Это как?

— Зенитки на то есть.

— Зенитки есть... Сопли у тебя под носом есть... Из винтовки бей, приучись, приучи глаз. Что же — мало, что ли, наши их из винтовок сбивают?.. Есть у тебя злость — собьешь. Вот малышка маленькая учить тебя прибежала, а ты: «Зенитки».

У всех глаза были жестко прищурены и губы сжаты, точно железом их стянуло. Помертвело. Один красноармеец привстал, замахал рукой. Конный патрульный, ехавший по степи, привернул к переезду. Еще он не подъехал, а красноармеец закричал:

— Здорово мост разбомбили?

Патрульный молча слез с лошади и, кинув поводья на столбик, присел в тени, повозился в шароварах, достал мятую бумажку, расправил на коленях и молча протянул соседу. Сосед с готовностью насыпал ему табачку. Он с наслаждением затянулся и сказал:

— Мост целехонек. Давеча из-за дыма его не видать было. Самый пустяк колупнули при въезде. А вечером поезд пойдет.

— Ого-го, здорово!

Глаза повеселели.

— Я говорю, они, сволочи, и бомбить не умеют.

Патрульный сдунул пепел.

— Мост-то они не умеют бомбить, а вот поселок рабочий весь дочиста сожгли. Народу погибло, ребятишек... Сейчас все ковыряют в углах. Обгорелые трупы тягают. Кур, гусей, коров.

— Чего не разбежались?

— Они, зверюги, чего делают: все самолеты летают по краю поселка и зажигают, а потом — середину. Крыши соломенные, везде солома, сено, плетни, — как порох, вспыхнет, и бежать некуда. В конце и посреди — огонь.

Девочка проснулась, протерла глазки и сказала:

— А пожар?

— Пожар сгас.

— А детишки?

Патрульный только было рот раскрыл, красноармейцы разом загалдели:

— Никого не тронули, все в вербы убежали, к речке.

Девочка шлепнула в ладоши и сказала:

— Дедушка, я кушать хочу.

Красноармейцы завозились, раскрыли свои мешки. Кто протянул ей белый сухарь, кто — кусочек сахара. У одного конфетка нашлась. Маленькая сидела на скамейке, болтала ножками и помышиному похрустывала белым сухарем. Красноармеец сказал, ни к кому не обращаясь:

— Теперь бы в атаку пойти!

Все молчали.

Составитель махал нам флажком.

— Никитин, садитесь во второй от хвоста вагон, на сене выспитесь.

ВЕСЕЛЫЙ ДЕНЬ

Последнее время на этом участке фронта в верховьях Дона стояло затишье. И вдруг на рассвете после тяжелой темной ночи раздался залп фашистской артиллерии. Второй, третий, — и пошла потрясающая пальба.

Что это! Наступление?.. По нашей линии все напряглось в ожидании, в приготовлении к отпору. Всех, — и бойцов, и командиров, и артиллеристов, и минометчиков, — всех, кто ни находился на линии фронта в окопах, в дотах и дзотах и в тылу, поражала ничем не объяснимая вещь: фашистская артиллерия бьет не по нашим укреплениям, не по нашим огневым точкам, а по чистому полю, бьет по голому полю, которое раскинулось между нашей и вражеской линиями. Поле — пустынное. Кое-где темнеют голые кустики да виднеются небольшие ложбинки, а в них и котенок не спрячется. Но с потрясающей силой бьет фашистская артиллерия в чистое поле как в копеечку. Гигантские глыбы черной земли страшной тяжестью взлетают в черных облаках дыма и пыли, и после них зловеще дымятся глубокие провалы. Поле разворочено, как будто плуг нечеловеческой громады прошел по нему.

Бойцы безбоязненно высовывались из окопов, с изумлением оглядывались друг на друга.

— Да что за чорт!

— В чистое поле как в копеечку...

— Это же денег стоит...

— Фриц сбесился!..

— Без ума жил, с ума сошел.

— Рехнулся...

Бойцы ничего не понимали.

Долго враг бил по пустому месту, разворачивая все новые места на чистом поле, долго глядели и удивлялись бойцы.

...Прошлая ночь была черна и туманна. В этой тьме стоит тишина одинаково над нашими и немецкими окопами. И одинаково прислушиваются в тех и других невидимые часовые. Да вдруг посыплется во тьме пулеметная очередь или высоко вски-

нется ракета, осветив мертвенно-голубоватым светом дымчатый туман. И опять — мутная тьма, ни звука.

В глухом, не выделяющемся во тьме блиндаже судорожно шныряют по стенам уродливо дрожащие тени от коптилки. Командир говорит:

— Между нами и немцами стоит наш неповрежденный танк. В нем лежат погибшие товарищи. Кто-то из них с автоматом в руке открыл люк, видимо, хотел стрелять по немцам. В открытый люк влетела граната подобравшегося врага. Наши товарищи все от взрыва погибли. Немцы не стали бить из пушек по танку, все надеются целым приволочь к себе. Мы тоже не разбиваем, все надеемся возвратить, опять будет служить нашей Красной Армии. Товарищей, павших смертью храбрых, с честью похороним. Надо его доставить, не вызвав орудийного огня. Нужно послать человек десять, пятнадцать. Надо вызвать добровольцев.

— Товарищ Якименко, поговорите с бойцами. Да чтоб не курили...

Якименко вышел, осторожно притворив дверь. Тени судорожно бродили по стенам. Командир, опершись подбородком на руки, глядел красно набрякшими от бессонницы глазами, не мигая, на разложенную по грубо сколоченному столу карту. Минут через десять бойцы толпой осторожно протиснулись в дверь.

— Ну, подобрались?

— Вот пятнадцать человек бойцов пойдут.

Выступил совсем молоденький, с озорными глазами, боец. По лицу бегали тени.

— Товарищ командир, разрешите доложить?

— Ну?

— Я доставлю танк. Мне не нужно этих пятнадцати. Куда такую ораву! Все равно катить такую махину не сдюжаем, а суматоху наделаем на всю округу.

— Так чего же тебе? Один, что ли?

— Двух товарищей, шоферов, разрешите, товарищ командир, взять.

Командир поднял отягченные веки, тяжело посмотрел на него.

— Как только заведете, заревет немецкая артиллерия, сейчас же разобьет, — под самым носом ведь у них, и пристрелялись

— Нет, товарищ командир, тишина будет нерушимая.

— Как же это?

— Разрешите доложить, когда выполню задание.

Командир подумал:

— Ладно, ступай. Ответственность на тебе.

— Есть ответственность на мне.

Трое вышли и потонули в недвижимой мгле. Человеческого дыхания не было слышно. Не зашелестит помятая трава, — все тот же непроницаемый мрак. Трое осторожно, по-кошачьи, ступали согнувшись или ползли на брюхе, останавливаясь и прислушиваясь — беспредельный мрак, океан молчания. Но пробирав-

шиеся бойцы знали: в этой беспредельности — напряженное внимание. И вдруг вспыхнет мертвенно-голубоватым светом ракета, посыплется короткая пулеметная очередь. Трое бросаются на землю и лежат не шелохнувшись. И опять тьма...

Они скорее почувствовали, чем увидели, черный сгусток среди ночи. Ощупали: да, танк. Сдерживая дыхание, один влез в танк. Пахнуло могильным холодом. Вывернул в моторе свечи. Теперь компрессии не будет, мотор не заведется, не заревет. Потом включил задний ход — невидимой пушкой танк глядел на невидимые вражьи окопы. Потом вылез и вдвоем взялись за заводной ключ, стали тихо и напряженно проворачивать вал мотора. И танк неосязаемо двинулся задом от окопов, но так неуловимо, как будто, не слушаясь ключа, стоял на месте в молчавшей темноте. А те все так же медленно и напряженно крутили, задерживая дыхание, и горячий пот бисером проступил на лбу. Когда сердце больно стало стучать, один переменился и так же беззвучно медленно стали крутить. Если бы посмотреть на танк днем, его движение было бы так же неуловимо, как движение минутной стрелки часов, которая, кажется, стоит на месте. И все покрывала ночь своей непроницаемостью.

Как ни незаметно, ни неуловимо двигался танк, к рассвету, когда едва обозначились края черных туч, он дополз до нашей позиции. Юнец, с озорными глазами, явился к командиру:

— Разрешите, товарищ командир, доложить?

— Ну, говори, говори. Как?

— Задание выполнено. Танк доставлен целым и невредимым.

— Как же это вы ухитрились?!

Боец рассказал.

— Молодцы ребята! Будете представлены к награде.

Только он это сказал, на вражеской позиции грянул артиллерийский залп. Потом еще, еще.

Все засуетились.

— Наступают, что ли?

Прибежал запыхавшийся боец:

— Дозвольте доложить, товарищ командир. Артиллерия ихняя бьет не по окопам нашим, а по пустому месту, где стоял танк. Все место изрыли.

Командир вышел, стал смотреть в бинокль. Залпы сотрясали поле.

— А ведь сбесились!..

На другой день наша разведка привела двух языков. На допросе они согласно показали: когда утром совсем рассвело, немцы глянули, ахнули: танк исчез. Немецкое начальство сейчас же арестовало часовых. Стали ломать голову, куда же делся танк. Уехать на нем не могли, мотор бы ревел, гусеницы бы лязгали, поднялась бы тревога. Откатить на руках не могли: такую

махину не сдвинешь. Взять на буксир тоже не могли, буксир поднял бы рев. Долго ломали головы. Один из офицеров сделал предположение, единственно приемлемое: русские — хитрый народ... они просто замаскировали танк. Поле местами покрыто кустарником, кочковатое, в ложбинах. Русские подкопали танк, он опустился. Сверху накидали земли, натыкали кустов, и танк исчез. Начальство немецкое приказало обстрелять из орудий поле, где можно было предположить замаскированный танк, чтобы обнаружить его. Заревели орудия.

Когда наши бойцы узнали, как опростоволосились немцы, грянул такой ядреный хохот, что поле опять задрожало: хохотала пехота, хохотали артиллеристы, хохотали минометчики, улыбались командиры. Веселый был день.

ЮНАЯ АРМИЯ

Курмаяров идет по большаку. Шаг в шаг поскрипывает снег. Сумерки тихонько садятся на придорожные кусты, на чернеющие деревья. Одна за одной зажигаются морозные звезды, робко моргая.

Большак круто перегибается в глубокий овраг, на мост. Там тоже смутно белеют снега. Оттуда доносятся голоса, ребячий смех. Курмаяров подошел, присел на ствол срубленного дерева. Говор и смех стихли. Ребята стояли молча, искоса посматривая на него. Вокруг в беспорядке стояли пустые салазки. Ребятам — от одиннадцати до четырнадцати лет, мальчики и девочки.

После некоторой паузы один сказал:

— Думал, думал я и удумал: подстрелить фрица из пистолета нельзя — услышат, сбегутся, вот тебе и карачун, а...

— Да где ты пистолет возьмешь! — с азартом прокричал самый маленький, размахивая руками.

— Фу, да у дяди Вани скрал бы! Да слыхать выстрел, и на морозе порохом воняет.

— Как же ты сделал?

— Я-то? Обманом взял. Сделал сагайдак, приготовил три стрелки, а в конец воткнул по гвоздю, конец востро заточил. Потом пошел искать место. В овраге у самого обрыва — старая верба, а в ней здоровое дупло, как ворота... Ну, я...

— Знаем, знаем! — закричал маленький, оборачивая по очереди к товарищам разрумянившееся на морозе лицо.

— Знаем! Ну? — дружно откликнулись мальчишки и девочки.

Историю с сагайдаком они слышали раз двадцать, но каждый раз выслушивали, как новую.

— ...а возле вербы тропочка — к колодезю в овраг фрицы за водой ходят. А вербу всю с дуплом, почитай по самые сучья, здоровенным, с избу, сугробом завалило...

— Знаем, знаем! — опять радостно закричал маленький.

— Ты-то чего кричишь! Глухие, что ль?.. Ну, рассказывай!

— Ну, я гляжу: ежели полезу напрямик к вербе, разворочу сугроб, видать будет — кто-то лез. Зачнут стрелять по вербе. Я по тропочке прошел на другую сторону обрыва, да с обрыва

и сиганул в овраг. А в овраге ветром намело снегу — лошадь утонет. А я по дну под снегом-то поперек оврага ползу до самой до вербы. В рот, в нос, за шиворот набилось снегу, за рубахой, аж дрожишь. Ну, руку просунешь в сугроб, дырку сделаешь в снегу и смотришь: тропочка-то, по которой ходят фрицы, вот она, под самым носом, а меня не видать, а снег-то сверху ровный, нетронутый, никто и не догадается. Просидел так часа два, глядь в дыру — фриц идет в маминой кацавейке да в соломенной обуве.

— Эрцац называется.

— ...а на голове мамин платок...

— Ни мужик, ни баба!

Все захохотали.

— Ну?

— Ну, я тихонечко просунул конец сагайдака в дыру, навел ему в глаз да спустил тетиву...

Охнули все...

— Промахнулся?..

— Ды он, сатана, как раз повернул голову, высморкаться хотел, а стрела прямо ему в нос гвоздем. Он аж подскочил! Тронул нос, а на пальцах кровь. Как заревет бугаем и пустился назад, ведро бросил, за нос держится.

Хотя и в двадцатый раз слышали все это ребята, но громко хохотали. Девчонки визжали в восторге.

— Прибежал фриц назад, а за ним пять фрицев с автоматами. Глянули, а на энтой стороне, где я из кустов сиганул в снег — весь снег взбудоражил кто-то, и начали стрелять из автоматов по кустам на тот край оврага, и только я слышу: «Партизан!», «Партизан!» А у энтого, в которого я стрелял, на носу пластырь наклеен.

Все опять радостно захохотали, захлопали в ладоши. Потом замолчали.

Стояла ночь, и звезды лучились, и снега неузнаваемо и слабо белели.

К Курмаярову подошел мальчик постарше и спросил юношески ломающимся голосом:

— Ты куда идешь, гражданин?

Ребята толпой обступили.

— А тебе что?

— А то, неизвестных надо ловить и доставлять.

— А тебя кто уполномочил?

— Документы у тебя есть?

— Есть.

— Покажи!

— Вот приду в деревню, кому следует — покажу.

— А ты в какую деревню идешь?

— В Овражную.

— Да это наша деревня!..

— Вот и хорошо.

— Ну, пойдем, гражданин.

Они взяли веревочки от салазок и пошли, тесно окружая Курмаярова, осторожно поглядывая на него, волоча за собой салазки.

«Вот странное положение, — радостно подумал Курмаяров, — ребятишки меня арестовали, никогда бы этого себе не представил», — и так же радостно прятал улыбку в усы.

— Вы, что же, всех так арестовываете, кто идет по дороге?

— Зачем всех? — сказал старший. — По дороге ходят из нашей же деревни, либо из соседских, а мы всех их знаем. А как незнакомый, да чужой, да еще ночью, — тут уж держи ухо востро.

Некоторое время лишь скрипели по снегу шаги и салазки повизгивали на раскатанных местах. Ребятишки все так же тесно шли кругом, поглядывая на Курмаярова.

— Ну, как же вы караулите? Чай, храпите ночью — ходи кто хочет!

— Ишь ты, накось выкуси! — протянул старший кукиш. — Караулы ставим. Ночью — возле нашей деревни, в овраге, на мосту, — его не обойдешь, а днем — в лесу, возле поляны.

— Почему такая разница ночью и днем?

— Как же? Ночью с парашютом не спустишься на поляну: не видать с самолета, одинаково черно и над лесом и над поляной. Сядешь в черноте и на сосну, а сосны у нас высоченные и снизу стоят без веток, по ним и не слезешь — убьешься. Вот они только днем...

Ребятишки возбужденно закричали всей толпой, размахивая руками:

— Они спустились, а мы их поймали.

— Да били дубинками, — звонким голосом закричал торопливо маленький, боясь, что его перебьют. — Одному голову разбили, а другому глаз.

— А он скривел! — закричали девочки.

— А они закопали в снег парашюты и автоматы, которые на шее были подвешены, чтоб не знали, что они спустились.

— Куда же вы их дели? — спросил Курмаяров.

Ребята опять дружно закричали:

— А мы их связали и в сельсовет представили. А у них пистолеты оказались и шашки для взрывов. Они бы нас застрелили.

— А они одеты по-нашенски и говорят по-русски.

Дети вдруг замолчали и шли, глядя в темноту. Поскрипывали шаги. Звезды слабо брезжили, и оттого, что слабо, мрачно чернели остовы труб и разрушенных печей: домов не было. И почему-то особенно гнетуще было то, что и снег кругом мертво проступал, как уголь, и деревья чернели обугленно.

— Вот наша деревня, — тихо сказал самый маленький.

И Курмаяров спросил то, о чем не решался спросить раньше:

— Дом против школы уцелел?

Ребятишки дружно ответили:

— Это Марфы Петровны-то? Нет... И печей не осталось.

— Марфу Петровну повесили, а дочку ее в Германию угнали.

Курмаяров шагал, опустив голову. И ребята, глядя исподлобья, шли молча, будто среди могил чернеющего кругом кладбища.

Один из них показал на огонек:

— Вот наша школа.

Среди кладбищенского покоя сгоревших жилищ вдруг приветливо мигнул огонек. Курмаяров вздохнул.

— Пойдем туда, — сказал старший. — Ишь, поганцы, маскировку не соблюдают!

И помолчав, опять сказал:

— У нас на всю деревню один дом остался, в нем и школа и сельсовет, остальное все сожгли. А этот, как наши бойцы ворвались, не дали.

— Как же вы живете? — спросил Курмаяров. — Холодно же...

— Так строится народ, шибко строится — двенадцатый дом кончаем, — всем колхозом строим, коллективно, оттого и спорится. А из колхозов, которые за рекой — их немцы не занимали, — трех коров пригнали и помогают строить... Ну, вот и пришли...

Девчата юрко взобрались по лестнице, а ребята строго оцепили вход внизу. Курмаяров подумал: «Молодцы ребятишки, боятся, как бы их «гражданин» не смылся за угол».

Вошли. Подслеповато курилась жестяная лампочка, а когда-то деревня освещалась электричеством. В холодном, застоявшемся воздухе плавал вонючий махорочный дым. Человек в ушанке, нагнув голову, с трудом писал на кухонном столе. Ребятишки привалились к столу, а двое остались у двери, притянув ее потуже.

— Ну, что? — сказал человек в ушанке, не поднимая головы.

Ребята гурьбой прокричали:

— Вот гражданина на мосту словили, по дорогам ночью блукает...

— Документы? — сказал человек, все так же не поднимая головы.

— Да то-то вот, не хочет показывать документов! — закричали ребята.

— Документы! — сказал тем же ровным голосом человек в ушанке, опять не поднимая головы.

В вонючем махорочном дыму — молчание. Ребятишки стояли плотно кругом, каждую минуту готовые схватить Курмаярова за руки. Человек в ушанке, наконец, поднял голову и остолбенел. Запинаясь, сказал:

— Да... это... вы! А мы вас ждали на машине, все прислушивались, нам по телефону сказали со станции.

Ребятишки стояли с открытыми ртами. Человек в ушанке засуетился:

— Сейчас всех соберем, все ждут. Я вас сразу узнал по портретам в газете и в ваших сочинениях. А вы садитесь, пожалуйста.

Курмаяров сел и увидел, что у человека в ушанке одна нога, а вместо другой — деревяжка.

— Ребята, это наш земляк, известный писатель, которого мы ждали.

— Ой! — всплеснула руками девочка. — А я думала — известные писатели — молодые.

Ребята испуганно загалдели:

— А мы его арестовали! Смотрим, своими ногами идет ночью по дороге. А известные писатели разве ходят? Они ездят на машине! А мы хотели сзади потихоньку зайтить, повалить на салазки, прикрутить веревкой да привезть в сельсовет, а то, думаем, как начнет палить в нас из пистолета.

— Вот еще растрепы-то! — сердито сказал в ушанке.

— Да ведь ночь, а на морде не написано, кто он такой, — конфузливо оправдывались ребята.

Курмаяров слегка улыбнулся.

— Известные писатели непременно должны на машине ездить. И я ехал со станции. А машина сломалась. Не хотелось мне ждать, я и пошел своими ногами. Родные места поглядеть захотел...

Ребятишки облегченно засмеялись и захлопали в ладоши.

— Ну, вот что, — сказал человек в ушанке, — гоните, всех собирайте, чтоб сейчас, минуты чтоб не упустили.

Ребят, как ветром, сдунуло.

— Ну, я в суматохе забыл вам представиться: я — новый председатель сельсовета. У нас работают все раненые бойцы из нашей деревни. Председатель колхоза — ему челюсть раздробило. Кушать может, а чтоб говорить, так на бумажке пишет.

Через двадцать минут большой школьный зал был доотказа забит колхозницами, школьниками и несколькими мужчинами: поправляющиеся раненые, старики и инвалиды.

Молоденькая комсомолка, с милыми конопатинками, открыла собрание.

— Товарищи, к нам приехал известный писатель, уроженец нашей деревни. Он приехал к нам...

— Пришел своими ногами, — дружно поправили ребята.

— Он еще мальчиком в царское время уехал из родной деревни учиться в Москву и с тех пор не был в родных местах, а теперь приехал... навестить родину...

— Пришел своими ногами... — опять упрямо зашумели ребятишки и девчата.

— Не хулиганить! — заревел председатель сельсовета.

— Слово нашему дорогому гостю, писателю Курмаярову.

Курмаяров оглядел всех потеплевшими глазами и обычным голосом сказал:

— Читали вы, товарищи, Тургенева «Бежин луг»?

Все удивленно молчали, переглядываясь.

— Помните ребят в ночном, они стерегли лошадей, а Турге-

нев подошел, — на охоте был, — подошел и слушал их. Чудесные ребята! Но разве их сравнить с теперешними? Те про антихриста рассказывали друг другу, а наши влились в громадную борьбу народов.

Ребятишки с загоревшимися глазами закричали:

— Да мы на все поля вывезли на салазках навоз, золу, птичий помет, фекалии, устраивали снегозадержание. Урожай во какой будет!

Пожилая женщина подала голос:

— Да как им, ребятам, не быть нынешними! Замучил зверь-немец! У ме...ня сы...сы-нок...

Она зарыдала.

— Мама, мама!.. Постой!.. Я им лучше прочту.

Тоненькая школьница шестого класса поднялась в президиум, достала измятое письмо и стала читать:

«...Мамочка, дорогая моя. Я тут много работаю, а ем меньше, чем даже в Курске, когда там с тобой под немцем были. Нас двое: Ване тоже четырнадцать лет, он с Украины. Один преподаватель собрался отсюда бежать, он отлично знает немецкий язык. Я отдал ему это письмо, не знаю, дойдет ли. Мамочка, я теперь тебе уже не кормилец. Хозяйка фермы, когда узнала, что ее муж убит на Восточном фронте, схватила топор и отрубила Ване руку, потом кинулась ко мне и выколола вилкой правый глаз...»

Девочка захлебнулась, слезы бисером покатились по ватнику. Пожилую женщину понесли на воздух.

— Да ведь что же это такое! — охнул зал задыхаясь. — Силосную яму у нас немцы всю набили мертвяками.

Курмаяров опустил голову. У всех одно большое горе, — горя реченька бездонная! Глухо сказал:

— Спешил сюда... Матушку, сестренку обнять... — и чуть слышно добавил: — Обеих нет...

Из зала донесся голос:

— Матушку вашу, Марфу Петровну, замучили, а Нюшу увезли, ироды.

— И у меня мать загубили...

— И у меня...

— А у меня сы-ы-ночка...

— Доченьку мою...

— У меня брата...

И вдруг все вскочили, все ринулись, валя скамейки, к президиуму. И голоса всех слились в один потрясающий голос мести и страстной, исступленной веры в победу.

— Будем работать, аж вытянем жилы! Будем работать, пока силы есть. Почитай, мы тут одни женщины и ребята — мужики на войну ушли, — но мы все сделаем! Мы перервем глотку врагу!

...Курмаяров ехал на починенной машине и в темноте разглядел то, чего не видел, когда шел сюда: двенадцать новых домов, и среди них один неоконченный сруб на почерневшем родном пепелище.

НА ХУТОРЕ

Немцы заняли хутор. Он лежал в бескрайной степи возле глубокого, густо заросшего оврага. По дну, сквозь заросли, извилисто сверкал ручеек.

Хутор начисто был разграблен. Сопротивляющихся и «подозрительных» расстреляли. Скот собрали для отгона на железную дорогу, а там — в Германию. Девушек и молодых женщин согнали в школу для солдат. Двух самых молоденьких — одной шестнадцать, другой пятнадцать лет — повели к офицеру. Шестнадцатилетняя — черноглазая, нос с горбинкой, вырезанные ноздри — отчаянно сопротивлялась, царапалась, кусалась, — ей связали руки. Она ни за что не хотела итти, падала, тащилась, — солдаты озлобленно понесли на руках.

Маленькая шла с остановившимися, по-детски голубыми глазами. Нежное личико просило пощады.

Их доставили к хорошему куреню на краю оврага. Вышел офицер, холодно глянул, кивнул, ушел. Старшая девушка, с ненавистью оглядываясь, как волчонок в тенетах, старалась незаметно развязать себе руки.

Офицер ушел в горницу, побрился, вытерся одеколоном, тщательно сделал пробор в рыжих волосах, посмотрел в походное зеркало, закурил сигару. Походил по комнате. Подошел к окну, прислушался: будто далекие, ослабленные расстоянием выстрелы? Еще прислушался, — ничего.

Это был боевой, считавшийся храбрым, немецкий офицер. Когда шли в атаку широкой цепью, он шел позади и стрелял в солдат, если они начинали отставать, а стрелок он был отличный. Перед ним шла вторая шеренга, но коротенькая, — она прикрывала его. Ему везло до сих пор и ранен не был.

Офицер позвонил в походный пружинный звонок. В горницу вскочил денщик, вытянулся и покорно уставился собачьими глазами. Офицер молча сделал знак. Денщик покрыл стол маленькой вышитой скатеркой, достал из погребца вина, закусок, аккуратно расставил и исчез. Около крыльца началась борьба:

шестнадцатилетняя отбивалась, как могла, плевала в лицо, била ногами, кусалась. Солдаты внесли ее в горницу и вышли. В горнице началась снова борьба.

Взбешенный голос офицера:

— О, русский девка!.. Шволочь!!.

Пистолетный выстрел... Все успокоилось. Денщики насторожились. Звонок. Солдат кинулся и через минуту выволок за ноги оголенную девушку. Когда тащил, голова мертвой билась по ступеням, разбрызгивая кровь.

Девочка с остановившимися, по-детски синими глазами прошелестела: «Ма-а-ма!..» — и стала дышать коротко, поверхностным дыханием, а по лицу потекла бледность смерти. Ее повели в комнату.

— Мама!..

Денщик дотянул мертвую до оврага и сбросил с обрыва. Тело, желтея, скатилось в заросли. Зашелестели листья, закачались ветви. Денщик побежал к крыльцу, вытирая пот со лба. Его товарищ уже принес ведро воды. Оба засучили рукава и стали чистой тряпкой быстро и умело смывать со ступеней кровь. Потом так же расторопно подмели перед крыльцом и тщательно посыпали песком.

Уже гораздо ближе посыпались за куренями винтовочные выстрелы, и сыпались с перерывами очереди пулемета. Денщик глянул и обомлел: его товарищ бешено несся к машине. С искаженным лицом, поминутно озираясь, шофер заводил машину, и, когда мотор заработал, оба вскочили в машину, и она понеслась, оставляя длинный крутящийся хвост пыли. А опоздавший все бежал и бежал...

Где-то далеко-далеко, точно в тумане, слабо отпечатались последние выстрелы, и все стихло.

Офицер крикнул из комнаты:

— Генрих!

Молчание. Офицер вышел на крыльцо с злыми глазами и сразу осекся, — никого! Но страшнее всего — не было машины. Быстро и гибко, как мальчик, офицер спрыгнул с крыльца и побежал за угол. «Да, машины нет». Лишь от того места, где она стояла, круто загибаясь, побежал по улице рябой, как змеиная чешуя, след от шин.

Он бросился к оврагу, а оттуда подымался, трудно опираясь на заступ, высокий старик с изрезанным темными морщинами лицом. Старик подошел, остановился — никак не отдышится. Офицер бросился к нему, протянул руки:

— Спасайт меня! Спасайт... Я много денег отдай... много... много... Я тебя буду спасайт... немцы опять придут... Немец всегда назад, когда уйдет, опять придет... я тебя буду спасайт, а теперь ты меня прятайт... Много денег тебе... Много денег...

Опять вдали отпечатались выстрелы и погасли.

— Спасайт меня!.. Прятайт меня!..

Старик стал задом отступать. Офицер в ужасе кинулся к его ногам, охватил его колени и, глядя снизу по-собачьи, как в бреду, повторял:

— Спасайт... спасайт меня... прятайт...

Старик, с трудом отдирая ноги от его рук, все пятился. А тот тянулся по земле и в самозабвении, с пробивающейся ноткой звериного озлобления шипел:

— Спасайт... прятайт... золото... все... все отдам.

Старик вырвал ногу:

— Уйди, сучий сын, пусти!..

Тот схватился за другую.

— Забирайт... забирайт все!..

Дернул за шелковый шнурок висевшего на поясе небольшого замшевого мешочка, и оттуда потекло струйкой золото. Все так же вцепившись в дедову ногу одной рукой, другой судорожно срывал с себя знаки офицерского отличия. Он неотступно тащился за стариком длинно вытянутой рукой, вцепившейся в дедову ногу, а по пыли извилисто обозначилась тоненько желтеющая золотая дорожка.

Темные морщины деда стали пергаментными. С неожиданной силой дед смаху развалил ему заступом череп. Мозг вывалился на дорожную пыль, и она быстро стала впитывать оплывавшую кровь. Из-за угла выскочили наши бойцы. Остановились около деда. Офицер все так же лежал лицом в пыли, протянув по земле руку к деду.

— Кто его?

— Я.

Командир показал ногой:

— Это что?

— Его. Купить хотел.

— Ты где прятался?

— В буераке. Бабы сдавна глину брали, вырыли в стенке глубокую нору, ну, туда залез. Был там двое суток, ночью за водой выползал. Нонче тихо стало, постреливают, да где-то далече. Вышел, а он выскочил из горницы, глаза вылезли, как у рака, упал на коленки, обхватил мне ноги и давай чирики рваные на мне целовать — никак ноги от него не отдеру. А как вытащил золото, тычет мне, не пускает, дюже обрыл, — я развалил ему голову.

Постояло молчание.

— В овраге много народу прячется?

— Есть. Ды теперь вылазиють.

Командир обернулся к бойцам:

— Человек шесть в оба конца оврага пройдите, может, где немцы укрылись. Настороже будьте. А наши пусть вылезают, — отогнали.

— А с этим что делать?

Боец кивнул головой. Немецкий офицер все так же лежал лицом в пыли с протянутой по земле рукой.

— Смешнов и Карпухин, подберите золото, перепишите, заверните в бумагу и в сумочку с остальным золотом — в штаб. Расписку возьмете, мне принесете.

Два бойца разостлали газету, стали собирать золото и, сдувая пыль, осторожно клали на бумагу. Тут были и царские червонцы, и старинные серьги, и брошки в алмазах, и браслеты, и лом золотых часов, перстни, особенно много обручальных колец, некоторые в черной засохшей крови, — с пальцами рубили, — лом золотых зубов.

Все это завернули в бумагу, засунули в замшевый мешочек и опять в бумагу.

Дед и бойцы хмуро глядели на овраг, отвернувшись от лежащего офицера с протянутой рукой.

— Вот что, старина!.. Теперь зарыть надо. Закопай его.

Старик в судороге передернулся.

— Да ни в жисть!..

— Как это так?

— Ды так...

— Ведь это — зараза! Тут и бойцы, и колхозники, и дети, всякие болезни могут...

— Мы понимаем... Ну только не буду закапывать. Не нудь ты меня, товарищ командир, как гляну на него, воротит из души. Не боюсь я мертвяков, а как гляну, лезут кишки в горло. Бывалыча, скотина падала в старые годы от сибирки, когда еще советская власть не приходила, дохла скотина. Так, бывалыча, засучишь рукава, выкопаешь яму в овраге, ухватишь за ноги, за рога и в овраг тягаешь... А ведь сибирка, она и на человека прилипчивая, — так энта, животная, понимаешь ее, а энтого не могу, ну вот, как перед истинным... Не нудь ты меня, товарищ командир, не нудь. Гляну на него, а кишки лезут к горлу, вот, вот выблюю. Что ты будешь делать!.. — развел он руками.

Командир повернулся к бойцам:

— Двое стащите офицера в овраг. Вырыть поглубже, потуже затоптать.

Боец сбегал во двор, выдернул длинную слегу. Другой срезал в овраге сук, привязал к слеге, зацепили этим крюком мертвеца и поволокли, не дотрагиваясь и не глядя на него.

А из оврага подымались женщины, старики, дети. Они окружали бойцов, навзрыд плакали, прижимали к груди, не могли оторваться:

— Ро́дные вы наши, близкие, сердце свое вам бы отдали, жизнь вы нам опять принесли...

Ребятишки гладили у бойцов автоматы:

— Много убили немцев?

— Хоть бы раз выстрелить в немца!..

— Ему в пузо надо стрелять, а то промахнешься...

— Вот дуреха. А дед заступом и то надвое немецкую башку раскроил.

— Ничего, ничего, ребята, успеете. Ну-ка, пропустите...

Четыре бойца несли мертвую девушку, завернутую в одеяло. Возле девушки-ребенка держа ее маленькую холодную руку, шла исхудалая бледная женщина. Она не плакала, она только говорила:

— Дитятко мое ненаглядное, зернушко мое золотое, чего же ты молчишь! Думала ли я, такая твоя будет жизнь, такая будет мука?.. Все думала — счастье будет в твоей жизни, ан вот смерть пришла, не успела ты и доучиться в школе. Доктор все говорил, сердце твое слабое, надо беречь тебя, а как подрастешь, поправишься. Я берегла тебя, как глаз свой, а вот пришли лютые, все съели и тебя съели... а я... а я... плакать не могу... в две жизни не выплачешь...

Женщины поминутно вытирали слезы. Бойцы мрачно смотрели перед собой. Листья тихо шелестели в овраге. Извилисто поблескивал ручей в глубине.

— Постойте, вот мой курень, — сказала мать. Лицо ее было смугло, как у дочери, и нос горбинкой, как у дочери.

Все остановились.

— Похороните мою доченьку. Тут бабка ее живет, моя мать. А я уйду, уйду к партизанам. Прощай, доченька, прощай! Не пришлось нам с тобой пожить...

Она поцеловала ее холодные губы и пошла, не оглядываясь, да остановилась.

— А вы что, как теляты, стоите, немцев, что ли, дожидаетесь, чтоб глумляться стали над вашими детьми?! Ишь, глаза набрякли у всех, только и знаете реветь...

— Чего же делать-то? — всхлипывая, говорили женщины.

— Как, чего делать? Кто не может к партизанам, идите в тыл, будете мыть белье, чинить одежу бойцам, ступайте в санитарки. Эх, квелые!..

Она пошла, шагая по-мужски. И лицо, смуглое, как у дочери, еще больше потемнело.

Далеко, далеко за сизым краем степным слышалось ослабленное орудийное уханье. Фронт передвинулся далеко.

В ГОСТЯХ У ЛЕНИНА

Я не раз слышал Владимира Ильича Ленина на съездах и конференциях. Меня всегда поражало, что по количеству времени Ленин говорил обычно меньше ораторов, выступавших и до и после него, но впечатление от его речей оставалось всегда колоссальным.

С глазу на глаз я разговаривал с Владимиром Ильичем только однажды. И мне хочется рассказать об этом единственном незабываемом дне, — дне, когда я был в гостях у Ленина.

Как-то под вечер в моей квартире раздался звонок, вошел человек и сказал:

— Товарищ Ленин прислал за вами машину.

Минут через пять я был в Кремле. Молодой красноармеец провел меня в верхний этаж, где была расположена квартира Ильича. Очутившись в маленькой полутемной передней, я стал раздеваться и тут же услышал быстрые и легкие шаги: из внутренних комнат вышел Ленин. Он разом окинул меня взглядом с ног до головы и, горячо пожимая руку, приветливо сказал:

— Ну-с, пойдемте, пойдемте...

Мы вошли в столовую. Это была тесная, но удивительно опрятная и уютная комнатка, заставленная простой, довольно потертой мебелью. Мне случалось часто бывать в квартирах рабочих, обставленных значительно богаче. Видимо, в частной жизни, в быту Ильич строго придерживался принципа жить в тех же условиях, в которых живут сейчас трудящиеся массы.

— Как живете? С кем больше встречаетесь? С рабочими или с интеллигентами? Расскажите, — спросил Владимир Ильич, не спуская с меня глаз, как будто боялся, что я убегу.

— Да понемногу и с теми и с другими...

Я был смущен: «Ну, что я буду рассказывать Ленину, — думалось мне, — ведь все, о чем я могу рассказать Ильичу, он давно уже знает, и едва ли это будет ему интересно».

Владимир Ильич чутко заметил мою растерянность и, чтобы дать мне время притти в себя, попросил Надежду Константиновну:

— Ты бы нам чайку...

Я не мог представить себе другого человека, который, стоя высоко над людьми, был бы так чужд честолюбия и не утратил бы живого интереса к «простым людям».

В тот памятный вечер я увидел Ленина совсем иным, не похожим на вождя и трибуна, каким встречал его ранее на съездах и конференциях. Передо мной явился новый Ленин—прекрасный товарищ, веселый человек, с живым неутомимым интересом ко всему миру, удивительно мягко и любовно относящийся к людям:

— Пишете что-нибудь? — спросил он.

— Трудно сейчас писать: очень много организационной работы.

Ильич нахмурился.

— Да, организационной работы у нас сейчас в стране много. А вам, писателям, необходимо привлечь в литературу рабочих. На это надо направить все усилия. Каждому маленькому рассказу рабочего надо сердечно радоваться. У вас в журнале рабочие помещают свои вещи?

— Маловато, Владимир Ильич, видимо, знаний, культуры нехватает.

Он поглядел на меня смеющимися прищуренными глазами:

— Ну, это ничего, научатся писать, и будет у нас превосходная, первая в мире пролетарская литература...

Была в этих словах яркая вера в человека, в русское искусство, неугасимая действенная вера и любовь к рабочему народу.

На столе появился самовар: он был помят и выглядел поношенным; стаканы, чашки, блюдца — все было сборное, а угощение отличалось удивительной скромностью.

Неприхотливый, занятый с утра до ночи сложной тяжелой работой, Владимир Ильич совершенно забывал о себе. И сейчас, сидя за столом Ильича, мне казалось, что мы «чаевничаем» где-то в глухой деревне, пьем, обжигаясь, горячий, из бурлящего самовара, чай, осторожно и экономно покусывая сахар.

Улыбаясь, глядя прищуренными глазами, Ленин все ждал от меня рассказа.

«Да ведь надо, — думал я, — рассказать Владимиру Ильичу о рабочих; ведь затем он и пригласил меня, чтобы заглянуть в тот мир, от которого он порой бывает отодвинут своей колоссальной работой».

— Недавно я был на станции Лосиный Остров, — собравшись с духом, начал я, — там находится крупный арсенал, и в нем работает более тысячи рабочих.

Владимир Ильич придвинулся и наклонился ко мне, ласковый и внимательный. С поразительной, присущей ему живостью, ясностью и интересом он стал подробно расспрашивать о жизни

рабочих арсенала, об их заработке, о работе, о школах, об отдыхе. И по этим метким, острым вопросам я почувствовал в Ильиче какое-то особое чутье, глубокое органическое понимание того, что переживает в данную минуту рабочий класс. Речь Ленина была скупа словами, но обильна мыслями.

Чувствуя заинтересованность Ильича, я рассказал в тот вечер о том, как рабочие-арсенальцы задумали выстроить у себя клуб. Ни средств, ни стройматериалов у них не было. Райисполком не смог притти на помощь. Тогда на специальном собрании арсенальцы решили приспособить под клуб... конюшню.

Ленин внимательно слушал мой рассказ. С висков на углы век набегали морщинки, глаза засветились юмором и добродушием.

— Позвольте, это как же из конюшни клуб? — спросил Ильич, полный живого неутомимого интереса.

— В Лосином Острове жил прежде богатый помещик. Он держал первоклассных скаковых лошадей, а для этих лошадей была выстроена огромная конюшня. Вот рабочие, засучив рукава, принялись переделывать конюшню в театр: вычистили помещение, побелили, прорезали окна, настлали полы, возвели сцену, понаделали мебели, провели электричество, а когда все было закончено, — отправили в Москву делегацию за артистами. Артисты с радостью откликнулись на призыв. Весь поселок пришел на открытие нового театра. Это был чудесный праздник.

Ильич восторженно слушал, и глаза его сияли:

— Ну-ну, — поторапливал он мой рассказ.

Краткому, характерному «ну-ну» Ленин умел придавать бесконечную гамму оттенков — от осторожного сомнения, от едкой иронии до одобрительного поощрения, доступного человеку, очень зоркому и понимающему все «превратности» судьбы.

— ...И вот рабочие своими силами из конюшни построили, так сказать, фешенебельное «дворянское собрание».

Глаза Владимира Ильича вспыхнули непотухающе ярким светом. Он вскочил, коренастый и плотный, и, держась за лацканы пиджака, залился чудесным ленинским ребячьим смехом. Никогда я не встречал человека, который умел бы так заразительно смеяться, как смеялся Владимир Ильич. Было даже странно, что суровый реалист, человек великих исторических дел может смеяться по-детски, до слез. А Ильич, захлебываясь смехом и с трудом преодолевая его, проговорил:

— Только рабочий умеет построить из конюшни «дворянское собрание»; а то ли он еще построит — дайте срок...

Если бы я никогда прежде не слыхал об Ильиче, не видал бы его, не знал бы, как относится Владимир Ильич к рабочему классу, — эти слова, а всего более задушевный отцовско-ласковый смех открыли бы мне всю глубину его любви, веры и гордости за созидателя жизни, рабочего-творца.

Мысль Ленина, точно стрелка компаса, всегда обращена была в сторону классовых интересов трудового народа.

Стирая слезы смеха, уже серьезно, с большой силой, негромко Ленин сказал:

— Страшно дорого заплатили рабочие за свое право быть хозяевами жизни, но в конце концов выиграют они. Это — воля истории.

Надежда Константиновна прислушалась к шуму в коридоре и торопливо вышла. Вернувшись, она шепнула что-то Владимиру Ильичу.

Словно пеленой, подернулось его лицо. Взор стал ровным, холодновато-насмешливым, а взгляд твердым и непреклонным. Это был уже не веселый собеседник, а вождь рабочего класса, гениальный полководец пролетарских сил.

— Вы меня простите, — сказал Ленин, — но сейчас получено известие, что белые выбили наши войска из Ростова. Я должен итти работать...

На этом наша беседа окончилась. Я откланялся, с трудом отрывая глаза от Владимира Ильича.

Через два дня было получено сообщение о том, что белые выброшены из Ростова, что Красная Армия гонит их к Новороссийску, а еще через несколько дней страна узнала, что полчища белых сброшены в море.



СТАТЬИ

ПРЕДИСЛОВИЕ К «МЯТЕЖУ» ДМ. ФУРМАНОВА

«Мятеж» — это кусок революционной борьбы, подлинный кусок, с мясом, с кровью. Рассказано просто, искренно, честно, правдиво и во многих местах чрезвычайно художественно.

Перед вами встает страна, далекая страна, о которой мало кто знает — Семиречье: ее степи, горы, ущелья, горные равнины.

Встают живые люди, расслоенные на классы, национальности. Русские крестьяне, казаки, в силу обстановки, созданной царским правительством, жестоко эксплоатирующие киргиз, несчастных, забитых, замученных, темных и бесконечно нищих. Баи, манапы, киргизские кулаки, мироеды, муллы жадной сворой сосут своих единокровных, держат в железных когтях и непроходимой темноте.

И вот в этой богато родящей, пестрой и сложной стране идет революционная борьба, строительство.

Революционная борьба велась в разной обстановке, в разных условиях — у Ледовитого океана, в дымном Петрограде, на черноземных центральных равнинах, на знойном Кавказе и в Крыму, в далеком, полном ярких восточных красок Туркестане.

И всюду партия, наша РКП, проявила удивительную приспособленность, гибкость, учет окружающей обстановки, исходя всегда из основных своих, незыблемых коммунистических положений, — и этим победила.

В «Мятеже» удивительно правдиво и ярко даны эти свойства партии в обстановке полуэкзотической, совершенно отличной от нашей российской, не говоря уж об обстановке промышленных городов, где рождалась, росла и крепла партия. Оттого эта книга может многому научить.

Читается с захватывающим интересом, хотя в ней строго вставлены подлинные документы, приказы.

УМЕР ХУДОЖНИК РЕВОЛЮЦИИ

Что от большевика нужно? Чтоб он был закален и тверд, как сталь. Чтоб в принципиальных вопросах он не умел поддаться ни на волос.

Таков был т. Фурманов. Таков он был во всю свою молодую жизнь.

Что нужно от большевика? Чтоб он был гибок, как тронутая синью пружинная сталь.

Таков был т. Фурманов. И когда читаешь его «Чапаева», «Мятеж», с удивлением наблюдаешь эту большевистскую гибкость, гибкость во имя спасения революционного дела, удивительную способность учета и приспособления.

Что нужно от большевика? Чтоб он во всякой работе, во всякой деятельности был одним и тем же — революционным работником, революционным борцом.

Таков был т. Фурманов. Он был одним и тем же и в партийной работе, и в гражданском бою, и с пером в руке за писательским столом. Один и тот же революционный боец, революционный строитель, одинаково не поддающийся и одинаково гибкий.

И если в гражданской борьбе гибкость его проявлялась в том, что, где нужно, он был великолепный дипломат, — на поле его последнего поприща, в писательской деятельности, его гибкость драгоценно проявлялась в другом.

Значимость писателя, художника, творца — не в размерах его дарования в данный момент, а в размерах его роста, в способности его к этому росту. Бывали крупные художники, разом проявлявшиеся, застывшие и умершие как творцы задолго до своей физической смерти. Не таков был т. Фурманов.

Когда я прочитал первые два рассказика т. Фурманова, бледные, серенькие, беспомощные и наивные, я подумал: «Нет, этот не выделится».

Когда я прочитал написанный им в дальнейшем «Красный десант», передо мной вдруг блеснула черная южная ночь, шелест

камыша и таинственность смерти, которая невидимо плыла с этими потонувшими в черноте баржами, — люди плыли на заведомую гибель в самую глубь, в самый тыл врагов, — пощады не будет. И мне вдруг стало трудно дышать. «Да ведь это ж художник!»

А потом я подумал: «Могла просто случайно вырваться небольшая художественная вещица».

А когда я читал «Чапаева», передо мной художественно развернулась гражданская война — так и с таких сторон, с каких и как я не умел ее увидеть своими глазами.

Потом... потом я читал «Мятеж». Я читал всю ночь напролет, не в силах оторваться, перечитывал отдельные куски, потом долго ходил, потом опять перечитывал. И я не знал, хорошо это написано или плохо, потому что не было передо мной книги, не было комнаты, — я был в Туркестане, среди его степей, среди его гор, среди его населения, типов, обычаев, лиц, среди товарищей по военной работе, среди мятежников, среди удивительной революционной работы.

Да, это — художник. Художник, вдруг выросший передо мной и заслонивший многих.

И его гибкость, его драгоценная гибкость художника — в этом непрерывном внутреннем, органическом росте. В том, что он с каждой вещью, с каждой картиной становился выразительнее, ярче, глубже, больше. И это не случайно: это его природа, это его естество.

...И он ушел. Ушел — и унес с собой еще не развернувшееся свое будущее. Ушел — и говорит нам своим художественным творчеством: берите живую жизнь, берите ее, трепещущую, — только в этом спасение художника. И не бойтесь. Все, что есть старого в писательстве, все, что есть в нем забвенного, все это с кривым лицом бросит в вас обвинение в фотографичности, в мемуарности. Не бойтесь. Выдумку всякий дурак сумеет обобщить, — живую жизнь сумеет синтезировать только истинное художественное творчество.

И еще: истинное творчество тогда не мертво, когда оно глядит на жизнь, на борьбу революционными глазами восставшего класса, а не померкшим взглядом уходящего в забвение.

ФЕДОР ГЛАДКОВ И ЕГО «ЦЕМЕНТ»

Я не помню, как и где я познакомился с Федором Васильевичем. Помню только, что при одной встрече он сказал мне: «Александр Серафимович, приходите ко мне, я прочитаю вам мою вещь, над которой сейчас работаю».

Пошел. Он жил в полуподвале один, — семья еще не приезжала. Даром что по-холостяцки, а в комнате было чисто, порядок, даже уют. На столе рукописи, книги.

— Одну минуточку, я только вздую чайку.

Первое, что бросилось, пока он возился с чаем, это — нервное, трепетное напряжение, присущее ему самому, а когда стал читать, это трепещущее напряжение разлилось во всем его творчестве.

Со страниц летели выпуклые, острые черточки, замечания, определения, характеристики, местами, может быть, чуть-чуть более яркие, чем нужно, но я не делал замечаний, чтоб не спугнуть автора. Да и некогда было: на меня наплывало широкое полотно, на котором мелькали люди, характеры, людские отношения, борьба, события. Опять-таки не со всем я был согласен, но я опять не делал замечаний, чтобы не спугнуть этой страстности творчества, которая пронизывала все его существо и захватывала меня.

Пролетарская литература тогда только нарождалась. Она еще делала детские шаги. В ее рядах было немало попутчиков, которые туго втягивались в круг идей пролетариата. И были, как плевела, вкраплены враги народа.

И вот из этой не сложившейся, не оформившейся еще литературы скалистым углом поднялся «Цемент».

Чем же он так привлек читателя? Широкой картиной реорганизации человека, широкой картиной реорганизации хозяйства. Появился хозяин обобществленного хозяйства — это внутренне преобразующийся пролетарий. Картины, где работает в *своем* хозяйстве рабочий, великолепны в «Цементе». И это *первые* картины в нашей литературе.

Федор Гладков, один из первых организаторов пролетарской литературы, в высшей степени честный автор; то, что пишет, он

пишет так потому, что так чувствует, так видит. Он не подыгрывается, ибо ему нет в этом надобности, — то, что он пишет, это кусок его сердца, он выстрадал его еще в своей горькой молодости, в царской тюрьме, в царской ссылке, в незаслуженной нищете, которую навязал ему царско-буржуазный строй. И как же он рад в широких картинах рисовать это великое преобразование людей, преобразование хозяйства, преобразование строя.

Но ведь кто-то организует эти преобразования? Партия... И Гладков удивительно умело рисует значение, влияние партии в небольшом эпизоде: на партийном собрании исключают из партии одного из членов. Он вытаскивает пистолет и молча пускает себе пулю в висок, — без партии он жить не может и не хочет.

У Федора Васильевича Гладкова — тяга к широким картинам, к широким просторам. Но и в отдельных небольших картинах он отличный мастер. Вот, например, «Старая секретная». Да ведь это же прекрасно! Ведь это же мастерство! Но вот странно, критики толкуют, обсуждают его большие вещи, а мимо таких прекрасных, как «Старая секретная», проходят молча. Товарищи критики, чего же вы молчите? Молчите? Молчание знак согласия: вы неправы.

...Партия высоко оценила творчество Гладкова: на груди его сияют ордена.

Чем же привлекает «Цемент» Ф. Гладкова?

Да ведь это первое широкое полотно строящейся революционной страны. Первое художественно обобщенное воспроизведение революционного строительства зачинающегося быта.

И картина дана не осколочками, не отдельными уголками, а широким, смелым, твердым размахом.

Но в чем же правда этой вещи?

Правда — в простоте, внешней грубоватости, пожалуй, корявости рабочего напора. И говорят-то — маленько лыком вяжут. Правильно: по гимназиям, по университетам не образовывались, самоделковый все народ.

И под этой корявой глыбистостью какой чудовищный упор, — как будто, медленно переворачиваясь, неуклюже скатывается по целине откол горы, а за ней — глядь! — дорога, как водоем, прорытая. И это — правда, ибо нигде не подчеркивается, а разлито по всей вещи.

И быт новый строят кособоко, по-медвежьи, — слышно, как черепки хрустят, а строят.

Приехал Глеб, плечистый, громадный, приехал из трехлетнего огня пулеметов, шрапнелей, беспощадности, гражданской войны, сгреб Дашу, — ведь это же его *собственная* жена. И очень удивился, расставив впустую руки: она вывернулась, засмеялась — и была такова, вспыхнув красной повязкой. И каким-то иным,

незнакомым до этого чувством к жене пронизалось сердце Глеба, чудесным чувством, когда он увидел ее как общественно-партийную работницу.

И что дорого: эта перестройка сердца, взаимоотношений не навязывается в романе, а сама собою ткется в громоздящихся событиях, в нечеловеческом напряжении работы, в дьявольском напряжении борьбы. Глеб и ревнует жену и, как бык с налившимися глазами, готов всадить пулю в противника, — и все-таки его сердце насквозь озарилось незнаемым дотоле, новым озарением. Новым озарением к Даше, к жене, к милой подруге, к товарищу по работе. Они не анализируют своих чувств, новизны отношений, — они просто борются, работают, живут, любят. И в этом — правда.

И Бадьин, предисполкома Бадьин... Да ведь знакомая фигура. Громадный, чугунный; этого не сдвинешь, и куда идет — проламывает дорогу. Чугунное лицо, чугунная воля. Громада революционного молота выковывает таких. И если Глеб — вспыхивающая революционная инициатива, революционный энтузиазм, пожаром зажигающий, без которого невозможна была бы борьба и победа, то Бадьин — тяжкий многопудовый молот, разрушающий и выковывающий. И такими революция проламывает пути.

И он любит, по-бадьински любит. Бычьи, налитые глаза, бычье сердце, и тяжело бьется во вздувшихся жилах густая темная кровь. Он берет женщин просто, тяжело, мимоходом — не до сантиментов. Он весь в колоссальной громаде работы, которая все покрывает, все собой окупает, оправдывает, и женщина для него — только одно из необходимых условий работы и жизни: перевернулся и сейчас же забыл.

Только Даша, только милая Даша не может погаснуть в его чугунном сердце и, может быть, против его собственной воли теплится тоненьким ласковым огоньком.

Лишь тонкий художник мог дать удивительно верную психологическую зарисовку: Даша, отчаянно отбивавшаяся от Бадьина, когда спасла его от смертельной опасности, отдалась ему.

А вот великолепная фигура инженера Клейста, надменная, сухая, замкнутая в своем высокомерии; он себя чувствует созидателем, а кругом — невежественные, грубые разрушители, безответственные перед столь дорогой сердцу Клейста культурой. И этот надменный останавливается в изумлении перед чудовищным, грубым, неотесанным рабочим напором созидания. Как в водовороте, подхватило и поволокло бессильного сопротивляться инженера Клейста. И Клейст отдал своим бывшим врагам все свои знания, всю свою культурную силу, отдал за совесть, а не за страх, и стал одним из кирпичей пролетарского творчества. Это — яркая, правдивая история спеца.

Все фигуры в «Цементе» отчетливы, запоминаются, разнообразны, живы.

Гладков сжат, экономен. Нет лишних слов, растянутостей,

многоговорения. В своей манере писать он так же суров, как и его персонажи.

Его великолепный пейзаж своеобразен и красочен.

Яркие черты романа с лихвой покрывают, может быть, местами излишнюю приподнятость, цветистую взвинченность диалога. Может быть, несколько сгущена мягкотелость партийных интеллигентов. Не то что они не правдивы, — нет, они ярки, живы, убедительны, но для верности перспективы надо было дополнить фигурой интеллигента крепкой складки, ведь революция ж богата ими.

Но я повторяю, — это тонет в прекрасных, сверкающих образах.

По-своему написан роман, — у Ф. Гладкова свое лицо, ни с кем не смешаешь.

И не странно ли? Критики, которые особенно шумно носились с некоторыми писателями, вредя им этим шумом, проходят молча мимо «Цемента». Либо, оттопырив надменно губу, глаголют: «Сказать неложно, тебя без скуки слушать можно, а жаль...»

Но читатель, пролетарский читатель произведение Гладкова оценил, ибо чует правду, — собираются, читают, обсуждают.

МИХАИЛ ШОЛОХОВ И ЕГО «ТИХИЙ ДОН»

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ К «ТИХОМУ ДОНУ»

Ехал я по степи. Давно это было, давно, — уж засинело убегающим прошлым.

Неоглядно, знойно трепетала степь и безгранично тонула в сизом куреве.

На кургане чернел орелик, чернел молодой орелик. Был он небольшой; взглядывая, поворачивал голову и желтеющий клюв.

Пыльная дорога извилисто добежала к самому кургану и поползла, огибая.

Тогда вдруг расширились крылья, — ахнул я... расширились громадные крылья. Орелик мягко отделился и, едва шевеля, поплыл над степью.

Вспомнил я синеюще-далекое, когда прочитал «Тихий Дон» Михаила Шолохова. Молодой орелик желтоклювый, а крылья размахнул.

И всего-то ему без году неделя. Всего два-три года чернел он чуть приметной точечкой на литературном просторе. Самый прозорливый не угадал бы, как уверенно вдруг развернется он.

Неправда, люди у него не нарисованные, не выписанные, — это не на бумаге. А вывалились живой сверкающей толпой, и у каждого — свой нос, свои морщины, свои глаза с лучиками в углах, свой говор. Каждый по-своему ходит, поворачивает голову. У каждого свой смех; каждый по-своему ненавидит. И любовь сверкает, искрится и несчастна у каждого по-своему.

Вот эта способность наделить каждого собственными чертами, создать неповторимое лицо, неповторимый внутренний человечий строй, — эта огромная способность сразу взмыла Шолохова, и его увидали.

Точно так, как он умеет очень выпукло дать человека, он умеет сосредоточенно и скупо обрисовать и целую людскую группу, человеческий слой.

Легко, свободно, творчески-спокойно и уверенно, знающим, рачительным хозяином вводит он вас в свой дом, в громадину, возведенную им на протяжении сорока печатных листов. Без напряжения, без усилий, без длинного введения сразу вы попадаете к казакам, к этим мужикам-хлеборобам в мундире, с мужицким нутром, однобоко и уродливо искривленным царско-помещичьим строем.

Но весь быт, навыки, — все — от земли, от черно-дымящейся пашни, степной и бескрайной.

Прокофий привез из Туретчины турчанку. Затосковалась.

«Прокофий вечерами, когда вянут зори, на руках носил жену до татарского ажник кургана. Сажал там на макушке кургана, спиной к источенному столетиями ноздреватому камню, садился с ней рядом, и так подолгу глядели они в степь. Глядели до тех пор, пока истухала заря, а потом Прокофий кутал жену в зипун и на руках относил домой...» («Октябрь», 1928, кн. 1-я).

Не думайте, здесь и не пахнет сентиментальностью: казаки грубы, насмешливы, темны, подчас дики, — и турчанку Прокофия затоптали коваными сапогами, как ведьму.

«Тонкий вскрик просверлил рев голосов. Прокофий раскидал шестерых казаков и, вломившись в горницу, сорвал со стены шашку. Давя друг друга, казаки шарахнулись из сенцев. Пластая над головой мерцающий визг шашки, Прокофий сбежал с крыльца. Толпа дрогнула и рассыпалась по двору.

У амбара Прокофий настиг тяжелого в беге батарейца Люшню и сзади с левого плеча наискось развалил его до пояса. Казаки, ломавшие колья с плетня, сыпанули через гумно в степь...»

Да, темны и дики, — и внезапно и неожиданно вдруг прощупываете вместе с Шолоховым чудесное сердце, чудесное сердце в загрубелой казачьей груди. Естественно, просто открывается человечье сердце, как естественно растет трава в степи.

Яркий, своеобразный, играющий всеми цветами язык, как радужно играющее на солнце перламутровое крылышко кузнечика, степного музыканта. Подлинный живой язык степного народа, пронизанный веселой, хитроватой ухмылкой, которой всегда искрится казачья речь. Какими дохлыми кажутся наши комнатные скучные словотворцы, — будь им легка земля...

Рискованные у других писателей, те же самые сцены у Шолохова правдивы и не вызывающи. Он называет вещи их именами, но рассказ сдержанно целомудрен. Здоровое и крепкое сидит в молодом писателе. На громадном протяжении сорока листов автор показывает быт казаков, службу, войну, революцию.

Нигде, ни в одном месте Шолохов не сказал: класс, классовая борьба. Но, как у очень крупных писателей, незримо в самой ткани рассказа, в обрисовке людей, в сцеплении событий это клас-

совое расслоение все больше вырастает, все больше ощущается, по мере того как развертывается грандиозная эпоха.

Да, из яйца маленьких, недурных, «подававших надежды» рассказов вылупился писатель особенный, ни на кого не похожий, — с своим собственным лицом, таящий огромные возможности.

И все-таки его жадно подкарауливает опасность: он может не развернуться во всю ширь своего таланта.

С молоком матери Шолохов всосал родную синеющую степь, родной донской говор; навеки с детства запечатлел родные казачьи лица, тончайшие движения их ума и сердца, и чудесно все это зазвучало со страниц журнала.

Ну, а дальше? Дон будет исчерпан. Исчерпано будет крестьянство в своеобразной военной общине. И если молодой писатель не пойдет в самую толщу пролетариата, если он не сумеет так же удивительно впитать в себя лицо рабочего класса, его движения, его волю, его борьбу, — если не сумеет этого сделать, сам себя ограбит народившийся писатель. Если не сумеет всосать в себя великое учение коммунизма, проникнуться им, писатель не даст полотен, которые мог бы дать.

Но молод и крепок Шолохов. Здоровое нутро. Острый, все подмечающий глаз. У меня крепкое впечатление — оплодотворенно развернет молодой писатель все заложенные в нем силы.

Пролетарская литература приумножится.

МИХАИЛ ШОЛОХОВ

Бескрайный степной простор изнеможенно тонет в знойном мареве. С увала на увал лениво тянется полынок, краснеют глиной овраги. По балкам вдоль степных речушек, где куры бродят, потянулись хутора. Лишь за Доном, что разлегся среди песков, под прибрежными горами, — лес, озера, поросшие камышом и осокой — рыбные места. До станицы сверху до самого устья осели по берегам его.

Затеснили Вешенскую станицу пески, — к самому Дону притулилась она.

Еще до войны и революции в 1905 году родился на хуторе Кружилином, Вешенской станицы, у вдовы казака сын-Михаил. Муж ее, Шолохов (они жили невенчанные), был, как тогда называли, «иногородний», то есть выходец из центральной России, из Рязанской губернии. Он нес на себе тяжесть, какую несли все «иногородние».

С самого рождения маленький Миша дышал чудесным степным воздухом над бескрайным степным простором, и жаркое солнце палило его, суховеи несли громады пыльных облаков и спекали ему губы. И тихий Дон, по которому чернели каюки казаков-рыболовов, неизгладимо отражался в его сердце. И покосы в займище, и тяжелые степные работы пахоты, сева, уборки пше-

ницы, — все это клало черту за чертой на облик мальчика, потом юноши, все это лепило из него молодого трудового казака, подвижного, веселого, готового на шутку, на незлую веселую ухмылку. Лепило его и внешне: широкоплечий, крепко сбитый казачок с крепким степным бронзовым лицом, прокаленным солнцем и ветрами.

Он играл на пыльных заросших улицах с ровесниками-казачатами. Юношей он гулял с молодыми казаками и девчатами по широкой улице, и песня шла с ними, а над ними луна, и девичий смех, вскрики, говор, неумирающее молодое веселье.

Казаки — веселый, живой, добродушно-насмешливый народ. Как соберутся кучкой, так — гогот, свист, подымающий хохот, друг друга умеют высмеять, позубоскалить.

Песни поют чудесные, задушевные, степные, от которых и больно и ласково на сердце. И они разливаются от края до края, и никогда не забудешь их.

Михаил впитывал, как молоко матери, этот казачий язык, своеобразный, яркий, цветной, образный, неожиданный в своих оборотах, который так волшебно расцвел в его произведениях, где с такой неповторимой силой изображена вся казачья жизнь до самых затаенных уголков ее.

Когда пришел срок, мальчика отвез отец в гимназию.

Мать, чудесная женщина, совершенно неграмотная, но крепкого, проницательного, живого ума, чтоб самостоятельно вести с сыном переписку, принялась учиться грамоте и выучилась. Мать и сын радостно писали друг другу. Видимо, мать подарила ему наследство быть крупнейшим художником, подарила драгоценный дар творчества.

Пришла Октябрьская революция. Рвануло застоявшийся, слежавшийся, неподатливый уклад казачьей жизни. Всюду глубоко пробежала расселина по казачеству: голытьба пошла с революцией, богатеи — с контрреволюцией. Как и для всех, этот вопрос, куда итти, стал перед молодым Шолоховым. Было не до гимназии. Он бросил школу, и широкая революционная волна подхватила его и понесла в гущу событий.

Молодой Шолохов — выходец из трудовой семьи, и в его груди вспыхнула жажда битвы за счастье трудящихся, замученных. Вот почему он еще юношей-комсомольцем бился с кулаками в продотрядах. Вот почему он участвовал в борьбе с бандами. Вот почему в своих произведениях стал на сторону революционной бедноты. Партия и комсомол революционно направили его мысли, революционно зажгли его сердце жаждой принять участие в великой битве эксплоататоров и эксплоатируемых. И он принял это участие сначала с винтовкой, а потом с пером в руке.

Во время гражданской войны Шолохов мыкался по донской земле. Долго был продработником. Гонялся за бандами, которые бушевали на Дону до 1922 года. Нередко банды гонялись за его отрядом.

Когда схлынула гражданская война и было покончено с разорявшими землю бандами, Шолохов начал в 1923 году писать. В этом же году он начал печататься в комсомольских газетах и журналах. Первую книжку рассказов он выпустил в 1925 году. В 1925 году родился как писатель Михаил Шолохов.

Вешенская станица у самого Дона. Казачьи курени белеют по широким улицам. На них много пыли, мало зелени. Только милая река, уютно огибая станицу, тихо зеленеет берегами. То голубая под синим высоким небом, то ослепительно золотится солнечным мельканием, то сердито нахмурится и, серая, зашумит волнами и ветром.

Недалеко от Дона новый дом с мезонином, — дом Шолохова. Наверху кабинет, там работает писатель. Летом в нем не усидишь — жара, зимой не усидишь — холод, — шутит Шолохов.

Работает он только по ночам. Привычку эту создают посетители, которые валом валят к писателю. Тут казаки, колхозники, рабочие, командиры, студенты, туристы, иностранцы, старухи, дети, журналисты, писатели, музыканты, поэты, композиторы — все едут на машинах, на лошадях, верхом, на лодках, на пароходе, летят на самолетах. И всех Шолохов ласково принимает, поговорит, разъяснит, поможет, направит.

Он страстно любит свою степь, с ее суховеями, то знойным, то ласковым солнцем, с ее оврагами, перелесками, с ее зверями, птицами. Он страстно любит свой тихий Дон, который, ласково изогнувшись, так мягко, нежно обняв станицу зелеными берегами, создал удивительно уютный, задушевный, тихий, чуть задумчивый уголок. А в Дону ходит рыба, богатая востроносая стерлядь, и Шолохов весь отдается рыбной ловле.

Дон дает ему массу впечатлений, типов, часто неожиданных проявлений народного творчества, самобытного, оригинального в борьбе с природой. У писателя — большие знакомства и тесные дружеские отношения с рыбаками-казаками. Он у них учится, он их наблюдает, он берет от них сгустки векового народного творчества.

Старый, седобородый, лет под девяносто, казак-рыбак, молчаливый, сосредоточенный, ставит перемены на стерлядей, как и другие рыбаки, чьи баркасы сереют по синеве в Дону. Но вдруг исчезает, и никто не знает, куда он подался. Только всегда гонит к станице свой баркас, и в плетеной корзине густо бьется стерлядь.

Стерлядь — капризная рыба: то не успевают ее с накатных крючков снимать, то вдруг пропадает, — ни одной! — и рыбаки сушат свои снасти на берегу, — бестолку и ставить. А дед откуда-то пригоняет баркас полон стерляди. Между казаками-рыболовами твердый слух: колдун! Как ни просили, как ни кланялись деду, чтобы открыл секрет, молчит, как каменный.

Стал просить открыть секрет Шолохов. Дед — ни за что. Раз вытащил из кармана Шолохов бутылочку, выпили. В другой раз вытащил, пошатнулся старик, не выдержал.

— Слухай, внучек, только перед богом дай обещание — никому не скажешь. Это мой дедушка папаше моему передал, а папаша мне. Пойдем.

Спустились к воде. По всему берегу виднелись вытащенные баркасы: стерлядь начисто ушла куда-то, густой Дон синел. Подошли к сапетке, плетенной из прутьев корзине, что тихонько качалась на приколе. Полез дед в нее рукой, вытащил маленькую, вершка в два, стерлядочку, — у него всегда их было наготове несколько, — достал из шаровар длинную-предлинную суровую нитку, протянул конец ее иголкой через хвостик стерлядки, захлестнул, а к другому концу привязал гусиное перо.

— Ну, садись.

Сели в баркас. Зорко проглядел дед весь берег, — никого. Оттолкнулся. Проплыли за поворот. Дед осторожненько сунул в воду стерлядку и выбросил перо с ниткой. Стерлядка исчезла в глубине, а перо, нырнув и вынырнув, мигая, торопливо поплыло вверх по Дону. Дед изо всех сил налегал на весло, поспевая за пером.

Перо вдруг остановилось, постояло вертикально, потом легло и понеслось вниз. Дед за ним. И километр, и два, и три бежит, белея, перо, и баркас за ним. Много проплыли по течению. Вдруг опять стало. Остановился и баркас. Долго стояли. Тогда дед снял шапку, перекрестился.

— Здесь...

Поставили перемет. Скоро стали снимать трепещущих стерлядей.

Стерлядь — общественная рыба, — живет стадами. И кочевая рыба: поживет на одном месте, снимется и уйдет за десяток — другой километров, а на прежнем месте пусто, и рыбаки сушат переметы. Вот стерлядка-то и нашла стаю.

Нужно было видеть восторг Шолохова, — восторг охотника, и восторг наблюдателя, и восторг писателя, в руки которого попался из россыпи народного творчества крошечный червонный кусочек.

Рыбная ловля на Дону и охота, когда он от зари до зари бродит по степи, в которую вкраплены по балкам, по степным речушкам колхозы, дают Шолохову и огромное наслаждение и огромный творческий материал. Дон, степь, казачество, его история, его быт, его психология, вся эта громадина неохватимо надвинулась со всех сторон и кровно связана с психологией, с настроениями, с чувствами самого писателя.

Едет Шолохов верхом домой после прогулки в степи. Под станицей между садами вьется узкая, сдавленная высокими плетнями дорога. Из-за поворота вылетает на большом ходу машина. Лошадь — на дыбы, еще секунда, и она валится вместе с седоком на

груду щебня у плетня. Машину затормозили, выскочили седоки, охают, извиняются, просят сесть в машину, довезут домой, а вскочившую лошадь доведут.

— Ладно... ничего... — говорит Шолохов и садится в седло: унизительно верховому ехать в машине, а лошадь вести в поводу.

Въезжает в станицу, глядь, а морда у лошади в крови. Э-э, стой! Разве можно в таком виде явиться в станицу? Поворачивает к Дону, слезает на берегу, заводит лошадь в воду и начинает тщательно отмывать лошадиную морду от крови. Потом отмыл пузо и ноги от грязи, — заляпались, когда упала через камни. Вымыл с величайшим трудом, усилиями и болью: нога как свинцовая, взобрался на седло и въехал в станицу на вымытой, чистой лошади. Дома уже не мог сам слезть — сняли. Внесли в комнату. Сапог нечего было и думать снять, — нога почернела, раздулась, как бревно. Пришлось сапог разрезать. Характернейшая черта казачья — сам изломался, но лошадь должна быть в порядке.

Он часто приезжает в какой-нибудь колхоз, соберет и стариков и молодежь. Они поют, пляшут, бесчисленно рассказывают о войне, о революции, о колхозной жизни, о строительстве. Он превосходно знает сельскохозяйственное производство, потому что не со стороны наблюдал его, а умеет и сам участвовать в нем.

Шолохов принимает близкое участие в общественной жизни станицы. Он — член ВКП(б) и член райкома партии. При его помощи организован театр молодежи в станице.

Он — отличный семьянин. Трое ребятишек.

Несколько лет тому назад Шолохов поехал за границу и было помер с тоски. Он попал в Берлин. Чуждый язык, особый, строгий уклад громадины-города подавляли его. А перед ним все стояли золотые под солнцем степи, без конца и краю размахнувшиеся в теряющуюся по краям синеву. Синел перед глазами тихий Дон, уютный, весь в зелени его уголок под Вешенской станицей, колхозные собрания, веселые сборища, песни и пляски казачьей молодежи. Нет, не мог вытерпеть Шолохов, поехал на вокзал, в вагон — и на милую родину, такую милую, родную, что ни забыть ее, ни надолго оставить невозможно.

В 1935 году он снова поехал за границу, теперь возмужавший, теперь, уже кроме «Тихого Дона», автор «Поднятой целины» — вещи, которая открыла глаза зарубежному читателю на удивительный процесс единственной в мире переделки индивидуалиста-крестьянина в коллективиста.

Произведения Шолохова по своей правдивости, искренности, по своей внутренней красоте и художественной убедительности, по своей красочности, по своему умелому психологическому анализу нашли широкий доступ в сердца зарубежных читателей. Его вещи переведены на все европейские языки.

Его поездка за границу вызвала огромный интерес в широких кругах Дании, Швеции, Норвегии. «Тихим Доном» и «Поднятой целиной» в переводах зачитывались. Он разбудил в скандинавских странах своими вещами огромный интерес к советской литературе, к советской культуре. Скандинавских читателей нагло всегда обманывала буржуазная печать, которая в лучшем случае замалчивала достижения советской литературы, советского искусства, советской культуры, в худшем случае — несла тупую околесицу, расписывая большевиков как полудикарей, у которых не может быть талантливых произведений. И вдруг датчане, шведы и норвежцы собственными глазами стали читать в переводах прекрасного советского художника, развернувшего огромные полотна, равных которым не найдешь в буржуазных странах в теперешнее время.

Но не только стали читать, они видели воочию этого писателя, они услышали его, этого представителя незнаемой советской литературы, о которой так злобно и упорно, так долго лгала буржуазная печать или с ненавистью упорно молчала. А он, вот он стоит, живой представитель литературы прекрасной советской страны. Ему задают массу вопросов обманутые читатели, и он спокойно и ясно отвечает, и обман постепенно рассеивается. Это — победа: умение вторгнуться в чужое, искусственно созидаемое буржуазной печатью непонимание и разломать его!

В скандинавских странах Шолохов знакомился с постановкой сельского хозяйства. И когда вернулся домой, рассказал колхозникам о хорошей постановке там удобрения полей, о борьбе с сорняками и чесоткой скота.

— Но, — говорил Шолохов, — по механизации сельское хозяйство в СССР стоит на самом высоком уровне.

Во всех виденных им хозяйствах самый новый трактор был куплен в 1924 году.

Из Дании Шолохов поехал в Англию. В полпредстве состоялась его встреча с рядом английских писателей, журналистов и общественных деятелей. Шолохову было задано много вопросов о писателях и читателях в Советском Союзе. На всех произвели сильное впечатление громадные массы книг, издаваемых в СССР. Особенно большое впечатление на английских журналистов произвели миллионные тиражи и распространение произведений Горького. Шолохов указал, что удивляться тут нечему, — ведь число читателей увеличилось в сто раз со времени свержения царизма. Это объясняется ликвидацией безграмотности, весь народ теперь читает книги. Шолохов указал, что нигде в мире писатели не пользуются таким уважением и любовью, как в Советском Союзе.

Через два дня в Лондоне же Общество культурной связи с СССР устроило большой прием в честь Шолохова. Зал был пе-

реполнен представителями английской интеллигенции, литераторами и художниками. Председательствовал известный профессор литературы Лондонского университета Аберкромби, который в своей речи тепло приветствовал Шолохова.

Встреченный бурными аплодисментами собрания, Шолохов в яркой и живой речи рассказал аудитории о новой советской литературе, о новом советском писателе и о новом советском читателе.

Директор Британской академии художеств Ротенштейн, выступив от имени собравшихся, выразил большое удовлетворение в связи с приездом Шолохова в Англию. Он подчеркнул чрезвычайную важность подобных визитов как средства культурного сближения между СССР и Великобританией.

Из Лондона Шолохов поехал во Францию. В Париже Общество по изучению советской культуры устроило встречу французских писателей с Шолоховым. Встреча носила чрезвычайно дружественный характер и вызвала большой интерес во французских литературных кругах.

На приеме присутствовали выдающиеся представители французских литературных кругов.

Своими прекрасными произведениями и своей поездкой в зарубежные страны Шолохов сослужил большую службу народам СССР. Он хорошо поработал над уничтожением той неправды и лжи, которой оплетает буржуазная печать своего зарубежного читателя.

РАДИОПЕРЕКЛИЧКА ПИСАТЕЛЕЙ

ЕДИНСТВЕННАЯ В МИРЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Когда загремел мировой взрыв Октябрьской революции, не только социально-экономические твердыни закачались и рухнули, но и в области искусства глубочайшая трещина отделила старое от нового. Старая классическая литература, созданная лучшими представителями дворянства и разночинцами, с момента взрыва вдруг оказалась в прошлом. У совершившего единственную в истории мира революцию пролетариата и трудового крестьянства не было своей массовой литературы. Конечно, мы знаем двух крупнейших пролетарских писателей — М. Горького и Демьяна Бедного, которые принесли свое революционное творчество пролетариату и трудовому крестьянству задолго до Октября. Но массовой пролетарской литературы не было. Встала во весь рост громадная задача: помочь проявить и вызвать к жизни художественное творчество, таившееся в победившем классе. Началась борьба за пролетарскую литературу. Началась упорнейшая борьба за новое художественное освещение жизни людей, событий, за новые темы, за новое построение художественных произведений, за новую конструкцию их.

Прекрасна классическая художественная литература; она сыграла огромную роль в общем культурном подъеме масс и в общественном движении интеллигенции. Этим классическая литература, несомненно, помогала грядущей революции. Но как она ни прекрасна, она почти вся в прошлом.

Разгромленное буржуазное общество оставило революции наследство материальное и культурное. Пролетариат стал разбираться в этом наследстве — нужное оставлял для своей стройки, ненужное выбрасывал в хлам.

Нигде эта разборка не была так сложна, нигде она не встречала столько противоречивых трудностей, как в художественной литературе. Сумейте-ка подойти к гениальной громаде художе-

ственного творчества Льва Толстого. «Какая глыба, а?», — говорил товарищ Ленин про Толстого.

Вокруг разборки классического литературного наследства завязалась борьба. Одни хотели целиком перетащить в художественную литературу пролетариата не только приемы художественного творчества классиков, их язык, образы, конструкцию, но и темы, но и освещение новых событий. Другие ставили под одну мерку всех писателей минувшей эпохи и выбрасывали даже гениев, полагая, что при всей силе художественного творчества они вредны для пролетариата своей чуждой идеологией.

Это была жестокая борьба двух течений.

Как же разрешилась эта борьба? Разрешила эту борьбу партия. Партия осторожно, не ломая, а направляя, вела к формированию и проявлению пролетарских писателей. Партия учила умело брать у классиков все, что повышает творческие силы, и отбрасывать все, что искривляет идеологически пролетарское творчество.

Партия учила пролетарских писателей спокойно, терпеливо, настойчиво втягивать в совместную работу беспартийных писателей, учась у них мастерству, уча их верному восприятию революционных событий, революционной борьбы, революционного строительства.

Каковы же результаты этого руководства? Колоссальные! В неуловимо короткое историческое время гигантски поднялась, по признанию даже врагов, единственная по своему значению в мире литература. Гигантски поднялась единая внутренне советская литература, ибо уже нет деления на партийных писателей и на «попутчиков», — все писатели громадным фронтом несут свое творчество на великое социалистическое строительство. Задача создания писательских кадров решена.

Но как она решалась? Какую еще основную задачу надо было решить, чтобы решить первую задачу? Надо было создать питательную среду для писателей, ибо писатели не растут в безвоздушном пространстве. Они питаются мыслями, чувствами, критикой, идеями своего класса, его волей к социалистическому строительству, его революционной борьбой, его бытом, его жизнью.

Но чтобы писатели впитывали в себя все, что создает *классовое* творчество, чтобы несли на себе влияние своего класса, его контроль, его социальные требования к литературе, нужна известная высота культуры класса; нужно, чтобы пролетариат освоил литературу, умел в ней разбираться, испытывал бы эстетическое наслаждение при чтении художественных произведений; нужно, чтобы художественная литература сделалась неотъемлемой частью его жизни, его умственной деятельности, неотъемлемой частью его чувств, его мысли. А ведь из проклятого прошлого пролетариат вынес низкую культуру, часто безграмотность, очень часто слабую потребность в чтении художественной литературы,

отсутствие навыка в ней разбираться, неумение формулировать свои требования.

И вот встала вторая гигантская задача: создать высокую социалистическую культуру. И партия эту задачу вырешила в изумительно короткий срок. Она вырешила ее, решая общие задачи социалистического строительства — индустриализируя страну, меняя экономику, быт, коллективизируя деревню, уничтожая безграмотность, создавая и удовлетворяя новые потребности в пролетариате, в колхозном и трудовом крестьянстве. С другой стороны, партия совершила огромную работу, непосредственно внедряя художественную литературу в массы.

Результаты колоссальные: громадное влияние пролетариата, колхозной массы на художественную литературу неоспоримо. Появилась массовая потребность в художественной литературе.

В результате советская литература стала мировой литературой, особенной, со своим резко очерченным лицом. Какие же особые черты носит советская литература? Она резко отличается своим социалистическим содержанием. Она действенна. Партия учила писателей итти на фабрики, на заводы, на стройку, в коллективизированную деревню; итти не в качестве гастролеров, а в качестве работников в той или иной форме. Писатели работают в стенных газетах, писатели участвуют в производстве, выправляя в печати производственные ошибки, неполадки. Писатели делают на заводах доклады и чисто литературные и политические. Писатели живут единой жизнью пролетарской и колхозной массы.

Конечно, не все писатели одинаково выполняют этот наказ, но это общая линия, к которой в разной мере приближаются все писатели.

Ни одна страна не отдает столько внимания, ласковости, любви своей литературе, как Страна Советов. Это потому, что в условиях пролетарской диктатуры советская литература — органическая часть общепролетарского дела, строительства, борьбы. Советская литература для пролетариата, для колхозной массы — свое, родное, кровное.

С необыкновенной яркостью эта любовь, эта неразрывность сказалась на Всесоюзном съезде писателей. Съезд шли приветствовать и несли наказы Красная Армия, красные моряки, рабочие, ученые, пионеры, колхозники, женщины, старики, читатели всех профессий. А кто не мог притти на съезд, жадно следили за его работой в печати.

Этот съезд отразил в себе результаты гениальной политики партии: пятьдесят два братских народа — бывшие рабы царско-буржуазного строя, замученные, темные, беспощадно задавленные эксплоататорами, теперь свободные, развернувшие свою творческую силу, прислали на съезд своих писателей. Они создали и создают свою национальную по форме, социалистическую по содержанию литературу. Они пришли на съезд обменяться творческим опытом. Они пришли еще раз подтвердить единый громад-

ный фронт всех национальностей Союза в борьбе за социалистическое строительство.

Но съезд был интернационален и вовне: представители революционной литературы Германии, Франции, Англии, Италии, Америки, Китая, Японии и многих других стран выступали на съезде плечо в плечо с советскими писателями. Благодаря такому единству советских писателей внутри своей страны и вовне съезд имел огромное революционное организующее в мировом масштабе значение.

Но как и отчего так выросла советская литература? Как и отчего съезд советских писателей приобрел такое значение? Единственно оттого, что партия отдавала громадное внимание вопросам художественной литературы, вопросам организации писателей. В рабочей массе, в трудовом крестьянстве неисчерпаемо дремали литературно-художественные дарования. Партия под водительством товарища Сталина призвала их к грандиозной работе, и создалась единственная в мире социалистическая литература.

ВОСПОМИНАНИЯ О ГОРЬКОМ

Я подошел к парадному квартиры писателя Андреева. Снег медленно садился на деревья, на белую улицу, на горевшие по-ночному фонари.

Никак не подыму руку, чтобы нажать пуговку звонка. Запушенные снегом окна длинного одноэтажного дома по-зимнему и загадочно светились. Тут жил Леонид Андреев, писательская звезда которого и слава неожиданно вспыхнула, загорелась ярко и ослепительно. Я был с маленьким именем — журналист, писатель, — жил в глухих местах донской земли. Андреев — мы с ним не были знакомы — письмом пригласил меня переехать в Москву работать в газете «Курьер», в которой он принимал ближайшее участие.

Никак не подыму руку к звонку. Я знаю, за этими светящимися окнами в больших, уютных, тепло натопленных комнатах сегодня все, что было лучшего и знаменитого в России. Но главное — Горький.

Не подыму руку — страшно после провинции. И вдруг неожиданно для самого себя позвонил, и в ту же секунду остро прохватила мысль: «А не удрать ли?.. Метнуться за угол, только и видали, — и никто не узнает». Но было поздно: дверь отворилась. Вошел, разделся.

В длинной столовой за громадным столом сидело человек восемьдесят, все знаменитости, и никому из них не было дела до меня, никто не повернул головы. А я уж никого не различал, как в тумане. Андреев ласково меня усаживал. Застольный гул и говор колыхался из конца в конец. В отдаленном конце стола поднялся широкоплечий, высокий, с длинными откинутыми назад волосами, с открытым, смело глядящим лицом. Раздвигая стулья и людей, он подошел ко мне, взял за руку, сжал так, что у меня пальцы склеились, с славной улыбкой тряхнул и коротко:

— Горький...

Потом пошел назад, все так же раздвигая стулья. Гул, смех, говор сразу смолкли. Все головы ласково повернулись ко мне, за-

улыбались, закивали. Соседи задвигались, давая мне попросторнее сесть. Внимательно спрашивают, какого мне налить вина, как мне нравится Москва, как поживают мои детки, супруга. Одни накладывают мне на тарелку икры, лососины, семги, устриц, к которым я не знал, как приступиться. А с другой стороны льют мне в бокал вина, шампанское... Ух ты?! Вспотел... Сердце ласково билось, и я думал: «Так вот он, Горький».

Это первое впечатление от Горького потянулось через жизнь. Уже оба мы стариками стали, уже фигуры погнулись, а перед глазами немеркнуще: широкоплечий, в серой перехваченной блузе, и лицо гордо и смело закинуто, он чувствовал в себе рвавшуюся силу и хотел ее понести трудящемуся человечеству на счастье, на радость...

...Мне позвонили. Подхожу к телефону. Голос Горького. Понижегородски нажимает на «о»:

— Товарищ Серафимович? Здравствуйте. Заходите ко мне, потолкуем насчет издания ваших рассказов.

Только я вошел в его кабинет, он — большими шагами мне навстречу, крепко пожал руку, с хорошей, влекущей улыбкой и, все так же нажимая на «о», с места к делу:

— Вот задумал я дело, и большое дело. Надо собрать писателей. У нас отличные писатели есть, а все врозь. Вы сколько за лист получаете?

— Шестьдесят рублей.

Он сердито прошагал из угла в угол. Сел.

— Вы у нас будете получать триста. Это — для начала. Чехову, Андрееву мы платим по восемьсот. Писатель должен напряженно думать о своей вещи, а не о том, как он завтра достанет молока ребятишкам.

У меня все пошло кругом: неужели, неужели же проголодь, нищета, мучительное выколачивание строчек, — все это позади? И я могу писать спокойно, целиком отдаться творческой работе? И не будут надо мной с величайшим презрением издеваться толстосумы, в руках которых были издательства?

— Только... — Горький поднялся во весь свой рост, поднял палец, — ...только, чтобы писатель давал лучшее, что может дать. Каждый писатель может дать лучшее, если честный, у которого в душе лежат слитки... Ну, у одного побольше, у другого поменьше, не в этом дело. Золотая она, хоть крупинка, а золотая, — главное, честно относиться к своей работе. Ведь читать будут сотни тысяч, а дальше и миллионы. Революция созревает, рабочий класс все более и более революционизируется, и в этой атмосфере даже легальная (и потому охватывающая широкие массы), но честная литература сыграет большую мобилизующую роль. Рабочие умеют читать между строк, и всякая честная мысль найдет у рабочего отклик.

Он вдруг выбросил длинные и сильные руки вперед, вверх, вниз, два раза присел и вытянул ногу. Я смотрел во все глаза. Он улыбнулся, потрогал мои мышцы.

— Мускулы у вас ни к черту... Гимнастикой не занимаетесь. Ну, конечно, не до гимнастики! А надо. Я вот сегодня семь часов из-за стола не вылезал. Понимаете, рукописей горы. Ведь надо взвесить каждое слово, каждую строчку. Сотни тысяч читать-то будут!

В этот вечер я родился писателем.

Зеленых книжечек сборников «Знание» все ждали с величайшим нетерпением. Только выйдут, их моментально расхватывают в магазинах.

Горьковские сборники имели громадное значение. Они стали выходить, когда революционные настроения закипали все больше и больше. Сборники «Знание» помогали подыматься этим настроениям. Помещаемые в них художественные произведения, конечно, не были революционными в прямом значении этого слова, да это и невозможно было при тогдашней цензуре. Но таково удивительное действие внутренне честной, правдивой художественной вещи, что она, не призывая прямо к революции, прокладывает к ней широкую дорогу в сердцах, в чувствах людей.

Горький сумел сгруппировать вокруг издательства «Знание» все лучшее, что было среди писателей. Все же гнилое гнал беспощадно и яро.

Горький был не только гениальный, незабываемый пролетарский писатель, но и удивительный организатор. Две эти черты особенно ярко его характеризуют. Кипучая энергия всегда билась в его груди и сказывалась в его соприкосновении со всем окружающим. Неуемная жажда, неуемная энергия, бившаяся в груди Алексея Максимовича, прорывалась во всем — во встречах с людьми, в характеристиках людей, его разборе произведений молодых писателей, в его указаниях им, как писать, как освещать явления быта, общественности, всего окружающего.

...Я принес ему для сборника «Знание» мой рассказ «Маленький шахтер». Это — рассказ о мальчугане, сыне шахтера. Мальчика спустили в шахту откачивать ручной помпой воду. Он работает в темноте один и медленно, уныло считает: раз, два... тоненьким голоском. Все шахтеры наверху — праздник. Алексею Максимовичу рассказ понравился.

— Хорошо! — сказал он, нажимая на «о». Да вдруг поднялся во весь свой рост, протянул руку и проговорил взволнованно:

— Вы не забывайте: шахтеры — ведь это же рабочие! Они ведь создают все, что кругом. У вас они только бедненькие, забитые, — жалко их... А ведь это не вся правда. Шахты-то кто попрорыл? Кто взрывал каменные неприступные пласты? От воды-то захлебываются, — кто откачивал? Вот у вас

этот мальчонок, — ну, жалко его, конечно. Но вырастет, он же настоящий потомственный шахтер будет! Перед ним земля-то, недра раздвигаться будут. Это вот, знаете, забываем мы все... А надо помнить. А раз помнить, значит, и изображать.

Я шел от него оглушенный. Мимо катился шумный Невский, и фонари заливали его, и не было голубых теней.

«Как же это я мог пропустить такую громадину? — говорил я в сотый раз сам себе. — Ведь рабочий, ведь он же — творец. Ведь действительно нельзя же его изображать только бедненьким, забитым, темным. Ведь это же мировая сила, которая в конце концов свернет шею мировой буржуазии».

И сколько мне ни приходилось потом наблюдать Горького, когда он помогал молодым начинающим писателям, всегда Горький поправлял и направлял не только в области литературной техники, но еще больше в области изображения той силы, которая заложена в массах.

В боях фронт всегда выдвигает впереди себя отдельные части. На них сыпятся злые удары врагов.

Нет битвы более ожесточенной, более яростной, чем классовая схватка. И вот в этой колоссальной, теперь уже переходящей в революционно-мировую, схватке есть свои выдвинутые посты.

Одну из таких выдвинутых далеко вперед позиций занимает Максим Горький.

Мы здесь, в Советском Союзе, пишем боевые статьи, очерки, стихотворения, рассказы, — и это имеет громадную социальную боевую значимость. Это — неохватимое по своему значению оружие, и разящее и строящее. Но мы здесь бьемся плечо в плечо в товарищеском строе. Мы дышим дружеской атмосферой взаимной поддержки, уважения, любви. Мы все здесь среди своих, социально родных и близких.

Максим Горький — один. Он страшно выдвинут своей позицией в глубь вражеского стана. Он — в злобной вражеской атмосфере.

Конечно, он окружен не только ненасытной враждой буржуазии, но и любовью, сердечностью западноевропейского пролетариата, мирового пролетариата.

Только ведь пролетариат там пока плохо вооружен. Его печать скудна и большей частью вдавлена в подполье. Его чувства и мысли трудно пробиваются вовне. А рев подлых глоток буржуазной печати сплошь затягивает гнилым туманом, все извращая.

И вот тут-то выделяющаяся из желтого тумана фигура Максима Горького отовсюду видна. И его голос, голос правды о строящемся социализме в стране пролетарской диктатуры, звучит до самых далеких краев. И гнилостные волны буржуазной лжи и клеветы не в состоянии подавить этот ясный, четкий, честный голос, и пролетариат мира слышит его.

Сегодня он возвращается на родину.

Мы встречаем не только крупнейшего нашего писателя, но и бойца на одной из самых выдвинутых позиций в толщу врага.

Имя Горького, великого русского писателя, его пламенная любовь к родине и неукротимая ненависть к фашизму сейчас, в дни Великой Отечественной войны, вдохновляет советских людей, доблестных воинов Красной Армии на подвиги в боях за честь и свободу нашей земли.

В творчестве Максима Горького выражены лучшие черты русского народа: сила, мужество, выносливость, воля к победе, высокий патриотизм, уважение и вера в человека.

Горький знал, что фашисты могут двинуть против Советского Союза полчища разбойников, грабителей и убийц. И, предвидя грядущую битву, битву, которую мы сейчас ведем, он сказал однажды, что на эту священную борьбу встанет весь советский народ, «встанет армия, каждый боец которой будет хорошо знать и чувствовать, что он бьется за свою свободу, за свое право быть единственным властелином своей страны. Этот боец победит».

По складу своего характера Горький был подлинным бойцом. В работе, в борьбе с врагами родины он горел и никогда не отступал перед трудностями. Любимым и главным героем творчества Горького был гордый человек, способный, подобно юноше Данко, поднять свое сердце, как факел, указывающий людям дорогу к свету, к свободе. Высшей похвалой человеку в устах Горького было: «Годен для драки!»

Таким нетерпимым к злу, ко всякой несправедливости и рабству борцом, страстным и мужественным, знал я Горького.

Горький всегда был занят, всегда работал — с утра до поздней ночи. Он боролся с тогдашними мракобесами, учил и помогал молодым писателям, собирал деньги на революционное движение. Горький любил трудовых людей, и масса народа, самого разнообразного, с самыми разнообразными нуждами толклась у него целые сутки. За Горьким охотилась полиция, но это его не останавливало.

В течение всей своей жизни Горький был и оставался не только писателем, но и революционером, активным общественным деятелем. Он пользовался огромной любовью и уважением великих наших учителей — Ленина и Сталина.

В последние годы А. М. Горький был одним из крупнейших организаторов антифашистского фронта. За ним следовала передовая литература Запада. Горький писал, что фашизм «...по сути его, является организацией отбора наиболее гнусных мерзавцев и подлецов для порабощения всех остальных людей... Вышеназванные мерзавцы и подлецы... озабочены расширением и укреплением наглого и откровенного деспотизма, небывалого по бесчеловечию порабощения трудового народа. Термины «подлецы»

и «мерзавцы» я употребляю только потому, что не нахожу более сильных».

Приход к власти фашистов в Германии, сопровождавшийся кровавой резней, истреблением лучших людей страны, Горький гневно называл подлой победой «Тройного, зловонного «Г» (Гитлер, Геббельс, Геринг)».

Весь свой талант, все силы своего горячего сердца Горький отдал борьбе за свободу и счастье трудового народа. Он много сделал и много мог еще сделать.

В последний раз я видел Горького незадолго до его смерти. Это было в Москве. Большой особняк, в котором жил Горький, казался мне особенно тихим и непривычно пустынным. На этот раз Горький был один.

Горький чувствовал, что его окружают не свои люди. Под разными предлогами они старались изолировать его, вырвать из горячей творческой жизни и работы, без которой он не мог жить. Горький не мог определить точно, где враг. А враги очень тонко плели вокруг него свою сеть.

Фашизм всегда боялся правды. Поэтому для фашистов был страшен Горький. Они понимали, какую огромную силу таят в себе честные и правдивые слова великого писателя. Фашисты купили предателей из уничтоженной нами «пятой колонны», подослали наемных убийц в дом Горького и убили его.

Подлые наемники фашизма злодейски убили нашего родного, любимого Горького. Их имена проклинает все передовое человечество.

Это было в 1936 году.

Но такие люди, как Горький, не умирают. Великий русский писатель — с нами. В одной из последних своих статей Алексей Максимыч писал, что он, старик, пойдет рядовым бойцом в тот бой, который предстоит Красной Армии. Армия, рядовым бойцом которой мечтал быть такой человек, как Горький, эта армия непобедима.

С новой силой звучат сейчас слова Горького, их свято хранит в своем сердце каждый советский человек:

«Если враг не сдается — его уничтожают!»

У ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ УРНЫ

Я иду через двор. С боков, спереди, сзади высятся кирпичные многоэтажные дома, — живут тысячи рабочих Трехгорки. Подметено, и желтеет посыпанный песочек. Деревья зеленью кудрявятся. Ребятишки щебечут и скачут, как воробьи. И радостно ласкает глаз: все одеты заботливо, чисто, в костюмчиках. Иные катаются на детских велосипедах. Да, эти никогда не видели и никогда не увидят отрепьев.

Подымаюсь по крутой звучащей железом сквозной лестнице, прилепившейся снаружи к высокой кирпичной стене. Далеко внизу — щебечущий смех бегающих ребятишек.

Еще вчера пыльная, неуютная большая комната сегодня неузнаваема — ковры, пальмы, кресла, письменные столы, чистота. К какому же это празднику приготовились? К громадному: выборы в Верховный Совет РСФСР. Мне оказана большая честь и доверие: я избран членом избирательной комиссии Краснопресненского округа.

Это — штаб избирательного округа. Рабочие, работницы, коммунисты, беспартийные — всех нас одиннадцать человек. Как в хорошем штабе, здесь спокойно, внутренне сосредоточенно, деловито. Убрано многословие, но люди живые: прозвучит смех, вспыхнут улыбки, — и опять спокойно, деловито, сосредоточенно.

Старинные, почерневшие фабричные корпуса и новые светлые постройки, как горы, тесня, обступили фабричный двор. Он весь залит народом. Далеко у стены на возвышении президиум. Я не пошел в президиум, смешался с этой залившей двор толпой: Трехгорная мануфактура намечает кандидата в Верховный Совет.

Я стою на покатом возвышении, — всех видно до самого края. И как во дворе общежитий глаз ласкают эти живые смеющиеся розовые личики ребятишек, так веселит глаз эта залитая солнцем толпа, одетая по-праздничному. Цветут девушки с вырывающимися из-под пуховых шапочек завитыми кудрями. Строго одеты

пожилые, и белеют воротнички, из-под которых выбегают галстуки у молодежи. И здесь царит спокойствие, уверенность, как и там, в окружной комиссии.

Над громадной толпой — нешевелящаяся тишина. Слушают, не сводя глаз с президиума. Глубокое единение коммунистов и беспартийных, быть бдительным, всем превратиться в стахановцев — все это уже всасывается в плоть и кровь, в психику, все это бьется внутри вместе с сердцем. Будто у каждого в этой толпе гигантским напряжением свернута невидимая пружина, и как только придет время, она развернется невиданным напором против любого врага. Эта выдержанность, эта внутренняя сосредоточенность, когда там, в поднятом над толпой президиуме, звучит любимое имя, имя Сталина, вдруг дает себя знать громом аплодисментов, восклицаний, возгласов.

Народ-гигант неохватимо-колоссальной страны, весь народ с поднятыми в руках бюллетенями стоит перед фигурой Сталина и говорит голосом, слышным по всей неохватимой стране, по всему миру: «Друг наш, учитель наш, вождь наш!..» и «отец наш!..» — громким голосом, вся громада народа.

И это — от сердца. Это от сердца, из самой глубины его, искренно до слез. И этого никогда не бывает в буржуазных странах, никогда!..

Но откуда это? Почему это так?

Представьте себе — слепой. И стали его лечить. И однажды он открыл глаза. И перед ним блеснул мир, чудесный, сияющий мир. И бывший слепой кинулся к исцелившему его, обнял его и крикнул: «Отец мой... родной мой!..» Да разве кто заподозрит здесь неискренность, искусственность, самоуничижение?.. Открывшиеся глаза, залитые счастливыми слезами, без слов говорили: «Счастье!.. Счастье!.. Отец наш!..»

Что же увидел слепой? Что же открыл он в новом блеснувшем мире?

Он увидел, как земледелец откинул соху и заработал трактор, комбайн. И это было счастье.

Он увидел, что рабство капитала сброшено — нет рабов, нет рабовладельцев. И это было счастье!

Он увидел, что сам народ стал господином своей судьбы. И это — счастье, великое, все озаряющее счастье.

И он увидел Сталина и его соратников, выковывающих это счастье. И это было великое счастье.

Грянула война! И Сталин двинул против подлого, кровавого врага Красную Армию. Было тяжело. Красная Армия прижалась к Волге. Потом рванулась и сломала хребет подлому врагу. И это было счастье, неизгладимое, непогасающее счастье, ибо было разбито надвигающееся, как черные тучи, кровавое рабство. И вновь засияло счастье.

И все увидели мощную фигуру Сталина, его соратников, могучую, удивительную коммунистическую партию, творящую новый строй.

И засияло счастье!

Товарищи писатели, напряжем все наши творческие силы, создадим произведения, которые помогут творчеству великого народа, великой нашей партии, нашему чудесному социалистическому правительству.

Да здравствует наш великий вождь, наш друг и учитель, Иосиф Виссарионович Сталин!

С ВЫСОТЫ ВОСЬМИДЕСЯТИ ПЯТИ ЛЕТ

Скитаюсь, бывало, по горным кряжам. Идешь и идешь, поднимаешься все выше, выше, в гору. Перед глазами кусты, камни, змеистая тропа. Болят ноги, тревожно и напряженно бьется сердце; на лбу — испарина и набухшие жилы. Тяжел и труден подъем. Хочется сесть или лечь, а то и отказаться от подъема к манящей вершине. И вдруг оглянешься и ахнешь: какой простор открывается с вершины! И радостно вздохнешь... И почему-то грустно, и рой неосознанных дум и образов волнует сердце.

Так вот и сейчас — с высоты своих восьмидесяти пяти лет, оглядываясь на ушедшие десятилетия, невольно хочется вскрикнуть:

— Друзья! А жизнь-то какая чудесная! Да как она вкусно пахнет!

...Шалит сердце; какие-то колесики и пружинки внутри поскрипывают; отяжелевшие ноги подгибаются и тянут прилечь и забыться. А оглянешься на пройденное, вдохнешь густой аромат нашей жизни, — и хочется опять продолжать подъем, преодолевать все препятствия, лишь бы еще... ну хотя бы вот до этой вершины подняться и там, оглянувшись, порадоваться голубым бескрайным просторам нашей жизни, ее многоцветной и ароматной радости...

Мне выпало большое счастье: я стою на пороге коммунизма. Коммунизм подходит в пламени войн, порою в голоде, в холоде, в смертных муках, медленно, но — непрерывно, неуклонно и неотразимо. Часто его не угадываешь. Но он, коммунизм, с несокрушимой силой мнет старые привычки жизни, старые отношения людей друг к другу, прокладывая новые пути.

...Прекрасна наша повседневная ожесточенная борьба, прекрасна наша жизнь, еще прекрасней будущее. И я безмерно счастлив, что из мрака прошлого, преодолев владычество трех царей, мне удалось хоть краешком глаза заглянуть в будущее нашей родины, наших людей. И хочу по-стариковски сказать молодежи напутственное слово:

— Жизнь пахнет упоительно! Жизнь наша — необъятный голубой простор моря! Так украшайте эту жизнь еще более, еще более раздвигайте ее просторы!

КОММЕНТАРИИ

РАССКАЗЫ И ОЧЕРКИ*

Избранные сочинения А. С. Серафимовича печатаются в двух томах. В первый том включены рассказы, очерки и статьи; во второй том — повести и романы. В каждом из томов произведения расположены в хронологическом порядке.

«На льдине». — Первое произведение писателя. Рассказ был написан в 1887—1888 гг. во время пребывания А. С. Серафимовича в ссылке в городе Мезени, бывшей Архангельской губернии.

Рассказ «На льдине» написан под некоторым влиянием Короленко. «Товарищи по ссылке, — рассказывает Серафимович, — слушавшие рассказ, говорили: «Ты лупишь прямо целые страницы из Короленко». Это меня в свое время немало огорчало, но тут была большая доля истины».

В своей автобиографии писатель рассказывает, что он писал рассказ в пол-листа почти целый год. Часами обдумывалась каждая фраза написанное перечеркивалось, переделывалось, вновь зачеркивалось и вновь переделывалось. «В день писал по 5—10 строк, мучительно перерабатывал..»

Рассказ «На льдине» впервые был напечатан в газете «Русские ведомости», 1889 г., 26 февраля, № 56, и 1 марта, № 59.

«На плотах». — Это третье по счету художественное произведение Серафимовича (второе «В тундре» было потом переозаглавлено: «Снежная пустыня»). Автор считал, что рассказ «На плотах», тоже написанный в ссылке, «с формальной стороны крепче и слаженней, чем первый». «Тут, — говорит он, — влияние Короленко уже меньше чувствуется. Я по крайней мере всеми силами старался отходить».

Рассказ впервые был напечатан в газете «Русские ведомости», 1890 г., №№ 148 и 153.

«Стрелочник». — Рассказ написан по материалу, собранному писателем на станции Котельниково, строившейся тогда железнодорожной ветки Царицын (Сталинград) — Тихорецкая. По возвращении из ссылки Серафимович

* Цитаты из высказываний А. С. Серафимовича приводятся по его авторизованному десятитомному собранию сочинений, изданному Гослитиздатом.

в 1891 году там прожил некоторое время у своего брата, управлявшего местной маленькой аптечкой. Сюда, по словам Серафимовича, приходили за лекарствами железнодорожники — машинисты, сцепщики, стрелочники, кондуктора и члены их семейств. Писатель, поддерживая тесную связь с железнодорожниками, собрал здесь большой материал.

Рассказ впервые был напечатан в газете «Русские ведомости», 1891 г., 21 июня, № 198, стр. 2—3.

«Маленький шахтер». — После отбытия ссылки и возвращения в родную станицу Усть-Медведицкую (ныне город Серафимович) писателю после долгих мытарств было разрешено жандармами поселиться в г. Новочеркасске, бывшей области Войска Донского, и передвигаться по Дону.

Получив свободу передвижения по Дону, Серафимович со всякими ухищрениями и предосторожностями, обманывая полицию и следивших за ним жандармов и сыщиков, стал выезжать на ст. Шахтную, лежавшую в сорока километрах от Новочеркасска, и, установив здесь тесную связь с шахтерами, которые переодевали его в шахтерский костюм, он часто спускался в шахты, стремясь поглубже изучить шахтерский быт.

Рассказ под первоначальным заглавием «Под праздник» долго лежал на полке писателя в папке «убиенных» цензурой или равнодушием и ненавистью тогдашних буржуазных редакторов к рабочей тематике. А. Серафимович предложил этот рассказ под заглавием «Маленький шахтер» Максиму Горькому для сборника «Знание». М. Горький рассказ принял, отметив, однако, что автор недостаточно глубоко показал творческие силы рабочего класса.

«Семишкура». — Тема, по словам автора, была им взята из действительного случая на той же ст. Шахтной. «Современному советскому читателю трудно себе даже представить, — рассказывает Серафимович, — тогдашний каторжный шахтерский быт. Жестокий и неумолимый капиталистический закон: выжать как лимон и выбросить вон».

Когда и где рассказ впервые был напечатан, точно установить не удалось. Автор относит этот момент к периоду до 1897 года. Повидимому, этот рассказ тоже долго не находил себе места в дореволюционных журналах и газетах и годами лежал на полке в папке «убиенных».

«Инвалид». — Серафимович в 1897 году сотрудничал в газете «Приазовский край», издававшейся в Ростове-на-Дону. Газета имела свою типографию, которая помещалась тут же при редакции, в нижнем этаже. Серафимовичу, как постоянному внутреннему литературному работнику редакции, то и дело приходилось спускаться в подвал к наборщикам. Со многими из них он сблизился. Наборщики, как и другие рабочие, всегда стояли на краю безработицы: сегодня работаешь, а завтра — на улице. А когда подойдет старость, неминуемо выбросят как ненужную «ветошь».

Когда и где первоначально был напечатан рассказ, установить не удалось. Автор полагает, что написание его относится к тому периоду его жизни на Дону после ссылки, когда он работал в газете «Приазовский край», то есть к 1897 году.

«Прогулка». — В Мариуполе (теперь г. Жданов) Серафимович, по его словам, жил очень серо, заедала тоска. Городишко захолустный, публики такой, с которой можно было бы сойтись, потолковать о литературе, не было. Томило одиночество.

Рассказ впервые был написан в Мариуполе и помещен под тем же названием, с подзаголовком «На Азовском море», в №№ 274 и 275 газеты «Приазовский край», от 19 и 20 октября 1897 г.

«Месть». — Основой для сюжета послужили рассказы рыбаков. «Главное, на что мне хотелось обратить внимание, — рассказывает Серафимович, — это на тяжелые условия работы рыбаков, особенно зимой. Азовские рыбаки работали с постоянным риском для жизни».

Рассказ впервые был напечатан в газете «Приазовский край» в Ростове-на-Дону, 1897 г., 16 и 17 декабря, №№ 330 и 331.

«На курорте». — «Тут, — говорит Серафимович, — изображается ялтинская жизнь, с которой я был хорошо знаком, так как сам болел туберкулезом и ездил в Крым лечиться».

Впервые рассказ был напечатан в московской газете «Курьер», 1902 г., 21 и 22 августа, №№ 230 и 231.

«В камышах». — Место и время первоначального напечатания рассказа не установлены.

По предположению автора, рассказ был напечатан под псевдонимом, датируется 1900—1901 годом.

«Преступление». — Работа в донских газетах плохо обеспечивала; чтоб «перебиться», писателю пришлось временно стать чиновником. Он поступил на службу в Донское Областное правление.

«Попав в новую для меня чиновничью среду, — рассказывает Серафимович, — я был поражен ее заскорузлостью и музейной консервативностью; пришлось столкнуться с чиновничьими типами, словно сошедшими с гоголевской палитры. Я написал заметку в газете. Изобразил «бумажную» жизнь, нудную обстановку, среди которой чиновники живут и работают. Описал часами дожидающихся в хвосте просителей. Результат сразу получился эффектный. Меня с треском выкинули из учреждения. На этом я и закончил свою недолгую чиновничью карьеру».

Рассказ впервые был напечатан в «Журнале для всех», 1902 г., № 9, сентябрь, стр. 1035—1052; № 10, октябрь, стр. 1157—1174.

«Лихорадка». — Как известно, ранний Серафимович встретил чуткое и внимательное отношение к себе со стороны писателя В. Г. Короленко. В т. IX, кн. 27 полного собрания сочинений последнего (изд. А. Ф. Маркса, Петроград, 1914 г., стр. 341—343) по поводу вышедшего в 1901 году в свет первого сборника рассказов А. Серафимовича находим весьма положительную его оценку.

«Г. Серафимович не новичок в литературе, — писал В. Г. Короленко. — Если не ошибаемся, уже около десяти лет назад появились в «Русских ведомостях» его рассказы «На плотах» и «В тундре», в которых изображались

картины нашего Севера. Прекрасный язык, образный, сжатый и сильный, яркие, свежие описания и набросанные эскизно и бегло, но все-таки живые фигуры, — все это не прошло незамеченным для тех, кто читал эти очерки. К сожалению, после этого г. Серафимович появлялся в литературе редко, и рассказы его, небольшие по объему и отдаленные друг от друга значительными промежутками времени, не суммировались в памяти широкой читающей публики. Теперь они выходят отдельным изданием». Заканчивает В. Г. Короленко свою критическую заметку так: «Это как будто акварельные наброски, сделанные на ходу умелой и талантливой рукой наблюдателя».

История напечатания рассказа «Лихорадка» связана с именем В. Г. Короленко.

Дело происходило в старом Петербурге на Невском. Серафимович приехал из Новочеркасска. Надо было выходить на более широкую дорогу. Но это было не так легко.

Приехал Серафимович в столицу с очень малыми деньгами; знакомых и друзей у него не было. Поселился в маленьком номерке, отнес рассказ в журнал «Русское богатство», просил передать Короленко и стал ждать. Оказалось, ждать пришлось дольше, чем он рассчитывал.

Началось систематическое голодание. Писатель рассказывает, что были дни, когда у него во рту не было куска хлеба:

«Потерял надежду. С трудом доплелся до редакции и вдруг услышал ответ: «Ваш рассказ — хороший, пойдет...» Я земли под собой не чуял. Во сне это или наяву? А мне говорят: «Вам, наверное, деньги нужны... мы можем выдать вам авансом...» Обласкали, приободрили, я ведь было уж совсем упал духом... Разговаривали со мной в редакции «Русского богатства» поэт Якубович (Мельшин) и потом Короленко. От этих разговоров я буквально воскресал. Особенно тронул меня Короленко. Необычайная мягкость и искренность. И это не было в нем наиграно, а совершенно естественно. Простота — не для того, чтобы удивить, как это делали иные «знаменитые писатели». — простота безыскусственная. Я был тронут буквально до глубины души».

Впервые, с подзаголовком «Этюд», рассказ был напечатан в журнале «Русское богатство», 1903 г., № 7.

«В бурю». — С жизнью рыбаков Серафимовичу пришлось близко столкнуться в Мариуполе (г. Жданов), где он жил после ссылки, работая там в качестве корреспондента газеты «Приазовский край». «Я, — рассказывает он, — иногда уходил с рыбаками на шлюпке далеко в море и тут наблюдал всю тяжесть рыбачьего промысла, связанного с непосредственной опасностью для жизни».

Место и время первого напечатания рассказа не установлены. Автор полагает, что он был впервые напечатан в отдельном издании «Донской речи», № 45, Ростов-на-Дону (ценз. разр. 16 мая 1903 г.).

«На берегу». — Все описанное в рассказе произошло в г. Керчи на Азовском море. Серафимович указывает, что он использовал тут свои ростовские наблюдения над грузчиками.

Впервые рассказ был напечатан в «Журнале для всех», 1903 г., № 4, апрель, стр. 399—412.

«Ледоход». — Случай, описанный в рассказе, произошел в г. Мариуполе (г. Жданов).

Рассказ долго лежал в стопке «убиенных» цензурой и буржуазно-либеральными редакторами за его «тенденциозность», то есть классовую заостренность. «Но на издательской арене, — говорит Серафимович, — появился могучий организаторский талант Горького, который буквально спас положение и дал нам возможность не только напечатать безнадежно лежавшие на полке произведения, но и продвинуть их к настоящему, интересовавшему нас читателю — рабочему и крестьянину».

Под революционным напором рабочих и крестьянских масс после поражения в войне с Японией самодержавие пошатнулось и было вынуждено пойти на ряд либеральных «реформ». Цензуре пришлось значительно ослабить прежний гнет. Этим моментом воспользовался Горький и переорганизовал издательство «Знание», в сборниках которого нашли себе место многие произведения, отвергнутые буржуазными редакторами и цензорами. Приглашенный Горьким А. Серафимович сумел в сборниках «Знание» быстро развернуть свое огромное литературное дарование.

В письме к писателю Н. Телешову Горький 2 декабря 1901 года писал: «А у кого издавать? Мой крепкий совет — валяйте у «Знания»!.. Если книжка выйдет у «Знания», я поручусь, что она пойдет в деревню через земские склады...» Сборники «Знание» печатались шестидесятитысячным тиражом, — для того времени это был тираж колоссальный. Благодаря такому широкому распространению книг, выпущенных «Знанием», произведения Серафимовича стали проникать глубоко в народную толщу. Их читали не только рабочие на фабриках и заводах, но даже и более грамотная часть крестьянства, до которой книги «Знания» доходили через земские склады. Особенно широкое распространение получили произведения Серафимовича этого революционного периода после того, как ряд издательств — «Донская речь», «Знание», «Освобождение» и другие — приступили к изданию его отдельных рассказов по серии «Дешевая библиотека». Книжки выпускались ценою от 2 до 5 копеек. Они были хорошо иллюстрированы и расхватывались деревенскими читателями, как только там появлялся земский книгоноша.

Где и когда рассказ был напечатан впервые, точно установить не удалось.

«Сцепщик». — Материал для этого рассказа, как и для «Стрелочника», взят на ст. Котельниково, где Серафимович жил у своего брата, работавшего в маленькой сельской аптечке.

«В «Сцепщике», — говорит Серафимович, — я воспроизвел тогдашнюю реальную действительность. Однако и этот рассказ причислялся редакциями тогдашних журналов к «агиткам». Деликатно и ласково, но недвусмысленно, давали понять, что такие рассказы «тенденциозны», то есть антихудожественны. Свою «агитку» я осмелился все-таки прочитать вслух на большом собрании у Телешова, на его даче в Малаховке. И все, начиная от Ивана Бунина и кончая критиком Белоусовым, по прочтении понуро многозначительно молчали. Не удостоили ни единым словом. Однако этот рассказ был взят Горьким для «Дешевой библиотеки» «Знания» и выдержал несколько массовых изданий и еще до революции печатался большими тиражами».

Где и когда впервые был напечатан рассказ, точно установить не удалось. Автор допускает, что рассказ впервые был напечатан по рукописи в сборнике «Рассказы», изд. «Знание», 1903 г., т. I.

«Заяц». — «Тему этого рассказа, — говорит Серафимович, — дал мне Леонид Андреев. Вычитал он о случае с «зайцем» в газетах: дело было на Волге. Андреев думал сначала сам написать, а потом предложил: «Пиши ты». У Андреева же на даче в Финляндии (в Ваммель-су — Черная речка) я начал писать рассказ, а закончил его в Крыму. Когда рассказ был написан, я прислал его Андрееву и просил передать Горькому для очередного сборника «Знание».

По поводу рассказа «Заяц» Леонид Андреев написал Серафимовичу в 1904 году два письма. В первом он писал: «Красота моя! Только что вернулся из ПБ. Читал твой рассказ. Горькому понравился, и в одном месте сей нелепый человек прослезился. Но нашли и некоторые длинноты, и, в частности, Пятницкий, во имя наборщиков, недоволен отсутствием твердого знака и неразборчивостью. Но так как нужно очень скоро, то просили меня: не могу ли я сократить с твоего согласия и отдать переписать, о чем тебя уведомляю. Ответь телеграммой, так как нужно как можно скорее. Сегодня прочту «Зайца» на «Среде».

Андреев прочитал рассказ в отсутствие Серафимовича на «Среде», в квартире критика Сергея Глаголя (С. Голоушева). Вот второе письмо Андреева о впечатлении от читки, произведенном на писателей: «Милый мой Лысогор! Прочел твоего вонючку на «Среде» у Голоушева. Вначале хохотали, потом развесили рты и, наконец того, разогорчились, и некоторые, преимущественно особы нежного пола, даже до покраснения носа и глаз. Впечатление рассказ произвел сильное и хорошее. Читался он после очень недурного рассказа Скитальца (о деревне), но это не повредило ему, а скорее помогло: выделило его безыскусственность, мягкость и юмор». «Среда» одобрила единогласно, и не просто так, от доброты сердечной, а серьезно и с весом. Разногласия в подробностях. Зайцев, Помялова и, кажется, Кожевников говорят, что топить мужика не надо, а следует выпустить его на пустынный берег. Добров и другие горячо за утопление. Ив. Бунину нравится описание парохода, движения. Он же и некоторые другие уверяют, что в описании города ночью (с половины 13-й до половины 14-й) ты подпал под влияние известного писателя-порнографа Андреева. Недовольны также фразой: «соборовались, чего и вам желаю» и некоторыми излишествами в *перечислении* предметов. В частности, очень хвалят мужичка, — и я скажу: удался он тебе. Анекдотичности не усматривают, а находят нечто общее. Один экземпляр послал Пятницкому, другой тебе... Твой *Леонид.* Сократил «Зайца», но мало — рука не подымается».

Впервые рассказ был напечатан Горьким в сборнике «Знание» за 1904 год, кн. 5, СПБ., 1905 г., стр. 161—184.

«Никита». — «В ту пору, — рассказывает Серафимович, — я подолгу живал в Ростове-на-Дону и часто наблюдал там перед запертыми заводскими воротами кучки народа: на серых, землистых лицах было написано одно: как бы скорее попасть на работу, то есть, как бы добыть наконец кусок

хлеба!.. Безземельные бедняки, батраки, исторгнутые из хуторов и деревень, шли вслепую, движимые вперед голодом, аккуратно вылеживали перед воротами заводов, с неистощимым «восточным» терпением, в ожидании работы. Так — неделями, месяцами, полугоднями. Лежали безработные и на дороге, когда я ездил по донским степям на велосипеде, — и обычный их вопрос был: «Не слыхал ли насчет работенки?.. Сказывали, будто требуется на кирпичном... Нельзя ли, милачок, попасть?.. Дома в деревне ребятишки с голоду мрут...» Таков был тогдашний рабочий быт».

Рассказ впервые был напечатан в «Новом слове», 1906 г., № 5, стр. 100—103; № 6, стр. 123—127; № 8, стр. 162—184.

«Бомбы». — Революционные произведения Серафимовича о 1905 годе оставляли в массовом читателе глубокое впечатление, революционно воспитывали. Железнодорожники Ленинской железной дороги опубликовали в «Известиях» (19 января 1933 г., № 19) обращение к Серафимовичу, в котором писали: «...в годы мрачной царской реакции ты давал картины рабочего угнетения и эксплоатации, зажигая тем самым сердца рабочих ненавистью против буржуазии и буржуазного строя. В первую революцию ты был вместе с рабочим классом на улицах восставшей Красной Пресни, где лилась на баррикадах рабочая кровь. Твои незабываемые рассказы о первой революции вдохновляли борцов на продолжение борьбы». Рабочие и работницы большой Дмитровской мануфэктуры имени Балашова в свою очередь писали Серафимовичу из г. Иванова («Правда», 20 января 1933 г., № 20 (5546): «Твои произведения, тов. Серафимович, понятны каждому рабочему читателю. Книги твои расходятся в нашей фабричной библиотеке нарасхват: за сердце хватают повести о 1905 годе». А. В. Луначарский («Сборник юбилейных речей и статей»; М., ГИХЛ, 1934 г.) отмечает: «Особое место занимают в жизни и творчестве нашего писателя очерки, написанные им под влиянием потрясающих событий 1905 года. Рассказы-очерки «На Пресне», «Мертвые на улицах» и др. остаются прекрасным памятником тех многознаменательных дней».

«Таких жен рабочих, как Марья в рассказе «Бомбы», — говорит Серафимович, — я наблюдал на Пресне. В дни декабрьского восстания в Москве многие женщины в рабочих семьях не только не проявляли трусости, но и активно толкали своих мужей, а матери — сыновей на улицу, на борьбу. Я знал таких пресненских работниц; они становились рядом с мужьями в колонны дружинников, неся на своих плечах наравне с мужчинами все тяготы неравной борьбы с самодержавием. Мне хотелось вылепить развернутый реальный образ «декабристки» 1905 года. Перед глазами стояли героические женщины 1905 года, которые вместе со своими товарищами по работе, вместе со своими мужьями, братьями, сыновьями, отцами пилили телеграфные столбы, снимали ворота с домов, таскали доски, бревна, бочки и строили баррикады, скрепляя их проволокой. Некоторые при этом оставляли дома без призора маленьких детей. Я хотел показать пролетарскую обстановку, в которой выковывалась такая воля к борьбе и такое мужество».

Этот рассказ, под заглавием «Дома», первоначально был напечатан в «Русской мысли», 1906 г., № 9, сентябрь, стр. 1—8.

«На Пресне». — В очерке «На Пресне» Серафимович дает много собственных переживаний в памятные декабрьские дни. Он жил тогда на Пресне, в Волковом переулке, возле Зоологического сада, второй дом от угла Пресни. «Дом этот, — рассказывает Серафимович, — большой, шестиэтажный. Я с двумя своими мальчиками и с няней жил в шестом этаже. Окно моей комнаты как раз выходило на каланчу Кудринской площади (теперь — площадь Восстания), а с этой каланчи городовые зверски палили по темным окнам обывательских квартир. Устроили проклятые «соревнование»: кто больше.. Подчиняясь дубасовским приказам, мы не зажигали огней, занавесили окна, чем могли, одеялами, тюфяками, одеждой, — ничего не помогало: мерзавцы-городовые целили и в темные окна. Пули летели по всем этажам. И все-таки и в такой обстановке я умудрялся записывать впечатления. Стрельба шла своим порядком, а я сидел и писал. Думаю, все равно — пуля всюду найдет...

В очерке «На Пресне» у меня описывается жуткая ночь после того, как пришли семеновцы, и полковник Мин открыл канонаду по всем правилам войны с неприятелем. Один снаряд ударил в квартиру как раз под нами, в пятом этаже, и все разметал. Двое суток так били. Как на театре военных действий. Пришлось с детьми полезть в подвал, как у меня описано.

Еще очень донимали поджоги домов. Кругом — зарева. Было светло, как днем. Рядом с нашим домом все кругом было охвачено огнем. Целый квартал горел. А имущество спасать не позволяли — ни одной вещи не разрешали вынести. Наш дом находился, можно сказать, в самом центре борьбы. Около нас происходили самые жестокие схватки...

Помню, меня в декабрьские дни поразило, как горсточка плохо вооруженных людей, не больше 5—7 человек, останавливала целую полусотню казаков. Мне изредка приходилось перекинуться словечком с этими мужественными людьми...

Основной задачей я ставил себе: запечатлеть хотя бы в беглых очерковых чертах жестокость усмирителей и хотя бы в скрытой «косвенной» форме показать «безумство храбрых», мужество горстки бойцов, сражавшихся на Пресне ..

Особенно поражали дети и подростки; они брали на себя самые рискованные поручения, выслеживали движение врага, пробирались в самые опасные места, служили разведчиками, предупреждали, предостерегали. Дети горели борьбой своих отцов, и их трудно было согнать с революционного поста. Дружинники были окружены вниманием и любовью рабочего населения, их угощали, перед ними магически раскрывались двери любой квартиры. В своем очерке я, понятно, этого показать не мог».

Впервые очерк был напечатан в сборнике «Знание», кн. 10, СПБ., 1906 г., стр. 135—164.

«Похоронный марш». — «Описанный в «Похоронном марше» случай отказа казаков стрелять в рабочую демонстрацию, — говорит Серафимович, — действительно произошел в Москве, у Зоологического сада, недалеко от дома, в котором я проживал тогда с семьей.

Против демонстрантов выслали 1-й Донской полк, который и остановил движение демонстрантов. Но рабочие выслали к казакам «парламентеров», и после недолгих переговоров казаки наотрез отказались стрелять в рабочих.

Невзирая на приказание офицера, они не пожелали даже разгонять демонстрантов нагайками. В отдельных кучках казаки братались с рабочими.

Самодержавие как зеницу ока берегло прежде всего и пуще всего армию, на которую опиралось, и настроения армии не могли тогда, по условиям времени, найти себе отражение».

Рассказ впервые был напечатан в сборнике «Знание», кн. 9, СПБ., 1906 г., стр. 253—261.

«Среди ночи». — Уже с ранней весны 1905 года Москва забурлила. Рабочие устраивали в Сокольниках, в Богородске, в Петровском парке и других окрестностях так называемые «массовки», на которых выступали партийные ораторы, призывавшие к революционному выступлению. «Я, — рассказывает Серафимович, — при всем желании не мог бывать на этих рабочих собраниях, так как они были строго законспирированы и на них можно было попасть лишь по особым паролям. Собрания обычно происходили в оврагах или в скрытом лесу, причем выставлялась цепь сторожевых постов, на обязанности которых лежало дать знать при малейшей опасности появления жандармов и полиции. Живя в густо населенном рабочими районе Пресни, я узнавал от своих соседей и от знакомых рабочих про ожесточенные споры о тактике, которые тогда велись на «массовках». Рабочие передавали мне подробно и содержание некоторых речей как выступавших ораторов, так и рядовых рабочих. Эти рассказы рабочих послужили для меня прекрасным материалом и были мною максимально использованы.

Я решил показать рабочую массовку не на московской окраине, а в обстановке более живописной. Болея туберкулезом, я в те годы ездил летом в Крым и много ходил по горам южного берега Крыма. Сюда я и перенес московскую массовку, и вышло живописнее и интереснее.

Рассказ «Среди ночи» был тщательно отредактирован Горьким, который взял его для девятой книги сборников «Знание», вышедшей в 1906 году. Горький в том месте рассказа, где у меня мать рожает, — помню — рекомендовал вставить: «явился новый человек».

Так как цензура в то время, по словам писателя, «отпустила писательское горло», то «Знание» имело возможность сохранить полностью в напечатанном сборнике всю революционную терминологию Серафимовича.

Рассказ впервые был помещен в сборнике «Знание», кн. 9, СПБ., 1906 г., стр. 233—252.

«Мертвые на улицах». — Некоторые описанные здесь сцены, по словам Серафимовича, относятся к моменту, когда семеновцы во главе с полковником Мином уже расправлялись со сдавшимися, безоружными рабочими Пресни.

«На территорию Пресни, — рассказывает он, — нагнали тучу городовых, жандармов, шпионов и черносотенцев, которые без суда и следствия жестоко расправлялись с рабочими: стегали плетьми, избивали зверски, закалывали и расстреливали. Трупы вагонами вывозились за город. Пока их подбирали ломовые и развозили по полицейским участкам, они часами лежали на улице, оставляя следы крови на снегу. Около трупов толпился народ, молча всматривались в застывшие черты борцов. В толпу вмешивался и я. Изредка мне удавалось перекинуться словечком, кое-что узнать. Белый террор на Пресне

продолжался еще долго после подавления восстания. Полицейские и казаки измывались над безоружным населением, врывались с обысками в квартиры, искали скрывающихся дружинников. Врывались и в дом, в котором я жил».

Рассказ под заглавием «Два старика» впервые был напечатан в «Вестнике жизни», 1907 г., № 3, стр. 1—8.

«Белая глина». — Декабрьское вооруженное восстание в Москве было подавлено, а крестьянские бунты продолжались по всей России вплоть до 1907 года. Крестьянские волнения влекли за собой жестокие репрессии. Правительство посылало в районы «беспорядков» карательные экспедиции, которые зверски расправлялись с крестьянским населением. Пороли даже стариков, расстреливали, иногда сметали с лица земли целые деревни.

Время и место первоначального напечатания рассказа установить не удалось. Автор полагает, что ввиду того, что рассказ касался царской армии, да еще казаков — «опоры престола и отечества» — и острого вопроса усмирения народных восстаний, редакторы не решались его напечатать, и он долго лежал в архиве. По соображениям автора, он мог быть напечатан примерно в 1907 году, не раньше.

«Зарева». — «В «Заревах», — говорит Серафимович, — поджигают монастырские экономии; в роли эксплоататора крестьянства выступает монастырь. Монастыри к беззазорной эксплоатации прибавляли еще горечь религиозного дурмана. Монастыри всегда служили для самодержавия опорой в его реакционных выступлениях.

Монастырь я взял свой, донской. Под Усть-Медведицей был такой, только женский. Я таскался с матерью, богу молился. Много там было безобразий».

Рассказ впервые был напечатан в «Русской мысли», 1907 г., кн. 6.

«Сопка с крестами». — «На каторге, — говорит Серафимович, — я не был и, следовательно, не мог дать быта каторги, как дал его, например, Достоевский в «Записках из мертвого дома». Все же «Сопка с крестами» из жизни взята.

Рассказ под заглавием «Свидание» впервые был помещен в «Современном мире», 1907 г., № 7—8, стр. 1—17.

«У обрыва». — «После разгрома декабрьского вооруженного восстания в Москве, живя здесь же, на Пресне, — говорит Серафимович, — я имел возможность убедиться, что московское население относилось к дружинникам сочувственно: прятало дружинников в дровянниках, на чердаках и сеновалах, с опасностью для жизни заботливо укрывая их от полиции и жандармов. Многие таким путем были спасены.

Сейчас же по подавлении восстания карательные отряды были разосланы по линиям железных дорог и в подмосковный район по деревням для розыска скрывающихся дружинников».

Нами извлечено из архива «дело» С.-Петербургского комитета по делам печати за 1911 год, № 89. В «деле» находим доклад члена СПБ. Комитета по делам печати К. Н. Осипова, от 25 августа 1911 г. В докладе указывается на «крамольность» содержания рассказа «У обрыва», призывающего солдат к неповиновению и к отказу от участия в усмирении народных волнений,

а также к измене присяге. В результате состоялось «определение» Петербургской судебной палаты от 27 сентября 1911 года о том, чтобы часть рассказа «У обрыва», на основании 5 п. 1 ч. 129 ст. Угол. уложения и 1213[46] и 1213[23] ст. Уст. уг. суд., уничтожить вместе с стереотипами и другими принадлежностями тиснения, заготовленными для напечатания».

14 марта 1912 года СПБ. градоначальник сообщил в Главное управление по делам печати: «...имею честь уведомить, что... 22 февраля с. г. в типографии СПБ. градоначальства в комиссии уничтожены посредством разрывания на мелкие части вырезанные из 1090 экземпляров книги «Литературно-художественный альманах», изд. «Шиповника», СПБ., 1911 г., страницы 21—28, и из 750 экземпляров книги «А. Серафимович, т. III, Рассказы», СПБ., 1908 г., изд. т-ва «Знание», стр. 19, 20, 21 и 22 и обложка последней...

Об уничтожении упомянутых вырезок Главным управлением по делам печати 30 марта 1912 г. было сообщено господам губернаторам в циркулярном отношении «для зависящих с их стороны распоряжений...»

Рассказ впервые был напечатан в литературно-художественном альманахе, изд. «Шиповник», кн. I, СПБ., 1907 г., стр. 10—30.

«По следам». — «Рисую я, — говорит Серафимович, — опытного революционера-профессионала. Работа членов подпольных организаций проходила в обстановке постоянного преследования и сыска со стороны тайных и явных агентов сети жандармских управлений (городских, губернских и областных, — существовали еще железнодорожные жандармские управления) и охранных отделений».

Рассказ впервые был напечатан в сборнике «Сполохи», кн. III, М., 1908 г. Цензурные купюры нам восстановить не удалось, так как у автора никаких копий его первоначальных рукописей не сохранилось.

«Лесная жизнь». — «Я, — говорит Серафимович, — отобразил в рассказе обстановку своей ссылки. Дана природа нашего севера, — окрестности города Пинеги (бывшей Архангельской губернии). Тут много озер с лесистыми островами. Местность очень живописна, тогда она была почти дикая, нехоженая».

Рассказ под заглавием «В лесу» впервые был напечатан в журнале «Семья и школа», 1908 г., № 1, январь, стр. 3—10.

«Как вешали». — «Я здесь рисую, — говорит Серафимович, — как царские жандармы вешали революционеров после подавления революции 1905 года. Тема, как по приговорам скороспелых царских судов вешали правых и виноватых, взята мною из жизни... Картина эта рисует лишь маленький уголок зверств, чинившихся в 1905 году над московскими рабочими. Московские места заключения были переполнены. Так как мест для арестованных нехватало, была дана директива расправляться с «преступниками» тут же на месте. И когда Пресня была обезоружена и поставлена на колени, начались истязания и расстрелы в участках, на Ходынке, на Москва-реке, на станциях пригородных железных дорог. Палачи изощрялись в пытках и издевательствах над «усмиренными» рабочими. Стоял непрерывный стон и крики истязуемых и калечимых. Сам командующий Семеновским гвардейским полком полковник Мин сидел на Прохоровской фабрике, в ткацкой конторе, и на

глаз судил, кого стегать плетьми, кого расстреливать. Трупы расстрелянных свозили в полицейские части и здесь валили в сарай, как дрова. Тут разыгрывались жуткие сцены опознания трупов родственниками.

Участники восстания мне рассказывали — потом и в печати было: в участках и тюремных камерах били прикладами, нагайками, палками, выламывали пальцы, жгли тело каленым железом, вынуждая признаться. В газете «Молва» описывали, как пороли на снегу раздетых людей, а остальные, тоже раздетые, стояли тут же и ждали своей очереди».

Этот потрясающий рассказ заставил, наконец, заговорить систематически замалчивавших творчество Серафимовича меньшевистских критиков. Вл. Кранихфельд напечатал в журнале «Современный мир» за 1908 год, кн. 7, отзыв о рассказе: «Совершенно неудавшимся надобно признать рассказ А. Серафимовича «Как было». Рассказ свой Серафимович облек в форму анекдота, комические детали которого грубо нарушают цельность впечатления и настроения...»

По поводу этого отзыва меньшевистского критика Серафимович говорит: «Я уж тогда отдавал себе ясный отчет, что тут я имею дело с определенной «классовой линией» буржуазно-меньшевистского лагеря, и не огорчался... Но превращать великую трагедию расправы царизма с рабочими в «анекдот с комическими деталями», — это — согласитесь — сверх всякого предела. Это такой цинизм, на который способна только меньшевистская душонка».

Рассказ под «цензурным» заглавием «Как было» впервые был напечатан в сборнике «Знание», кн. XXI, 1908 г., стр. 361—368.

«На море». — Из серии рыбацких рассказов Серафимовича. Рисует он жизнь рыбаков в окрестностях Мариуполя. «У крестьян, — говорит он, — зверская расправа с ворами давно стала «бытовым явлением».

Рассказ впервые был напечатан в сборнике «Ссыльным и заключенным», 1908 г., стр. 181—189.

«Старуха». — «В образе о. Иоанникия, — говорит Серафимович, — я стремился воплотить типичного представителя жадного, себялюбивого и чадолюбивого мещанства. Сан священника — только маска, под которой легче скрыть свое скопидомство и эксплоататорство. Такие рассказы, как «Старуха», разоблачали истинную роль церкви и ее служителей».

Рассказ впервые был напечатан в «Новом журнале для всех», 1909 г., № 11, стр. 1—18.

«Паровоз № 314-Б». — Рассказ, по словам Серафимовича, из действительной жизни. Задачей его было нарисовать, в каких каторжных условиях работали рабочие-железнодорожники, как подневольный и плохо оплачиваемый труд высасывал из них все соки, превращая к сорока годам в выжатый лимон.

Рассказ впервые был напечатан в сборнике «Друкарь», под редакцией Н. Д. Телешова, М., 1910 г. А был написан примерно в 1908—1909 году и лежал на полке «убиенных» цензурой и буржуазными редакторами.

«На белой горе». — Рассказ отображает дореволюционную каторгу, в которой задыхались дети бедных донских рыбаков.

«Такими рассказами, как «На белой горе», — говорит Серафимович, — я старался привлечь внимание читателя к судьбе детей нужды и горя, детей труда и лишений, то есть детей пролетариата и беднейшего крестьянства. Я стремился показать, как самодержавно-капиталистический строй душил детей бедняков и был позорно равнодушен к их судьбе».

Рассказ впервые был напечатан в журнале «Семья и школа», 1910 г., № 1, январь, стр. 3—18.

«Старое». — «Откуда я взял «модель» старика? — спрашивает Серафимович. — Когда я был в Мезени в ссылке, жил там старик 92 лет. А был еще крепкий, еще хорошо ковал, — здоровый кузнец. Я решил учиться кузнечному делу и поступил к нему в кузницу. Долго изо дня в день загонял меня этот чортов старик. И все держал меня в роли молотобойца, ничему не учил, только эксплоатировал, не давал передышки. Этот старик и послужил мне живой моделью. Я только перекроил его донским казаком, дал донскую обстановку, которую хорошо знал. Сердцевина же осталась мезенского кузнеца».

Рассказ впервые был напечатан в московской газете «Русские ведомости», 1910 г., № 19, 24 января, стр. 3—4.

«Чибис». — «В этом рассказе, — говорит Серафимович, — я дал родную донскую степь. Кочующая в степи семья безработного батрака — типичное явление на Дону до революции».

Рассказ впервые был напечатан в «Русских ведомостях», 1911 г., № 149, 30 июня, стр. 3.

«Мороз». — «Сдача детей в аренду в целях нищенствования, — рассказывает Серафимович, — была в царское время очень распространена. Все это говорит о страшной бедности. Я и хотел показать, до чего доводит людей капиталистический город».

Рассказ впервые был напечатан в сборнике «Сполохи», кн. 8, 1912 г., стр. 11—21.

«Медведь». — Рассказ вначале шел под заглавием «Веселая ночь». Впервые был напечатан в детском журнале «Проталинка», 1914 г., № 1, январь, стр. 4—15.

«Три друга». — «Хуторская жизнь на Дону, в степи... — говорит Серафимович. — Уже с 6—7 лет на ребенка возлагается непосильный труд. Дети растут, тесно связанные с природой и с животными».

Рассказ впервые был напечатан в журнале «Семья и школа», 1914 г., кн. 1, январь, стр. 3—19.

«Змеиная лужа». — Серафимович дал четко выраженный тип мальчика — таланта. «Таких «самородков» с ярко выявившимся талантом, — говорит Серафимович, — было много в дореволюционной России, но они увядали, не успевши расцвесть. Полное бесправие, бескультурье, почти поголовная без-

грамотность в деревне, малоземелье и нищета — все это было очень плохой средой для таланта».

Рассказ под заглавием «Божья искра» впервые был напечатан в детском журнале «Проталинка», 1914 г., кн. 12, декабрь, стр. 758—777.

«Термометр». — «Рассказ этот, — говорит Серафимович, — рисует тяжелые настроения многих семей в годы империалистической войны».

Под рубрикой «Раненые тыла» рассказ впервые был напечатан в «Русских ведомостях», 1914 г., 25 декабря, № 297, стр. 2—3.

«Шрапнель». — Серафимович работал во время империалистической войны санитаром в полевом госпитале на линии огня. «На фронте, — рассказывает он, — я наблюдал очень тяжелые картины. Раненые лежали в огромном бараке на нарах и под нарами, заняв все проходы, весь пол. Валялось более трехсот раненых, из них многие были ранены тяжело, с вывалившимися кишками, с оторванными конечностями. По всему бараку неслись стоны, хрипы. И лежали раненые нередко буквально без всякой помощи, не кормленные, не перевязанные, даже соломы не подстилали на досках. Стоны, крики, просьбы раненых, хохот и визг сумасшедших не прекращались ни на миг. В бараке, в котором работали я и Марья Ильинична Ульянова, были возмутительные порядки. Раненых отправляли дальше без перевязок. Некоторые раненые сами приползали на четвереньках, чтобы их перевязали. Санитары работали только днем: как только вечерело, они исчезали, и раненые оставались тогда буквально без всякого надзора: некому было подать глоток воды. Раненые лежали плотно, плечо к плечу, — мертвые вместе с живыми. Некому было их унести.

В «Шрапнели», как и в других произведениях этого периода, я стремился показать, как погибал в мировой войне народ за чуждые ему интересы буржуазных хищников. Это — максимум того, что можно было дать в те дни».

Первоначальное заглавие рассказа «В лесу». Где и когда он впервые был напечатан, установить не удалось. Автор полагает, что в 1915 г.

«На побывке». — «Я, — говорит Серафимович, — хотел в художественном образе запечатлеть отношение рядового незамысловатого крестьянского парня в солдатском мундире к войне, — не к войне вообще, а к тогдашней империалистической войне. На фронте, в госпитале, где я работал санитаром, я все более убеждался, беседуя с солдатами, что отношение их к войне было непримиримо отрицательным».

Рассказ впервые был напечатан в газете «Русские ведомости», 1915 г., 21 июля, № 167, стр. 2.

«Следопыты». — Рассказ впервые печатался в московской газете «Вечерний курьер», 1915 г., 12 октября.

«Степь и море». — Из серии рыбачьих рассказов Серафимовича. Азовское море. Обстановка Мариуполя (г. Жданов) или Таганрога.

«Я, — указывает Серафимович, — стремился обратить внимание на жертвы империалистической войны, на детей угнанных на фронт отцов. Война принесла особенно много бедствий детям трудящихся. Подавляющая часть этих

детей была бесприютна и беспризорна. Мне нужно было показать позорное равнодушие к ним со стороны государства, местных властей».

Рассказ впервые был напечатан в газете «Русские ведомости», 1916 г., 13 апреля, № 84, стр. 6.

«Снег и кровь». — Этот очерк Серафимович писал десять лет спустя после декабрьского вооруженного восстания в Москве на Пресне. «В тот момент, — говорит Серафимович, — цензурный гнет еще более усилился благодаря войне, и в 1916 году я должен был писать свои воспоминания о Пресне с крайней осторожностью и с оглядкой. Читатель, однако, по рассказу видит, с какой настойчивостью и энтузиазмом все население возводило баррикады. Революционный порыв был всеобщим в такой мере, что в сооружении баррикад активное участие принимали даже дети; они же брали часто на себя роль разведчиков. И немало детских трупов полегло на снегу Пресни...

О жестокости подавления восстания в 1916 году совсем нельзя было писать. Я всеми способами старался обойти эти цензурные «подводные рифы». Рассчитывая на догадливость читателя, я вскользь отмечал, что потрясающе «бухал орудийный выстрел», и указывал, что в окна летели пули. Рисую я также багровое пламя пожаров в подожженных домах и на баррикадах. Кстати, интересный штрих: поджогами домов на Пресне занимались... пожарные команды, обязанность которых состоит в том, чтобы тушить пожары.

В очерке «Снег и кровь» я показываю черносотенцев в действии и отмечаю, что они не упускали случая грабить и обворовывать попавших к ним в руки. Черносотенцы вербовались полицией из худших подонков городского населения. Тогдашний читатель не мог не сделать соответствующего вывода о морально-политическом облике всей царско-буржуазной власти, опирающейся на подобных убийц и воров, во многом напоминающих гитлеровских эсэсовцев».

Очерк под заглавием «Десять лет назад» впервые был напечатан в петербургской газете «Биржевые ведомости», 1916 г., 22 ноября.

«Воробьиная ночь». — Жестокая эксплоатация детей широко практиковалась тогда. «Революция, — замечает Серафимович, — положила конец детской эксплоатации».

Рассказ под заглавием «Маленький паромщик» впервые был напечатан в журнале «Семья и школа», 1916 г., № 1, январь, стр. 17—27.

«Родная земля». — Рассказ под заглавием «Родина-мать» впервые был напечатан в газете «Русские ведомости», 1917 г., 6 января, № 5, стр. 3—4.

«Черной ночью». — Серафимовичу хотелось, по его словам, показать советским поколениям читателей, как «позорно равнодушны были царский строй и буржуазная общественность к писателям и как отдавали их на расправу буржуазным редакторам, которые казнили и миловали по произволу, «по настроению», уродовали и увечили, движимые эгоизмом, а больше всего страхом перед «сильными мира сего». «Немало, — говорит Серафимович, — талантов погибло. Только немногие писатели выживали и пробивались. Я сам еле уцелел. Лучшие годы ушли на бессмысленную борьбу с редакторами, с цензорами и с непроходящей нуждой и лишениями. Туберкулез нажил. Скитался как неприкаянный, неуверенный в завтрашнем дне...

Мне хотелось еще — при самодержавии это было невозможно — подчеркнуть, как жутко одинок был дореволюционный писатель, как он был фактически оторван от широких масс, от людей труда и, стало быть, лишен основного, что необходимо писателю,— сферы наблюдения. И все-таки и в этих условиях передовой русский писатель шел и тогда в авангарде мировой литературы».

Рассказ впервые был напечатан в журнале «Творчество», изд. «Известий Московского совета рабочих и крестьянских депутатов», 1918 г., май, № 1, стр. 3—9. Текст этот печатается без существенных изменений.

«Львиный выводок». — «На Восточный фронт, — рассказывает Серафимович, — я поехал в сентябре 1918 года. Штаб тогда был расположен в Симбирске. В штабе меня, как корреспондента «Правды», подробно ознакомили с создавшимся положением. Я просил поскорее перекинуть меня на передовые позиции.

Приходилось много кочевать, и писать можно было только урывками. Восточный фронт оставил во мне в общем бодрое настроение. Я увидал своими глазами, что защита Октябрьской революции в надежных руках, что красноармейская масса знает, за что дерется и что теряет в случае поражения...»

Корреспонденция под заглавием «Волчий выводок», переименованная автором в последующих изданиях в «Волчиный выводок», впервые была напечатана в «Правде», 1918 г., 29 декабря, № 285, стр. 2.

«Преступники». — «Это было, — говорит Серафимович, — во Владикавказе (г. Орджоникидзе) в 1921 году. Скопилась тут масса детей. Ехали сюда из Поволжья, где был голод, из Западной Сибири, со всех концов Союза. Ребятишки убегали от родителей и пробирались на Кавказ. Здесь некоторые из них объединялись в группы, лазили по садам, воровали. Большинство же детей умирало в больницах от сыпного тифа. Нужна была срочная действенная помощь. Об этом я и писал».

Очерк впервые был напечатан в журнале «Новый мир», 1922 г., № 1, январь, стр. 107—111. Текст печатается без изменений.

«Долговязый». — «У меня, — рассказывает Серафимович,— был брат, второй по счету, Сергей... До работы в аптеке в Котельникове он плавал матросом на судах по Черному морю, совершая постоянные рейсы между Одессой и Батумом. Поведанные им истории и были для меня главным источником рассказов из жизни моряков. Матросов я наблюдал еще и сам лично в Севастополе.

До Октября мой рассказ не мог увидеть света. После революции я его переработал и напечатал».

Рассказ впервые был напечатан в «Красном журнале для всех», 1922 г., январь, № 1, стр. 5—8. Текст печатается без существенных изменений.

«Гуси». — «Автобиографическая страничка, — говорит Серафимович,— из моей жизни (1887—1888) в ссылке в Мезени, бывшей Архангельской губернии. Вопреки запрещению властей я иногда уезжал на оленях в тундру или уходил в лес с ружьем. Страстным охотником я никогда не был, — меня больше интересовала северная природа».

Рассказ впервые был напечатан в «Охотничьем журнале», 1924 г., № 7. Этот текст печатается с незначительными стилистическими исправлениями.

«Глаза блестят». — Очерк впервые был напечатан в «Правде», 1925 г., 8 марта. Текст печатается без изменений.

«Две смерти». — Рассказ под заглавием «Два пропуска» впервые был напечатан в журнале «Красная панорама», 1926 г., 5 ноября, № 45 (139), стр. 1—3. Печатается этот текст без существенных изменений.

«Год». — Рассказ впервые был напечатан в журнале «Красная нива», 1926 г., № 48 (декабрь), стр. 2—4.

«Галка». — Рассказ сборный. Составлен из двух рассказов, которые впервые были напечатаны: первый — под заглавием «Галка» — в журнале «Октябрь», 1928 г., кн. 1 (январь), стр. 3—9; второй — под заглавием «Галчонок» — в журнале «Красная молодежь», 1924 г., кн. 1 (май), стр. 67—73. В настоящем издании печатаются вышеуказанные тексты с некоторыми стилистическими исправлениями и с перестановкой, требуемой в целях последовательности изложения.

«Тракторист поневоле». — Рассказ впервые передавался по радио в январе 1938 г. для школьников. Затем микрофонные материалы Всесоюзного радиокомитета подверглись переработке, и рассказ был напечатан в колхозном журнале «Дружные ребята», 1938 г., 20 января. Печатается этот текст без изменений.

«Ребенок». — «Это, — говорит Серафимович, — моя младшая внучка, Светлана. Когда немцы стали приближаться к городу Серафимовичу, где я тогда жил с семьей, мы двинулись в Сталинград. Эвакуировались мы вместе с детдомом. Немец тогда систематически, изо дня в день бомбил наши места. В момент нашего прибытия на ст. Себряково немцы разбомбили мост на реке Усть-Медведице и зажигательными бомбами сожгли расположенный неподалеку рабочий поселок. Немало народу тогда побили: железнодорожников, обходчиков, рабочих, женщин, детей. Когда показались немецкие самолеты, все в нашем эшелоне стремглав бросились из вагонов в степь и — залегли. А когда отогнали немецкие аэропланы, все кинулись обратно к вагонам — надо было торопиться уходить. Я же теперь бегун плохой. Светлана тоже бежала плохо. Когда мы, запыхавшись, добежали, эшелон уже ушел. Пришлось итти пешком».

Очерк впервые был напечатан в «Правде», 1942 г., 17 сентября.

«Веселый день». — Рассказ впервые был напечатан в «Красной звезде», 1943 г., 14 января. Печатается этот текст без изменений.

«Юная армия». — Рассказ под заглавием «Ребята» впервые был напечатан в журнале «Красноармеец», 1943 г., № 11 (июнь), стр. 9—11.

«На хуторе». — «Все, что тут изложено, — говорит Серафимович, — в действительности произошло на хуторе в дни, когда немцы двигались на Сталинград. Особенно неистовствовали немцы в окружающих деревнях. С колхозниками обращались, как со скотом. Дочиста грабили. Творили безобразия. Издевались над женщинами».

Рассказ впервые был напечатан в «Красной звезде», 1943 г., 14 августа.

«В гостях у Ленина». — «Ленин позвал меня к себе, прислав за мной машину, — рассказывает Серафимович. — Свидание с Лениным оставило во мне неизгладимый след на всю жизнь. Внимание и поощрение великого вождя оказало влияние на всю мою дальнейшую писательскую судьбу.

Мне выпало счастье — на заре моей молодости, когда я общественно только формировался, встретиться с Александром Ульяновым в студенческих кружках Петербурга, — и уж к старости, в начале становления советской власти, мне выпало еще большее счастье — работать под руководством его брата — Ленина и получать указания непосредственно из уст гения пролетариата».

Очерк впервые был напечатан в журнале «Красноармеец», 1946 г., № 2, стр. 10—11.

СТАТЬИ

«Предисловие к «Мятежу» Дм. Фурманова». — «В Фурманове, — говорит Серафимович, — мы почувствовали очень наблюдательного художника. Был у него цепко схватывающий глаз. Вообще в нем сразу угадывался человек большого внутреннего содержания... Встречался я с ним довольно часто. У нас завязались тесные отношения. Его рукопись «Мятеж», которую он мне принес, произвела на меня большое впечатление. Что в нем наиболее ценно? Правда его произведений, его глубоко реалистический подход. Только большой художник может производить такое сильное впечатление.

Писатель на редкость добросовестный и вдумчивый, он пристально ко всему присматривался и внимательно изучал методы работы других писателей. Вообще он был работяга: не относился к писательскому делу легко, а понимал, что тут надо приложить большой труд».

Впервые «Предисловие к «Мятежу» было напечатано во втором гизовском издании «Мятежа» Дм. Фурманова, 1925 г.

«Умер художник революции». — Статья «Умер художник революции» с портретом Дм. Фурманова впервые была напечатана в «Правде», 1926 г., 17 марта, № 62.

«Ф. Гладков и его «Цемент». — «С Гладковым, — рассказывает Серафимович, — мы встречались в 19—20 годах в «Кузнице». Мы с ним близко сошлись. Он рассказывал мне, что начинает работать над «Цементом». Он поразил меня необыкновенным упорством и своим нервным подъемом в работе.

Удельный вес Гладкова — большой. Яркий художник, своеобразный художник. И огромная в нем сила обобщения. У него обобщен целый кусок

революционной эпохи. Это не всякий сумеет. Оттого «Цемент» так глубоко проник в читательскую толщу. (Гладков пишет красочно и приподнято. В целом Гладков — писатель незаурядный, интересный, внутренне богатый».)

Статья «Цемент» Ф. Гладкова» впервые была напечатана в «Правде», 1926 г., 16 февраля, № 38 (3267), стр. 2. Сюда вошло добавление из речи Серафимовича на собрании писателей 24 июня 1943 г. по случаю чествования Гладкова в связи с его 60-летием.

«М. Шолохов и его «Тихий дон». — «С Шолоховым, — рассказывает Серафимович, — нас связывает более чем двадцатилетнее знакомство и дружба. Я обратил внимание на его орлиный талант, когда еще был редактором журнала «Октябрь» и стал впервые печатать в этом журнале его «Тихий Дон», к которому написал предисловие. Позднее мы много встречались, и каждая встреча оставляла в сердце моем теплоту и радость. Я и гостил у него в Вешенской: мы ведь почти соседи по Дону: — Я в Усть-Медведице, он — в Вешенской.

Это отнюдь не значит, что у нас никогда не было с ним литературных расхождений и разногласий. Но они только укрепляли наши добрые отношения и заставляли меня гордиться моим земляком».

Статья сборная. Составлена: из статьи «Тихий Дон», впервые напечатанной в «Правде», 1928 г., 19 апреля, а затем вторично напечатанной, под заглавием «Вместо предисловия», в качестве вступительной статьи к «Тихому Дону», вышедшему в «Роман-газете», 1928 г., № 12 (24), стр. 3; из биографического очерка, под заглавием «Михаил Шолохов», напечатанного в «Литературной газете», 1937 г., 26 ноября. Печатаются эти тексты с небольшими изменениями и добавлениями автора.

«Радиоперекличка писателей». — Речь по радио А. Серафимовича под заглавием «Единственная в мире социалистическая литература» была произнесена перед микрофоном в 1934 г., 6 ноября, в канун 17-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции.

«Воспоминания о Горьком». — «В самом начале моей писательской работы, — говорит Серафимович, — решающе помогли мне Владимир Короленко и Глеб Успенский. А перед революцией 1905 года мне помог утвердиться в литературе Максим Горький. Строго говоря, Горький сыграл решающую роль в моей писательской судьбе. Он сразу смело меня выдвинул, поставил в «Знании» рядом с собой, рядом с крупнейшими писателями.

Горький всем нам много помог. Хотя бы уж тем, что вырвал нас всех из жадных когтей владельцев частных издательств, которые ростовщически обирали, высасывали из нас все соки, заставляя непрерывно работать, чтобы с грехом пополам просуществовать. Я уже мог благодаря «Знанию» спокойно работать, обдумывать свои вещи, — не лезть из кожи.

Превосходный он был организатор! В тяжелые царские времена суметь отобрать, так сказать, отфильтровать лучших писателей и объединить их в таком крупном издательстве, как «Знание»,— это большое дело.

Главное же, он всех нас сумел объединить вокруг революции, зажечь ее пламенем, заставить ей служить. Знаменосцем нашим в литературе был

Горький — знаменосцем вдохновенным, авторитетным, за которым все мы доверчиво шли.

Горький был кипящий творчеством огромный талантище. Каждый из нас по чести мыслил его на первом месте, впереди себя — по силе и яркости пера, по идейной глубине, по широте захвата, по общественной значимости его писаний. И всесторонность-то какая!.. Беллетрист, новеллист, романист, очеркист, драматург, публицист, критик, литературовед. Колоссальные разносторонние знания вобрал в себя этот самоучка: любой академик мог позавидовать. Его литературоведческие работы искрятся умом и знаниями.

Еще наделила его щедро природа гранитной волей и темпераментом подлинного борца и бойца. И до гробовой доски был он верным, неотступным соратником Ленина и Сталина. Его голос советского глашатая был слышен далеко за рубежами Советского Союза. К нему чутко прислушивались трудящиеся всего мира — он был народен и прост при всей своей мудрости.

Поэтому его и убили враги.

Горький в истории мировой литературы — это целый период, эта целая школа, которая помогла выдвинуть русскую литературу на первое место в мире».

Очерк сборный. Составлен из очерков, которые впервые разновременно печатались: в «Правде» под заглавием «Выдвинутый пост», 1931 г., 21 апреля, № 110, стр. 2; в газете «Рабочая Москва» под заглавием «Воспоминания о Горьком», 1938 г., 28 марта; по копии радиопередачи 17 июня 1938 г. «О Горьком»; в журнале «Красноармеец» под заглавием «Максим Горький», 1943 г., № 10—11, стр. 6; в журнале «Краснофлотец» под заглавием «Первая встреча с А. М. Горьким», 1946 г., № 11—12, стр. 5.

«У избирательной урны». — В качестве члена избирательной комиссии на выборах в Верховный Совет РСФСР Серафимович наблюдал всенародный подъем, всеобщий праздник и искреннейший интерес. «При одном упоминании имени Сталина, — говорит Серафимович, — радостно и благородно, можно сказать, благоговейно, у всех загорается взор. Имя выставленного кандидата у всех на устах. Его знают, ему безраздельно верят: ведь свой, родной, испытанный».

«У избирательной урны» составлен из двух очерков, которые впервые были напечатаны: первый, под заглавием «В эти дни»... с подзаголовком «Заметки члена избирательной комиссии» — в «Правде», 1938 г., 23 мая, № 140 (7465); второй, под заглавием «Счастье» — в «Литературной газете», 1946 г., 12 января, № 3 (2266).

«С высоты восьмидесяти пяти лет». — Копия исправленной автором стенограммы речи, произнесенной на собрании московских писателей 14 января 1948 года, посвященном чествованию Серафимовича по случаю его 85-летия. Печатается этот текст с некоторыми изменениями и добавлениями автора.

Г. Нерадов.

СОДЕРЖАНИЕ

РАССКАЗЫ И ОЧЕРКИ

СТАТЬИ

Переплет и титул
художника *Евг. Голяховского*

Составитель *Л. О. Белов*
Редакторы:
А. К. Котов и *А. И. Воинов*
Художеств. редактор *Н. Л. Мухин*
Техн. редактор *Г. В. Архангельская*
Корректор *А. А. Типольт*

*

Сдано в набор 27/VIII 1949 г.
Подписано к печати 31/X 1949 г.
А-12527. Печ. л. $40^{3}/_{4}$+3 вклейки.
Уч.-изд. л. 42,12. Форм. бум. $60\times92^{1}/_{16}$.
Тираж 75 000 экз. Заказ № 1801.
Цена 14 руб. 50 коп.

*

3-я типогр. „Красный Пролетарий"
Главполиграфиздата
при Совете Министров СССР.
Москва, Краснопролетарская, 16.

*

Отпечатано с матриц
20-й типографии „Союзполиграфпрома"
Москва, Ново-Алексеевская, 52.

Зак. 210